Н. А. КЕЛИН

КАЗАЧЬЯ ИСПОВЕДЬ

...

Н. Д. ТОЛСТОЙ

ЖЕРТВЫ ЯЛТЫ

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1996

ББК 63.3(2)7
К34

Келин Н.А.

К34 Казачья исповедь: Толстой Н.Д. Жертвы Ялты. — М.: Воениздат, 1996.— 480 с. — («Редкая книга»).

ISBN 5—203—01656—9.

В книгу вошло повествование Н.А. Келина о своей и других казаков-эмигрантов жизни на чужбине после бегства из России в 1920 г. и историческое исследование Н.Д. Толстого о трагической судьбе 2,5 млн. советских граждан, по разным причинам оказавшихся после второй мировой войны за пределами страны (пленные, перемещенные лица, власовцы). Все они были депортированы на Родину, где либо погибли, либо настрадались в лагерях.

Очерк «Жертвы Ялты» издавался в Англии и Франции и впервые полностью публикуется в нашей стране.

К $\frac{1305010000-009}{068(02)96}$ Без объявл. ББК 63.3(2)7

© Н.А. Келин, 1996
© Н.Д. Толстой, 1988
© Предисловие. Составление. В.В. Дробышев, 1996
© Оформление, Воениздат, 1996

ISBN 5—203—01656—9

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Перед нами — суровая книга. Она о судьбе казаков после Октябрьской революции, о судьбе русских эмигрантов и беженцев, военнопленных и перемещенных лиц, оказавшихся в странах Европы после лихолетья гражданской, а потом и второй мировой войны.

Собственно, это — два повествования под одной обложкой. Первое из них — «Казачья исповедь» Николая Келина — рассказ о судьбе одного казака-эмигранта. Она печатается впервые. Об авторе ее нет нужды говорить подробно: он сам рассказывает о себе в этой исповеди. Быть может, стоит добавить только, что русская эмиграция знала его стихи и статьи. А нам в России еще предстоит узнать Николая Келина, незаурядного казацкого поэта. Быть может, его земляки-донцы соберут и издадут его стихи, разбросанные по малотиражным и труднодоступным для нас эмигрантским газетам и журналам.

Многое пришлось пережить казаку. Но его судьбу мы можем считать счастливой, хотя и трудной. В этом убеждают нас и последние строки его исповеди: «Моя жизнь уже идет к концу. Уходя с любимой мною земли, оставлю здесь только сумбурные воспоминания да терпкие песни о Родине. Годы ничего не изменили в моем отношении к ней, и я уйду с затаенной мечтой: настанет время, когда на карте Европы снова загорится неугасимым пламенем дорогое для меня имя — Россия...»

Мечта Николая Келина начинает сбываться сегодня, но еще долог и тяжек путь к ней...

Вторая книга под этой обложкой — «Жертвы Ялты» — выходила на английском и русском языках в Англии дважды (в 1978 и 1979 годах) и в Париже (в 1988 году). Главы из нее печатались в журнале «Кубань» и в газетах, но таким малым тиражом, что практически книга эта неизвестна русскому читателю. И вот, наконец, мы можем познакомиться с ней, с документальными свидетельствами о великом предательстве английского и американского правительств двух с половиной миллионов наших соотечественников — перемещенных лиц и военнопленных, великого множества казацкого народа и так называемых власовцев.

Судьба всех этих людей была трагична. Многие из них не хотели возвращаться в СССР, опасаясь за свою жизнь. Но все они, по же-

ланию или против, были депортированы на Родину, где либо погибли, либо настрадались в лагерях.

В нашей исторической литературе и по сей день эта страница второй мировой войны так и не воспроизведена, если не считать именно это исследование Толстого и главы «Архипелага ГУЛаг» Солженицына.

Николай Дмитриевич Толстой, внучатый племянник великого русского писателя, проделал громадную исследовательскую работу, встречался и расспрашивал многих свидетелей и очевидцев, разыскал и добыл множество труднодоступных официальных документов.

«Я сделал все, — пишет он, — чтобы не пропустить ни одного важного документа, постарался процитировать все необходимые первоисточники. Я надеюсь, что таким образом читатель сможет оценить, кто и в какой степени отвечал за политику насильственных выдач, породившую столь чудовищную череду страданий».

Из книги «Жертвы Ялты» мы узнаем о том, как правительства Великобритании и США, заключив тайное соглашение с Советским Союзом, обрекли на гибель и страдания более двух миллионов людей, выдав их Сталину. Большинство из них постигла ужасная участь. Все это впервые подробно описано в этой книге.

История насильственной репатриации бывших советских граждан на Родину после окончания второй мировой войны стала известна рядовым англичанам лишь после выхода книги «Жертвы Ялты» в 1978 году. В прессе разразился скандал. Большинство англичан присоединились к точке зрения профессора Робина Кембола, специалиста по России и бывшего военно-морского офицера. Он писал: «Эта мрачная, несчастливая глава нашей истории слишком тяжела для честного английского сознания. Попытки оправдаться незнанием последствий или «духом времени» лишь ухудшают дело... Наша политика... была совершенно непростительна и, чем выискивать иллюзорные извинения, достойнее, я полагаю, по-христиански — принять этот факт таким, каков он есть, и нести наш крест в стыдливом молчании».

Тогда же, в июле 1978 года, общественность Великобритании организовала фонд для возведения в Лондоне мемориала жертвам Ялты. У нас в стране такого памятника еще нет. А будет ли?

В.В. ДРОБЫШЕВ.

НИКОЛАЙ КЕЛИН

КАЗАЧЬЯ ИСПОВЕДЬ

Поехал казак на чужбину,
На добром коне он своем вороном.
Свою он навеки покинул краину,
Ему не вернуться в отеческий дом...

Из казачьей песни

От издательства: Выражаем искреннюю признательность Алексею Николаевичу Келину (г. Прага) и Юрию Константиновичу Шугрину (г. Москва) за содействие в публикации рукописи Н.А. Келина «Казачья исповедь».

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Среди пахучих полынных степей с бесконечными шляхами, седыми курганами, покрытыми чебрецом да алыми шапочками татарника, затерялся небольшой казачий хуторок Майорский. Он входил в юрт станицы Клетской. Тут-то в 1856 году и родился мой дед Иосиф Федорович Кузнецов — дед по матери.

С него начинаю потому, что он меня воспитывал. А когда-то, принимая его на широкие шершавые ладони, прадед мой, Федор Иванович, дончак с грудью Ильи Муромца, неодобрительно хмыкнул: «Ледащий казачишко будет. Кожа на ем дюже белая...» Но прадед ошибся. Вырос статный, голубоглазый казачонок, пытливо всматривающийся в окружавший его мир. Паренек тянулся к грамоте, но ни бумаги, ни карандашей в казачьем курене не было. Тогда он начал собирать свинцовые пломбы, которые иногда находил на отрезах сукна для казачьих шароваров и чекменей. Расплавив свинец, выливал через камышинки самодельные карандаши. А бумагу заменяли оструганные дощечки. Кто-то из грамотных казаков научил его азбуке. Но такое рвение к грамоте закончилось для мальчишки не лучшим образом: суровый отец, узнав, что тот научился читать, выгнал его из дома.

— Ишь, сукин сын, больше батяни захотел знать! — заключил по-своему и отправил любознательного отрока в подпаски.

Я видел этого человека только раз в жизни, когда мы с дедом Осипом по дороге в Петербург ехали через хутор Майорский. Помню, распрягли лошадей. И вот из-под огромной вербы, стоящей среди просторного двора, поднялся широкогрудый старик в парусиновой рубахе.

— Богатеешь, Оська? Все дела заели? — недружелюбно приветствовал нас прадед. — Жара-то, гляди... — Потом помолчал и добавил: — Садитесь обедать.

Из погреба принесли огромный кувшин разведенного холодной водой *портошного* молока, которое на казачьих хуторах приготовляли из топленого, скисшего молока, накладывая его в казачьи портки. Там оно еще более скисало и приобретало острый вкус. Наверное, способ приготовления был перенят еще от татар или иных степных кочевников. В казачьих станицах в жару и на покосах всегда пили этот чудесный, освежающий напиток, развозя его в

больших глиняных кувшинах. Часто в кувшины добавляли кусок льда.

...Дед недолго пас табун в степи. Как-то по дороге в Петербург возвращался то ли с Кавказа, то ли из Новочеркасска донской генерал. Или это был Иловайский, представитель донской аристократии, или другой свитский генерал — дело не в этом. Шустрый мальчишка, подошедший к стану вельможи, понравился генералу, и он увез паренька в Петербург, предоставив ему беречь его парадный кивер. Но недолго паренек берег кивер генерала Иловайского — подрос, похорошел и сдали его в дворцовую мастерскую — швальню —вышивать золотом воротники и обшлага мундиров придворной знати да латать штаны императоров. Дед пережил троих императоров. Рассказывал, как он был на улице в марте 1881 года, когда на Екатерининском канале бомба разорвала Александра II. Говорил, бывало: «Красавец был царь!» Вспоминал, как жутко было в те дни на улицах, как сразу же, когда разнеслась весть об убийстве, начали закрывать магазины. А об Александре III говорил, что он был похож на огромного дворника. Как-то в Петербург приехали французский президент и немецкий кайзер. Александр III в это время где-то у пруда или речки сидел с удочкой. Ему доложили о приезде гостей. На это он спокойно ответил: «Когда русский император удит рыбу — Европа может подождать».

Бежали годы. Подошла русско-турецкая война 1876—1877 годов, и дед, скопив по пятачкам двадцать рублей, ушел с донской батареей под Плевну и Шипку. Оттуда, возвратясь на Дон, осел в станице Клетской, которую за частые половодья прозвали Донской Венецией. Вскоре дед женился на шустрой черноглазой казачке Евфимии, поразительно похожей на турчанку. Долгожданный сын-казак не родился — Евфимия подарила Осипу девчонку совершенной восточной красоты, где турецкие кровя, как говорили на Дону, ярко преобладали. Девчонка — моя мать — вытянулась стройной тростинкой, на которую заглядывалась вся станица. Когда ей стукнуло шестнадцать годков, дед решил подобрать в дом хорошего зятя, который бы заменил сына. Но странное дело — дед не взял казака в зятья, хотя по казачьей психологии иногородний, то есть не природный казак, не считался полноценным человеком. Самоучкой научившийся грамоте, дед всегда говорил мне: «Смотри, Колюшка, наука — это все. Перед человеком, который университет окончил, нужно стоять, держа руки по швам. Сидеть невежливо. Я вот мечтаю из тебя человека сделать. Ты первый в наших родах будешь, кто в университет пойдет. В Швейцарию пошлю. Есть там два города — в одном по-французски учат, а в другом — по-немецки» (дед имел в виду Цюрих и Лозанну).

Но война 1914 года помешала исполнить эту заветную мечту старого казака, который был на плохом счету у попов, так как не ходил в церковь, что в станице в те времена было просто немыслимо. Не раз поп Иоиль, настоятель Знаменской церкви, говорил щурясь:

— А что это, Иосиф Федорович, вы в церковь не ходите? Не вижу вас там, не вижу...

— Времени, батюшка, не хватает. Семья большая — работы много. Вот состарюсь, вырежу из орешника костылик и буду ходить к вечерне, — говорил, усмехаясь, дед.

Забегая вперед, скажу, какова была психология у казачьей молодежи. Когда в 1915 году я приехал на каникулы в станицу в форме Императорского лесного института (позже я был принят в Военно-медицинскую академию в том же Петрограде) — на плечах у меня было что-то непонятное казакам станицы: императорские вензеля и короны. И вот мой двоюродный брат по бабке Андрюшка Орлов, чуть младше меня, спрашивает:

— Николай! Ты на кого же это учишься? На попа?

— Нет! — говорю.

— На ахвицера? — не отступает оторопевший Андрюшка.

— Аль на царя?.. — шепчет в священном ужасе казачонок, смотря на мои студенческие наплечники и орлиные, фасонистые, накладные пуговицы. Вот каково было представление и умонастроение станичников, среди которых жила наша семья. Поп. Офицер. Царь... а дальше только недосягаемый Бог. И вот тут среди этого средневековья мой дед был как бельмо в глазу.

А теперь о моем отце. Это был человек изумительной доброты. Песельник и весельчак, помню, в компаниях он всегда был окружен смеющейся толпой. А песни пели казачьи, часто украинские, конечно, и русские. Отец прожил очень тяжелую молодость с мачехой, довольно долго служил в приказчиках у одного из торговых воротил Царицына — Свечина или Лапшина. Дед шил казакам залихватские фуражки, которые буквально шли нарасхват, а отец их продавал. Дела шли бойко, и семья преуспевала, имея возможность дать высшее образование трем моим сестрам. А я только начал высшую школу и ушел добровольцем на фронт. Но об этом позже.

Предки отца числились государственными крестьянами и, как с гордостью всегда подчеркивал он, никогда не были крепостными. Пришли они на Дон из Рязанской губернии, Зарайского уезда, села и волости Нижний Белый Омут. Мне всегда приятно было сознавать, что оттуда вышли академик И.П. Павлов, Сергей Есенин, предки Шолохова и много иных известных русских людей. Происходя из крестьян, с незапамятных времен осевших на Дону, отец мой на одном из станичных сходов был принят в казаки. Отсюда и я стал сыном казачьим.

Мать, первая красавица в станице, модница, народив пять детей, беззаботно прожила до самой революции, но всех детей воспитывал дед и бабка Евфимия, человек золотого сердца. В революцию она погибла где-то в Кубанских степях. О родине отца я почти ничего не знаю. Жил в станице его отец Иван Лаврентьевич со второй женой и тремя детьми от нее да дядя, кажется, портной. Ни они к нам, ни мы к ним не ходили. Зато всегда у нас полон дом был родни со стороны бабушки Евфимии Борисовны. Главным

образом бывали ее сестры — круглая, как шар, Параня и миниатюрная, худенькая бабушка Лисана, похожая на нестеровскую монашку. Она была вдовой. Муж ее был убит под Шипкой, и казаки привели домой только его коня. Вот и все, что касается моей коротенькой родословной: генеалогическое дерево имеет мало веточек, но корни его идут с Дона-батюшки, Рязани и Турции. Не из палат каменных, не из кряжистых купеческих хором, а из вольных степей Донских и рязанских полей, из гущи народной. А посему и читателю нужно смотреть на мои скромные записки, как на записки о сломанной и сложной судьбе человека из народа, который свой отрыв от Родины, невольный, тяжело переживаемый, хочет осветить в ином аспекте, чем это делали авторы многих эмигрантских воспоминаний.

ДЕТСТВО

Детство мое было безоблачным. Приспело время — бабка повела меня в двухклассную станичную школу и посадила куда-то во втором или третьем ряду. Ввиду того что отец, как я сказал выше, был совершенно безличным в семье, то нас в станице называли Кузнецовыми. И вот, помню, в класс входит учитель Ефим Игнатьевич Фролов, фигурой напоминающий классического Санчо Панса, с лицом красным, как помидор, и слезящимися, заплывшими глазками. Открыв классный журнал, начинает перекличку:

— Астахов.

— Тут!

— Не тут, а надо говорить: «я», — бубнит, слюнявя пальцы, Ефим Игнатьевич.

— Черячукин.

— Я! — шустро откликается бойкий мальчишка.

— Келин.

И, о ужас, я сижу как пришитый к скамье, и во мне холодеет сердце: «Ну какой же я Келин? Ведь я Кузнецов!.. » А учитель снова:

— Келин! Встать!

Я окончательно сникаю и лезу под парту, откуда меня с большим трудом, ревущего благим матом, извлекают и отсылают домой. Придя домой, я категорически отказываюсь от школы. Все улаживает дед: после разговора с Ефимом Игнатьевичем меня уже называют Кузнецовым.

Шел 1908 год. По окончании трех классов начального училища в Клетской я сдал экзамен в Усть-Медведицкое реальное имени атамана графа Платова училище, единственное в округе среднее учебное заведение для мальчиков. Дело в том, что бывший у нас наказным атаманом князь Святополк-Мирский приказал закрыть все классические гимназии во всей Донской области. Именитый «просветитель» будто бы заявил: «Казакам нужны пики и шашки, а не классические гимназии». И область осталась только с реальными училищами, да и то в огромной Усть-Медведицкой станице

реальное училище было, кажется, открыто только после революции 1905 года. Я в него попал в 1908 году. Узнав, что я сдал экзамен в реальное, дед категорически заявил:

— Бабка! Не хочу, чтобы мой внук в таком важном деле, как ученье, по чужим квартирам болтался! — И, подумав, добавил: — Завтра же едем в Усть-Медведицу курень покупать.

И действительно, на второй же день дед запряг иноходца в тарантас — мы всегда держали лошадь, — посадил бабку и меня, и мы двинулись в окружную станицу, которая раскинулась, утопая в садах, на правом, крутом берегу Дона под Пирамидами, поросшими цепкими тернами и боярышником. Клетская в сорока верстах от Усть-Медведицы. Едем хутором Подниженским, присевшим у мелового кряжа, втягиваемся в бесконечную степь: слева маячит старинный голубец, где на Пасху всегда кладут крашеные яички для путников, на помин души — копейки, пятаки; справа — вишневые сады, куда мы нередко ездим варить душистое вишневое варенье. Потом идет широко разбросанная под горой пыльная станица Распопинская. Тут всегда пьем чай у почтаря, старого друга деда, Николая Ивановича Щучкина, казачины грузного и веселого, с бульбовскими усами, кормим лошадь и через хутор Бобровский делаем последний перегон к Усть-Медведице. Бегут телеграфные столбы, где-то знаменитый Гетманский шлях теряется в мареве синих, дрожащих далей, и вот мы въезжаем на Пирамиды. Пирамиды — это один из отрогов Донецкого кряжа, венчающий спуск к станице. Отсюда открывается незабываемый вид на Задонье с его бесконечной поймой и займищем. Под Пирамидами над самым Доном золотится купол Преображенского собора женского монастыря, окруженный россыпью спрятанных келий. Туда по праздникам мы будем бегать за просфорками к матушке Афанасии, просвирне и дальней родственнице бабки. А из Задонья смотрят на тебя бесчисленные голубые окна озер, бисерные островки казачьих хуторов с чуть видимыми дымками. Начинается крутой спуск на главную улицу станицы — Воскресенскую, где в центре доживает свой век отставной полковник, отец нашего земского врача Николая Дмитриевича Егорова. Оказывается, это дед узнал, что тот хотел бы продать в Усть-Медведице дом рядом с реальным училищем.

Николай Дмитриевич был типичным русским интеллигентом, очень похожим на Чехова. Мы знали, что он не переносил ни вида крови, ни боли пациента. И вот, когда фельдшер рвал какому-нибудь дюжему атаманцу зуб, а тот орал благим матом, с порожек больницы кубарем слетал земский врач и стоял у противоположного забора, зажмурившись и туго заткнув уши. Нам, мальчишкам, это страшно нравилось, и, бывало, целыми днями, особенно в базарные дни, когда в станицу съезжалась масса казаков с соседних хуторов и больница была полна пациентами, мы торчали у забора и ждали, как Николай Дмитриевич скатится по порожкам с

заткнутыми ушами и с застывшим ужасом на своем «чеховском» лице. Так вот, к отцу этого эскулапа мы и ехали.

Встретил нас сухонький, малюсенький старичок в военном мундире без погон и, колюче глядя на деда, бросил:

— Чем могу служить, почтенный?

Дед, стоя навытяжку, объяснил цель нашего визита. Сели. О чем-то долго разговаривали. Меня это не интересовало. Потом дед осмотрел зорко и подробно старенький домишко, стоящий где-то в глубине двора в углу, и договорились на трех тысячах.

— Так плати! — обратился дед к бабке. Бабушка высыпала на стол из ридикюля три тысячи рублей — все в золотых монетах. Империалы и полуимпериалы покатились по скатерти стола. Бабка суматошно, закруглив руки, сгребла всю эту сверкающую кучу и придвинула ее к полковнику. Хозяина будто кто-то шилом пихнул под бок. Он весь ощетинился, подскочил на стуле и сухонькой ручкой отшвырнул от себя кучу золота.

— Если бы знал, что будете расплачиваться этими черепками — не продал бы вам дома, почтенный!

Дед опешил, а бабка поспешно начала сморкаться. Оказалось, что старый чудак хотел получить плату в бумажных деньгах, объяснив, что их удобнее хранить. Дед засуетился, сгреб деньги и отправился в казначейство обменять звонкую монету на бумажки. Покупка была завершена.

— Ты, Химушка, — так звал дед бабку — переедешь в Усть-Медведицу. В половину дома возьмем твою сестру Лизавету. Им все равно надо где-то жить. Яков говорил, что она тут с ребятами жить будет, чтобы было подешевле. С них ничего не возьмем, а с ихними ребятами и нашим веселее будет. Идут казаки в гору: гляди, с каких дальних хуторов учиться едут...

Дед, осмотрев еще раз двор, решил, что построит здесь новый жилой дом, так как следом за мною в гимназию должны были поступить мои сестры.

— Жалко, что поздно спохватился. Место-то какое... Буду строить тут гимназию. Не мои внуки, так чужие казачьи дети станут в люди выходить. Казакам не одними лампасами свет смешить!

Удивительный был человек мой дед. Я за свою долгую жизнь никогда не встречал человека, который бы так ценил интеллект и печатное слово. Бывало, принесет смятую, брошенную кем-нибудь бумажку, бережно ее расправит и говорит:

— Посмотри, может быть, что-нибудь ценное в ней написано. А? Печатное и писаное слово беречь надо. На бумажке-то, может, ценные мысли? — И дед не успокаивался, пока бумажка не была разглажена и прочитана.

А гимназию он действительно лет через 5—6 построил. Получилось великолепное здание на главной улице, где, кажется, в 1913 году и была открыта классическая гимназия. Здание это выгорело во время гражданской войны, а в 1957 году в нижнем этаже его я видел какой-то летний кинематограф...

У.М.Р.У.

Сакраментальное слово У.М.Р.У. было выгравировано на щегольских бляхах поясных ремней реалистов. Это покоряло гимназисток и создавало какой-то ореол вокруг нас, вызывая лютую зависть у учеников Духовного и Ремесленного училищ. А означало оно всего-навсего: Усть-Медведицкое Реальное Училище. Форма была щегольская, полувоенная. Черная гимнастерка с орляными пуговицами, традиционный ремень с сакраментальной бляхой, темно-синие штаны с широкими красными лампасами. Помню, когда мы с дедом, бывая в Питере, проезжали на извозчике по улицам,взбудораженные юнкера, заметив красную лампасину, инстинктивно взбрасывали руку к козырьку — отдавали честь, но, заметив, что попали впросак, чертыхались и проходили мимо. Пальто реалиста было из офицерского сукна с красными петлицами. Фуражка — с темно-синим верхом, красным околышем, и все окантовано желтым кантом. Вообще форма нам, мальчишкам, очень импонировала. Так что в 1908 году в училище был такой наплыв учеников, что не хватило мест, и тогда директор Рафаил Николаевич Самецкий предложил родителям вскладчину пристроить в актовом зале перегородку, где бы разместился так называемый параллельный класс. Так и сделали. Я попал в основной, чем почему-то очень гордился. Великолепное здание училища стоит до сих пор. Там сейчас десятилетка. Построено оно было, кажется, в половине девятнадцатого столетия, а станица в годы Советской власти переименована в город Серафимович. Это здесь родился и проводил свою молодость известный советский писатель, друг Ленина, Александр Серафимович Попов (псевдоним — Серафимович), тут же жили донские писатели, теперь незаслуженно забытые, Роман Кумов и Федор Крюков.

Состав преподавателей нашего училища был хороший. Директор — сухой, немного сгорбленный старичок Р.Н. Самецкий, очень похожий на Шаляпина в гриме Дон Кихота, только ростом поменьше. Заядлый шахматист, он преподавал математику. Меня Рафаил Николаевич любил и называл Коляшей. Колоритной фигурой в училище был инспектор Сергей Александрович Афанасьев — огромный, сутулый хохол, люто страдающий ревматизмом; ходил он, морщась от боли, с палкой; на всю чертовщину, которая творилась в нашей казачьей бурсе, смотрел мрачно, но это был человек золотой души. Мы, кстати, только его и боялись. Он говорил вместо «что» — «шо», и ученики звали его за глаза Серегой. Но самой интересной личностью у нас был мой классный наставник Борис Николаевич Малюга, неоднократно описанный писателем Ф.Д. Крюковым в журнале «Русское Богатство». Оглядываясь назад, имея большой врачебный опыт, я теперь убеждаюсь, что это была глубоко трагикомическая фигура, тяжелый психоневротик, вероятно в молодости или в студенческие годы переживший какую-то политическую коллизию, может быть, он даже побывал в крепких лапах царской жандармерии или охранки. Человек лет сорока, среднего роста, однорукий, лицом он чем-то напоминал молодого Столыпина. Левый рукав его всегда испачканного мелом вицмун-

дира болтался в воздухе. Лицо бледное с фанатическими глазами и большой бородавкой около носа, которую он беспрерывно рвал ногтями. Но больше всего в нашем наставнике поражал его блуждающий взгляд, никогда в отдельности ни на ком не останавливающийся. Это был лютый, неистребимый монархист, буквально с патологическим уклоном. И вот именно на этой-то почве в классах, где он преподавал, разыгрывались ежедневные сцены. На его уроках поэтому обязательно присутствовали или директор, или мрачный инспектор Серега — чтобы водворить сугубый порядок.

В нашем классе с первых же дней вышли на первый план три коновода. Мордастый, похожий на Чингисхана, второгодник Федька Малахов, всех безапелляционно под себя подмявший мальчишка с могучими мускулами, и поджарый, желчный Пашка Сенюткин, почему-то невзлюбивший меня с первого взгляда и наводивший до самой своей смерти на меня панический ужас. Он утонул на Пасху в Дону. Кроме этих двух был еще Семка Гаврилов, тоже второгодник, белесый дылда. Он, кажется, дошел со мною до выпуска в 1915 году. Так вот, эта тройка верховодила в нашем классе и, помню, какой-то лютой ненавистью ненавидела Малюгу. Борис Николаевич, как все очень нервные люди, был экспансивен и быстр в движениях. На стул за кафедрой садился как-то рывком, с разбегу. Эту особенность посадки классного наставника учел, кажется, Пашка Сенюткин и прикрепил в сиденье кресла стальное перо острием вверх. Показывая классу кулак, мрачно сказал:

— Убью, если кто скажет, кто это сделал!

И вот урок. Влетевший в класс Малюга с размаху брякнулся на стул и вопя благим матом сорвался с места:

— Разбойники! Тачки вам возить, каторжникам!

На крик в класс явился директор. Опросил весь класс. Сенюткин не был выдан, за что мы всем классом отсидели чуть ли не неделю без обеда.

Я был примерным учеником, помня завет деда. Малюга меня любил. Но скоро пришло время, когда наш историк и меня возненавидел. А случилось это так. Малюга каллиграфически писал, и его записи в журнале всегда были образцовы. Особенно красиво он ставил жирные единицы — колы, как у нас говорили. И вот однажды перо, которое лежало на учительском столе, сломали и решили, чтобы никто своего пера для записи в журнал Малюге не давал. Даст Малахов. Так и было. Пришел Малюга. Смотрит — пера нет. Просит у одного, другого, третьего. Нет. Говорят, что забыли. Тогда с «камчатки» встает Малахов и несет Малюге полено, в которое вставлено перо.

— Это что?

— Перо с ручкой, Борис Николаевич. Я так привык писать, — говорит Малахов.

Малюга ставит ему кол за поведение и убегает за инспектором. Через некоторое время, кряхтя от боли, в класс вваливается Серега, отчитывает нас и садится на мою парту рядом со мной. Класс замирает. Почему-то у меня в кармане оказался стручок красного, острого перца, без которого дед никогда не ел борща. Наверное, для

него я и сорвал тот перец на огороде. Вставив в ручку новое перо, я, любуясь им, несколько раз погрузил его в этот ядовитый, страшно щиплющий стручок, и в желобке пера осталась ядовитая мякоть стручка. Вдруг Малюга, глядя на меня, говорит:

— Келин, дайте перо!

Я, как ни в чем не бывало, подаю, он, сладко щурясь, шепчет:

— Новенькое...

И вдруг, прежде чем обмакнуть перо в чернильницу, он лизнул его. Что потом было — трудно описать!.. Малюга взвыл, выпучил глаза и начал отчаянно отплевываться, стараясь избавиться от ядовитой слюны.

— Мерзавец... отравил! — ревел Малюга. Удивленный инспектор, сидящий рядом со мной, недоумевающе, но грозно спросил тогда:

— Шо такое стало?

Я принялся объяснять, мол, играя с пером, вымазал его стручковым перцем и никак не знал, что Борис Николаевич будет лизать перо. Серега укоризненно посмотрел на Малюгу и пробурчал:

— А вы, Борис Николаевич, всякую пакость не лижите! — и вышел из класса. Через минуту вылетел и я. Так Малюга невзлюбил меня, а я его почему-то всегда жалел.

Но был в темном царстве нашей казачьей бурсы и светлый луч. Как-то в училище появился молодой, высокий преподаватель естественной истории Василий Васильевич Костылев. Этот восторженный человек, казалось, без остатка вбирающий всего вас в свою добрую душу, пробыл у нас не более полутора лет, а потом внезапно и бесследно исчез. Поговаривали, что он был политически неблагонадежным, поэтому начальство нигде его долго не задерживало. Василий Васильевич откуда-то из Москвы выписал для нас новый учебник по естественной истории, который заменил нам старый неинтересный, утвержденный Министерством народного просвещения. Как сейчас, помню вкладку на меловой бумаге, где был изображен розовый тюльпан во всех стадиях своего развития. Костылев сумел заинтересовать нас опытами в физическом кабинете, его всегда с нетерпением ждали и любили как доброго старшего товарища.

А самым любимым моим учителем был милейший Сергей Александрович Пинус, преподаватель русского языка. С первого до седьмого класса Сергей Александрович вел меня и держал надо мною охранную руку, может быть, именно он помог мне получить отличный аттестат зрелости, открывший двери во все учебные заведения России. Человек небольшого роста, совершенно лысый, с продолговатым, задумчивым лицом философа и небольшой рыжеватой бородкой, втихомолку он выпивал и страстно увлекался поэзией. Были даже одна или две книжки с переводами Сергея Александровича с древнегреческих классиков. Этот человек помог мне на всю жизнь полюбить русскую литературу, а на выпускных экзаменах буквально спас меня от провала по математике. Но об этом чуть позже. Прежде расскажу о преподавателе математики.

Иосиф Яковлевич Герштейн, еврей по национальности, был моим заклятым врагом, последовательным и упорным. Не знаю,

как этот человек попал к нам в область Войска Донского, куда из-за черты оседлости въезд евреям был запрещен. Впрочем, евреи, получившие высшее образование, из этого правила исключались. Так вот, этот крепко сбитый, с чудесными карими, всегда насмешливыми глазами, необыкновенно аккуратный человек инстинктивно и люто невзлюбил меня. Вероятно, он чувствовал, что я терпеть не могу математику. А мы в реальном проходили уже интегральные и дифференциальные исчисления, анализ бесконечно малых величин. Училище-то главным образом готовило кадры в высшие технические учебные заведения. И вот Герштейн решил меня переделать. Помню, входя в класс, он отрывисто бросал:

— Келин! К доске! — И, подумав, добавлял: — Плести лапти...

Я сокрушенно и не спеша выходил из-за парты и неверными шагами шел к страшной доске. Давал математик самые обыкновенные задачи или теоремы для доказательства, но я потел, нервно ломал мел, беспомощно косился на класс, откуда слышались подсказки друзей. А тут Иосиф Яковлевич, улыбаясь и не повышая голоса, обычно говорил:

— Садитесь, Келин! Это сон пегой кобылы, а не доказательство теоремы.

Но самый главный удар по мне Герштейн оставил на конец, на священный день, когда мы сдавали экзамен на аттестат зрелости. Герштейн знал, что мне, одному из первых учеников по всем предметам, усиленно помогает по математике целый класс, и особенно математики, которые терпеть не могли науки гуманитарные и которым я часто писал сочинения по русскому языку. Они плотным кольцом всегда сидели вокруг меня в критические моменты контрольных работ по математике. То же самое было решено проделать и на выпускном экзамене на аттестат зрелости. Помню большой класс около актового зала. Садимся. Я посередине, а вокруг лучшие математики класса. Значит, дело в шляпе. Но Герштейн оказался хитрее нас. Продиктовав задачи, он молча подошел ко мне, взял за руку и саркастически процедил:

— Келин, идите за мной. Возьмите бумагу и задачи!

Холодея, я встаю и, как в тумане, иду за Герштейном. И куда бы, вы думаете, он привел меня? В актовый зал, где писали письменную работу по французскому языку ученики 5 класса!..

— Решайте, Келин, задачу. Решите — сдайте мне или комиссии, — сказал и ушел.

Я печально начал рисовать птичек на черновике, сразу же поняв, что задачи мне не решить. На экзаменах обычно между партами ходили так называемые ассистенты, следящие за порядком и за тем, чтобы ученики не списывали друг у друга. Обычно это были преподаватели училища. И вдруг — о чудо! — молча по проходу зала идет, заложив руки за спину, встревоженный Пинус, мой кумир, учитель русского языка. Проходя мимо, он на секунду останавливается и тихо спрашивает:

— Ну, как, не решите?

— Нет, Сергей Александрович, — безнадежно шепчу я и продолжаю рисовать птичек. Пинус молча уходит. Минут через двадцать Сергей Александрович появляется снова и молча кладет мне на парту решенную задачу. Спасен! Начинаю лихорадочно переписывать набело и не замечаю, как пропускаю одно действие. Обождав для приличия еще с полчаса, сдаю работу.

На второй день был перерыв между экзаменами. Пробегая по улице, встречаю Герштейна.

— Послушайте, Келин, — мило улыбаясь, говорит математик, — вы, кажется, творите чудеса...

— А в чем дело, Иосиф Яковлевич? — чувствуя подвох, спрашиваю я с недоумением.

— Скажите, пожалуйста, во-первых: как вы вообще решили задачу? — А потом, помолчав, как по голове обухом: — И почему у вас не хватает в решении задачи одного действия? Логики в работе нет, но задача решена правильно.

Мысли мои проносятся молниями. Мне кажется, что вот Герштейн затянет сейчас меня в училище или домой и заставит повторить решение. Охватывает ужас — ведь я из-за нелюбви к математике даже не попробовал осмыслить ту задачку. Если позовет — крышка.

— Вероятно, Иосиф Яковлевич, пропущенное действие я не переписал с черновика или промокалки... — Нахожусь я и невинно смотрю на Герштейна.

— Ну, вот, чтобы вы действие на промокалках не писали, я и поставил вам вместо пятерки четверку, — заключил Герштейн, ехидно улыбаясь, и пошел вниз по Воскресенской улице.

Через несколько дней предстоял устный экзамен по математике. Не сплю ночей, стараясь нагнать безвозвратно упущенное. На балконе для этого держу ведро с ледяной колодезной водой и, когда нестерпимо слипаются глаза, я окунаю голову в это ведро, чтобы согнать неотвязный сон. Помогает. Но однажды со мной и моим компаньоном, с которым вместе готовились к выпускным экзаменам, случилось следующее.

К нам в станицу из Варшавы приехал знатный польский шляхтич Вацлав Лигенза-Невьяровский — сдавать в нашем училище экзамены на аттестат зрелости. В Варшаве, как он говорил, этому мешали женщины. Врач училища, он же городской врач, Маркиан Иванович Алексеев, который в начале гражданской войны спас мне жизнь (об этом чуть позже), порекомендовал ему поселиться у нас и готовиться вместе. И вот этот изящный и потрясающе вежливый поляк расположился со мною в моей комнате. В одну из душных ночей, утомленные зубрежкой, мы уснули как убитые. Электричества в доме не было. Пользовались большой керосиновой лампой под белым абажуром. Проснувшись под утро, я смотрю на постель Вацлава и вижу, что там лежит негр! А Вацлав, открыв голубые глаза, протирает их и начинает бешено хохотать, глядя на меня. На столе догорает лампа. Из стеклянного цилиндра, как султан, вьется язык черной, дрожащей копоти...

Ну и досталось же нам потом от нашей добрейшей бабушки Евфимии Борисовны. Но при экзаменах все прощалось. На мате-

матику, кажется последний, я явился в полном вооружении — во всех карманах десятки шпаргалок, а главное, на внутренней стороне форменного пояса, у самой бляхи, где подвернут конец ремня, переписаны самые сложные, не поддающиеся запоминанию формулы. Писал тушью — четко и ясно — достаточно запустить палец руки за пояс, высунуть конец его и, скосив глаза, переписать.

Помню, у доски, пользуясь всеми этими атрибутами, принялся решать задачу. Все шло хорошо. Вдруг за спиной слышу иронический шепот директора училища Самецкого, пришедшего посмотреть на выпускные экзамены.

— Тонешь, Коляша?

— Нет, Рафаил Николаевич, все хорошо.

— А почему же ты за спасательный пояс держишься? — говорит добрый старик и, шаркая туфлями, выходит из класса.

Я оканчиваю задачу и тоже выхожу. В коридоре меня встречает ревущая толпа одноклассников:

— Ну, как? Что?

— Думаю, что пятерка, — отвечаю и пробираюсь из толпы, чтобы сообщить радостную весть дома. Но счастье было, как оказалось, коротко и надежды на благополучный исход преждевременны. Открылась дверь экзаменационной, и второй учитель математики — рослый, хлыщеватый поляк Казимир Владиславович — истошно кричит:

— Келин, назад! Идите сюда!

Я с душой в пятках возвращаюсь в класс и вижу Герштейна, что-то объясняющего комиссии.

— Послушайте, Келин, — обращается он ко мне. — Комиссия не может понять: как вы, плохо знающий математику, блестяще решили письменную и сейчас на пятерку сдали устно? Возьмите мел. Пишите.

Мне надиктовали новую задачу, которую я под пристальными взглядами нескольких церберов, конечно, не решил. Поставленная пятерка была переправлена на четверку, и так у меня в аттестате зрелости за исключением всех пятерок по остальным предметам остались две четверки по математике.

Заканчивая воспоминания об училище, расскажу об одном памятном для меня случае, который, признаюсь, долго травмировал мою психику. Усть-Медведица была в 40 верстах от моей родной станицы Клетской. На все каникулы — летние, пасхальные и Рождественские — мы, конечно, перебирались туда, на место нашего безмятежного детства. Ехали или на санях по замерзшему Дону, или в тарантасе. Не помню точно, в каком я тогда был классе. Кажется, во втором. И вот на 6 января в станице — торжественное водосвятие. Съехалось много казаков из окрестных хуторов. Знаменская-то церковь в Клетской была удивительной красоты. Такой я не видел ни в одной из станиц Дона, даже в окружной Усть-Медведицкой. Говорят, что архитектор перепутал планы и выстроил эту красавицу у нас, хотя она должна была украшать площадь какого-то города или одной из окружных станиц. Под пасхальную

заутреню мой первый учитель Ефим Игнатьевич Фролов, большой затейник, с ватагой станичных мальчишек, как правило, украшал все карнизы церкви, чуть ли не до самых крестов, ярко горящими плошками. Для этого заранее заготавливали сало, фитили. Церковь светилась, как реющее в воздухе бесплотное видение, а с колокольни плыл неповторимый, бархатный баритон огромного колокола, слышимого на 20 верст в округе. Помню, когда изумительный мастер своего дела Иван Курносов начинал трезвонить на шести колоколах нашей колокольни, то сладко замирало сердце, неописуемый восторг наполнял душу и хотелось или плакать от радости, или смеяться. Однажды я не выдержал переполнившего меня восторга при изумительном перезвоне колоколов на Пасху и пошел вприсядку. Присутствовавший при этом отец, сам натура очень чуткая, не понял меня и дал мне подзатыльник.

— Вот, болван! Там святая заутреня идет, а он пляшет...

Так вот, началось водосвятие, торжественное и, как всегда, длинное. На дворе стоял лютый крещенский мороз. Я, помню, в новенькой шинели и сибирской мохнатой папахе,как тогда ходили, забрался на колокольню к самым колоколам, чтобы лучше видеть торжество, и устроился поудобней около одной из решеток. И вот, опершись подбородком о ту решетку, я ни с того ни с сего вдруг лизнул железную перекладину. Язык моментально примерз к железу. Пробую оторвать его силой — не получается. Скребу ногтями. А язык с каждым движением прилипает все больше и больше. Единственный способ освободиться — это поливать язык и железо водой. Но воды на колокольне нет, и я с глазами, полными ужаса, начинаю глухо мычать и отскребать язык от железа зубами. Кровь течет по подбородку, по моей новой щеголеватой шинели, и я наконец освобождаюсь.

С тех пор праздник Крещения был для меня самым тяжелым днем в году. Что еще добавить ко всему этому? Реальное училище я закончил блестяще и получил право на поступление во все высшие учебные заведения империи. Но уже шла первая мировая война, и вместо учебы я угодил на военную службу вольноопределяющимся. Дед нанял мне какого-то старого учителя семинарии, латиниста, который должен был за три месяца каникул натаскать меня на дополнительный экзамен по латыни, как это у нас часто делалось. Этот экзамен сдавался в учебном округе в Харькове. Я взял пару уроков, прозанимался месяц, потом плюнул на это дело и махнул в Клетскую.

ПЕРЕД БУРЕЙ

Прежде чем перейти к описанию событий, изломавших мою жизнь, как, впрочем, и большинства моих соотечественников, расскажу о самом для меня дорогом — о медицине, о том, как я пришел к ней, как стал врачом.

Еще когда мы жили в Клетской, в нашем старом доме, мальчонком, помню, забирался я в угол, где висели шубы, и наслаждался запахами йодоформа и карболки от приходившего к нам

фельдшера. А во втором классе училища меня уже прозвали доктором, и вот по какому поводу. Был у нас в классе ученик Федя Долгов. Большого роста, статный. Парень хоть куда. Но вот беда — от рождения у него был поразительно красный нос. Это, конечно, мучило Федю. Любя беззаветно медицину, я часто проводил каникулы да и вообще свободное время в нашей земской больнице, помогая там в аптечке готовить мази и порошки, а позже даже удостаивался чести сидеть у стола в станичной амбулатории, когда фельдшер или знакомый врач принимали больных. Дома у меня был целый шкаф со всевозможными лекарствами, а вместо марок я собирал сигнатуры рецептов, как тогда делали в аптеках, когда выдавали лекарство: рецепт врача оставляли в аптеке, а копия на длинной бумажке — сигнатуре прикреплялась к выдаваемому лекарству. Из прочитанных медицинских учебников, которых у меня было полно (дед вместо подарков привозил), я знал, что йод вообще рассматривается как отвлекающее. Ну, раз у Феди нос красный, а йод отвлекающее, так легко помочь. Отвлечем покраснение внутрь. Я предложил Феде помощь, и он согласился.

Придя домой, я решил приготовить Феде мазь на нос. В аптечке была у меня баночка с кристаллическим йодом, из которого делаются настойки и мази. Подумал: настойка слишком банальна. Приготовлю мазь. Беру ланолин, вазелин и кристаллики йода. Утром передаю Долгову этот состав, советую сделать из бинта так называемый пращ и завязать нос на ночь.

На второй день иду в школу. Ищу Долгова, но его еще нет. И вот перед самым уроком вваливается Федя. У носа держит носовой платок и, подойдя ко мне, с размаху бьет меня по голове тяжелым ранцем.

— Погляди, что ты со мною сделал, дурак! — Он отнимает от носа платок — и класс покатывается от смеха. Вместо носа у Феди сплошное кровавое пятно: кожа слезла всюду, где ночью была приложена моя «целебная» мазь...

Таким образом Федя стал первым моим пациентом, а я получил на все время моего пребывания в реальном кличку «доктор». Простите мне это маленькое отступление, но без него не совсем ясен был бы мой дальнейший жизненный путь.

Приехав домой и сняв копии с документов, я сейчас же подал прошение в Императорский Лесной институт имени Павла I в Петрограде, а на всякий случай копию аттестата на экономическое отделение Петроградского Политехнического института имени Петра I. Туда принимали абсолютно всех, кто окончил среднюю школу. Почта в Клетскую приходила два раза в неделю: в среду и субботу. Возил ее на почтовых Яков Лавров, брат нашего аптекаря, из Усть-Медведицы. Приезжал вооруженный шашкой и револьвером, обложенный кожаными баулами. По этим дням у почты обычно ждала его целая толпа жителей станицы.

В один из вечеров я, обрадованный до слез, принес домой пакет с зеленой казенной печатью из Петрограда: приняли в Лесной институт! За ним вскоре пришел и пакет из Политехнического —

тоже зачислили. Все, казалось, было бы в порядке, но вот почтмейстер привез толстый пакет с сургучной печатью и фирменной надписью Лесного института. Вскрываю тут же и с недоумением читаю: «Ввиду того что вы не прошли по конкурсу, возвращаем вам ваше прошение и аттестат зрелости». Теперь у меня на руках было два удостоверения — на одном написано, что я принят, а на втором, что нет. Иду, ошеломленный, домой. Вся семья в панике: 15 или 16 августа призыв в армию тех, кто не попал в высшую школу. Правда, у меня про запас есть еще удостоверение о приеме в Политехнический, но туда мне совершенно не хочется.

Рассвирепевший дед заявляет:

— Вот, мерзавцы! Наверное, чиновники на место нашего кого-нибудь из маменькиных сынков приняли. Завтра в четыре часа утра едем в Питер.

До станции Лог 60 верст, потом до Питера почти трое суток — и мы в канцелярии института. За столом перебирает бумаги какой-то циклоп — одноглазый чинуша с черной повязкой по лицу.

— Что изволите? — спрашивает у приготовившегося к бою деда.

— Вот ваше извещение о принятии моего внука в институт, — вкрадчиво начинает дед и протягивает бумажку. — Пожалуйста, покажите его документы.

— Но он же принят, и документы пока останутся у нас, — говорит циклоп, предчувствуя что-то неладное. Тогда дед, разъярившись, бросает ему мой аттестат, возвращенное прошение и извещение о том, что я не прошел по конкурсу. Что тут было — предоставляю вообразить себе читателю. На крик в канцелярию степенной походкой вошел грузный мужчина и, смотря через очки на ту сцену, тихо спросил:

— Господа! В чем дело? Что тут случилось?

Дед, обернувшись к нему, поинтересовался:

— А с кем имею честь? Кто вы такой?

— Я директор института Александр Петрович Фан дер Флит.

Это был знаменитый профессор, который читал теорию корабля на кораблестроительном отделении Политехнического института и по совместительству исполнял обязанности директора Лесного. Подтянувшийся дед щелкнул каблуками, представился и неожиданно выпалил:

— Посмотрите, ваше превосходительство, что этот вот молодчик у вас делает. Он думал, что мы, мол, глухая провинция, проглотим, но он забыл, что мы казаки! Я бы из него душу вытряс!

Директор все уладил и, глядя на расходившегося старого казака, приказал протелефонировать в Петроградское воинское присутствие, что такой-то является студентом института и освобождается от военной службы. С легким сердцем дед затем завел меня куда-то в Гостиный двор и купил два комплекта институтской формы. Одна пара была праздничной, вторая — для будней. Облачившись прямо в магазине в новую форму, я чувствовал себя именинником. Пришли на Пушкинскую в номера Пименова, где дед после смерти

брата всегда останавливался. Это первая улица влево, если идти от бывшей Знаменской площади к Адмиралтейству, недалеко от памятника Пушкину. Сняли мы комнату во втором этаже. Я к этому времени уже начинал покуривать, конечно, в строжайшей тайне от деда, который, чтобы я не пристрастился к этой пагубной привычке, сам бросил курить. И вот сидим как-то в номере и закусываем. Кто-то постучал.

— Войдите!

В дверях показывается лохматая фигура.

— Господин студент! Ради Бога, одолжите спички! — просит незнакомец.

Я вспыхнул, зная, что он встречал меня в коридоре с папиросой, и, вскочив, рванул вниз за спичками. Вскоре я вошел в узкую полутемную комнату, где у окна на столе в беспорядке были расставлены бутылки, закуска, разложенная на бумажках. В номере было сизо от дыма. На полу валялись книги, а за столом сидели еще два субъекта.

— Познакомимся! — говорит тот, кому я бегал за спичками. — Александр Грин. Пишу, видите ли... А вот он, — показывает на соседа, — лучший поэт России...

Это был Блок.

— Садитесь и берите рюмку! За ваше здоровье!

И так мы сидели, пока бутылка не оказалась пустой. Тогда Грин встал, взял одну или две свои книги, как сейчас помню, в зеленых обложках и, спросив мою фамилию, размашисто надписал: «Моему молодому другу на память. А. Грин». Но этим, к сожалению,дело не кончилось. По-видимому, ни у Грина, ни у Блока в данный момент не было денег, а попойке предстояло продолжиться. Тогда Грин решительно заявил:

— А теперь вы, молодой человек, сбегайте за водкой!

Я совершенно растерялся и говорю:

— Но у меня нет денег!

На это Грин:

— А зачем вам тужурка и рубаха? Тужурку сейчас продадим!

Ошарашенный и вконец растерянный, я сорвался со стула и вылетел из комнаты. Так состоялось и окончилось мое мимолетное знакомство с замечательным русским писателем Грином и гениальным Блоком. На своем жизненном пути я встречался с чопорным и надутым Буниным и с суматошной, но оригинальной писательницей Мариеттой Шагинян. Обе встречи произошли в Праге, но эта встреча в Петрограде с Грином и Блоком почему-то особенно остро запала мне в память.

С легким сердцем мы возвратились домой в станицу, где бабка обмерла от радости, узрев меня в невиданной форме. Но недолго я пробыл в любимой станице, покупался в батюшке-Дону. В одну из наших рыбалок с моими станишными друзьями в июле 1914-го от сестер, пришедших к Дону навестить нас, я узнал о начавшейся мировой войне. Тогда я проделал от восторга воинственный танец, и, помню, от страха у меня сжалось сердце при мелькнувшей

мысли: как бы эта война не окончилась раньше, чем я на нее попаду...

Судьба решила иначе. Приближалось начало занятий в институте, и вскоре я отправился в путь. Провожая меня, дед посуровел и, глядя в глаза, сказал:

— Смотри, Коля, будь осторожен. Не запутайся там... Помни — на большую дорогу тебя посылаю! Ты будешь первым в нашем роду, кому посчастливилось пойти в высшую школу. Вот окончишь, тогда делай что хочешь — твое дело.

Так я расстался со станицей и юностью и вышел в широкий неласковый свет. В Петрограде я поселился в Лесном, где-то у Серебряных прудов на 2-м Муринском. Жил в комнатушке один, но скоро перебрался в огромную, вечно студеную комнату, к своим приятелям. Из них в памяти остался только наш усть-медведицкий Сашка Крюков, поджарый, с хрящевитым носом казак, которому дед регулярно присылал из станицы по копейкам собранные три рубля и который почему-то этого стыдился.

В институте я появлялся только на лекциях и практических занятиях по предметам, общим с медицинским факультетом, больше околачивался около Военно-медицинской академии на Выборгской стороне и, конечно, у студентов-медиков. А война шла. По городу ползли зловещие слухи о выходках сибирского мужика при императорском дворе. Газеты были полны сенсаций. С фронта поступали тревожные слухи о том, что в кровопролитных боях выбили почти весь кадровый офицерский состав, что царь, по совету английского посла Бьюкенена, отослал гвардейские полки, охраняющие трон и столицу на фронт, — чтобы они овеяли свои гвардейские знамена боевым, пороховым дымом. И что их там пустили в лобовые атаки на пулеметы и колючую проволоку, а в столицу якобы вернулись только овеянные порохом знамена — гвардейцев повыбили. Поговаривали, что это хорошо, так как в состав гвардейских полков при пополнении легко вольются революционные элементы. Недалекое будущее это подтвердило.

В Петрограде жила семья Михеевых, куда я хаживал очень часто. Там меня, неотесанного, степного мальчишку, учили светским манерам. Семья состояла из пожилой дамы и ее сына, студента-кораблестроителя. Муж этой дамы, полковник артиллерии, сошелся с подругой моей матери модисткой Еленой Одинцовой, а сына Митю и жену бросил. Они постоянно жили в Питере, а Андрей Степанович в Усть-Медведицкой, где я с ним часто встречался. Его брат, генерал от кавалерии Александр Степанович Михеев, в бытность свою наказным атаманом Терского войска ловил знаменитого на Кавказе Зелим-Хана, а впоследствии был назначен или в Сенат, или в Государственный совет. Раз или два по дороге в Петербург он заезжал к нам в Клетскую, останавливался у нас и вел с дедом долгие беседы. Единственный сын этого сенатора был флигель-адъютантом последнего царя.

Приблизительно через месяц после приезда в Питер я решил попытаться, используя свои новые знакомства, попасть в Военно-

медицинскую академию. Поговорил с флигель-адъютантом, и он дал мне письмо к лейб-медику Двора Ивану Павловичу Жегалову, который снабдил меня рекомендацией к начальнику академии генерал-майору Маковееву. Написав прошение и захватив рекомендательное письмо, бодро являюсь в академию. В вестибюле — ливрейный цербер. Спрашиваю:

— Могу к начальнику?

— Нет! Сегодня нет приема.

Тогда, подавая ему письмо Жегалова и широко улыбаясь, выпаливаю:

— Передайте — я от лейб-медика Двора.

Картина моментально меняется: швейцар щелкает каблуками, почтительно берет письмо, и через минуту я вхожу в кабинет начальника академии. Маковеев, рыжеватый, плотный старик, стоит против меня за конторкой и смотрит через очки, сдвинутые на кончик носа.

— Ну-с, что скажете, молодой человек? Вы знакомы с Иваном Павловичем? — спрашивает он внимательно, как-то по-бычьи рассматривая меня.

— Да, знаком. Я прошу ваше превосходительство принять меня в число слушателей Военно-медицинской академии. Моя заветная мечта! — выпаливаю я.

— А латынь?

— Латынь сдам в течение года, ваше превосходительство!

— Хорошо. Вы приняты. Заказывайте форму и приходите на лекции, — и кладет резолюцию на моем прошении. — Но предупреждаю, если вы не сдадите латынь до Рождества, то я отправлю вас рядовым на фронт! Рекомендую вам остаться в этом году в Лесном, тем более что на первом курсе предметы общие, за исключением разве анатомии. Сдадите там и латынь...

Мысли скачут — прикидываю туда, сюда и соглашаюсь с Маковеевым. А при выходе в коридор меня догоняет присутствовавший при разговоре делопроизводитель и огорчительно говорит:

— Ну и глупость же вы спороли, господин студент! Ну какая же там латынь, если вы придете на экзамены в форме академии? Это же пустая формальность!

Я растерялся и хотел вернуться обратно к начальнику, а делопроизводитель, улыбаясь, добавил:

— Решение менять неудобно, молодой человек. Так-то. Нужно было сразу соображать.

Прожженный в столичных интригах чинуша, по-видимому, не знал, что сын Донских степей делает только первые, неуверенные шаги в своих жизненных университетах...

Но вот пришла весна, и меня неудержимо потянуло на простор, в наши лазоревые степи. К тому же упорно начали поговаривать, что правительство вынуждено будет призвать студентов в армию, в военные школы, чтобы пополнить офицерские кадры. Разумеется, я не стал ждать — написал прошение, взял аттестат и махнул прямо к начальнику артиллерийского училища. А дня через два поезд мчал меня на родимый Дон.

НАКАНУНЕ

Пара недель, проведенных на Дону, пролетела, как сон. Отцвели лазоревые цветики, и, попрощавшись с обмершей бабкой и сурово настороженным дедом, я через необъятную матушку-Россию помчался в Петроград. Константиновское артиллерийское училище встретило меня массой новых, невиданных впечатлений. Наш курс состоял не из кадет, как обычно, — на этот раз собрались сплошь студенты, инженеры, судьи, и во всем выпуске оказалось только три кадета. Наука была суровой, репетиции сменялись репетициями, жизнь бурлила, как в котле, но и за стенами училища было неспокойно.

Шел 1916 год. Как-то декабрьской ночью усатый юнкер Федулов принес свежую газету с сенсационным сообщением об убийстве Распутина. Вся батарея гудела как встревоженный улей до самого утра, пока дежурный по училищу не навел порядок. До производства нас в офицеры оставалась неполная неделя. Поминутно обсуждалось — приедет ли на производство император, как это всегда традиционно бывало в военных училищах столицы.

Наконец наступил долгожданный день. Царь не приехал — вместо него явился генерал Маниковский, начальник артиллерии империи. Плотно сбитый человек среднего роста с бульдожьим, не умеющим улыбаться лицом, поздравил нас с производством в первый офицерский чин. Белый зал вздрогнул он могучего «ура». Маниковский, стоя посреди зала, призывно махнул рукой, ряды смешались, и мы окружили его. Он двинул речь, которая у меня осталась в памяти на всю жизнь.

— Господа офицеры! Сейчас вы разойдетесь по частям. Прошу принять к сведению: приказание, — сказал он раздельно, — исполнять беспрекословно! — Потом, помолчав, добавил: — А кто лезет туда, где опасно и куда не посылали, — дур-р-рак! Разойтись!

Вот и вся речь. Но нам было и не до нее. Впереди маячила заманчивая будущность — тревожная, неизвестная...

Распрощавшись с друзьями, как оказалось, навсегда, я отправился на Невский, накупил там подарков сестрам и на первый день Рождества, весь запорошенный снегом, промерзший, вошел в родительский дом. На второй день уже отбыл в Саратов в распоряжение начальника 4-й запасной артиллерийской бригады, где формировались батареи, отправляющиеся на фронт, и где я встретил февральскую революцию. По дороге меня обворовали. До сих пор жаль чудесного портсигара, который на радостях купил себе на Невском...

В бригаде я получил назначение во 2-ю батарею. Командовал ею полковник Тархов, старшим офицером был милый пожилой прапорщик запаса Усов. Других офицеров я не помню. Командиром дивизиона был занозистый, барского вида, поляк полковник Завадский, которого в начале революции убили солдаты. А бригадой в Саратове командовал генерал-майор Заяц — мужчина плотный и добродушный, похожий на соборного дьякона. С места в карьер

я подал ему рапорт с просьбой об отправке меня на фронт, но сразу же получил нагоняй:

— Ждать! Начальство лучше знает!..

Я устроился недалеко от Ильинских казарм, где была расположена бригада, и стал ждать. Саратов — город как город. Масса войск. Широкая красавица Волга с ее пристанями, где снуют пароходы обществ «Самолет» и «Меркурий». Главная магистраль — Скобелевская — переименована из Немецкой. Тут недалеко были немецкие колонии Поволжья. А на другом берегу туманным пятном распласталась слобода Покровская. В городе постоянно пахло жареными подсолнухами, так как на окраине — маслобойные заводы, мимо них ежедневно я проезжал в Артиллерийский городок.

В одно из февральских воскресений в конце месяца отсыпался. В половине двенадцатого меня вдруг разбудил мой денщик Василий и доложил, что из бригады явился связной и принес мне казенный пакет. Срочный! Вскрываю конверт и читаю: «С получением сего явитесь к 12 часам дня в Государственный банк на Константиновской в распоряжение полковника Генерального штаба...» Смотрю на часы и — о ужас! — времени в обрез, а конь в Ильинских казармах, а я в постели... Вскакиваю, посылаю Василия за извозчиком и, забыв надеть шашку, стрелой вылетаю на улицу. Извозчик уже ждет. Василий приносит шашку, и мы во всю лошадиную прыть влетаем ровно в 12 часов на Константиновскую.

На улице у Государственного банка масса подвод. На розвальнях сидят полицейские, около каждых саней — конный солдат. Во дворе — суматоха. Чиновники и солдаты с огромным напряжением вытаскивают из подвалов во двор банка небольшие, приблизительно метр на полтора, ящики с какими-то номерами и знаками. Нахожу полковника, рапортую и получаю приказ принять команду над охраной — до распоряжения. Странные ящики по два ставят на дровни. Я в недоумении спрашиваю у подвернувшегося чиновника банка:

— Что это такое?

Он, улыбаясь, отвечает:

— А вы попробуйте, господин офицер, поднять ящик.

Я обеими руками ухватился за канатную петлю и не смог даже оторвать ящика от земли.

— Ого! Что же это такое?

Чиновник таинственно зашептал, наклонясь к моему уху:

— Часть золотого запаса государства Российского, господин офицер, — потом оглянулся и добавил: — В Питере будто бы неспокойно. Запас пойдет в Сибирь... Или в Самару, или в Уфу...

Забегая на много лет вперед, скажу, что я и много других русских студентов — государственных стипендиатов в Чехословакии, впоследствии учились, по-видимому, на проценты охраняемого мною когда-то золотого запаса. Во всяком случае, упорно говорили, что чешские легионеры тот запас вывезли к себе через Владивосток. Иначе, на какие бы деньги в Праге в начале двадцатых годов был основан один из богатейших банков страны, так

называемый Легиобанк. Да и ходившие к моему тестю высокопоставленные русские чехи эту версию подтверждали. Так или иначе, волею судеб я принимал в погрузке золотого запаса деятельное участие. А приехав в Золотую Прагу, окончил там медицинский факультет Карлова университета, твердо уверенный, что учусь на проценты с русского золота, которое я помогал грузить в феврале 1917-го в Саратове.

...Еще вечером 28 февраля ничто будто бы не предвещало никаких событий. Ходили, как обычно, трамваи, гоняли извозчики — все казалось обычным и будничным. Саратов готовился спать. Я был назначен дежурным офицером по гарнизону и, проверив караулы у пороховых погребов за городом, пошел наверх в помещение, где обычно проводил ночь дежурный офицер.

И вот уже после двенадцати слышу шаги — уверенные, солдатские. Вскакиваю. Входит, держа руку под козырек, начальник караула и взволнованно рапортует:

— Ваше благородие! В батареях неспокойно. Мы задержали какого-то вольноопределяющегося с кипою листовок. Раздавал по батареям. Солдаты волнуются.

— Ведите задержанного сюда! — приказываю караульному начальнику. Через несколько минут ко мне приводят вольноопределяющегося с большой кипой прокламаций под мышкой. Парень лет двадцати пяти, самоуверенный, наглый. Строго смотря на него, спрашиваю:

— Послушайте, что это вы делаете? Знаете, что за такие штуки военно-полевой суд?.. Сдайте сейчас же прокламации караульному. Я вынужден вас задержать!

Но вольноопределяющийся, по-видимому, калач тертый и, вероятно, знает, что делает.

— Не делайте этого, ваше благородие. Это могло бы принести вам много неприятностей, — твердо заявляет он.

Я, политически совершенно неграмотный, буквально опешил перед этим типом. Но долг взял свое, и я строго заявил, что должен снестись по телефону с начальником бригады. Звоню генералу. Телефон молчит. Звоню командиру дивизиона полковнику Завадскому. Тихо. Звоню полковнику Тарзову, командиру моей батареи. Результат тот же. А между тем вольноопределяющийся исчез, унтер, растерянный начальник караула, говорит:

— *Посмотрите, ваше благородие, что в казармах делается...*

Не решившись сделать выговор отпустившему агитатора унтеру, я с бьющимся сердцем иду в казарму. Во дворе невообразимый хаос, шум, крики... В конюшнях ржут встревоженные кони. Всюду бегают солдаты с фонарями. Ездовые выводят лошадей и запрягают в орудия. Где-то в глубине двора у цейхгаузов требуют почему-то выдачи боевых патронов. Вообще суматоха несусветная. Тогда я подхожу к орудию, становлюсь на верхнюю часть лафета и, стараясь перекричать толпу, обращаюсь к солдатам:

— Братцы! Да что с вами? Куда же это вы?

Из ближайших рядов отвечают:

— В город, приносить присягу.

— Кому? Как? Ночью? — кричу надрываясь и слышу:

— Царь отрекся от престола... Сейчас из Петрограда сообщение получили. Там революция в полном разгаре...

— Но куда же вы пойдете ночью? Какая может быть присяга сейчас? Подумайте! Это же бессмысленно гнать куда-то сейчас батареи... Все выяснится, и утром пойдем к присяге... — увещеваю я притихшую, но настороженную толпу.

Лошадей выпрягают, разводят по конюшням, а двор продолжает гудеть как встревоженный улей. Думаю, как же надо мало — только искры, только сотни прокламаций, подброшенных исчезнувшим агитатором, — и котел тысячелетней империи взорвался!

Время идет к рассвету. Часов в 6—7, еще затемно, в канцелярии сходятся офицеры, встревоженные, немного растерянные, но командир батареи полковник Тархов тверд, стукнув кулаком о стол, он кричит:

— Сейчас прикажу запрячь батарею и всю эту сволочь картечью разнесу!..

Сдав дежурство, я прошу комбата разрешить мне на белом арабском жеребце съездить в город на разведку — посмотреть, что там делается. Тархов махнул рукой, и я выехал из Ильинских казарм.

Города нельзя было узнать. По улицам шли толпы солдат, у некоторых были расстегнуты шинели, хлястики сзади болтались, что вызывало немалое удивление, так как еще вчера все было строго подтянуто и отвечало воинскому ритуалу. По улицам двигались огромные процессии с неизвестно откуда появившимися лозунгами на красных полотнищах. Вообще красный цвет преобладал. Проехав на Митрофановскую — главную площадь города, где стоял, если не ошибаюсь, губернаторский дворец, я обратил внимание, как в процессию вливались воинские части, толпы пешеходов, и, взвесив ситуацию, возвратился в казармы.

Наши батареи уже получили приказ строиться и готовились к отходу. Взяв вестового, я снова вернулся на площадь, где уже застал начальника гарнизона, нашего бригадного генерала Зайца, стоящего у небольшого столика и аналоя, на котором лежали Евангелие и прочие атрибуты религиозного культа. Рядом, растерянно посматривая по сторонам, стояли священнослужители. Я пробрался поближе к начальнику гарнизона и стал ждать, что будет.

И вот воинским шагом пошли запасные полки. Пошли к присяге Великому князю Михаилу Александровичу, опальному брату отрекшегося царя. Помню, когда прошла уже добрая треть или четверть войск, прискакал ординарец со срочным пакетом генералу Зайцу. Тот, вскрыв пакет, растерянно посмотрел на окружающих его священников и офицеров и взволнованно проворчал:

— Что же, господа, делать? Великий князь Михаил отрекся от престола... Присягать надо Временному правительству... Вернуть войска?

— Нет, ваше превосходительство, это внесет панику, хаос. Пусть войска идут дальше — им все равно, кому присягать! — посоветовал кто-то.

Так старый Саратов встретил февральскую революцию. Дисциплина пала. Всюду собирались митинги, с балкона губернаторского дворца лились бесконечные речи в толпу, которая всегда кружилась на площади. Иногда, проезжая через площадь, я слышал, как особо забористые и рьяные ораторы кричали: «Наконец-то Николашка Кровавый сбит с проклятого трона! Ур-р-ра-а!» Некоторые горячие офицеры, еще не сжившиеся с мыслью, что монархия пала, слыша такие выкрики, судорожно хватались за кобуру, где дремал вороненый, безотказный наган. Но, видя лица суровых слушателей этих речей, встряхивались и, чертыхаясь, уходили от греха. А на улицах люди всюду целовались, как на светлое Христово Воскресение, поздравляли друг друга с великим праздником Революции. Многие офицеры ходили с красными бантами, но дисциплина в войсках сильно упала. Лишь фронт, как я скоро убедился, не дрогнул и стальной стеной стоял против врага.

А пока в Саратове большие толпы народа собирались под балконом губернаторского дворца и слушали, что оттуда говорили большевики — совершенно новое для многих понятие. Выступали с речами Куйбышев, Рыков, видел я там и нашего прапорщика Понтрягина. Помню, как он и его друзья еще задолго до революции собирались в офицерском собрании, о чем-то, по-видимому очень важном, вели дискуссии и моментально замолкали, если кто-либо из нас входил в помещение. Не знаю, к какой партии принадлежал прапорщик, но говорили, что он заседал в городском революционном Совете.

Однажды я присутствовал при страшном самосуде. Выехав как-то на Скобелевскую, вдруг услышал крики и увидел толпу солдат, которые с озверением били какого-то штатского парня в черном замызганном пиджачишке. Один из них, размахивая руками, кричал:

— Последний пятак из кармана украл, вошь тыловая! Вот я тебя звездану!..

Подъехав, я вмешался и урезонил солдата. Тот, кажется, внял уговорам и промямлил:

— А может, и не он взял...

Но было уже поздно. Толпа нарастала, как снежный ком. Бежали бабы, голося во всю глотку, мальчишки, мастеровые, солдаты. Я, чувствуя, чем это кончится, крикнул парню:

— Прыгай ко мне на коня!..

Но вокруг несчастного уже образовался плотный круг кричащих людей. Меня чуть не сбили с коня, и, дав шпоры, я вырвался из давки. Парень, как тряпка на ветру, безвольно и беспомощно болтался во все стороны. Кто-то, захлебываясь дикой злобой, вопил:

— Бей его, сволочь!

И вот сзади подскочила, расталкивая окружающих, здоровая баба и с размаху ударила парня булыжником по голове. Он рухнул на мостовую. Подбегали еще какие-то люди и, глухо урча, били распластанное тело. Через пару минут все было кончено, и толпа расползлась, как дым... Страшен, неукротим необузданный гнев массы. Помню, я погнал жеребца к месту, где произошел самосуд, но от человека не осталось ничего...

А Саратов начинал входить в свою обычную колею. Примелькались многочисленные митинги, что творится в далеком Петрограде — мы не знали, а на фронт, как и раньше, уходили маршевые роты, как и раньше, формировались батареи и дивизионы. И вот наступило время, когда и я должен был отправиться на фронт.

В Саратове формировался 3-й Особый отдельный артиллерийский дивизион, предназначавшийся к отправке во Францию. Но революция смешала все карты, изменила планы, и дивизион попал в 12-ю армию Северного фронта, самого лютого из всех фронтов первой мировой войны.

Проводить меня приехала мать с сестрой Анфисой, которая прихватила с собой свою подругу — огненно-рыжую и сильную, как Иван Поддубный, курсистку, дочь клетского священника Виссариона, который впоследствии спас мне жизнь. Об этом скажу позже. Город за годы войны привык к таким зрелищам и совершенно равнодушно провожал нашу часть к вокзалу. Только сухонькая, похожая на черкешенку моя мама тихо плакала, да сестра смотрела восторженно на меня полными слез близорукими глазами...

Бежал по взвихренной России поезд все дальше и дальше — на запад. От скуки солдаты, а иногда и офицеры стреляли на станциях из наганов в фонари. И вот через несколько веселых дней наш состав подошел к большой, узловой станции Режица, где уже начиналась прифронтовая полоса. Оттуда дивизион, гремя звонкими трехдюймовками, пошел походным порядком к Двинску, на позиции, расположенные вдоль Западной Двины — по ее правому берегу. Издали время от времени доносился глухой рокот нашей и немецкой артиллерии. Попадались отдельные санитарные повозки с ранеными, а на душе было и радостно, и тревожно. Молодость! — неповторимое, золотое время, которое начинаешь ценить, когда оно невозвратно уйдет, оставив лишь легкую дымку сладких воспоминаний.

На участке, который занимал наш дивизион, стояла постоянная, внештатная шестиорудийная батарея, снабженная японскими пушками. Части на участке менялись, но батарея оставалась стоять, и ее только передавали очередной воинской части. Командиром этой батареи меня сразу же и назначили. На батарее был постоянный штат прислуги в составе 150 человек. Я стал их неограниченным начальником и заботился о солдатах так, что после Октябрьского переворота эти ребята настояли, чтобы я остался командиром батареи.

Хочется вспомнить и моих верных соратников — офицеров батареи, с которыми я бывал под обстрелом, делил тяготы фронта. Командиром дивизиона у нас был сухопарый старик полковник Никитин, любитель выпить. Моей батареей командовал георгиевский кавалер Попов, вечно страдающий какой-то прилипчивой болезнью, которую он неизменно лечил той же водкой. Был он большой добряк, рубаха-парень. Все мы его любили. Старший офицер, хитрейший хохол, штабс-капитан Литвиненко был отменным офицером, помню, он часто болел глазами. А моими близкими товарищами стали блестящий математик, впоследствии незаменимый заведующий хозяйством Фофанов и молоденький чернявый прапорщик Усачевский, сын какого-то генерала, который регулярно угощал нас изумительным китайским чаем. Был и еще один офицер, прикомандированный ко мне на батарею, маленький, совершенно бесцветный Володя Фиников. Вот и все. Остальные безвозвратно ушли из моей памяти.

При распределении обязанностей среди младших офицеров меня почему-то назначили заведующим офицерской столовой, что впоследствии давало возможность помогать солдатам моей нештатной батареи. Среди солдат дивизиона я нашел одного пожилого плосконосого солдата, который был поваром института благородных девиц в Новочеркасске. Этот человек имел удивительную способность изготовлять изумительно вкусные вещи буквально из ничего. Офицеры были довольны, а я от него научился так же великолепно готовить все, что угодно, из непритязательных продуктов.

Война, несмотря на революцию, затягивалась, ей не было видно ни конца ни края. Никакой политической деятельности, по крайней мере у нас в дивизионе, не было. Ежедневно стреляли, ели, спали и ждали конца войны. Помню первый серьезный бой. Состязались наши и немецкие батареи. В это время я был уже на своей основной, второй батарее. Когда с визгом вблизи начали ложиться шестидюймовые немецкие снаряды, вероятно с Калиндровской батареи, я получил приказ перестроить параллельный веер. Земля дрожала от страшных взрывов, которые ломали деревья и с корнями вырывали огромные сосны. Прислуга замерла у орудий, ожидая команды. А я стоял похолодевший, у меня дрожал подбородок, и я не мог подать команду. Тогда, видя мое беспомощное состояние, старый фельдфебель спокойно распорядился:

— Чередниченко! Чего рот раззявил — подвинь хобот чуть влево! — а потом следующему номеру орудия: — Ну, а ты не видишь, куда хобот двигать надо?

Положение было спасено, и я, построив веер, начал стрельбу.

В одном из таких вот боев меня накрыло тяжелой волной воздуха от близко взорвавшегося шестидюймового снаряда. Я был контужен, но из строя не выбыл — только долго звенело в ушах и упорно болела голова. Вскоре нас сняли с позиции, и мы присоединились к общему потоку, совершенно не зная, куда и зачем нас ведут. Шли проливные дожди, а я остался только в кожаной куртке — без шинели, без плаща. В сапогах хлюпала вода. Лошади

шатались от усталости, а мы все шли и шли, ночуя в поле под стогами или прямо у орудий. В конце концов я схватил жестокий ревматизм.

Из Петрограда и Кронштадта все чаще к нам стали приезжать агитаторы. Они организовывали солдатские комитеты, офицеры совершенно теряли авторитет, но армия все же держала фронт. Затем как-то на ходу провели выборы в Учредительное собрание, надвигался хаос, и никто не знал, что будет завтра. Говорили, что Корнилов арестован и посажен в Быхов со своими текинцами. Всюду главенствовал «душка» Керенский, которого солдаты не любили и даже ненавидели: «Шут гороховый! С бабами на фронт ездит, сука! Вот его бы в окопы посадить...»

Неуклонно приближался Октябрь. Но на фронт сообщение о новой революции пришло совершенно незаметно. Батареи наши осели в каком-то фольварке недалеко от Вендена, и вот там из приказов по армии мы и узнали о событиях. Ну, а когда пришел приказ об упразднении чинов и званий, когда солдаты стали сами выбирать своих начальников, — тут все стало ясно. В это время наша батарея разместилась во дворе Бургши. Офицеры заняли огромную, как неуютный сарай, комнату латышского дома. На меня производила тяжелое впечатление неприязнь латышей к русским. Большинство из них были суровыми солдатами революции, и их заградительные отряды на железнодорожных станциях, как я впоследствии убедился, были беспощадны. Вокруг шныряли агитаторы, которые требовали немедленного прекращения империалистической войны, говорили, что преступно стрелять по немецкому пролетариату. А вскоре начались выборы. Я стал командиром батареи, прапорщика Фофанова, как офицера очень способного и тихого, оставили заведовать хозяйством. Капитан Попов, георгиевский кавалер, пошел чистить лошадей, а изворотливый Литвиненко в одну из ночей бесследно исчез из батареи. Остальные офицеры тоже куда-то разбрелись. Таким образом, я стал после Октября первым выборным комбатом. Но что-то не радовало меня это. Пехота, побив всех своих офицеров, частенько требовала по полевому телефону, чтобы в батарее сняли золотопогонника, то есть меня, и выбрали бы комбатом солдата. Наши ворчали, мол, это не их дело. Пехота обещала прийти и взять меня на штыки, наши говорили, что встретят их картечью. Таким образом шла эта нисколько не радовавшая меня перебранка, и перед Рождеством 1917 года я предложил комитету назначить выборы, мотивируя это тем, что не нужно раздражать пехоту, что я и так буду помогать новому командиру батареи. Словом, после коротких дебатов командиром выбрали моего вестового Павленко, поразительно похожего на Никиту Хрущева.

Постреливали. Кое-где расправлялись с офицерами, которые чувствовали себя буквально вне закона. Из Ставки пришло сообщение, что исполняющего обязанности главнокомандующего генерала Духонина солдаты приняли на штыки и что назначен новый главнокомандующий прапорщик Крыленко. Появилась крылатая

фраза, от которой мороз шел по коже: «Что ты? Захотел в штаб Духонина?» Это тогда означало верную смерть. Вообще наступили полный хаос и неразбериха. Появилась масса дезертиров. Говорили, что 80-я пехотная дивизия, стоящая неподалеку от нас, снялась самовольно с позиций и открыла фронт. Спешными перегруппировками затыкали ту дыру, но офицерство потянулось куда-то на юг, к Дону, где якобы собирал войска Корнилов или Алексеев. Однако фронт еще держался.

А вскоре пополз слух, что Учредительное собрание разогнано и что будут делить землю, не дожидаясь каких-то решений. И вот еще самое главное: землю получит только тот, кто будет лично присутствовать в деревне при дележе. Фронт как ветром сдуло!.. В течение нескольких дней сермяжная Русь покатилась по непролазным и забитым эшелонами дорогам домой, к своим хатам — делить землю. Не знаю, кто бросил этот лозунг о земле — гениальный и простой. И всюду слышался бешеный крик нетерпеливых солдат:

— Гаврила! Крути!..

Этим грозно-веселым криком хозяева земли заставляли падающих от усталости машинистов поскорее уводить поезда со станций и гнать переполненные составы в глубь клокочущей России. Крыши вагонов, буфера и площадки были усыпаны телами солдат, жадно рвущихся к желанной земле. Многие по дороге засыпали и срывались с крыш, падали и гибли. Такова была извечная тяга русского крестьянина к матушке-земле. Я же долгими зимними вечерами, оставшись один, лежал на походной постели и смотрел в потолок. Жить стало страшно и трудно. Я вертел в руках вороненый, густо смазанный маслом наган, чуть нажимая и отпуская курок. Жизнь казалась конченой, все происходящее кругом непонятным, но вот рука безвольно падала на грудь и наган с грохотом летел на пол. Всегда от последнего шага меня отделяла только одна ниточка-мысль, но ниточка крепкая, как сталь: «Постой! А как же дед Осип? Что скажет он, всю свою жизнь и надежды вложивший в тебя?..» И эта мысль всегда чудодейственно спасала меня.

Незаметно прошло Рождество. На пороге стоял страшный и кровавый 1918 год. Но тогда мы еще не знали об этом. Дни однообразно текли своею чередой. От фронта остались лишь жалкие лоскуты — заслоны от немецких войск, которые почти все свои силы сосредоточили на Западе, где решалась, вопреки логике и элементарной исторической справедливости, судьба первой мировой войны, где огромная Россия спасла Париж, совершив или, вернее, помогла совершить пресловутое «чудо на Марне». По существу, фитиль войны догорал и пребывание на фронте становилось просто бессмысленным. Кое-где постреливали по бывшим офицерам, сводя личные счеты. Ни погон, ни иных знаков отличия уже не было. Я часто ходил к солдатам и, сам ничего не понимая в происходящем, вел с ними беседы. Батарея сильно поредела. Под видом кратковременного отпуска солдаты, собрав жалкие пожит-

ки, уезжали домой, чтобы уже никогда не возвратиться в медленно умирающую боевую семью.

Наступил снежный и лютый январь, и вот как-то тоскливым и неуютным вечером в жуткую метель ко мне зашел взволнованный комбат Павленко, мой бывший вестовой, и говорит:

— Николай Андреевич, я и солдаты беспокоимся, как бы вас не убили пехотинцы. Очень неспокойно. Мы вас ценим, и было бы лучше, если бы вы уехали домой. Офицеры, спасаясь от солдат, бегут на Дон, а вам и бежать не надо — вы ведь с Дона. — Подумав, он решительно добавил: — Один через эту кутерьму вы не проедете. Я дам вам в провожатые двух надежных солдат, и они довезут вас до самого дома...

Много раз потом я вспоминал предусмотрительного и очень умного хохла Павленко, который помог мне выбраться из этого хаоса и благополучно добраться домой, где уже началась иная, очень тяжелая пора моей молодости, время, когда Россия входила на кровавую Голгофу гражданской войны...

И вот в один из вечеров, кажется 10 или 11 января 1918 года, сопровождаемый двумя бравыми солдатами, я на командирских санках отправился на станцию Лоди — покинул фронт. Уезжая навсегда из своей батареи, я бросил все свои офицерские вещи — сундук, купленный в гвардейском экономическом обществе по окончании училища, походную кровать, шинель, двойные сапоги с фильцевой вложкой, седло и даже шашку. Мне тогда казалось, что война окончена навсегда, вот-вот успокоится революционная буря и я снова войду в аудиторию Военно-медицинской академии. Через всю Россию я вез коллекцию — мешок, в котором звенели осколки немецких снарядов, пули и лежали две новенькие гранаты моей 306-й батареи. Несмотря ни на что, азарт коллекционера у меня доминировал надо всем. Сопровождавшие меня солдаты, ехавшие, как говорится, порожняком, перенося этот мешок на многочисленных пересадках, морщились и укоряюще говорили:

— И зачем вы эту пакость, Николай Андреевич, через всю мать-Расею тянете?

Я успокаивал их:

— Деду везу. Он у меня старый артиллерист. Под Шипкой был. Рад будет!..

Но дед... По возвращении домой как-то на балконе я разбирал боевую трубку шрапнели и нечаянно царапнул капсюль с гремучей ртутью — тот оглушительно взорвался. Тогда дед подошел ко мне и как-то сразу, по-казачьи, влепил мне затрещину, а мои шрапнели на веревке спустил в колодезь.

— Чего офицера трогаешь? — вспылил я.

Но дед, бешено сверкнув глазами, крикнул:

— Я тебе дам офицера! Дом взорвешь, чертяка!..

А пока мы еще ехали с фронта. Ночь была морозная, мела метель. До станции Лоди мы добрались совсем замерзшие. Поезда ходили медленно. Билеты, конечно, не продавались. Тогда казалось, что вся Великая Русь села на колеса и куда-то мчится.

Подошел заметенный снегом, оледенелый поезд, до отказа набитый солдатами. Еле-еле втолкались мы на переднюю площадку, позже мои спутники каким-то образом устроили меня у бокового окна на скамейке. Вагон был забит. Многие везли пулеметы, винтовки и даже откуда-то взявшиеся тесаки: все, мол, дома в деревне может пригодиться. Особенно страшно было проезжать через узловые станции. На каждой из них стояли заградительные отряды в основном из неумолимых латышей и нечеловечески страшных китайцев. Обычно, когда останавливался поезд, в вагон, гремя прикладами, вваливался отряд, и, зорко оглядывая пассажиров, латыши или китайцы спрашивали:

— Есть офицеры? Выводи!

Нередко тыча в меня пальцем, допытывались:

— А этот? Не офицер?..

Но мои провожатые, матюкаясь, выпроваживали их:

— Не видишь? Наш! Больной... Иди, иди, а то почешем зубы!

Патруль уходил, так как вагон был не только переполнен солдатами, но и вооружен до зубов. Не помню точно маршрута, по которому солдаты везли меня домой. Состав шел в неизвестном направлении, куда-то в глубь России. Ехали через Псков, Петроград, Москву, проскочили узловую станцию Грязи. Тут я был уже почти дома, так как при моих многократных поездках в Питер я всегда проезжал через эту станцию. Где-то перед границей Донской области меня покинул один провожатый — махнул куда-то в сторону, домой. А второй довез меня до станции Поворино и тоже, распрощавшись со мной, отстал. До моего дома было рукой подать. Фронтов гражданской войны в это время на севере области еще не было, и проезд на Дон был простым.

Но вот поезд остановился на станции Серебряково. Я знал, что там стоял какой-то запасной казачий полк, из которого шли пополнения в донские части на фронт. В этом полку временно служил мой лучший дружок Коля Тимофеев, сын бедного дьякона, у которого была куча детей. Коля учился со мной в Питере и был на юридическом факультете. Остроумный, изумительный весельчак, он всегда, всюду был центром внимания и желанным гостем. При подходе поезда к станции по вагону пошел жуткий слушок, что вчера в Серебряково подкатил паровоз с несколькими вагонами из близкого Царицына, набитый матросами и рабочими, которые покололи штыками и вырезали 70 казачьих офицеров — весь офицерский состав полка. Жуткий холодок пополз по спине, между лопатками, и сковал ноги. Так меня встречал батюшка-Дон.

Через одну-две станции я, как в тумане, вступил на платформу небольшой, заброшенной в неоглядной снежной степи станции Лог. До дома оставалось 60 верст. Взяв мешок с осколками немецких снарядов и двумя японскими шрапнелями — все, что я привез с фронта, я побрел на станцию и присел в уголке, угнетенный сообщением о страшной расправе над офицерами в близком Серебряково. Не помню, как долго я просидел в оцепенении, но вдруг меня привел в себя радостный оклик:

— Миколай Андреич, болезный! Да откуда ты, голуба моя?

Передо мной стоял пожилой казак в тулупе и валенках. Вскинув глаза, я узнал старого дружка моего деда Осипа, казака из хутора Логовского, у которого мы часто останавливались при поездках в Питер или Москву. Ему обычно оставляли нашу лошадь,где она и ждала, когда мы вернемся.

— Это что же, — говорю, — в Серебряково?

— Да-а-а... Натворили делов, нехристи. Пойдемте-ка лучше к нам. Далеко ли до греха. Я отвезу вас домой к Иосифу Федоровичу...

Базами и кривыми закоулками мы добрались до его куреня, где дебелая баба, его жена, охая и причитая, раздела меня, дала с дороги умыться и накормила донскими пышками с давно невиданным мною душистым каймаком. Это казачье лакомство из топленого молока. Потом, уже в турецком Константинополе, я узнал, что слово «каймак» по-турецки означает вкусный. Поговорив со мною о моей сложной дороге, о фронте, старик взял голицы и пошел запрягать лошадей. Путь предстоял довольно далекий, а мороз-то был крещенский. Так что хозяйка приготовила мне на дорогу тулуп и валенки. Валенки я по молодой глупости не взял и жалел потом.

По заснеженным кучугурам мела поземка. Кони шли спорой рысью, только иногда переходя на шаг, когда дорога поднималась на изволок. По дороге продрогший дед, дыша густым паром, соскакивал с саней, бил себя голицами по бокам и покрикивал:

— Н-но-о-о, милые!.. Хорошо было бы теперь, Миколай Андреич, стаканчик николаевской опрокинуть.

— Я, дедушка, не пью, — отвечал я веселому старику.

— Не по-казачьи, любушка. Не по-казачьи. Наши ету зелью дюже потреблять любять...

Промелькнуло несколько хуторов, кажется, станица Сиротинская или Кременская, где монахи местного монастыря, чтобы не вводить верующих во искушение, пили водку из ведерного самовара чайными стаканами. Вот мы уже на хуторе Меловском — переехать Нелькин буерак — и мы на Шпиле, под которым раскинулась донская красавица — моя родная станица Клетская. От хутора Меловского — версты 3—4 до станицы. Провожаемые ватагой хуторских собак, мы выехали из хутора. Я снял тулуп, чтобы в станицу въехать, как полагается служивому, и жадно ждал, когда покажутся первые курени станицы. Тут все знакомо — до мельчайшей былиночки: и эти курганчики, натасканные вездесущими степными сусликами, и этот Келькин буерак с его тернами, куда мы с сестрами ходили встречать деда или отца, когда они возвращались из России, как у нас называли на Дону все, что было за границами области. Вон и полуразбитая беседка на самой вершине мелового Шпиля, который клином врезается в станицу. Тут в летние лунные ночи часто собиралась молодежь и пела песни. Отсюда частенько какой-нибудь приехавший в станицу на каникулы студент пробовал свой молодой баритон, и ему, врезаясь в тишину ночи, подпевали свежие девичьи голоса. Молодежь любила Шпиль. Это был один из отрогов мелового Донецкого кряжа.

Спускаясь с крутой горы, въезжаем в станицу. Тишина. Сизый дым в морозном воздухе столбами висит над ладными казачьими куренями и сладко пахнет домом — кизяком. Большинство казаков топили хаты кизяками — это коровий и лошадиный помет, перемешанный с соломой. Веселые казачки на базах замешивали его босыми ногами, высоко подоткнув юбки и балагуря, потом из этой благовонной массы резали четырехгранные плиты, которые после просушки на ярком донском солнце складывали в пирамидки на казачьих дворах. Дым, особый кизячный дым, был нестерпимо дорог сердцу каждого казака. При въезде в родную станицу я жадно вдыхал его полной грудью. Сердце замирало от радости. Я — дома!..

По обычаю станицу проезжаем вихрем, и лошади, фыркая и отряхая с себя осевшую на них изморозь, останавливаются перед воротами как вкопанные. Вижу кто-то с любопытством смотрит в окно столовой, я соскакиваю с саней и в нетерпении рву калитку. Через небольшой палисадник, где у матери всегда масса цветов, подбегаю к заднему крыльцу, с которого не спеша идет мне навстречу скупо улыбающийся дед. За ним толпою, крича и радостно смеясь, бегут бабушка, мать, сестры. Дед прикасается сухими, сомкнутыми губами, по-казачьи, к моей щеке, и я попадаю в объятия то плачущей от радости бабушки, то матери, то сестер. Дед уходит помочь своему дружку завести во двор и распрячь лошадей, а мы суматошной толпой направляемся в комнаты.

Приехали мы как раз к обеду. За обеденным столом, смотря на белую скатерть, тарелки, на приветливые, улыбающиеся лица родных, видя весь этот привычный и милый уют, я вспомнил фронт, страшную дорогу, что осталась за мною, и вдруг судорожно разрыдался. Наши переполошились. А дед, поглаживая свои седые усы, пытливо посмотрел на меня и тихо сказал:

— Много видел? Ничего — времена такие. Ничего, отдохнешь — успокоишься, — и добавил: — Дома-то стены помогают.

Но, оказалось, дед ошибался. Времена были такие, что и домашние стены перестали помогать. Скоро пришлось в этом всем нам убедиться. Шла коренная ломка быта, векового уклада, прочно сложившейся жизни, гибли не только семьи, но вихрь все нарастающей революции с корнем вырывал целые роды и племена.

После обеда за обычным чаем, который дед пил очень крепкий и всегда без сахара, пошла беседа о жизни в станице, новостях, родне. Я кое-что буркнул о тяжелой дороге. Дед, вытирая вспотевший лоб платком, — он пил уже пятый стакан, — исподлобья посмотрев на меня, спросил:

— Ну что? Как фронт?

— Фронта уже нет, дедушка... Боюсь, что скоро немцы хлынут и на Украину.

— Да ты что, шутишь? А как же правительство? Что же это? К чему же четыре года вшей в окопах кормили? Ведь немцы-то должны бы уж на ладан дышать. А? — Потом, помолчав, добавил: — Ведь там у них, говорят, башковитые люди сидят. Какие-то

Ленин, Троцкий... Один-то из них будто из Швейцарии приехал. Ну, а туда глупые люди не ехали...

Я ничего не мог ответить деду на его пытливые вопросы — вопросы, которые тогда интересовали всю, хоть сколько-нибудь мыслящую, Россию. Я сам был политически совершенно безграмотен и знал только Керенского, Пуришкевича, Чхеидзе да разве Родзянко, не разбираясь даже, к какой партии он принадлежит. Дед помолчал, склонил голову и, трогая сивый ус, заметил:

— Эх, надо бы было добить немца вчистую. Не даст он нам покоя. А теперь вот жди. Не будет от этого добра...

Из разговоров я узнал, что в нашем Усть-Медведицком и соседнем Хоперском округах установлена Советская власть, что в Клетской комиссаром какой-то хорунжий. В нашей станице уже тоже был Совет, но, говоря о нем, дед хмуро ворчал:

— Удивляюсь, на такое дело самых ледащих казачишек посадили. Возьми Черячукиных — двум свиньям корму не разделят. Всю жизнь лодырями прожили. Недоставало посадить туда Максима Пристанскова — вот бы делов натворил!

Пристансков был атаманец, с коломенскую версту ростом, несусветно дурной, как, впрочем, почти все атаманцы. В Усть-Медведице вместо окружного атамана полковника Рудакова в окружном правлении заседал Совет. Председателем Совета был крестник моей бабки, сотник Семен Рожков. В Клетской же, наряду с братьями Черячукиными, верховодил тоже крестник моей бабки балтийский матрос, мордастый великан, сын кровельщика Алешка Сазонов. В станице было спокойно. С новой властью сжились, и ничто, казалось, не предвещало близкой катастрофы. По округу, правда, шли глухие и совершенно неопределенные слухи, что где-то на юге появился Корнилов и будто бы около него группируется офицерская и студенческая молодежь, спасающаяся от самосудов, которые якобы идут по всей России. Случайно пришла весть о разгоне войсковым старшиной Голубовым Казачьего Круга — Донского парламента, но эта весть как-то не произвела впечатления ни в станице, ни в округе и не всколыхнула казаков. Все были рады, что война окончилась и жизнь входит в нормальные берега. В станицу пришел с фронта 34-й Донской казачий полк под командой полковника Воинова. Врач полка Николай Аристархович Алфеев, окончивший два факультета, стал постоянным гостем в нашем доме и впоследствии женился на моей старшей сестре, чопорной бестужевке Анфисе. Директором местной гимназии назначили непрезентабельного и никудышнего учителишку начальной школы Капитошку, как его все в станице называли, Крапивина. Молодежь часто собиралась в школе, разучивала «Интернационал» и ставила любительские спектакли.

Как-то весною я отправился в окружную станицу регистрироваться и явился к председателю окружного исполкома Семену Рожкову для того, чтобы не возникли никакие недоразумения. Бывшие офицеры были на учете. Не найдя его в правлении, я пошел к нему в Клины, гористую часть станицы, где он жил в своем

хорошем доме со старухой матерью. В Клинах стояла чудесная Нагорная церковь, выстроенная в древнерусском стиле. Говорили, что там особенно хороши и торжественны были пасхальные богослужения. Теперь этот храм не существует. Подойдя к дому Рожкова, я увидел на высоком крыльце его сухопарую мать. Узнав меня, она приветливо спросила:

— Ты чаво, Коля, к Семе? Он сейчас спит — ночью куда-то ездил...

— Я, теточка, регистрироваться пришел. Из-за этого из Клетской приехал.

— Да это ничаво, — ласково ответила старуха. — Иди домой, я ему скажу. Можешь считать себя разжалованным, — а потом добавила: — Завтря приди к нему в правлению — он там атаманствуеть.

На второй день, войдя в большой зал Совета, я попал будто во встревоженный улей. Сизый от махорки воздух был сперт — хоть шашкой руби. Казаки входили и выходили, матерясь и размахивая руками. Кто-то в углу примостился на подоконнике и резался в карты. На столе у Семена стопка каких-то бумаг, по правую руку наган, слева две ручные гранаты. Ну, думаю, обстановка серьезная. И Семена было не узнать. Это был уже не прежний щупленький реалист, а человек, чувствующий себя на своем месте, отягченный властью и знающий себе цену. Лицо суровое, неумолимое.

Сажусь в сторонке. Перед Рожковым на подоконнике, вольготно перебросив ногу через колено, пристроился какой-то нагловато улыбающийся человек лет тридцати. Я, вероятно, прервал очень бурное объяснение. Семен, сжав кулак, твердо бросает сидящему на подоконнике:

— Ну, смотри, сотник, смотри, чтобы не сыграть в ящик! Собственной рукой застрелю, как собаку, если будешь мутить казаков по хуторам!

Сотник криво усмехается, встает и, хрустнув пальцами, бесшабашно бросает:

— А ты не всякому слуху верь. Испугал... Не таких видали! — и, хлопнув дверью, выходит.

Переговорив о своих делах с Рожковым, я собрался уходить. Прощаясь, Семен спросил:

— Ты тут как? На коне?

— Нет, с оказией приехал.

— Так вот смотри — завтра еду по хуторам, по округу. Шевелиться кое-где, гады, начинают. Видел, вот сейчас ушел. Но мы им голову свернем... Еду через Клетскую. Возьму тебя с собой. Место есть: по-атамански еду — тройкой!

По Дону шел апрель, наполненный неповторимым запахом проснувшейся степи. На душе, как всегда весной, было сладостно, легко...

На второй день Семен подвез меня до дому. В доме поднялась обычная суматоха, как всегда, когда приезжали гости. Бабка и мать засуетились, накрывая на стол, послали за вторым крестни-

ком бабки — балтийским матросом Сазоновым, и вот на столе зашумел ведерный, пузатый самовар, появились закуски, и пошла оживленная беседа. Дед, настороженный и очень серьезный, как всегда, когда видел начальство, присел к столу и, осторожно щупая почву, начал, обращаясь к Рожкову:

— Поздравляю, Семен Яковлевич. Высокое, так сказать, атаманское место занимаешь, в советские генералы вышел... Смотри, не обижай казаков. — Потом погладил свои пышные запорожские усы и спросил: — Ну, а как же теперь вот все будет?

Рожков, прищурясь и дожевывая капусту, метнул взгляд на деда Осипа и раздельно процедил:

— Вот усядемся покрепче, Иосиф Федорович, и... за вас примемся.

— Это как же понимать? — опешил дед, вставая.

— А вы сядьте... Так и понимать, как сказал — раскулачим... Довольно растягиваться-то... Все поставим на свои места...

— Да, да, крестный! — добавил, смеясь, Алешка Сазонов. — Приготовьтесь!

— Но послушайте — я же всю жизнь работал, как вол. С подпасков начал, своим горбом все нажил, — сокрушенно и заметно волнуясь, заговорил дед.

— Да там потом разберем, — успокоил Рожков, поднимаясь из-за стола. — Ну, мы едем! Дела много! — Потом, обращаясь ко мне, добавил: — Послушай, Николай! А из тебя мы сделаем комиссара.

Я растерялся, заговорил, что совершенно не разбираюсь в политике и даже не знаю программ партии, какой, мол, из меня комиссар.

— Будешь комиссаром по благоустройству станиц и хуторов.

Тройка рванулась с места, и с тех пор Семена Рожкова я уже никогда не видел, и мое предполагаемое комиссарство повисло в воздухе. Бог знает, как сложилась бы моя дальнейшая судьба, вполне возможно, что я не писал бы вот эти пестрые заметки, не вмешайся в события горячий реалист Володька Подольский. В неясных случаях французы говорят: «Ищите женщину». Так было и тогда.

Семен Рожков спутался с какой-то гимназисткой, за которой ухаживал Подольский. Володька явился к Рожкову и выстрелил ему прямо в лицо. Пуля прошла под глазом куда-то вглубь, по-видимому, не задев мозга, и его, полуживого, в бессознательном состоянии, отвезли в московскую клинику, а горячего Володьку посадили в местную тюрьму, где его вскоре, как рассказывали, растерзали буквально на куски...

Дед под впечатлением разговора с Рожковым, я заметил, стал задумчивым, часто уходил за сарай и смотрел на землю. Он был выбит из привычной колеи и, вероятно, не отдавал себе отчета в происходящем. Как-то, идя по заднему двору, он упал — потерял сознание. Это коротенькое происшествие тяжело подействовало на меня. Я боялся потерять человека, который мне заменял все и был моим высшим авторитетом. Я тревожно следил за ним. Он как-то

начал тосковать, и часто я его видел под хмельком — хотел забыться.

К маю поползли по станице неясные и тревожные слухи. Ко мне время от времени заходили казаки — проведать, поговорить. Однажды зашли братья Ушаковы: рослый Егор и коренастый, плотно сбитый Анатолий. Ребята осторожно ощупывали меня со всех сторон, туманно намекали, что в округе неспокойно и пора бы уж сбивать мужиков, чтоб не путались в казачьи дела. Но, по правде сказать, мне хотелось только учиться, не хотелось ввязываться ни в какую авантюру. К тому же давала себя чувствовать недавняя контузия — то и дело болела голова, а по телу, все прибывая, шли, не давая покоя, фурункулы. Лечил и вскрывал их доктор Алфеев, сильно увлекшийся моей старшей сестрой.

Но я в своих расчетах ошибся. Повышенный интерес ко мне казаки проявляли потому, как выяснилось позже, что я был артиллерийским офицером. В Усть-Медведицком округе оказалось только три артиллериста: войсковой старшина Тарасов, наш казак; откуда-то попавший на Дон прапорщик Мохов да я. А что-то готовилось, что-то нависало в воздухе.

И вот совершенно неожиданно пришло то, чего я так боялся. Как-то утром ко мне зашел Егор Ушаков. Поздоровавшись, присел на край кровати, откашлялся и сказал:

— Ну, брат Николай, лежать нечего. Ты нам скоро будешь нужен. Скоро будем сбивать эту сволочь. Довольно, повластвовали... Это не для казаков! Скоро Усть-Медведицкому Совету вязы открутят, а мы отсюда должны помочь. У нас налажена связь с хуторами. Собираем отряды. Уж человек пятьдесят слово дали. Тут, в станице-то, власть жиденькая — один комиссаришка да пара казачишек из гольтяпы. Главное, центр — Усть-Медведицу — взять в руки. Но там у нас есаул Гордеев надежный. А Филипп Миронов перекинулся к красным — Дон предал, собака. В Усть-Хоперской у нас много пушек-трехдюймовок. Понимаешь, артиллеристы нам нужны, офицеры. А вас с гулькин нос — Тарасов, Мохов да вот ты... Пойдешь?

— Да ты погляди, Егор, в каком я состоянии. На коня не влезу, — начал было я, но Егор перебил:

— Да пока и не надо. А когда пойдем, то на арбе повезем. Подстелим сенца — оно и пойдет...

Вошел дед.

— Вы тут о чем, молодцы? — улыбаясь и ничего не подозревая, спросил он. Егор объяснил, подчеркнув, что вот, мол, артиллерийские офицеры нужны будут до зарезу.

— Так что же? — решительно сказал дед. — Разве можно от казаков отставать? Не пойдет он — пойду я! Говоришь, казаки на майдане шумят? Пойду!

И тут решилась моя судьба: мнение деда было для меня законом. Я по-прежнему никуда не ходил, ни в чем не принимал участия, но вот через несколько дней после разговора с Егором у нашего дома остановилась подвода и послышался чей-то молодой, звонкий голос:

По дорожке пыль клубится,
Слышны выстрелы порой...

Эге, думаю, началось... И, действительно, по крыльцу застучали торопливые шаги, и кто-то вбежавший в комнату весело и задорно крикнул:

— Скорей собирайся, Николай Андреевич! Выступаем. Идем на Усть-Медведицу. Сбили Совет. Ведем с собою комиссара. Скорее, подвода ждет.

Решения в то горячее время — страшного 18-го года — принимались быстро и меняли судьбы людей на всю жизнь. Засуетились бабушка, мать, сестры. Пришли попрощаться дед, отец, они принесли мне на дорогу несколько коробок папирос «Кузьма Крючков». И вот все присели, помолились на образа в нашем маленьком зале, обнялись, и я, перекинув через плечо новенький винчестер и поправив на ременном поясе тяжелый кольт, сбежал с крыльца. В карманах казачьих шаровар с лампасами было полно патронов, на шее фронтовой бинокль «Цейс», а на голове артиллерийская фуражка мирного образца с бархатным околышем. Дед собственноручно сшил ее своему внуку. Она, эта артиллерийская фуражка, вскоре спасла мне жизнь. Об этом расскажу позже.

Отряд состоял человек из сорока—пятидесяти молодых парней станицы, одетых во что Бог послал. У некоторых были отцовские или дедовские шашки, кое у кого винтовки, револьверы, а чаще охотничья берданка или обыкновенный дробовик. Все без погон. У каждого, как и у меня, узелок с харчами. Вообще организация получалась совершенно кустарная, не рассчитанная на долгое существование. Но, весело балагуря, мы построились, кто-то скомандовал: «Станвии-ись!» — и отряд по Красной, главной улице станицы, двинулся к кузням на Усть-Медведицкую. Запылила дорога, покрытая по щиколотку легкой, как пух, меловой пылью. Грянула дружная наша станичная песня:

Поехал далеко казак на чужбину,
На добром коне он своем вороном.
Свою он навеки покинул краину,
Ему не вернуться в отеческий дом...

Погода была, как всегда на Дону в это время, чудесная, но на душе было тревожно: начиналось что-то непривычное... Но молодость брала свое, и мы шли громить «Ваньков», как в области называли иногородних, которые на исконных, донских землях начали командовать казаками. Прошли присевшие под меловой горой мазанки хутора Поднижнего. Вправо застыла на высоком бугре над Доном, где он выгибал вокруг крутого берега серебряное стремя, станица, собственно хутор Старо-Клетский. Тут когда-то в глубокую старину стояли казачьи укрепления — «клетки»; отсюда и пошло название старой и нашей станицы. Вошли в пеструю от лазоревых цветов — так на Дону называют дикие тюльпаны — степь. Справа на пологом бугре замаячили вишневые сады. Спустились с горки и подняли пыль на кривых улицах станицы Распопинской. Наконец, через займище, поросшее ивняком и

седыми вербами, подошли к хутору Бобровскому, где за горой в семи верстах раскинулась окружная станица.

Наступал вечер. После более чем тридцативерстного перехода в жару отряд устал. Рядом с перемешанными рядами отряда, чуть левее дороги, два ледащих казачишки, дневальных из станичного правления, вели спотыкающегося комиссара. Вероятно, его хотели передать в центр. Я на правах больного ехал на повозке и время от времени соскакивал на дорогу и шел разговаривать с комиссаром, который совсем недавно еще запросто ходил к нам в дом, обедал и пил чай. Мирный, ничем не отличающийся от окружающих меня парень, донской хорунжий. Странным, полным неожиданностей и парадоксов был тот год. Начиналось и мое восхождение на Голгофу, но тогда я этого не знал.

Пока что, нахлестывая огромного вороного жеребца, нас нагоняет кто-то на легеньких дрожках без поклажи. Останавливается, расспрашивает. Из разговора выясняется, что это житель Усть-Медведицы, возвращающийся домой в станицу. По его словам, еще утром в станице были казачьи части и штаб обороны. Тогда у меня мелькает мысль загодя подготовить ночлег для отряда в классах мужской гимназии, которая помещалась в нашем доме. Занятий уже не было, и я решил, что мы со сторожихой освободим классы от парт, настелим на пол хотя бы сено, и отряд переспит в подходящем помещении. Буду квартирьером. Решено — сделано. Владелец дрожек охотно сажает меня с собой рядом, и жеребец легко выносит нас на гору.

За короткое время мы у Пирамид. Тишина и запахи родимой степи успокаивают. Все так с детства привычно, знакомо, и ничто не внушает никаких опасений. Но только мы подъехали к Пирамидам — до станицы рукой подать, как впереди замаячила конница, послышался звяк удил и на нас надвинулась громада всадников. В наступившей уже темноте я различил каких-то людей в штатском, сбитых в беспорядочную кучу. Кое у кого были связаны руки. Из расспросов узнал, что это часть есаула Андреева, известного мне храброго, всегда подтянутого и решительного офицера, что части оставляют станицу и гонят с собою подозреваемых в большевизме арестантов из местной тюрьмы, что станица сейчас пуста и что за Доном стоят полки красных казаков войскового старшины Филиппа Миронова и разрозненные части михайловских хохлов. Есаул Андреев предложил присоединиться к ним. Но я объяснил,что за мной идет не только Клетский отряд — со всех окружных хуторов и станиц тянутся в Усть-Медведицу отряды, частью конные. Андреев выслушал меня, повторил свое предложение и, толкнув нетерпеливо переступающего ногами рослого дончака, присоединился к проходившим по дороге конникам.

Я остался один. Вскинув на плечо карабин, зашагал вниз по Воскресенской и вскоре подошел к гимназии. Знакомый дом нашего соседа-добряка фотографа Петровского, наш флигель во дворе. Сторожиха проводила меня в мою комнату, где со времени моего семилетнего пребывания в ней осталось все по-прежнему. Стоял все

тот же стол с той же лампой под белым абажуром, та же кровать, вольтеровское кресло под чехлом, где я проводил за чтением долгие, зимние вечера. Все было на своих местах, исчез только большой портрет написанного мной Наполеона, который висел когда-то над столом, да бесчисленное множество открыток, развешанных по стенам, из жизни того же Наполеона и еще серия репродукций Верещагина о былой войне.

Старушка поставила самовар, сварила традиционные яйца всмятку, принесла кислого молока, и, поужинав, я завалился спать.

Ранним утром меня разбудили дальние орудийные выстрелы. Я выбежал на высокий балкон и услышал трезвон, несшийся от Воскресенской церкви. Я знал звоны всех церквей станицы — их было несколько. Звонили определенно в Воскресенской. Наскоро ополоснув себя водой, я взял карабин, бинокль, подцепил на пояс кольт и выбежал на улицу.

Но что за черт? Отряда моего нет. А откуда-то взялась артиллерия и почему-то трезвонят в церкви — ведь день будний. Спускаюсь вниз по улице. И вот, по мере приближения к концу Воскресенской, вижу глухо галдящую у церкви огромную толпу стариков, баб, мальчишек. А над толпою, в выходе из ворот церковной ограды, колышатся и блестят на ярком солнце, отливая бордовым пурпуром, хоругви. Духовенство, все в облачении, ведет крестный ход к недалекому отсюда Крещенскому спуску. Смешиваюсь с толпой. Вокруг стоящие старики-казаки недружелюбно и косо смотрят на меня. Один бородатый, сплевывая вязкую слюну и придавливая докуренную цигарку носком сапога, цедит сквозь зубы:

— Вот, туды их растуды, из-за таких-то вот и весь сыр-бор горит... Дали бы покой, и жили бы мы, как у Христа за пазухой.

Я удивленно смотрю на него, потом в бинокль на косу — на ту сторону реки. И вдруг вижу, как к лодке подошли три человека — два в штатском, а один в длиннополой шинели. Толпа замерла, вряд ли различая, что происходит на том берегу. Я же в артиллерийский, призматический «Цейс» видел все, как на ладони. Уйти бы мне тогда, чудаку, буераками к Пирамидам, но я, как вкопанный, стоял, опершись на винчестер, на самом виду и ждал, когда красные парламентеры переправятся на нашу сторону.

Вот лодка, покружившись на быстрине в середине Дона, ткнулась носом в косу. Сидящие в ней не спеша вылезли, по-хозяйски вытянули ее на песчаный берег — чтобы не унесло течением — и спокойно направились в нашу сторону. Двое в черных пиджаках и мужичьих картузах, зорко вглядываясь в толпу, скользили по песку, а третий, в длинной кавалерийской шинели, огромного роста рябой солдат с шашкой через плечо, шел, как медведь, тяжелой походкой, ни на кого не глядя. И вдруг, подойдя на пару шагов ко мне, он неожиданно припал на левую ногу и, молниеносно выхватив шашку из ножен, заорал, занеся клинок над моей головой:

— Руки вверх, белогвардейская сволочь! Сдавай оружие!

Еще секунда — и он полоснет меня палашом. Толпа замерла от ужаса. А я поднял вверх правую руку, не желая бросать карабина.

Тогда рябой в бешенстве, брызжа слюной, сбил с меня артиллерийскую фуражку и крикнул, срывая с шеи мой великолепный «Цейс»:

— Я тебя, сука, расположиню. Сдавай оружие!

Я, передавая ему мой новенький, еще не обстрелянный винчестер, обиженно бросил:

— Почему берете бинокль — это же не оружие.

Рябой, побелев от злости, вырвал у меня кольт, который я заранее переложил в карман, и разорвал мне штанину вдоль лампаса. Я был обезоружен, но, странно, совершенно не потерял присутствия духа. Право, не знаю, чем бы эта встреча с красными парламентерами для меня кончилась, вероятно, рябой зарубил бы меня — тогда это делалось легко. Но, как это ни странно, спасла меня моя артиллерийская фуражка мирного образца. Один из парламентеров поднял руку и угрожающе крикнул рябому:

— Не смей его трогать! Это артиллерийский офицер! — Потом, обращаясь ко мне, приветливо, скороговоркой спросил: — Вы артиллерист?

— Да, — ответил я, недоумевая.

— Послушайте, у нас нет артиллерийских офицеров, а пушек много, — и неожиданно: — Хотите командовать у нас батареей?

Не задумываясь, я дал согласие. Рябой рывком бросил шашку в ножны, и толпа сомкнулась вокруг нас.

— Скажите, — обратился ко мне, видимо, главный из прибывших, — а где тут расставлены пулеметы? Откуда-то, кажется, из городского сада стреляли!

— Ей-богу, ничего не знаю. Я только сегодня ночью пришел в станицу. Думаю, что тут никого нет. Ночью за станицей на Пирамидах встретил казачью конницу — шла на какие-то хутора. Кажется, на Большой.

Вытащив серебряный портсигар, на котором по тогдашней моде были припаяны подарки друзей — миниатюрные погончики, золотые монограммы, подписи, я предложил моему собеседнику закурить. Не имею представления, что хотели делать эти парламентеры в станице. Окруженные толпой, мы шли по узкому Крещенскому спуску к Воскресенской улице. В толпе мелькали лица близких и знакомых мне людей, я раскланивался с ними, но они в испуге шарахались и, виновато улыбаясь, прятались в толпе. Тогда, впервые за свою короткую жизнь, я узнал цену дружбы — в минуты, когда человек попадает в беду.

Толпа и мы с нею вышли на Воскресенскую. И вот в это время неожиданно послышались частые, короткие выстрелы со стороны тюрьмы. Толпа заметалась и шарахнулась врассыпную. В мгновение ока пространство перед церковью опустело. Мои спутники растерянно засуетились, и один из них, обращаясь ко мне, торопливо бросил:

— Мы сейчас вернемся. Садитесь вон там на лавочку и ждите нас. Сейчас начнут переправу наши части. Мы пока хотели бы сдать вас в тюрьму... до переправы. Но видите...

У меня мороз пошел по коже при упоминании о тюрьме, где незадолго до этого на клочки растерзали нашего реалиста Володьку Подольского. Потом мелькнула мысль — прикончат сейчас... Что им стоит... Но комиссар, обращаясь ко мне, скороговоркой бросил:

— Так обещаете, товарищ офицер, что будете ждать нас тут? Мы сейчас начнем переправу.

И я остался один. Сижу на скамейке, жду. Напротив калитка и деревянный забор. На нем большая зеленоватая вывеска: «Портной Токарев». На улице — ни души. Проходит полчаса или более, и вдруг открывается калитка токаревского двора, и из нее высовывается бородатое лицо казака. Глядя на меня вылупленными глазами, он шипит:

— Господин офицер, чего же вы ждете? Бегите!

— Я жду — красных. Бежать не могу — дал слово.

Старик взрывается:

— Кому слово? Этим окаянным? Да вы знаете, кто это? Это же тутошние мужики, головорезы! Вас же убьют! Бегите!..

Мысли вихрем проносятся в голове — я не знаю, что делать. Но энергичный дед рванул меня за рукав и втянул в калитку. В огромном дворе толпа, увидя меня, заулюлюкала, зарычала, и кто-то истошно выкрикнул:

— Уходите отсюда сейчас же! Из-за вас нас тут всех перебьют!..

— Но, послушайте, — сказал я, — я тут и не останусь, я только перебегу через двор, а там по оврагам в Ольшанку или к Пирамидам за станицу...

Мои объяснения, однако, не помогли, и меня вытолкали на улицу. Сверху все постреливали. Пригибаясь, я рванул по тротуару вверх по Воскресенской — к своему дому. Добежав, юркнул в калитку и бросился было к домику, где жил. Но в это время увидел, что из-за приоткрытых дверей подвала гимназии выглядывает кто-то. Я подбежал к порожкам, идущим вниз, и очутился в большом помещении, где когда-то был винный склад Потребительского общества. В подвале было полно людей из соседних домов. По станице, по-видимому, перед переправой красных била артиллерия. Я объяснил, в чем дело, откуда бегу и просил меня спрятать. Тогда обитатели подвала замахали на меня руками и вытолкали наружу с криками:

— Из-за одного офицера погибать не будем!

— Но куда же мне? — растерянно спрашивал я, чувствуя, что и стены родного дома перестали помогать. — Куда же я пойду в шароварах с лампасами? Ведь убьют!..

Сердобольный сосед наш, фотограф Петровский, выскочил из подвала, перемахнул через забор к себе во двор и принес мне старый штатский костюм. Я моментально натянул на офицерскую форму штаны, одел пиджак, но оставалась фуражка, ее было жалко бросать — шил-то дед... И я завернул ее в старый платок, который мне сунула какая-то баба.

По-соседству жил старый дружок отца атаманец Александр Александрович Попов. Из нашего палисадника я перелез через

забор к нему во двор, вихрем взлетел на крыльцо, схватил щеколду, но дверь была заперта. Вбегаю в сарай, присаживаюсь и смотрю на крыльцо через щель сарая. Жду нестерпимо долго. Наконец стукает калитка, и во двор входит Александр Александрович с женой и двумя детьми. Я радостно вырываюсь из сарая и прошу:

— Александр Александрович, ради Бога, спрячьте меня. Убьют!

Он с ужасом смотрит на меня и говорит:

— Да ты, Коля, с ума сошел! У меня же двое детей, жена. Станица полна красноармейцев... Я сейчас там был. Тебя ищут! Уходи от греха... Уходи скорей!..

Постояв в раздумьях, я перелез через соседний забор и очутился в небольшом садике, заросшем бурьяном, крапивой и лебедой. Это было поместье отставного полковника Иванова, который когда-то содержал у себя в доме кинематограф. В саду было небольшое кирпичное здание, где размещалось машинное отделение. Обжигаясь крапивой, я обошел все помещение вокруг. Двери были заперты. Замок не поддавался. Тогда я выдавил коленом одно из стекол окна и шагнул во влажную полутьму. Пахнуло сыростью, мокрицами и мышами. На широком помостье из толстых пластин, покрытых маслом и паутиной, стояли машины. Исследовав помещение, я решил, что лучше всего спрятаться под помостом, куда легко можно было влезть. Здесь и проведу остаток дня и ночь.

Второй день прошел однообразно. Мучительно хочется пить. Жую стебли влажной от росы травы. Курю. На вторую ночь решаю сделать вылазку — будь что будет! В станице оставаться страшно — убьют. Пришла шальная мысль пробраться в полночь к знакомому почтарю Боякову или Прохватилову, с сыном которого учился в реальном. Часов в одиннадцать ночи вылез сквозь выдавленное окно, осторожно перемахнул через забор и вышел на пустынную улицу.

Дом Боякова приземистый, крытый железом, как у всех зажиточных казаков. Осторожно, стараясь не скрипеть, открываю калитку и вхожу во двор. Всюду масса повозок. Под сараями хруст пережевываемого сена и звяк недоуздков. Подхожу к окну, где предполагаемая спальня Боякова, и осторожно начинаю скрести стекло, постукиваю по нему пальцами. Скоро в окне появляется фигура в белой рубахе. Это, к счастью, Бояков. Всматриваясь в темноту, он спрашивает шепотом:

— Кто?

— Николай Кузнецов, — отвечаю сдавленным шепотом. Под фамилией деда меня знали все знакомые нашей семьи.

— Ты чаво? — испуганно несется из окна.

— Ради Бога, дайте коня — уйду на хутор Большой, — молю я.

— Да ты с ума сошел — дом полон красноармейцев... Тут ихний обоз стоит. Видишь? Уходи Христа ради, уходи скорей. Погубишь ты нас... — И окно осторожно, но решительно закрывается.

Стою как ошарашенный. Хочется пить. Вот беда — забыл спросить воды... Осторожно, делая большой круг, по оврагам и боковым улицам благополучно добираюсь до машинного отделе-

ния, где нашел свое, пока надежное, убежище. Начинает светать. Залезаю под настил, дремлю. Потом погружаюсь в глубокий, молодой сон. Будит меня частая ружейная стрельба где-то недалеко и отчетливые крики «Ур-р-ра!» На дворе уже белый день. Солнце на бурьяне в саду блестит росой, и я, как затравленный заяц, высовываю голову из разбитого окна. Прислушиваюсь. Что же это происходит? Повременив, осторожно вылезаю из убежища и подхожу к забору, который отделяет сад Иванова от нашего двора. Стрельба, уже редкая, продолжается, и я, перемахнув через забор, пробираюсь к воротам дома, которые выходят на Воскресенскую улицу. Во дворе ни души. Все попрятались. На улице идет бой. Став на перекладину ворот, осторожно выглядываю на улицу. По ней от тюрьмы бегут с ружьями наперевес, крича и стреляя, ребята нашего отряда. Рванув калитку, я выскакиваю на улицу и останавливаю одного из них, тот смотрит на меня, как на привидение.

— Черт! Николай! Да ты откуда это? Да тебя же вчера в Клетской отпевали — панихиду служили!

Я остервенело кричу:

— Откуда? Оттуда!.. А где вас черт носил? Почему отряд не пришел в Усть-Медведицу?

—Да мы остались ночевать на Бобровском, — торопливо отвечает мой собеседник и, меняя обойму, бежит дальше.

Тихо бегу по Почтовой улице к Городскому саду, который разбит на высоченном берегу Дона. Из него все Задонье и река как на ладони. Не доходя до Городского сада, останавливаюсь около дома фотографа. Увидя меня, всплескивает руками и начинает причитать по-бабьи Варвара Григорьевна Бабкина:

— Да ты откуда взялся, болезный? Вся станица говорит, что тебя увезли красные... Господи Боже мой, ты знаешь, Виню-то, Виню-то, сына моего, вчера убили! Да что я теперь буду делать?..

Я знал этого рослого, стройного есаула. Он учился у нас в реальном, был опорой матери. Вдруг граната ударила прямо в ворота Городского сада и разнесла их в щепу. Посыпалась штукатурка со зданий Окружного управления и Окружного суда. Ворота сада были как раз между ними. Не задержи меня Бабкина случайно на пару минут, я и попал бы под разрыв...

Считаю нужным предупредить возможного читателя этих моих записок, что в дальнейшем перипетии моей очень пестрой жизни могут невольно напомнить повесть об известных приключениях барона Мюнхгаузена, но прошу верить, что все здесь описанное основано на истинных происшествиях, которые сопровождали мою слишком долгую для нашей бурной эпохи жизнь. Повторяю, все основано на действительных фактах, у меня просто не было надобности что-либо приукрашивать. Прошу верить, как и сам я этому глубоко верю, мне просто в жизни чертовски везло.

Так вот, войдя в Городской сад, я услышал отдаленные выстрелы из ружей и винтовок и пошел на них. По кромке высокого нагорного берега лежала или стояла на одном колене редкая цепь из бородатых дедов всех мастей. Стреляли на тот берег, и по реке,

где то там, то сям мелькали головы плывущих из станицы красноармейцев. Попаданий не было, но это был настоящий бой. Как я узнал из разговоров, слабые части красных, состоящие из михайловских хохлов и иногородних, заняли на несколько дней оставленную казаками станицу и теперь, когда подошли многочисленные казацкие отряды, спешно отступали.

Покрутившись по саду, я спустился по крутому скату к Дону и пошел по берегу к водокачке. На песке, у самой кромки тихо плещущейся воды, заметил огромную фигуру человека в черном матросском бушлате. Человек лежал навзничь, широко раскинув руки, как будто перед смертью хотел обнять весь этот прекрасный мир. Подойдя вплотную, я узнал бабкиного крестника Алешку Сазонова, огромного матроса Балтийского флота. Как он попал сюда, не знаю. Во рту у него был набит речной песок и вставлена каким-то хулиганом палка. «Вот тебе, болезный, и раскулачил деда Осипа», — подумал я, искренне жалея загубленную молодую жизнь. В 1918 году жизнь не стоила стертого пятака — сегодня ты, а завтра я...

Вернулся домой в станицу. Скоро я узнал, что в Окружном управлении заседает штаб обороны. Откуда-то вдруг появился и новый окружной атаман, он же начальник обороны полковник Георгий Хрипунов. Он в моей жизни сыграл большую роль и помог мне, помимо своей воли, избежать участия в гражданской войне, по крайней мере в ее разгаре. Но об этом скажу позже.

Явившись по обязанности, как и все офицеры, в штаб обороны, я увидел, что все ходят в погонах. Надел и я погоны сотника Донской артиллерии, а вскоре получил приказ принять два трехдюймовых орудия. Выдали и надлежащее количество шрапнелей. После этого я составил орудийный расчет, и батарея стала на буграх, неподалеку от хутора Затонского.

В те дни я узнал о гибели моего двоюродного брата Василия Фролова. Он ехал с донесением, и где-то за Доном его перехватили. Васю живым зарыли в землю. При известии об этом у меня будто оборвалось что-то внутри...

В штабе обороны округа мне сообщили еще одну печальную новость: убили Колю Руднева. Только два дня назад я спал с ним вместе в душной казачьей хате на полу. И вот его нет... Спазмы непроизвольно сжали горло, не в силах превозмочь себя, я судорожно глотал воздух, когда открылась дверь, ведущая в кабинет окружного атамана, и вошел полковник Хрипунов. Увидя меня всхлипывающим, он резко крикнул:

— Сотник Келин! Потрудитесь в пьяном виде в штаб не являться!

Его окрик при всех, словно ножом, полоснул меня. Я никогда не брал в рот спиртного, и, взбешенный незаслуженным оскорблением, я шагнул навстречу полковнику.

— Прошу освободить меня от обязанностей командира батареи! — почти выкрикнул полковнику. — Я не хочу принимать участия в этом кабаке!

Хрипунов опешил:

— Как? Вы трус и большевик!

Потеряв самообладание, я ринулся на него:

— А ты тыловая, штабная крыса! Я на фронт добровольцем пошел, а ты где был?..

В это время, как мне потом передавали, случилось непоправимое: я полоснул его плетью и сбил погон...

Помню одно — Хрипунов круто повернулся и, хлопнув дверью, крикнул:

— Арестовать! Под военно-полевой суд!..

Я знал, что означали эти слова. При новой власти полевой суд означал верную смерть. Я тогда выхватил наган и, прислоняясь спиной к стене, решительно заявил:

— Не сдамся! Не подходите — стрелять буду!..

Долго упрашивали меня товарищи, чтобы я сдал оружие, но я сопротивлялся. Наконец Саша Мельников меня уговорил, и тут же ко мне приставили двух казаков, братьев Мешковых, и увели домой.

На следующий день на почтовых в Усть-Медведицу прискакал дед. Изыскивались способы для спасения меня от неминуемой расправы. Выбор остановился на друге нашей семьи, военном враче Маркиане Ивановиче Алексееве. У него было ужасное лицо, но золотое сердце. Не знаю, по какой причине, но его бесформенный нос был составлен из лоскута кожи, взятой со лба. И вот этот человек, пользуясь своим неоспоримым авторитетом, сказал деду:

— Другого выхода, Иосиф Федорович, нет — я его признаю душевнобольным, и мы его спрячем от суда в Новочеркасской психиатрической больнице, тем более что тут дело связано и с недавней контузией...

Дед согласился. Вскоре подали тройку, в сопровождении братьев Мешковых меня, как «опасно душевнобольного», покатили в Новочеркасск. Чтобы я не сопротивлялся, мне объяснили, что везут представляться к Войсковому атаману Краснову, который якобы хочет меня наградить за Михайловскую операцию. В той «операции», кроме беспорядочной стрельбы, ничего не было. Но я почему-то поверил этому. Настроение мое было приподнятое. Тогда уже я пописывал стихи и всю дорогу пытался говорить рифмами.

На ночь мы остановились в Клетской, чтобы рано утром двинуться на станцию Суровикино. И вот на рассвете я с дедом на заднем сиденье почтового тарантаса. Один из Мешковых на козлах, рядом с кучером, второй — против нас, на откидном сиденье. У меня по-прежнему радостно и легко на душе. Но дед задумчив и молчалив.

По слухам, я знаю, что Краснов — писатель, пишет стихи. Это он написал новые слова к старинной песне, ставшей казачьим гимном, одобренным Войсковым кругом:

Всколыхнулся, взволновался
Православный, тихий Дон.
И послушно отозвался
На призыв свободы он...

Дон детей своих сзывает
В Круг державный, войсковой —
Атамана выбирает
Всенародною душой...

Эти слова меня захватывают и переносят во времена седой древности, в Дикое Поле, когда на окраинах Государства Российского, тогда еще неокрепшего и молодого, казачья вольница оберегала его от набегов татар. В степь шли отчаянные, буйные головы, у которых был только один закон — воля, а при приеме в свою ватагу они задавали только один вопрос: «В Бога веруешь? Перекрестись!» И новый член казачьей вольницы вступал в свободное степное братство, которое свято хранило заветы своих отцов. Надо было долго жить среди казаков, чтобы хорошо понять этот искони свободолюбивый народ и полюбить его. И вот теперь атаман Краснов среди пылающего костра обезумевшей России пытался восстановить хотя бы тень той славной старины, которую казаки любили и почитали...

ДАНТОВ АД

Новочеркасск, столица русской Вандеи, кишел, как встревоженный муравейник. По улицам сновали казаки, юнкера, офицеры, пешие и конные ординарцы, и чувствовалось, что тут туго и нервно бьется пульс новой казачьей республики.

Поезд медленно вполз на старенькую станцию и остановился, сердито отдуваясь, после большого перегона по раскаленной июньским зноем степи. Где-то недалеко был атаманский дворец, откуда шли беспрерывные распоряжения на многочисленные фронты, опоясавшие область. Вдали торчала триумфальная арка, поставленная в честь посещения Новочеркасска последним императором. Небольшие казачьи домики, златоглавый купол Войскового собора, извозчики по булыжной мостовой — ничего необычного.

Дед, едва мы приехали, засуетился нанимать извозчика, братья Мешковы куда-то исчезли. Но вот мы с дедом разместились на дрожках и покатили, как я полагал, в заветный атаманский дворец. Возница лениво погонял ледащую лошаденку, гремели колеса по выбитой мостовой, а навстречу все ниже присевшие по сторонам домишки, все уже и грязнее улица. «Где же обещанный атаманский дворец? — недоумевал я. — Неужели Краснов живет среди этих трущоб?»

— Дедушка! Куда мы едем? — спрашиваю наконец.

Дед коротко бросает:

— Скоро приедем.

И вот мы где-то на окраине города. Извозчик въезжает в небольшой двор, останавливается у низкого крыльца, и вдруг появляются два звероподобных верзилы и спрашивают:

— Что, привезли больного?

Я в недоумении смотрю на деда и, соскочив с дрожек, пускаюсь бежать. Но навстречу нам вышли ребята опытные: один перехватил меня на бегу, второй, подставив ногу, сгреб в свои медвежьи

объятия, и вот я повис в воздухе, болтая ногами и тщетно стараясь освободиться.

Деда я больше не видел. А эти молодцы в белых плащах санитаров втащили меня в какое-то мрачное, полутемное помещение, где стояло несколько каменных допотопных ванн, сорвали остатки одежды и бросили в ледяную воду. Не довольствуясь этим, один из них — маленький, широкогрудый, как я узнал потом, казак Лукьяныч, очень напоминающий добродушного гоголевского Пацюка, — подскочил к ванне и погрузил мою голову под воду, а второй верзила придавил тело. И так они держали меня до тех пор, пока я не начал захлебываться. Тогда на минутку отпустили — и снова под воду. Я безумными глазами глядел на своих мучителей, а они, посмеиваясь, ворчали:

— Мы тут и не таких укрощали. Утопим, сукин сын, как лягушку!

Беспомощный, обессиленный, я лежал в ледяной воде и дрожал. Вот и приехал к атаману Краснову...

Вытащив, наконец, меня из ванны верзилы бросили мне рваную холщовую рубаху, портки с бахромой, и я понял, что попал в сумасшедший дом. Поместили меня в палату буйных. И кого там только не было!..

Теперь, на старости лет, выйдя после второго инфаркта на пенсию, я начал работать как терапевт в местной психиатрической лечебнице в Желиве, где постоянно живу. Придя в лечебницу, я собрал персонал, обслуживающий психически больных, и категорически заявил:

— Послушайте, ребята, вот эти заведения, где вы работаете, всюду более или менее одинаковы — будь они у нас в России или тут. На одной стороне беззащитный, за свои поступки не отвечающий больной, а на другой вы. И вот если у кого-либо из вас лопнет однажды терпение при исполнении своих служебных обязанностей и кто-нибудь из вас звезданет непослушного пациента — тогда я собственными руками откручу этому молодцу голову! Я сам просидел в сумасшедшем доме более года...

Слушатели хлопали глазами, кое-кто не поверил моей короткой лекции. Но за время работы в той лечебнице четыре субъекта были выброшены мною со службы без права когда-либо сотрудничать в здравоохранении.

Так вот, вспоминая контингент обитателей буйной палаты, как сейчас, вижу огромного идиота Мишку, бывшего фельдфебеля, сидевшего в Новочеркасском сумасшедшем доме с русско-японской войны. Этот совершенно безобидный великан не знаю почему попал в буйную палату — он был тих, молчалив и только мычал. Но он был грязен и неряшлив до невозможности. При раздаче пищи Мишка обычно становился у дверей и отбирал у многих пациентов миски с едой, моментально проглатывая все, что в них было, давясь и захлебываясь. Этот белобрысый великан с прозрачными и голубыми, как незабудки, глазами всегда ходил без штанов, босой, в

разорванной рубахе. Однажды веселые служители подзадорили его:

— Мишка, не выпьешь весь водопровод!

Мишка, по-видимому, понял издевку и, подойдя к крану, приник к нему. Он пил задыхаясь, ловя воздух, и я видел, как его дряблый живот становился огромным, как шар, и создавалось впечатление, что вот-вот он лопнет. Его принялись оттягивать от водопровода, но он все пил и пил... Тогда один из санитаров принес полено и начал гвоздить Мишку по согнутой спине. Отдуваясь и мыча, он наконец бросил кран и улыбнулся, глядя на извергов своими чудными глазами.

Второй примечательной фигурой, которая запечатлелась в моей памяти, был человек средних лет с благообразным лицом, напоминающим Сусанина. Редко приходилось встречать такие спокойные, благообразные лица. Он всегда тихо сидел на кровати в углу и, аккуратно отламывая кусочки хлеба, медленно жевал его, а крошки ссыпал куда-то в бороду. Он никогда не повышал голоса и внешне всегда казался спокоен. Но это был неизлечимый и опасный параноик, вырезавший целую семью. Он воображал себя почему-то папой римским и для сомневающихся в этом был страшно опасен. Так вот этот-то человек оказался моим соседом. В бешенстве он становился страшным.

Еще один сосед — студент-шизофреник Коля — постоянно онанировал, ходил целыми днями по диагонали палаты и время от времени выкрикивал стереотипно и без всякого выражения единственное слово: «Милюков!» Когда я его пытался расспрашивать, что это значит, он бессмысленно улыбался и продолжал онанировать.

Был и еще один очень худой, беспрерывно шагающий по коридору студент, который не отвечал ни на один вопрос и постоянно решал задачи по высшей математике. Делал он это даже во время обеда, не глядя в миску.

В палате было и много тяжелых эпилептиков, которые постоянно бились в конвульсиях и с пеной у рта страшно кричали по ночам. Служители во время приступов обычно наваливались на них и прижимали к полу, чтобы те не повредили себя. Но хуже всего было по ночам. Пациентам можно было курить, и некоторые из них тушили о спящих горящие папиросы, мочились соседям в уши, на постели. Оберегая уши, я затыкал их на ночь хлебным мякишем и старался закрывать голову одеялом.

Крепко наказывали больных. За малейшее неповиновение персоналу служители завертывали пациента в мокрые простыни и зашивали с ног до подбородка в одеяло. Человек лежал запеленутый, как египетская мумия, страшно потел и мучился жаждой. После нескольких часов такой процедуры, а ее со мной производили часто, я от слабости еле держался на ногах, а служители смеялись. Снова по всему телу от сквозняков у меня пошли огромные фурункулы. Вскрывали их без анастезии в местной амбулатории. Я, естественно, очень страдал от этих процедур и сопротивлялся. Тогда, по знаку фельдшера или врача, на меня

наваливались несколько служителей, эскулап делал свое дело, а я ревел что было сил. Почему-то мне все время давали хинные капли в воде, я их так возненавидел, что впоследствии своим пациентам даже в случаях, когда они были нужны, избегал их предписывать.

В такой вот обстановке потянулись долгие сумбурные дни, и порой я откровенно завидовал идиотам, которым было все равно. Иногда нас выводили на прогулки во двор, обнесенный высоким, почти непроницаемым деревянным забором. Не перенося заточения, я неоднократно пытался бежать через тот забор, но каждый раз меня ловили и жестоко избивали или топили в ванной — обычный способ укрощения строптивых. Иногда я приходил в сознание в изоляторе, лежа на голом полу. Тут все было бесконтрольно и с пациентами не церемонились. Главным врачом был Потап Петрович Головачев, человек с не сходящей с лица сладкой улыбкой, говоривший вкрадчивым, тихим голосом. Он был выше среднего роста, черный, с небольшими темными усами и глазами, которых я никогда не видел. Он называл меня Колей и часто уговаривал, чтобы я слушался служителей. Я просил его пустить меня домой, он, улыбаясь, что-то обещал и уходил. Никого из родных ко мне не пускали. Никаких лекарств, кроме противной хинной воды, нам вообще не давали, и я до сих пор не могу понять, что делал Потап Петрович в этой так называемой больнице для умалишенных.

Иногда, когда мои надзиратели считали, что я веду себя хорошо, меня переводили в так называемую «тихую палату». Она располагалась рядом, в конце коридора. За пациентами там следила сестра Лушка, *баба молодая, но как черт занозистая и насмешливая*. И вот как-то в одно из моих неоднократных пребываний в той «тихой палате» Лушка начала меня изводить, вероятно, от скуки. Помню, был тихий летний вечер второго лета, которое я проводил в этом богоугодном заведении. Лушка скучала и, как никогда, была в ударе. Наскучив дразнить вялых и равнодушных пациентов, она обратилась ко мне:

— Ага! Наши казачки на фронтах с большевиками бьются, казачью свободу защищают, а ты?.. То-о-оже со-о-отник! В кусты забился и от фронта спасаешься? Иди, вот я тебя под бабью юбку посажу... мамунич! — и подняла край юбки. Мамуничами у нас называли слабосильных казаков, освобожденных от военной службы. Это прозвище на Дону, пожалуй, было самым хлестким и позорным. Вообще у казаков считалось позорным, если его не брали на военную службу. Бывало, при призывах около станичного правления казачки сидели и ждали результата осмотра медицинской комиссии: если казак с опущенной головой выходил из правления и цедил сквозь зубы «Не взяли» — раздавался крик его бабы: «Снял ты с меня голову, проклятущий, мамунич... И как мои глазыньки на людей будут глядеть!..» Так вот, этим позорным на Дону словом ядовитая Лушка хлестнула меня, как плетью. Сначала я оторопел.

— Я мамунич?! Ах ты, так твою разэтакую!.. — И, бросившись на Лушку, в мгновение ока разодрал на ней одежду. Она, как змея извиваясь, летала от меня по палате, а я срывал с нее последние клочки оставшейся на ней одежды. На Лушкин визг и крик: «Братцы, спасите!» — из соседней, буйной палаты ворвались несколько служителей и моментально сбили меня с ног. Между ними был рослый казак, как говорили, дружок смазливой Лушки. Моментально я оказался в коридоре буйной палаты, и тут только началась расправа со мной — «бешеным сотником». Как сейчас помню, кто-то, кажется Лукьяныч — он был самый сильный, — захлестнул мне горло намертво так называемым «нельсоном», меня бешено начали бить в «солнечное сплетение», под ложечку. Я потерял сознание...

Не знаю, спустя какое время я очнулся на голом полу в изоляторе — весь изломанный, совершенно потерявший голос. Нельсоновская петля — захват согнутой в локте рукой шеи — помяла мне горло. Во рту вязкая слюна, кровь... И жутко... Жутко... Ощущение полнейшей беспомощности при полном сознании, что никто тебе не может помочь... Потом вдруг мелькнула спасительная мысль — поможет Потап Петрович: только сказать, только объяснить!.. Он же врач! И Головачев не заставил себя долго ждать.

Происходил редкий в этом заведении утренний обход палат. Помню, открылась дверь изолятора, показался главный врач, и я, став на колени, хрипя — голоса-то нет — говорю:

— Милый Потап Петрович, спасите от этих извергов. Пустите домой. Ведь меня здесь убьют...

Головачев, окруженный служителями, подходит ко мне и, участливо так гладя по голове, сладким голосом отвечает:

— Да что ты, Коля, у нас не бьют. Это тебе только кажется...

Я, услышав эту филиппику главного врача, вскочил на ноги и, схватив его за ворот рубахи, который треснул и остался у меня в руках, заорал:

— Кажется?.. Мне кажется?! Ах ты палач! Да как ты смел стать врачом!..

Подскочившая свора прислужников оттащила меня от Головачева, и дверь изолятора надолго захлопнулась.

Родных ко мне по-прежнему не пускали. Я скучал и почти ничего не ел. Исхудал до невозможности. При росте 174 сантиметра весил только 50 килограммов. Я уже потерял всякую надежду когда-либо выбраться из этого ада на земле. Но вот как-то под вечер меня вызвали в приемную комнату, куда обычно водили больных к родным и знакомым. Вошел я туда и глазам не верю. Передо мною стояла Анфиса, моя старшая сестра, а рядом с нею толстушка Бурыкина, которая когда-то приезжала в Саратов вместе с моей мамой и Анфисой провожать меня на фронт. В близоруких глазах сестры при виде меня застыл нескрываемый ужас. Подойдя вплотную ко мне, она всплеснула руками, упала на плечо и сдавленно зашептала:

— *Боже ж мой... что они с тобой тут сделали...* — *и заплакала.*

Я стоял, опустив голову, и только повторял:

— Родные мои, возьмите меня отсюда... Я тут погибну... Прошу вас...

Сестра, торопясь, рассказала мне, что в нашей станице Клетской — фронт, что бабушка Евфимия с моей младшей сестрой Валечкой остались дома — сторожить остатки имущества, а дед с отцом и мамой переехали в Ростов-на-Дону, что живут они на Почтовой улице у какого-то профессора Ростовского университета, переведенного сюда из занятой немцами Варшавы.

Фина ушла. Через несколько дней меня снова вызвали в приемную. В комнате для посетителей стояли отец и дед. Отец не изменился, но что случилось с дедом?.. Это был он и не он. Его фигура, усы, но глаза... Это не были быстрые, любимые, всегда внимательные и зоркие глаза деда, человека волевого, несгибаемого. На меня печально смотрели глаза затравленного и совершенно больного человека, терявшего почву под ногами. До сих пор, после всего страшного, что я пережил в жизни, помню, как мне тогда было тяжело и как я всем своим существом почувствовал, что произошло что-то непоправимое... Поговорив о том, о сем, решили, что меня перевезут в частный санаторий к известному доктору Покровскому. Так и сделали. Но у Покровского я не задержался долго. Вскоре пришли вести, что фронт от Клетской ушел куда-то далеко на северо-запад и что генерал Мамонтов, очень популярный у населения, прорвал фронт и идет на Москву по тылам красных. Он уже занял Орел и якобы подходил к Туле. В этот гремевший по всей стране рейд ушел и мой троюродный брат, лихой есаул Федя Фролов, с которым при отступлении и разгроме белых армий меня связала судьба.

Выписавшись из санатория, я явился в Войсковую санитарную комиссию, где мне выдали свидетельство, освобождающее меня от несения военной службы. Комиссия эта не освобождала никого, но одна фраза — был в сумасшедшем доме — навсегда лишила меня права и повинности служить в армии.

НАЧАЛО КОНЦА

Прожив некоторое время в Ростове, наша семья вернулась в Клетскую. Горько было видеть на тихих улицах станицы и в пахучих лазоревых степях кровь. А горю и этой крови еще и конца-то не было видно. Некоторое время, правда, мы жили тихо и мирно, но вскоре пришли тревожные вести, что на фронте неладно, что знаменитый Мамонтовский рейд не удался, что корпус разбит наголову где-то под Коротояком, а где этот Коротояк никто не знал. Все чаще по ночам проходили через станицу отступающие части. Вообще была сломана какая-то пружина в механизме казачьей армии — незаметная для непосвященных, но роковая и непоправимая. Фронт явно разваливался, и уставшие казачьи части, которые уже нечем было пополнять, неудержимо откатывались к Дону, внутрь притихшей от ужаса области. А с казачьими

частями отступали и так называемые цветные войска Добровольческой армии — черные, как монахи, марковцы, страшные в своем неукротимом напоре корниловцы, дроздовцы и другие.

Шел октябрь 1919-го. По утрам уже появлялись заморозки, на крышах блестел иней. И вот в станицу пришла и стала на несколько дней Атаманская бригада, состоящая из четырех полков — Калединского, Платовского, Ермаковского и Назаровского. Последний назывался в честь войскового атамана Назарова, который после самоубийства Калёдина атаманил только несколько дней и был расстрелян в Новочеркасске войсковым старшиной Голубовым и его красными казаками.

Я, по обыкновению, целые дни проводил за чтением, пополняя пробелы в русской литературе. И вот как-то утром, сидя, по обыкновению, в столовой, я, как сейчас помню, читал «Слепого музыканта» Короленко. Бабушка Евфимия готовила обед, и вдруг слышу, как кто-то прошел в кухню и начал с ней переговоры. Затем бабушка сходила в спальню и пронесла с собой в кухню белье. И вот тут полетело!

— Ты что же думаешь, старая карга, отделаться двумя простынями и парой белья?.. — орал кто-то. — Да я у тебя переверну вверх дном все сундуки и комоды!.. мать-перемать!..

Меня как плетью хлестануло — я бросился на кухню. Там, у входной двери, стояли два рослых чубатых казака и ледащий офицерик с плоским конопатым лицом и бесцветными глазами. Я сразу узнал в нем корнета Олимпиева, сына попа тюремной церкви в Усть-Медведице, и, подойдя к нему вплотную, тоже заорал:

— Послушайте, вы что позволяете себе так разговаривать со старой женщиной?! Ну?!

— Я адъютант генерала Сутулова, сотник! Как вы со мной разговариваете?! — взбеленился корнет, смущенный присутствием казаков.

— Вы не адъютант, а бандит, который явился грабить мирную семью! Убирайтесь вон, пока я не применил оружие!

Побелевший от бешенства корнет выдавил из себя:

— Я пришел реквизировать перевязочный материал по приказу начальника бригады. А вы хотите отделаться парой простынь и белья, — и, уже обращаясь к казакам, крикнул: — Идемте! Это дорого будет стоить этому молодчику!

— Вон! — крикнул я, захлопывая за ними дверь.

Результат визита не заставил себя ждать слишком долго. Приблизительно через полчаса за мной явилось несколько казаков с офицером, арестовали меня и повели в штаб Сутулова, который размещался на церковной площади. У генерала, как оказалось, в это время происходило какое-то совещание, и мне пришлось ждать несколько часов. Наконец после обеда на террасу дома быстрыми шагами вышел чем-то озабоченный поджарый генерал. Рядом с ним, семеня ногами, какой-то козлиной иноходью передвигался корнет Олимпиев и, кося на меня бесцветным глазом, докладывал:

— Вот, ваше превосходительство, большевик, которого я арестовал по вашему приказу!

Сутулов, глядя исподлобья, круто остановился около меня и приказал страже:

— Разоружить! В расход!

С меня сорвали погоны, отобрали револьвер, но я успел крикнуть уходящему генералу:

— Я не большевик! Меня только что выпустили из больницы. Вот медицинское свидетельство войсковой комиссии!

Сутулов, не оборачиваясь, бросил:

— От фронта *спасаешься*! На *гауптвахту*!

На этом разговор и кончился. Меня привели на окраину станицы в казачью хату, где уже сидели Вячеслав Гавриилович Маргаритов, сын отца Гавриила, преподаватель Вольского кадетского корпуса, и толстуха Катасонова. Оказалось, что они сидели за то же «преступление», что и я.

Сутулов был близким родственником нашего священника отца Виссариона Бурыкина. В доме этого культурного и всеми уважаемого священника мы часто бывали, так как дружили с его детьми. Дед и родители всю ночь бегали к Бурыкиным, что-то объясняли и наконец добились, что утром, когда я уже ждал расстрела, меня освободили. Бригада двинулась дальше, а в станицу все чаще и чаще заскакивали проститься с родными казаки отступающих частей. Заехал на минутку и мой родственник Федя Фролов. Он уже был войсковым старшиной. Узнав о моих недавних перипетиях с Сутуловым, Федя решительно заявил:

— Колю непременно убьют наши или красные. Красные сейчас злые, особенно после нашего рейда. Офицера, да еще казачьего, убьют обязательно!.. Я завтра же возьму Николая с собой — пусть у нас в корпусе в обозе едет...

Родители и дед, конечно, согласились с резонами Феди, моя судьба была решена, и, как оказалось, навсегда... Наутро дядя Яков, отец Феди, прогремел по подмерзшей на морозце дороге и остановил ладную тавричанку перед воротами нашего дома. Во дворе уже суетились дед, бабка, мать, сестры. Отец поспешно совал мне папиросы, зная, что в дальней дороге хорошо закурить, а дед неодобрительно косился на него, трогая по привычке сбрую.

Дорога предстояла дальняя — на станцию Суровикино, это верстах в девяноста от станицы. Там мы встретили войскового старшину Михайлушкина, который, оказывается, бывал у нас в доме и знал нашу семью. Он, как и Федя, возвращался в свой полк и предложил мне ехать с ним, обещая устроить в обозах артиллерии корпуса. На какой-то станции я встретился с Николаем Орловым. Орлов был внуком моей бабушки Евфимии, и встреча наша оказалась радостной, приятной воспоминаниями детства.

— А ты что же без коня? Что будешь делать? — спросил вдруг Николай.

— Да на черта мне конь! Я ведь не военнообязанный... — пояснил я. — Пристроюсь где-нибудь в обозе...

— Нет, Коля, — не унимался Орлов. — У меня тут в вагоне есть знаменитый конь. Собственный. Возьми его. Какой же казак без коня? А потом сочтемся — свои же люди...

Сделка была заключена, и Николай вскоре привел коня неописуемой красоты. Это был серый в яблоках трех- или четырехвершковый красавец. Шерсть на нем переливалась всеми цветами мрамора и блестела. Грациозно переступали стройные, тонкие ноги, а шея с нарядной гривой выгибалась, как у лебедя. Живые, необычайно красивые и выразительные глаза умно и зорко следили за каждым моим движением, но я пока был чужим.

— Ну, уж ежели конь, то как без седла? — сказал Николай и принес чудесное казачье седло с луками, окованными серебром.

Когда же подседланный конь начал вытанцовывать на площадке перед вагоном свой, только ему известный ритмичный пируэт, я ахнул...

Каждый офицер, желающий остаться при корпусе, должен был представиться генералу Мамонтову. Его мы нашли в Дебальцево. Помню, в маленькой полутемной приемной ждало несколько офицеров. Наконец из комнаты, где, по-видимому, работал генерал, в переднюю вышел высокий, подтянутый красавец в генеральских погонах. Он крепко пожал мне руку, выслушал мой рапорт и объяснения, почему я прибыл в его корпус, и направил к инспектору артиллерии корпуса полковнику Маркову.

Так я был определен в восьмую батарею третьего дивизиона, которым командовал георгиевский кавалер полковник Леонов. Батарею я нагнал на своем великолепном дончаке где-то уже в пути, на походе. Командир батареи Александр Николаевич Пустынников, как и я, окончил Константиновское артиллерийское училище в Петрограде. Вообще мне повезло. Пустынников и все офицеры приняли меня очень радушно. Но комбат сразу же заявил мне, что у них офицерский состав комплектный и что я не могу быть определен на какую-либо должность в батарее. Тогда я попросил зачислить меня только на довольствие, на что, конечно, получил согласие: все равно в то сумбурное время большинство воинских частей питались, как говорится, на подножном корму. Перебивались кто как умел, — многое зависело от предприимчивости заведующего хозяйством батареи. Впоследствии, когда никто не хотел брать эту неблагодарную должность, я принял ее. Так, совершенно случайно, я и вошел в крепкую, дружную военную семью Донской армии, которая медленно, без боев отходила на юго-восток, к Новочеркасску — казачьей столице.

Из моих боевых друзей почти уже никого не осталось. Их рассеяло по всему свету, многие спят вечным сном на русском кладбище Сен Женевьев де Буа, под Парижем. В реабилитации они не нуждаются. Эти русские мальчики — офицеры, из которых преимущественно и состояла Добровольческая армия, бывшие студенты, бежавшие на юг от самосудов, — безумно любили искромсанную Родину. Они не происходили из каких-то, как позже писали, привилегированных слоев русского общества. Ни высшей

знати, ни помещиков, ни очень зажиточных сынков из богатых семей с нами не было. В Добровольческой армии был в основном русский середняк, сыновья так называемого третьего сословия, которое только что начинало зарождаться в России. Многие из них, в том числе и я, грешный, не могли забыть крылатой фразы, слышанной нами на разлагающемся тогда фронте мировой войны от свалившихся откуда-то многочисленных агитаторов: «Товарищи! Россия —только трамплин для скачка в мировую революцию! Если бы во имя этой идеи мы оставили от России только пепел, пустыню — мы это сделаем! Бросайте оружие! Не смейте слушаться ваших офицеров и стрелять в немецкий пролетариат, одетый в солдатские шинели! Офицерство ведет вас на братоубийственную войну, желая только получать двойное жалованье и награды!» Это мы-то, просидевшие столько времени в ржавых окопах, защищающие от врага свое Отечество и думающие лишь об одном — как бы поскорее вернуться в оставленные аудитории, закончить прерванное образование и начать служить нашему народу...

Непоправимый исторический парадокс был налицо. Для меня и этих мальчиков-добровольцев Россия не могла быть ни трамплином для скачка в мировую революцию, ни тем более объектом, из которого от нашего Отечества могла остаться только пустыня...

Об этом пока не пишут. Но придет время — историческая перспектива поставит все на свои места и, безусловно, исчезнет неправедное отношение к воинам Белого стана, навязанное чужебесием...

Справедливости ради следует сказать, что к большому движению масс к Белой армии примазывалась всякая сволочь — авантюристы, люди, делающие шаткую личную карьеру. Но это были одиночки, а одна ласточка, как говорят, весны не делает.

И все же в памяти сохранилось такое, о чем лучше бы и не вспоминать. Расскажу о самом страшном эпизоде, который во время гражданской войны мне удалось видеть. Два или три месяца после него я ходил как шальной, будто в каком-то кровавом тумане, и до сих пор я не могу этого забыть. Долго в беспокойные ночи снился мне этот кошмар, и я даже как-то в студенческие времена написал об этом стихотворение «О чем пел набат», о котором в нашей среде в свое время было много споров и толков. Я приведу его в конце эпизода.

Итак, 23 или 24 декабря 1919 года казачьи части навсегда оставляли свою столицу Новочеркасск. Генерал Мамонтов, как тогда говорили, попал в опалу и умер где-то на Кубани от сыпного тифа. Все возможно. Корпус временно принял генерал Т-н, человек очень набожный, в прошлом якобы полицейский пристав.

За неделю или меньше перед Рождеством часть корпуса, отогнав наседающего противника, пробила фронт и прорвалась к Провалью, где были расположены знаменитые конские заводы, откуда офицерский состав укомплектовывался чудесными лошадьми — помесью английских кровей с донскими, степными скакунами.

Именно оттуда выходили изумительной красоты, грации и легкости провальские кони-полукровки.

Наш артиллерийский дивизион в этой операции не участвовал, а части прорвавшегося к Провалью корпуса накрошили там месиво тел и захватили в плен мало подготовленную к боям дивизию — что-то около 4000 человек. Это был последний прыжок умирающего барса. Уже никогда позже деморализованные остатки Донской армии не проявляли ни такой инициативы, ни оперативности. Разве только вот в белом Крыму так называемая 2-я Донская дивизия по приказам Врангеля моталась на выдохшихся конях по Северной Таврии — от Мариуполя до Каховки и дальше — до нынешнего Запорожья, тогда захудалого городишки Александровска.

Помню ясный, морозный день. Дело было в Сочельник. Части одна за другой шли по звонкой дороге переменным аллюром — то шагом, то переходя в легкую, облегченную рысь. Командование спешило, так как красная кавалерия сидела уж на хвосте наших арьергардов. Военнопленные, еще не успевшие надеть на себя форму регулярных частей Красной Армии — кто босиком, кто в чулках, многие без картузов, — бежали трусцой. Ведь на дворе стоял крещенский мороз. Новоиспеченный генерал Р., осклабясь переговаривался с бегущими рядом пленными. Над обреченной колонной — клубы пара. И вот вижу, генерал протягивает руку к своему вестовому, тот молча подает ему карабин. Мгновение — раздается выстрел в затылок бегущему, и все повторяется сначала...

Так продолжалось версты две-три. Мальчишки с простреленными головами падали, как снопы, а колонна все бежала и бежала дальше. Но вот по рядам, как молния, пролетел слушок, что красная кавалерия совсем близко, а наши части не могут ее сдержать. Нужно ускорить аллюр, и становится ясным, что бегущую рядом у дороги бесконечную колонну пленных придется бросить. Но как бросить? Завтра же они пойдут на пополнение Красной Армии и будут бить нас. А посему принимается решение уничтожить на месте почти четыре тысячи русских парней... Это поистине страшно, чудовищно.

Но вот появляются дровни с пулеметом. На них два или три казака. Сани сопровождает отряд всадников с усатым, насупленным вахмистром. У него в руках плеть. Казаки, чуя неладное, начинают роптать:

— Да неужто, прости Господи, решатся... да под такой праздник?..

Однако кто-то, несмотря на Сочельник, уже решил судьбу этих парней. Один из казаков устанавливает поудобнее в задке дровней пулемет и укрепляет его. Второй, стоя рядом на коленях, зло кричит:

— Не буду стрелять! Не бу-у-уду!..

— Да ты что, очумел? Не мы их, так они нас завтра, в твою душу!..

И вот тогда третий казак, ударив шапкой о землю, бросается к пулемету и, крестясь, с захлебом кричит:

— Давай! Господи, благослови! Давай... мать твою!..

Слышатся исступленные крики:

— Да, братцы, да чего же вы! Пощадите!.. Мы же мобилизованные... Да мы же с ва-а-ами!..

— Начинай! — орет вахмистр, и пулемет, приседая и дрожа, начинает рвать пулями живые тела.

Многие, как подкошенные, падают навзничь в снег, кричат, обезумев, пытаются метнуться в сторону, но пулемет беспощаден — он достает всюду... Потом вахмистр и его казаки зорко осматривают недобитых, стонущих в конвульсиях людей и в упор добивают их из наганов на месте. И так партия за партией. Я не выдерживаю этой бессмысленной бойни и гоню упирающегося коня куда-то в сторону, чтобы уйти от этого ужаса...

За нами остался Новочеркасск, и золотой купол Войскового собора провожал нас почти до самого Аксая. К станице части подошли к полудню. На улицах появились огромные бочки с вином. Выбивая днища, казаки цыбарками и эмалированными кувшинами черпали хмельную влагу, и скоро всем стало весело. Часто бородатые старики, хозяева винных погребов, которых тут было немало, выкатывали бочки сами и предлагали уходившему Войску Донскому:

— Ии-и-их, чадушки, пейте родимые! Винцо доброе. Чаво ж, не будем оставлять супостатам — за вами видь «ваньки» идут, все выхлюстают...

А потом вдруг, озлобившись:

— А чаво ж вы, окаянные, тут на погибель нас покидаете? На кого? Вояки... Мы вот при Скобелеве, царство ему небесное...

Но казак, набрав цыбарку вина, его уже не слушает и пьет через край игристую донскую влагу. Напившись до отказа — по самую завязку, — как говорят у нас, он сует ведро своему коню и осоловело бубнит:

— Пей! Авось веселее повезешь...

Конь, чуя что-то непривычное в ведре, крутит головой и сторожко переступает ногами.

— Ты чаво добро переводишь, станичник? — говорит подъехавший подхорунжий и берет у него цыбарку. Ведро идет по рукам. На улице весело, как в Запорожской Сечи при дележе добычи. Но чувствую: Дон, мой Дон умирает... И, повернув коня, молча я гоню его к станице Хомутовской, куда тянется вся наша веселая конница...

НА КУБАНЬ

Корпус временно расположился в районе станиц Хомутовской и Ольгинской, откуда до Ростова было подать рукой. Казаки никогда не любили этого города, где было чуждое им, резко разделенное на две непримиримые категории население: на одной стороне тонущие в золоте купцы-толстосумы, а на другой — разбойная, смотрящая исподлобья, озорная рабочая голытьба, с которой по вечерам лучше было не встречаться — могли и ножом полоснуть. Издали доносилась беспорядочная стрельба. Говорили, что население Темерника и Нахичевани неласково провожало

белых рыцарей, как тогда называли в скудной в то жаркое время прессе воинов Добровольческой армии.

Вспоминается яркий, очень морозный, солнечный день в начале января 1920 года. Мороз поистине сковывал все — мороз крещенский, и от него никуда нельзя было ни уйти, ни скрыться. Думается сейчас — и как это люди в старых, легких шинелишках могли все это выдерживать. В сапогах леденели окоченевшие ноги, из тысяч глоток валил пар. А бедные наши кони... Сколько же их погибло! Сколько я их видел бьющихся в конвульсиях со вспоротыми взрывами животами, перебитыми ногами... С жалобным тихим ржанием они огромными, непонимающими глазами провожали проходящие войска, и порой какой-нибудь сердобольный станичник прекращал их мучения выстрелом в ухо.

6 января Первая Конная, по-видимому, решила взять Ростов с налета. Вспоминается заснеженное поле, где-то между станицей Ольгинской и Ростовом, небольшой гребень у какой-то незначительной балки, и вот во всю длину этого гребня выстроились в ряд батареи корпуса. Вдали маячит красная кавалерия, пытающаяся по льду перейти Дон. Но зло ревут наши батареи, трехдюймовки, откатываясь беспрерывно, шлют ураганным огнем снаряды, которые с характерным свистом рвут звенящий морозный воздух и поднимают столбы воды над зеркальным покровом тихого Дона, ломают лед, увечат мечущихся всадников... Я в призматический бинокль ясно вижу, как часть людей с лошадьми уходит под лед, а часть, повернув коней, мчится к берегу. Дон кипит от разрывов, но кажущиеся бесчисленными массы кавалерии все прибывают и прибывают...

Артиллерия усиливает огонь, но конные части корпуса почему-то не принимают участия в бою — Ростов защищают добровольцы. Да и к чему нам мужичий Ростов, если недавно сдали без боя наш Новочеркасск. Дымка времени уже покрыла флером точность воспоминаний. Кажется, что в этот или два следующих дня Ростов пал. Добровольцы ушли к затаившемуся рядом Батайску, а будущий красный маршал Буденный церемониальным маршем прошел по вымершей Садовой, главной магистрали Ростова.

Перед тем, когда Добровольческая армия, нуждаясь в деньгах, обратилась к богатейшему купечеству Ростова и к сбежавшимся сюда со всей пылающей России толстосумам за помощью, эта жадная сволочь бросила армии, кстати бившейся и за них, жалкую подачку в несколько тысяч рублей. А потом упорно говорили, что тот же Буденный обложил город в пользу Красной Армии контрибуцией в несколько миллионов, и эти толстосумы, перетрусив, заплатили все, не моргнув глазом...

Части шли на юг. Наша батарея двинулась куда-то в сторону от станицы Ольгинской. По дороге мы остановились у какой-то одиноко маячившей в поле скирды сена. Продрогшие до костей люди двигались, как призраки, кони были голодны. И вот у той скирды я пролез между казаками и, прислонившись спиною к душистому степному сену, через минуту заснул мертвым сном.

Проснулся я неожиданно около полуночи и с удивлением увидел, что скирды уже не было — ее за время моего сна дотла съели кони проходивших частей. В полумраке маячило несколько всадников, тихо между собою переговаривающихся. Осторожно, стараясь не шуметь, чтобы не обратить на себя внимания, приподнимаюсь на локте и вижу, что батарея ушла и, кроме незнакомых мне конных, никого вокруг нет. Всматриваюсь, и ножом режет мысль — кто они?.. Красный разъезд или наши?.. Ведь противник рядом, всего в паре верст. Вот, думаю, попал в переплет. Раззява вестовой ушел с батареей и увел моего коня. Как спросить? Если это красные — убьют. Ведь я как-никак белый офицер. Эти мысли вихрем летят в моей голове, и я смотрю на огоньки вспыхивающих цигарок разъезда. Наконец решаюсь. Кашлянув, сонным голосом равнодушно спрашиваю:

— Эй! Ребята, куда пошла батарея, что тут стояла?

— О ты чаво? Уснул, парень? — спрашивает осипший от махорки и мороза казак. — Какая батарея? Пустынникова, что ли?

Слава тебе, Господи! Наши. Оказалось, что батарея уже давно ушла в юго-восточном направлении, но куда — неизвестно. Снегу полно. Встаю и, чертыхаясь, бреду в направлении, указанном казаками.

На рассвете вдали между копен неубранного сена заметил темные фигурки людей. «Кто это?» — опять тревожный вопрос. Но меня тоже заметили в бинокль и вот навстречу мне послали моего вестового с конем. «Я вас в потемках не нашел, господин сотник, — оправдывался он потом. — Не мог же я отстать от батареи...»

Установившийся было на пару недель фронт снова пришел в движение. Главная, какая-то никому невидимая пружина, глубоко захороненная в душах бойцов, была окончательно сломана, и огромные боевые части панически бросали фронт и часто отступали перед незначительными группами красноармейцев. Кони шли, шатаясь и увязая по колени в черной грязи, еле передвигая ноги. Сойти с коня было невозможно — сразу оказывался как в вязкой смоле. И вот пришел приказ: бросить все повозки, все, что имело колеса, за исключением передков, зарядных ящиков и орудий. Что же тогда началось! На передки орудий лезли женщины и дети — беженцы, прося нас взять их с собой. Помню, как-то на одной остановке по непролазной грязи подъехал ко мне наш бывший реалист, бравый войсковой старшина Павел Янюшкин и предложил мне взять с собою какую-то графиню — ему не на чем было ее везти.

— Возьми, Николай! Толковая баба. Будешь доволен: молодая, красивая...

Я бросился к командиру батареи Пустынникову за разрешением. Но Александр категорически запретил ее брать:

— Да ты что — бардак из батареи хочешь сделать? А что скажут казаки?..

Но вот мы и на переправе через Кубань. Бравый казачий генерал регулировал со своими молодцами движение через единственный здесь мост. Сначала пропускал воинские части — шла кавалерия,

отдельные пешие казаки, а по всему берегу — до самого горизонта! — волновалось, ожидало своей очереди нагромождение тысяч повозок с беженцами. Некоторые, устав ждать, выпрягали лошадей, подняв оглобли, привешивали на них котелки, закопченные чайники и принимались за костры. Шло в безнадежный и бессрочный поход Войско Донское, побросав свои обжитые курени, имущество, стариков и старух на произвол судьбы... Были тут и снявшиеся с мест кубанцы. Казаки вели с собою коров, баранов, иногда целые стада, и все это блеяло, мычало, ржало, ругалось и ждало спасительной переправы на тот берег, словно только там было их желанное спокойствие и спасение...

Насколько мне известно, большинство беженцев отстали от армии, распылились по окрестным станицам да аулам или возвратились, скрепя сердце, с повинной домой. Нас пропустили беспрепятственно. На том берегу было все пьяным пьяно! Меня окружили знакомые казаки и наперебой принялись угощать. Совали кто кружку, кто котелок, кто четвертную бутыль. Пили спирт из разграбленного склада в Екатеринодаре. Я, как непьющий, отказывался, тогда одна сердобольная душа подарила мне целую четверть, запечатанную, как обычно, сургучной орленой печатью. Я ее бережно довез до своей батареи и сдал вестовым с приказом хранить до торжественного случая. Случай тут же представился — приближалась Пасха. Забегая вперед, скажу, что с той четвертью у меня получился казус. Когда я поставил ее на стол и открыл, предвкушая радость офицеров, оказалось, что четверть была заполнена обыкновенной водой. Вестовые сумели каким-то им одним известным способом выкачать из бутыли спирт...

Но пока переправа. Ко мне подъехал знакомый казак и говорит:

— Николай Андреевич, а на том берегу ваш дед Иосиф Федорович с повозкой стоит. Очень хотел бы вас видеть...

Я погнал коня к мосту, собираясь вернуться и перевезти деда — увез бы его с собою, взяв на батарею. Как я любил деда — человека, который сформировал всю мою жизнь! Даже теперь, сам став стариком, в трудных ситуациях я контролирую себя его мерками: «Как бы поступил, что сказал бы дед?..»

С размаху я хотел тогда проскочить мост. Но не тут-то было: решительный генерал никого не пускал против движения. Я бросился к берегу, желая переплыть с конем через бурную здесь Кубань. Но конь сторожко упирался и не хотел идти в воду: посредине реки кружили жуткие коловерти. А дед, самое дорогое для меня существо, был в каких-то шагах от меня. Отказавшись от попытки переправиться к нему, я не терял надежды, что еще встречу его среди беженцев. Но пути отступления в гражданскую войну были неисповедимы, и я не дождался желанной встречи. Тогда мы расставались с дедом навсегда. Знай это, погнал бы я коня в жуткую Кубань...

Через несколько лет, уже будучи за границей, я узнал, что дядя Михаил умер по дороге домой от тифа, Яков погиб где-то в Сибири, а дед Осип, преследуемый, по-видимому, из-за меня и совершенно

уничтоженный, через три года скоропостижно скончался в станице Клетской от разрыва сердца.

...Мы подходили к горам. Начинался сказочный край гордой красоты — незабываемый Кавказ. Был уже цветущий, веселый апрель, и, как сейчас помню, сидя где-то на краю поля, я перебирал в руках уже выметавшиеся колосья и удивлялся, что тут, в этом земном раю, так рано зреют золотые хлеба. А у нас в это время степи были покрыты пестрыми коврами лазоревых цветов, сизо-фиолетовыми степными фиалками, начинающим уже выметывать нежные усики ковылем... Куда же несло нас от родных гнезд, зачем?..

Все труднее и труднее становились подъемы. Орудийные лошади шатались от усталости. В упряжки уже давно пошли офицерские кони, а на крутых подъемах казаки и офицеры, напрягая все силы, сами тянули за спицы грязных колес орудия, зарядные ящики. Ведь орудие для артиллериста как знамя — его нельзя бросить ни при каких условиях!

Вскоре наши части забрались на высокий перевал со странным названием «Индюк». Тут и люди и кони совершенно выбились из сил, и командир дивизиона полковник Леонов, собрав казаков, заявил, что нет никакого смысла мучить нужных нам еще лошадей и тащить дальше совершенно лишние для нас орудия. Здравый разум победил вековую традицию, и было решено сбросить все орудия в огромный провал, простирающийся у самой кромки узкой тропы, по которой тянулся наш бесконечный поток. Думаю, что у начальства не было даже карт местности, по которой мы двигались, так как вскоре уж начался легкий и длительный спуск к морю, к Туапсе. Нужно было видеть заросшие щетиной суровые лица батарейцев, когда, сняв папахи и фуражки, крестясь, они пускали орудия под откос. Пушка за пушкой летели в бездонную пропасть, и гулкое эхо замирало где-то в горах, как стон изболевшейся души. У многих навертывались слезы на глазах, но другого выхода у нас не было...

КАВКАЗ

Я впервые был на Кавказе. Мне казалось, что нет красивее наших Донских степей с их дрофами, коврами лазоревых цветов, дурманящим, неповторимым запахом чобора и полынка, Дона с его заливными веселой полой водой займищами и высоким бездонным небом, где огромные звезды в безлунные парные ночи заставляли меня задумываться над величием мироздания и бесконечностью. И вот предо мною Кавказ... Кавказ Пушкина и Лермонтова с его Демоном и загадочной Тамарой. Боже! Какое счастье сходило на мою изломанную душу только при мысли, что я тут, что я сейчас войду в недра долин и ущелий, где гарцевал Казбич, где слагал поэмы Пушкин...

Все — и кубанская невылазная грязь, и идущие за нами по пятам красноармейцы, и давящая неопределенность будущего — все было забыто, когда, спускаясь с последнего, самого тяжелого и крутого перевала, я, пораженный и очарованный, впервые увидел

в просвете между двух расходящихся гор море. Когда кто-то из казаков крикнул: «Море!» — я сначала его не увидел, но когда присмотрелся к этой необъятной убегающей шири, понял, что это — море. Внизу, разбросанное на пригорках, в мареве насыщенного солью морского воздуха, как дивный мираж, качалось Туапсе.

И вот сюда-то, в эту неземную благодать, оставив за собою грозные перевалы кавказского предгорья, скатывались остатки Донской армии — голодные, грязные, в стоптанных сапогах и бесконечно уставшие от всех войн. Казаки рассыпались по городу, и корпус разместился по квартирам. Тут мы простояли несколько дней — чистились, приводили себя в порядок, а некоторые пытались даже купаться в море.

В городе по счастливой случайности оказался кочевой захудалый цирк. Меня сильно лихорадило, но я не хотел упустить случая побыть хоть час-два в иной обстановке и направился в цирк, большая полотняная крыша которого высилась недалеко на пригорке. Взял билет и начал смотреть джигитовку, эквилибристику, смешных клоунов, от которых я уже совершенно отвык. Рядом со мной уселся парень неопределенной национальности и начал жарко дышать на меня чесноком. Я чеснока вообще не переношу, а тут после изнурительного похода да еще с лихорадкой не мог без предельного отвращения нюхать этот отвратительный перегар — встал и, посмотрев ненавидящими глазами на это кавказское дитя, ушел.

Через несколько дней мы двинулись походным порядком дальше. Орудий не было, и батарея только формально не потеряла своего названия. На одной из остановок есаул Пустынников попросил меня съездить за вином: приближалась Пасха. Мы прошли «долину роз», так называемые царские дачи, и достигли Уч-Дере, где дивизион расквартировался на пасхальные праздники в огромном, теперь пустом, здании института благородных девиц. Отсюда с несколькими разведчиками я и заскочил в Сочи за вином. Объехав несколько домиков, мы купили пару бутылок, за которые хозяева не хотели брать деникинские «колокольчики», а просили расплачиваться донскими бумажками. «Колокольчиками» назывались добровольческие тысячерублевые бумажки желто-оранжевого цвета с изображением на одном из углов царь-колокола. У нас, донцов, были свои — синие тысячерублевки с изображением символической России в виде женщины в кокошнике и со щитом, 250-рублевки были с атаманом Платовым и так называемые «ермаки» — 100-рублевого достоинства. Почему-то именно «ермаки» вызывали доверие, хотя те и другие уже не имели цены даже обыкновенной бумаги...

Вернувшись в Уч-Дере, я разослал часть разведчиков по окрестным аулам за яйцами. Привезли много, и я с вестовыми занялся окраской их. У нас было только две краски — фиолетовая из чернильных карандашей и желтая из луковой шелухи, красного яичка к Христову дню, как предписывала вековая русская традиция, за неимением красной краски у нас не получалось. Но зато

готовилось кое-что более редкое и существенное. Один из досужих разведчиков радостно доложил мне:

— Господин сотник! Где-то в подвале хрюкает боров. Я уже обнюхал это дело со всех сторон...

Пошли к управляющему. Старый поляк сначала заявил, что ни о каком борове не знает и что это нам только показалось. Но когда вдруг послышалось пронзительное визжание свиньи, он сдался и, виновато улыбаясь, с досадой сказал:

— Проклятый, с голоду южит...

Мы уговорили поляка продать нам свинью, так как за нами, мол, идет несметное красное войско и неизвестно — купят они у него свинью или просто ограбят.

Словом, праздники мы отпраздновали лучше, чем предполагали, — было и мясо, и крашеные яйца, и вино. Не было только покоя и уверенности в своей судьбе. Ходили слухи, что 30000 кубанских казаков сдаются большевикам. Это потом подтвердилось. Но наш легендарный мамонтовский корпус, особенно офицерский состав, не мог сдаваться — слишком много мы красным насолили.

Вскоре нам сообщили, что мирный договор подписан и что выработаны определенные условия сдачи. По договору казакам была обещана милость, а офицерам... Офицеров пока собирались отделить и рассортировать в индивидуальном порядке. Батарея как на дыбы поднялась, загудела. Помню, собрались мы, комдив полковник Леонов поставил мне задачу:

— Сходите, пожалуйста, на батареи и выберите все деньги, находящиеся в денежных ящиках.

Я с неохотой отправился исполнять это щекотливое поручение. Было ясно, что в батареях что-то происходит. Когда явился к казакам и сказал, что по распоряжению командира дивизиона хочу выбрать деньги из денежного ящика, казаки зашумели и заявили, что денег не выдадут. Я не стал никого уговаривать и возвратился в свою хату.

Утром все офицеры собрались группой и сели на коней. Казаки дивизиона стояли насупившись и смотрели на нас, как волки. Они уже знали, что мы решили пробиваться в Грузию, а дивизион принимал условия сдачи. В это время командир моей батареи есаул Пустынников болел тифом, бросить командира мы не могли, и я должен был везти его на телеге. Вестовой запряг коней в какую-то бланкарду, напоминающую дроги, есаула положили посреди этой повозки — он был в полусознательном состоянии, к нам уже присели сестры милосердия Чернова и Васса Олимпиевна, а Митрофан, мой верный вестовой, стоял у бланкарды и молчал.

— Садись, Митроша! Едем... — распорядился я.

Но он, к моему удивлению, передал мне вожжи и решительно заявил:

— Господин сотник, я никуда не поеду. Остаюсь с батареей.

На его глазах навернулись слезы. Чувствовалось, что это свое решение он выстрадал... Конная группа офицеров уже двинулась по долине к Адлеровскому шоссе. Я, взяв вожжи, погнал повозку

вдогонку. Помню, как казаки, сбившись в толпу, молчаливо смотрели нам вслед. Это расставание с людьми, с которыми было столько пройдено и пережито, рвало сердце... Проехав с версту-две, я вспомнил, что в суматохе что-то оставил в хате, где мы спали. Пришлось вернуться. Казаки вдруг окружили меня плотным кольцом и начали уговаривать остаться с ними. Я протестовал, ссылаясь на то, что со мною больной командир и две сестры и что красные нас могут убить. Но казаки стояли на своем:

— Да мы вас, господин сотник, никому в обиду не дадим, оставайтесь.

Стоявший около меня бравый вахмистр батареи урезонивал:

— Братцы, не надо. Не будем греха на душу брать. Кто ж его знает, как все пойдет...

Чей-то злой и отчаянный голос покрыл всех:

— Вы что же, сукины сыны, завели нас в чужие края, а теперь кидаете? Мать вашу в дыхало!..

Я еле вырвался из толпы, кинулся к повозке и с места погнал лошадей к морю, к грузинской границе. Казаки, скачущие от границы, хмуро кричали:

— Не пускают! Стоят грузинские броневики, и дорога в Грузию закрыта...

Вскоре я убедился в этом и сам. Действительно, поперек дороги стояло несколько броневиков с наведенными на нас пулеметами, а в довершение всех зол — с гор, вдоль которых бежало приморское шоссе, начали по нас стрелять зеленые. Это были банды сгруппировавшихся дезертиров, они усеивали леса прибрежных гор и били и белых, и красных.

Положение создавалось безвыходное: впереди грузинские броневики, сзади с часу на час появятся красные части, справа безбрежное и пустое море, а слева горы, с которых по нас бьют зеленые. Полная мышеловка!

Видя, что положение безнадежное, я погнал коней к Адлеру. И вот на одном из поворотов — о, чудо! — толпа калмыков, а на небольшом расстоянии от берега три парохода. Вмешавшись в толпу, я узнал, что идет погрузка Дзюнгарского калмыцкого полка. Погрузку ведут американцы.

— Вас все равно не возьмут, господин сотник, — заявил мне пожилой калмык, щуря и без того узкие, степные глаза.

Я в недоумении спросил:

— Почему?

— А берут только нас, калмыков. Нам нельзя оставаться, у нас у всех морда шибко кадетская — каждый узнает, — горько, но в то же время гордо улыбнулся сын степей, стоя у непривычного для него моря.

Договориться с принимающими непривычных пассажиров матросами мы не могли — никто из нас не говорил по-английски. Наконец разобрались, и мы бережно сняли с бланкарды командира и перенесли его в шлюпку. Сестры милосердия уселись около него, а когда и я попытался вскочить в шлюпку и уже поставил ногу на

борт, английский матрос ударил меня веслом в грудь и сбил в воду. Видя, что меня не пускают в шлюпку, обе сестры вскочили и возмущенно принялись объяснять матросам, что без меня не поедут. Тогда матрос, по-видимому, сжалился и разрешил мне забраться в шлюпку.

Так мы попали на огромный русский пароход «Дон» и устроились на верхней палубе. А неподалеку стояли привязанные к кустам наши кони и непонимающе смотрели на происходящее. Серый, привыкший ко мне, косил на нас глазом и тихонько ржал...

Взглянув последний раз на своего четвероногого друга, я смахнул невольно набежавшую слезу и повернулся спиной к берегу. Погрузка джунгарцев окончилась, и пароходы, задымив, взяли курс на таинственный Крым, где, по слухам, еще держался лихой генерал Слащов.

БЕЛЫЙ КРЫМ

Вдали, в голубой дымке, замаячили очертания берега. Мы жадно всматривались в приближающийся город. Это была Феодосия, город любимого мной Айвазовского. Пароходы не задержались здесь долго и пошли вдоль побережья. Не заходя ни в Севастополь, ни в Евпаторию, высаживаемся на западном берегу Крымского полуострова в татарском селении Ак-Мечеть. Тут уже были казачьи части, каким-то образом здесь очутился и полковник Леонов, ушедший от нас на Кавказском побережье в горы.

В Крыму командование войсками принял барон Врангель, появился и Донской атаман Африкан Петрович Богаевский, лицо совершенно непопулярное среди потерявших во все веру казаков. Но Богаевский был, нужно отдать ему справедливость, очень *образованным и трезво смотрящим на события человеком.*

В мае на подводах нас двинули в Евпаторию, где формировались или уже стояли сформированные части. Евпатория в те давние времена представляла из себя захолустный городок. Вдоль берега торчало несколько довольно примитивных санаториев. Чуть ли не на единственной улице, бегущей вдоль берега, почти рядом стояли два ресторана — большой, с экзотическим названием «Дюльбер», и небольшое, но с претензией кафе-ресторан «Валькирия» — здесь обедали и закусывали преимущественно мы, младшие офицеры. А «Дюльбер» посещали исключительно штаб-офицеры и генералы. Тут можно было встретить «красу и гордость донской артиллерии» полковника Ковалева. Это был удивительный человек. Выше среднего роста, плечистый, с загорелым правильным лицом и внимательными карими глазами. Всегда — в бою и на походе — безукоризненно одет. На руках неизменные белые перчатки. Красив и картинен до жуткости! Понятно, до «Валькирии» Ковалев никогда не опускался. Его всегда можно было видеть только в обществе генералов. Кто не знал биографии полковника, обязательно бы подумал, что это аристократическое дитя, случайно попавшее в нашу среду. Но это не так. Он был настоящий донской казак.

Сиротой его взял какой-то дальний бедный родственник и воспитал чуть ли не в куренях с земляным полом. Откуда же те манеры, осанка Марса — кто знает...

Май 1920 года шел к концу. Однажды поступил приказ грузиться в вагоны и отправляться на узловую станцию Джанкой. И снова потянулись войсковые части, батареи, походные кухни. Как-то незаметно перешли Перекопский перешеек, не заметив его знаменитых укреплений. Собиралась 2-я Донская конная дивизия под командой генерала Калинина. Это была самая оперативная единица в армии Врангеля. Общее командование над нами имел суровый службист, коренастый, будто вырубленный из дуба, генерал Кутепов, впоследствии председатель Русского общевоинского союза за границей.

Не встречая серьезного сопротивления, врангелевская армия, а с нею и 2-я Донская конная дивизия быстро подвигались вперед, занимая все большую и большую территорию. Мы вступали уже в неотъемлемую часть мужицкого анархического царства батьки Махно.

Как-то, во время особо быстрых первых успехов, дивизия прошла с боями верст 30—40, и упоенные таким успехом штабы вырвались вперед вместе с генералом Калининым. Батарея после очень утомительных и длинных переходов расположилась на ночлег в какой-то деревушке, — кажется, это была Мартыновка. Жара даже для Крыма стояла необыкновенная. На ночь мы поснимали с себя все, оставив только подштанники. Я спал на кровати, покрытой тулупом, кишащим блохами; документы, которые всегда возил с собой, в том числе студенческие, положил под подушку. Все было тихо и предвещало спокойную ночь, но гражданская война коварна — она на каждом шагу полна всяких неожиданностей.

И вот после полуночи меня вдруг кто-то схватил за плечо и закричал:

— Господин сотник, скорее! Красные в деревне!

Что творилось на улице — страшно представить! В темноте южной ночи шла дикая рубка: лязгали клинки шашек, сверкали вспышки выстрелов, разбойничий посвист сотрясал воздух... Как оказалось позже, на нас напала красная кавалерия, остатки разрозненной группы блиновцев. Они-то и наполняли воздух свистом, чтобы во тьме отличить чужих от своих.

Выскочив на ошалевшем коне на улицу, я вмешался в густую толпу всадников. Слышны крики:

— Калединцы, ко мне! Калединцы! Ко мне!..

Казак, скачущий рядом со мной, говорит:

— Чапчиков сзывает полк.

Вдруг откуда-то из тьмы огромная масса конных, не доезжая до нас шагов сто — двести, останавливает коней.

— Что за люди? Какая часть? — кричат издалека и тут же: — А, беляки-и!.. в могилу... в гроб!.. — и вся эта смутно движущаяся масса бросается на нас. Повернув коней, в беспорядке мы уходим. В ночь летит исступленное «Ур-р-р-а...»

Потом, уже много лет спустя, в Праге я встречался с Гришей Чапчиковым — он уже был студентом русского юридического факультета. Припомнили тот эпизод.

— Быль молодцу не в укор, — заметил Григорий Иванович. — Всякое бывало, доктор...

Наши части заняли Мелитополь, где обосновались штабы, и строгий порядок всюду, по-прежнему, удерживал грозный Кутепов. 2-я Донская металась по всей Северной Таврии с переменным боевым счастьем. То она появлялась под Каховкой, то под Мариуполем, то доходила даже до захолустного городка Александровска (ныне Запорожье). Были заняты Пологи, Нижние и Верхние Серогозы, Большой Токмак, где стоял полевой госпиталь, в котором я одно время лежал. Как-то ночью на Токмак налетела красная конница. Мы, больные, в одном белье повыскакивали в окна и на спешно мобилизованных повозках рванули по ночной степи куда глаза глядят. Тут я еще раз убедился, что самое безопасное место — это боевая часть, батарея, куда я и поспешил вернуться.

В разгар крымской эпопеи в полях Северной Таврии наши окружили и порубили знаменитую дивизию Дмитрия Жлобы. Поражение было полное, но Жлобу не удалось поймать — он ушел будто бы на пулеметной тачанке.

Но вот Спасское. Деревушка млела от начинающейся жары, было тихо, ничто не предвещало ничего плохого. И вдруг крик:

— Братцы! Красные! Гляди по буграм обходят...

Поднялась несусветная суматоха, как это всегда бывает в подобных случаях. Оставив на месте обоз, я взял пушку в передки, вывел ее к ветряку, где уже сгрудились казаки, отбившиеся от своих частей. Тут же стояла пулеметная тачанка с пулеметчиком и сестрой милосердия. По гребню, на другой стороне Спасского, клубилась пыль — это, сверкая обнаженными клинками, мчались на нас красные конники. Они то исчезали за гребнем, то появлялись снова. Вахмистр крикнул мне:

— Господин сотник! Скорее на соединение с дивизией!..

— Орудие к бою! Не уйдем! Порубят! — только успел я ответить, и тут же мы врезали по красным, которые на бешеном скаку уже начинали спускаться в село. Среди всадников противника поднялся переполох: они, видимо, не ожидали встретить артиллерию. Часть их, вздыбив коней, повернула обратно. Но откуда-то сбоку я заметил в бинокль новую волну конных. Перевалив через гребень, они спускались с горы.

Переношу огонь на них. Тогда первая группа, опомнившись, снова ринулась в нашу сторону. Бью шрапнелью. Но разве одним орудием отобьешь атаку... Казаки, человек двадцать пять, сгрудившись у орудия, советуют мне уходить вместе с ними напрямик, к виднеющимся вдали буграм, куда утром ушла дивизия. Оттуда слышится далекий гул артиллерийской стрельбы. Видя, что лавы красных выскакивают по гребням со всех сторон, а часть, отделившись, стремится нас окружить — отрезать путь к отступлению, я приказываю взять орудие в передки, и мы спешно уходим по

проселочной дороге к какому-то селению. Группа казаков на горячих конях, покрутившись минуту около меня, пошла карьером к далеким буграм, где предположительно вела бой наша дивизия. Оказавшись в какой-то немецкой колонии один, я с минуту раздумывал, что делать. Наконец, выбрав узкую боковую улочку между огородами, я погнал орудие по широко открытой степи. Идем на предельной скорости. Орудийные лошади уже в мыле. Но вот сзади за нами вываливается красная лава — красные курсанты и распластавшиеся в бешеном намете кони. Молнией мелькает мысль: от этих не уйдем! Прошу пулеметчика дать очередь, но у него заело ленту в пулемете, и он судорожно пытается ее выпростать. Ясно, что пулемет неисправен. Решаю рубить постромки и уходить без орудия. Но в этот момент слышу характерный визг трехдюймового снаряда, посылаемого справа. Слышится разрыв шрапнели над красными конниками, я оглядываюсь и вижу в их лаве замешательство: кони становятся на дыбы, смятые ряды курсантов останавливаются и вскоре исчезают за линией горизонта. Слава тебе, Господи! Пронесло! Снимаю фуражку и крещусь.

Оказалось, что одна из батарей нашего дивизиона стояла на отдаленных буграх и кто-то из офицеров заметил в бинокль одинокое орудие, преследуемое конницей. Это был хорунжий, мой дружок. Офицеры, видевшие наше отступление, долго смеялись:

— Ну что, Николай, задали тебе перцу?.. Смотри, больше не скрывайся по обозам. Не будь хорунжего — порубили бы вас всех. С красными курсантами шутки плохи!..

Кстати, с нашим обозом в Спасском ничего не случилось. Он отсиделся в деревне. Но по дороге мы наткнулись на груду порубленных красными курсантами тех казаков, которые были со мной под ветряком, а потом пошли на соединение с дивизией напрямик...

Шла уже глубокая осень. Наступили холода. Задул ледяной ветер. На душе было тяжко. Настроение падало при мысли, что зиму придется проводить в Крыму, а не дома в родных станицах. И как гром среди ясного неба — весть, что наша армия спешно оставляет Таврию и валом валит к Перекопу. Восхваляемые неприступные укрепления не выдерживают натиска красных. Говорили, что Турецкий вал уже взят, что ледяной ветер обнажил десятилетиями не замерзавший Сиваш и что атака противника именно на этом незащищенном участке может помочь красным ворваться в Крым. Наши обозы, лазарет, совершенно дезориентированные, метались, как в страшном кошмаре, не зная, что предпринять. Ко мне из обозной канцелярии прибежал наш делопроизводитель Александр Васильевич Бут, и мы решили с ним запрячь наших коней в одну из обозных повозок и спешно идти в центр полуострова. О Перекопе нельзя было и думать — там, по слухам, шли лютые бои, творилось что-то невообразимое. Мы метнулись к Геническу, на Арбатскую стрелку, которая вела в Крым. По дороге попадались обмороженные люди, и негде было приткнуться, чтобы согреться. Узкая Арбатская стрелка кое-где покрылась ледяной водой, в лужицах уже хрустел ледок, а по обеим сторонам

паршивой песчано-каменистой дороги набегали мутные волны Гнилого моря. За всю дорогу по Стрелке нам ни разу не удалось попасть под крышу. Люди стали злы, хмуры, дерзки.

Стрелку, протянувшуюся верст на 100—120, мы прошли довольно быстро. Выйдя в Крым, взяли направление на Симферополь, где надеялись получить сведения о положении на фронте и, может быть, о расположении нашего артиллерийского дивизиона, который, по слухам, уже был в Крыму. Потянулись проселочными дорогами по татарским деревушкам, где трудно было договориться по-русски. И вот, не доходя до Симферополя, совершенно случайно встретили нашу батарею у речки Салгир. Батарейцы шли беспорядочной толпой, примолкшие, хмурые. Орудий не было. Оказывается, на Перекопе пришлось бросить уже никому не нужные пушки. Как видно, разгром был полный.

Артиллеристы должны были грузиться на пароходы в Керченском порту. Некоторые части шли от Джанкоя и Симферополя почти безостановочно на Севастополь, к Ялте. Нам предстоял наиболее долгий путь — в Керчь. Опять прошли через Старый Крым, разбросанный среди бугров. По дорогам во все стороны скакали казаки и предлагали чудесные крымские яблоки. Где-то, вероятно, ребята разграбили склады, но нам было не до яблок. Было страшно, что нас отрежут на Арбатской стрелке. Тогда конец — рубили интернационалисты хлестко, наотмашь и, разгорячившись погоней, не брали в плен никого...

Мы входили на Керченский полуостров, самое опасное место после Перекопа. До Керчи оставалось около ста верст. Офицеры откуда-то получили сведение, что Врангель заявил о полной готовности к эвакуации. Твердили, что пароходы все мобилизованы и ни один человек не будет оставлен. Но какой же нужен тоннаж?.. Ведь кроме войска движется масса гражданского населения с повозками, нагруженными всяким скарбом. Многие уверены, что на пароходы будут взяты их объемистые чемоданы, корзины, сундуки. Некоторые везут даже собачек. Но куда же нас повезут? Опять на Кавказ, в Грузию?.. Ни на секунду не появляется мысль, что за границу... в Турцию... навсегда...

Под вечер, не помню, какого уже дня нечеловеческого гона, вдали замелькали одинокие огоньки. Что это? Неужели Керчь?.. Да, это была Керчь, затянутая изморозью, или морским мокрым туманом. Утром, явившись на набережную, мы увидели несколько пароходов, заполненных людьми. В полной безнадежности толкались казаки по пристани и вдруг в сторонке заметили небольшое суденышко. На его низкой палубе никого не было! И вот мы бросаемся к этому последнему убежищу. Из подобия капитанской рубки навстречу выходит молодой моряк, по всей вероятности, капитан этого суденышка. Размахивая руками, он кричит:

— Да вы что! Куда? Да это же пароход каботажного плавания! Пшеницу да селедку вдоль берега возим... Куда же вы лезете? Мы все равно никуда не пойдем!..

Но казаки продолжают прыгать на эту жалкую посудину. Тогда отчаявшийся капитан, видя, что не сможет остановить потока людей, просит:

— Братцы, мы же из порта не выйдем, утонем — время-то самое штормовое... Мы же каботажные...

Кто-то, не понимая морской терминологии, зло резюмирует:

— Я тебе, так твою в душу, дам саботажное! Сами видим, что саботажное! Потонем?.. Да нам все равно, где погибать. Разводи пары, туды твою мать! Краснюкам хочешь оставить? Разводи-и-и! А то, вот, муздыкну из этого вот! — и казак показывает ошалевшему капитану трофейный маузер. Того как ветром сдуло...

На возвышении посреди палубы, у самой трубы, я заметил вестового Петра Абакумова. Он был в бурке, на коленях у него был большой кожаный чемодан и еще какие-то вещи. Увидя меня, он крикнул:

— Господин сотник! Лезьте сюда — тут теплее будет. У трубы-то оно вернее...

Но меня лихорадило, поднимался жар, и я отказался лезть к Петру, который продолжал меня уговаривать:

— Лезьте! Отсель виднее чужие края. Местечко освобожу.

Я любил этого шустрого, ни в какой обстановке не теряющегося пожилого казака. Дома он потерял все и вот теперь, сидя у трубы, шутил и устраивался в дальнюю, никому из нас не известную дорогу. К нему я все же не пошел. Пробираясь с величайшим трудом между казаками, забившими палубу, как селедки в бочке, я спустился в темный трюм, где тоже было полно людей. В трюме была насыпана пшеница и, как оказалось потом, стояли бочки с керченской сельдью и мешки с сахарным песком. Капитан оказался прав — судно действительно развозило по прибрежным портам и селеньям продукты.

Где-то вдали постреливали. Некоторые пароходы, густо дымя, начали выходить на рейд, в неизвестную даль. Мы еще не развели пары как следует и стояли, касаясь бортом низкой пристани. Но по берегу еще металась густая толпа не успевших попасть на пароходы людей. Я, найдя в трюме свободный уголок, сложил там свои незатейливые вещички и вылез из темной духоты на палубу. Да, собственно говоря, вещичек-то у меня было в обрез: брезентовое английское ведро для пойки коня, а в нем жалкое бельишко — вот и все, с чем я оставлял свою Родину навсегда. Карманы мои были совершенно пусты. Лежала там пара бумажных, никому не нужных кредиток — «ермаки», деникинские «колокольчики». На поясе моего добротного домашнего полушубка на козьем меху с серой оторочкой из бараньей смушки висела кобура с наганом, украшенная серебряным полумесяцем, да на шее болтался ненужный теперь и мешающий полевой «цейс». Правда, в карман полушубка был засунут футляр с серебряным столовым прибором. Вот и все, если не считать еще тоски, которую я навсегда увозил из милой моему сердцу России...

В ТУРЦИЮ

Куда нам предстояло плыть? Да, наверное, в Турцию. В страну, с которой веками воевали наши деды и прадеды. Сзади, на последнем пятачке русской земли, победившая Красная Армия, под ногами зыбкая палуба, впереди неласковое Черное море... Выяснилось, что пойдем под французским флагом. Над нами простирали свою державную руку французы. В памяти вставала Восточная Пруссия, где, спасая Францию, мы положили чуть ли не целую армию и где, не перенеся позора, застрелился наш бывший Донской атаман Самсонов.

Выйдя на забитую людьми палубу, я снова услышал:

— Господин сотник! Да идите же сюда — тут тепло.

Оглянувшись, я увидел Петра Абакумова. Он сидел у трубы и что-то уплетал за обе щеки. Я пролез к нему. Он открыл свой добротный чемодан и показал содержимое. Внутри было много колец чудесной домашней колбасы, куски доброго сала, хлеб.

— Откуда это у тебя, Петя? Где ты достал такое богатство? — спросил я, сглатывая слюну.

— Где? А вот где... — характерным жестом Петр показал, что все это он слямзил в Керчи. — До самой Турции хватит...

Петр отрезал мне королевский кусок чудесной колбасы. Взглянув на тихо уходящий берег, я увидел брошенных нами коней, которые смотрели на уходящие пароходы и, подняв головы, тихонько ржали. Вон несколько из них, войдя в воду, поплыли за нами, и один казак, вероятно, узнав своего коня, судорожно схватил винтовку. Перекрестясь, он начал стрелять в него, но пули летели мимо, казак не выдержал, махнул рукой и скрылся в трюме.

Всю дорогу в этом темном, пахнущем мышами и пшеницей трюме провел и я. Мне нездоровилось — ведь на пароход-то я попал прямо из госпиталя. Страшно хотелось пить. Жажда мучила так, что пили морскую воду, доставая ее через борт буквально руками и сдабривая непереносимо противный вкус ее сахарным песком. Пресной воды выдавали по стакану в день. Но скоро запасы ее кончились, и мы пили морскую воду, заедая ее селедкой. Это был тоже один из кругов дантова ада, который нам предстояло пройти. Сколько длилось кошмарное странствование через бурное Черное море до Анатолийских берегов — неделю или больше — никто не знал...

Но вот на горизонте появилась чуть заметная в утреннем тумане голубая полоска. Это была Турция. Помню, тогда налетела вдруг черная туча и полил проливной дождь. Вся палуба пришла в движение. Умирающие от нестерпимой жажды люди быстро начали вытаскивать грязные заплеванные брезенты, бережно натягивали их над головами и по желобкам пили падавшую с неба пресную влагу. Ах, как вкусна была та вода! С тех пор у меня осталась неистребимая любовь и уважение к этому благу природы — простой пресной воде, которую я всю жизнь предпочитал всем винам и самым современным освежительным напиткам.

Ливень шел довольно долго, так что люди, напившись всласть, повеселели и уже бодрее смотрели на приближающуюся полоску

спасительной земли. Вот наш пароходишко вошел в узкий Босфорский пролив. По обеим сторонам потянулись зеленые холмы с многочисленными домиками, окруженными кипарисами и пирамидальными тополями. И вот мы на рейде Золотого Рога. Здесь масса судов самого разнокалиберного тоннажа. Все пароходы забиты беженцами и солдатами. Между судами снуют быстрые лодчонки турецких торговцев, наполненные всевозможной всячиной, от которой нельзя оторвать голодные глаза. Тут и связки аппетитного инжира, и апельсины, и белые караваи пышного хлеба, вкус которого мы давно забыли, и горки коробок с сардинами, маслянистые финики, и даже бутылки с коньяком. Население судов и лодочники ведут бойкую торговлю, но, как выясняется, наши обесцененные деньги никто не берет. Узнаем, что у турок особенно котируется наше оружие. И с бортов пароходов спускается на поясах и веревках все огнестрельное, колющее, режущее. Турки бешено торгуются за каждую связку инжира. У меня, кроме нагана в сафьяновой кобуре и серебряного столового прибора в кожаном футляре, ничего не было. Так что, произведя в уме несложный расчет, я решил продать тот наган и прибор. Оставался полевой бинокль. После долгого, упорного торга — уж больно красива была кобура с серебряным полумесяцем из кавказского серебра — турок не выдержал, и я вытащил на борт четыре турецкие лиры. Это ли не богатство! Фантазия моя заработала вовсю. Но я был молод, несведущ и, по-видимому, непроходимо глуп. Через полчаса я обменял половину своих лир на деникинские деньги и... стал миллионером! Получив огромную сумму, я совершенно потерял спокойствие. Появился страх, что меня обворуют, когда я буду спать, но никто тех денег не украл, я довез их до Чехословакии, где украшал ими стены своей скромной студенческой комнаты.

Вдали от нас, на рейде, посреди Золотого Рога, стояла громада «Вальдек-Руссо». Как-то от него отделился моторный бот и направился к нам.

— Эй, на «Павле»! Давай пять казаков и переводчика.

— Куда?

— На «Вальдек» за продуктами...

По палубе волной пролетел шепот. Где переводчик? Нет переводчика. Тогда, будто меня что-то осенило, кричу:

— Есть!

— Идите в лодку!

И вот, помня из реального училища пару необходимейших французских фраз, я сижу в боте, и на нас надвигается сиренево-серая громада «Вальдек-Руссо». Вбежав на палубу первым, я ищу кран питьевой воды и жадно глотаю неимоверно вкусную холодную воду. Вокруг меня толпятся казаки и, перекрестясь, пьют, крякают и снова пьют, не отрываясь, эту долгожданную воду. Французские матросы стоят вокруг нас и недоуменно пересмеиваются. Им непонятно, почему русские пьют воду, когда рядом бочки пинара — дешевого красного вина, без которого рядовой француз не представляет жизни.

Мы идем за продуктами. Паек на человека не слишком обилен. Вот суточная норма:

Хлеб или мука	500 г;
Консервы — обычно из запасов армии	200 г;
Картофель	300 г;
Растительный жир	20 г;
Соль	20 г;
Чай	4 г;
Сахарный песок	30 г;
Сушеные овощи	25 г.

Это приблизительно 2000 калорий на день, — конечно, негусто. Ведь нормальный человеческий организм требует минимум 3000 калорий. Нам недодавали 1000 калорий в день, и, таким образом, лихому казачеству России предстояло медленное истощение.

Французские матросы, видя голодных, грязных, измученных русских, предложили каждому из нас сверх нормы по целому хлебу, и мы тут же, запивая водой, покончили с ним. Везти на «Павла» эту милостыню было нельзя — мы могли бы лишиться законного пайка.

Вскоре «Павел» снялся с якоря и пошел на Принцевы острова, разбросанные в Мраморном море недалеко от Константинополя. Казаки недоумевали — куда нас везут? Нам объяснили, что нас высадят на одном из островов, где будут отвшивливать и мыть в бане, которой ведают американцы. И вот «Павел» причалил к живописной пристани холмистого острова, покрытого чудесной растительностью. Несмотря на ноябрь, стояла чудесная, теплая погода. Мы с радостью высыпали на берег, предвкушая неописуемое удовольствие — помыться в обещанной бане. Но тут стало известно, что по каким-то причинам бани не будет, и нам предложили бить вшей вручную, на воздухе. Станичники не унывали и, тихо матерясь в усы, принялись за работу.

Потом нас снова грузят на «Павла» и собираются куда-то везти. Помню, казаки говорили, что отправят на какой-то «Ломонос», где одни голые скалы да истошно ревущие от жары и скуки ишаки. Сведения оказались правильными. Нас действительно повезли на остров Лемнос, заброшенный в Эгейском море. Тут в первую мировую войну была расположена морская база англичан, отсюда английское адмиралтейство руководило всеми операциями против Дарданелл. А в доисторические времена Лемнос населяли фракийские разбойники, промышлявшие пиратством и грабежом соседних островов. Тут же недалеко был и остров Самос со своими знаменитыми виноградниками.

После разгрузки в наш дивизион прикомандировали группу молодых, только что произведенных в офицеры мальчишек. Двух сдали мне на поруки с приказом, чтобы я их отесал и выучил всем премудростям офицерской среды. Нам, на троих, выдали довольно хорошую палатку «Марабу», что в условиях лагеря было почти счастьем. Фамилии этих ребят я не помню, они были удивительно симпатичные, лет по восемнадцати, и думали, кажется, только о

еде. Но общего котла или какой-либо столовой в лагере не оказалось, пищу готовили индивидуально, сбившись в компании по 5—7 человек. При этом единственным топливом служила очень распространенная на Лемносе сухая колючка — трава, которую приходилось собирать вдали от лагеря, подрубая ее под корень казачьими шашками. Эта колючая трава горела, как порох, и для варки обеда ее нужно было собирать целый день. Ну, а весь обед получался только из одного супа, который мы варили в двадцатилитровой консервной банке. На 20 литров воды бросали консервы из говядины или буйвола, несколько картошек, немного сухих овощей, горсть соли, а иногда и окаменевшую фасоль. И все это — на целый день. Мои мальчишки съедали сразу же по 4—5 военных котелков такой бурды, потом, раздувшись, отпускали пояса и грелись на солнышке. Никакой военной муштрой с ними я не занимался.

При приезде на Лемнос меня ни на минуту не оставляла упорная мысль смыться из этой пустыни и продолжить учебу или устроиться на материке рабочим. Кто-то привез мне из Константинополя грамматику французского языка Малкиеля, и я упорно начал заниматься, научился даже составлять письма. В лагере оказалось несколько бывших студентов, и, создав совершенно нелегально подобие студенческого союза, мы начали писать письма то в Сорбонну, то в Прагу — с просьбой принять нас на учебу. Попытки были, конечно, наивны, но не сидеть же сложа руки.

И вот в лагере прошел слух и, кажется, даже появилось объявление военного губернатора острова генерала Бруссо, что при Оккупационном корпусе в Константинополе открывается школа сержантов Иностранного легиона, куда принимаются офицеры, преимущественно артиллеристы, хоть немного владеющие французским языком. Я решил записаться в эту школу. Конечно, у меня и в мыслях не было попасть на убой в Африку. Думал так: запишусь, школа в Константинополе, откуда обещают перевезти во Францию. Значит, попаду на материк — уйду с этого проклятого острова, а там много широких дорог!

Словом, вычистив до блеска сапоги, одев темно-синие шаровары с лампасами и гимнастерку, я отправился в штаб генерала Бруссо. Его канцелярия помещалась в деревянных бараках, оставшихся от Галлиполийской базы.

Вхожу в переднюю. Никого. Осторожно стучу в дверь и, получив разрешение, оказываюсь перед человеком средних лет, на его плечах генеральские погоны французской армии. Это генерал Бруссо — военный губернатор острова Лемнос. Щелкнув каблуками и отдав положенную честь, начинаю подыскивать французские слова и объяснять, зачем пришел, при этом потею, краснею от смущения за свои фразы. Но вижу, что Бруссо отлично понял цель моего визита. Еще бы! Он вдруг на прекрасном русском языке спрашивает:

— Скажите, господин офицер, а что заставляет вас идти на столь тяжелую службу, как служба у нас в легионе?

Я всеми силами стараюсь понравиться генералу и заявляю:

— Ваше превосходительство! Я — донской казак. А мы, казаки, не можем жить без войны! Разве это жизнь тут, на острове? Никакие трудности военной службы после того, что мы пережили, я не считаю тяжелыми, и буду счастлив, если вы примете меня в число сержантов.

Клюнуло. Я был принят и сейчас же отправился в канцелярию дивизиона заявить об этом. Нужно было списаться с довольствия, получить послужной список и аттестаты о двух моих убитых конях. Получив документы, я переселился в одну из двух палаток, которые нам французы дали с расчетом на 50 человек. Тут было просторно и очень удобно. Затем французское начальство приставило к нам черных сержантов, которые ежедневно обучали нас перебежкам, ползанию на брюхе, пулеметному делу. Было странным видеть, как казачьи офицеры послушно ползали под гортанную команду губастых черномазых марроканцев. Но выхода не было.

В школу кроме меня попали Глазуновский, Веселовский, Пустынников — мой бывший командир батареи. Тут же очутились и «пся крев» Ванькович, и «зуав» Гордеев. Имена остальных стерло время.

Однажды, часов в 10 утра, когда мы проходили муштру под командой африканцев, из-за бугра, где стояли наши палатки, повалил дым. Мы кинулись туда. Но палатки уже вовсю горели, а тушить было нечем. Сгорело все. Чудом уцелели мои новые офицерские шаровары с лампасами да парадная гимнастерка. Мне везло! Казачья форма впоследствии пригодилась и сослужила прекрасную службу.

Вскоре французы, видя недружелюбное отношение к нам обитателей лагеря, решили перевезти всю школу в Константинополь. Никто нас не провожал...

А мы радовались, что страшный этап наших мытарств позади и, думаю, каждый рассчитывал найти возможность и уйти от французов в широкие европейские просторы. На пристани Серкиджи нас высаживают. Это азиатская часть города, какой-то привесок Стамбула. Тут здание французской морской базы, масса деревянных бараков, в которых днем и ночью мечутся легионы поджарых портовых крыс. Здесь нам предстояло жить. Помню, много низких деревянных нар, как в какой-нибудь сибирской тюрьме, большой дощатый стол, несколько скамеек. В соседних бараках ютятся греки, турки, как-то попавшие сюда казаки нашей батареи с бравым вахмистром. Они живут своей замкнутой жизнью, и мы с ними не общаемся, хотя при встречах дружески здороваемся и хлопаем друг друга по плечам.

Но вот странно, по высадке на берег нас забыли. Французы исчезли и, по-видимому, потеряли к нам всяческий интерес. Нас уже и не обучают, и не кормят.

И мы принялись искать работу. В бараках собирались только на ночь, а целыми днями бродили по экзотическому городу и предлагали свои руки. Чего только не испробовал я в том сказочном городе. Начал с самого тяжелого — пошел вместе с десятком наших

офицеров работать на стройках Стамбула. Удалось устроиться чернорабочими. Никакой, даже примитивной, механизации на стройке не было, кроме обычной лебедки, и вот вручную мы поднимаем 50-килограммовые мешки с песком или цементом на шестой этаж. Работа обычно длилась двенадцать часов, платили за это довольно щедро — по одной турецкой лире в день. Недели через три, видя, что мы работаем, как каторжники, зарплату нам повысили на уровень профессиональных рабочих, то есть платили уже по полторы лиры за смену. Кстати, за две лиры можно было купить на базаре штаны. Вообще начало было недурно. Но руки... От многочасового таскания веревок по блоку кожа на ладонях превращалась в сплошные волдыри, которые лопались, кровоточили. Мы ухитрялись из старых чулок шить варежки, но и это не помогало. Тогда нам разрешили таскать доски, кирпичи или жидкую мальту в остроугольном корыте. Острый край корыта резал плечо, но мы наловчились подкладывать под него кусок мешка. И все же после той работы у меня на всю жизнь на правом плече осталась набитая шишка величиной с детский кулак.

Питались мы довольно скудно. Утром кусок хлеба да чай. В обед обыкновенно черные маслины с хлебом, иногда халва. Бывало, что мы роскошествовали — покупали миску вареной фасоли в красноватом маслянистом соусе. Это было чертовски вкусно! Присмотревшись, мы увидели, что существует еще много более легких и лучше оплачиваемых профессий. И вот у какого-то предпринимателя, который под мостом в трущобах Стамбула начал печь румяные пончики, мы нанялись в продавцы. Предприниматель выдавал каждому из нас огромный лоток с ремнем на шею и раскладывал на нем около сотни прелестных пончиков. Продав одну порцию, можно было прийти за второй, и при известной расторопности в день удавалось заработать более двух лир. Особенно хорошими покупателями были почти всегда пьяные американские матросы. Они обычно ходили парами и горланили песни.

Как-то иду по улице, только что получив полную порцию товара. На другой стороне тротуара — два американских матроса. Знак пальцем. Подхожу. Один из матросов, расставив ноги, берет с лотка пончик, разламывает, нюхает, крутит головой и бросает его через плечо. Берет второй. Мнет его и, сплюнув, тоже бросает. Потом отступив шаг назад, с размаху бьет носком ботинка в дно лотка, и мои пончики летят, как вспугнутые воробьи, во все стороны. Я холодею. Но матрос бросает мне на пустой лоток 10 лир и, глупо улыбаясь, идет с приятелем дальше...

Очень выгодно было работать на одной из морских баз американцев. Платили они 15 лир в сутки. Желающих попасть к ним было, конечно, много, так что моряки придумали весьма своеобразный подбор кадров. На базе был широкий двор с массой построек. Большие высокие ворота там запирались, и с раннего утра, еще до восхода солнца, около них собиралась толпа человек в сто, а принимали почему-то 10—15 работников.

Происходило это так. В семь часов утра распахивались ворота и несколько американских матросов, держа в руках огромные брандспойты, направляли прямо в толпу ужасающей силы струю воды. Толпа шарахалась из стороны в сторону, люди кричали, скользили, падали, стараясь ворваться в распахнутые ворота, и только пара счастливчиков успевала пробиться на желанную базу. Остальные — мокрые, голодные, — чертыхаясь, уходили искать иную работу.

Мне редко удавалось попадать на ту базу. И одно время я продавал одеяла на старом турецком базаре, а потом вспомнил, как мои сестры делали чудесные бумажные цветы из гофрированной бумаги, и работа закипела. Изящно сделанная роза ценилась в два с половиной пиастра. За день мы выручали по полторы — две лиры, но примерно через месяц на базаре стали появляться конкуренты, заработки, естественно, упали. Но на некоторое время спас случай.

Как-то вечером, доделав последний букет, я увидел, что у меня осталось несколько кусков неиспользованной разноцветной бумаги. Я накрутил несколько крупных цветов, напоминающих маки, у которых получились разноцветные лепестки — красный, желтый, синий... Утром встречаю двух юных турчанок. Обе под чадрами. Заметив меня, они подошли и, сразу же схватив по дикому разноцветному цветку, защебетали: «Кач пара? Кач пара?» То есть сколько стоит? Я сообразил, что дикие цветы пришлись по вкусу турчанкам, и прибавил: «Беш груш», то есть пять пиастров, а это вдвойне дороже розочек. Турчанки замахали руками, что-то щебетали. Я понял, что они требовали еще таких же цветов. Распродав розы, я явился в барак и рассказал ребятам о творческой находке. К сожалению, вскоре появились плагиаторы, заработки наши упали, и мы вынуждены были прекратить цветочное производство.

Нас ждала разгрузка брикетной и угольной пыли из барж, которые стояли у причала Золотого Рога. Турки отказывались от этой работы. Ядовитая пыль нестерпимо резала глаза, по черным от угля лицам неуемным потоком текли слезы. Потом глаза начинали краснеть, гноиться. Но мы таскали эту проклятую пыль, пока не очищали баржу полностью. Турки обычно не соглашались платить за работу договорную сумму. Они сбегались со всего квартала и разгоняли палками нас с криком: «Урус гайда! Шайтан!» Жаловаться здесь было некому. Сопротивляться бесполезно. Мы были люди без Родины, вне закона...

В ПРАГУ

В Константинополе на улице Нишанташ образовался и вовсю заработал Русский студенческий союз во главе с так называемой Русской академической группой. Тут были профессора и доценты из многих наших университетов и институтов. Они вели постоянные переговоры с правительствами многих стран, желая возобновить образование русской молодежи, из которой состоял по сути весь офицерский состав Донской и Добровольческой армий. Кадровых, старых офицеров, выехавших из России, можно было пересчитать по пальцам.

Из записавшихся в Иностранный легион Володю Веселовского и Николая Глазуновского сразу же приняли в число студентов, желающих продолжить образование: у них сохранились подлинники их студенческих билетов и зачетные книжки. Со мной обстояло дело хуже. Мои-то студенческие документы бесследно исчезли еще в Крыму, в Северной Таврии, в тот неожиданный ночной налет на наши части «блиновцев». Я решил тогда обратиться в русское консульство. Там всегда гудела толпа оборванных русских беженцев — казаков, солдат, офицеров. Паспорт в консульстве можно было получить очень легко. Достаточно было иметь хоть какое-нибудь удостоверение личности и маленькую фотографию, которую вам за пару пиастров изготовлял тут же уличный фотограф. Мой бывший комбат Саша Пустынников на клочке бумаги, вырванной из тетради, написал мне чернильным карандашом удостоверение, пришлепнул печатью — и документ был готов. Подав бумажонку и фотографию в окошечко, я за пару минут получил российский паспорт на двух языках — русском и французском.

В студенческий союз я был принят пока условно, мне предстояло сдавать какой-то коллоквиум или экзамен при академической группе. И вот вскоре пошли упорные слухи, что этой группе удалось добиться отправки части студентов в европейские страны, главным образом в Чехословакию — государство совершенно новое и никому из нас не известное. Володя Веселовский сказал, что те, у кого нет документов, должны сдавать экзамены.

На следующий день я стою перед комиссией по гуманитарной секции и докладываю генералу Юревичу:

— Ваше превосходительство! Желаю поступить на медицинский факультет.

— А вы в каком учебном заведении были?

— Был принят в Военно-медицинскую академию в Петербурге, ваше превосходительство! Окончил первый курс Императорского Лесного института там же, а потом, по окончании Константиновского артиллерийского училища, ушел добровольцем на фронт.

— А кто был начальником академии в ваше время? — спрашивает Юревич.

— Генерал-майор Макавеев. Зоологию преподавал Холодковский, химию — профессор Бирон.

Тогда Юревич, обращаясь к сидящему рядом доценту Шкафу, говорит:

— Проэкзаменуйте студента.

И Шкаф начал:

— Так, вы слушали курс зоологии у профессора Холодковского? Знаменитый профессор. Так вот... скажите, пожалуйста, о характерной особенности кровообращения рыб.

Я задумываюсь на минуту, перед глазами у меня встает лаборатория Лесного института, где я в 1915-м вскрывал на практических занятиях окуня и вычерчивал цветными карандашами все детали организма этой рыбы, и начинаю рассказывать:

— Перка флювиатилис — речной окунь... имеет двухкамерное сердце и так называемый венозный синус. Кровь...

Тут вмешивается прислушивающийся к экзамену Юревич:

— Да вы, собственно говоря, на какой курс хотите поступить?

— На первый, ваше превосходительство!

— Так что же это вы, господин доцент, такие вещи у студента спрашиваете? — Потом, подумав: — Скажите, а какие половые клетки вы знаете у человека?

Вопрос не самый сложный, и я бойко отвечаю:

— Мужская половая клетка, служащая для размножения вида, называется сперматозоидом, а женская — оосферой или овулум. При коопуляции они дают зародыш, так называемую зиготу...

— Хорошо! — обрывает Юревич. — А что больше — сперматозоид или яйцо, или, как вы говорите, овулум?

Я настораживаюсь. Мысли бегут бурным потоком. Думаю чисто по-казачьи: «Как же это так — не может быть бабье яйцо больше казачьего сперматозоида... И, вопреки всякой логике, уверенно отвечаю:

— Конечно, сперматозоид, господин доцент!

Юревич и Шкаф смеются, и один из них говорит:

— Да как же может большее тело, как вы утверждаете, сперматозоид, внедриться в меньшее — яйцо?..

Я краснею и пытаюсь оправдаться:

— Пять лет книгу в руках не держал, господин профессор...

Юревич благосклонно смотрит на меня, что-то записывает и добавляет:

— Ну, там, в Праге, и книги будут, и все станет на свои места. Можете идти!

Через неделю или две вечером в мой барак являются неразлучные Веселовский и Глазуновский. Увидев меня — а я только что вернулся со стройки, — весело объявляют:

— Ну, Николай, ставь магарыч! В Прагу едешь!..

Прага... Мысли бегут буйной вереницей, но, к своему стыду, я ничего не могу извлечь путного из моей памяти ни о Праге, ни о Чехословакии. Помню, что был Ян Гус, какой-то реформатор, сожженный на костре, кажется, в Констанце. Но за что, когда? Мелькает легендарное имя Яна Жижки. Но с кем он воевал — для меня совершенно темно...

И вдруг, как молния, жиганула откуда-то примчавшаяся мысль: «Не радуйся! В списки ты попал по недоразумению — ведь ты без документов, а вот Глазуновский и Веселовский, имеющие все подлинные студенческие документы и зачетные книжки, в Прагу не едут — их в списках нет!..»

С утра сразу же еду в студенческий союз. Там, как на башне Вавилонской! Иду прямо в канцелярию и там спрашиваю:

— Скажите, пожалуйста, что это за списки висят в коридоре?

— Да там же написано, что это группа студентов, отправляющихся в Прагу.

— Но в списках допущена ошибка. Моя фамилия напечатана, а у меня же нет никаких документов!

— Ваша фамилия? — спрашивают меня. Я называю и слышу чуть раздражительное:

— Но вы включены в списки по личному приказанию профессора Юревича! Вы блестяще сдали экзамен. Смотрите!

И я читаю: «Включить в списки для отправки в Пражский университет на медицинский факультет. Подпись: профессор Юревич».

Много горя и радости видел я в своей мозаичной жизни — и в двух войнах, опустошивших душу, и в страшном новочеркасском аду, и в Лемносском лагере, но могу сказать с уверенностью, что этот момент, когда я воочию убедился в осуществлении заветной, еще недавно недосягаемой мечты, был, пожалуй, самым сильным и радостным...

Отправка в Прагу затягивалась. Но вот выехала первая группа, и нам сообщили, что каждый отъезжающий должен внести за дорогу восемь турецких лир. Где их взять, когда перебиваешься с хлеба на квас? К тому же покупка дряненького чемодана, пиджака и рубашки с галстуком пробили основательную брешь в моем бюджете. От казаков узнаю, что Донское Войсковое правительство, которое тут же, в Константинополе, выдает неимущим студентам, — а все были неимущие! — по четыре лиры. В Войсковом правительстве меня встретил бывший министр просвещения Всевеликого Войска Донского Владимир Николаевич Светозаров. Это был очень энергичный и милый человек, происходивший из крестьян Донской области. Восемь просимых лир он мне не дал, а только четыре, чему я был страшно рад: помогла ссылка на С.В.Макарова, моего станичника, друга детства моей матери и отца. Он был министром земледелия Донской республики, а в Клетской — учителем двухклассного училища.

Итак, четыре лиры были в кармане, остальные четыре я заработал на разгрузке брикетной угольной пыли, отправка в Прагу моей группы назначена на 29 октября 1921 года.

Грузились мы в товарные вагоны без всяких удобств. В составе поезда был, кажется, только один вагон третьего класса. Там разместилось наше студенческое начальство, а нам тогда было все равно как ехать — на крыше, на буферах или в скотских вагонах. Стоя в открытых дверях товарняка, я смотрел, как турецкая земля убегала назад, к Константинополю, который медленно заволакивался лиловой дымкой и наконец растаял вдали со всеми своими мечетями, стрелами минаретов, султанским Сералем...

Совершенно не помню, как нас по дороге кормили, но в памяти крепко засело, что администрация группы выдавала нам неограниченное количество чудесного, белого хлеба, похожего на наш ситный. Набрасывались мы на него с остервенением, жевали до боли в челюстях, а остатки прятали — кто под подушки, а кто просто под одеяло и всякое тряпье, которое заменяло подушки. Хлеб черствел, но мысль о том, что его могут перестать выдавать, делала нас очень осторожными и запасливыми.

В Вене поезд стоял несколько часов. На перроне ко мне подошел человек в штатском и по-русски с чуть заметным акцентом отрекомендовался:

— Ван-дер-Вельде. Был когда-то атташе голландского посольства в Петербурге. Я очень люблю русских, и мне бы очень хотелось взять вас и два-три ваших приятеля в город. Посидим в лучшем кафе города. Вы, вероятно, отвыкли от всего этого. Повторяю — я очень люблю русских...

По дороге в город Ван-дер-Вельде купил нам по прекрасному альбому Вены, по паре хороших перчаток, еще какую-то мелочь, в кафе заказал замысловатую закуску, чудесный кофе с пирожными. Помню, все смотрели на нас с удивлением, ведь одеты мы были довольно оригинально. На мне — короткая английская шинель, мягкая защитная фуражка, черные суконные штаны, синяя гимнастерка, на ногах — военные французские буксы. Приятель был в серой солдатской шинели, на голове — штатский котелок, а на ногах что-то невообразимое. Второй дружок не уступал нам, так что не удивительно, что все кафе сосредоточило свое внимание на нашей компании.

Потом голландец, обращаясь к нам, благодушно предложил остаться в Вене, обещая показать ночные заведения, но мы отказались от заманчивого предложения: решалось нечто большее в наших судьбах. Он понял нас, дал немного деньжонок на расходы и проводил на вокзал. С этим милым человеком я долго переписывался, будучи уже в университете, и храню о нем до сих пор теплые воспоминания.

Но вот поезд пришел в Братиславу. Всю нашу группу повели к обеду в какую-то общественную столовую. Помню, большие светлые комнаты, столы с кипенно-белыми скатертями, ковровые дорожки... Мы расселись. Ни языка, ни обычаев не знаем. Нам вносят и ставят на столы миски с супом, разливаем его в тарелки, но никто не ест — нет хлеба! Проходит минут пять. Никто не прикасается к супу. Распорядители взволнованы, обеспокоены, и тогда наш руководитель объясняет: ждут хлеба. В тот день для нас собрали кажется весь хлеб в ближайших пекарнях. Шутка ли — 400 человек, которые даже картошку едят с хлебом!

Это было первое знакомство западных славян со своими восточными братьями. Как оказалось позже, мы во многом не понимали да так и не поняли друг друга. Особенно чешская молодежь относилась к нам настороженно и с каким-то предубеждением. Об этом я расскажу позже. А здесь уместно сказать хотя бы пару слов о так называемой «Русской акции».

Революция выбросила за пределы Родины чуть ли не более двух с половиной миллионов русских, среди которых было много интеллигенции и особенно молодежи, из которой и состояла так называемая Белая армия. Вполне понятно, что образовалось зарубежное объединение русских академических организаций, после съезда которых летом 1921 года и возникла в Чехословакии так называемая «Русская акция». Во главе ее со стороны русских стоял

профессор Алексей Степанович Ломшаков, выдающийся специалист по паровым котлам, работавший тогда в одном из самых мощных шкодовых заводов. Кроме него акцию поддерживал Н.М. Леонтьев — не знаю, кем он был, но, если не ошибаюсь, военным агентом императорской России. Львиную долю в организации акции составляли, конечно, чешские правительственные круги — в первую очередь президент Масарик, Эдвард Бенеш, а самым активным из всех был незабываемый Карел Петрович Крамарж, бескорыстный друг России. Говорят, что много нам помог и Антонин Швегла, друг Масарика, руководитель земледельческой партии страны. Из словаков нельзя забыть профессора инженера М. Урсини.

На первом съезде русских академических организаций в Праге тогдашний председатель совета министров сказал: «Для нас всех ясно, что будущее русского народа покоится в руках молодежи. Это элемент, который имеет для нас наибольшее значение, и заботы о его образовании и воспитании являются в то же время наиболее надлежащей работой в интересах русского народа. Когда мы ставили себе вопрос, каким образом мы могли бы наилучше помочь русской эмиграции, только что высказанные мысли именно и привели нас к решению призвать в наши высшие и средние учебные заведения насколько возможно большее количество русской молодежи, чтобы дать ей возможность продолжить свое учение. Мы убеждены, что эта мера, которая встретила живое понимание у всего чехословацкого народа и которой мы уделяем наибольшую заботу и внимание, увенчается добрым успехом и принесет желательные плоды».

Однако пока мы в пути. К вечеру наш поезд остановился на вокзале в Пардубицах: в Прагу сразу не пустили — предстояло отбыть положенный по закону десятидневный карантин.

Карантин кончился благополучно, мы снова погрузились в вагоны — и вот Прага. Мы еще точно не знали, где и как будем жить, как нас устроят. Прошел слушок, что для нас в Высочанах — это район города недалеко от малой железнодорожной станции — предоставлено новое здание, так называемая «Свободарна». По-чешски — это дом, где живут холостяки. «Свободны» — значит холостой.

И, действительно, «Свободарня» первоначально предназначалась для холостых рабочих, была разделена на массу маленьких кабинок, где стояли кровать, табурет и... больше ничего. Стены помещения не доходили ни до пола, ни до потолка. Так что все разговоры, вздохи и прочие звуки были слышны во всех кабинах. Но что вздохи! — по сравнению с лемносскими палатками и грязными бараками Стамбула мы попали в рай! Тут можно было скрыться от посторонних глаз, остаться одному, читать... В «Свободарне» была чудесная читальня, столовая, кухня. В столовой довольно часто устраивались всевозможные собрания, там же студенты устраивали спектакли, вокально-музыкальные вечера. Там собирались и ученые для публичных диспутов. Их было в Праге,

как маку в степи, особенно после 1922 года, когда Ленин выслал всех не согласных с идеологией большевиков. Нельзя же было весь цвет русской интеллигенции ссылать в холодную Сибирь.

Запомнился мне один из отечественных марксистов, энциклопедически образованный и рассеянный академик Петр Струве, который на открытых профессорских диспутах поражал такой необыкновенной эрудицией, что захватывало дух. С этим человеком трудно было полемизировать даже испытанным в словесных битвах старым профессорам. Без преувеличения могу сказать, что он был эрудирован во всех областях человеческих знаний. О медицине он говорил, как профессор медицинского факультета, и даже такие сокровенные области нашей науки, как теория проводящих путей мозга, ему были более знакомы, чем нам, медикам. О сопротивлении материалов или о конструкциях мостов он дискутировал, как инженер. О вопросах политической экономии — и говорить нечего! Но, думал я, слушая выступления Струве, что этот феноменальный человек, живая энциклопедия, что-то до конца, до точки все-таки не прояснил. Там, у нас на Родине, русский народ хотя и жестоко ошибался, но жил, ставил на ноги огромную страну...

Бывали у нас в «Свободарне» и изящный эстет — ректор Московского университета П.И. Новгородцев, и знаменитый историк А.А. Кизеветтер, кумир молодежи, который знал всю подноготную истории русского народа, но совершенно потерял ориентацию в современных послеоктябрьских событиях, свидетелем которых поставила его судьба. Ему было ясно все, что творилось на Руси при варягах и Игоре, он точно представлял, как и почему возникла кровавая опричнина при Грозном, легко объяснял все оттенки Смутного времени и даже в печати проводил параллели с временем нашим. И все же что-то недопонял в этой, так называемой русской революции профессор Кизеветтер, как и философ профессор богословия Николай Онуфриевич Лосский. Впоследствии он бывал моим гостем в Желиве, и мы много говорили о случившемся в России, но вот главного-то и он не понял и, кажется, окончил свои дни за океаном...

Помню, как в середине 20-х годов, гастролируя по Европе, попал в Прагу и читал лекцию в Виноградском театре «душка» Керенский. Это, собственно, была не лекция, а скорее истеричная оправдательная речь. Я пролез вперед и, стиснув зубы, смотрел на этого бледного человека с безумными глазами и, каюсь, имел желание пустить в «душку» гнилым помидором или кирпичом! Не дослушав его, я ушел из зала...

Вообще на все эти выступления наша студенческая молодежь как-то мало реагировала. Политики казались нам отработанным паром революции. После всего пережитого пропала вера в авторитеты, произошла переоценка ценностей и большинство молодежи с головой ушло в науку. Мы чертили, зубрили анатомию, составляли проекты, бегали на лекции — политикой, казалось, не занимались, и все же доминирующей темой наших разговоров и мыслей была Россия. Все мы любили свою Родину, и никто из нас ни

минуты не сомневался в том, что мы ей не изменили. Был только страх и постоянные опасения, что большевики погубят Россию, что, в конце концов, она распадется и исчезнет с карты Европы. И это было нестерпимо больно...

Вспоминаю, как пражские дамы-патронессы, вся высшая чешская знать устроили для нас, русских студентов, в 1921 году елку. В огромном зале «Соколовны» на вечер приехал и бывший председатель совета министров доктор К.П. Крамарж. В начале вечера он вышел на сцену и обратился к нам с речью. Он бегло и почти без акцента, что между чехами редкость, говорил по-русски. Постараюсь по памяти восстановить его дружеское обращение к нам.

«Дорогие русские друзья! — обратился к нам Крамарж. — Вы, часть русской интеллигенции, волею судеб очутившиеся за границей, естественно, задаете и будете задавать себе вопрос, почему мы, чехи, приняли участие в вашей судьбе и решили помочь вам получить у нас высшее образование. Вам, людям интеллигентным, может это показаться странным в наш суровый век расчетливого отношения одного к другому. Может быть, многих из вас будет глодать мысль, что вы живете на нашем иждивении, как нищие, и мы, то есть чешское правительство, даем вам как бы милостыню. Эти чувства естественны и понятны. Но я, как член правительства, могу вас заверить, что мы даем вам не милостыню, а оплачиваем вам, то есть России, только незначительную часть того долга, который мы должны вашей Родине. Детали и подробности я не могу да и не имею права вам сообщить, но прошу верить, что, получая нашу материальную помощь, вы берете из своего!» Не помню, что он говорил дальше, но смысл его обращения к нам был именно такой. Тогда же у меня мелькнула мысль: не то ли золото, вернее, часть золотого запаса Российской империи, которое я помогал грузить в Саратове за день до февральской революции и которое, как говорили, было реквизировано чешскими легионерами, имел в виду Крамарж. Недаром в республике одним из богатейших банков был Легиобанк, а чешская крона много лет котировалась на международной бирже наравне с долларом, имея за собой золотое покрытие...

Русские студенты были размещены в Праге в двух местах: большая часть в Высочанской «Свободарне», где жил и я, а часть в старом городе на Вышеграде, недалеко от Влтавы, в старом, но прекрасном здании «Худобинце», то есть в бывшей городской богадельне. Там тоже были и общежитие, и кухня со столовой. Обедать мы могли где угодно, так как каждый получал от администрации комитета по две талонных книжки — одну на обеды, а вторую на ужины. Обмундировывали нас с ног до головы тоже в комитете. Все было очень добротно, но стереотипно, так что русского студента можно было узнать на улице за версту. Впрочем, мы ухитрялись избавляться от унификации, хотя это и кончалось иногда не лучшим образом.

На Старом Месте, за храмом св. Николая, который чехи любезно предоставили православным русским, к Влтаве бежала узкая улич-

ка. Здесь, как на московской Сухаревке, продавали всякий хлам. Одну из лавчонок с готовым платьем держал юркий еврей Рейман, который говорил по-русски. Так вот, получив два стереотипных костюма из комитетского склада, мы как-то летом с моим дружком и однокурсником Сашкой Донченко отправились к Рейману и выменяли наши шерстяные темно-синие костюмы на модные тогда бежевые. Брюки были узкие, из легкой материи в полоску. Так что мы с Сашкой были от радости на седьмом небе и мотнулись домой. Но, на наше несчастье, по дороге нас захватил ливень. Прибежав в «Свободарню», мы, конечно, разделись и стали сушить новенькие костюмы, а утром их не узнали — с них сошел ворс и модные брючки сели так, что в узкую штанину еле можно было влезть. Пиджаки были не лучше и катастрофически сузились в плечах. Мы смотрели друг на друга, всплескивали руками и смеялись как безумные. Надул нас еврей Рейман!

Чешское студенчество, за очень малым исключением, в отличие от высших кругов общества и большинства профессоров, отнеслось к нам почти враждебно.

Как-то, чуть ли не в первый или второй год нашего пребывания в Праге Союз чехословацких медиков созвал общее собрание всего факультета. Говорили, что будут обсуждаться общие, текущие вопросы. И вот, представьте себе: вечер, огромная до отказа набитая аудитория, шумно, многие курят, горячо спорят на текущие и обычные во всякое время темы. Вдруг поднимается какой-то взъерошенный студент и начинает злобно говорить о нас, русских студентах.

— Коллеги! — кричит он. — Наш университет, Прагу и вообще все наши высшие учебные заведения запакостили иностранные пришельцы! Я, собственно, говорю о русских! Спрашиваю: что представляет из себя этот сброд, эти полицейские, которые пытались задушить русскую революцию?.. Они органически не способны к интеллектуальному труду, и мы должны от них как можно скорее избавиться, настоять перед нашим правительством, чтобы их снова посадили в скотские вагоны и отправили в советскую Россию. Тут им делать нечего! В нашей свободной республике им делать нечего! Предлагаю резолюцию! — и зачитывает ее.

И все же в Праге нам жилось хорошо. С утра до ночи, пока не был на лекциях, я слышал родную речь, общался с подобными мне русскими ребятами. Присутствие русских профессоров между нами создавало впечатление, что и учимся-то мы в России. Не оставляла, однако, мысль: «А как дальше?» Я быстро осознал, что остаться в «Свободарне» — значит никогда не изучить чешский язык. Выход был только один — уйти на частную квартиру. Это разрешалось. Таким студентам комитет ежемесячно выдавал пособие в размере 400 крон, и для скромного существования этого было вполне достаточно. Словом, я подал прошение. Мне разрешили, и я поселился в квартире рабочего Келлера. Решение было правильным. Тут я начал натаскиваться в разговорном чешском языке, что значительно облегчило понимание лекций.

Первое каникулярное лето вместе с Иваном Гончаренко мы провели у его знакомого крестьянина Владимира Кассала в деревне Хвалетице, недалеко от Градце-Кралове. За стол и место в сарае мы помогали убирать в поле хлеб. Комитетские деньги, таким образом, оставались неизрасходованными, что было очень выгодно. Второе лето я провел более продуктивно, работая уже как медик на Подкарпатской Руси, в городке Севлюше, недалеко от Ужгорода. Там была довольно примитивная больница, размещенная в каких-то бараках. Главным врачом в ней работал доктор Янда, бывший русский легионер, и жена у него была русская.

Люд на Подкарпатской Руси был тогда примитивный, забитый. На частых ярмарках и торгах дело нередко доходило до поножовщины, убийств. Так что я прошел там хорошую школу начинающего хирурга.

В Севлюше было много евреев, которые строго держались закона Моисея. По субботам они ходили в пестрых платках на плечах и лисьих шапках. Самым торжественным днем в неделе было у них не воскресенье, а суббота. Евреи всюду ели свою традиционную мацу, а в окнах горниц по вечерам можно было видеть типичные подсвечники с зажженными свечами, и целые семьи сидели за столом, уставленным традиционными яствами. Буквально вся торговля была в их руках. Раньше я никогда не видел евреев, так как в Донской области им было запрещено жить, и посему я с большим любопытством присматривался к жизни и обычаям этого древнего народа. В нашу больницу часто приходил врач Езефович, очень милый, обходительный еврей. Нам, медикам, он приносил всевозможный материал для разбора и исследования в больничной лаборатории.

— Очень прошу, коллеги, помочь мне делать все разборы — у меня лаборатории нет, а я не останусь вам должен. Когда будете уезжать в Прагу, я с вами рассчитаюсь, очень хорошо рассчитаюсь, в долгу не останусь...

И вот за день до отъезда он позвал нас к себе на квартиру. Попросил подождать, вышел в соседнюю комнату и через некоторое время, приветливо улыбаясь, торжественно выложил на стол пачек десять чудесного, как он говорил, листового табака-сырца. Сложили мы свои гонорары в чемоданы, набили по чемодану чудесными помидорами, которые росли на поле у больницы, — и на вокзал.

Что же из всего этого вышло, когда мы двинулись к нашей «альма-матер»? Поезд, конечно, третий класс. Народу уйма. Как всегда, в дороге знакомства, разговоры. И вот я похвалился моему собеседнику, что везу из Подкарпатской Руси немного сырого табака. Собеседник-чех всполошился:

— Как сырого?

— В листьях, —говорю, —врач тамошний за работу дал.

— Врач? А знаете ли вы, что перед Прагой производят проверку чемоданов и контролируют продукты? И если у вас найдут хоть пару листьев табака — тюрьма или штраф! А то вас, как эмигранта,

может быть, и за границу вышлют. Вы разве не знаете, что у нас табачная монополия?

— Да у меня лишь пара листьев, — говорю.

— А это все равно, доказывайте там...

На самом же деле у меня было чуть ли не полчемодана табака. Переведя разговор на иные рельсы, я тихонько стянул чемодан с полки и понес его в уборную, где все, пачку за пачкой, спустил в раковину.

Дальнейшие каникулы мы с Сашей Донченко проводили обычно в старой, очень известной в Чехии больнице, в небольшом, благоустроенном городке Градец-Кралове. На самом берегу веселой речушки Орлицы, у ее впадения в торжественную и далеко несущую свои воды Эльбу (по-чешски Лаба), стояло, да и теперь еще стоит, трехэтажное здание так называемой старой больницы. Тут, как, впрочем, и во многих других больницах республики, верховодили монашки — они составляли средний медицинский персонал, решали все вопросы больницы, не считаясь ни с главным врачом, ни с остальными врачами больницы. Теперь в здании больницы находится приют для престарелых, и уже в мое отсутствие, соревнуясь с соседними Пардубицами, Градец выстроил огромную модерную больницу, в стенах которой разместился медицинский факультет Пражского университета.

На год раньше своих однокурсников, 3 июня 1927 года, я получил диплом врача и очутился совершенно без средств к существованию. Дело в том, что нам, русским эмигрантам, выдавали такой же диплом, как и чехам, но с печатью на его обратной стороне: «Выдал реверс, что отказывается от врачебной практики на территории Чехословацкой Республики, не будучи ее гражданином». Не случайно многие по окончании университета уезжали во французскую Центральную Африку, кое-кто отправлялся в Южную Америку, другие страны.

Я сначала решил попытать счастье в Черногории, куда почему-то не попал, а в Америку отказалась ехать моя жена. Кстати, расскажу сейчас, как я женился. Много наших студентов из-за экономии скудных деньжонок жило в окрестностях Праги. Русскими были густо заселены Мокропсы, Черношице, Вшеноры, Хухле и Ростоки. Я тоже прожил около года в Ростоках, в комнате у одного железнодорожника.

Так вот, как-то в одно из воскресений мы с Гончаренко решили навестить нашего коллегу Павла Еременко, который женился на вдове, старше его вдвое, и жил, как калиф. Для солидности Паша отпустил бородку, на лекции и в комитет являлся всегда в старомодном рединготе, унаследованном от покойного мужа жены. Когда с тростью важно он проходил по коридору, смешливый Жорка Донец командовал: «Смирно-о-о, господа офицеры! Павел Иваныч явились!» После обеда Еременко ложился отдыхать, жена и теща в это время останавливали все часы в доме, чтобы не

беспокоить Пашу, а мы являлись к нему и, стуча ногами, кричали во весь голос:

— Здорово, Павло! Вставай помещик! Нечего брюхо належивать!

Жена-чешка в ужасе всплескивала руками и, закатив под лоб глаза, шипела:

— Тише, тише... Павльюша сплйт.

Так вот, к этому-то Павльюше мы ехали на чай с вареньем — знали, что старая жена кормит его на убой. В воскресный день народу в пригородных поездах довольно много. Стоим мы в коридоре у окна, и вдруг в толчее я улавливаю русскую фразу. Оглянулся — и вижу в соседнем купе статного старика, пожилую женщину и очаровательную девушку. Русских эмигрантов в Праге было много. В поездах знакомства заводились легко и быстро. Протолкавшись к ним, узнаю, что старик — чех, недавно уехавший из России со своей женой и 18-летней дочкой Олей. Старик оказался профессором Киевской консерватории по классу рояля и фагота. Одновременно он преподавал в Киевском институте благородных девиц. Очень милая и по-русски приветливая старушка, к сожалению, плохо слышала. В России, по ее словам, она была преподавательницей математики в Каменец-Подольской гимназии, а потом переехала в Киев к брату-филологу, который имел свою собственную гимназию. Там она и вышла замуж. Словом, это была чисто чешская семья, но впитавшая в себя за полувековое пребывание в России все русское. Разговорились, получили приглашение заходить к ним по вечерам в свободное время. Гончаренко, с которым я ехал, по-видимому, остался совершенно равнодушен и к русскому языку, и к милой девушке. А мне скромная Оленька более чем нравилась. Но я старался не обращать на нее особого внимания и вел разговоры главным образом с бабушкой — читал ей свои стихи, делился планами на будущее...

Больше года я ходил в эту чудесную семью, которая стала для меня почти родной. С Оленькой мы ни разу не были ни в театре, ни в кино, ни на балу. Но из недомолвок, перекрестных взглядов и вздохов, как это бывает у всех молодых людей на нашей старой планете, возник ясный вопрос: что же дальше?.. И я практически разрешил этот вопрос. В один из вечеров, когда Анна Ивановна читала, как обычно, газету, а мы с Олей перебрасывались совсем незначительными фразами, я спросил у нее:

— А хотели бы вы стать моей женой?

Оля, чуть подумав, тихо сказала:

— Да...

Тогда, обратясь к погруженной в чтение Анне Ивановне, я твердо заявил:

— Анна Ивановна! Мы с Олей поженимся!

Старушка медленно положила на стол газету и, смотря на меня через очки, выдохнула:

— Та-а-а-к... А что скажет отец?

Я попрощался и ушел, считая, что окончательный ответ получу в следующий приход, когда отца подготовят к моему предложению.

Этот удивительно трудоспособный человек с утра до поздней ночи ездил по Праге и ее окрестностям, где давал уроки рояля своим многочисленным ученикам, которые его очень любили за веселый характер. В России у него было блестящее положение, многоэтажный дом в Киеве, чудесная загородная дача, где он принимал гостей. И вот в 68 лет он бросил все это и буквально нищим вернулся с женой и дочерью в Прагу.

Когда я в следующий раз пришел за ответом, Сергей Осипович встретил меня в штыки:

— Да вы что, молодой человек, белены объелись?.. У вас ни роду, ни племени, как говорится, а у девчонки ни гроша за душой... голая она! Понимаете?.. Ну, что вы будете делать, чудаки?

— Жить, Сергей Осипович! Я устою! Оля со мной не пропадет.

— Нет, нет! Какую чепуху, скажите пожалуйста, выдумали, — заключил он, повернулся и ушел.

Я решил переехать в Братиславу. Там был филиал Русского комитета. Казалось, с глаз долой — из сердца вон. Поэтому я занял у Донченко 60 крон, купил в китайском магазине чудесную чайную чашку из прозрачного фарфора — Оле на память — и пошел прощаться. Вот тогда все и решилось: совершенно неожиданно я получил согласие на брак.

Вскоре работяга-тесть купил собственную квартиру, состоящую из двух комнат и кухни. Одну комнату сдавали, вторую дали нам, сам же Сергей Осипович с женой жили в кухоньке. Времени тогда у меня было хоть отбавляй, карманы совершенно пусты, и я много читал, писал стихи о Родине, которая и днем и ночью стояла передо мной, но надо было где-то и работать, содержать семью. Посоветовавшись с Сергеем Осиповичем, я решил обратиться за помощью к хорошему знакомому тестя еще по России — доктору Владимиру Герингу. Полковник Геринг был в русском плену, в Киеве часто навещал семью моего тестя, а в Праге он заведовал хирургической клиникой преимущественно для состоятельных людей. Кроме этого Геринг был заместителем председателя Красного Креста республики — Алисы Масарик, дочери президента. И вот на этого-то человека я возложил все свои надежды, и не ошибся.

Геринг принял меня очень радушно, предложил выполнять наркозы при всех операциях, которые производились у него почти ежедневно в небольшом операционном зале. За короткие наркозы мне платили 50 крон, а за длительные, которые продолжались иногда по 3—4 часа, платили по 100 крон. Заработки были хотя и не регулярные, но хорошие. Кроме этого Геринг устроил меня ординатором по легочным болезням в бесплатную амбулаторию Красного Креста. Заведовал амбулаторией незнакомый мне, очень вежливый и обходительный доктор Чапек. Но я не входил с ним в контакт и работал совершенно самостоятельно. Новизна работы меня захватила, я старательно возился с каждым приходящим к нам, и — о, радость! — за два-три месяца количество пациентов амбулатории возросло с пятидесяти до ста — ста двадцати в приемный день. Я торжествовал, и администрация была очень доволь-

на. А в свободное время я работал еще в нескольких университетских клиниках. За это Красный Крест платил мне 900 крон в месяц, чего моей семье — а вскоре Оля родила сына, в котором я души не чаял, — вполне хватало!

Но вот весной я как-то забежал в центральное объединение чешских врачей и спросил места в деревне на время летних каникул, когда участковые врачи обычно разъезжаются к морю, в горы, за границу. Чиновник охотно предложил мне на выбор несколько мест. Но мне было решительно все равно, куда ехать — чешскую провинцию я совершенно не знал, а оплата работы в моем эмигрантском положении была просто баснословна: 100 крон в день, стол, комната! Я выбрал местечко Кошетице. Это оказалась захудалая деревенька с замком какого-то помещика, расположенная на Чешско-Моравской возвышенности.

В деревнях, известно, все новости и происшествия идут по беспроволочному телеграфу. Вскоре о русском докторе пошла слава: русак и зубы рвет, и роды ведет, и шьет, и режет, и всех обитателей богадельни вылечил от всех болячек...

А мне запомнилось, как однажды после обеда в ординаторскую ворвался местный пекарь Беранек. На нем не было лица. Оказалось,что его жена сильно кровоточила после тяжелых родов, которые по обычаю вела местная повивальная бабка. Минуты на сборы — и я у пострадавшей: у нее произошел разрыв шейки матки. Нужно срочно шить. Спешу. Но тут свой ритуал: пятнадцать минут в горячей воде со щеткой, три минуты в растворе сулемы и пять — в алкоголе. Это нужно — иначе неотвратимый сепсис, который почти всегда в таких случаях кончается смертью. Начинаю шить. Кровотечение останавливается, я облегченно вздыхаю. А в это время в спальню на цыпочках входит встревоженный Беранек и говорит:

— Господин доктор, к вам приехала делегация — просят выйти к ним.

— Какая делегация? — спрашиваю.

— Из Горжепника. Это село километрах в шести от нас.

— А что они хотят от меня?

— Не знаю. Но на автомобиле приехали сам староста, учитель городского училища, заведующий дорогами и даже Коубек — торговец...

Окончив работу, вымыв руки, выхожу к делегации, и тут состоялся разговор, который запомнился мне во всех подробностях.

— Господин доктор, — начал старый Коубек, влиятельный торговец, который держал всю округу в руках, — мы, представители соседнего местечка Горжепник, долго следили за вашей деятельностью в Кошетицах и уполномочены просить вас — занять место нашего участкового врача. Нам нужен человек, который умеет вести роды, знает хирургию и вообще такой, как вы!

От такой речи я опешил и, разведя руками, спрашиваю:

— Но разве у вас нет врача?

— Есть, но он уходит на место своего отца.

— Ну, а конкурс? — спрашиваю снова, зная, что места врачей занимаются исключительно по выписанному в таких случаях министерством здравоохранения конкурсу.

— Это ничего не значит. Мы поедем к министру и заявим, что иного врача к нам просто не пустим! — категорически заявляет Коубек.

— Но, послушайте, я совершенно не собирался идти на участок. У меня иные планы. Я гол как сокол, а для открытия практики нужно много денег. У меня нет ни обстановки для квартиры, ни нужного инструментария...

Но тут меня перебили сразу же и Коубек, и учитель Купшовский, и староста. Они разбили все мои «но» по пунктам, разъяснив, что в местечке есть две сберегательные кассы, что мне беспроцентно дадут, сколько будет угодно — 20—30 тысяч крон. Коубек пообещал снять у местной помещицы квартиру для меня в так называемом «замке». Словом, оставалось только одно — получить мое согласие, и решили, что на следующий день они приедут ко мне за окончательным ответом.

Утром я позвонил в Прагу жене:

— Попробуем? Не на век же...

Оля согласилась. Мы попробовали и... остались в этом краю на всю жизнь...

Горжепник, древнее село в тысячу жителей, притаилось на берегу небольшой речушки Трнавки. Площадь с парой еврейских лавчонок и ратушей, хороший костел, большое имение, которым верховодила помещица Горакова, три-четыре улицы — вот и все. Местечко понурое, старое, не блещущее природными красотами, но выбирать было не из чего — нужно было начинать жизнь.

В Горжепнике в сберегательной кассе я занял, как было договорено, 20 тысяч, еще 10 тысяч в долг дал мне тесть. Сергей Осипович, кроме того, подарил нам недорогую кухоньку, старинный ореховый буфет, довольно красивый, но уже отслуживший свой век. Заехав на Пршикопы, у братьев Чижковых я накупил массу необходимых медицинских инструментов... Местный столяр в Горжепнике на второй же день привез мне превосходную дубовую спальню, сделал сиденья к стульям, обновил их и дал мне в столовую большой круглый стол. У второго столяра я заказал турецкий диван, шкафы для инструментов. Сын помещицы свозил меня в окружной городок Пелгржимов, где я купил ковер, занавеси, и вот наша квартира приобрела жилой вид.

Еще не был оборудован рабочий кабинет, еще требовалось пополнить лекарствами аптеку, а пациенты не ждали и повалили валом. До обеда я занимался консультациями их, после обеда ездил к больным, которые не могли передвигаться. Неоднократные вызовы выпадали и на ночь. В общем я должен был обслуживать около пятнадцати деревень с населением приблизительно в три с половиной тысячи человек. Совершенно неожиданно ко мне потянулись люди и из соседних Кошетиц и прилегающих к ним деревень. Практика оказалась огромной, разрасталась с каждым

днем, в местной газете, издаваемой в Пацове, начали обо мне писать хвалебные отзывы. Писали, что наконец-то у нас, в провинции, появился врач, который все умеет, что скорая врачебная помощь теперь обеспечена. На одну из этих статеек зло откликнулся врач Манда, заявив, мол, какая же это скорая помощь, если парень ездит всюду на повозках и даже машины у него нет. Но за этим дело не стало. Мне тут же предложили в рассрочку все, что душа захочет: и пишущие машинки, и автомобили, и лекарства, и книги, и обстановку. Нужно было иметь большую изворотливость и терпение, чтобы отделаться от всех этих вежливых, настойчивых и обходительных представителей чешской коммерции.

Практика моя необыкновенно разрасталась. Подозреваю, что меня сильно рекламировал Коубек, который, как я уже заметил, держал надо мной охранную руку.

Все, казалось бы, шло хорошо на моем участке — и зубную практику здесь я завел впервые, и роды принимал, и превентивную прививку против дифтерии практиковал. Но в Горжепнике мне что-то уже не сиделось — и квартира темна, и воды мало, и лес далеко. Убежденный деревенский житель, я решил искать место поближе к природе и начал просматривать наши медицинские журналы, где объявлялись конкурсы на свободные участки. Не сразу удалось подобрать подходящее место, пришлось повоевать и с чиновниками из министерства здравоохранения. И вот осенью 1934 года получаю письмо, в котором сообщалось, что в соседнем местечке Желив умер участковый врач Соботка, что люди в Желиве меня знают и будут рады видеть там своим лекарем.

Я поехал посмотреть местечко. Разыскал старосту — им оказался лесничий Желивского имения, принадлежащего монастырю. Он-то и дал мне всю нужную информацию об участке. В селе насчитывалось около тысячи жителей. У монастыря в то время было много гектаров леса, пахотной земли и несколько так называемых «дворов», то есть филиалов имения. По положению участковый врач в Желиве обязан был быть одновременно и монастырским врачом. От монастыря он получал бесплатную квартиру и так называемый «депутат» — зерно, хлеб, мясо, пиво и прочее.

Квартира — небольшой особняк в семь комнат с кухней — пришлась по душе. Со всех сторон сады, речка Трнавка — до трех метров глубиной. Около дома, вдоль правого берега речки до самой «пржеворки» — отвесной скалы, высоко выброшенной над рекой, — так называемый овечий косогор, заросший смешанным лесом. Католические монахи, бродя по европейским просторам, выбирали для своих монастырей чудесные уголки, одним из таких и был Желив. Прошений на этот живописный участок с монастырем набралось много, и я попросил настоятеля Желивского монастыря поддержать меня у министра здравоохранения монсеньора Шрамка, что он и сделал. Позже, разговаривая с настоятелем, личным врачом которого я был, спросил, почему выбрали меня, эмигранта, к тому же схизматика — не католика. На это настоятель, смиренно улыбаясь, ответил:

— Вот потому-то, что вы не католик, мы и выбрали вас. Как не католик, вы не будете интересоваться нашими монастырскими делами и мешать нам. А о вас мы хорошо информированы...

В монастыре была редчайшая библиотека, вмещающая в своих просторах знаменитые и неповторимые инкунабулы — рукописные и печатные. Многие из них были на пергаменте, чудесно переплетены и снабжены изумительной красоты рисунками, украшенными золотой фолией. Особенно меня поразило несколько огромных книг, переплетенных в натуральную ослиную кожу. В одной из них было повествование о сотворении мира с текстом, напоминающим историю или географию. В период революционных ветров и настроений, которые веяли над молодой республикой с 1918 до 1920 года, много монахов и послушников уходили из монастырей в свет, в гражданскую жизнь. Республика была наводнена иностранцами, преимущественно богатыми людьми из Америки, которые скупали все антикварное. Добрались они и до инкунабул, из которых послушники и монахи вырезали рисунки и продавали американским дельцам. А те потом делали из них украшения на дорогие и эффектные дамские ридикюли... Каждая эпоха имеет свои странности. Ходили слухи, что в 1951 году, когда монастырь был ликвидирован, из него все вывезли и все распродали новые владельцы. Говорили, что два или три больших грузовика с бесценными книгами стояли под проливным дождем. Все, как в советской России...

Во время последней войны, когда республика стала германским протекторатом, в монастыре были размещены ученики Берлинской гимназии — «Гитлерюгенд». Помню, как в морозный денек 1942-го в ординацию постучали и вошел незнакомый мне человек. За ним — медицинская сестра. Незнакомец щелкнул каблуками и, подняв вверх руку, громко произнес:

— Хайль Гитлер!

Потом он что-то начал лопотать по-немецки. Замечу, что чехи панически боялись и ненавидели немцев. У меня же еще с детства было к ним особое, наше, русское отношение: немец обезьяну выдумал... Я их всегда уважал за образцовый порядок, пунктуальность и прочее, но никакого страха они во мне не возбуждали.

Сестра, судетская немка, тогда перевела мне слова незнакомца и представила его:

— Это наш лайтер-начальник «Гитлерюгенда». Мы прибыли из Берлина. Начальник просит, чтобы вы взяли мальчиков под свой врачебный надзор.

— Хорошо, — ответил я. — По нашим законам, я обязан лечить каждого человека, поселившегося в моем районе. Но прошу передать вашему начальнику, что, как русский, не могу приветствовать его принятым в Германии арийским взмахом руки.

Сестра перевела мой ответ. И, к моему удивлению, немец улыбнулся и сказал:

— Ничего, доктор, ни вы, ни мои ученики не будут обмениваться нашим арийским приветствием. Я прошу только лечить их.

Присутствовавшие при этой сценке чехи потом разнесли по всему району, что, мол, русский казак-доктор даже начальника «Гитлерюгенда» не испугался и отказался приветствовать его по-арийски. Говорили: «Наверняка наш доктор сильнее немецкого гестапо, если осмелился так разговаривать с высоким начальником...»

...В 1948 году, в феврале, в республике повеял новый ветер. Пришло новое правительство, а с ним и новые порядки. Монастырь естественно стал анахронизмом, но обитатели его об этом и не подозревали. Лично мне судьба монахов и монастыря была совершенно ясна уже в мае 1945 года, когда Красная Армия со своими страшными танками прошла по тихой чешской земле. Старый настоятель, дальновидный и хитрый, уступил свое место молодому члену их ордена Виту Тайовскому. Что только ни делал Вит, получив настоятельское место! Такую демократию развел, что даже на танцульки, устраиваемые в местной гостинице «На Коцанде», ходил со своими монахами. Но ничего не помогло. Новое правительство набирало силы, осматривалось, присматривалось и однажды, утром 1951-го, прислало в монастырь соответствующие контингенты специалистов, которые оцепили густой цепью все монастырское хозяйство и увезли монахов бог весть куда. Молодому настоятелю Виту дали семнадцать лет каторги в Илаве — одной из страшнейших тюрем республики. Все, как у нас, в советской России....

ЖЕЛИВ

Однако пока еще шел 1935 год. В начале января я наконец-то получил из министерства декрет о назначении меня участковым врачом в Желиве. Несмотря на то, что жители Горжепника совсем не были рады моему уходу от них, представители местечка устроили нам «На раднице» торжественные проводы. Было много теплых и сердечных речей, что-то несуразное от волнения говорил и я. И вот 13 января 1935 года всей семьей мы приехали в Желив.

Явились со своим легковым автомобилем, а все громоздкие вещи и обстановка были перевезены грузовиками еще накануне. В теплой квартире нас ожидала Маня Кожишкова, наша новая прислуга из засидевшихся девиц. Несмотря на то, что мы приехали рано утром, в доме было очень уютно и тепло. В столовой на столе лежало приглашение на бал, как это ни странно, в монастырь. Собственно говоря, бал-то устраивали не монахи, а служащие монастыря и члены партии клерикалов, но на танцульки обычно ходили и монахи, и жители окрестных деревень. Одетые в кремовые сутаны, монахи чинно сидели за особыми столами и не танцевали. У католиков на этот счет строго — это не наши православные попы, которые, задрав рясу, бывало, откалывали веселую комаринскую. Мы, конечно,настроились на мероприятие. Нужно было познакомиться с моими будущими пациентами да и себя показать.

Я пришел на бал в отлично сшитом смокинге, в соответствующих брюках с черными лампасами. Оля надела бальное платье. И

вот устраиваемся за столом, где разместилась желивская знать: управляющий, лесничий с женой и несколько монахов. Загремел оркестр чешскими польками, вальсами. Но наша сиеста длилась недолго. По залу пошел шепот: «Где доктор?» И тут же ко мне подбежал запыхавшийся рабочий.

— Доктор, скорей! Жена исходит кровью... выкидыш на четвертом месяце... Ради Бога, скорей!

Поспешно распрощавшись с присутствующими, я сбегал домой за чемоданом с акушерскими инструментами — и вскоре был у пострадавшей. Тонка, молодая женщина, лет двадцати пяти, плавала в луже крови и таращила на меня полные ужаса глаза. Сбросив смокинг и засучив рукава крахмальной рубахи, я вымыл, согласно положенному ритуалу, руки и исследовал роженицу. Ее муж показал мне какую-то тряпицу, в которой был завернут отошедший плод, но кое-что еще осталось в матке — потому-то Тонка и кровоточила. Что тут будешь делать? Освободили от всякой рухляди кухонный стол, поставили его посередине комнаты под лампу, и операция началась. Нужно было удалить остатки плода. Ассистировали, держа в нужном положении ноги Тонки, ее муж да приглашенная соседка. Все окончилось благополучно. Кровотечение прекратилось. Это была моя первая пациентка в Желиве. Так началась жизнь на новом месте.

Летом мы гостили у моего станичника Ивана Колесова в Братиславе. От Братиславы до Вены — рукой подать, а формальностей с заграничными поездками — никаких. Так что побывали и в Вене. Строгостью линий и планировкой широких улиц этот прекрасный город чем-то напоминал Питер. Дунай там, конечно, не голубой, а, как и всюду в городах, мутно серый и совсем не широкий, как мы представляли. Странно было видеть мост графа Разумовского, русского посла в Вене, который он построил на свои средства, чтобы сократить дорогу ко дворцу. Зашли мы и в бывший императорский дворец Шенбрунн, где нас особенно поразила скромная обстановка комнат, в которых совсем недавно жил император Франц-Иосиф. Железная кровать, обыкновенный письменный стол и все прочее были трогательно просты; я смотрел на императорскую обстановку и думал: «И к чему эти люди взваливают на свои плечи колоссальную ответственность за судьбы народов?..» Невольно припомнилась книга Георгия Чулкова «Императоры» — о жизни русских царей-государей. За ними всю жизнь охотились, как за дикими зверями, разные каракозовы, кибальчичи, рысаковы и даже, казалось бы, нежные дамы — перовские, веры фигнеры. Так называемая «прогрессивная» печать описывала царей как отпетых негодяев и преступников, а людей, которые за ними охотились, возводила в сан мучеников и героев. Странно, однако, устроен наш мир, неисповедимы пути духа человеческого...

Расскажу, однако, об одном интересном эпизоде моей жизни.

В 1936 году по эмиграции пронесся слух, что в маленькой, полупровинциальной Софии, в Болгарии, появился какой-то советский журналист, якобы бежавший через финскую границу из

северных концлагерей, и что этот человек издает сейчас исключительно интересную газету «Голос России». Я начал искать ее. И вот как-то в одно прекрасное утро ко мне зашел мой знакомый пражский инженер, сын русского академика, и вручил несколько номеров «Голоса». Редактором этой газеты был Иван Лукьянович Солоневич.

В эмиграции Солоневич стал самым популярным человеком, статьями которого зачитывались все, даже чехи. Помню, необыкновенную сенсацию произвела его довольно объемистая книга «Россия в концлагере». Она была переведена на все европейские языки и гремела тогда, как американские бестселлеры, по всему миру. Книгу да и газету иллюстрировал талантливый сын Солоневича Юрий, который вместе с отцом бежал из коммунистического концлагеря.

...Уже полтора года мы читали «Голос России», и вот в начале 1937 года на мое имя приходит письмо из Софии. Писала Тамара Владимировна Солоневич. Писала мне, человеку ей совершенно неизвестному, с тревогой о муже и просила, как русского врача, помочь Ивану Лукьяновичу с устройством в лечебнице, которые в Чехословакии были значительно лучше болгарских.

Политическому эмигранту Солоневичу требовалось разрешение для въезда в Чехословакию от министерства иностранных и внутренних дел. Подумав, я решил ехать в Прагу и обратиться за помощью к генералу Герингу, председателю Чехословацкого Красного Креста. Когда рассказал ему, зачем приехал, он усмехнулся:

— Вам везет! Человек, который заведует разрешениями, мой друг. Для меня он сделает все. А Солоневича я знаю, как же... Читаю часто. Хлестко пишет!..

И вот мы с женой в министерстве. Оля остается в коридоре, а я, постучав, вхожу в кабинет.

— Прошу! Я в вашем распоряжении, — обращается ко мне его хозяин, но после моей просьбы восклицает: — Да вы с ума сошли, доктор! Да вы знаете, кого вы сюда к нам приглашаете?

Я, хотя и обескуражен приемом советника, спокойно отвечаю:

— Знаю. Солоневич — редактор русской эмигрантской газеты, издающейся в Софии. Он тяжело болен, и этого для меня вполне достаточно, чтобы я исполнил просьбу его жены и пригласил его сюда для лечения. Я, как русский и к тому же врач, не могу отказать в просьбе семье Солоневичей...

— А вы знаете, доктор, кто за этим Солоневичем сюда потянется? Вы ведь не знаете, с кем он связан!

— Да меня это не интересует — я хочу только помочь больному. Я совершенно не занимаюсь политикой, не состою ни в одной партии, и если хотите, то можете запросить мою характеристику от желивской жандармерии, — говорю я, а советник протягивает мне какую-то тощую папку.

— Я уже это сделал, — усмехается он. — Вот папка о вас, в ней нет ничего!

— Так в чем дело, господин советник? Что вы знаете о Солоневиче, что не советуете его взять сюда для лечения?

— А это я не имею права вам сказать по долгу службы.

— Тогда прошу дать разрешение на его приезд сюда — мне нечего бояться, — не успокаиваюсь я.

— Хорошо, — соглашается советник. — В просьбе моему другу Герингу я отказать не хочу, но предупреждаю: если вы не откажетесь от вашей безумной затеи, то можете навсегда исковеркать жизнь всей вашей семьи. К тому же еще одно непременное условие: наш посол в Болгарии даст Солоневичу провожатого до границ Чехословакии, где его передадут нашим людям, которые привезут его в Прагу, прямо в четвертое отделение, где с него снимут допрос. Только после этого допроса мы решим — пустить его к вам или тем же путем вернуть обратно. Если он тут останется, ваш дом, вы и вся ваша семья будут находиться под постоянным полицейским надзором. Негласным, разумеется...

С ближайшей почты я послал подробную телеграмму в Софию об условиях приезда сюда Ивана Лукьяновича. Солоневич ответил, что согласен на все условия. Но вскоре от него пришло заказное письмо, в котором была просьба достать визу и для брата Бориса. За этой визой поехала моя жена и, конечно, ее не получила. Чиновники министерства, по словам Оли, пришли в ужас, когда узнали, что она хлопочет о визе еще для одного Солоневича!

Шел 1937 год. Я списался с несколькими лечебницами и остановился на санатории в замке Тухлов. Через неделю должен был приехать Солоневич. Лето в том году было прекрасное. В Желиве жило на дачах несколько наших знакомых русских семей. Но как-то после обеда явился почтальон и подал телеграмму из Швейцарии: «Гость не может приехать — экстренно вызван к одному из Романовых в Париж. Встреча откладывается на более благоприятное время».

Не скрою, мне не только хотелось помочь Ивану Лукьяновичу, но и увидеть человека «оттуда», человека, который всколыхнул всю русскую эмиграцию своими необыкновенными статьями, познакомиться с автором книги «Россия в концлагере». Словом, я решил ехать в Париж, где к тому же жил родственник Федя Фролов, внук сестры моей бабушки по материнской линии. Он уже давно звал нас к себе в гости.

Федя, сын казака-хлебороба с хутора Евстратова, в свое время учился со мной в Усть-Медведицком реальном училище. Он был годом старше меня и в 1914-м ушел в Новочеркасское кавалерийское училище, по окончании которого попал прямо на фронт первой мировой. Потом Федя был со мною на Лемносе, откуда переехал в Болгарию, из Болгарии в 1925 году он попал в Париж, где и стал шофером такси.

В столице Франции я встретил много друзей детства и несколько сослуживцев по Донской армии. Большинство ребят были водителями такси и, смеясь, говорили, что за эти годы настолько изучили закоулки Парижа, что, в случае чего, могли бы оккупировать

французскую столицу в два счета. И, действительно, русская пресса во Франции писала, что чуть ли не половина всех шоферов в Париже русские офицеры. Так что мы были нарасхват, и ежедневно кто-нибудь из приятелей старался показать нам хоть кусочек города.

Но в моем плане была встреча с Иваном Лукьяновичем. И вот при помощи русских шоферов Федя узнал адрес какого-то Троцкого («Ну и фамилия же!» — подумал я), который будто бы знал, где живет Солоневич. На второй же день, утром, мы пустились в путь. Встретились с коренастым парнем, который снял с нас допрос: кто мы такие, зачем нужен Солоневич... Я показал ему письма из Болгарии, он смягчился и заявил, что адрес может дать нам только завтра, посоветовавшись с кем-то. Как видно, конспирация была серьезная.

Наконец, получив адрес, мы отправились искать указанную улицу. Автомобиль остановился перед подъездом, из которого выходили два человека, и в одном из них я сразу узнал Ивана Лукьяновича — он был точно такой же медвежистый, как на фотографии из книги «Россия в концлагере». За ним шел его брат Борис, а с балкона второго этажа, помню, им махал рукой огромный плечистый мужчина со скуластым лицом монгола. Это был знаменитый генерал Туркул, начальник не менее знаменитой Дроздовской дивизии. Странно было видеть этого человека в мирной обстановке...

Мы представились. Я протянул Солоневичу несколько писем его жены ко мне. Он исподлобья посмотрел на нас и тут же, у подъезда, по-русски облобызал крест-накрест.

— Наши из Праги приехали! Идите познакомлю, — крикнул Туркулу. Через пару минут страшный Туркул спустился, галантно расшаркался перед моей женой и поцеловал ей руку. Поговорив немного с нашими новыми знакомыми, мы получили личное приглашение на лекцию Солоневича о положении в России. На эту лекцию вход был строго ограничен и допускались лишь лица, заслуживающие полного доверия.

Вечером мы явились на лекцию. Большой зал был полон. В первом ряду, справа от нас, сидел высокий старик, говорливый и приветливый. Узнав, что мы из Чехословакии, он оживился:

— Я Кузнецов. Вы, наверное, бывали в русской церкви у вас, в Мариенбаде? Так вот иконостас в эту церковь подарил я. Правда, красивый? На всемирной выставке в Париже золотую медаль за него получил.

— Кузнецов? Не знаю вас, не слышал, — заметил я довольно бестактно.

— У меня дед по матери Кузнецов. Возьмите в России любую чашку или тарелку, а на донышке-то Кузнецов написано — самый большой фарфоровый завод в России был... Не знаю, как они там теперь...

Таким образом мы познакомились с одним из самых значительных фабрикантов старой России. Недалеко от нас, слева, сидел подтянутый брюнет с военной выправкой. Он что-то говорил своей соседке, располневшей блондинке лет сорока. Пара меня заинтересовала, и от Кузнецова я узнал, что это был известный генерал

Скоблин, командир самого лучшего полка Добровольческой армии — Корниловского, а соседка — его жена, славившаяся когда-то на всю Россию исполнительница русских песен Плевицкая. Тогда я не мог знать, что этот преданнейший из самых преданных белой идее генерал Скоблин уже состоит на службе ГПУ и через год выдаст среди бела дня в Париже генерала Кутепова, затем генерала Миллера и вынырнет где-то на пустынных улочках Москвы, где следы его окончательно потеряются. А его супруга, помогавшая в этой акции, после долгих судов будет заключена во Французскую крепость, как преступившая законы государства, давшего ей приют.

Лекция, признаюсь, разочаровала: Иван Лукьянович принадлежал к той группе людей, которые пишут неизмеримо лучше и убедительнее, чем говорят. После нее братья Солоневичи с узким кругом их друзей и новых знакомых поехали в один из многочисленных русских ресторанчиков и пригласили нас. Расстались мы далеко за полночь, обещая встретиться снова. Но из всей этой компании я больше ни с кем так и не встретился: Туркул лежит на Русском кладбище Сан-Женевьев де Буа, под Парижем. Солоневич на пару дней заезжал ко мне уже из Германии, но писать он бросил.

Искрестив почти весь Париж вдоль и поперек, мы двинулись путешествовать по Европе. Основная цель поездки оправдалась, и спешить было некуда. А по возвращении домой меня сразу же вызвал к себе начальник округа Немечек, так называемый гейтман, с которым я дружил и который иногда посещал нас в Желиве со своей женой. Гейтман — это нечто вроде нашего окружного атамана, совмещающий в своей особе политическую и гражданскую власть района. Он, конечно, являлся представителем министерства внутренних дел, и ему была подчинена полиция.

Немечек встретил меня официально и заявил, что сейчас снимет допрос, что дело очень серьезное и при допросе будет присутствовать только одна машинистка. Я не понимал, в чем дело. Немечек потребовал полного отчета о моей поездке за границу: с кем встречался, о чем говорил, где и у кого был во Франции, в Италии. Выслушав подробный рассказ о всех моих встречах, гейтман строго спросил:

— А каково ваше отношение, доктор, к советской власти?

Я ответил:

— Господин гейтман, вы же знаете, что я эмигрант и иного отношения к этой власти, кроме как отрицательного, у меня не может быть. Почему? Да по той простой причине, что я убежден: большевики развалят горячо любимую мною Россию...

Я никогда в жизни ничего не боялся, и даже этот допрос не произвел на меня особого впечатления. Я был совершенно спокоен, так как моя совесть перед Родиной была чиста.

Но вот произошел знаменитый *аншлюс* Австрии с Германией, и пришла тревожная осень 1938-го. С населением республики проводились военные занятия, в которых деятельное участие принимал и я. Страна была предельно напряжена, готовилась к отпору. Но

летом мне удалось вырвать пару недель на отпуск, и со своим дружком участковым врачом-кубанцем Жоркой Сеиным я решил отдохнуть в известном моравском курорте Лугачовицах.

Отправились туда на моей машине. Выйдя на лугачовицкие улицы, я увидел, что курорт буквально забит евреями. Евреи — барометр политической погоды — чего-то боялись и снялись со своих мест. Тут были люди и с Подкарпатской Руси, и из Словакии. Взвесив обстановку, я решительно заявил Сеину:

— Жорка, немедленно возвращаемся домой — раввины снялись с насиженных мест, а это что-нибудь значит...

— А что ты хочешь делать? — спросил удивленный Сеин.

— Строиться! Сейчас же едем в Прагу, там купим план и построим себе курени. Увидишь, скоро все пойдет прахом...

Вскоре в городке Немецкий Брод, в тридцати километрах от Желива, местный архитектор отыскал поле, а еще через неделю я привез ему всю сумму денег на строительство виллы.

— Закладывайте фундамент! — заявил я, кладя деньги на стол.

Архитектор растерялся:

— Это почему же? Мы, чехи, привыкли брать деньги по частям, в зависимости от того, как идет постройка. Что же я буду делать со всей этой суммой?

— А я строю по-казачьи — сразу! Вы, наверное, не понимаете, что на нас надвигаются тяжелые события. На эти деньги вы сейчас же накупите себе строительный материал — печки, трубы, доски и прочее, что вам будет нужно при следующих постройках. Надеюсь, что моя не последняя...

Архитектор Брюкнер послушался меня и потом, когда постройка была завершена в рекордный срок, а республика занята немцами, часто говорил мне, что он в жизни не строил так выгодно, как у меня. Накупленный им, по моему совету, материал во время войны многократно поднялся в цене, и Брюкнер этими запасами — уже во время протектората — пользовался на очередных постройках.

ВО ВРЕМЯ ПРОТЕКТОРАТА

А события нарастали. В один из непривычно снежных дней, а именно 15 марта 1939 года, границы республики перешли немцы. Чехословакия стала протекторатом. Из так называемой Судетской области, западной пограничной полосы республики, в центр съехалась масса беженцев, и уже осенью 1938-го вождь судетских немцев Генлейн и бывший владелец книжного магазина Карл Герман Франк начали старательно готовить приход немцев. У нас на Чешско-Моравской возвышенности было тихо. Сюда доходили только тревожные вести, да время от времени начали появляться беженцы из Судет.

Но вот однажды в Желиве появился коренастый, неандертальского вида человечек с женой и двумя детьми, которые вскоре заболели скарлатиной. Этот совершенно некультурный и озлобленный тип был назначен к нам начальником местной жандармской станции. Естественно, что все тайные документы, касающиеся

местных жителей, очутились у него в руках. Прочтя отношение министерства внутренних дел о том, что я и моя семья из-за связи с Солоневичем находится под негласным полицейским дозором, он решил, что держит меня в руках. Как-то, желая исправить небольшую неточность в бюллетене, которую Кинцл допустил при лечении мной его детей, я послал к нему своего лаборанта. Он отказался исправить ошибку. Я послал снова. И тогда Кинцл влетает ко мне в амбулаторию, как дикий зверь, бьет кулаком по моему письменному столу и кричит:

— Что вы от меня хотите?! Я вас знаю наизусть и вижу вас не только тут, а и под землей! Я вам покажу неточности!..

Сообразив, в чем дело, я спокойно, но категорически попросил его оставить мою амбулаторию, а сам тут же отправился в район к его непосредственному начальнику. Нужно заметить, что такое обращение с врачом, да еще состоящим на государственной службе, было просто недопустимым. Когда я рассказал гейтману об инциденте, он искренне возмутился и дал распоряжение расследовать это дело.

— Если будет нужно, снимите его с должности. Я таких дураков у себя в районе не потерплю! — заключил начальник жандармерии. По-видимому, предполагалось, что этот неандерталец своим поведением открыл тайну полицейского надзора.

— Прошу оставить Кинцла на его месте, — попросил я, — но, пожалуйста, скажите ему, чтобы он оставил меня в покое и не мстил по своей глупости.

Начальник сокрушенно покачал головой и заметил:

— А знаете, доктор, он на вас не может иметь никакого влияния. Вы, как государственный участковый врач, находитесь в нашем непосредственном ведении. Ну, а впрочем, я сделаю так, как вы хотите.

С тех пор перепуганный Кинцл раболепно приветствовал меня чуть ли не за два квартала. Но злобу, примитивную и лютую, он затаил. Позже, в 1945 году, после своего освобождения из концлагеря, куда Кинцл попал при немцах, полуживой, он приплелся в Желив и настоял на моем аресте. В то новое для Чехословакии время даже такая незначительная личность, как этот жандарм, мог многое сделать и изуродовать жизнь любому. Однако это еще все впереди...

С приходом немцев на Чехословакию легла мрачная и тяжелая тень свастики. Чехи ходили как потерянные. Бенеш исчез за границу, а президентом стал назначенный немцами бывший председатель главного суда старичок Эмиль Гаха. Для нас, русских эмигрантов, основательно засидевшихся в Чехии, приход немцев, как ни странно, принес нечто положительное — мы перестали чувствовать себя иностранцами. Все русские эмигрантские организации немцами были распущены, но среди нас нашелся один честолюбивый и предприимчивый врач Иван Камышанский, который явился к немцам и заявил, что если они снова откроют Союз русских врачей, но уже граждан протектората, то он поведет его по рельсам, которые будут указаны. Власти на это пошли, и наш Союз снова воскрес. Камышанский был назначен лайтером, то есть

руководителем этой организации, и, как оказалось впоследствии, несменяемым. Был создан и так называемый «Совет десяти», председателем которого стал талантливый организатор Федя Чекунов, наш казак. Я попал в число членов этого Совета как представитель врачей, практикующих в чешской провинции. Туда же выбрали и моего друга — кубанца, занозистого Жорку Сеина. На одном из первых же заседаний Камышанский категорически заявил, что мы, русские врачи, должны будем отчислять от своих заработков один-два процента для представительства. Я категорически запротестовал против этого предложения:

— Да на кой черт тебе эти деньги, Иван Тимофеевич?

— Как? — удивился председатель. — А на какие деньги я буду ездить в Берлин по делам союза?

— А зачем тебе ездить в Берлин? — переспросил я. — С немцами нам не по дороге. На это дело мы не дадим ни кроны!

Камышанский со злобой выкрикнул:

— Коллега Келин! Лишаю тебя слова. Ты еще бродишь в тумане Масариковской покойной республики и не осознаешь серьезности происходящих событий!

Меня поддержало большинство врачей, а Камышанский затаил злобу.

Вскоре в Желиве поселился полковник Дастих, бывший в течение восьми лет военным атташе в Москве. С приходом немцев он, не желая служить им, ушел в отставку и купил в нашем местечке домик. По приказанию властей — под страхом смертной казни — из всех радиоприемников были отстранены приспособления для слушания известий на коротких волнах. Но опытный в этих делах Дастих имел какое-то приспособление, которое позволяло ему слушать все запретные станции. Я бывал у него почти ежедневно, и мы слушали Москву, Лондон, откуда иногда говорил Бенеш.

Как-то почтальон принес мне повестку для медицинского осмотра в Праге. Я решил оставить эту повестку без внимания, но Дастих настоял на этой поездке.

— Немцы методичны и не любят шутить, — подчеркнул он.

И вот мы с Сеиным в огромном зале отеля Палас. Тут было много казаков из всех войск, с Балкан прибыл генерал-лейтенант Абрамов — он когда-то командовал казачьим корпусом в Крыму. В кубанке с газырями прохаживался Кубанский войсковой атаман генерал Науменко. В толпе я заметил командира «Волчьей сотни» Андрея Шкуро — грозу красных тылов. За столом одной из комиссий сидел хорошо нам знакомый инженер Шелест, когда-то живший со мной в «Свободарне». Его произвели в генералы, и он уже был одет в соответствующую форму с погонами, на которых блестел импозантный генеральский зигзаг.

Нам приказали раздеться догола и после тщательного осмотра признали годными нести военную службу.

— Доктор Келин! Вы, конечно, согласны идти в германскую армию бить большевиков? — спросил один из членов комиссии.

— Нет! — твердо ответил я.

— Но почему? Вы же казак, эмигрант. Сейчас приспело время рассчитаться с той сволочью, которая опоганила Россию!

— Нет! Я не хочу ослушаться нашего вождя Адольфа Гитлера. При образовании протектората «Чехия и Моравия» он ясно заявил, что граждане протектората, кто бы они ни были, не подлежат призыву на военную службу. Гитлер дал слово нашему президенту Гахе не трогать никого из нас. Я, как казак, человек дисциплинированный, привык слушаться начальство и не нарушу приказ вождя!

Комиссия опешила.

— Но когда же вы пойдете?..

— Когда вождь изменит свое решение и когда на службу пойдут все граждане протектората! — заключил я.

Разговор был окончен, синим карандашом против моей фамилии написали: «Пойдет по общей мобилизации...»

Во время протектората с питанием стало туго, городское население перевели на карточную систему. А у нас в деревне жилось неплохо. Я, как врач, легко мог доставать продукты у крестьян, держал кроликов, кур, много других птиц. Ко мне в Желив частенько приезжал за продуктами киевский профессор эмигрант Зеньковский.

Как-то вечером он вошел к нам запорошенный снегом и, смотря на меня сквозь запотевшие очки, говорит:

— Ну, Николай Андреевич, я никак не мог бы предположить, что вы сотрудничаете с этими отпетыми молодцами...

— С какими? — спрашиваю, удивленный.

— Да вот с этими, — говорит он и протягивает мне самостийный «Казачий вестник». Мать честная, во всю вторую страницу газеты — мои стихи!.. Без моего ведома сепаратисты Глазков и его дружина перепечатали несколько стихотворений из давно изданных книжек. Меня эта дерзость взорвала, и на следующий же день я отправился в Прагу искать редакцию той газеты.

Нашел где-то у вокзала. Врываюсь, а мне навстречу Глазков:

— Коля! Наконец-то ты у нас! Садись, рассказывай!

— Садись? — взбешенно ору я. — Да я приехал вам морду бить!

— Да за что? Помилуй! — говорит Глазков.

— На каком основании вы осмелились напечатать несколько моих стихотворений? — не успокаиваюсь я.

— Но не кипятись — ведь мы же их перепечатали из твоих книг. А ни на одной из них не было означено, что права автора сохранены и перепечатка воспрещается. Мы и Пушкина с Лермонтовым можем перепечатывать...

— Ах, вы, чертовы души, — да ведь они же давно в могиле! А мне жить с этим вот пятном дальше!

— Ну, так иди подай на нас жалобу.

— Кому? Гиммлеру?..

Конечно, жаловаться в то время было бессмысленно, самостийники дали мне слово, что больше не напечатают ни строчки из моих произведений, и, хлопнув дверью, я ушел.

Забегая вперед, скажу, что эта страничка с моими стихами, напечатанная в «Казачьем вестнике» в конце 43-го, стоила мне после окончания войны шести месяцев тюрьмы, а чехами я был объявлен «военным преступником». Могли и повесить по ошибке. Тогда эта процедура делалась легко. Вспоминая Глазкова, я полгода просидел со всякой шпаной, чистил сортиры, мыл в камерах полы, пилил дрова, заметал гумполецкие улицы. Потом выпустили, даже извинились и вернули какую-то часть конфискованных у меня во время ареста вещей. Но об этом позже.

Чехи знают своих соседей-немцев лучше, чем кто бы то ни был. Столетиями они их боялись, может быть, не без основания, и с молоком матери всосали ненависть к ним. Так что приход немцев в Чехословакию в марте 1939-го поразил население, как гром. Все ходили понурые, придавленные. Несмотря на все так называемые договоры, официальные заверения, что немцы пришли их охранять, это была самая настоящая оккупация, которая с первого же дня угнетала свободолюбивый народ. Множились анекдоты про Гитлера, шли аресты, расстрелы. Чехия глухо клокотала, и вот как-то пришла неожиданная весть, что в Праге чешскими парашютистами убит рейхс-протектор, генерал полиции и палач Рейнгард Гейдрих. Новая волна арестов и расстрелов захлестнула протекторат. Чехи притихли.

Уже давно было ясно, что немцы войну проигрывают. Они постепенно оставляли Балканы, куда вливались несметные полчища Красной Армии. Из Белграда и Софии потекли потоки русских, оставшихся там с 1921 года, а с ними повалили панические слухи о том, как красные поголовно выбивают эмигрантов и только часть отправляют в Советский Союз. Говорили, что расправа со своими бывшими врагами — белыми — у красных беспощадна!

У нас, в Чехословакии, создалось двойственное положение: чехи с нетерпением ожидали освобождения, а мы — неминуемой смерти. Многие из эмигрантов снимались с насиженных мест, бросали все и присоединялись к потоку балканских беженцев, стремящихся уйти на запад. Я не знал, что делать. На всякий случай собрал 80 литров драгоценного бензина — у меня две машины. Экономлю масло, продукты, развожу по соседним деревням тюки с картинами, прячу их у надежных крестьян, наиболее ценные вещи зарываю в саду в глубоких ямах. Все это делаю, конечно, по ночам. Потом, сообразив, что по дороге отступающие части могут отобрать автомобиль, заказываю у местного слесаря из прочных дюралевых трубок легкую повозку, приспосабливаю ее к двум велосипедам, приобретаю еще третий велосипед — для жены, и мне кажется, что все готово на всякий случай.

С Балкан меня посещают несколько моих приятелей-казаков, бегущих на запад. Они рассказывают, что в Сербии и Болгарии,

куда уже пришла победоносная Красная Армия, творится что-то страшное! К тому же вспоминаются рассказы о том, как в 1920-м не успевших уйти из Крыма более 60 тысяч белых воинов расстреляли из пулеметов неудавшийся мадьярский диктатор Бела Кун и Роза Залкинд, известная под именем Маруся Землячка. Вспоминались и рассказы о расправе в Новороссийске. Оставшихся там белых офицеров рядами привязывали за шеи к рельсам и сталкивали с мола в море. Говорят, будто бы спустя годы водолазы боялись там спускаться в воду, так как со дна поднимались гирлянды обглоданных скелетов русских офицеров... Все это за годы эмиграции впитала чуткая память, и она парализовала волю. Было жутко сознавать, что нашу семью скоро постигнет та же участь. Положение создавалось безвыходное, особенно у людей, обремененных семьей. И мне уж было не 22 года — приближалась пятидесятка. Не хотелось уходить в новую эмиграцию, начинать жизнь заново.

А немцы, предчувствуя скорый и неминуемый конец, жгли и разбивали все военное имущество, которое не могли увезти с собой. В Чешских Будейовицах и недалекой Пльзени уже стоял американский генерал Паттон. Американцы не могли перейти намеченную на Ялтинской конференции черту. Создавалось странное и непонятное для непосвященных положение: война концентрировалась вокруг Чехословакии. Центром была Прага. Здесь 5 мая 1945 года вспыхнуло стихийное восстание под руководством генерала Куттельвашера и профессора Пражака. Судьба обоих после освобождения в недалеком будущем оказалась трагической. Но тут немцы еще имели страшный железный кулак, и, не приди в разгар восстания части генерала Власова, который повернул оружие против немцев, от Праги бы ничего не осталось. Это втихомолку может подтвердить любой пражский житель. Чешское радио с утра 5 мая захватили повстанцы, и мы с замиранием сердца слушали панические призывы диктора о помощи. Американцы не смели двинуться с места, а русские были еще далеко.

Но вот в затихшую уже Прагу 9 мая влетели первые советские танки...

КАК ЭТО БЫЛО

А случилось это так. Истекали последние деньки чешского апреля, когда не разберешь — то ли это неуютная осень, то ли чахлая здешняя весна. Но в том году весна была необыкновенная, напоминающая нашу, русскую. Слухи о приближающейся лавине советских танков преувеличены не были. По утрам, прислушавшись, можно было различить далекие гулы — это гремела артиллерия. Люди ходили празднично радостные. А у нас в семье просто дышать было нечем от вязкого неуемного страха. К уходу на Запад я все приготовил. В гараже стояла новая «Пикола», в монастырском сарае на лесопилке «Беби». Приготовил я и бензин, и масло, в конюшне монастырского имения ждал великолепный кавалерийский конь Зигр, купленный мной вместе с седлом у немецкого офицера за десять литров спирта и несколько бутылок коньяка. Если прибавить к этому еще и повозочку, о которой я говорил, транспортная часть не оставляла желать ничего лучшего. Но как не хотелось бросать насиженное гнездо, идти в жуткую неизвестность, в новую эмиграцию...

А немцы уже были на отлете. На площади жгли военное имущество, разбивали молотами велосипеды, чудесные новые аккумуляторы. На монастырской лестнице, ведущей в зимний сад, мальчишки из «Гитлерюгенда» ломали и вдребезги разбивали винтовки. Все хмуры, неприветливы, сосредоточенны. На наших глазах опускался занавес над сценой величайшей трагедии народа, который не рассчитал своих сил и сгорел в бездонных просторах моей необъятной Родины, не поняв ее сокровенного духа.

...В наступившей горячке продолжаю лечить не только своих сограждан, но и немецких мальчишек. Заходит сосредоточенный и всегда подобранный «лайтер» — директор немецкой гимназии, размещенной в монастыре, и предлагает нам эвакуироваться вместе с ними в Германию. Он знает, что я смертельно боюсь большевиков. Предложение нешуточное. Из Праги телефонирует доктор Камышанский — предлагает послать за нами и нашим имуществом грузовые машины. Обещает дать вагон. Я отмалчиваюсь. Зовет по телефону кум, наш казак, доктор Иван Петрович Вихлянцев — он уже готов с женой и дочкой к эвакуации. Недавно Иван подарил немцам пару баранов, подушки, теплые вещи, вызвав этим глубокое недоумение чехов. Теперь же он, взяв на спину рюкзак, помахал палкой высыпавшим из санаторного здания пациентам-чехам, перекрестился и крикнул: «Ну, в добрый час! Ухожу от вас такой же голый, как и пришел. А вы, милые, стройте социализм без меня. Доброго вам здоровья в советском раю!» Позже я узнал, что Иван вынырнул где-то в Нью-Йорке, работал хирургом в одном из самых больших госпиталей города.

Говорю по телефону с однокашником-станичником доктором Федором Чекуновым, спрашиваю, что и как? Федя категорически заявляет, что остается и никуда не поедет. Тогда принимаю решение и я: будь что будет! Не хочу начинать новую эмигрантскую страду. Пусть лучше меня расстреляют или сошлют, но семья как-то будет жить. Зная замашки и привычки солдат, прошедших огонь и воду, зарываем во дворе ценные вещи, кое-что прячем на чердаке, часть развозим по деревням: в Поржичи к Краусу ящики с одеждой; два больших тюка с ценнейшими картинами — к управляющему Седлицкой электростанцией Краткому; часть литературы — к учителю Новаку. И начинаем ждать.

С востока, как перелетные птицы, уже тянутся беженцы. По дороге из Гумпольца через Желив непрерывным потоком движутся отступающие войска. Где-то между Желивом и Гумпольцем один дурак обстрелял из дробовика танковую колонну СС. Немцы насторожились и перестреляли из пулеметов девять мирных граждан, высыпавших из села и пристроившихся в придорожных канавах из-за любопытства. По долгу участкового врача я осмотрел убитых.

А возвращаясь, обратил внимание на толпу, собравшуюся у гостиницы. Это были отставшие немецкие солдаты. По дороге же в панике бежали вереницы парных упряжек с гражданским населением. И вот вдруг во все это скопление людей врывается армейский мотоцикл с коляской. Я посмотрел и обомлел: в коляске и за рулем сидели два молодых, обезумевших парня с автоматами. На фуражках у них были пятиконечные звезды...

Еле двигая непослушным языком, я тогда крикнул собравшимся вокруг обывателям:

— Русские!

Чехи окружили мотоцикл, начали разглядывать красноармейцев, хлопать их по плечам, а несколько человек бросились бить сдающихся немцев. Увидев это, один из советских заорал:

— Не смей бить! Это же пленные! Мать вашу!..

Разочарованные жители Желива начали медленно расходиться, и я, не чувствуя под собою ног, поплелся домой сообщить ошеломляющую новость.

В Желиве вскоре образовали так называемый национальный комитет. Председателем его назначили Иноценца Заплетала, бывшего предпринимателя по цементным работам. По дороге из Гумпольца пошли красные войска, бесконечным потоком потянулись какие-то архаические повозки, запряженные парами лохматых лошаденок. Мы замкнули дом, и на чердаке я устроил логово для спанья. На всякий случай сделал выход-лаз прямо к реке. Ожидали насилий, бесчинств, что было не без оснований...

А под одной из огромных столетних лип, что против монастырского собора, уже расставлялись столы. Местные женщины готовили угощение для офицеров. Стелили скатерти. Проходя по монастырской площади, я разговорился с одним офицером, судя по всему сотрудником госбезопасности.

— Где вы так хорошо научились говорить по-русски? — все допытывался он.

— Да я же русский. Военнопленный. Остался тут после первой мировой войны, женился и вот... — брешу, не сморгнув глазом, и прошу нас сфотографировать. Тут подходит еще какой-то офицер и, смеясь, бросает:

— Лучше от него подальше! Уж если этот снимет, то всю жизнь помнить будете...

Теперь вот, вспоминая прошлое, с тяжелым сердцем перебираю эпизоды 1945 года. Тогда рушились все надежды и оставалась только горечь и унизительный животный страх.

Как-то возвращаюсь домой через монастырь. Внутренний двор забит повозками, и вот от перегруженной тачанки отделяется невзрачный мужичонка-красноармеец и, обращаясь ко мне, говорит:

— Послушайте, господин, нет ли у вас часиков? Никак не могу достать. Мы ведь обозные... Покель придем к чему, ан уж все растребушили. Значит, придется с войны являться без часов. Дай, Христа ради, какие есть. Я тебе за это всю повозку с консервой отдам...

Но мне не до часов, не до консервов — душа в пятках.

— Нет у меня лишних часов, — говорю.

Мужичонка сокрушенно пожимает плечами и вдруг протягивает мне несколько коробок консервов в подарок. Эх, видно, осточертела ему и эта война, и обоз, и консервы. Прихожу домой, открываю одну из банок — свиное топленое сало! Да еще какое!..

Но вот в конце мая, помню, побродив, как обычно, по Желиву, я вернулся домой и в ординации, где принимал больных, увидел перед амбулаторией трех жандармов, сидящих на перилах террасы. Это были служащие местного полицейского участка.

— Кто-нибудь из вас болен? — спрашиваю.

Они, покуривая и улыбаясь, просят меня осмотреть больных.

— Мы подождем, мы не спешим...

У меня, как ни странно, даже не мелькнула мысль, что пришли за мной. Отпустив последнего больного, выхожу в приемную и приглашаю:

— Прошу.

Один из жандармов, усмехнувшись, бросает:

— Нет, теперь вы пойдете с нами. В полицейский участок!

В полиции смотритель тюрьмы чех Вондрачек передает меня советскому сержанту-мальчишке с орденами.

— Келин! Идите сюда. Вас берут русские, — объявляет он, и меня привозят в караульное помещение.

Узкий подвал без света. Горит маленькая электрическая лампочка, в глубине торчат нары. Вверх ведут каменные ступени... В скором времени сюда сталкивают моего станичника доктора Сеина и, кажется, на второй или третий день привозят моего зубного техника, полумертвого от страха, Сашку Определеннова. Сидим на каменных порожках, перекидываемся пустыми фразами — гадаем, строим предположения. Зная повадки наших соотечественников, на будущее смотрим мрачно.

И вот первый допрос. Встречает меня аккуратненький мальчик — младший лейтенант. Смотрит безучастно и говорит:

— Садитесь! Вот бумага, перо, чернила. Опишите всю вашу жизнь, только поподробнее. Как попали в Чехословакию, что делали... Я часика через два приду.

Сажусь за стол и пытаюсь изложить на бумаге все, что знаю о себе. Пишу разборчиво и торопливо. Не помню точно, сколько написал, думаю, не менее 30—40 страниц.

На следующий день меня повели на допрос в главную канцелярию. Как я узнал потом, следователь Багновский, бывший монтер, совершенно неинтеллигентный тип, распахнув настежь дверь и театрально изогнувшись, ехидно прошипел:

— Наконец-то мы вас достали, доктор Келин... Да-а-ас, теперь поговорим — есть о чем.

Интонация и театральность позы произвели на меня очень тяжелое впечатление. Сжалось сердце. Я приготовился к допросу. Не помню уже теперь, о чем выспрашивал меня этот некультурный и грубый человек. Выходя от Багновского, я понял, что меня расстреляют. Вспоминаю, как в тот же день во время допроса в

комнату вошел довольно красивый, лет тридцати, смуглый майор-еврей. Об этом типе речь впереди. Эта бестия много крови перепортила мне и моей семье. Да и гумполецким фабрикантам немало досталось: он обложил их натуральной данью и владел промышленным городишком неограниченно, как азиатский хан. По городку майор ездил в чудесном, где-то, понятно, реквизированном экипаже, запряженном парой прекрасных белых лошадей. А тогда, в день допроса, он рявкнул Багновскому:

— Какого черта вы портите бумагу на этого Келина? Я все равно все порву! На него пули жалко — веревку! — потом, обращаясь ко мне: — Послушайте, почему вы писали против нас? Вот если бы вы такие стихи для нас писали, — мы засыпали бы вас золотом. А так вот —повесим, как собаку... мать!

Взглянув на майора, я ответил:

— Вы же знаете, что, стоя на ином берегу, я не мог писать иначе. Бытие определяло сознание и темы моих стихов...

Кстати, фамилия того наглого майора Гончарук, а иногда его называли Поповым. Как правильно — не знаю. Вполне вероятно, что свою настоящую фамилию знал только он один.

Через несколько дней меня перевезли моим же реквизированным Красной Армией автомобилем в дом фабриканта Смрчки, где обосновался Гончарук. Тут производили какие-то формальности. В одной из комнат ко мне подсел молоденький артиллерийский офицер в дорогой для меня форме — черный бархат на петлицах, пушки, и я невольно вспомнил свою безвозвратно ушедшую молодость, годы, проведенные на фронте в боях за Родину...

Потом меня выгнали во двор, и взвод каких-то звероподобных солдат в старых русских шинелях, с допотопными винтовками при трехгранных штыках — и где они их только взяли? — под командой белобрысого сержанта погнал меня к развалинам замка Орлика, в балку. Молнией обожгла мысль — ведут на расстрел... Посмотрел на синее небо, на солнце, простился с жизнью — и вдруг стало как-то необыкновенно легко. Все показалось таким далеким, ненужным, и я покорно зашагал за город, подталкиваемый сзади трехгранными русскими штыками.

Привели меня мужики в балку, пошептались о чем-то, поматерились и вдруг, ни с того, ни с сего, повели обратно, к Гумпольцу. От Градской повернули в проулок, к дому № 848, принадлежащему чешскому почтальону Гауберту. Несколько окон этой новенькой и опрятной виллы были наспех опутаны колючей проволокой. Во дворе мотались солдаты стражи и, как виселица, торчали большие качели с веревками на перекладине. Сержант что-то буркнул и исчез, а я уместился под качелями, будучи совершенно уверен, что по приказу майора Гончарука на меня, действительно, пожалели пулю и сейчас будут вешать. Что говорить, перспектива качаться на перекладине с высунутым языком — не из радужных. И ожидание — одна из самых страшных пыток. Но поистине пути Господни неисповедимы — оказалось, что сержант ходил не за

табуреткой для казни, а за ключом от реквизированной под временную гауптвахту виллы Гауберта.

В тот же день, как сейчас помню, в воскресенье, меня усадили в грузовик и под охраной двух красноармейцев с автоматами повезли куда-то. Раз или два останавливаемся на перекрестках Гумпольца, где меня знает каждая собака. Улицы полны празднично одетой толпой. На остановках чехи окружают наш грузовик. Я, сняв шляпу, здороваюсь с моими многочисленными знакомыми, но ни один человек не отвечает на приветствие: такова природа людей...

А на русских солдат здесь пока что молятся. Им позволено все, и они это чувствуют. При выезде из Гумпольца стоит деревушка Роскошь. Тут у дороги гостиница. Гремит музыка. Грузовик останавливается на полчаса, и мои провожатые, чередуясь с шофером, исчезают в зале гостиницы, пьют и, окруженные ликующей толпой чехов, снова возвращаются на свои места.

Вот и городок Немецкий Грод. Тут у меня великолепная вилла, выстроенная в начале войны. Шофер, по-видимому, не знает дороги и ведет машину на площадь. Слышу, как спрашивает дорогу на Ждяр. Это центр чешской Сибири, лежащий на границе Чехии и Моравии. Покружив по улицам, грузовик останавливается у какой-то виллы, где разместился СМЕРШ, и вскоре я оказываюсь в погребе, где на мокром бетоне лежит какой-то человек. Дверь захлопнулась, и в полутьме я узнаю советского сержанта. Познакомились, кое-что рассказали друг другу о себе. Парень оказался служащим интендантства; что-то, по его словам, продал казенное и вот уже неделю сидит в этом склепе. Впрочем, на второй день его увели. А меня вызвали на допрос к старшему лейтенанту Юсуфу-Задэ...

Допросы бывали ежедневно, обычно по ночам, длились они по 10—11 часов без перерыва. Я сидел на стуле посередине комнаты, а старший лейтенант время от времени ложился на кушетку, курил, слушал радио и просил меня обдумывать ответы на поставленные вопросы. Я уже рассказал ему всю мою жизнь, но он категорически требовал от меня признаний в принадлежности к какой-то партии, выяснял мой политический облик.

—Послушайте, доктор! Скажите определенно, каковы ваши политические убеждения? — настаивал Юсуф-Задэ.

— Но я же сказал вам, что ни в политике, ни в партиях никогда не разбирался. Меня всю жизнь интересовала только медицина и мои больные люди, их жизнь, — объяснял я. — Повторяю, я очень люблю мою специальность, и ничто другое меня не интересует.

Юсуф-Задэ уже не выдерживал:

— Вы, доктор, не валяйте дурака! Окончили университет, да еще Пражский, — и в политике не разбираетесь? Я знаю, кто вы. Вы — буржуазный националист!

И вот я снова в моем погребе. Снова смотрю в узенькое окошечко под потолком, где, кроме ног шагающего часового, ничего не видно. Нет даже кусочка неба... Ощущение жуткого одиночества, беспомощности и полной безнадежности. Вспомнились страшные рассказы о советских тюрьмах и их порядках. Когда-то, читая книгу

эмигрантского писателя о Дзержинском, Ягоде и Ежове, я холодел от ужаса. Но особенно потрясла меня книга Солоневича «Россия в концлагере», где он описывал ужасы, перенесенные им в страшных лагерях ГУЛага. Я разговаривал с автором этой книги много раз, и у меня не было никаких оснований не верить ему. Но я уже не так боялся за свою жизнь — мне было нестерпимо жаль маленького сына Алешку, старшего — добряка Юрку и мою жену, которая совершенно не была приспособлена к самостоятельной практической жизни. Мне казалось, что без меня они сразу погибнут...

Но время шло. Допросы продолжались. И вот в одну из ночей, уже к утру, видя безвыходность положения, я сказал Юсуфу-Задэ:

— Зачем мне подписывать галиматью, которую вы написали в этом неправдивом протоколе, если вы меня все равно расстреляете? Расстреливайте без моей подписи!

Тогда следователь подвинул ко мне стопку бумаг с протоколом и раздраженно сказал:

— Вы, доктор, вымотали из меня всю душу! Мы, конечно, вас расстреляем, но без этой формальности — вашей подписи — сделать это пока не можем. Помните, я не отстану от вас. Вы подпишете протокол! — Старший лейтенант лег на кушетку, закурил и включил радио.

Мне как-то вдруг все стало безразлично, я подошел к столу и подписал свой смертный приговор — подтвердил преступление, которое не совершал.

— Теперь можете идти в подвал, — распорядился следователь.

Когда за мною захлопнулась дверь, лежа на мокром бетоне, я понял, что совершил что-то непоправимое, и тогда я стал на колени и принялся исступленно, как никогда в жизни, молиться. Я просил Николая Угодника сделать чудо и сохранить мне жизнь. Не знаю, была ли услышана моя молитва, но то, что произошло вскоре, я не могу назвать иначе как чудом. Об этом расскажу немного позже, а сейчас вернемся в мою мрачную тюрьму.

Нового свидания с Юсуфом-Задэ я так и не дождался. Ночь прошла, как в кошмаре. Часов в семь утра послышались быстрые шаги по каменной лестнице, ведущей в подвал. Повернулся ключ, открылась дверь, и красноармеец повел меня наверх. Перед домом стояла таратайка, запряженная парой румынских лохматых лошаденок. На дне повозки было набросано сено, и человек с автоматом приказал мне садиться сзади. Сам он взгромоздился на козлы к кучеру. Скамейки не было. Я прислонился к грядушке, красноармеец свистнул и погнал лошадей по улице.

В нескольких километрах за Ждяром, откуда меня везли, нас догнала повозка,запряженная в дышло. На козлах сидел красноармеец, обняв какую-то бабенку. Они весело болтали между собой, баба время от времени визжала. Мы ехали молча. И вот где-то на спуске горы солдат, по-видимому, занятый соседкой, не сдержал лошадей, повозка налетела на нас, и меня дышлом ударило в затылок, да так, что я на некоторое время потерял сознание. Когда

очнулся, услышал крик и страшную многоэтажную ругань моего автоматчика:

— Ты что, сволочь, нюни распустил со своей курвой? Не видишь, что арестованного везу? Я за него в ответе, а ты его чуть не убил, болван! Вот пущу в тебя очередь!

Несмотря на туман и боль в голове, у меня тут мелькнула мысль, что коль за меня еще заступаются, то не все еще потеряно... Не хотелось верить, что Юсуф-Задэ мог единолично вывести меня в расход. К тому же я ведь чехословацкий гражданин... Но это, конечно, было слабое утешение. Как узнал позже, многих моих знакомых и друзей, тоже граждан Чехословацкой Республики, увезли на десятилетнюю каторгу в Сибирь, а некоторых расстреляли где-то около Праги.

Наконец к полудню повозка въехала в небольшое районное местечко, где был окружной суд и стоял штаб политического отдела Украинского фронта. Тут билось сердце СМЕРШа. «Походная Лубянка... — мелькнуло в голове. — Что-то будет?..» Один из моих провожатых, предъявив документы часовым, исчез в подъезде. Не возвращался долго. Пожалуй, часа через два он вышел из здания суда с сержантом, который сердился, что меня привезли к ним, объяснял, что у них тут и без меня все забито арестованными. Но мой провожатый не уступал:

— Возьми! Не повезу же я его назад...

Сержант сдался, я побрел за ним в новую неизвестность и вскоре очутился в большой комнате, до отказу набитой людьми. Это были солдаты и офицеры Красной Армии, в большинстве бывшие военнопленные, пригнанные сюда из немецких лагерей. Сюда же позже пригнали пражских гимназистов — активных членов эмигрантской патриотической организации «Русский Витязь». Все они впоследствии бесследно исчезли. Говорили, что ребят расстреляли.

Комната, в которой я очутился, не имела никакой обстановки. В углу — вонючая параша, куда было разрешено только мочиться. Два окна во двор — подходить к ним было строжайше запрещено. В помещении стояла тропическая жара от сбившихся в кучу тел. Люди сидели вдоль стен и лежали вповалку на грязном полу.

Ежедневно несколько человек вызывали на допросы. Когда они возвращались, их окружала толпа, выспрашивала все подробности допроса и тщательно критиковала ответы. Тут я убедился, сколько нужно было пережить и испытать немудрящему русскому мужичку, какую нужно было пройти жизненную школу, чтобы так четко и безошибочно уметь разбираться во всей казуистике современной юриспруденции. Я был рад, что попал в русскую среду,.в самую ее гущу, но мне делалось жутко оттого, насколько мировоззрение в чем-то обвиняемых людей было ограниченно и односторонне. На меня они смотрели, как на человека с Луны, и почему-то были уверены, что я, по меньшей мере, профессор. Целыми днями и ночами около меня звездочкой лежали группы по 6—8 человек и просили меня рассказывать им о тысячах вещей — о французской

революции, истории России, царе, Бисмарке, чужих странах. И я рассказывал полушепотом, охрипшим голосом.

Несмотря на то, что к окнам подходить было строго запрещено, мы все же ухитрялись, прижавшись к стене, наблюдать, что делается во дворе. Заранее было договорено, что те, кто уже был осужден, по дороге в уборную будут знаками показывать срок наказания: одна рука на груди — 10 лет, скрещенные руки — 20 лет, рука на голове — расстрел.

На второй или третий день после водворения в камеру предварительного заключения СМЕРШа меня вызвали на допрос. Войдя в огромный зал, я замер от удивления: за составленными в ряд столами восседал целый ареопаг — не менее 30 человек. Перед столами стоял одинокий стул, куда меня попросили сесть. И тут я заметил свой маленький фибровый чемоданчик, стопку книг с моими стихами, большинство которых было явно антисоветского характера. Рядом лежала неразрезанная книга Гитлера «Моя борьба» в русском переводе. Кстати, она была почти в каждой чешской семье, но я из-за вечного недостатка времени за все шесть лет протектората не удосужился ее прочесть. Офицеры из рук в руки передают мой заграничный паспорт, с которым я исколесил почти всю Европу. И вот первый вопрос:

— Скажите, доктор, вы были дипломатическим курьером?

— Нет. Почему вы так думаете? — спрашиваю удивленно.

— Но как обыкновенный гражданин мог посетить почти все страны Европы?

— Да у нас каждая учительница могла ехать куда хотела, — ведь всюду близко. А для меня и недорого — я имел большую практику и хорошо зарабатывал.

— Говорят, что у вас в городе собственный дом? Откуда вы взяли на это деньги?..

Пришлось популярно объяснить, и, кажется, смершевцы были удовлетворены ответом. Но все-таки более всего заинтересовал мой заграничный паспорт. Иных существенных вопросов не задавали, меня вывели в соседнюю комнату, и часа через полтора кто-то крикнул из зала:

— Сержант! Приведите арестованного.

Войдя в зал, я увидел, что ареопаг исчез, а за столом сидел один уставший капитан в пехотной форме. Он долго молча смотрел на меня. Потом взял протоколы моего допроса и вдруг спросил:

— Это ваша подпись?

— Да!

— Почему вы это подписали? Ведь это же ваш смертный приговор...

— Но я должен был это подписать. Старший лейтенант Юсуф-Задэ сказал, что моя подпись не имеет никакого значения и что меня все равно расстреляют. То же самое мне уже сказали в Гумпольце майор Гончарук и лейтенант Багновский.

Капитан вспыхнул:

— Откуда вы знаете фамилию нашего сотрудника Юсуфа-Задэ?

— Очень просто. Допросы продолжались по многу часов, и Юсуф-Задэ иногда выходил из комнаты, оставляя папку с протоколами. На ней была написана его фамилия.

Капитан успокоился и поинтересовался, показывая на книжки моих стихов:

— А вы любите казаков, доктор?

Я со всей убедительностью и экспансивностью, на которую был способен в моем положении, ответил:

— Ах, товарищ капитан... Если бы вы знали казаков, если бы хоть чуть пожили между ними, вы увидели бы, какие это чудесные люди!..

Капитан зорко взглянул на меня, медленно процедил:

— Да я ведь сам... казак.

Вскочив, я сделал шаг к столу и крикнул:

— Да не может быть! Какого войска? Станицы?

— Я терский казак, по образованию инженер. Бывший беспризорник, — закончил он и закурил папиросу.

— Товарищ капитан! Умоляю вас, спасите меня, сохраните мне жизнь... ради маленького сына... Пропадет без отца...

Капитан пристально посмотрел на меня и словно отчеканил:

— Доктор! Я занимаю высокое положение, которое обязывает меня быть совершенно объективным. Повторяю, по-моему, вы совершенно не тот человек, как это написано в протоколе. Я сниму с вас допрос сам. А тогда посмотрим...

На второй же день меня вызвали в зал суда на допрос. Сержант сдал меня старшему лейтенанту, и тот, перелистывая мой объемистый протокол, начал что-то писать. Потом сказал:

— А теперь слушайте новый протокол. Я, такой-то, там-то родившийся, заявляю, что никогда не изменял своей Родине и за границей не вел подрывную работу против Советского Союза...

Посмотрев на меня, старший лейтенант спросил:

— Правильно? Согласны с тем, что здесь написано?

Я, просияв, выдавил из себя:

— Конечно, согласен. Это же сущая правда!..

Прошло еще два дня. И вот настало то утро, которое в памяти моей навсегда.

— С вещами! — услышал я команду, обращенную ко мне. Какие там вещи!..

Капитан С.С. Ковылин, мой спаситель, хотел доставить меня до Гумпольца на своей машине, но его вызвали на какое-то торжество в дивизию. На всякий случай я попросил у Степана Сергеевича документ о моем освобождении и сохранил его, спустя годы. Вот он:

СПРАВКА

Доктор Николай Келин из Желива у Гумпольца с 19 мая по 12 июня 1945 года находился под стражей и за отсутствием инкриминирующих данных из-под стражи освобожден с обязательным восстановлением во всех гражданских и служебных правах.

НАЧАЛЬНИК ОТД. ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 02440
Капитан Ковылин.

До дома меня довез лейтенант Орлов. Дверь в доме была открыта настежь, и первой меня встретила Жофка, наша прислуга. По ее словам, жена с сыном Юрой ищут меня по всей республике и еще вчера выехали в Моравию. Оторвавшись от плачущей Жофки, я вошел в столовую. На кушетке в длинной розовой рубахе стоял мой Алешка, а рядом на вольтеровском кресле большая сумка с его вещами.

— В чем дело, Жофка? — спросил я и услышал совсем неутешительное:

— Только полчаса тому назад от нас ушли два красноармейца — они тут спали. Обещали скоро вернуться. Сказали, что вас пошлют в Сибирь на лесозаготовки, жену тоже куда-то поместят, а Юрку отправят в Красную Армию. Приказали собрать все необходимые вещи Алеши. Его увезут в Союз...

За мною стоял лейтенант Орлов, и я беспомощно оглядывался на него, ища поддержки:

— Виктор! Что же я буду делать?.. Ведь придут... Останься тут со мною — страшно...

Но Орлов и не к таким положениям привык. Он сказал мне, что еще вечером должен вернуться в Нове Место. Попросил у меня спирту, я дал три литра, и он укатил. Единственной моей надеждой и обороной против возможного нового ареста была бумажка из СМЕРШа, подписанная капитаном Ковылиным. Но она как-то не успокаивала меня, я знал, что любой красноармеец в любой момент мог у меня ее отобрать.

И вот утром я решил отправиться в Прагу и сделать там, на всякий случай, несколько копий и засвидетельствовать их у нотариуса. Часов в шесть встал и побежал к почте. Навстречу проносилось много военных и гражданских машин. Не добежав до почты, я увидел, как из остановившегося грузовика соскочила женщина. Это была Оля... Увидя меня, она ахнула и бросилась в мои объятия. А я в двух словах объяснил обстановку, сказал, что домой не пойдем, а сию же минуту едем в Прагу — к нотариусу...

Как я и предполагал, нашу семью в покое не оставили. Чуть ли не ежедневно ко мне являлись чешские жандармы, заявляя, что какой-то советский офицер, не желая назвать своего имени, требует для просмотра бумажку, выданную мне в СМЕРШе. Я категорически отказывался выдать ту справку. Так повторялось несколько раз. А однажды к нам явился незнакомый парень и подал мне письмо. Вскрыв конверт, я увидел, что письмо было написано по-русски малокультурным человеком. В нем неведомый мне «друг» писал, чтобы я явился в одиннадцать часов вечера в монастырский лес, расположенный в пяти километрах от Желива. Письмо было подписано незнакомой мне фамилией, а в конце стояла приписка, что если я не приму всерьез предупреждение таинственного «друга», то буду убит. Никуда я, конечно, не пошел. А год спустя узнал от нашего жандарма Лукаша, что, если бы я тогда ночью явился в лес, в меня выпустили бы очередь из автомата.

После возвращения из СМЕРШа меня постоянно преследовал вопрос: что все-таки сработало в столь счастливом исходе моей встречи с этой организацией? Ведь уже одного того, что я — бывший казачий офицер, в те горячие времена было достаточно, чтобы меня или «шлепнули» или, в крайнем случае, увезли. Почему в Ждяре Юсуф-Задэ поставил на мне крест, а моя судьба чудодейственно изменилась при переводе меня в главный штаб СМЕРШа в Нове Место? Объяснение нашлось скоро.

А дело было так. За день до моей вынужденной подписи насквозь ложного протокола Юсуф-Задэ с каким-то полковником явился к нам в Желив. В то время жена с сыном и прислугой жгли в трех печах «компрометирующий» меня материал. Помогал им и трехлетний Алеша — растаскивал бумаги по комнате, перебирал в этой огромной куче газеты. И вдруг, вытащив журнал в светло-голубой обложке, передал его матери.

— На, мама, читай!

В ворохе бумаг были журналы и с яркими, кричащими обложками, которые, как известно, скорее привлекают внимание детей. Но Алешка выбрал именно тот — голубенький, скромный. Это был номер «Казачьего голоса», издаваемый в Париже самостийной казачьей организацией под редакцией калмыка Шамбы Нюделича Балинова. Чтобы отвязаться от назойливого мальчишки, жена взяла у него журнал и открыла наугад страницу. И сразу же Оле бросилась в глаза моя подпись под статьей «Доводы против нас», в которой я осуждал самостийность и советовал казакам держаться России. Бегло пробежав текст, она положила «Казачий голос» на библиотечный шкаф с мыслью, что статью прочтет позже. И вот, только она дожгла ворох печатного материала, как в комнату вошли Юсуф-Задэ с полковником и лейтенантом из отделения Ждярского СМЕРШа.

А дальше все произошло также довольно удивительно. Начав обыск, лейтенант сразу же взял в руки тот журнал. Открыв его, он напал на статью, подписанную моей фамилией.

— Вот, товарищ полковник! Видите, а доктор уверял, что никогда не писал прозой...

Смершевцы взяли еще несколько незначительных книжек и укатили. А этот журнал, как я узнал позже, полковник приложил к остальному сопровождающему меня материалу. Статья в какой-то мере реабилитировала меня, и фортуна повернулась ко мне лицом...

А жизнь продолжалась. Незаметно исчезли танки Васьки Кобелева, уехал Гончарук, навсегда исчез Степан Ковылин. Жизнь как будто входила в нормальную колею, но вдруг газеты запестрели сообщениями о каких-то декретах, малом и большом, которые обнародовало правительство президента Бенеша. Цель тех декретов была одна: профильтровать чешский народ через густые сита и отделить козлов от овец. Козлами считались люди, действительно или хотя бы предположительно работавшие с немцами во время

шестилетней оккупации республики. Большой декрет грозил веревкой, в лучшем случае — многолетним тюремным заключением. Армия республики восстанавливалась, в Желив пришли чешские солдаты и разместились в здании монастыря. Начальником гарнизона стал капитан Вотруба, который иногда заходил к нам. Мне предложили быть гарнизонным врачом, на что я, конечно, согласился.

Наступало время первого послевоенного Рождества. Актив гарнизона готовился отпраздновать традиционный в Чехии праздник святого Николая. Накануне праздника, вечером 5 декабря, ко мне зашел капитан Вотруба и за ужином пригласил всей семьей на вечеринку в монастырь. Между прочим сообщил, что у него были офицеры военной контрразведки из Праги, что-то расследовали и сказали, что скоро в Желиве будут сенсационные аресты.

— Не меня ли снова собираются взять, господин капитан? — спросил я.

— Да, был разговор и о вас. Но я дал отличный отзыв и могу вас уверить, что все в порядке. Ваше назначение гарнизонным врачом подтверждено, и вы можете не беспокоиться, — ответил Вотруба, а утром, 6 декабря, в день моих именин, в амбулаторию вошли несколько незнакомых мне жандармов. Толстяк Пржибыл, начальник жандармского управления, надулся и строго объявил:

— Доктор, именем республики вы арестованы! Сейчас же сдайте оружие! Поднимите руки!

В недоумении я поднял руки и ответил:

— У меня нет оружия. Всю жизнь моим оружием были термометр, шприцы и стетоскоп. Думаю, что происходит печальное недоразумение...

Пржибыл профессиональными движениями ощупал меня, убедился, что я действительно безоружен, и принялся за обыск.

Неприятное это дело — арест. Он напрягает все нервы, рвет их, человек чувствует себя таким маленьким и ничтожным, что становится стыдно за государство, которое приказывает надлежащим органам творить это насилие. Меня арестовывали шесть раз: два раза на белом Дону, три раза в возрожденной Чехословацкой Республике и раз в Советском Союзе. И каждый раз ни за что — только потому, что власть вооружена и должна быть бдительной. Если бы сосчитать, чего стоили эти незаживающие психические травмы... На своем горьком жизненном опыте я убедился, что в полиции и вообще в органах охраны государства и его граждан должны быть люди только с высшим образованием, высоко квалифицированные, чуткие, а не с бору сосенки.

Тогда, после обыска, меня отвезли в небольшую Гумполецкую тюрьму. Посадили в общую камеру, где помещалось не менее 25 человек, так называемых «врагов народа». На грязном полу валялись замызганные, полные блох, запачканные засохшей кровью матрасы. Стены тоже были покрыты брызгами крови —следы первых арестов, когда тех «врагов» встречали особенно заботливо — били чем попало и точными ударами выбивали изо рта протезы вместе с остатками зубов. Так приняли Бамбаса — ничем

не заметного мужика-рабочего, ни в чем, конечно, не виноватого. Особенно «опасным» заключенным был старый немец Вильдт, оставивший после себя так называемую «Вильдтову линию» — ряд примитивных окопчиков, которые, по мнению этого чудака, должны были преградить путь Красной Армии в Гумпольце.

Однажды в камеру, где я сидел, вошел небольшой желчный человечек с бледным, испитым лицом фанатика. Как я узнал позже, это был испанский интербригадник Иосиф Гушек, который потом занял в Праге высокую должность председателя антифашистской лиги. Он округлится, раздобреет на хороших хлебах, и я, видя его на экране телевизионного аппарата, удивлялся, как люди могут меняться, приспосабливаясь, пригреваясь у теплых местечек. Тогда же, при первой встрече, это был поистине зверь в облике человека. Войдя в камеру, он строго крикнул на меня и приказал стать лицом к стене. Я должен был стоять, не оглядываясь, а тем временем Гушек приказал принести в камеру несколько табуреток, на которые положили моего соседа, и тут же послышались тяжелые удары по чему-то мягкому и раздался нечеловеческий рев избиваемого. Били долго и упорно. Я напряженно ждал, когда очередь дойдет до меня. Но истязание прекратилось, Гушек, указывая на меня, спросил тюремщика:

— А этот за что сидит? — и, не получив ответа, ушел.

Иногда меня вызывали на допросы. Обычно допрашивал молодой судья доктор Катцер, который теперь переменил свою фамилию на Коваля. Это был исключительно мягкий и добрый человек. Он прямо сказал мне, что не знает, почему я сижу и в чем меня обвиняют. Допросы были вялые, пустые и совсем не революционные. Раз меня допрашивал и жандармский капитан Пржибыл, который меня арестовывал. При допросе он ядовито заметил:

— Ну и умеете же вы, доктор, защищаться. Вас никак, ни на чем не поймаешь...

— Мне защищаться легко, — ответил я. — В жизни я никогда ничего не делал противозаконного.

Приближался май 1946 года. Мой участок был уже полгода без врача, население волновалось, не понимая, за что меня держат в тюрьме. И вот мои постоянные пациенты начали собирать подписи под прошением о моем освобождении. Говорили, что набрали их несколько сот, но кто-то из так называемых активистов-демократов уничтожил все листы с собранными подписями. Люди этого типа терпеть не могли русских — ни белых, ни красных. Впрочем, и между ними встречались исключения. В начале мая я узнал, что крестьянин из деревушки Вржесник Франтишек Копиц собрал подписные листы и поехал хлопотать за меня в Кутную Гору — центр, где происходили суды по новым декретам. Жена тоже много раз ездила и в Прагу, и в Кутную Гору с просьбой поскорее расследовать мое дело. По словам лиц, к которым она обращалась, подобными делами были завалены все канцелярии, и следственные власти не представляли, когда они со всем этим разделаются.

И вот, в начале мая, меня вызывают к главному врачу. Бросив на меня взгляд, он как бы сожалеюще говорит:

— Позвал я вас сюда, доктор, затем, чтобы сообщить об экстренном распоряжении из Праги. Вас, как очень опасного преступника, сегодня же перевезут в центральную пражскую тюрьму на Панкрац. Приготовьтесь к отъезду — там с такими, как вы, не шутят: попадете в строжайшую изоляцию...

Я стоял, как громом сраженный. Думал — вот и конец... Но вдруг из-за занавески, отделяющей часть кабинета, шумно выскочил Нетик, чиновник финотдела, который помогал врачам составлять счета для уплаты налогов. Он бросился ко мне на шею и заорал:

— Доктор, доктор. Мы пошутили — вы свободны! Сейчас телефонировали из суда, что вы хоть сию минуту можете идти домой! Поздравляю!

Но моя Голгофа еще не кончилась. Хотя я и был по распоряжению из Праги выпущен на свободу, но все лица, бывшие под следствием, подлежали еще так называемому «очищению» или легкому наказанию по малому «ретрибучному» декрету, изданному Бенешем в 1945 году. Но я так и не понимал, за что же отсидел полгода в тюрьме — мне ведь не было предъявлено никакого обвинения.

И вот в районной жандармерии передо мной довольно объемистая, распухшая от справок и протоколов, касающихся меня, папка. Прапорщик листает бумаги в этой папке и, к моему удивлению, останавливает внимание на номере газеты «Казачий вестник», где были опубликованы в 1942 году те три моих стихотворения.

Выразительно посмотрев на меня, прапорщик переводит взгляд на страницу со стихами и коротко заключает:

— Понятно? Но помните, я вам ничего не показывал...

Так самовольная перепечатка моих стихотворений обошлась мне массой неприятностей и шестью месяцами тюрьмы. Казалось бы, все прояснилось и мои мытарства закончились. Но это только казалось.

Как-то с женой и сыном мы приехали по делам в Прагу. Это была уже третья или четвертая поездка туда после моего освобождения из гумполецкой тюрьмы. Как обычно, остановились у Беранка, было это уже глубокой осенью 1946 года. И вот часов в пять утра меня разбудил стук в дверь номера. Открываю ее и вижу перед собой дуло револьвера. Полицейский строго спрашивает:

— Вы доктор Келин? Руки вверх! Вы арестованы...

Умудренный опытом, я снимаю с руки часы, выкладываю на ночной столик связку ключей, целую Олю и ухожу. Два полицейских ведут меня в местный участок на Виноградах и передают дежурному. Там узнаю, что угодил уже в список военных преступников, разыскиваемых чехословацкой полицией. А это значит, что разбираться будут в главном полицейском управлении. И снова какие-то папки, бумаги, протоколы... Моего дела в управлении не оказалось. Картотека, в которой рылся чиновник, действительно

содержала дела военных преступников, а мое спокойно лежало в Гумпольце. Желая помочь чиновникам в решении вопроса, я вытащил из бумажника удостоверение, выданное прокуратурой народного суда, где значилось, что я был освобожден за неимением улик и восстановлен в гражданских правах. Он посмотрел на меня и с досадой сказал:

— Почему же вы этот документ сразу не показали? Дело в том, что в спешке вас поместили в список военных преступников, опубликованный в «Полицейском вестнике». А потом просто забыли вычеркнуть из того списка. Подождите, я сейчас сделаю на вашем удостоверении пометку, чтобы вас не смели больше задерживать. Простите за недоразумение — работы много.

Такой вот юмор по-моравски. Почти как у нас, в Стране Советов...

ВСТРЕЧИ С ШОЛОХОВЫМ

В 1956 году, то есть спустя три года после смерти Сталина, я начал хлопотать о разрешении поездки на Родину, которую не видел 36 лет. Для этого нужно было получить приглашение на въезд в Союз и разрешение на выезд из Чехословакии. Как ни странно, новыми властителями, как и при Гитлере, производилось исследование всей подноготной просителя и тех лиц, к которым он должен был ехать. Тут поднимался прах не только умерших родителей, но даже и прабабушек. Много это стоило нервов и мне, и сестре Анфисе, живущей с моей старой матерью в Новороссийске. Не помогла и моя принадлежность к партии, в которую я вступил. Всякий раз первый секретарь райкома ставил палки в колеса, и я не мог получить разрешение на поездку. Помог случай.

Весной 1957 года по республике шли предвыборные собрания. Как-то я пришел на одно из таких собраний в гостиницу у Голенды. Я не люблю выступать на собраниях, но на этот раз что-то побудило меня обратиться к присутствующим с речью. После собрания грянула музыка и начались танцы. И тут к столу, где я сидел, подошел незнакомый человек лет сорока, представился, что он член областного комитета партии Ярослав Ширмер и хотел бы со мной поговорить. Начался разговор. Ширмер поинтересовался, как я живу и нет ли у меня каких-либо неприятностей. Я ответил, что живу хорошо, работой доволен, но вот одно обстоятельство отравляет жизнь — секретарь райкома партии мешает моему свиданию с матерью, которую я не видел почти сорок лет. Ширмер улыбнулся и сказал:

— Знаешь, у меня есть в Праге друг — министр иностранных дел Вацлав Давид, — он, кстати, из наших мест. Завтра же я переговорю с ним по телефону, и ты получишь разрешение на поездку в Союз...

Я был ошеломлен. Но на другой же день утром телефонный звонок:

— Доктор, товарищ Ширмер извиняется, что не может переговорить с вами лично. Он срочно выехал и просил передать вам, что разговор с министром Давидом окончился благополучно. Вы просто

формально должны подать прошение в ЦК партии в Прагу и вам дадут разрешение на поездку в СССР к вашей матери.

Ситуация менялась. Я сейчас же послал прошение и дней через десять получил положительный ответ.

Начались сборы, лихорадочные и очень беспокойные. Шутка ли — столько лет не был на родной земле. Ехать одному не хотелось. Жену что-то задержало дома, Юра уже работал в Словакии. Оставался один Алешка, пятнадцатилетний парнишка, которого я решил взять с собой, чтобы показать ему нашу настоящую Родину. Как это часто бывает при путешествиях, вышла какая-то заминка с билетами. Я нервничал, телефонировал, ездил, писал во все инстанции, и вот, наконец, и паспорт, и драгоценный билет в руках.

...Собираясь в Союз, я ожидал увидеть массу руин, пепелищ и обгорелых зданий. Ехал сюда, как на дорогое кладбище. Но — чудо! — за всю дорогу я не увидел ни одного обгорелого кирпича, ни одного разбитого здания. В разительном солнечном блеске все стояло новенькое, красивое, утопающее в буйной зелени. Было над чем задуматься! Что же это за народ, который, потеряв более 20 миллионов жизней, снова воскресил свою великую во всех отношениях Родину?..

Наконец, после долгого пути, поезд мягко пристал на невзрачном вокзале Новороссийска. С жадностью вглядываюсь в черты незнакомого мне города, где в марте 1920-го нашла себе могилу Добровольческая армия. На перроне мало людей — город, по-видимому, мало посещается туристами. Зорко всматриваюсь и ищу кого-нибудь из своих. Вдруг взгляд останавливается на знакомой по фотографиям фигуре. Это сестра Анфиса, которую я оставил когда-то девятнадцатилетней девушкой. Ее бы я вряд ли узнал: на перроне стояла хотя и не дряхлая, но все же шестидесятилетняя женщина и близорукими глазами искала меня. С сестрой была ее подруга, она помогла нам сложить вещи в такси, и мы покатили к дому, где меня ждала мать...

Квартира на втором этаже. Обгоняя сестру, нетерпеливо звоню. Сжавшись в комок, жду и вот слышу за дверью неторопливые шаги. В приоткрытую дверь вижу лицо нестеровской монашенки — строгое, сухое. Темные внимательные глаза без улыбки упорно смотрят на меня. И только одна фраза:

— Где же вы так задержались? Я ведь вас давно жду с обедом...

И ни слова больше, только сухой и короткий поцелуй. Ни истерик, ни выкриков, ни судорожных объятий. А оба мы крепко любим друг друга...

Сразу же замечаю, что я — весь в прошлом. А все мои — только в настоящем. О прошлом не хотят говорить... У всех же нас, вместе взятых, нет будущего, ибо жизнь уже прошла и ничего впереди. Мы прожили совершенно разную жизнь и не понимаем друг друга. Затяжная разлука рвет даже родственные, кровные связи. Правда, сестра тоже отчасти в прошлом, но только одним кусочком. В

первый день войны она потеряла единственного сына. У нее до трехсот его писем, и она живет ими. Другое ее не интересует.

Как-то сестра попросила меня сходить на городской рынок за рыбой. Пошли с Алешей. Для нас тут все ново. Вот взгляд скользнул по необыкновенному ларьку, где продавали мясо, прошу Алешку встать напротив и делаю несколько снимков. Бродим по базару. На душе легко, радостно... Вдруг чувствую, как кто-то берет меня за локоть. Оглядываюсь, а за моей спиной стоит милиционер и твердо предлагает следовать куда-то:

— Идите за мной, гражданин...

— Куда? — холодея, спрашиваю я.

Милиционер строго заявляет, что мы задержаны, понимай — арестованы, и ведет нас через весь рынок к какому-то сарайчику. Здесь, вероятно, канцелярия милиции: столик, телефон, два стула. На стене трафаретные плакаты с изображением вождей. На меня смотрят иронический Булганин и плутоватый Никита Хрущев. Спрашиваю милиционера, за что нас задержали. Лейтенант отвечает вопросом:

— Почему вы, гражданин, фотографировали ларек?

— Как почему? Интересно! Разве это военный объект или предмет пограничной полосы? Я турист, приехал сюда отдыхать. А тут какой-то паршивый ларек с мясом и, пожалуйте, мы — арестованы...

Офицер милиции слушает меня внимательно — он впервые видит иностранца и насторожен. Он звонит высокому начальству:

— Товарищ капитан, я задержал двух чехословаков. За что?.. За... что с ними делать?

Ответа человека, находящегося на другом конце провода, не слышно, но нас тут же отпускают. Тогда я спрашиваю милиционера:

— А вы, лейтенант, вероятно, ходили за нами по пятам, когда мы пришли на рынок?

— С чего вы взяли? Просто ко мне прибежали несколько граждан и сообщили, что иностранцы снимают рынок. Знаете ли, у нас строгая бдительность всего населения...

«Ну и страна, ну и граждане! — подумал я. — С такими не пропадешь!» Подняв аппарат, направил, было, его на собеседника, сказал:

— Разрешите, товарищ лейтенант, на память?.. За вашу бдительность...

Но тут офицер милиции поспешно закрыл лицо руками и с ужасом закричал:

— Нельзя! Нельзя!.. Вы с ума сошли?..

Я опустил аппарат и, прощаясь, поинтересовался не без иронии:

— Скажите, по совести, просто, как человек человеку, неофициально: могу я вообще в Союзе фотографировать?

— Лучше не снимайте. Это вернее!

— Нет, все-таки буду снимать, — сказал я, и мы покинули сарай, получив таким образом с сыном боевое крещение в кутузке советской милиции.

Из Новороссийска мы съездили пароходом в Сочи — навестить мою младшую сестру Катю, которая 14 лет провела в концентрационном лагере в Сибири, за Полярным кругом. Мне до сих пор неясно, за что она сидела. Позже Катя была реабилитирована, даже получила от правительства 120 рублей вознаграждения за напрасно проведенные ею в условиях сибирской каторги 14 лет. Признаться, привела в недоумение ее незлобивость по отношению к такому правительству. Я не могу забыть, как она едва ли не восторгалась:

— Смотри, нас не только восстановили во всех правах, но еще и по сто двадцать рублей дали! Я за них часы купила и даже плащ...

Терпелив, незлобив русский человек. Поистине, пути Господни неисповедимы, и непонятны все сложные изгибы души человеческой...

Времени свободного в моем отпуске оставалось много, чем-то его надо было занять, и вот, как пришло в голову — не знаю, но я решил съездить в Вешенскую к Михаилу Александровичу Шолохову.

Звоню. Отозвалась жена Шолохова Мария Петровна, которую я попросил позвать к телефону Михаила Александровича. И вот слышу отдаленный голос:

— Кто у телефона? Говоришь, казак из Чехословакии? Ну да, конечно, приезжай! О чем разговор — приезжай!

И вот, благодаря отменной любезности начальника Новороссийской станции, мы с сыном летим пассажирским поездом в сторону тихого Дона...

В окне бегут ровные, как стол, кубанские степи. Поезд пересекает реку Кубань, мелькает преддверие Ростова, утопающий в зелени Батайск — и мы на границе донской земли. Жирный чернозем вплотную подступает к полотну железной дороги, у Аксая мелькает широкая водная гладь Дона, издали встает серебряный купол войскового собора на Новочеркасской горе... Тут под водительством Подтелкова зарождалась советская власть на Дону. Проскакиваем Глубокую — здесь был ликвидирован отряд легендарного белого партизана Чернецова... Но вот и глухой степной поселок Миллерово. Пора выходить. Дальнейший путь предстоит продолжать в автобусе.

Случайный попутчик, возвращающийся из коммерческой поездки в Ростов — груши продавал, сокрушенно пожимает плечами и говорит, что после обеда автобусы на Вешенскую уже не идут. Простояв часа полтора на пыльном перекрестке с надеждой доехать на попутной машине, возвращаемся на станцию. Там, к нашей радости, видим маленький синий автобусик, переполненный людьми. Табличка объясняет — направление на Базковскую, это в трех километрах от Вешек. Но как попасть в желанную посуду? Обращаюсь к старшему диспетчеру, объясняю, мол, мы из Чехословакии, едем к Шолохову. Парень тут же высаживает из автобуса двух местных граждан, уговаривает их отложить поездку на завтра, и мы с Алешкой водворяемся на первые места. В Ольховом Роге остановка, чтобы утолить жажду, так как жара нестерпима и суховей буквально высушивает слизистую рта и носа до такой степени, что перестаем чувствовать нежнейшие ароматы.

...Пылит дорога, горизонт бесконечен, солнце быстро катится к западу, и вот в розовых сумерках мы въезжаем в хутор Базковский, теперь переименованный в станицу. До Дона талями, по песчаным кучугурам — не менее трех километров. Вешенская — на другой стороне реки. К счастью, в Вешенскую направляется несколько попутчиков, и мы уговариваем упрямого шофера довезти нас до переправы.

Южная теплая ночь горит изумительно крупными звездами. Чувствуется близость большой реки, и на другом, высоком берегу блестят одинокие огоньки казачьих куреней.

— А во-о-он там, на бугре, дом Шолохова. Смотрите, в нижнем этаже еще светится, — говорит наш новый знакомый, политработник, едущий по делам в Вешки.

Ночью ждать парома долго. Но вот из темноты выныривает перевозчик и предлагает переправиться на баркасе. Устраиваемся на среднюю скамью. Напротив — две пожилые казачки с узлами и сумками. Опустив через борт руку в священную для меня воду батюшки-Дона, пропускаю ее между пальцами, мочу разгоряченный лоб и пью ее, крестясь, как причастие. Старуха-казачка, подавая мне эмалированную дорожную кружку, приговаривает:

— Пейте, пейте донскую водицу — она сладкая, легкая... Из нашего кормильца-Дона...

Но вот баркас мягко зашуршал у прибрежной гальки — и мы под крутым яром, на котором в еле видной синеве маячит старинная церковь. Поднимаемся по песчаному спуску к станице, подходим к так называемому Дому колхозника — это небольшая гостиница, помещенная в одноэтажном казачьем курене. В слабо освещенной передней нас встречает пожилая женщина в белом, по-казачьи повязанном платке. Это — заведующая гостиницей. Узнав от нашего спутника, что мы из Праги, вводит нас в небольшую комнату с двумя кроватями, этажеркой, телефоном и керосиновой лампой на лежанке печки. Спрашиваю:

— Можно соединиться с квартирой Шолохова?

— Пожалуйста, поднимите трубку и попросите соединить с Михаилом Александровичем.

Через минуту голос:

— Квартира Шолохова. Кто говорит?

Рекомендуюсь и через минуту слышу:

— Это ты земляк из Чехословакии? Ты что же это так поздно? Ты клетский? Что же это ты за сорок лет не научился по новой орфографии писать?

Боже мой, Шолохов.

— Негде было научиться, Михаил Александрович! — отвечаю. — Думаю, что лучше грамотно писать по старой, чем безграмотно по новой.

— Ты где учился-то? В Усть-Медведице? Эх вы... казаки и евреи всегда космополиты...

— Но почему же, Михаил Александрович? — спрашиваю, удивленный.

— Да так уж... Ты где?

— В Доме колхозника.

— Так вот, завтра в полдевятого ко мне. По-казачьему получишь яичницу и прочее. Придешь завтракать! Ты с сыном? Ну, вот и хорошо!..

Ночь. Сон, как водой, смыло. За окном где-то совсем близко, надсадно стрекочут кузнечики — веселые музыканты степи; вдали чувствуется ток изумительно близкой сердцу реки. Дон... Земля донская... Не осилив всей сложности переживаний, чувствую, как по щекам стекают соленые слезы, слезы терпкой любви к навсегда покинутому дому. Господи! Как хорошо вокруг и как тяжело на душе...

Часов в пять глянул в окно и ахнул — напротив плетень, баз и милая глазу соломенная крыша, складной желто-серой шапкой нависшая над деревянным крыльцом донского куреня. Надрывно ревет корова, чующая близость попаса, во дворе деловито расхаживают куры, но на улице пока ни души. Бужу Алешку, и с Иваном Кузьменко, нашим новым знакомым, спускаемся по крутому песчаному спуску к Дону, прямо под домом Шолохова. На ясной глади широкой реки дымится испарина. Тишина. На стремени Дона несколько рыбачьих лодок, справа у переправы небольшой черный буксирик. Вода теплая, но утренний ветерок рябит гладь, нагоняет мурашки на обнаженное тело. Хорошо!..

Бодрые возвращаемся в гостиницу. Уже около восьми утра. Переодевшись, идем к дому писателя. Дом Шолохова огорожен зеленым дощатым забором, где поставленные в тесный притык доски не позволяют видеть, что делается во дворе. У калитки несколько человек штатских. Я заявляю молодцу лет двадцати пяти, вероятно садовнику или слуге, что мы из Чехословакии и просим сообщить о нас Михаилу Александровичу.

— Я знаю, — говорит он, — но Михаил Александрович только в четыре утра вернулся с охоты и сейчас спит. Подождите, я спрошу хозяйку, когда вам прийти.

Время пробежало быстро — и мы снова у калитки писателя. Перед входом тот же слуга останавливает нас и говорит:

— Хозяин хочет встретить вас по-казачьи, перед домом! — и исчезает в небольшой двери в темном просвете входа. А через минуту слышатся быстрые легкие шаги и, вытянув вперед для приветствия обе руки, к нам выходит человек ниже среднего роста, с редкими светлыми пучками волос над высоченным лбом.

— Здравствуйте! Так вот вы какие... — говорит, крепко обнимая и троекратно целуя меня и Алешу, сам Михаил Шолохов... Замечаю коротко остриженные, чуть подернутые сединой усы, редко поставленные, прокуренные желто-серые зубы. Шолохов в просторных штанах, в трикотажной рубахе с короткими рукавами. Говорит быстро, резко размахивая правой рукой, и все время улыбается. Поражают светло-голубые, все видящие, внимательные глаза.

Несмотря на вчерашнее «ты» по телефону, сейчас, видя меня с бородой, Михаил Александрович обращается уже на «вы»:

— Это что же вы пишете: в конце сентября домой еду? Это, где же дом-то, а?

— В Чехословакии, Михаил Александрович!

— Ай, ай, ай! Да разве же так можно? Дом-то тут, на Дону!

— Этот вопрос довольно сложный. Сорок лет не смахнешь со счетов, — говорю я, направляясь за Шолоховым, который вводит нас в свой рабочий кабинет.

Алеша с фото- и киноаппаратами устраивается на кушетке. Разговор вертится вокруг моей биографии. Но вдруг Михаил Александрович обрывает беседу:

— Да, что же это я? Соловья-то баснями не кормят. Нужно сообразить завтрак... Я сейчас!

Алешка щелкает фотоаппаратом, но Шолохов быстро уходит в соседнюю столовую, откуда возвращается с супругой Марией Петровной.

— Так вот смотри, казаки из Чехословакии... Знакомься! — представляет нас Михаил Александрович своей жене. Целую ее руку, и мы входим за хозяйкой в большую светлую столовую. Вдоль, во всю комнату, стол, уставленный бутылками, закусками и всякой снедью. В глаза бросается горка красных помидоров, шампанское и небольшой граненый графин со «Столичной». На стене у входной двери «Лес» Шишкина, рядом большие стоячие часы с маятником. Ковров нет. Над столом висячая лампа с абажуром. Садимся, и я обращаюсь к хозяину:

— Михаил Александрович, скоро «Поднятую целину» закончите?

— Да, думаю, что к концу года будет готова, — отвечает Шолохов и сам спрашивает: — Ну, как там казаки?

— Много нас там было... Собирались, пели казачьи песни, о Доне думали... Многое передумали...

— А что же это Глазков и Поляков так меня разделывают? Какой это, мол, Шолохов — тот, что продразверстками занимался, когда Дон кровью харкал? А не знают, как я много для казаков сделал. Помню, после гражданской был я как-то у Горького, встретился там со Сталиным. Говорю ему: «Что же это вы, Иосиф Виссарионович, казаков-то ни в авиацию, ни в технические части не пускаете? Ведь народ-то — хоть гвозди из него делай, толковый...» Сталин соглашается: «А ведь это правда! Есть у вас завтра время? Зайдите к Клименту Ефремовичу. Я с ним сейчас по телефону переговорю». На другой день я зашел к Ворошилову и с тех пор наши казаки всюду были. Да... Я ведь казачий националист...

Закуски сменяются одна за другой. Подают битки, цыплят, скворчащую жареную картошку, помидоры каждый режет по своему вкусу. Пьем водку, вино. Шолохов много курит. Постоянно подливая «Столичную», говорит он быстро, не успевая выбросить всю массу накопленного им в скупых отточенных фразах. Речь полна юмора, а глаза лучатся в лукавой подкупающей усмешке.

— Михаил Александрович, а у нас думают, что вы много пишете, — говорю я, — но почему-то не печатаете...

Шолохов, не отвечая, поднимает рюмку на уровень глаз, смотрит на замысловатый рисунок стекла и; по-видимому, желая переменить разговор, бросает:

— Давайте выпьем! За здоровье!..

Из соседней комнаты выбегает девчурка лет пяти с темными, как сливы, косо поставленными глазами. За нею входит Светлана, старшая дочь писателя. Она приехала в гости к отцу с Камчатки, где ее муж, Александр Турков, служит во флоте. Еще входит девушка лет двадцати, знакомая мне по фотографиям из чешских журналов. Это младшая дочь писателя Машенька.

— Знакомьтесь, — представляет Шолохов. — На этой неделе успела замуж выскочить...

Машенька с сестрой садятся на широкий диван у стола, и я предлагаю послушать кое-что из своих стихов о Родине.

Шолохов слушает внимательно, спрашивает о матери, о том, как я уехал из России, где мыкал горе по чужим странам... И я рассказываю ему о перипетиях моей мозаичной жизни, о казаках, оторванных от родных степей тихого Дона, о том, как мы постепенно вымираем в чужих краях...

— Вы не были в Чехословакии? — спрашиваю потом Михаила Александровича.

— Нет, но хотел бы увидеть эту чудесную страну — уж больно вы ее хвалите!

— Если приедете в Чехию, то обязательно к нам, в желивский курень, милости просим, — понемногу завершаю я удивительную встречу с великим русским писателем. Кажется, только что пришли, а оказывается, просидели и проговорили почти шесть часов! Но Шолохов категорически заявляет:

— Я никуда не отпущу вас, пока не накормлю настоящей стерляжьей ухой у Дона...

— Но мы же завтра утром уезжаем, Михаил Александрович. Автобус идет в восемь утра, — пытаюсь сопротивляться.

— Нет! Завтра Алеша пойдет на охоту на перепелов, а мы с вами нынче закатимся к Дону на рыбалку, на ночь! Как же это так — быть у меня и не отведать донской ухи? Это уж, извините, не пойдет! — настаивает гостеприимный хозяин. — Я же говорил вам, что я казачий патриот и свято блюду все наши обычаи. Ничего не поделаешь, да...

Пораженный неожиданным и безусловно приятным для меня предложением, соглашаюсь и спрашиваю:

— А когда же нам прийти, Михаил Александрович, и куда?

— Никуда далеко не уходите. Ступайте отдохнуть и ждите. В семь вечера за вами заедут машины — и айда!..

... Еще ни один рыбак, пожалуй, не выразил всех своих восторгов по поводу уловов, удивительных приключений на рыбалке у реки, и я не буду пытаться передать свое тогдашнее состояние. Одно то, что я встретился с родимым Доном, что судьбе угодно было сблизить меня с Шолоховым, — разве этого мало?..

Михаил Александрович побеспокоился потом, чтобы меня провезли машиной в родную станицу. В Усть-Медведице я побывал у моей 90-летней тетки Клавдии, которая с 1918-го ждала своего единственного сына, работающего шофером такси в Париже. Его в Союз не пускало советское консульство.

А мы с Алешкой простились с Вешенской и, уже на больших скоростях пробежав достопримечательные места Москвы, Ленинграда, Киева, пересекли пограничный Чоп и оказались дома.

Конечно, самым ярким впечатлением от поездки осталась встреча с Шолоховым. Я буквально жил ею — рассказывал о писателе знакомым казакам, писал Михаилу Александровичу письма, не надеясь получить на них ответ. До меня ли ему, когда ежедневно приносили на стол не менее пятидесяти писем со всех концов мира. Но вот в январе 58-го приходит письмо, где обратный адрес указан одним словом — «Вешки»... Это была весточка от Шолохова. Михаил Александрович писал:

«Дорогой Николай Андреевич!

Добро вам — закоренелому домоседу — судить и осуждать меня за молчание. А каково мне, бедному, ежели весь год живу на колесах? После вашего отъезда — поездка в Москву и длительное пребывание там, затем повторно Ростов, Сталинград, Куйбышев, потом на три недели Крым, потом почти на три месяца Западный Казахстан (охота), следом — месяц в Москве, и вот только что добрался до дома и... около тысячи шестисот писем и рукописей на столе. Каково? Это надо понимать и сочувствовать человеку, а не судить строго.

Но если говорить серьезно, я с ужасом думаю: когда же я возьмусь за перо как писатель? Ведь большинство писем это не «здорово да прощай», а просьбы заключенных, молодых писателей, обиженных местными властями, словом, такие письма, по которым надо действовать немедленно и промолчать нельзя. Надеюсь, вы это понимаете, милый доктор? Не обижайтесь и впредь, если буду неаккуратным корреспондентом.

Что касается Пузикова и Спиридона, то от них вы вообще едва ли дождетесь ответа... Первый, как и всякий председатель РИКа, занят с утра до ночи, а Спиридон даже родной жене за четыре года войны ни одного письма не написал из-за великой нелюбви к этому делу. После демобилизации он оправдывался перед женой (он ее называет — «моя Ехимовна») так: «А чего бы я тебе писал? Раз не получала из военкомата извещение о моей погибели, значит, я живой»...

Берите летом жену и Алешу и приезжайте на тихий Дон рыбачить. Жизнь в Вешках недорога, сымете комнату, и перед вами — Дон со всеми его прелестями. Купите и освойте спиннинг, пригодится! Ей-богу, советую! Желаю вам здоровья и бодрости. Сердечный привет вашей супруге и Алеше. Мария Петровна кланяется.

Ваш М.Шолохов

22.1.58.
Вешки

Мой приезд в Чехословакию, возможно, состоится в мае этого года. Когда прояснится у меня с работой, махну на вашу вторую родину. Вас извещу заблаговременно.

М.Ш.»

Надвигалась чахлая чешская весна. Первого апреля — время шуток, обманов, почти всегда милых и невинных, — держи ухо востро: надуют, а потом долго будут смеяться над простофилей. Чехи вообще большие шутники, любят юмор, понимают его. Жена, замещая в местной школе учителя русского языка, пришла из школы и радостно сообщила:

— А ты знаешь, Шолохов в Праге! То есть не в Праге, а в Чехословакии...

На мой недоуменный вопрос, откуда это у нее, Оля спокойно ответила:

— Да в школе новая учительница и другие говорили, что он приехал сюда: вчера по радио сообщали.

Я замер от радости, но тут же вспомнил:

— Оля! Да сегодня же первое апреля! Ну, конечно же, они тебя разыграли...

Но вот вечером нахожу в «Свободном слове» сообщение о приезде и портрет Михаила Александровича. Он тут на короткое время. Мария Петровна в Карловых Варах... Тут же решено: завтра в пять часов утра едем в Карловы Вары. Беру пятидневный отпуск. Срочно телеграфирую: «Писателю Шолохову, гостиница «Империал», Карловы Вары. Дорогой Михаил Александрович. Завтра третьего апреля приеду к вам с женой. Прошу принять. Николай Келин из Желива, клетский казак».

В Карловых Варах всей семьей мы были около полудня. Но там с огорчением узнаю, что Шолохов неожиданно выехал еще вчера в десять утра.

— Как? Но я же ему послал телеграмму!

— Да, она пришла час спустя после его отъезда.

— Куда же он выехал?

— Направление не сообщили, — отвечает управляющий гостиницы и показывает книгу посетителей. — Вот смотрите — их было шесть человек и с ними два тайных. Уехали на трех машинах.

Читаю: М.А. Шолохов, М.П. Шолохова, М.М. Митрофанова, В.Г. Митрофанов, М.М. Шолохов, Ф. Пономарев.

— Кто это, этот Митрофанов? — спрашиваю служащего.

— Муж дочери Шолохова.

— А этот Ф.Шахмагонов?..

— Не знаю...

Принимаю решение ехать в Прагу, в посольство. Там размотаем туго затянувшийся клубок.

С трудом удается узнать, что семья Шолохова остановилась в так называемой вилле Конева, или, как ее тут еще называют, Карловарской. В ней останавливаются великие мира сего по возвращении с курорта, ожидая отлета в Москву. Вилла до 1945 года принадлежала какому-то чешскому магнату с немецкой фамилией, а после войны была подарена правительством маршалу И.С. Коневу. Ему она оказалась ненужной, и он, в свою очередь, подарил этот роскошный особняк Центральному Комитету компартии Чехословакии. Там я и встречаюсь с Шолоховым.

— Так вы приехали? Вот хорошо! — обрадовался Михаил Александрович. — А я замотался, спешу. Сейчас опять куда-то увозят. Были с Гришиным у Зденка Неедлого.

— А когда же к нам? — спрашиваю, понимая, что сейчас, в столь неожиданный приезд, это совершенно неисполнимо. — К казакам нужно — вы же наш!

— Да я приехал от казаков — они ведь там, — говорит Шолохов, и я замечаю на нем неважнецкое пальтишко, на шее какой-то полосатый шарфик, в руках — помятую серую шляпу.

— Михаил Александрович, там одни казаки, а тут другие — заграничные. Как они вас ждут!

Шолохов молча улыбается.

— Нет, нет, сейчас и завтра, в субботу, все занято. Езжайте домой. В субботу жду вас здесь в семь вечера, — говорит Шолохов, — посидим, выпьем водки и вдоволь наговоримся...

До субботы останавливаемся у знакомых. Это русско-чешская семья. Он — художник-график, она — сестра знаменитого в свое время основоположника футуризма Давида Бурлюка, того самого, который когда-то посвящал молодого бунтаря Маяковского в тайны непривычной для русского уха скандовки грубого стиха.

Бурлюк живет в Америке. Как-то он навестил меня со своей женой, и я увидел хитрого, прожженного всеми горнилами 70-летнего старика, юркого, суетливого. Глаза у него смеющегося озорного подростка, они обшаривают вас со всех сторон и оценивают быстро и безошибочно во всех измерениях. Бурлюк сидит за столом в столовой и с аппетитом ест гуся. Он все хвалит, всем доволен. «Давид Давидыч, скажите на милость — ну к чему это вы тогда с Маяковским разводили все эти желтые кофты, бубновые валеты и прочую мерехлюндию? Какой смысл был во всем этом?» Бурлюк, дожевывая что-то, вытирает рот салфеткой и, лукаво прищурив смешливые глаза, выпаливает: «Жить-то надо было, Николай Андреевич. Русскому обществу тогда скучно было — вот мы и выдумывали что-нибудь новенькое. Старое-то надоело». Хитрый дядя, думаю, смотря на Бурлюка. Раньше бы он этого не сказал, а теперь, на восьмом десятке, пожалуй, все можно. Бурлюк рассказывает, как они с женой путешествовали по СССР, как были гостями советского правительства. Показываю ему картины, читаю стихи и очерк о Шолохове. Он все хвалит, со всем соглашается. Вообще интересно было посмотреть на этот осколок начала XX столетия, бывшего бунтаря и прожигу. От прежнего Бурлюка не осталось ничего...

Побродив два дня по Праге, в назначенное время мы явились на виллу Конева. В вестибюле нас остановили, и какой-то арапистый мужик, представившийся заместителем посла, заявил, что к Шолохову идти нельзя — его ждут на телестудии.

— Хорошо, мы будем ждать Михаила Александровича здесь, — сказал я. — Мы приглашены. Я должен передать ему вот этот портсигар.

— Знаю, но он не должен вас видеть — мы потом не доставим его на телестудию. А портсигар передайте зятю, секретарю или шоферу.

— Нет! Эту вещь я могу передать только лично. К тому же заявляю, что буду ждать Шолохова здесь хоть на пороге. Приедет же он сюда в конце концов!..

Видя, что мы настроены решительно, заместитель посла Клочко разрешил нам пройти в салон, где мы встретились с Шолоховым два дня назад. Следом за нами вошли Клочко, секретарь Шолохова Федор Федорович Шахмагонов, тип суровый, неприступный и крайне несимпатичный, потом шофер Шолохова Федя Пономарев и Володя Митрофанов, зять писателя. Шахмагонов недружелюбно посмотрел на меня и закурил папиросу.

— Как же, я вас знаю — вы Келин. Это вы в вашем последнем письме писали, что пили воду из Дона, как причастие... Как же, читал... — затягиваясь дымом и исподлобья поглядывая на меня, заговорил этот человек, не знаю, каким путем попавший к Шолохову. Вид у него был, судя по атлетической фигуре и основательным физическим качествам, далеко не секретарский.

— А я вас не видел в Вешках, Федор Федорович.

— Да я там редко бываю — наездами. Больше живу в Москве.

Ну, думаю, секретарь...

Федя Пономарев все время держался около меня, и я спросил его:

— Федя, вы казак?

— Да, вешенский.

— А эти? — Я показал глазами на Шахмагонова и Клочко. Федя молча отрицательно сделал знак головой — какие, мол, казаки! Клочко тем временем куда-то исчез, потом возвратился и, довольно отдуваясь, заявил:

— Ну, слава Богу, наконец-то Михаил Александрович уехал!

Я вскакиваю и, смотря на него в упор, почти кричу:

— А знаете, Валентин Федосеевич, что это бесчеловечно и гнусно с вашей стороны!

— Да успокойтесь — Шолохов тут не в последний раз. Даю слово казака, что летом привезу его к вам в Желив. А Михаил Александрович *ни о чем не знает. Он даже не подозревал, что вы здесь...*

Прощаясь с Шахмагоновым, я все-таки высказал и ему:

— А вы совершенно бессердечный человек, Федор Федорович. Вы даже представить себе не можете, какую боль вы нам причинили, расстроив сговоренную встречу с Михаилом Александровичем.

— Я привык ко всему, и на меня никакие чувства уже не действуют, — ответил Шахмагонов, мрачно глядя на меня и нетерпеливо ожидая, когда, наконец, мы уйдем...

На вилле гаснут огни. Притихшей ночной Прагой мы выбираемся за город. Отъехав от Праги километров пятьдесят, спрашиваю Олю, куда она дела портфель с моими сокровенными записками, письмами, тетрадями, и холодею, узнав, что в суматохе портфель забыл в вестибюле виллы. А там в одном из писем мой закадычный дружок пишет: «Не удивляйся Шолохову, что не пишет тебе и не кидается тебе на шею. Он сам, бедняга, сидит на кобыле задом наперед и держится за хвост, чтобы не упасть... Пойми это»... И вот портфель с подобными письмами лежит теперь в вилле ЦК партии...

Повернув машину, молча гоню ее обратно. В час ночи подъезжаем к освещенному зданию. Лакей в белом, на нашу просьбу принести забытый портфель, говорит:

— А я его спрятал. Подождите, сейчас принесу. Чешские писатели и журналисты пьют, а я уже три ночи не спал...

В 1960 году, во второй мой приезд в Вешенскую, Михаил Александрович посетовал, что мы не встретились в Праге, и сказал мне, что ничего не знал тогда о нашем визите.

... Моя жизнь уже идет к концу. Уходя с любимой мною земли, оставлю здесь только сумбурные воспоминания да терпкие песни о Родине. Годы ничего не изменили в моем отношении к ней, и я уйду с затаенной мечтой, что настанет время, когда на карте Европы снова загорится неугасимым пламенем дорогое для меня имя — Россия...

НИКОЛАЙ ТОЛСТОЙ

ЖЕРТВЫ ЯЛТЫ

Но раз уж вы сошлись здесь на крови
Дорогами из Англии и Польши,
То прикажите положить тела
Пред всеми на виду и с возвышенья
Я всенародно расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных
Кровавых и безжалостных делах.
Превратностях, убийствах по ошибке,
Наказанном двуличье и к концу —
О кознях пред развязкой, погубивших
Виновников. Вот что я расскажу
Вам полностью.

Вильям Шекспир. Гамлет.
(пер. Б.Пастернака)

ОТ АВТОРА

Прошло уже много лет с тех пор, как миру стало известно, что в 1944—1947 годах западные союзники выдали Сталину два с лишним миллиона русских, большинство которых постигла ужасная участь. Поначалу эти сведения были в основном достоянием эмигрантских кругов, которых непосредственно коснулась эта трагедия; в последние годы появилось несколько работ на английском языке, основанных на тщательном изучении вопроса.

Однако, несмотря на обилие публикаций, многие из которых дают богатую информацию, изученными оказались лишь отдельные аспекты этой истории. Начать с того, что даже самые недавние исследователи не получили доступа к большой части чрезвычайно важного материала. В соответствии с законом о тридцатилетнем сроке давности, государственные документы становятся доступны лишь постепенно, и поэтому до публикации настоящей работы ни один историк не мог воспользоваться документами, появившимися после Потсдамской конференции, с июля 1945 и в 1946 году. Между тем информация, содержащаяся в этих документах, охватывает половину интересующего нас периода, и их значение для понимания всего случившегося —очевидно. До сих пор не были расспрошены многочисленные участники событий, в то время занимавшие ключевые позиции. Их показания должны были во многом изменить прежнюю картину.

Об объеме проделанной работы лучше всего, вероятно, свидетельствует тот факт, что примерно три четверти материалов, использованных в книге «Жертвы Ялты», ранее не появлялись в печати. Обстоятельства, приведшие такое огромное число русских в немецкий плен, насильственные репатриации, проводимые из Норвегии, Северной Африки, Франции, Бельгии, Голландии и нейтральных стран, вопрос о нарушении Англией и Америкой Женевской конвенции, операции, проводимые советскими НКВД и СМЕРШем, судьба русских, возвращенных на родину, —все это впервые подробно описано лишь в этой книге.

Одна из глав посвящена мрачному эпизоду, который, как ни странно, полностью ускользнул от внимания историков. Тысячи беженцев, никогда не живших в Советской России, покинувших свою страну в 1919 году в качестве союзников англичан и американцев и, соответственно, не имевших никакого отношения к Ялтинским соглашениям, были переданы в Австрии СМЕРШу по

договоренности столь секретной, что до сих пор принимаются самые исключительные меры для сокрытия следов этой операции.

История насильственной репатриации остается животрепещущей темой и сегодня. Лорд Эйвон, он же Антони Иден, ответственный за всю эту политику, неоднократно писал мне и пытался оправдать репатриации, отказываясь в то же время отвечать на конкретные вопросы. Только один чиновник министерства иностранных дел, имевший прямое отношение к событиям 1944—1945 годов, согласился поговорить с автором, да и то лишь затем, чтобы объяснить, что именно в этот период у него был приступ амнезии. Остальные отказались давать интервью, и автор лишь позднее узнал формальную причину их молчания: политику определял министр, делом государственных служащих было ее выполнение. Как бы ни относиться к этому аргументу вообще, для темы данной книги он малопригоден. И если до сих пор историки, уделяя основное внимание политическим деятелям и их решениям, почти полностью игнорировали безымянных государственных служащих, теперь необходимо рассказать о том, какой властью обладали эти люди и как они пользовались ею.

В разгар насильственных репатриаций, в июле 1945 года, в Англии проводились всеобщие выборы. Эрнест Бевин сменил Идена на посту министра иностранных дел. Стремясь понять, продолжать ли ему политику Идена, он потребовал подробного отчета о принятых мерах. В отчете говорилось, что «до сих пор насильственные меры» для возвращения русских на родину не применялись. Основываясь на этой лживой информации, Бевин с большой неохотой согласился еще полтора года продолжать ту же политику и вынудил американцев тоже принять ее.

Не случайно эта история так долго оставалась неизвестной западной общественности. А.И. Солженицын даже предположил, что, «поскольку общественное мнение не помешало «операции», не хотело обсуждать эту тему, не просило объяснений... нам кажется, что и на весь английский народ ложится этот грех...»

Вряд ли это справедливо. В 1945 году самое большее несколько сот англичан знали о своем соучастии в преступлении. Один только Джордж Орвелл обвинял прессу в попытке замолчать ужасающие факты. Но его обвинения были гласом вопиющего в пустыне. И сам Орвелл полагал, что это отчасти объясняется «ядовитым влиянием советского мифа на интеллектуальную жизнь Англии», имея в виду распространенное среди английских левых мнение, что сталинская Россия действительно свободное и справедливое государство.

Критика Орвелла несомненно была справедлива. Английские репортеры, по редакторскому ли наущению или без оного, неохотно печатали сообщения, неблагоприятные для советской системы, хотя немногие заходили так далеко, как «либерал» А.Дж. Каммингс, заявивший в своей статье в «Ньюс хроникл» 3 октября 1944 года, что, «за исключением одного-единственного человека, все эти русские... рвутся назад... на родину».

После самоубийства целого ряда русских, содержавшихся в английских лагерях, Патрик Дин, работавший в МИД, писал, что

известия об этих событиях могут «вызвать политические неприятности», и настаивал, чтобы «министерство иностранных дел поговорило с отделом новостей, с целью сделать все возможное во избежание огласки», «которая могла бы помешать нам». Гай Берджесс, разоблаченный впоследствии советский агент, в то время работал в отделе новостей МИД, и легко представить себе, что он не преминул воспользоваться предложением Дина.

Конечно, служащие министерства понимали, что английская общественность будет возражать против применения жестоких мер к русским, не желавшим возвращаться, особенно к многочисленным женщинам и детям. Это откровенно признал другой чиновник МИД, Джон Голсуорси: «Я думаю, что любая огласка советских требований (вернуть пленных)... полезна. Просвещенное общественное мнение может только укрепить нашу позицию в отказе передать этих несчастных советским властям».

Но такая искренность была исключением —и не случайно. МИД в 1944—1945 годах не раз заявлял о том, что меры по репатриации следует тщательно скрывать от английской общественности, иначе разразится «скандал с разговорами о незаконной процедуре, о том, что людей обманом заставляют репатриироваться в СССР и т.д.» Этого надлежало «избежать во что бы то ни стало».

Все это противоречит заверениям тех, кто сейчас ищет оправдания решению МИД. В дебатах на эту тему в палате лордов 17 марта 1976 года лорд Хенки утверждал, что, если бы английское правительство попыталось задержать у себя русских, не желавших возвращаться на родину, на него «обрушился бы неудержимый поток критики», потому что это ставило бы под угрозу возвращение английских военнопленных, освобожденных Красной Армией.

Тут мы подошли к важному пункту. В самом деле, стал бы Сталин рассматривать возможность задержания освобожденных Красной Армией английских и американских военнопленных в качестве заложников, требуя взамен возвращения двух с лишним миллионов советских граждан, находившихся в Западной Европе? Сейчас достаточно сказать одно: никаких доказательств того, что кто-либо из сотрудников МИД в то время опасался такой возможности, нет. Конечно, Сталин проявил бы тогда еще меньше желания сотрудничать с английскими властями в выполнении условий Ялтинского соглашения, но в самом худшем случае англичане, оказавшиеся в руках Красной Армии, вернулись бы домой на несколько недель позже, не сушей — через Германию, а морем —через Одессу...

В книге впервые подробно показано, насколько политика США в этом вопросе отличалась от английской. После того как англичане решили придерживаться принципа насильственной репатриации, Госдепартамент США несколько месяцев тянул с ответом. В конце концов он нехотя сдался. Но американцев так возмутили случаи относительно незначительного кровопролития, произошедшие из-за попыток насильственно репатриировать русских, что правительство США временно отказалось от этой политики. И

только под сильным нажимом Англии сотни русских, служивших в немецкой армии, были возвращены на родину.

Твердая позиция США ни на день не задержала возвращения из СССР ни одного американца, и советские власти ни разу не угрожали им мерами, которых якобы боялись чиновники английского МИД. Английское правительство было полностью информировано об американской позиции и о том, что советские власти не реагировали на нее жестко. Таким образом, никакой нужды рассуждать насчет преимущества альтернативной политики не было: она проводилась тут же, на глазах у англичан.

Истинные причины, лежащие в основе английской и американской политики, станут ясны читателю по мере того, как будет разворачиваться действие. Перед читателем пройдет также страшная драма русских: как попали они в руки к немцам, почему столь многие из них вступили в немецкую армию, чтобы воевать против Сталина, и, самое главное, что происходило во время этих операций по репатриации, которые проводили английские и американские войска, в большинстве своем испытывавшие глубочайшее отвращение к поставленной перед ними задаче. Лорд Бетелл уже воссоздал живую картину таких операций. Но полная история русских военнопленных 1941—1945 годов раскроет масштабы трагедии, вполне сравнимой с судьбой евреев при нацизме — и по количеству вовлеченных в это дело людей, и по глубине страдания.

Жестокая ирония этой русской трагедии заключается в том, что русские в Красной Армии и их противники в основанной немцами «Русской освободительной армии» воевали во многом за один и тот же идеал. Бывший фронтовик Виктор Некрасов недавно объяснил, почему он воевал за советскую власть: «Мы думали, что, положив конец фашистскому рабству, мы и сами спасемся от тирании. Мы надеялись смыть собственной кровью позор предвоенного советско-германского пакта, мы думали, что проклятое прошлое никогда не вернется, и именно благодаря этой надежде я оставался в партии».

Можно спорить о том, была ли такая линия поведения честнее, чем решение соотечественников В. Некрасова, поднявших оружие против сталинской тирании. Но вряд ли мы придем к легкому и однозначному ответу. Только тщательное изучение фактов может помочь нам найти истину и справедливость.

Прежде чем приступить к описанию событий тех дней, позволю себе небольшое личное отступление. Эта тема вызвала мой интерес очень давно, благодаря знакомству с теми, кому удалось избежать смерти в ГУЛаге. Позже я столкнулся с рядом странных совпадений, которые утвердили меня в давнишнем намерении попытаться воздать должное памяти моих соотечественников.

В «Архипелаге ГУЛаг», в главе «Та весна», А. Солженицын поднимает вопрос, ставший темой моей книги. Он пишет о вопиющих дипломатических и военных ошибках, которые привели к тому, что немцы взяли в плен в 1941—1942 годах столько людей, и о той ужасной судьбе, которая постигла пленных, переданных затем Сталину союзниками — Англией и США. «Какой Лев Толстой развернет нам э т о Бородино? » —спрашивает А. Солженицын. К тому времени, как были написаны эти слова, я проделал уже большую исследовательскую работу, и все же —с какой робостью я ощутил вдруг, что должен, что обязан двигаться дальше.

К тому же у меня имелась родственная связь с проблемой насильственной репатриации. Мой знаменитый предок, князь Петр Толстой, в свое время получил от Петра Великого приказ заманить назад в Россию его сына, царевича Алексея. Не в силах сносить вспышки отцовского гнева и военную дисциплину, юный царевич сбежал во владения императора Священной Римской империи. Несмотря на настоятельные просьбы и страшные угрозы, император решительно отказался выдать своего непрошеного гостя навстречу неизвестности. Петру Толстому пришлось самому выслеживать несчастного юношу, скромно жившего с молодой женой в Неаполе. Перемежая лживые обещания страшными угрозами, он наконец уговорил Алексея вернуться к отцу. Несмотря на заверения в том, что его простят и не тронут, юный царевич был убит по приказу царя.

Надеюсь, читатель простит мне, если я расскажу еще и о третьем совпадении. В октябре 1944 года Черчилль и Иден полетели в Москву на совещание со Сталиным. Именно на этой встрече, получившей кодовое название «Толстой», Иден без всяких споров и возражений поспешил пообещать Сталину, что все его подданные будут возвращены независимо от их желания.

А теперь пора перейти к самой истории, которая, по-видимому, являет собой не один только мрачный призрак прошлого. Ее последствия живы и сегодня, особенно в сознании миллионов русских на родине и за рубежом. Совсем недавно, в 1977 году, в Гамбурге был осужден бывший офицер СС. По словам судьи, он, хотя и не участвовал в убийствах евреев непосредственно, «отбирал их для уничтожения, прекрасно зная о том, что их ждет». Политика, в результате которой миллионы простых русских людей были брошены в вагоны для перевозки скота, везшие их на верную смерть, муки и невыносимые лишения, немногим отличается от этой формулировки. Но лишь рассказав правду, можно ответить на обвинение А. Солженицына в адрес английского народа.

В действительности большинство тех немногих, кто был в курсе дела, яростно сопротивлялись тому, что считали несправедливой и неоправданной жестокостью. С английской стороны в числе протестовавших, доходя порой даже до неподчинения приказам, были такие известные деятели, как лорд Селборн, сэр Джеймс Григг, фельдмаршал Александер и генерал Монтгомери. Среди американцев протест был едва ли не единодушен. Оппозицию возглавляли дипломаты — Джозеф К. Грю, Роберт Мёрфи и Александр Кирк и военные —Эйзенхауэр и Беделл Смит.

...Я сделал все, чтобы не пропустить ни одного важного документа, постарался процитировать все необходимые первоисточники. Я надеюсь, что таким образом читатель сможет оценить, кто и в какой степени отвечал за политику насильственных выдач, породившую столь чудовищную череду страданий.

Глава 1

РУССКИЕ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ

В то воскресное утро 22 июня 1941 года юный лейтенант Красной Армии Шалва Яшвили*, служивший в частях, оккупировавших Польшу, рассчитывал лишний часок поваляться в постели. По его собственным словам, был он тогда робким и довольно мягким юношей. Служить ему оставалось всего три месяца, его уже ждали дома, в солнечных горах родной Грузии. Теперь уже, казалось, ничто не может помешать его демобилизации. Правда, инструкторы, приезжавшие в его артиллерийский полк, в последнее время уделяли особое внимание обучению тому, как распознать немецкие танки, полевую артиллерию и другие виды вооружения вермахта. Странная тема для занятий — ведь отношения между третьим рейхом и Советским Союзом вроде бы ничуть не испортились с того момента, как две величайшие державы Европы разделили между собой Польшу.

Накануне Яшвили, отстояв скучное дежурство у полкового склада с боеприпасами, отправился с дружком на традиционные субботние поиски развлечений в соседний белорусский городок Лида, прямо через границу. Они сходили в кино и, вернувшись в казармы — солидные строения времен Николая II, — допоздна болтали. Друг был родом из Бурят-Монголии, и его зачаровывали рассказы Яшвили о гористой, улыбчивой земле Грузии, так непохожей на тусклую ветреную степь в его родных краях. Особенно нравились ему душистые апельсины, которые Яшвили присылали из дому, и он никак не мог поверить в существование земли, где любой прохожий может запросто срывать такие яблоки.

Но отоспаться молодому человеку не удалось. К вящему неудовольствию Яшвили, его поднял на ноги совершенно неожиданный сигнал тревоги. Было шесть часов утра, только что рассвело. Пытаясь собраться с мыслями, Яшвили на ходу натянул на себя форму. Но не успели заспанные и недовольные солдаты выбежать из казармы, как дежурный офицер сказал им, что тревога ложная и они могут идти досыпать.

* Автор не указывает настоящую фамилию своего информатора. В остальном все подробности рассказа «Яшвили» воспроизведены полностью.

Ворча на бессердечность начальства, солдаты вернулись к своим койкам. Но и на сей раз им не пришлось толком поспать. Через два часа отдаленный взрыв потряс окна казарм, снова загудел сигнал тревоги. Поспешно одевшись, артиллеристы помчались на городскую площадь. Туда со всех концов города спешили офицеры и солдаты. Все были возбуждены, задавали вопросы, что-то кричали.

Кто-то горячо объяснял, что десять минут назад самолеты бомбили и обстреливали городские кварталы. Несколько домов разрушено, есть жертвы. Другие уверяли, что это не может быть нападение, наверное, просто маневры. Яшвили вскоре решил, что все же это не маневры, особенно когда выяснилось, что самолеты сбросили несколько бомб на железнодорожную станцию, уничтожив изрядное количество орудий и танков, боеприпасы и цистерны с бензином, стоявшие на платформах. Однако никаких приказов все еще не поступало. В толпе царило смятение. Группы солдат кружили по площади, и только в 10 часов кто-то решил, что пора заняться делом.

Разрозненные взводы, собравшись вместе, двинулись в открытое поле, окружая город. К роте Яшвили, стоявшей в ожидании приказов, подошел какой-то офицер и осведомился, нет ли среди присутствующих человека, умеющего обращаться с четырехствольным противовоздушным орудием. Выступивший вперед Яшвили тут же получил приказ следовать всей ротой, захватив четыре таких орудия, на защиту соседнего аэродрома от возможных атак парашютистов. Ему дали трехтонку для перевозки орудий, и часов в 6 вечера они отправились к аэродрому.

Яшвили пока еще не видел никаких признаков войны — если это была война. Но во время растянувшегося на полдня ожидания приказов он понял, что, сам того не зная, уже однажды был близок к смерти. Полевой склад боеприпасов, который он охранял накануне, находился километрах в пяти от города. На рассвете, едва забрезжило, неведомо откуда появившиеся в небе бомбардировщики сбросили в этом районе несколько бомб. Склады взорвались, 22 человека из охранявшей их роты погибли. «Операция Барбаросса», немецкое вторжение в СССР, началась. Грузовик ехал в темноте без огней, в основном — на первой скорости. Два-три раза они оказывались в канаве. До аэродрома добрались только на рассвете следующего дня. Встретивший их майор приказал занять позицию в окрестных лесах. Яшвили и его солдаты — 24 человека, считая шофера, расставили орудия и стали ждать.

Занялся новый день, ничто, казалось, не нарушало спокойствия полей и лесов. Солдаты расстегнули гимнастерки, решили немного отдохнуть. Поблизости виднелось какое-то строение, и Яшвили, взяв с собой несколько солдат, отправился туда на разведку. Это была кухня расположенного по соседству лагеря, и оказавшаяся там польская девушка предложила солдатам перекусить. Они пошли за ней к большому складу. Он был заперт, но девушка сумела отпереть дверь. Войдя внутрь, солдаты попали в настоящую пещеру сорока разбойников из сказки об Али-Бабе: с потолка свисали связки колбас, на полу громоздились гигантские окорока, шматы сала, корзины с бутылями водки. При виде такого изобилия

у солдат слюнки потекли, но мысль о наказаниях за хищение государственной собственности удержала их.

Девушка стала уверять, что ничего им не будет. От нее солдаты узнали кое-какие подробности. Заключенных лагеря каждый день возили на принудительные работы на аэродром. Как только известие о немецком вторжении подтвердилось, все исчезли — и охрана, и заключенные. Куда они подевались — неизвестно, но вряд ли они появятся тут вскорости. Что до складских сокровищ, то это запасы для столовой охранников-энкаведешников. Как и положено авангарду стражей революции, они себя не обделяют. После этого рассказа солдаты целый час кряду набивали животы и грузовик невиданными яствами. В тот день они не позаботились послать на аэродром за пайками.

День прошел тихо, в полном безделье, но ночью события приняли весьма неожиданный оборот. Связной майора, который должен был обходить внешние посты, не явился. Выждав немного, Яшвили послал солдата к лейтенанту, командиру соседней с ними роты. Солдат вернулся, обескураженно скребя в затылке, и доложил, что там никого нет. Тогда Яшвили отправил связного к майору, но и связной принес то же известие: майор и все прочие пропали! Все куда-то испарились, бросив роту из 24 солдат с грузовиком на произвол судьбы.

Оставалось одно: попытаться вернуться в полк. Погрузившись, они отправились назад, в город. Здесь царил хаос, улицы и площадь были забиты отступающими войсками. Пробиваясь сквозь толпу, потерявшаяся рота добралась сначала до штаба полка. И снова неудача: на месте дома чернели развалины — прямое попадание немецкой бомбы. Тут уж молодой грузин решил, что пора присоединиться к бегущей толпе, устремившейся на восток, в Россию, другого выхода нет.

Выехав в предвечерний час из города, они остановились на ночлег в доме ворчливого польского крестьянина. Яшвили выставил часового у главной дороги на случай, если мимо будут проходить части их полка. Не успели солдаты расположиться на ночлег, как примчался часовой: он только что остановил на дороге капитана из их полка. Вышедшему из дома Яшвили капитан сказал, что его батарея движется по направлению к фронту, чтобы защищать дорогу. Яшвили с солдатами должен следовать за ним и присоединиться к остаткам полка.

Проведя всю ночь в пути, они обнаружили наутро свой полк, стоявший лагерем в лесу. Там они узнали, что офицер батареи, в которую входил Яшвили, убит, а сама батарея уничтожена. Впрочем, такие новости уже никого не удивляли. Было ясно, что на этом участке фронта царит хаос.

В полдень Яшвили получил приказ присоединиться к полковому конвою с боеприпасами. Конвой состоял из 60 грузовиков под командой капитана. Солдатам по карте показали место назначения, не дав никаких объяснений или альтернативных приказов. Но, по крайней мере, они снова были частью цельной армейской структуры.

Несколько километров они тряслись по лесной дороге. Вдруг передний грузовик затормозил и вся колонна остановилась. Яшвили, примерно двадцатый в колонне, высунулся из окошка и увидел, что с капитаном беседуют два старших офицера. У одного на воротнике были красно-черные петлицы генерала Генерального штаба, второй был полевым генералом. После короткого разговора капитан выпрыгнул из своего грузовика и пересел в следующий. Генералы сели в ведущий грузовик, и процессия двинулась дальше, чтобы вскоре остановиться вновь.

Капитан сказал подчиненным, что они могут немного отдохнуть, и пошел к Яшвили. Оказалось, капитану здорово влетело от генералов за то, что он едет днем. «Ты что, дурак, совсем спятил? — кричали они. —Не соображаешь, что будет, если тебя засекут немецкие самолеты! Пораскинь мозгами, если можешь, и отныне хоронись днем под деревьями, а передвигайся только ночью».

Бедный служака, не посмев сослаться на имеющийся у него приказ, бросился выполнять новый. Когда стемнело, придирчивые генералы вновь заняли место в ведущем грузовике, задавая колонне направление. Шоферам эта поездка изрядно потрепала нервы: зажигать фары было запрещено. Кроме того, ведущие машины двигались самым странным образом, то и дело неожиданно останавливаясь, — наверное, чтобы не наткнуться на невидимые препятствия. Шофер видел лишь внезапное мигание тормозного сигнала на переднем грузовике. При таком способе передвижения они проехали за ночь всего несколько километров. Разумеется, не обошлось без аварий. На советских военных грузовиках радиаторы расположены прямо перед капотом, так что малейшее столкновение с бампером переднего грузовика почти неизбежно кончалось повреждением радиатора, и грузовик выходил из строя. Поврежденные машины приходилось оттаскивать в сторону, в канаву. К утру от шестидесяти грузовиков, вышедших накануне в путь, осталось всего двенадцать. Но генералы воздержались от комментариев по этому поводу. По их словам, до полевого склада с боеприпасами оставалось всего несколько километров. Они дали капитану документы, уполномочивавшие его захватить в полк столько снарядов, сколько он сможет увезти. Затем генералы уехали, снова строго-настрого приказав не трогаться в путь, пока не стемнеет. Вечером капитан, собрав остатки колонны, медленно и осторожно двинулся по указанной ему дороге. Хотя расстояние было небольшим, места назначения они достигли только наутро. Но склада боеприпасов они не обнаружили: он был уничтожен самолетами врага.

Тут два молодых офицера начали смекать, что к чему. «Генералы» на самом деле были немецкими агентами, и им удалось дня на три лишить артиллерийский полк Красной Армии жизненно необходимых боеприпасов, а заодно вывести из строя 48 грузовиков. Если представить себе, что в других местах эти изобретательные агенты добиваются хотя бы десятой доли сегодняшнего успеха, то одних их усилий вполне достаточно для того, чтобы посеять хаос и панику в рядах всей армии.

Успеху лжегенералов способствовали два обстоятельства. Во-первых, как подчеркивает Яшвили, «в Красной Армии приказы не обсуждают, их выполняют». Во-вторых, переодетые генералы прекрасно говорили по-русски и держались большими начальниками — то есть именно так, как, на взгляд красноармейцев, подобает генералам. Как это ни парадоксально, но эти лжегенералы, скорее всего, были и в самом деле русскими, и даже, вполне возможно, настоящими генералами. Отдел контрразведки вермахта, абвер, организовал специальные оперативные группы для действий за линией фронта. Сотрудники этих групп набирались среди белоэмигрантов и говорящих по-русски прибалтийцев, поляков и украинцев, им выдавали безупречно сшитую советскую форму, так что у них были все основания добиваться небывалых для разведки успехов.

Молодые офицеры вернулись в полк с оставшимися грузовиками (96 шоферов и сменщиков, у которых сломались машины, теперь были просто пассажирами). Полковник, узнав, что он не только не получил долгожданных снарядов, но еще к тому же лишился большей части своих драгоценных грузовиков, пришел в ярость. Однако делать было нечего, и когда вскоре немцы перешли в наступление, артиллерийскому полку, не имевшему снарядов, оставалось лишь отступать. На шоссе их постоянно обстреливали с воздуха, пришлось медленно продвигаться через леса. Но здешняя почва не выдерживала тяжести 122-миллиметровых орудий, так что было приказано бросить их. Окончательно деморализованные остатки полка объединились с другими частями, образовалась весьма оборванная дивизия выживших. До них дошло известие, что немцы уже возле Минска, значительно восточнее, и поэтому они продолжали отступать по лесам.

Именно на это время пришлось боевое крещение лейтенанта Яшвили. Оно было коротким. Его послали в патруль, и, обходя куст, он вдруг столкнулся лицом к лицу с немецким солдатом. Оба принялись стрелять и поспешили спрятаться, ни один не был ранен. Но после этого довольно нелепого эпизода события приняли более серьезный оборот. Яшвили был ранен. Пуля пробила обе ноги, рану обрабатывала молодая симпатичная докторша. Он до сих пор помнит, в какое смущение повергло его ее требование спустить брюки — ведь ему было всего 20 лет! Затем его отправили в госпиталь, он отыскал в грузовике уголок, где можно было отлежаться.

Немцы продолжали наступать, пули со свистом пробивали стенки стоявших на месте грузовиков. Позабыв о своих ранах, Яшвили выскочил из грузовика и пополз к кустам, там ему казалось безопаснее. После этой вспышки энергии силы совсем оставили его, он потерял сознание. Ослабленный болью и потерей крови, он проспал весь день. Это было 2 июля. Когда он наконец проснулся, солнце уже спускалось за березы. Приподнявшись, он обнаружил, что лежит посреди воронок от мин. Осколки плотно покрывали

землю вокруг того места, где он лежал. Он по сей день убежден, что его спасло тогда само провидение.

Вокруг все было тихо, даже листья на деревьях замерли. Яшвили осторожно поднялся и, шатаясь, побрел неведомо куда. У него не было ни оружия, ни вещмешка, и он не имел ни малейшего представления, где искать свою часть или любое другое красноармейское соединение. Еще утром он был частичкой формирования из 50 тысяч вооруженных солдат, сейчас он был безоружен и совершенно один, если не считать валявшихся кругом трупов. Единственными живыми существами в поле его зрения были армейские лошади из артиллерийского обоза. С колоссальным трудом он подполз к одной из них и ухитрился взобраться в седло. Боли он почти не чувствовал, хотя рана была серьезной.

Первым делом он снял гимнастерку и засунул ее в приторочennый к седлу мешок. Теперь в нем никак нельзя было признать солдата. Он ехал, хоронясь за деревьями, — в сумерках его спокойно могли подстрелить с той или другой стороны. Через час он добрался до края леса. Вдалеке, километрах в пяти, виднелась деревня. По мере приближения к ней до него все явственнее доносился шум, мигали огни — он заключил, что там полно народу. Подъехав вплотную к деревне, он наткнулся на двух офицеров на лошадях, державшихся в некотором отдалении от изб. Завидев Яшвили, они закричали, чтобы он ехал к ним, — может, они друг другу пригодятся. Они предложили ему пробраться к толпе разбушевавшихся солдат, попросить чего-нибудь поесть. Сами они боялись, как бы солдаты их не убили, — в первые дни войны не один офицер погиб от рук собственных солдат. Поскольку по внешнему виду Яшвили никак нельзя было принять за офицера, он согласился.

Он проехал посреди развеселой пьяной толпы к месту, где несколько человек свежевали только что убитую корову, и попросил кусок мяса. Дородный солдат с ножом в руке, оглядев запачканные кровью брюки пришельца и его сапоги, полные крови, швырнул ему горло и легкие забитого животного. Яшвили чуть с лошади не упал, но удержался в седле и вернулся к поджидавшим его товарищам. Они пришли в восторг, увидев его добычу, и осторожно двинулись втроем прочь от села. В лесу у ручья они сварили эти куски в своих касках и съели их. Затем новые товарищи Яшвили наметили по карте маршрут, по которому, избегая крупных населенных пунктов, они могут попытаться нагнать армию. Но так как они не имели ни малейшего представления о местонахождении врага, они решили сначала разведать первую часть пути. Офицеры решили отправиться на разведку вдвоем и, если все будет хорошо, вернуться за раненым. С этим они уехали, и больше Яшвили их не видел.

Так он снова остался один. Он вернулся назад, в деревню, надеясь отыскать врача, который мог бы сменить ему повязку. Во врачах недостатка не было, но ни у одного не оказалось ни бинтов, ни лекарств, и Яшвили мрачно поскакал по пыльной дороге на

восток. Может, какая-нибудь крестьянка перевяжет ему ногу полотном, или удастся найти еще не окончательно развалившуюся красноармейскую часть. Наконец, он добрался до деревни, которая показалась ему совершенно пустой. Он медленно ехал вдоль молчаливых деревянных изб, и вдруг в конце увидел старуху, рыдавшую возле изгороди. Заметив грузина, она взволнованно закричала: «Сынок, если у тебя есть оружие, брось его! »

Он с удивлением уставился на нее. Меж тем его лошадь прошла мимо женщины и завернула за угол. Когда старуха скрылась из виду, Яшвили наконец поглядел вперед и увидел, что прямо на него наставлено ружье. По обеим сторонам от него стояли два высоченных немецких солдата с взведенными ружьями. «Они были такие высокие, что их головы оказались вровень с моей! » — вспоминает Яшвили. Он посмотрел направо, налево и медленно поднял руки. Так внезапно закончилась служба лейтенанта Яшвили в Красной Армии. Отныне он был военнопленным.

Такая судьба постигла не его одного, но он оказался удачливее многих. Ему не пришлось изведать ужасов Майданека и Молодечно. Его раны залечил врач в минском хлеву, а потом он стал поваром при транспортном 666-м полку вермахта и работал там 9 месяцев, пока полк не перевели в Германию. Его тоже увезли в Германию, и он некоторое время работал в Эйзенахе, в бане для военнопленных. Там он видел, как здоровых, жизнерадостных англичан и американцев сменяли изнуренные, умирающие скелеты — его соотечественники.

Затем, к ужасу Яшвили, его послали на работу в Бухенвальд. Больше всего он боялся, как бы немцы не приняли его орлиный грузинский нос за еврейский. Из Бухенвальда его отправили в Освенцим, и он решил, что его час пробил. Всезнающие немцы уже сообщили ему, что грузин Сталин — на самом деле еврей, а в Освенциме этнические вопросы решались на самом высоком уровне — жизни и смерти. Его спасло лишь то, что, будучи христианином, он не подвергся обряду обрезания.

К счастью, он провел в Освенциме всего один день, после чего его перевезли в польский город Катовицы. По странной прихоти судьбы, его вырвали из бездны и отправили туда, куда он и мечтать не мог: к его землякам. В Катовицы свезли грузин из всех лагерей третьего рейха, Яшвили даже нашел здесь своего старого приятеля, еще со школьных времен. Они с рыданиями бросились друг к другу. Это было настоящее чудо — здесь, в нескольких тысячах километров от дома, увидеть лица грузин, услышать родную речь!

Но разбросанных по всему рейху грузин собрали вместе вовсе не для того, чтобы доставить им радость. Немцы сообщили им, что из них формируется грузинский полк, который будет помогать немецкой армии в борьбе против большевизма и в конечном итоге освободит родные горы Грузии от советского ига. Яшвили принял свою новую роль без колебаний и сомнений. Его вместе с группой земляков отправили в Крым, где формировалась Грузинская дивизия. Да и что тут было думать?! Шалва Яшвили родился в тот год,

когда грузинский народ, воспользовавшись хаосом русской революции, решил восстановить свою независимость, утраченную в прошлом веке. В январе 1920 года союзные государства признали независимость Грузии, в мае к ним присоединилось советское правительство. Грузины надеялись, что наконец-то обрели свое государство — как Финляндия и Польша. Но не тут-то было. 11 февраля 1921 года Красная Армия вторглась в их страну и завоевала ее. С тех пор Советы правили в Грузии с помощью насилия и террора. И первым главой грузинских органов был Л.П.Берия — советский Гиммлер.

Семья Яшвили не меньше других почувствовала на себе все прелести чужестранного владычества. У отца Шалвы была маленькая гостиница в горах. Новая власть конфисковала гостиницу, и семье пришлось нелегко.

Если бы кто-нибудь сказал Яшвили, что, присоединившись к антисоветской части, он стал предателем, бывший лейтенант с негодованием отверг бы это обвинение. И дело не только в том, что он считал себя больше грузином, чем русским, больше христианином, чем атеистом. И не в том, что он, как и все в России, знал, что многие русские ненавидят власть большевиков и будут приветствовать ее свержение, независимо от того, с какой стороны оно придет (во всяком случае, пока они не поняли природы нацистского чудища). Все это, конечно, сыграло свою роль, но не менее — а может, и более — важным было то, что Сталин не предоставил своим гражданам права попадать в плен вообще, в том числе к немцам, отказываясь официально признать существование советских пленных.

Советское правительство, образовавшееся после большевистского переворота 1917 года, не пожелало присоединиться к Гаагской конвенции. Не подписало оно и Женевскую конвенцию 1929 года, в которой более четко были определены условия содержания военнопленных. Несмотря на это, сразу же после начала войны, в июне 1941 года, немецкое правительство обратилось к Международному комитету Красного Креста с намерением договориться об условиях содержания пленных обеих сторон. Списки русских военнопленных передавались советскому правительству до сентября 1941 года, затем эта практика прекратилась, так как советские власти неоднократно отказывались передавать взамен списки немецких военнопленных. Зимой немцы предприняли еще несколько попыток установить отношения с советскими властями, чтобы договориться о взаимном соблюдении Гаагской и Женевской конвенций, но вновь получили отказ. Тогда в дело вмешался сам Комитет Красного Креста, обратившийся к советским послам в Лондоне и Швеции. Послы что-то нечленораздельно обещали, дело было рассмотрено в Москве, и ответ был дан отрицательный.

Тем временем союзники Германии — Италия, Румыния и Финляндия, — также отчаявшись прийти к какому-либо взаимному соглашению с СССР, решили в одностороннем порядке применять условия конвенций к русским военнопленным, захваченным их армиями. Но и этот великодушный жест не возымел никакого

действия. Финны в особенности были озабочены ужасным состоянием 47 тысяч русских военнопленных, находящихся в их руках, и с благодарностью принимали великодушную помощь Красного Креста, хотя советская сторона не разрешила оказать аналогичную помощь финнам, взятым в плен в СССР.

Неудивительно, что немецкое правительство ужесточило обращение с русскими военнопленными, а те круги, которые противились дурному обращению с пленными, утратили свое потенциальное влияние. Кроме того, русских в немецком плену было намного больше, чем немцев — в русском. Почти две трети всех русских военнопленных попали в руки немцев в 1941 году.

Гитлер лично настаивал на том, чтобы Красный Крест инспектировал лагеря. Сталин же, когда к нему обратились с предложением разрешить переписку и посылки для военнопленных, ответил: «Русских в плену нет. Русский солдат сражается до конца. Если он выбирает плен, он автоматически перестает быть русским. Мы не заинтересованы в установлении почтовой службы для одних немцев».

Этот ответ решил исход дела. Отныне гитлеровская пропаганда широко использовала то обстоятельство, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию 1929 года и, следовательно, наверняка не будет обращаться с немецкими военнопленными соответственно ее условиям. Наконец, 29 мая 1942 года Молотов решительно отверг предложение Государственного департамента США подписать конвенцию или соблюдать ее условия.

Вполне убедительно поэтому звучит рассказ о том, как гуманный комендант немецкого лагеря, старавшийся по возможности облегчить невыносимую жизнь своих подопечных, жаловался одному русскому врачу, что больше ничего не может сделать, поскольку Сталин отказался вступать в какие бы то ни было соглашения. Представитель швейцарского Красного Креста М. Жюно постоянно сталкивался с этим непреодолимым препятствием во время объездов лагерей в Германии, выражая протест относительно содержания русских. Он отметил, например, разительный контраст между хорошо поставленным лагерем для английских военнопленных в Досселе, где на видном месте был вывешен для всеобщего обозрения текст Женевской конвенции, и ужасающим лагерем по соседству — для брошенных на произвол судьбы русских. Нет, конвенция никак не была простым «клочком бумаги».

Было бы ошибкой думать, что Гитлер, при всей его жестокости, отказывался бы соблюдать конвенцию, если бы она была принята. В феврале 1945 года, после бомбежки Дрездена авиацией союзников, разъяренный Геббельс предложил Гитлеру отказаться от Женевской конвенции и расстрелять пленных летчиков. Гитлер согласился, но кто-то из его сотрудников, ужаснувшись этому решению, сделал так, что это намерение просочилось в иностранную прессу. Би-би-си сразу же передало резкие предупреждения об ответных мерах, и немцы немедленно отказались от задуманного.

Можно было бы на секунду предположить, что позиция Советского правительства — не марксистское новшество, но наследие

отсталой царской России. В этом случае уместно на мгновение обратиться к судьбе русских, взятых в плен немцами в войне 1914—1918 годов. Поскольку оба правительства — и Российской империи, и Германии — подписали Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов, с самого начала были приняты меры для облегчения страданий попавших в плен. Правительства обменивались списками пленных, была установлена почтовая служба, медсестрам и священникам разрешалось ездить из России в немецкие лагеря, для пленников были устроены православные церкви. Испанское правительство выступало в качестве государства-протектора русских военнопленных, их интересы поддерживались также Соединенными Штатами, государством-протектором союзников России — англичан, французов и сербов, — вместе с которыми обычно содержались в лагерях русские пленные.

Императрица Александра Федоровна организовала комитет по поддержке пленных. В 1915 году она писала царю: «Ты знаешь, что мой комитет будет вынужден просить правительство о больших суммах денег для наших пленных, нам никаких денег не хватит, и сумма достигнет, страшно сказать, нескольких миллионов».

Через несколько недель она сообщает: «4 раза в неделю мы высылаем по несколько вагонов, груженных вещами». До нее доходят известия о дурном обращении с пленными: она «плакала, читая об ужасах, которые немцы творили с нашими ранеными и пленными», и все же императрица умоляет царя хорошо обращаться с немецкими пленными: «тогда они скорее согласятся помогать нашим пленным тоже».

Проиллюстрируем это сравнение статистическими данными. В войне 1914—1918 годов центральные державы взяли в плен 2417 тыс. русских, из них умерло 70 тысяч. В 1941—1945 годы немцы захватили в плен 5754 тыс. русских, из них умерло 3,7 миллиона.

Можно было бы также предположить, что катастрофические события 1941 года требовали драконовских мер. Но в 1914 году информация о хорошем обращении немцев с пленными не влияла на лояльность царских солдат. Русские офицеры прославились тем, что больше других пленных упорствовали в побегах из немецких лагерей; всего сбежало около 260 тыс. русских, и большинство их снова пошло в родную армию. Несмотря на активную немецкую и пораженческую пропаганду в лагерях в 1917 году, лишь какие-то жалкие 2 тысячи украинских националистов согласились дезертировать в немецкую армию. В 1944 году на этот шаг решились около миллиона русских военнопленных.

В Эйзенахе Яшвили увидел плоды сталинской политики по отношению к сброшенным со счетов русским. Но страшнее увиденного было то, что он еще раньше, во время своей службы поваром в Минске, унюхал носом — в самом буквальном смысле. За городом находился лагерь для русских пленных солдат и штатских. Вернее, это был не лагерь, а большое открытое пространство, огороженное проволокой, через которую был пропущен ток, окруженное сторожевыми вышками с автоматчиками. Число заключенных там в

какой-то период достигло 60 тысяч. У них не было крыши над головой, их фактически не кормили, а на дворе меж тем стояла зима. В кухне Яшвили месяцами царил забивавший все остальные запахи запах гари: это в лагере каждодневно кремировали трупы. За несколько месяцев число узников сократилось до 11 тысяч.

В глазах западных государственных деятелей и дипломатов Яшвили стал предателем в Катовицах в тот день, когда вызвался служить в Грузинской дивизии. Но для Сталина он стал предателем в тот день, когда медленно ехал мимо плачущей старухи, прямо в руки к немецким часовым. Советская отчизна считала предателем того, кто сдался, а не пал в бою, и сдавшиеся в плен были списаны как погибшие. И действительно, примерно тогда же, когда Шалва Яшвили был схвачен двумя немецкими великанами, его брат погиб в танковом бою на границе, и отец Яшвили получил похоронку на обоих сыновей. Как водится среди кавказцев, Яшвили-старший горячо любил своих детей и гордился ими. Он не вынес страшного известия и вскоре умер.

Я рассказал историю Шалвы Яшвили, потому что она, по-моему, иллюстрирует все звенья цепочки, приведшей стольких русских солдат в немецкий плен. Полная неожиданность «Операции Барбаросса», хаос и неразбериха первых недель, отсутствие приказов, покинутый лагерь, страх перед солдатами, который испытывали многие офицеры, необычайная эффективность и хитрость немцев, неизбежное окружение, ужасы Минска и, наконец, с радостью данное согласие воевать в антикоммунистическом легионе: помножьте все это на сотни тысяч — и вы получите историю русских пленных. Добавьте к этому тот факт, что Шалва закончил войну в Италии и там английская армия передала его советским войскам — и круг замкнется.

К концу второй мировой войны несколько миллионов русских оказались у немцев. Обстоятельства, при которых это произошло, были различны, но в общем и целом можно выделить несколько категорий.

Прежде всего — вывезенные на принудительные работы. Почти три миллиона человек (эта цифра включает также и украинцев) согласились работать — либо были принуждены к этому силой или обманом — в трудовых батальонах национал-социалистической Германии. К осени 1941 года, в результате «Операции Барбаросса», обширные пространства Западной России были оккупированы немцами, а тысячи жителей, привлеченные обещаниями хорошей оплаты и приличных условий, ринулись в Германию на поиски работы. Их жизнь в СССР была настолько незавидна, а немецкая пропаганда — настолько убедительна, что многие с радостью ухватились за эту возможность. Вскоре они растеряли все свои надежды: хотя они и представляли собой фактически даровую рабочую силу, немецкие власти и население считали их крепостными и нещадно эксплуатировали. Такое унизительное отношение к русским воспитывалось, в числе прочего, нацистским изданием «Дер

Унтерменш», любимым чтением Гиммлера. Журнал этот специализировался на публикации фотографий. Белокурые красавцы-немцы соседствовали здесь с отвратительными недочеловеками-славянами. В результате приток добровольной рабочей силы стал иссякать, и за первые полгода после того, как русским было разрешено работать в рейхе, на это предложение откликнулись сравнительно немногие — всего 70 тысяч человек.

Но русская кампания поглощала огромные, невиданные в истории людские и материальные ресурсы, и немецкие фермы, заводы и шахты испытывали громадную нужду в рабочей силе. Поэтому было решено мобилизовать русских рабочих, несмотря на то что такая мера помешала бы русским относиться к немцам как к своим избавителям.

План по оказанию давления на русских граждан был впервые выдвинут Герингом в конце 1941 года. Выполнение его было поручено Фрицу Заукелю, министру труда рейха. Последовавшие за этим акции вылились в грубое похищение многих тысяч мужчин. Иногда их вылавливали поодиночке, иногда же немецкая полиция сажала в поезда, идущие в Германию, целые церковные общины или кинозалы. Схваченные в таких облавах порой проводили по нескольку недель в разболтанных, старых, нетопленых вагонах, в товарняках с опечатанными дверьми и зарешеченными окнами. Их мучили голод, холод, болезни. Трупы часто по многу дней лежали рядом с живыми (в каждом вагоне — по 60 человек), пока их не выбрасывали без всяких церемоний на насыпь. Через несколько месяцев немцам пришлось отправить назад сто тысяч человек — они были настолько истощены, что не могли работать.

В самом рейхе они содержались в ужасающих лагерях, очень похожих на те, что в более широких масштабах действовали в СССР. Нацистская пропаганда изображала рабочих из СССР жизнерадостными и примитивными работниками, подставившими плечо германской индустриальной машине. Великолепно издававшийся журнал «Сигнал» печатал фотографии смеющихся, хорошо одетых украинских девчат, осматривавших достопримечательности Берлина. Действительность выглядела совсем иначе. Условия жизни в лагере были чудовищны. Из всех иностранных рабочих рейха русских кормили хуже всего, основу их рациона составлял хлеб из репы. В короткие часы отдыха, которые им разрешалось проводить за пределами лагеря, «остарбайтеры» должны были носить унизительные нашивки расово неполноценных, им запрещалось ходить в кино, рестораны и другие общественные места. В довершение всего прочего, им возбранялось вступать в связь с немками.

Но еще хуже была судьба тех, кого, по приказу Гиммлера, отбирали для работы в концентрационных лагерях, в особенности в Освенциме и Бухенвальде, где побывал и Яшвили — к счастью, недолго. Около 100 тысяч человек умерло в концлагерях от голода и побоев. В секретном соглашении Гиммлера с министерством юстиции, касающемся судьбы этих «перемещенных лиц», шла речь о работе до полного изнеможения. Но самым чудовищным, и здесь нацисты в очередной раз сходятся со своими советскими коллега-

ми, было использование детского труда. Мальчики и девочки начиная с 10 лет мобилизовывались на заводы, жили почти в тех же условиях, что и остальные, и смертность среди них была не ниже, чем у взрослых.

Всего на принудительные работы было вывезено около 2,8 миллиона советских граждан, из них к концу войны около 2 миллионов еще жили в Германии. Они составили подавляющее большинство огромного количества русских, освобожденных союзниками в 1945 году.

Следующую по численности категорию составляют, вероятно, военнопленные, прошедшие через все ужасы плена и выжившие. Из 5,754 миллиона русских военнопленных, захваченных немцами за годы войны в СССР, к маю 1945 года остались в живых всего около 1,15 миллиона человек. Если добавить сюда 2 миллиона советских граждан, занятых на принудительных работах, то мы увидим, что более 3 миллионов русских, освобожденных впоследствии союзниками, были насильно брошены в водоворот третьего рейха.

Третья категория, резко отличная от первых двух, это собственно беженцы. Молниеносная скорость, с которой продвигались немецкие войска в первые недели войны, разительный контраст между уровнем жизни в СССР и странах Европы, мстительное отношение советского правительства к гражданам, «запятнавшим себя» контактами с иностранцами, — эти и множество других соображений политического, экономического и личного свойства погнали тысячи советских граждан на запад. Многие из тех, кто раньше имел нелады с властями или боялся вновь оказаться в руках НКВД, воспользовались немецкой оккупацией для бегства из СССР. Еще больше народу бежало или было вынуждено уйти, когда спала волна немецких побед. Тем, кто решил бы остаться, предстояло зачастую по нескольку дней или даже недель провести в прифронтовой полосе, в самом центре боев, на линии фронта, и крестьянские семьи, гонимые инстинктом самосохранения, грузили свой жалкий скарб на телегу и двигались по проселочной дороге к Польше.

После победы под Сталинградом в 1943 году, возвестившей о начале крушения гитлеровской Германии, на запад двинулись целыми районами. У некоторых этнических групп просто не было другого выхода, как, например, у этнических немцев (их называли «фольксдейчами»). Их вывезли в Вартегау (Западная Польша) — в те места, откуда два столетия назад ушли их предки.

Большая часть населения Кавказа пыталась убежать на Украину и оттуда двигаться дальше. Среди кубанских казаков и горных народностей дольше всего продолжалось сопротивление большевизму. Именно эти места дали генералам Корнилову и Деникину многих лучших солдат Белой армии, и даже в мирное время тут то и дело вспыхивала партизанская война против советских завоевателей. Немецкие оккупационные войска вели себя здесь в целом корректно и пользовались широкой поддержкой населения. Когда в конце 1943 года немецкая армия получила приказ уйти с Кавказа, многие, в том числе казаки, двинулись вслед за ней навстречу суровой зиме, уходя от судьбы, которая была им слишком хорошо

известна. Свидетель этого исхода пишет: «Всю ночь за окном слышался скрип телег и крики погонщиков. Беженцы ехали на лошадях, на быках, на коровах или просто шли пешком, погрузив свои вещевые мешки на чужие телеги... Некоторые деревни полностью обезлюдели».

В январскую стужу толпы отчаявшихся шли по степи, перебирались через замерзший Керченский пролив в Крым. Многие умерли от голода и холода, многих расстреляли с бреющего полета советские летчики.

Определить хотя бы приблизительно число этих беженцев трудно. Возможно, их было около миллиона, но так как позже многие из них попали — или были отправлены силой — в русские трудовые и военные формирования, организованные немцами, невозможно статистически отделить их от других категорий, рассмотренных в этой главе. Да и вряд ли это имело бы смысл. Ведь причины и обстоятельства, побудившие их оставить родную землю, различны, как различно было их общественное положение, их образование. В этой толпе рядом шли перепуганные крестьяне и инженеры, ученые и врачи.

Кроме миллионов советских граждан, попавших в Германию после 1941 года в качестве беженцев, пленных или насильственно вывезенной рабочей силы, многочисленную группу составили те, кто решил сражаться против Красной Армии или помогать немцам в борьбе с нею. Помочь оккупантам своей родины вызвались от 800 тысяч до миллиона человек.

Первый крупный переход русских солдат в немецкую армию имел место 22 августа 1941 года, через два месяца после начала германо-советской войны. Это случилось на линии фронта под Могилевом, в Белоруссии. К генерал-лейтенанту графу фон Шенкендорфу явился посланец казаков с предложением о сдаче его полка в плен. Это был 436-й пехотный полк под командованием майора Ивана Никитича Кононова. Получив от фон Шенкендорфа заверения в безопасности, Кононов собрал своих людей и четко изложил им свои намерения. Он объяснил им, что наконец-то появилась возможность воевать против Сталина и ненавистной большевистской системы. Закончил он такими словами: «Желающие идти со мной пусть встанут справа, желающие остаться — слева. Тем, кто хочет остаться, я гарантирую безопасность». Все как один встали справа, и через несколько часов в армии генерала фон Шенкендорфа прибавился еще один полк.

Кононов родился в 1903 году на Дону. У него был безупречный послужной список, но он готовился стать перебежчиком еще с неудачной финской войны, и вот теперь такая возможность представилась. Не понимая реального содержания нацистской политики по отношению к России, он вообразил, что его полк сможет стать ядром русской освободительной армии. К нему присоединятся миллионы его страдающих от большевизма соотечественников, и Сталин останется один со своими энкаведешными приспешниками. Граф фон Шенкендорф, умный и честный офицер, целиком и полностью разделял точку зрения Кононова. Он, однако, кое-что

знал о Гитлере и о его планах уничтожения русских как нации. Впрочем, свои сомнения он держал при себе. Солдаты Кононова составили 102-й казачий полк и храбро сражались против Красной Армии и партизан.

В общем и целом сотни тысяч русских вызвались помочь немцам в деле свержения правительства Сталина, и со временем для них нашелся руководитель — генерал Андрей Андреевич Власов. Это был один из самых талантливых командиров Красной Армии. Летом 1942 года его войска попали в окружение, и 13 июля он был взят в плен. Абвер и влиятельные круги германского генштаба увидели в нем идеального руководителя для Русской освободительной армии (РОА), которая, как понимали проницательные немцы, могла бы сыграть важную роль в победе над большевизмом. Вывезенный из винницкого лагеря для пленных, Власов после переговоров с немцами согласился работать в этом направлении, несмотря на оскорбительные ограничения, которые установило для него, его дела и его соотечественников нацистское руководство. Посредством ряда сложных интриг Власов в конце концов был назначен номинальным командующим армией, насчитывавшей уже около миллиона человек. Но, за исключением нескольких недель в самом конце войны, РОА как армия существовала только на бумаге, в основном для пропагандистских целей. Набор добровольцев шел постоянно — в трудовые батальоны организации Тодта, кавказские легионы, вспомогательные части регулярных немецких сил (хиви), такие, как полк Кононова, или в казацкие части. Но до 1945 года генерал Власов не обладал полномочиями приказывать даже рядовому своей армии. В гитлеровской идеологии свободной национальной России отводилось места ничуть не больше, чем в большевистской.

Так что не зря опасался генерал фон Шенкендорф: Власов и те, кто присоединился к нему, оказались между двух огней. На той самой передовой линии фронта, где Сталин так и не удосужился побывать, был ранен один сержант Красной Армии, заслуживший к тому времени уже две награды. В плену он оказался после того, как немцы откопали его бесчувственное тело из-под одесских развалин. Позже он вступил в армию Власова. Вот что пишет он, с горечью и болью оправдывая свой поступок: «Вы думаете, капитан, что мы продались немцам за кусок хлеба? Но скажите мне, почему советское правительство продало нас? Почему оно продало миллионы пленных? Мы видели военнопленных разных национальностей, и обо всех них заботились их правительства. Они получали через Красный Крест посылки и письма из дому, одни только русские не получали ничего. В Касселе я повстречал американских пленных, негров, они поделились с нами печеньем и шоколадом. Почему же советское правительство, которое мы считали своим, не прислало нам хотя бы черствых сухарей?.. Разве мы не воевали? Разве мы не защищали наше правительство? Разве мы не сражались за родину? Коли Сталин отказался знать нас, то и мы не желали иметь с ним ничего общего!»

Глава 2

РУССКИЕ В АНГЛИЙСКОМ ПЛЕНУ: НАЧАЛО РАЗНОГЛАСИЙ

К весне 1944 года стало ясно, что многажды откладываемое открытие второго фронта теперь уже не за горами. Это дерзкое и опасное предприятие требовало тщательного планирования, одним из компонентов которого были поиски решения вопроса о русских частях в немецкой армии. Гитлер, понимая, что его русские помощники заинтересованы не столько в выживании Германии, сколько в возрождении России, перебросил почти все русские части с востока на Балканы, в Италию, Францию и Норвегию. Поэтому разведке союзников было важно оценить их боеспособность и изыскать средства для их нейтрализации.

21 февраля 1944 года военная разведка в Лондоне представила «совершенно секретный» отчет «О занятости уроженцев России во Франции». В этом документе русские разделялись на три основные категории. Прежде всего — «восточные легионы», то есть полки калмыков, грузин, азербайджанцев и других антисоветски настроенных меньшинств, которыми командовали немецкие офицеры. В эту же группу входили и казаки на Балканах, «которые, как было сказано в отчете, сами по себе составляют особое сословие и для которых воевать за того, кто их наймет, так же естественно, как дышать». Затем шли бывшие русские военнопленные, записанные в Русскую освободительную армию под командованием Власова, существовавшую в основном на бумаге. К этим двум категориям, говорилось в отчете, немцы относятся с подозрением и командирами сюда назначают только своих. Последнюю категорию составляли батальоны организации Тодта, занятые на военном строительстве, но официально находившиеся под эгидой легионов и власовских частей.

В отчете отмечалось, что, по данным разведки, с прошлого года во Францию прибыло около 200 тысяч русских, относящихся к этим категориям, и, вероятно, ожидается прибытие значительно большего контингента. Всем им, очевидно, ясно, что крушение гитлеровской Германии — вопрос времени. Как подчеркивалось в отчете, «они сожгли за собой все мосты, и какая бы сторона ни победила — ждать им нечего. Поэтому разумно предположить, что,

пока они воюют, они будут воевать хорошо, но при первой возможности перейдут в армию противника, если только предоставить им малейшую надежду на прощение».

В заключение высказывалось предположение, что русские, находящиеся во Франции, представляют собой особенно благодатную почву для пропаганды. Авторы отчета задавали логичный вопрос: нельзя ли внушить этим людям, что, перейдя в союзную армию или в Сопротивление, они могут рассчитывать на снисхождение к себе?

Всем было ясно, что игра стоит свеч. Однако приступить к пропагандистским передачам можно было, только заручась согласием советского правительства снисходительно отнестись к своим гражданам, сдавшимся в плен. В противном случае возникал вопрос, что именно можно обещать русским и насколько реальны такие обещания. Тут требовалось решение политического характера, и отчет был передан на рассмотрение в министерство иностранных дел.

Эксперты МИД отнеслись к этой перспективе весьма пессимистически. Начались длительные дебаты, в которых попеременно одерживала верх то одна, то другая сторона. Как заметил Виктор Кэвендиш-Бентинк из военной разведки: «Я думаю, после войны нам будет очень трудно доказать, что мы были правы, отказавшись от попыток ослабить боевой дух 200 тысяч русских во Франции и в Нидерландах и дав погибнуть англичанам и американцам ради того, чтобы пощадить чувства советских властей».

Сэр Роберт Брюс Локкарт, выступавший от лица Комитета политической пропаганды, был согласен с этими доводами. Поскольку пропаганда, как предполагалось, будет адресована людям самых разных политических взглядов, единственной реальной приманкой могло стать обещание, что с ними будут хорошо обращаться: «Но прежде чем дать такое обещание, следует убедиться, что правительство его величества не уступит требованиям Москвы выдать этих людей советскому правительству. Можем ли мы быть уверены в этом? Можем ли мы рассчитывать, что при малейшем намеке на недовольство со стороны Советов нам не прикажут прекратить радиопередачи?»

Ему возражал сотрудник Северного отдела МИД Джоффри Вильсон, ныне председатель оксфордского Комитета помощи голодающим: «Если Советы будут выражать недовольство нашими передачами для их бывших граждан, мы, полагаю, можем это игнорировать, но я не понимаю, как нам удастся избежать возвращения после войны на родину русских военнопленных, если Москва будет на этом настаивать. Если гарантии такого рода являются непременным условием радиопередач, то, по-моему, от этой затеи следует отказаться».

В спорах и обсуждениях прошло два месяца, а дело все не сдвигалось с мертвой точки. Начальник Вильсона, Кристофер Уорнер, передал «дело наверх для принятия решения» о том, будут ли русские, откликнувшиеся на призыв англичан дезертировать, переданы советским властям, и если да, то возможно ли получить

какие-либо действительные гарантии того, что в СССР с ними будут прилично обращаться. День высадки приближался, напряжение росло, и генерал Эйзенхауэр опасался, что высадка станет вторым Дьеппом *. Следовало сделать все возможное, чтобы ослабить немцев или внести замешательство в их ряды. Из штаб-квартиры верховного командования экспедиционными силами союзников (ВКЭСС) Эйзенхауэр послал срочную телеграмму Объединенному комитету начальников штабов с просьбой выяснить у советских властей, что именно можно обещать русским во Франции. В телеграмме говорилось, что любые меры, которые могут заронить хоть какие-то сомнения в умы этих иностранных помощников немцев, послужат союзникам на благо.

В результате такого нажима военных властей посол Англии в Москве, сэр Арчибальд Кларк Керр, в письме Молотову от 28 мая 1944 года предложил амнистировать тех русских, которые были вынуждены (как молчаливо подразумевалось) служить немцам и которые сдадутся союзникам при первой же возможности. Специально оговаривалось, что эти условия не распространяются на предателей, добровольцев и членов отрядов СС. Через три дня в Объединенный комитет начальников штабов пришла телеграмма от союзных военных миссий в Москве. Текст звучал лаконично и жестко: «От советского наркомата иностранных дел получен ответ относительно амнистии русским, принужденным поступить на службу к немецким силам на Западе. Советская сторона заявила, что, согласно имеющейся у нее информации, число таких лиц незначительно и с политической точки зрения специальное обращение к ним не может представить никакого интереса».

Поскольку, по оценке англичан, число таких лиц достигало 470 тысяч человек, Виктор Кэвендиш-Бентинк заметил, что ответ русских «является, как это хорошо понимает советское правительство, ложью». И английский МИД счел нужным эту ложь проглотить.

СССР отказался заключить и соглашение с ВКЭСС относительно проблемы беженцев, которая, как предполагалось, возникнет в результате высадки союзников в Нормандии. В результате английский МИД и ВКЭСС решили отказаться — по крайней мере, официально — от плана подорвать боевой дух русских, служивших у немцев. Время шло, и надвигающиеся события отодвинули все споры на задний план. Через неделю после получения ответа советского НКИД началось грандиознейшее в истории морское вторжение. В ночь на 6 июня 1944 года союзные войска, численность которых превышала 100 тысяч человек, захватили плацдармы на побережье Нормандии.

*Дьепп — город во Франции на побережье Ла-Манша. 19 августа 1942 г. свыше 6 000 войск союзников на 237 судах с 55 танками и при поддержке 780 самолетов высадили в районе Дьеппа десант. Операция закончилась полным провалом. Союзники потеряли 4 350 человек, 34 судна, 33 танка и 106 самолетов. Потери немцев не превысили 600 человек и 48 самолетов.

Два дня спустя военное министерство сообщило в МИД, что английские солдаты взяли в плен с полдюжины русских. Джоффри Вильсон ответил, что пока с ними следует обращаться, как с обычными (то есть немецкими) военнопленными. В то же самое время он рекомендовал допросить их, чтобы выяснить обстоятельства, при которых они присоединились к немецкой армии, узнать, как они относятся к возможности возвращения в СССР, как оценивают боевой дух своих соотечественников, воюющих на стороне Германии. Таким образом, МИД уже в это время получил множество «историй болезни» этих несчастных сталинских подданных.

Как выяснилось вскоре на допросах, при записи в немецкую армию русские руководствовались различными мотивами. Но ясно было, что у большинства фактически не было выбора и что они вовсе не жаждали сражаться за Германию. Даже добровольцы выказывали явное недовольство тем, что им приходится воевать против англичан и американцев: ведь они пошли в немецкую армию, чтобы избавить свою страну от коммунизма. В большинстве своем это были запуганные и запутавшиеся люди, которые радовались, что наконец-то попали в плен к таким гуманным противникам.

Многие тяжко пострадали от немцев. 28 июня корреспондент «Таймс» опубликовал репортаж об одной душераздирающей истории: «Сегодня в госпитале в Байе я услышал ужасный рассказ о том, как немцы обращаются с русскими на Нормандских островах, куда их вывезли для работы на укреплениях. Через шесть месяцев из группы в 2 тысячи человек осталась всего тысяча, из них только 500 могли держаться на ногах. Вместо одежды и обуви им выдали мешки; охранники нещадно избивали их резиновыми дубинками. В конце концов 500 умирающих повезли через Шербур на континент, но союзная авиация разбомбила паровоз поезда, в котором они ехали. Пятерым удалось выползти в поле. Там их нашли французы и передали этих несчастных, умиравших от голода, на попечение монахинь. Долгие месяцы в плену эти русские получали по 20 грамм хлеба в день. У одного в трех местах сломана челюсть, его тело сплошь покрыто шрамами. Слезы текли по их лицам при известии об освобождении Шербура».

Эти несчастные не разбирались в политике. Всю жизнь их бросало из стороны в сторону во имя чужой им идеи, по приказу командиров, язык которых они зачастую не понимали. В Королевском военном музее есть фотография, которая символически запечатлела судьбу этих заблудших душ. Бывший житель Туркестана стоит перед двумя взявшими его в плен в Нормандии офицерами британской 51-й Горной дивизии. На рукаве у него — знак его формирования: вышитое изображение мечети, сверху — обращение к Аллаху. Он добродушно улыбается, словно наивный ребенок. Он не понимает этих английских офицеров, как до этого не понимал немецких командиров своего полка, а еще раньше, наверное, — советско-русских правителей своей родины.

Джордж Орвелл, писавший репортажи о событиях в Нормандии, рассказал не менее грустную и еще более странную историю.

Среди «русских», взятых в плен во Франции, были двое, явно восточного происхождения, национальность которых никто не мог определить. Наконец, после длительного допроса, было установлено, что они с Тибета. Задержанные со стадами на советской территории, они были мобилизованы и попали в плен к немцам. Новые хозяева послали их на работу в Северную Африку, а затем присоединили к части, воюющей во Франции. Там они сдались англичанам. Все это время они могли разговаривать только друг с другом, так как владели одним лишь тибетским языком.

Описанное Орвеллом подтверждают воспоминания немца, сидевшего в 1949—1954 годах в исправительно-трудовом лагере на Воркуте. Вместе с ним сидел тибетец, по имени Биби, история которого очень похожа на рассказанную выше.

Русские, взятые в плен во время боев в Нормандии, были вскоре перевезены в Англию и размещены в лагерях, где раньше квартировали войска, занятые в операции «Оверлорд». Через месяц после высадки в Нормандии в Англии находилось уже 1 200 русских пленных. Надо было срочно решать, что с ними делать.

За те два дня, что продолжалась высадка в Нормандии, в Кемптон-парке была допрошена группа русских. Большинство их попало в плен к немцам в 1942 году и было мобилизовано в трудовые батальоны. Немецкие сержанты обращались с ними жестоко, жизнь сводилась к изнуряющей работе, сопровождаемой побоями. Переписка с родными была запрещена, иностранных языков они не знали и были полностью отрезаны от внешнего мира. «Когда союзники начали бомбить побережье, они просто сидели, выжидая, что же будет. Немецкие сержанты не вмешивались и даже не пытались заставить их оказать какое-либо сопротивление». Теперь, оказавшись в плену у англичан, русские проявляли все ту же покорность судьбе. «Но многие, похоже, чувствовали, что после службы в немецкой армии, пусть даже и вынужденной, их соотечественники будут обращаться с ними как с предателями и могут даже расстрелять».

Далеко не всегда дело ограничивалось мрачными предчувствиями. Довольно скоро английские власти получили первый пример того, как реагирует русский человек на возможность насильственного возвращения в первое в мире социалистическое государство. 17 июля военное министерство сообщило в отдел военнопленных МИД о самоубийстве двух русских пленных, Агафонова и Мельникова. Агафонов утопился, Мельников умер от нанесенных себе ран. Последний, как сообщалось, страдал «острой депрессией».

Однако большинство было настроено по-другому. Следует иметь в виду, что эти пленные оказались в весьма специфическом положении. Сейчас им жилось в каком-то смысле гораздо лучше, чем раньше. После долгих лет мук и лишений при Сталине и Гитлере, скудное спартанское существование в военном лагере на берегу унылого йоркширского болота казалось им отдыхом, и они были благодарны за самые скромные удобства.

И все же они понимали, что будущее их туманно и опасно. В маленьких, тесно спаянных сообществах, среди людей, изолированных от внешнего мира и относительно плохо информированных, распространялись всевозможные слухи. Как объяснил мне Чеслав Йесман, большой знаток лагерной психологии, эти вконец запутавшиеся люди чувствовали, что оказались в преддверии гулаговского ада. Они почти ничего не знали о реальном политическом положении в мире: ведь вся их жизнь прошла при двух политических системах, которые считали одной из своих главных целей подавление «вредной» информации. Кроме того, в большинстве своем это были люди малообразованные. Наверное, попадая в английские лагеря, они поначалу испытывали чувство облегчения.

Но даже при полном отсутствии информации они все же не могли не понимать, к чему идет дело. Еще раньше, во время их службы у немцев, пропаганда союзников наивно обещала им в качестве награды за дезертирство репатриацию в СССР. Немецкая пропаганда, стоявшая на более реалистичных позициях, подхватила это обещание в качестве предостережения — вот, мол, что ждет тех, кто сдастся в плен союзникам.

Страхи и гадания пленных подогревались таинственным молчанием советских властей, которое мало-помалу становилось зловещим. Первые советские представители появились в лагерях только через три месяца после прибытия пленных в Англию. Британские официальные лица не могли постичь причин такой задержки, пленные же были запуганы до крайности. Многие подозревали, что англичане сами препятствуют контактам. На протяжении многих лет советская пропаганда внушала им, что англичане — само воплощение вероломства и коварства, многие этому искренне верили, и теперь им чудилось, что затевается грандиозный обман, который им дорого обойдется. Полковник Бакстер из военного министерства, озабоченный всем этим, писал в МИД Патрику Дину: «Если бы было возможно убедить представителей советских властей приехать в лагерь в Кемптон-парке в Лондоне, где содержатся эти люди, это бы очень облегчило положение».

Опасаясь, что их собственное вынужденное молчание послужит для советских властей лишним доказательством вины, пленные начали требовать встречи с посольскими работниками или другими советскими представителями. Они отчаянно старались довести до сведения советских властей свою историю, объяснить, почему они попали в плен. В одном из посланий коменданту лагеря, подписанном тремя младшими офицерами, сказано прямо: «Мы, нижеподписавшиеся, хотим знать, возможно ли связаться с советским представителем в Англии, чтобы уяснить наше положение?» Другие подробно описывали свои страдания в немецком плену, заявляли, что ими «движет горячее желание возобновить борьбу против фашизма, которую ведет весь советский народ», и адресовали письма прямо в советское посольство. Хотя письма и передавались по назначению, ответом по-прежнему было зловещее молчание.

Создавалось впечатление, будто советские власти продолжают считать, что никаких русских, служивших в немецкой армии и взятых в плен англичанами, просто не существует и не стоит заводить разговор на эту тему. В начале июля сам генерал Эйзенхауэр был вынужден под советским давлением запретить безобидное сообщение для прессы по этому вопросу, сделанное одним из его штабных офицеров. Понять поведение советских властей несложно. Они слишком долго заявляли всему миру, что представляют волю угнетенных миллионов, тогда как другие правительства удерживаются у власти благодаря обману и жестокости, а их подданные только того и ждут, чтобы освободиться от власти своих капиталистических правительств. Но действительность не соответствовала этой картине. Советский Союз стал единственной европейской страной, почти миллион граждан которой записался во вражескую армию. (Длительная кампания по созданию аналогичных формирований среди английских пленных кончилась тем, что в них записалось 30 опустившихся алкоголиков.) Ленин заявлял в свое время, что в 1917 году дезертировавшие с фронта русские армии «голосовали ногами» против Временного правительства и его политики, направленной на продолжение войны. Что же в таком случае сказать о тех, кто дезертировал из армии Сталина, кто поднял против него оружие, а теперь столь часто предпочитал возвращению в СССР самоубийство или нанесение себе увечий? Западное общественное мнение было уверено, что правление коммунистической партии в Советском Союзе основано на воле народа. Что сказали бы сторонники этого мнения, столь важного для сталинских послевоенных экспансионистских целей, если бы увидели тысячи русских за рубежом, настроенных враждебно по отношению к собственному правительству? К тому же, вне всякого сомнения, это были представители рабочего класса, жившие в бедности, непредставимой для привыкшего к комфорту Запада. Это были русские, которые могли бы поведать Западу об ужасах ГУЛага.

Несмотря на прежнее советское заявление о том, что в вермахте нет никаких русских, МИД Великобритании вскоре пришел к выводу о необходимости обсуждения этой проблемы с советским правительством. Пленных было столько, что настала пора срочно что-то предпринимать. 17 июля Военный кабинет собрался для обсуждения этого вопроса. Министр иностранных дел Антони Иден открыл краткую дискуссию, объяснив, что в настоящее время в стране находится около полутора тысяч русских пленных. Он высказался за то, чтобы передать их Советам. Уинстон Черчилль подытожил последовавшую дискуссию, предложив известить советские власти о русских, находящихся в Англии. При этом, сказал он, надо попытаться изобразить двусмысленность их положения как бывших союзников немцев в самых мягких тонах, а их возвращение следует по возможности оттягивать.

Члены кабинета явно испытывали некоторую неловкость при мысли о том, какой прием будет оказан пленникам при возвраще-

нии на родину. Иден предложил такое условие: «Чтобы не отбить у русских охоту сдаваться нам в плен, следует попросить не предпринимать никаких мер к вернувшимся до окончания военных действий».

Через три дня Иден, по решению кабинета, написал письмо советскому послу. Разъяснив обстоятельства, при которых пленные попали к англичанам, он подчеркнул трудности содержания такого числа заключенных в транзитных лагерях и предложил советской военной миссии в Лондоне как можно скорее связаться со своими коллегами из военного министерства на предмет достижения удовлетворительного соглашения.

В письме ни словом не упоминалось о том, что члены кабинета надеются на воздержание советского правительства от суровых мер по отношению к пленным до окончания войны. Английские государственные мужи решили до получения ответа от советского посла промолчать об этом условии, опасаясь, как бы его не сочли провокационным. Как мы уже говорили, министру иностранных дел пришлось ждать ответа больше месяца, тем временем число пленных все росло и связанные с этим спорные вопросы продолжали волновать умы.

Русские военнопленные впервые попали в руки английской армии задолго до высадки в Нормандии. В 1941—1943 годах, продвигаясь с боями с разных концов Северной Африки в Тунис, англичане захватили немалое число этих вездесущих русских, большинство которых, как и в Нормандии, было вывезено на принудительные работы. Все эти люди обычно проводили неделю в транзитном лагере в Александрии, затем их отправляли по железной дороге и на машинах в Хайфу, Багдад, Тегеран и так далее до советской границы. В каждой группе были люди, открыто выражавшие свой страх перед тем, что ждет их в СССР. Но другие заверяли озабоченных английских офицеров в Багдаде, что, несомненно, дома их встретят как героев. Некоторые исхитрялись бежать, но благодаря присутствию сотрудников НКВД большинство все же благополучно достигало родной земли. Там их незамедлительно помещали в лагерь за колючей проволокой в пустынной бухте Каспийского моря и оттуда в вагонах для скота увозили в лагеря.

Б. Липтон, служивший тогда в контрразведке в Иране, видел проходившие через Адмеш поезда, набитые репатриируемыми русскими. Он слышал, как в его присутствии советский офицер связи сказал пленным (в большинстве своем — рабочим организации Тодта): «Мы расстреляем только каждого десятого». Многие, ужаснувшись такой перспективе, кончали с собой, бросаясь под встречные поезда.

После вторжения в Италию число русских, вывозимых из транзитных лагерей в Египте, существенно увеличилось. Однако здесь ситуация отличалась от той, что сложилась в Нормандии. 9 июля 1944 года лорд Мойн, министр-резидент в Каире, сообщал: «У нас в плену нет русских, служивших в немецких формированиях, как это имеет место во Франции. Те же, кто служил там

раньше, все дезертировали». Среди находившихся в Египте русских было много беглецов из немецкого плена и дезертиров из немецких соединений в Греции.

15 июня, когда первые пленные прибыли из Нормандии в Англию, лорд Мойн известил МИД, что беженцы из Греции в количестве 41 человека репатриируются через Алеппо и Тегеран. Министерство, занятое обсуждением той же самой проблемы в Лондоне, тянуло с ответом две недели. В конце концов Мойну была отправлена телеграмма. В ней говорилось, что, хотя уже, вероятно, поздно остановить отсылку тех, о ком писал посол, впредь ему следует воздержаться от дальнейшей отправки русских, которым, скорее всего, на родине грозит суровое наказание, а это, в свою очередь, может вызвать ответные репрессии со стороны немцев в отношении английских военнопленных.

В Египте в это время советская миссия во главе с генералом Судаковым занималась отбором русских, подлежавших репатриации. Как указывал Мойн в телеграммах в МИД и военное министерство, очень трудно понять, кто из русских действительно хочет вернуться на родину, а кто предпочел бы остаться. Текст телеграммы лорда Мойна весьма важен для понимания ситуации: «Из группы в 408 бывших военнопленных, подлежащих репатриации в СССР, решили остаться три офицера и шесть рядовых и около пятнадцати выразили намерение сбежать по дороге. Те, кто хотел бы остаться, опасаются, как бы дальнейшие изменения в британской политике не привели к тому, что они будут переданы советским властям до окончания войны, и в этом случае их судьба будет отягощена еще и отказом... вернуться в СССР. Остальным заявить о своем желании остаться помешало, вероятно, присутствие в этой группе трех политруков... Судаков признал, что около пятнадцати человек из группы в 2006 военнопленных содержатся по его приказу под арестом. Один из них, по его словам, подозревается в службе в гестапо... таких ждет особое наказание. Пока не решится судьба этих 2006, Судаков оставил в лагере майора Белобокова. То, что столь небольшое число заключенных открыто заявило о решении остаться, несомненно, объясняется влиянием майора и политруков. Таким образом, невозможно гарантировать, что репатриируемые... по возвращении на родину не подвергнутся наказаниям, а это, в свою очередь, может вызвать ответные репрессии немцев в отношении английских военнопленных». На позицию английского МИД в вопросе репатриации русских немалое влияние оказала возрастающая день ото дня неизбежность поражения Германии. Решение МИД складывалось постепенно. Сначала речь шла об отказе отправить назад тех пленных, которые могли бы подвергнуться наказанию до прекращения военных действий, что привело бы к немецким контрмерам. Сделать это можно было только одним способом — выполняя индивидуальные пожелания военнопленных. Затем было решено отослать назад всех пленных, поставив перед советскими властями условие, чтобы к ним не применялось никаких мер до капитуляции Германии. Однако этого не произош-

ло, да и в любом случае такое обещание «вряд ли стоило бы дороже клочка бумаги, на котором оно было бы написано». Наконец, была принята политика всеобщей и безусловной репатриации, независимо от желания пленных.

Весь этот процесс завершился в течение лета 1944 года, причем в значительной степени его обусловили события тех дней. Во-первых, советские власти хранили полное молчание о судьбе уже возвращенных граждан. Во-вторых, немцы не проявляли ни малейшего желания высказываться по этому вопросу, к тому же власть немецкого правительства слабела с каждым месяцем, так что с его позицией можно было считаться все в меньшей и меньшей степени.

К июню 1944 года МИД пришел к выводу, что всех русских следует в конце концов вернуть на родину, независимо от того, какая судьба их там ждет. Джоффри Вильсон еще в марте предупреждал об этой возможности. 24 июня Патрик Дин, помощник юридического советника МИД, подтвердил: «В обусловленные сроки все те, с кем советские власти желают иметь дело, должны, при соблюдении нижеследующего условия, быть переданы им, и нас не касается то обстоятельство, что эти люди могут быть расстреляны или наказаны более сурово, чем с ними поступили бы по английским законам».

В «нижеследующем условии» оговаривалась необходимость избежать опасности немецких репрессий по отношению к английским военнопленным.

Но военное министерство заняло другую позицию. 17 июля, в тот самый день, когда кабинет впервые собрался для обсуждения этого вопроса, МИД получил следующее сообщение: «Военное министерство склонно согласиться на передачу советским властям только тех русских, которые изъявили желание вернуться, и мы не согласны дать советскому правительству какие бы то ни было другие обязательства».

Впрочем, в письме к советскому послу Гусеву это заявление было опущено.

До получения ответа от Гусева оставалось лишь по-прежнему размещать в лагерях на территории Англии русских военнопленных, число которых все возрастало, а статус и судьба все еще были неопределенны. Именно в это время русские военнопленные обрели могущественного союзника в лице лорда Селборна, министра экономической войны, осуществляемой службой специальных операций (ССО). Лорд Селборн был ревностным христианином и высокопринципиальным государственным деятелем, и его ужасала мысль о преступлении, которое, как он понимал, вот-вот совершится. 21 июля он написал резкое письмо министру иностранных дел Антони Идену: «Я глубоко обеспокоен решением кабинета отослать назад в СССР всех русских подданных, служивших в немецкой армии и попавших к нам в плен на Европейском театре военных действий. Я намерен обратиться по этому поводу к премьер-министру, но прежде чем это сделать, я хотел бы изложить вам причины моих возражений в надежде, что мы сможем достичь согласия по этому поводу.

Как вы, вероятно, знаете, один из моих офицеров в течение последних четырех недель опросил значительное число русских пленных, и все они рассказали примерно одно и то же. Прежде всего, попав в плен, они подверглись невероятно жестокому обращению. По дороге в лагеря многих не кормили по нескольку дней подряд. Они были размещены в концентрационных лагерях в ужасающих антисанитарных условиях, они голодали. Их мучали вши и отвратительные болезни, а голод довел их до такого состояния, что между ними развилось людоедство. Немцы не раз снимали в пропагандистских целях их людоедские трапезы».

После нескольких недель такой жизни, писал лорд Селборн, пленным предлагали добровольно идти на службу в немецкие трудовые батальоны. Отказавшихся расстреливали, так что ничего удивительного, что многие становились «добровольцами». Теперь, оказавшись в руках у англичан, почти все русские выражают величайший страх перед перспективой возвращения на родину. Всего было опрошено 45 человек из трех лагерей, и все они говорили примерно одно и то же: что по прибытии их расстреляют или, по меньшей мере, отправят в Сибирь, что, как известно, советское правительство даже не признало наличия русских военнопленных в немецком плену. Те, кто носил немецкую форму, считали, что вконец скомпрометировали себя, и почти не сомневались в том, что их расстреляют. Ну, и наконец, они собственными глазами убедились в несравненно более высоком уровне жизни трудящихся на Западе, и этот опыт, как они понимали, навсегда сделает их политически неблагонадежными.

Лорду Селборну эти рассказы казались убедительными, и его очень беспокоила «перспектива послать несколько тысяч человек на смерть, либо от пули, либо в Сибири...» Это, по его словам, было бы не только негуманно, но еще и неразумно: те русские, что еще служат в немецкой армии, откажутся сдаваться в плен англичанам или переходить в Сопротивление. По мнению Селборна, кабинет на этой стадии не должен вступать в какие бы то ни было соглашения относительно судьбы пленных.

В заключение этого послания лорд Селборн писал, что, по словам Эммануэля д'Астье, министра внутренних дел Временного правительства Французской Республики, французы, вероятно, предоставят традиционное политическое убежище тем русским, которые пожелали присоединиться к свободной французской армии — в Иностранном легионе, на Мадагаскаре или в какой-либо другой французской колонии. Как бы то ни было, советские представители не интересуются пленными и могут подозрительно отнестись к любым намерениям англичан. «Вследствие этого я полагаю, — писал Селборн, — что наши руки не должны быть связаны в вопросе о том, как поступить с русскими пленными после войны. Если их численность не будет слишком велика, их можно без всяких трудностей абсорбировать в какой-нибудь малонаселенной стране».

Копию этого письма лорд Селборн послал майору Десмонду Мортону, помощнику Уинстона Черчилля, для передачи премьер-министру. В сопроводительной записке он подчеркивал: «Я глубоко возмущен этим делом». Передавая письмо по назначению, Мортон сообщил Черчиллю о недавнем ответе из Москвы с требованием вернуть всех пленных и добавил, что «решение, предлагаемое лордом Селборном, вероятно, запоздало». Премьер-министр сразу же ознакомился с посланием лорда и на другой день написал Идену: «Я думаю, мы несколько поспешно обошлись с этим делом в кабинете, и точка зрения, высказанная министром экономической войны, бесспорно, заслуживает рассмотрения. Даже если мы в чем-то скомпрометируем себя, мы можем использовать все средства для задержки решения. Я полагаю, эти люди были поставлены в непереносимые условия».

Черчиллю явно не хотелось обрекать несчастных на новые страдания. Не совсем понятно лишь, почему позиция англичан в этом вопросе могла показаться ему «скомпрометированной». До сих пор британское правительство лишь однажды сносилось с советскими властями по этому делу — в письме от 20 июля, в котором просто выражалось желание англичан «как можно скорее узнать, что думает советское правительство об устройстве своих подданных». Решение кабинета от 17 июля о принудительном возвращении пленных, если таково будет советское требование, еще не было передано советским властям, так что английское правительство — по крайней мере, в теории — могло избрать любую линию поведения.

Идену пришлось рассматривать веские аргументы против предложенной им политики насильственной репатриации, выдвинутые лордом Селборном и поддержанные премьер-министром, совесть которого явно была неспокойна. Первой реакцией Идена было раздражение. На полях письма Селборна он написал: «Отделу: что вы на это скажете? Здесь не обсуждается вопрос о том, куда деть этих людей, если они не вернутся в Россию. У себя мы их иметь не хотим». Однако для победы над премьер-министром и кабинетом этого было мало. Главная трудность для Идена заключалась в том, что обвинения министра экономической войны были справедливы, и в неофициальном письме лорду Селборну Иден признавал его правоту: «Я понимаю, что многим из них пришлось перенести страшные страдания в немецком плену, но ведь нельзя отрицать и тот факт, что их присутствие в немецких войсках, как минимум, помогает задержать продвижение наших собственных сил».

Вряд ли это могло удовлетворить лорда Селборна, смысл предложения которого сводился к тому, что русских следует склонить к работе на союзников.

В своем письме лорд Селборн упоминает офицера, допрашивавшего пленных. Это майор Л.Х. Мандерстам. Его семья была родом из Южной Африки, сам он родился в Риге и владел русским языком. Когда разразилась война, присущий Мандерстаму авантюризм забросил его в Африку, где он участвовал в самых рискованных и отчаянных операциях. Он явно представлял собой идеальный материал для ССО и, действительно, быстро стал одним из самых отважных оперативников. Вскоре после высадки в Нормандии его послали во Францию опрашивать пленных, захваченных английскими войсками. Затем, вернувшись в Англию, он продолжал заниматься допросами пленных, содержащихся в английских лагерях. У Мандерстама были свои причины интересоваться судьбой русских военнопленных: ведь многие из них сдались в плен, начитавшись листовок ССО, где добровольно сдавшимся вполне искренне обещалось предоставление убежища на Западе, если они того пожелают.

Мандерстам верил ужасным историям, услышанным от пленных, тем более что все их рассказы во многом совпадали. После того как лорд Селборн отослал Идену и Черчиллю свои письма, основанные на сообщениях Мандерстама, МИД поручил лучшим своим сотрудникам проверить содержащиеся в них сведения. Узнав об этом, Мандерстам по собственному почину нанес визит заведующему Северным отделом Кристоферу Уорнеру, отвергшему сообщения майора как неточные и наивные. Это вызвало бурный протест Мандерстама, который, в отличие от Уорнера, видел потенциальных жертв депортации и говорил с ними. Надменный Уорнер выставил посетителя из своего кабинета и послал в ССО рапорт о происшествии, не имевший, впрочем, никаких последствий.

Однако для того, чтобы составить адекватное представление о будущей судьбе пленных, МИД, в отличие от лорда Селборна, не было нужды опираться исключительно на свидетельство майора Мандерстама. 21 июля, в тот же день, когда лорд Селборн отправил свою жалобу Идену, МИД получил от лорда Мойна из Каира чрезвычайно важное сообщение. Русские пленные, доставленные сюда на кораблях из Греции и Италии, целиком и полностью подтверждали рассказы своих друзей по несчастью, взятых в плен в Нормандии. Более того, лорд Мойн собственными ушами слышал от советского генерала Судакова, занимавшегося вопросами репатриации, что многие пленные «по возвращении подлежат ликвидации».

Для сотрудников МИД не было секретом, что советское правительство задолго до того бросило на произвол судьбы всех своих граждан, попавших в руки к немцам. В феврале 1942 года Международный комитет Красного Креста известил Молотова, что Великобритания дала СССР разрешение закупить продукты для пленных, находящихся в британских колониях Африки, канадский Красный Крест предложил в подарок 500 флаконов с витаминами, а Германия дала разрешение на коллективную отправку продуктов для военнопленных. «На все эти предложения Международного комитета Красного Креста советские власти не дали ни прямого, ни косвенного ответа», — говорится в сообщении Красного Креста. Точно также остались без ответа все призывы комитета и параллельно ведущиеся переговоры государств-протекторов, а также нейтральных и дружественных стран.

В Англии МИД, рассмотрев обращения различных групп общественности, желавших помочь русским, заключил, что, к сожалению, сделать тут ничего нельзя. В сентябре 1942 года Антони Иден сообщил сэру Стэффорду Криппсу, что «советское правительство... постоянно проявляет поразительное равнодушие к судьбе своих пленных. Их последовательность в этом вопросе доказывает, что за той позицией стоят важные политические мотивы...».

Вопрос был вновь поднят год спустя с тем же результатом. В мае 1942 года Молотов точно так же отверг предложение Рузвельта о заключении с немецким правительством соглашений о гуманном обращении с пленными. Английский МИД не мог позволить себе дальнейшее вмешательство в эти дела; к тому же далеко не всем оно было по душе. Как сказал один из служащих министерства, Дональд Маклин: «Лично мне кажется, что мы и без того уже раздули дело с посылками до фарсовых размеров, посылая своим собственным пленным по посылке в неделю; и нам вовсе ни к чему поднимать вопрос о посылках для русских военнопленных, число которых, вероятно, составляет около 3 миллионов человек, если только русские сами не попросят нас о помощи».

Его начальники единодушно согласились с этим мнением, тем более что позиция Сталина в вопросе о помощи пленным не казалась излишне жесткой. Он не возражал против посылок Красного Креста английским военнопленным, и тысячи тонн продуктов и лекарств выгружались во Владивостоке под наблюдением Красного Креста и перевозились через советскую территорию в японские лагеря, где содержались английские, американские и голландские военнопленные. Сталин отказывал в помощи и поддержке одним лишь русским.

Итак, когда Иден и его помощники собрались для составления предназначенного для премьер-министра ответа на обращение лорда Селборна, они располагали вполне достаточной информацией о положении русских военнопленных. И все-таки в своем письме, датированном 2 августа, Иден выступил с защитой политики насильственной репатриации, приведя в обоснование своей позиции развернутые и с виду вполне убедительные доводы. Прежде всего Иден отверг обвинение лорда Селборна в негуманности: «Вопреки сообщению, на которое ссылается министр экономической войны, у нас имеются другие отчеты и свидетельства, доказывающие, что большая часть пленных по различным причинам согласна и даже хочет вернуться в Россию. Они были взяты в плен во время службы в немецких военных и полувоенных соединениях, которые часто безобразно вели себя во Франции. Мы не можем позволить себе излишние сантименты на их счет».

Если учесть, что в списке пленных, посланном Патрику Дину в МИД 26 июля, фигурировали гражданские лица, которые все время пребывания во Франции провели в больнице либо сидели в тюрьме за отказ помогать немцам, если подумать о том, что в этом списке были также работники госпиталей, врач, беглецы из лагерей для военнопленных и несколько детей — трудно не прийти к

выводу, что, наверное, Иден все же мог бы позволить себе хоть какие-то «сантименты». Кроме того, хотя солдат некоторых частей обвиняли в «безобразном поведении», подавляющее большинство русских не отличалось склонностями к жестокости. К тому же не меньше 8 тысяч человек присоединились к французскому Сопротивлению и, согласно советским источникам, вывели из строя три с половиной тысячи немцев.

Из обширных документов, доступных ныне историку, следует, что в то время имелось только одно свидетельство, дававшее повод для осуждения поведения русских солдат (помимо того факта, что они решили присоединиться к немцам и были захвачены в немецкой форме). Инцидент этот по своей жестокости превосходит все мыслимые пределы, но сомнительно, чтобы по нему можно было бы судить о поведении русских военнопленных.

Немедленно после высадки в Нормандии французское Сопротивление в долине Роны с исключительной готовностью, хотя и с излишней горячностью, откликнулось на инструкции союзников, переданные по Би-би-си. Бойцы Сопротивления совершили целый ряд актов саботажа на немецких объектах, в основном в долинах Роны и Дрома. Месть немцев была внезапной и ужасной. Самая страшная операция имела место в старинном городке Сен-Дона, на Дроме. 15 июня 1944 года в город вошли около двух тысяч «немецких» солдат, в сопровождении бронемашин. Когда рассеялась поднятая колесами пыль, напуганные жители разглядели у пришельцев широкие скулы и раскосые глаза, свойственные восточной расе. Разнузданные солдаты производили впечатление дикарей. Со страшными криками эта орда набросилась на город, учинив настоящую оргию грабежей и разрушений. Когда рейд закончился и городские власти смогли подсчитать убытки, выяснилось, что нанесенный ущерб оценивается в 7—8 миллионов франков. Но это было далеко не самое ужасное. Налетчики зверски изнасиловали не менее 53 женщин и девушек, многим из которых было всего по 13—14 лет. Среди них была дочка мэра Шанселя, со слов которого я записал эту историю. Она умерла через несколько недель.

Аналогичные преступления были совершены во всем районе. Шансель воззвал к помощи епископа, монсеньора Пика, который тут же обратился к местному немецкому коменданту. Офицер принес свои извинения и объяснил, что эти отряды сформированы из монголов, взятых в плен на русском фронте и теперь служащих в подсобных войсках у немцев. После двухчасового спора с монсеньором Пиком немецкий генерал согласился, ради сохранения репутации немецкой армии, отозвать эти отряды и по возможности вернуть награбленное.

По-видимому, на этом случае «возмутительного поведения» — а оно и в самом деле было возмутительным — и основывался МИД, отказывая в предоставлении убежища на Западе всем русским. Но эти разнузданные грабежи и насилия вовсе не были собственным изобретением антисоветского «власовского» формирования; это

был спектакль, от начала до конца разыгранный нацистами. В Сен-Дона и соседнем городке висели в ту пору расклеенные немцами объявления: «Французы, вы любите русских коммунистов: так познакомьтесь же с ними».

Из тысяч русских пленных, находящихся у них в руках, немцы отобрали несколько сотен самых примитивных людей, которые, верно, и русского-то не знали, не говоря уж о французском, и, скорее всего, не имели ни малейшего представления о том, в какой стране находятся и против кого и почему воюют.

Как замечает один из руководителей Сопротивления, де Сен-При, ясно, что нацисты собрали эту ужасную банду с единственной целью запугать французов и одновременно показать им варварство их советских союзников. После протеста епископа Валанского немецкий генерал приказал отозвать этих жутких «помощников», и нацисты больше не могли найти для них применения. Когда 31 августа в этом районе началось немецкое отступление, о «монголах» никто и не вспомнил. Вскоре они попали в руки французов и были посажены в тюрьму. Их освободил майор Иванов, раньше сотрудничавший с немцами, а в сентябре 1944 года назначенный советскими властями комендантом сборного лагеря для русских в окрестностях Парижа. Отсюда после окончания военных действий «монголов» должны были отправить сушей в СССР, так что среди находившихся в Англии пленных, чья судьба решалась в те дни, этой банды не было. Однако по логике МИД получалось, что преступления «монголов» в Валансе бросают тень и на измученных пытками инвалидов Байе. Умозаключения такого рода и заставили Черчилля на совещании кабинета 4 сентября 1944 года и на Потсдамской конференции год спустя преодолеть имевшиеся у него сомнения насчет репатриации.

Еще одним аргументом Идена в пользу насильственной репатриации было то, что «большая часть пленных по различным причинам согласна и даже хочет вернуться в Россию». В качестве довода это утверждение могло бы показаться неосновательным, поскольку в жалобе лорда Селборна речь идет только о тех, кто не желает возвращаться. Однако поучительно было бы разобраться, что скрывается за словами «по различным причинам».

Иден основывался на отчете от 1 июля, составленном по результатам допросов русских пленных. В отчете отмечается, что буквально все они были вынуждены присоединиться к немецким войскам и в немецкой армии подвергались самому жестокому обращению. Хотя большинство русских боится наказания, говорится далее в отчете, они все же хотят вернуться в СССР. Кристофер Уорнер написал: «Большинство русских хочет вернуться назад, если им дадут шанс отличиться». Однако через два дня он получил письмо от неугомонного майора Мандерстама, который тоже допрашивал русских пленных в Кемптон-парке и тоже написал в отчете, что пленные выразили желание вернуться в СССР, сказав ему, что перед возвращением в ряды Красной Армии получат недельный либо двухнедельный отпуск. Мандерстаму казалось сомнительным, чтобы такое удивительное единодушие и уверенность возникли бы сами собой, и другой английский офицер, работавший с пленными, подтвердил эти сомнения: как писал Мандерстам, «поведение русских, опрошенных мной, было в высшей степени необычным, и офицер объяснил это присутствием среди них сотрудника НКВД».

Хотя Уорнер категорически отверг утверждение Мандерстама, что пленные высказывались под давлением, он, однако, не оставил это обвинение без внимания. Похоже, он и не возражал против оказания на пленных такого нажима. Когда на совещании 16 августа было внесено предложение о том, чтобы американцы отсылали назад только добровольцев, Уорнер, как говорится в отчете, «высказал сомнение по поводу этой возможности и сказал, что после встречи с советскими представителями почти все пленные выразят желание вернуться в Советский Союз».

Вот что стояло за фразой Идена, что большая часть пленных желает вернуться на родину. Разумеется, некоторые действительно хотели вернуться, надеясь, быть может, что участие в антифашистском Сопротивлении облегчит их участь. Но ведь лорд Селборн возражал не против отправки таких людей.

Касаясь предположения, будто репрессии советских властей по отношению к репатриированным могут отразиться на обращении немцев с английскими военнопленными, Иден заметил, что русских вот уже несколько месяцев вывозят из Египта безо всяких условий, и пока это не имело никаких дурных последствий. Это заявление было попросту ложью, так как русских начали отправлять из Египта только после 15 сентября, то есть через полтора месяца после письма Идена. А на предложение Селборна предоставить убежище русским, отказывающимся возвращаться на родину, Иден возразил следующее: «Мы, несомненно, не желаем, чтобы эти люди повисли на нас вечным бременем. Если мы их не отправим на родину, нам придется решать, что с ними делать, и не только здесь, но и на Ближнем Востоке».

Разумеется, такая задача действительно могла оказаться сложной, но похоже, что Идену она представлялась просто неразрешимой. Он уже столкнулся с аналогичной дилеммой в прошлом году, когда государственный секретарь Корделл Хэлл поднял вопрос о 60—70 тысячах евреев в Болгарии, которым грозит уничтожение, если мы не сумеем их оттуда извлечь. Хэлл настаивал на немедленном ответе. Иден ответил, что проблема евреев в Европе вообще очень сложна и к предложению вывезти всех евреев из такой страны, как Болгария, следует отнестись с крайней осторожностью. Если мы это сделаем, тогда евреи всего мира захотят, чтобы то же самое было предпринято в отношении польских и немецких евреев. Гитлер вполне может согласиться на это, а потом во всем мире не хватит кораблей и транспортных средств, чтобы их вывезти.

Неудивительно, что с еще меньшим энтузиазмом отнесся Иден к идее тратить и без того уже довольно истощенные ресурсы союзников на помощь людям, которые к тому же были в его глазах предателями. Однако в основе возражений, выдвинутых

Черчиллем и Селборном, лежали в общем соображения этического порядка; поэтому МИД считал необходимым устранить все моральные претензии, которые русские пленные могли бы предъявить к англичанам. Причины такой необходимости сжато изложены Иденом в заключительных параграфах его письма: «...5. Отказ выполнить требование советского правительства вернуть советских граждан может вызвать серьезные проблемы. В любом случае у нас нет на это права, а наши гуманные мотивы советское правительство не поймет. Ему станет ясно лишь то, что в этом вопросе мы обращаемся с ним не так, как с другими союзными правительствами, и это породит у него самые серьезные подозрения.

6. Наконец, в этом вопросе существенно также положение наших собственных пленных в Германии и Польше, которые, вероятно, будут освобождены русскими войсками. Самое главное, чтобы с ними хорошо обращались и как можно скорее вернули домой. В этом вопросе нам приходится в значительной степени полагаться на добрую волю советских властей; и если мы будем чинить какие-либо препятствия в деле возвращения их граждан... это отрицательно повлияет на их готовность помочь нам в скорейшем возвращении наших пленных, которых они освободят...

По этим причинам я убежден, что, если советское правительство хочет получить этих людей, чтобы использовать их в своих войсках или на работе для фронта, нам следует согласиться отослать их из Европы и с Ближнего Востока, обусловив сроки и возможности возвращения наличием транспорта и гарантией советских властей, что их действия не спровоцируют немецких репрессий по отношению к нашим гражданам, находящимся в немецком плену».

Эти два соображения, разумеется, были чрезвычайно важны. Конечно, английское правительство не могло рисковать тем, что советские власти в ответ задержат возвращение английских пленных, а любая акция, которая могла бы серьезно угрожать союзу между Англией и СССР, естественно, считалась опасной в этот критический момент войны. МИД был убежден, что не пойти навстречу советским пожеланиям — опасно; и потому, как это часто бывает, он постарался убедить себя и всех прочих в том, что британская политика не только разумна, но и морально оправданна.

Глава 3

ИДЕН В МОСКВЕ: КОНФЕРЕНЦИЯ «ТОЛСТОЙ» (11—16 октября 1944г.)

Горячие дебаты о судьбе русских пленных велись в английском кабинете министров еще до того, как стала известна позиция советского правительства. До сих пор англичане располагали только высказыванием Молотова от 31 мая 1944 года, что «число таких лиц в немецких войсках очень незначительно». 20 июля МИД отправил советскому послу письмо с сообщением о том, что сейчас в Англии находится 1114 русских военнопленных и число их в скором времени должно возрасти. МИД интересовался советскими пожеланиями на этот счет.

Несколько недель МИД ждал, пока Кремль обсудит эту крайне неприятную ситуацию. Такая задержка была вполне в духе Сталина, который предпочитал тянуть время, когда от него требовалось решение по щекотливым вопросам. В таких случаях он имел обыкновение писать на сообщениях «в архив» или «подшить в дело» и забывал об этом. Но на сей раз советским руководителям не удалось уйти от решения: посол Англии в Москве постоянно интересовался этим делом, а МИД через месяц, 20 августа, повторил запрос, в котором сообщалось, что число русских пленных в Англии уже превысило 3 тысячи. В письме также имелся намек на возможность транспортировки пленных в Канаду и США — советские власти вполне могли счесть его скрытой угрозой.

Через три дня пришел ответ от Гусева. Посол требовал вернуть всех пленных «при первой же возможности»; при этом транспортные средства должна была обеспечить Англия. С целью лучшей организации пленных во время их пребывания под опекой англичан, советская военная миссия, писал посол, вступит в контакт с английским военным министерством. Гусев просил также предоставить ему список пленных и лагерей, в которых они находятся.

Теперь очередь была за англичанами. Им надлежало окончательно решить, следует ли как-то оговорить меры по защите репатриируемых пленных от наказаний. (Напомним, что, несмотря на настояния кабинета потребовать от советского правительства каких-либо гарантий на сей счет, это условие выпало из британской ноты, переданной советскому послу.) Англичане предполагали

возобновить разговор на эту тему после ответа советских властей, считая, что время терпит: задержки с репатриацией всегда можно объяснить транспортными трудностями. Кроме того, с каждым поражением вермахта уменьшалась возможность ответных репрессий со стороны немцев, и главная, с точки зрения англичан, проблема могла разрешиться сама собой. Как заметил Патрик Дин, дело было не в том, чтобы помешать советским властям жестоко наказать вернувшихся соотечественников, но в том, чтобы «просто оттягивать такие шаги до тех пор, пока не отпадет опасность репрессий против английских и американских военнопленных».

Теперь, когда советская позиция прояснилась, от англичан требовалось как можно скорее окончательно определить политику в отношении пленных. Иден, понимая, что его предложение поставлено под угрозу, приступил к подготовке подробного изложения своих взглядов на ближайшем заседании кабинета. Тем временем у лорда Селборна появился единомышленник в деле защиты пленных русских — военный министр сэр Джеймс Григг. 24 августа в письме Идену он выразил свое беспокойство по поводу перспективы выдачи русских на верную смерть и свои опасения относительно немецких репрессий. Правда, добавил он, «если речь идет о выборе между трудностями для наших людей и смертью русских, ответ однозначен». При этом, однако, он считал, что, как бы ни повернулось дело, советские власти вряд ли будут активно способствовать возвращению английских пленных на родину. В заключение Григг запрашивал решение кабинета относительно того, кому именно придется заниматься «этим неприятным делом»: уж не солдатам ли, за которых он, Григг, отвечает?

1 сентября Иден послал министру вежливый ответ, приложив к нему проект своей речи в Военном кабинете. Совещание кабинета состоялось 4 сентября, когда меморандум Идена уже распространялся. Меморандум во многом совпадал с письмом Идена Черчиллю, с единственной уступкой возражениям Григга и лорда Селборна: Иден допускал (с оговорками), что на долю русских выпали — и еще предстоят в будущем — незаслуженные страдания. Но вслед за тем он перечислял уже приведенные нами аргументы, снова твердил об их важности и вновь настаивал, что кабинет должен согласиться с требованием советского правительства о репатриации русских пленных из Великобритании и с Ближнего Востока независимо от желаний самих пленных: «Оба эти решения будут зависеть от того, получу ли я от советского правительства достаточные гарантии, что против этих людей не будут предприняты никакие меры в виде наказания или суда до окончания военных действий с Германией».

Военный кабинет «после короткого обсуждения» одобрил предложения Идена. Оба министра, высказавшие столь серьезные возражения против прежнего решения кабинета, сдали свои позиции еще до совещания, убежденные логикой Идена. Лорд Селборн уже 18 августа написал министру иностранных дел, что его «доводы очень серьезны и против некоторых из них... возразить нечего». А Григг с самого

начала просил всего-навсего о том, чтобы при проведении в жизнь политики, отдельные стороны которой ему «отвратительны», ему предоставили возможность опираться на решение кабинета. Впрочем, лорду Селборну по-прежнему внушала ужас бесчеловечность грядущей операции. Через четыре года после описываемых событий он вместе с епископом Чичестерским выступил с осуждением насильственного возвращения беглецов от коммунизма.

Помочь русским пленным можно было одним-единственным способом — предпринять последнюю попытку использовать их для военных целей союзных армий. Несколько тысяч русских, находившихся сейчас в руках союзников, составляли лишь долю процента от тех пяти-шести миллионов, что по разным причинам оказались в пределах великого рейха. Для ССО эти люди, настроенные в большинстве своем антинацистски, представляли благодатный материал для организации беспорядков и даже открытого восстания за линией немецкого фронта. Военные формирования из русских пленных могли бы составить целый корпус. Во Франции действовало несколько отрядов, в задачу которых входила борьба против маки. В самой Германии тысячи русских работали на практически не охраняемых полях. Конечно, с военной точки зрения они мало что могли сделать против вермахта и отрядов СС даже в этот период войны, когда мощь Германии была на исходе; но агитация за сопротивление немцам способствовала бы подрыву обороноспособности Германии.

Если бы пропаганда союзников возымела действие, немцам пришлось бы заменить русские формирования, воевавшие против партизан во Франции, Италии и Югославии, до предела вымотанными немецкими частями. А в самой Германии перспектива восстания миллионов русских «рабов» и других «восточных рабочих», используемых на полях и заводах, могла бы вызвать панику и привести к непредсказуемым последствиям. Страх перед таким восстанием выражали и Гитлер, и Гиммлер, и уже в 1942 году рассматривались планы по его подавлению, известные под названием «Валькирия».

1 августа ССО представила Объединенному комитету начальников штабов меморандум «Подрывная работа в русских войсках, действующих против маки». Кадры для такой работы предлагалось набирать среди русских военнопленных. Предполагалось, что после специальной подготовки в ССО их забросят в районы действий маки, и там они попытаются воздействовать на русские антипартизанские формирования. Этот план вполне мог оказаться успешным: маки уже и сами, без всякой посторонней помощи, привлекли на свою сторону многих русских.

При планировании операции ССО консультировалась с французским Комитетом национального освобождения и штабом ВКЭСС. Министерство иностранных дел не возражало против плана — «при условии, что советское правительство будет поставлено о нем в известность, как только русские будут отосланы во Францию», зато категорически отказалось рассматривать вопрос о том, чтобы же-

лающим из числа военнопленных было предоставлено по их выбору английское или американское гражданство либо гарантия безопасности со стороны советских властей. Тем не менее предложить русским пленным хоть какие-нибудь гарантии безопасности было необходимо — и не столько для того, чтобы заполучить добровольцев для работы во Франции, сколько для того, чтобы убедить дезертировать тех, кто все еще служил в немецкой армии. По рассказам русских военнопленных в Англии, нацистская пропаганда (а ее эффективность была общепризнана) без конца твердила, что русские, сдавшиеся англо-американцам, будут расстреляны на месте или же переданы советским представителям, после чего их все равно расстреляют.

ССО стремилась всеми способами укрепить движение Сопротивления и подорвать боевой дух вражеских войск в занятой нацистами Европе. Попытка ослабить воинские части во Франции, безусловно, заслуживала внимания, хотя англичанам и трудно было предложить будущим перебежчикам что-либо конкретное. Из русских пленных, находившихся в Англии, офицеры ССО отобрали сорок добровольцев, которые затем прошли специальный курс подготовки. Некоторые пленные рассказали о своих контактах в Германии, о людях, которые могли бы оказать активное сопротивление нацистам.

Для первого десанта в Германию были отобраны четверо добровольцев. Однако сначала надо было, по совету английского МИД, сообщить об операции советским властям, то есть НКВД, представитель которого, полковник Иван Чичаев, работал в тесном контакте с английским МИД. Предвидя обычные для НКВД задержки с получением инструкций из Москвы, сотрудник МИД Уорнер выдвинул весьма неожиданное предложение: «Надо совершенно откровенно сказать полковнику Чичаеву о нашем плане и предупредить, что ввиду безотлагательности дела мы намерены осуществить его на следующей неделе». Но начальник Уорнера, помощник заместителя министра сэр Орм Саржент заявил, что в связи с предстоящим соглашением о возвращении всех русских военнопленных в СССР необходимо заручиться четким согласием НКВД.

Прошло несколько недель, Берия и Абакумов молчали, но полковник Чичаев заявил, что очень хочет поговорить с четырьмя русскими добровольцами. В разговорах с майором Мандерстамом из ССО он не раз выражал горячее желание встретиться с бедными ребятами, так давно разлученными с родиной, а заодно сокрушался о том, что его начальники до сих пор ничего не ответили относительно отправки этих людей в Германию. Но Мандерстам был твердо намерен не допускать этой встречи. Он уже видел примеры давления НКВД на пленных и потому пресекал все попытки полковника Чичаева проникнуть к добровольцам.

Время шло, наконец Мандерстам назначил на 16 октября встречу с Чичаевым. Он захватил с собой письмо, в котором говорилось, что ССО с удовольствием разрешит Чичаеву поговорить с четырьмя добровольцами в том случае, если из Москвы придет согласие на проведение операции. Когда они встретились, Чичаев с места в

карьер выложил ответ своего ведомства: «Я получил из Москвы полномочия официально сообщить вам, что мы не согласны с планами вашей организации по использованию русских военнопленных для работы в Германии. Мы также хотели разъяснить, что не намерены сотрудничать с вашей организацией в предлагаемой вами акции. Мы настоятельно рекомендуем вам «забыть» о русских в Германии. Почему вы вообще выбрали этих несчастных ребят? Чем скорее вы оставите их в покое и предоставите их нам, тем лучше для наших будущих отношений».

Мандерстам осведомился, нет ли у Чичаева с собой письменного ответа, но тот раздраженно ответил: «Москва вообще не понимает, почему вы так настаиваете на письменном ответе. Никакой необходимости в этом нет, к тому же все наши предыдущие переговоры проводились устно. Да и вообще все это выглядит очень странно. Я уверен, что вы предложили эту акцию не без задней мысли».

«Задняя мысль» самого полковника Чичаева заключалась, скорее всего, в понимании того факта, что, если кто-нибудь когда-нибудь получит и прокомментирует документ, в котором Советский Союз открыто отказывается от предложенных англичанами мер, могущих приблизить победу, возникнет крайне неприятная ситуация.

Категорически отвергнув план ССО по созданию паники и саботажа в самом центре нацистской Германии, Чичаев вернулся к теме, действительно живо интересовавшей его начальство, попросил разрешения навестить четырех русских добровольцев, которые, как ему известно, сейчас находятся в тренировочной школе ССО.

Мандерстам добродушно ответил, что поскольку советские власти не выказали никакого интереса к предложенной операции, то и надобность в свидании с добровольцами отпадает. Да и вообще, они вскоре вернутся в лагерь для военнопленных, и там Чичаев, несомненно, сможет устроить интервью по обычным каналам. Чичаев настаивал: неужели ССО не может помочь устроить допрос? Когда эти четверо вернутся в лагерь? Но Мандерстам оказался не в состоянии дать точный ответ на эти вопросы: НКВД ведь понадобилось несколько недель, чтобы откликнуться на просьбу ССО о сотрудничестве, а английская бюрократия работает с неменьшим скрипом.

Сбитый с толку Чичаев заговорил о другом. Представителем ССО в Москве был бригадир Джордж Хилл, пользовавшийся горячим расположением советской разведки: он оказался прямо-таки ходячей утечкой информации. Чичаев спросил Мандерстама, нельзя ли ему получить каталог британских «игрушек», который обещал ему бригадир Хилл, когда возил Чичаева на одну из английских станций. Под «игрушками» подразумевались специальные взрывные устройства и другие средства саботажа, которыми ССО снабжала своих агентов в оккупированной нацистами Европе: карандаши-ружья, газовые пистолеты и быстродействующий яд, после которого не оставалось никаких следов, кроме признаков эндемического сифилиса. Все это хранилось в галерее Музея естественной истории, отданного на время войны в распоряжение ССО. Но

Мандерстама не так-то легко было сбить с толку: «Я сказал ему, что узнаю насчет этого и, конечно, взамен мы рассчитываем получить от них аналогичный каталог. Он согласился: почему бы и нет — в самом деле, разве мы не союзники?»

Однако СМЕРШу так и не удалось ознакомиться с этими «игрушками», и «первому кругу» ГУЛага пришлось привлечь кое-кого из ведущих ученых для создания своих собственных «игрушек».

Ничего не добившись, Чичаев ни с того ни с сего принялся обвинять англичан в том, что они-де плохо обращаются с русскими военнопленными. Когда Мандерстам заметил, что еще совсем недавно Чичаев упрекал англичан в излишнем мягкосердечии, тот пробурчал: «Поди угадай, когда в человеке может проснуться зверь».

Несмотря на все эти колкости, расстались они вполне по-дружески и даже условились в следующий четверг пойти в театр «Савой».

Эту беседу можно посчитать образцом того, как следует вести переговоры с советскими представителями. НКВД успешно блокировал предложения англичан — но и Мандерстам ничего не уступил советской стороне. Никаких отрицательных последствий эта встреча не имела, и Чичаев из кожи лез вон, чтобы доказать Мандерстаму свое дружеское расположение. Государственные мужи Ялты и Потсдама могли бы многое почерпнуть из изучения протоколов этой беседы и ее последствий.

Но мидовским чиновникам сообщение Мандерстама о результатах встречи не понравилось. Джоффри Вильсон отметил в своей записке, что его вовсе не удивляет отказ советских властей от сотрудничества в предлагаемой операции: они справедливо обижены загадочным отказом ССО разрешить НКВД предварительно допросить добровольцев. Записка Вильсона завершалась ядовитым замечанием: «Сомневаюсь, что полковник Чичаев высокого мнения о майоре Мандерстаме». Его коллега Кристофер Уорнер добавил, что при следующей встрече не мешало бы выговорить Мандерстаму за глупость.

Министерство иностранных дел приказало ССО передать НКВД сорок русских, которых готовили для выброски в Германии. Разумеется, сотрудникам ССО пришлось подчиниться, но когда за этими людьми послали, они куда-то исчезли, и найти их не удалось (кто-то намекнул русским о предстоящей передаче их НКВД). Сотрудники ССО рассыпались в извинениях, но делать было нечего.

Вернемся, однако, к решению Военного кабинета от 4 сентября уступить требованию СССР о возвращении всех советских граждан. Напомним, что кабинет соглашался на это при одном условии: советское правительство должно гарантировать, что к пленным, репатриируемым таким образом, не будет применено никаких мер, могущих вызвать ответные репрессии со стороны немцев по отношению к английским военнопленным.

11 сентября советский посол Гусев явился к Идену. На этот раз он был в агрессивном настроении, и на удивленного министра иностранных дел обрушился град упреков. Главные обвинения сводились к тому, что английские охранники плохо обращаются с

русскими пленными (существование которых советское правительство преспокойно игнорировало на протяжении нескольких недель) и что вследствие антисоветской пропаганды, распространяемой фашиствующими элементами, незначительная часть пленных отказывается возвращаться на родину. Гусев добавил, что к русским нельзя относиться как к военнопленным, поскольку подавляющее большинство их было принуждено к службе в немецких войсках под давлением, и, следовательно, они никогда не были частью вражеских вооруженных сил.

Министр иностранных дел знал, что жалобы на плохое обращение с пленными не соответствуют действительности. Он возмутился, и последовало то, что его коллега Орм Саржент назвал «бурным объяснением». По словам самого Идена, он чуть было не бросил советскому послу открытый упрек в необоснованности его обвинений, но сдержался и ограничился лишь тем, что довольно холодно простился с Гусевым.

В решении кабинета, вынесенном неделю назад, имелась всего одна оговорка относительно условий репатриации русских. МИД немедленно подтвердил, что «понимает решение кабинета так, что военнопленные на Ближнем Востоке не будут переданы русским до получения гарантий от советских властей». Через два дня МИД представил военному министерству проект письма советскому послу, где сообщалось о решении кабинета и подробно излагалось настоятельное требование соблюдать условие о том, что пленные не должны быть «подвергнуты наказаниям, могущим вызвать риск немецких репрессий». Военное министерство одобрило текст.

Но тут в дело вмешался Иден. Понимая, что он был слишком прямолинеен в разговоре с Гусевым, министр счел неразумным выдвигать вообще какие бы то ни было условия. Орм Саржент срочно позвонил сэру Фредерику Бовеншену, предлагая военному министерству одобрить предложение министра иностранных дел и не ставить советским властям никаких условий. Военное министерство не возражало. Так провалилась попытка хоть немного ограничить произвол советских властей в отношении репатриируемых.

Тут, однако, возникла новая проблема, которой Орм Саржент коснулся в телефонном разговоре с Бовеншеном. Настаивая на снятии условия, рекомендованного кабинетом, он заметил, что «требовать таких гарантий... значит обострять дело, и это может отразиться на обращении русских с нашими собственными военнопленными, когда они после немецкого плена окажутся в руках Красной Армии».

Английские и американские военнослужащие, взятые в плен немцами, обычно размещались в лагерях в Восточной Германии, в Польше или на Балканах. По данным союзной разведки, зимой 1944/45 года в этих лагерях находилось около 40 тысяч англичан и 75 тысяч американцев, и было очевидно, что большинство их будет освобождено Красной Армией по мере ее продвижения в Польшу и на Балканы. Союзные правительства считали быстрое и безопасное возвращение своих освобожденных граждан на родину

делом первостепенной важности. 11 июня 1944 года главы английской и американской военных миссий в Москве обратились в Генштаб Красной Армии с просьбой известить их, когда будут освобождены лагеря, где содержатся англо-американские военнопленные, а также обеспечить освобожденным хороший уход. Советские власти сначала заверили, что все будет сделано, но впоследствии саботировали все попытки сотрудничества в этой области.

Однако теперь, когда советские власти требовали возвращения своих собственных граждан, находившихся в плену в Западной Европе, появилась вероятность того, что с советскими представителями удастся сотрудничать более плодотворно. И действительно, глава советской военной миссии в Англии генерал-майор Васильев намекнул, что «советское правительство исполнено готовности отослать находящихся у нас пленных домой, равно как и получить назад своих собственных». Правда, через неделю военное министерство получило тревожную телеграмму от главы английской военной миссии в Москве генерала Бурроуса. Он жаловался, что, хотя «сделано все возможное», чтобы склонить советские власти к сотрудничеству в помощи освобожденным английским пленным, все эти попытки «натолкнулись на полное нежелание русских сотрудничать». Бурроус предлагал «в подходящий момент проинформировать Васильева, что сроки репатриации советских военнопленных зависят от отношения Советов к нашим пленным».

Военное министерство не без колебаний одобрило это предложение. Военный министр сэр Джеймс Григг высказался по этому поводу весьма пессимистически. «В целом я согласен, — писал он, — хотя у меня есть искушение предложить МИД с самого начала выбрать более жесткий курс. Впрочем, они все равно на это не согласятся!»

И он был совершенно прав. МИД, несомненно, отказался бы от жесткой линии. Правда, мидовские чиновники отважились на предложение «прозрачно намекнуть» генералу Васильеву, что советские требования встретят куда более теплый прием, если советская сторона проявит взаимность; и 27 сентября бригадир Файербрейс из группы связи с русскими сделал этот «прозрачный намек». В соответствии с инструкциями он объяснил Васильеву, что несговорчивость советских властей может отрицательно сказаться не столько на практических мерах по репатриации русских, сколько на юридических процедурах по определению статуса русских пленных в Англии. Вышинский в Москве и Гусев в Лондоне возражали против того, что англичане считают оказавшихся в их руках русских военнопленными, находя это оскорбительным для подданных союзного государства, и требовали, чтобы с ними обращались как «со свободными гражданами союзной державы». Англичане объясняли, что для этого необходимо принять специальный закон — «Акт о союзных вооруженных силах», составленный с учетом нужд правительств в изгнании, таких, как французское и польское, пожелавших содержать военные части на территории Англии. Сейчас МИД склонялся к тому, чтобы задержать принятие

такого закона до ответа советских властей. Файербрейсу, растолковывавшему ситуацию советскому собеседнику, пришлось попотеть: Васильев никак не мог взять в толк, что в Англии даже правительство должно соблюдать законы, и упорно полагал, что всему виной — британское коварство. Но независимо от того, понимал ли Васильев хитросплетения английской юрисдикции или нет, английские власти решили отложить применение «Акта» до тех пор, пока советские власти не проявят большей готовности к сотрудничеству. Генерал Бурроус в Москве был извещен об этом шаге.

К сожалению, действенность угрозы МИД снижалась тем, что советские власти резко возражали против «Акта». Не понимая его назначения, они месяцами оттягивали его принятие и согласились на него только в 1945 году. В конце сентября полковник Филлимор из военного министерства так подытожил состояние дел: «Положение таково, что мы обязались идти навстречу требованиям Советов и многое сделали в этом направлении; но для того, чтобы что-то получить от советских властей, нужно решить важнейшие вопросы о содержании и статусе военнопленных... Меж тем Советы торопят и нас, и американцев. Я обращаю ваше внимание на их приемы: все их обращения к нам начинаются с обвинений...»

Самые сильные из этих обвинений содержались в письме Гусева Идену от 27 сентября, где в весьма резком тоне вновь поднимались вопросы, обсуждавшиеся в его разговоре с министром иностранных дел 11 сентября.

Напомним читателю, что Гусев до сих пор не получил письменного уведомления о решении кабинета пойти навстречу советским пожеланиям в вопросе репатриации и даже, возможно, не слишком верил в готовность англичан к сотрудничеству. К тому же, он, по всей вероятности, считал своим долгом выдвигать обвинения, которыми впоследствии можно было бы объяснить любые помехи в деле репатриации и протесты русских, не желающих возвращаться на родину. Эти жалобы сводились к огульным обвинениям англичан в злоупотреблениях лояльностью русских. Тем самым на англичан как бы возлагалась прямая или косвенная ответственность за сопротивление русских военнопленных репатриации. Отсюда можно было заключить, что подавлять это сопротивление — тоже дело англичан.

Крайне возмущенные этими обвинениями, английские власти начали готовить пространное опровержение, подробнейшим образом выявляя их лживость. Советские представители действительно зашли слишком далеко, и было необходимо показать им, в чем именно они заблуждаются. Ни одному мидовскому сотруднику не пришло в голову, что советские деятели прекрасно разбираются в ситуации, а атака против англичан предпринята исключительно из тактических соображений.

В последний момент, однако, советская методика разом изменилась. Из Москвы пришла телеграмма от генерала Бурроуса. Он сообщал, что его новый советский коллега, только что заступивший на должность, «чрезвычайно сочувственно отнесся к этому делу и

обещал ускорить решение вопроса» об участии англичан в репатриации английских военнопленных, освобожденных Красной Армией. Он заявил со всей ответственностью, что командиры Красной Армии получили инструкции создать наилучшие условия для освобожденных пленных союзных армий. «Я сообщаю вам об этом незамедлительно, так как это первый признак того, что советский Генеральный штаб намерен принять участие в работе». Прошло всего два дня — и Вышинский пожаловался английскому послу в Москве на оскорбительное отношение к русским в Англии.

Пока советские власти морочили англичанам голову, события приняли неожиданный оборот. Черчилль, обеспокоенный явным столкновением интересов союзников в Польше и на Балканах, предложил, что они с Иденом поедут в Москву и попытаются лично уладить все дела со Сталиным. 1 октября от генералиссимуса пришло благосклонное согласие. Решено было лететь через неделю. Так, наконец, возникла возможность разобраться в этом затянувшемся деле о репатриации русских и английских пленных. МИД и военное министерство в спешке готовили для министра иностранных дел подробные сводки по данному вопросу. Главные цели были сформулированы так:

1. Склонить советские власти к сотрудничеству в обеспечении надлежащего ухода и репатриации английских пленных, освобожденных Красной Армией.

2. Заверить их в том, что русские, находящиеся в Англии, Франции и Египте, будут репатриированы, как только будет практически решена транспортная проблема.

3. Поскольку советские власти настаивают на том, что их подданные в Англии не могут пользоваться статусом военнопленных, убедить их принять в качестве единственной разумной альтернативы «Акт о союзных вооруженных силах».

4. Опровергнуть несправедливые обвинения, выдвинутые Гусевым.

Тем временем английский Комитет начальников штабов сообщил МИД о возможности найти подходящий транспорт для отправки русских «и обеспечить репатриацию 11 тысяч человек без ущерба для наших прочих нужд, при условии, что этот транспорт к концу ноября вернется в Англию». Однако в сообщении высказывалось предположение, что Советы «скорее пойдут нам навстречу, если мы не сделаем первого шага». Это была последняя попытка связать советское правительство соглашением, в котором оговаривались бы взаимные обязательства относительно репатриации пленных. Но начальники штабов не могли предугадать дальнейшего хода событий.

Через два дня, 11 октября 1944 года, Черчилль и Иден принимали Сталина и Молотова на обеде в английском посольстве в Москве. Стоял прекрасный солнечный день, и у премьер-министра и министра иностранных дел были все основания для оптимистического, радостного настроения. Они только что с блеском и в хорошем темпе провели переговоры, в результате которых большая часть Балкан была отдана под советский контроль. Может быть, поэтому Молотов в тот день был в необычайно хорошем расположении духа. Казалось, эта встреча руководителей союзных государств самым благоприятным образом завершила переговоры, которые могли бы тянуться до бесконечности.

Гости прибыли в 9 часов, за столом царило праздничное оживление. Иден имел возможность вдосталь наговориться со Сталиным, которого от него отделял только переводчик Павлов. Советский лидер был в превосходной форме, в беседе он блистал остроумием и мудростью. Он шутил насчет неугомонных поляков, рассказал длинный анекдот (оставшийся Идену непонятным) о партии крымского вина, захваченного у немцев. Иден чувствовал, что его былое восхищение Сталиным разгорается с новой силой. Впервые он встретил этого необыкновенного человека девять лет назад и сразу почувствовал к нему то необъяснимое уважение, для которого не существует ни классовых, ни национальных, ни идеологических барьеров. Он писал о своей встрече со Сталиным в 1935 году: «Сталин с первого взгляда произвел на меня неизгладимое впечатление, и мое мнение об его способностях осталось непоколебленным. Его сильная личность обнаруживает себя без всяких стараний с его стороны. У него врожденные хорошие манеры, вероятно, это грузинская черта. И хотя я знал, что это безжалостный человек, я уважал его несомненный ум и даже чувствовал к нему симпатию, которую я не в состоянии объяснить до конца».

Вдруг Сталин помрачнел и, исподлобья поглядывая на Идена, заговорил о другом. Последующий разговор привел Идена в крайнее возбуждение. В телеграмме, посланной им назавтра Орму Сарженту в Лондон, эйфория бьет через край: «Вчера на обеде в беседе с маршалом Сталиным был затронут вопрос о русских войсках, находящихся у нас в Англии. Маршал сказал, что был бы чрезвычайно признателен, если бы можно было устроить их возвращение в СССР. Я сказал, что мы с радостью сделаем все, чтобы помочь, и что, несмотря на большие трудности с транспортом, мы сейчас рассматриваем возможность их отправки на родину, решая попутно проблемы транспорта и эскорта. Маршал повторил, что был бы очень обязан нам, если бы мы могли организовать для него это дело. Я ответил, что он может в том не сомневаться и что мы сделаем все возможное, чтобы помочь. Со своей стороны я высказал уверенность, что его правительство сделает все, чтобы помочь нашим пленным в Германии, когда и если Красная Армия дойдет до немецких лагерей, где они содержатся. Маршал сказал, что, конечно, это будет сделано, он лично проследит за этим. Он дал мне слово, что о наших людях будет проявлена максимальная забота. Я думаю, что в свете этого разговора было бы крайне неразумно пытаться связывать перевозку русских на родину с вопросом о наших пленных. Мы должны все обеспечить, и когда мы окончательно сообщим русским о мерах, которые мы можем предпринять, нам следует напомнить им о том, что сказал мне маршал Сталин насчет отношения к нашим людям».

Вот так, в мгновение ока, во время обеда, был решен вопрос о русских военнопленных. Государственные мужи смеялись, пили и

болтали за праздничным столом до самого рассвета. Когда на другой день Иден, усталый, но счастливый, поднялся с кровати, время близилось к полудню. Вечером он отправил приведенную выше восторженную телеграмму сэру Сарженту. Она случайно пересеклась со встречной телеграммой от Саржента, который, словно неким телепатическим образом предугадав точку зрения Идена, рекомендовал отказаться от каких бы то ни было условий «из тактических соображений — чтобы разрядить враждебную атмосферу».

Постоянный заместитель министра сэр Александр Кадоган писал, что вся неловкая ситуация «была снята в высшей степени удовлетворительным заверением, которое мой министр получил от маршала Сталина». Английский Комитет начальников штабов получил приказ приступить к созданию условий для скорейшей репатриации русских пленных, и через четыре дня Кадогану сообщили, что к 23 октября будут готовы два военных транспортных судна.

Иден был убежден, что сталинские заверения исключают какие бы то ни было условия с английской стороны. Он отказался и от мысли ответить на обвинения, выдвинутые в «грубой записке» Гусева, поскольку это может «вновь привести к спорам». Сотрудник военного министерства Бовендшен так сформулировал новую позицию англичан:

а) Репатриация продолжается.

б) Никаких грубых записок посольству.

в) Никаких распоряжений насчет «Акта» (о союзных вооруженных силах), пока нас не попросит МИД.

16 октября, в 4.30, Иден, встретившись в Кремле с Молотовым, заявил, что англичанами обеспечены условия для репатриации первых 11 тысяч советских граждан; остальные будут доставлены в СССР при первой же возможности. Молотов выразил свою благодарность и тут же перешел к пункту, который очень беспокоил советских руководителей.

Считает ли правительство его величества, что все советские граждане без исключения должны быть возвращены в Россию как можно скорее?

Иден ответил, что да и что для этого выделены корабли.

Молотов сказал, что для него это принципиальный вопрос. Пока что он не получил ответа от английского правительства.

Иден ответил, что у него нет никаких сомнений на этот счет...

Молотов сказал, что очень признателен, но речь идет о правах советского правительства и советских граждан, а вовсе не о транспорте. Согласно ли английское правительство, что вопрос о возвращении советского гражданина в СССР не может решаться исключительно на основании желания либо нежелания индивидуума? Некоторые советские граждане могут не захотеть вернуться, потому что они помогали немцам, но советское правительство требует права возвращения для всех своих граждан.

Иден сказал, что он не возражает. Английское правительство хочет видеть всех этих людей под опекой советской администрации.

Молотов высказал предположение, что советские власти сами должны решать судьбу своих граждан.

Иден согласился, что ... до возвращения на родину русские, находящиеся на территории Англии, должны находиться под опекой советских властей в рамках английского закона.

Молотов закрыл дискуссию в обычной советской манере, выдвинул явно наобум нелепое обвинение в плохих условиях в одном из английских лагерей. Впрочем, обвинение это, против обыкновения, было высказано как-то нерешительно — словно Молотов понимал, что все равно Идену больше уже нечего уступать.

Иден телеграфировал в Лондон о новых успехах. До завершения визита в Москву, известного под кодовым названием «Толстой», Черчилль обменялся со Сталиным несколькими шутливыми фразами.

Премьер-министр сказал: «Что касается еды, то Англия, по просьбе маршала Сталина, обеспечила отправку в СССР 45 тысяч тонн солонины. Мы, кроме того, отправляем в СССР 11 тысяч бывших советских военнопленных, чтобы было кому эту солонину есть».

Маршал Сталин сказал, что «очень многих военнопленных заставили воевать за Германию, тогда как остальные пошли на это по доброй воле».

Премьер-министр заметил, что нам очень трудно разделить эти две категории. Поскольку они сдались нам, мы имеем право ходатайствовать за них, и он выразил надежду, что все они будут отосланы в СССР.

В тот самый момент, когда происходила эта странная беседа, несчастной английской делегации была вручена советская нота. В ней содержалась еще одна яростная атака на обращение англичан с советскими пленными, повторялись все прежние обвинения Гусева и добавлялись новые. Должно быть, английская делегация вела себя слишком почтительно и советское правительство заподозрило, что англичане задумали какую-нибудь каверзу.

Глава 4

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ЯЛТЕ

Уинстон Черчилль, тогда еще только вступавший на политическое поприще, 6 марта 1931 года призвал почтенное собрание в Ройял-Альберт-Холле «протестовать против жестокостей в советских лагерях и требовать запрета на ввоз в Англию изделий из СССР, изготовленных заключенными». Его речь была опубликована на следующий день в «Таймс». Рассказав об ужасах лесоповала в советских лагерях, он добавил: «Царящие здесь условия сравнимы лишь с рабством. Советское правительство всей своей мощью обрушивается на политических оппонентов, тысячами ссылая их в эти страшные места заключения... Если мы сегодня обнаружили, что наше правительство прощает эти гнусности в России, поглаживая по спине зверя, выпустившего когти (оживление в зале), — если сегодня мы обнаружили такую ситуацию и одновременно с этим увидели некоторый застой в нашей жизни, то это потому, что мы на какой-то момент — признаем это честно — поддались слабости и смятению... Голосуя за предложенную резолюцию, присутствующие выразят свой решительный протест против системы наказания и принудительного труда в России, которой, по словам Гладстона, «вряд ли сыщется ровня в темном, грустном перечне человеческих преступлений».

С тех пор прошло четырнадцать лет. Сталинские чистки и экономическая политика довели население исправительно-трудовых лагерей до 15—20 миллионов. (Когда Черчилль выступал в Альберт-Холле, эта цифра не превышала двух миллионов.) Условия в лагерях ухудшились, и огромный контингент рабской силы, управляемый властями ГУЛага, стал одним из главных — а может, и главнейшим — фактором советской экономики.

История иногда не прочь подшутить: Черчиллю едва не пришлось ехать на конференцию в Крым вместе с транспортом будущих рабов. В письме к премьер-министру от 1 января 1945 года генерал сэр Хастингс Исмей писал: «Маршал Сталин настаивает на репатриации советских граждан, взятых нами в плен на Западном фронте, и есть предложение отправить тысячу-другую на «Франконии», если вы разрешите. Я уверен, их можно полностью отделить от нашей группы, обеспечив им нормальные санитарные

условия. Разумеется, их выгрузят немедленно по прибытии, так что вам они никак не помешают».

Однако это предложение не было принято, и для перевозки русских военнопленных пришлось искать другие средства.

... На конференции «Толстой» в Москве остались нерешенными многие вопросы: содержание освобожденных русских, поддержание дисциплины в их рядах, их легальный статус в Англии, не говоря о практической проблеме возвращения тысяч пленных, уже собранных воедино в лагерях Западной Европы и Северной Африки. Что же касается англо-американских военнопленных, находившихся в Восточной Европе, то Англия и США намеревались добиться возможности послать офицеров связи за линию фронта Красной Армии, чтобы они установили контакт со своими соотечественниками, выпущенными из лагерей и оказавшимися на чужбине в полуголодном состоянии. Необходимо было также выяснить, как скоро можно осуществить обмен пленными по суше после встречи русских и американских армий в центре Германии. Все эти вопросы стояли на повестке дня, и Большая тройка в Ялте попыталась наметить пути их разрешения.

Отношение американцев к проблеме репатриации несколько отличалось от позиции англичан. Первое время после высадки американцы вообще не подозревали ни о каких сложностях. И вовсе не потому, что у них оказалось меньше русских пленных, чем у англичан: после первой горстки, взятой в плен в день начала операции «Оверлорд», они попадали к американцам тысячами. Это, как обычно, послужило поводом для яростных атак советской стороны.

Через месяц после высадки государственному секретарю Корделлу Хэллу была вручена жалоба на то, что один из офицеров штаба Эйзенхауэра распространяет в Лондоне заявление, чрезвычайно оскорбительное для русских пленных. После тщательного расследования выяснилось, что такого заявления просто не существует, хотя американские военные корреспонденты действительно отправляли на родину сообщения, сходные по содержанию с тем, которое цитировал советский представитель. Однако по приводимым цитатам трудно было понять, что именно так оскорбило советских чиновников. В сообщении шла речь о страшных лишениях и жестокостях, которые заставили многих русских записаться против воли в немецкую армию. Там говорилось, что многие из них воспользовались первой же возможностью, чтобы дезертировать (иногда застреливая при этом немецких командиров) и уйти к местным партизанам, воевавшим против нацистов. В сообщении прямым текстом было сказано, что попытка нацистов завоевать сердца и умы завербованных в восточные легионы почти полностью провалилась: «Большинство этих солдат сохранило свои моральные принципы и политические убеждения. Они считают себя гражданами СССР».

Что же тут вызвало возражения советских властей? Ответ можно отыскать в заключенной в скобки фразе о том, что примерно о десяти процентах русских, находившихся на службе у немцев,

«можно сказать, что они настроены пронемецки», а среди бывших офицеров Красной Армии «этот процент несколько выше». Советский Союз отказывался публично признать, что кто-либо из его подданных может стать в оппозицию к своему правительству. Еще меньше готов он был признать, что русские в этом деле вышли на первое место среди народов, воевавших против нацизма.

Однако поначалу американцы не видели никаких сложностей, связанных с русскими пленными. Большинство их было в немецкой форме, воевало в немецкой армии — поэтому американцы решили обходиться с ними так же, как с прочими немецкими пленными. На практике это означало, что русские оказались разбросаны по самым различным местам, в зависимости от того, к какой из армий, воевавших во Франции, они попали. На севере вела боевые действия 21-я группа армий под командованием Монтгомери; и до сентября 1944 года все русские пленные, захваченные на этом театре, направлялись в лагеря на территории Англии. В центре действовала 12-я группа армий под командованием Омара Бредли: захваченные ею русские содержались в лагерях для военнопленных под американской администрацией в освобожденной части Франции. Наконец, 6-я группа армий генерала Денвера в Южной Франции отправляла пленных в Северную Африку, в лагеря под английской администрацией. Таким образом, американцам пришлось иметь дело непосредственно только с пленными, захваченными войсками Бредли, и они никак не выделяли русских среди немецких пленных.

Англичане к тому времени уже обсуждали вопрос о репатриации с советским правительством. Но, одновременно с запросом Молотову о его намерениях в отношении пленных, Иден поручил лорду Галифаксу, английскому послу в Вашингтоне, доложить правительству США о ситуации: англичане хотели, чтобы политика союзных правительств в отношении русских военнопленных была общей. Разумеется, все решения относительно окончательной судьбы пленных следовало отложить до получения ответа от Молотова. В проекте телеграммы МИД лорду Галифаксу предлагалось в качестве условия потребовать от Советского Союза, во избежание контракций со стороны немцев, не отдавать военнопленных под суд сразу по их возвращении. Но из самой телеграммы это условие выпало — словно бы в предвидении скорой капитуляции по этому вопросу.

Примерно в это же время пришел запрос из штаб-квартиры ВКЭСС о возможности использовать взятых в плен русских из трудовых батальонов Тодта на строительстве военных объектов союзников за линией фронта. Американское правительство ответило быстро и весьма решительно. На всех пленных, захваченных в немецкой форме, говорилось в ответе, распространяется Женевская конвенция 1929 года, подписанная Великобританией, США и Германией. В соответствии со статьей 31 конвенции их нельзя использовать на работах для укрепления военной мощи союзников, возвратить же в СССР следует только тех пленных, которые наверняка снова окажутся в Красной Армии. Любое другое решение может

быть чревато опасностью немецких репрессий по отношению к военнопленным союзных армий.

В то же самое время правительство США не хуже английского понимало, что любое решение, касающееся русских военнопленных, должно быть в какой-то мере связано с положением американских пленных, которых, по всей вероятности, освободит Красная Армия. Статус американских и советских военнопленных был различен, поскольку американцы являлись просто освобожденными военнопленными, тогда как русские были взяты в плен в немецкой форме. К тому же среди русских было много гражданских лиц, и тут возникали сложности иного рода. Но проблемы содержания и возвращения подданных каждой страны были сходны, и эти вопросы неизбежно рассматривались на международных переговорах во взаимосвязи.

Уже 11 июня 1944 года главы английской и американской военных миссий в Москве обратились к советскому Генеральному штабу с запросом о том, какие меры будут приняты по отношению к пленным союзных стран, которые будут освобождены в ходе надвигающегося наступления Красной Армии. Позже, 30 августа, посол США Гарриман предложил Молотову меры по взаимному сотрудничеству в этом вопросе, который все больше занимал союзников. Молотов удосужился ответить только три месяца спустя, и львиная доля его письма состояла из необоснованных упреков.

Тем временем советский посол в США Андрей Громыко обратился к Госдепартаменту с требованием немедленно отослать в СССР — на американских судах — всех русских, взятых в плен американскими войсками. Особенно заботили его русские, которые вместе с немецкими пленными были переправлены через океан и находились сейчас на американской земле. По его требованию советский представитель получил разрешение навестить семнадцать таких пленных в лагере Патрик Генри, в Виргинии. Первый секретарь посольства Базыкин вернулся из лагеря с рассказами о том, что с пленными плохо обращаются и пичкают их антисоветской пропагандой. Громыко, не откладывая дела в долгий ящик, тут же — 12 сентября — написал жалобу заместителю госсекретаря Стеттиниусу. Вслед за этим нашелся новый повод для жалобы: США, дескать, завербовали нескольких русских пленных в свою армию. Американцы с нескрываемым сарказмом отвергли это обвинение, равно как и предложение, что среди пленных ведется антисоветская пропаганда.

В дальнейших переговорах с Соединенными Штатами советские представители ни разу не ссылались ни на одно из этих обвинений. Однако требование о немедленном возвращении всех русских пленных нельзя было оставить без ответа. 15 сентября государственный секретарь Корделл Хэлл отправил послу в Москве Авереллу Гарриману телеграмму с полным изложением позиции США в этом вопросе, одновременно предлагая ему выяснить советские пожелания относительно этого дела.

Хэлл начал с констатации факта: «Пока русские пленные находятся под опекой американцев, они пользуются статусом немецких военнопленных и обращение с ними отвечает условиям Женевской конвенции о военнопленных». Он добавил, что те, кто считает себя советскими гражданами, могут по их требованию быть возвращены в СССР. Но никого не следует отправлять назад силой, «чтобы избежать опасности ответных мер против американских граждан, находящихся в руках у немцев». Об этой позиции американцев советским властям стало известно 13 декабря 1944 года.

В результате визитов советских представителей многие пленные действительно потребовали возвращения на родину, и их желание было выполнено. Теперь требовалось официальное обращение к советскому правительству «с целью убедиться, каково пожелание правительства в отношении лиц, могущих признать себя советскими гражданами». Хэлл предложил Гарриману скоординировать усилия в этом деле с английским послом сэром Арчибальдом Кларком Керром, поскольку английский МИД недавно отправил аналогичный запрос в советское посольство в Лондоне.

Следует, однако, отметить, что между английской и американской позициями имелась существенная разница. Хэлл хотел урегулировать вопрос о репатриации только тех русских, которые считали себя советскими гражданами и соглашались вернуться на родину. Англичане же, напротив, просили посла Гусева известить их о советских пожеланиях относительно всех пленных, имеющих или имевших прежде советское подданство. А кабинет на заседании 4 сентября заранее решил согласиться на репатриацию всех русских пленных, если этого потребует советское правительство. Впрочем, это решение было секретным, и Госдепартамент США пока что о нем не знал.

Совершенно ясно, что Госдепартамент отказался от соблюдения принципов Женевской конвенции с большой неохотой и под крайним политическим нажимом. Английский МИД вел себя совсем иначе. Его позиция сводилась в основном к усилиям пойти навстречу советским пожеланиям еще до того, как они высказывались; так что Соединенным Штатам предстояло впервые столкнуться с точкой зрения своего союзника, отличной от их собственной. Первые сообщения об этом прибыли от политического советника США в Италии Александра К. Кирка. Кирк был поверенным в делах США в американском посольстве в Москве в самый разгар сталинского террора, а потому он мог представить себе трагические последствия, которые повлечет за собой отказ Англии от принципов, бывших до сих пор неотъемлемой частью ее национального достояния. Кирк телеграфировал Хэллу из штаб-квартиры союзных сил в Казерте: «Согласно информации, полученной в штаб-квартире союзных сил от английского военного министерства, достигнуто соглашение с советским правительством о репатриации советских граждан, которые находятся сейчас в качестве военнопленных на Ближнем Востоке или которые будут взяты в плен в будущем. Репатриация не связывается с их желанием вернуться в Россию. В дальнейшем от советских граждан не будет требоваться подтверждение их готовности вернуться на

родину. На Ближнем Востоке получены инструкции из Лондона применять это соглашение и как можно скорее обеспечить перевозку этих лиц в Тегеран. Макмиллан (в то время постоянный министр в штаб-квартире союзных сил в Казерте), вероятно, получит инструкции на этот счет от МИД».

На следующий день Кирк послал еще одну телеграмму: «Полагаю, что Департамент сочтет полезным убедиться в характере методов по принуждению русских военнопленных к возвращению в СССР, хотя в силу предыдущих соглашений им предоставлялась возможность сохранить статус военнопленных. К тому же, насколько я понимаю, некоторые были захвачены нашими войсками и переданы англичанам по соглашению, в котором оговаривалось это условие».

Последний намек относился к русским, сдавшимся 6-й группе армий США в Южной Франции и из соображений удобства отвезенным в лагеря в Египте, из-под американского — под английский контроль. Их число превышало 4 тысячи. Недавние изменения английской политики могли привести к тому, что англичане вернули бы захваченных американцами русских в СССР, и в этом были бы невольно повинны американцы, позволившие себе нарушить Женевскую конвенцию. К тому же эта ситуация была чревата и опасностью немецких репрессий по отношению к американским военнослужащим в немецком плену.

Макмиллан известил МИД о позиции Кирка и опасениях американцев. Патрик Дин ответил на это, что репатриация русских вовсе не означает нарушения конвенции, а полковник Филлимор из военного министерства заявил следующее: «Если власти США с этим не согласны, пускай забирают их назад».

Во всяком случае, щепетильность американцев не оказала никакого влияния на действия англичан. До сих пор репатриации пленных в СССР мешала нехватка транспортных средств, но на Ближний Восток уже пришли инструкции с требованием вернуть находившихся там пленных, «независимо от того, хотят ли они возвращаться в Россию или нет». Командующий английскими войсками в Персии и Ираке запросил, как следует относиться к репатриируемым русским — «как к представителям союзной армии, находящимся в пути, или как к военнопленным, к которым применимы соответствующие ограничения». Генерал Гепп, заведующий отделом военнопленных, ответил: «Мы не возражаем против того, чтобы к русским относились как к представителям союзных армий, при условии, что они не сбегут по дороге». Это парадоксальное заявление представляется идеальным примером английского компромисса. Не менее остроумным способом справились англичане и с ситуацией, которая могла бы возникнуть в случае отказа командующего на Ближнем Востоке приказать английским войскам стрелять в убегающих пленных: на сей предмет были приглашены советские охранники, не отягощенные подобными предрассудками.

Американские чиновники были явно заинтригованы новой политикой англичан. В ответе на телеграмму Корделла Хэлла от 15 сентября посол США в СССР Гарриман констатировал, что английское посольство пока не может предоставить точной информации отно-

сительно этой политики. Кларку Керру удалось увидеть только копию телеграммы ближневосточным властям, которую уже прокомментировал Кирк из штаб-квартиры в Казерте. Из этой телеграммы следовало, что англичане рассматривают возможность насильственной репатриации. Гарриман заключил, что Соединенным Штатам тоже придется решать вопрос о применении силы. При этом надо было серьезно подумать об опасности репрессий по отношению к американским военнослужащим, находящимся в немецком плену.

Англичане еще не сообщили Соединенным Штатам о решении кабинета от 4 сентября. 26 сентября сотрудник посольства Англии в Вашингтоне Пол Гор-Бут, позднее постоянный заместитель секретаря МИД, информировал американские власти, что его правительство еще не пришло к окончательному решению о применении силы к русским военнопленным. Разумеется, это ни в коей мере не соответствовало истине, но нам до сих пор неизвестно, почему МИД вводил американцев в заблуждение. Посол Англии в Вашингтоне лорд Галифакс писал в МИД, что американцам не терпится получить полную информацию относительно намерений англичан. Рассказывая о жалобах Громыко, которые отвергли Хэлл и Стеттиниус, он замечает: «Госдепартамент теряется в догадках относительно причин столь внезапного нажима. Правда, здесь имели место локальные конфликты, в какой-то мере связанные с данным вопросом. Иммиграционные власти в Сиэтле недавно отказались содействовать возвращению моряков, сбежавших с советского судна».

Далее лорд Галифакс писал: «Между тем американские власти проводят допросы пленных русского происхождения. В группе из семнадцати человек восемь заявили, что не желают возвращаться в Советский Союз... Понимая, что за всем этим могут стоять более серьезные проблемы, американцы хотели бы знать ваше мнение по этому вопросу».

Можно с большой долей уверенности предположить, что именно вызывало гнев советских представителей. Ведь англичане еще не заявили о своем полном согласии с советскими требованиями, а американцы начинали выказывать признаки нежелания сотрудничать именно в этом главном для советских интересов вопросе — возвращении всех без исключения беглых. Советская тактика в таких случаях неизменно сводилась к потоку категоричных обвинений, где на долю реальных фактов выпадала самая ничтожная роль. Эти обвинения, вручаемые одновременно соответствующим инстанциям в Лондоне и Вашингтоне, будоражили МИД и ставили в тупик Госдепартамент.

Кирк передал из Италии записку МИД Макмиллану, в которой Патрик Дин высказывал мнение, что, поскольку конвенция не распространяется на русских пленных, применение силы к ним представляется вполне законным. Однако в пространном официальном английском меморандуме от 11 октября, где перечислялись детали предлагаемого «Акта о союзных вооруженных силах» (который, по расчетам англичан, должен был отвечать советским

пожеланиям), этот важнейший вопрос о применении силы вообще не затрагивался. Меморандум был вручен советским властям в тот самый день, когда охваченный эйфорией Иден на обеде в английском посольстве в Москве уступил Сталину все, что только мог.

Американские власти, смущенные явными противоречиями и ограничениями английской политики и возмущенные обвинениями и давлением советской стороны, по-прежнему считали, что все пленные, захваченные в немецкой форме и объявившие себя немецкими гражданами, должны считаться таковыми. Об этом они сообщили 19 октября сотруднику советского посольства в Вашингтоне Александру Капустину. Следовательно, всякий русский, не желавший возвращаться в СССР и понимавший свои права в соответствии с международным законодательством, мог рассчитывать на то, что американские власти будут рассматривать его как немецкого пленного. За этот шанс спасти свою жизнь ухватились немногие — к тому же к американцам в плен попала лишь незначительная часть русских пленных. Большинство их было запугано и совершенно дезориентировано, они привыкли к побоям, жестокому обращению, непонятным приказам. В массе своей это были люди малообразованные, встречались и вовсе не грамотные. Даже офицеры, скорее всего, не понимали прав, предоставляемых им Женевской конвенцией. Да и как могло быть иначе: ведь они выросли в стране, которая отказалась не только от Женевской конвенции, но и от законопорядка вообще.

Большая часть русских, находившихся в американских лагерях, была подготовлена к возвращению в СССР. Лагеря посетил советский военный атташе полковник Сараев. Как и в Англии, здесь были пущены в ход посулы, ложь и угрозы. Весьма неприятный инцидент имел место в лагере в Индиатаун Гэп, в Пенсильвании: один из пленных приветствовал Сараева нацистским салютом. Большинство, впрочем, считало, что в конце концов их все равно заставят вернуться на родину, а коли так — то разумнее с самого начала выказать добрую волю. Некоторые, догадываясь, что ожидает их по возвращении, заявили о своем отказе возвращаться в СССР, но, поскольку они уже назвались советскими гражданами, американские власти не могли понять, как быть с этой промежуточной категорией пленных. Их нельзя было рассматривать как немецких военнопленных, поэтому от репатриации их могли спасти лишь два фактора. Во-первых, Госдепартамент мог предоставить им, в соответствии с американской традицией, убежище как политическим беженцам. Во-вторых, США все еще опасались германских репрессий в отношении американских военнопленных, находящихся в плену у немцев. С другой стороны, трудно было отвергнуть советские претензии на людей, которые сами заявили о своем советском гражданстве.

Американские власти долго не могли прийти к окончательному решению. 17 октября Бернард Гафлер, сотрудник Госдепартамента, занимавшийся проблемами военнопленных, запросил, действительно ли США рассматривают возможность введения «новой политики», в результате чего «советским властям будут переданы

люди, которых до сих пор отказывались вернуть, поскольку они не желали возвращаться в СССР». Гафлеру явно не нравилась эта перспектива, и он был против такой политики, но давление на американские власти возрастало с каждым днем.

Через несколько дней Эйзенхауэр из штаб-квартиры ВКЭСС отправил письмо Объединенному комитету начальников штабов. Он писал о ненормальном положении русских военнопленных, взятых в плен 12-й группой армий под командованием Бредли, находившихся под опекой США и, следовательно, подлежащих скорее американской, чем английской юрисдикции. Эйзенхауэр настаивал, чтобы Соединенные Штаты вели политику, которая отвечает пожеланиям только что прибывшей в ВКЭСС советской миссии. Это требование поддержал английский МИД, опасавшийся, что в случае отказа на него «обрушится новый шквал жалоб, ответить на которые будет очень трудно». Объединенный комитет начальников штабов подготовил проект ответа, одобряющий требования Эйзенхауэра, но Госдепартамент не спешил соглашаться на проведение в жизнь этого решения.

Нетерпение Эйзенхауэра можно понять: ему трудно было объяснить советской комиссии, почему среди русских, взятых в плен американцами, одних репатриируют без всяких проволочек, а других месяцами держат в лагере. 23 сентября советский посол Громыко в письме государственному секретарю Хэллу потребовал скорейшего возвращения всех советских граждан, находившихся под американской опекой. Объединенный комитет ознакомился с письмом, и 2 ноября адмирал Леги, начальник штаба президента Рузвельта, передал государственному секретарю проект ответа. Леги считал, что, поскольку англичанами в отношении военнопленных уже проводится определенная политика, с военной точки зрения было бы нежелательно договариваться с правительством СССР об особом американском подходе к этому вопросу. Проект был принят и более или менее дословно повторен в письме, врученном шесть дней спустя исполняющим обязанности государственного секретаря Стеттиниусом советскому послу Громыко. В письме говорилось: «Правительство США примет все необходимые меры, чтобы отделить всех пленных, заявивших о советском гражданстве, и собрать их в специально установленном месте, где представители советского посольства смогут иметь к ним доступ для проведения допросов.

Всякое лицо, чьи утверждения о советском гражданстве будут проверены американскими военными властями при сотрудничестве вашего посольства и чье возвращение под советский контроль будет затребовано вами, будет передано вашим властям».

Итак, через два месяца после того, как Англия определила свою политику в отношении русских военнопленных, Соединенные Штаты тоже выразили намерение репатриировать — если понадобится, то и насильно — русских пленных, находившихся под их опекой. Официально объявить о решении мог только Госдепартамент, но приняли его первоначально военные власти, руководствуясь теми же соображениями, которые побудили английское правительство

и Госдепартамент с этим решением согласиться. Джордж Кеннан, работавший в ту пору в американском посольстве в Москве, объяснял недавно автору этой книги: «Я был тогда в Москве. Мы все понимали, что репатриацией и наказанием репатриируемых занимается НКВД, и не питали никаких иллюзий насчет дальнейшей судьбы по возвращении в СССР. Действия западных правительств внушали мне ужас и чувство стыда. Но я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь хоть однажды посоветовался об этой политике с нами, специалистами, бывшими в Москве, или чтобы нам официально сообщили о том, что делается. В Соединенных Штатах военные власти во время войны чувствовали свое превосходство и крайне редко обращались за консультацией к дипломатам, находившимся на месте событий, не говоря уже о мелких сошках, вроде меня».

Суждение профессора Кеннана представляется верным. Военные власти, естественно, хотели как можно скорее заполучить назад американских пленных, освобождаемых Красной Армией, и старались исключить при этом все возможные препятствия, мешавшие их сотрудничеству с советским Генеральным штабом. Кроме того, 6-я американская армия находилась теперь под командованием ВКЭСС, а это означало, что взятых ею русских пленных больше нельзя отправлять в СССР через Ближний Восток под эгидой английских военных властей. До сих пор американцам удавалось решать эту проблему, попросту игнорируя ее, теперь это стало невозможно.

Не исключено, что письмо Стеттиниуса от 8 ноября, информирующее Громыко о готовности США применить силу при репатриации советских граждан, послужило стимулом для возобновления кампании в советской прессе по скорейшему возвращению сынов отчизны, исстрадавшихся в разлуке с родиной.

Примерно тогда же Сталин решил, что США уже достаточно уступили СССР и приспела пора ответить на письмо посла Гарримана трехмесячной давности, в котором впервые выдвигалось предложение о сотрудничестве в деле взаимной репатриации освобожденных военнопленных. 25 ноября посол наконец получил ответ, подписанный Молотовым. Отдав дань непременным жалобам, нарком соглашался, что такое сотрудничество необходимо и приемлемо для советского правительства. Далее Молотов подчеркивал, что речь идет о репатриации всех без исключения советских граждан, независимо от их пожеланий или обстоятельств, в которых они находятся. Он также требовал, чтобы советские граждане рассматривались не как военнопленные, а как «свободные граждане союзной державы». Это требование, вероятно, было вызвано сообщением советского посольства в Вашингтоне о том, что некоторые русские с успехом используют в своих интересах права немецких военнопленных. Признать это открыто было невозможно, и советские власти решили возмутиться тем, что русские находились в одном лагере с немцами, «нашими общими врагами»!

Хотя Госдепартамент принял рекомендацию Объединенного комитета начальников штабов, это нимало не охладило энтузиазма английского МИД в проведении политики насильственной репат-

риации. 10 декабря, через месяц после того, как Громыко было отправлено письмо с этим решением, Стеттиниус получил запрос из Италии от Александра Кирка, который интересовался, действительно ли американцы согласились на применение силы при репатриации. Ответ из Вашингтона пришел через 10 дней: «Правительство Соединенных Штатов решило придерживаться следующей политики: все пленные, заявившие о своем советском гражданстве, будут выданы советскому правительству независимо от их желания».

Таким образом, судьба тех, кто «заявил о своем советском гражданстве», была решена. Но те, у кого хватило сообразительности назваться немецкими военнопленными, подпадающими под Женевскую конвенцию, не подлежали выдаче в СССР.

К этому времени американские военные власти перевезли советских граждан из лагерей, в которых они содержались, в Кемп Руперт, в Айдахо. 28 и 29 декабря 1100 русских вывезли из Руперта в порт на западном побережье США. В официальных американских документах об этой группе пленных было написано следующее: «Вчера в Руперте, прямо перед отправкой группы, советский полковник сказал представителям военных властей, что из Вашингтона пришло сообщение об отмене транспорта. Час спустя он заявил, что получил новые инструкции из Вашингтона и перевозка состоится. Из 1100 человек, отправленных на судно, около семидесяти не хотело ехать. Однако эти семьдесят уже заявили о том, что они советские граждане. Трое из них пытались покончить с собой: один пробовал повеситься, второй — заколоться, третий бился головой о балку в бараке. В конце концов все трое были отправлены в порт».

Несмотря на явные колебания Госдепартамента, выразившиеся в отсрочке выхода судна, русские пленные в тот же день отплыли во Владивосток. К 1 февраля, по сообщению военных властей США, «примерно 2600 человек из тех, кто заявил о своем советском гражданстве, были отправлены на советских судах в сибирские порты». О том, что случилось с ними после прибытия на родину, мы знаем из рассказа заключенного, встретившегося с бывшими военнопленными в лагерях в Воркуте: «Русские пересекли Тихий океан и прибыли во Владивосток. Здесь их сначала отправили в тюрьму, но на фронте не хватало людей, и они снова оказались в Красной Армии, которая в это время уже шла с боями по Польше. Они участвовали во взятии Берлина, а уже после этого их судили и дали по 25 лет за измену родине».

Суда с русскими пленными бороздили океаны в разных концах мира. 29 декабря первое такое судно вышло в Тихий океан. За два месяца до того первые группы из Англии были отправлены в Мурманск; а по Средиземному морю и пустыням Ирака и Персии уже целый год двигались конвои, переправлявшие русских на родину. Всех их ждала одинаковая участь, а пока что лучше всего жилось тем, кто оказался на Ближнем Востоке. Английские военные власти прилагали массу усилий к развлечению своих подопечных, и те из них, кто выжил после допросов и суда и оказался в Магадане или на Воркуте, наверное, не раз вспоминали прохладительные напитки у бассейна в Багдаде и английский оркестр, игравший под пальмами перед ужином. Среди репатриируемых было много крымских татар и других мусульман, «которые молились во всех мечетях. Они особенно ценили возможность вновь почувствовать себя мусульманами: по их рассказам, мечети у них на родине были разрушены».

Воспоминания об этой экзотической интерлюдии между заключением в немецком лагере и рабством в советском живо запечатлелись и в памяти тех, кто охранял русских военнопленных. В начале декабря 1944 года офицер Королевских инженерных войск Дж. Г. Франкау плыл в Хайфу на старом военном судне «Франкония» (через два месяца Черчилль с английской делегацией отправится на нем на Ялтинскую конференцию). На борту находился «новозеландский батальон, состоявший целиком — от командира до рядовых — из маори, и несколько сотен освобожденных русских военнопленных». Здесь же оказался и польский офицер, который, разговорившись с русскими, сказал Франкау: «Они уже целиком и полностью во власти своих комиссаров. Они говорят, что по возвращении не будут наказаны за то, что сдались в плен. Многие из них побывали в Швейцарии... Когда их спросили, что они думают о Швейцарии, они, если не ошибаюсь, ответили: «Неплохая страна, но, конечно, уровень жизни не такой высокий, как в СССР».

Франкау продолжает: «Наверное, у русских с маори возникали взаимные трудности в общении. Однако солдат это вроде как не смущало, потому что едва мы вышли в спокойное, залитое луной море, на верхней палубе раздалось пение. Сначала маори спели какую-то свою песню... Русские ответили своей... Англичане тоже решили было исполнить что-нибудь; однако вскоре мы отказались от этих попыток, понимая, что только портим дело. Лунный свет, странное, притягательное пение без слов и глубокое чувство товарищества — все это так подействовало на нас, что буквально все в ту ночь отправились спать со слезами на глазах. К тому же для нас война в Европе благополучно закончилась».

Но вернемся к дискуссиям в Лондоне, Вашингтоне и Москве. Красная Армия вошла в Польшу и на Балканы, и США все больше волновал тот самый вопрос, который оказал столь серьезное воздействие на решения Идена. Начиная с июня генерал Дж.Дин из военной миссии США в Москве постоянно обращался к советскому правительству с просьбой о заключении соглашений относительно освобожденных американских военнопленных и организации их возвращения на родину. Несмотря на неоднократные попытки обращения к Молотову, ответ последовал только в конце ноября, и в нем выражалось лишь общее согласие с принципом сотрудничества и ничего не говорилось о практических мерах, предложенных Дж. Дином и послом Гарриманом.

Между тем в США уже были доставлены на американских самолетах первые американские пленные из Восточной Европы — около тысячи человек. Их отправили в начале сентября из Румынии благодаря помощи румынского правительства, которое еще не

подпало полностью под советский контроль. Король Михай лично санкционировал это мероприятие, в котором, правда, на местах приняло участие советское военное командование. И государственный секретарь Хэлл тактично поблагодарил советское правительство за помощь. Но это был исключительный случай, и беспокойство представителей США, ведущих переговоры, возрастало по мере приближения войск Г.К. Жукова к первому лагерю, где, как было известно, содержались американцы. 5 декабря посольство США в Москве вновь подняло этот вопрос — и снова безуспешно. Прождав больше трех недель, Гарриман написал очередное послание, и на этот раз, ко всеобщему удивлению, ответ пришел в тот же день. В письме Вышинского сообщалось, что для переговоров с Дж. Дином о взаимной репатриации граждан их стран назначены два советских генерала.

Впервые Дж. Дин встретился со своими советскими коллегами через месяц, или, как он уточняет, «более чем через шесть месяцев после моего первого обращения по этому вопросу в генеральный штаб». На этой встрече, состоявшейся 19 января 1945 года, Дж. Дину был представлен проект советского соглашения; на следующий день такой же проект получило английское посольство. В нем говорилось, что освобожденных «граждан» необходимо собирать вместе в определенных местах, обеспечивать уход за ними и немедленно извещать правительства заинтересованных стран относительно освобождения и местопребывания их подданных. Предусматривались также допуск представителей по репатриации «в концентрационные лагеря и другие пункты содержания этих пленных» и «по возможности скорейшая репатриация этих лиц».

На первый взгляд соглашение казалось представителям обоих западных союзников вполне разумным, требовалось лишь несколько незначительных поправок. По словам Дина, «это было хорошее соглашение, но оказалось, что для Советов это всего лишь листок бумаги». Это, впрочем, выяснится позже, а пока союзники сочли возможным принять соглашение целиком. Имелось лишь одно серьезное возражение, о котором Дж. Дин телеграфировал в штаб-квартиру ВКЭСС. Речь шла о главном вопросе — кого следует считать советским гражданином. Дж. Дин указывал на «возможность репрессий со стороны врага, если мы позволим советским властям объявить немецких военнопленных советскими гражданами и будем способствовать их скорейшему возвращению в СССР, где их, возможно, ожидает наказание».

По мнению Дж. Дина, самое разумное — предоставить советским властям самим разбираться, кто является советским гражданином. Дж. Дин предложил, чтобы «в переговорах приняли участие и англичане, поскольку они столкнулись с теми же проблемами. Советские представители согласились рассмотреть это предложение, но, вероятно, оно им не очень понравилось. По-видимому, они предпочитали вести с англичанами отдельные переговоры».

Англичан во всем этом заботило лишь одно: как можно скорее добиться соглашения, чтобы иметь возможность установить правила по охране и возвращению на родину военнопленных из Англии

и стран Британского содружества. Переговоры, очевидно, зашли в тупик, поскольку не был достаточно четко определен статус 12 тысяч русских военнопленных, которые все еще находились в Англии. По мнению английских властей, советские представители «ясно дали понять, что они рассматривают все это дело как представляющее взаимный интерес и не намерены двигаться дальше, пока не будет удовлетворительно решен вопрос о статусе их граждан в Великобритании».

Соответственно МИД надеялся заключить двустороннее соглашение, чтобы найти удовлетворительное решение этого вопроса. Союзники полагали, что случай обсудить и решить эту сложную проблему представится на будущей встрече руководителей союзных держав в Ялте, известной под кодовым наименованием «Аргонавт». Ведь на встрече будут присутствовать Черчилль, Рузвельт и Сталин, а в делегацию можно включить военных и дипломатов, специалистов по проблеме военнопленных, которые обсудят этот вопрос с американской и советской стороной.

Англичан очень беспокоил пункт, по которому «такое соглашение должно распространяться на советских граждан и британских подданных, интернированных и насильно депортированных немцами». По словам представителя английского посольства в Москве, «при том, что число насильственно депортированных советских граждан, в отличие от военнопленных, составляет много тысяч, английских подданных в этой категории всего несколько или нет вовсе».

В Англии это недоразумение удивило многих, однако «МИД посчитал, что это условие следует принять для обеспечения соглашения о военнопленных».

29 января Иден представил Военному кабинету доклад по этому вопросу. Он настаивал на принятии советских условий и на скорейшем заключении соглашения, «самое лучшее, на предстоящей конференции». Через два дня Военный кабинет собрался на очередное совещание, чтобы рассмотреть и принять эту рекомендацию. Ни Иден, ни Черчилль на этом заседании не присутствовали: они уже прибыли на Мальту, которая была первым этапом на пути в Ялту.

Позиция англичан окончательно прояснилась. Хотя советские власти предпочитали сепаратные переговоры, «в связи с интегральным характером англо-американских войск в Западной и Южной Европе» Англия хотела предварительно достичь соглашения с Соединенными Штатами и проводить совместную линию. Не менее важно было, чтобы «Объединенный комитет начальников штабов согласился считать это соглашение действующим».

Трудность состояла в том, что американцам проблема не казалась столь однозначной. Помимо всего прочего, несколько крупных чиновников Госдепартамента были очень недовольны, что им приходится одобрять участие своей страны в деле, которое выглядело бесчестным и бесчеловечным. Такое же положение сложилось в свое время и в английском кабинете, но возражения лорда Селборна и сэра Джеймса Григга были отброшены за много месяцев до того времени, о котором мы рассказываем, и премьер-министра больше

не терзали муки совести. Кабинет дал руководящие указания, и МИД оставалось только провести их в жизнь. Ни одного голоса протеста не раздалось в министерстве, и, насколько нам известно, никто из сотрудников МИД не выразил никаких сожалений или неодобрения по поводу решения кабинета — ни в тот момент, ни годы спустя.

В Госдепартаменте дело обстояло иначе. Эдуард Р. Стеттиниус, 21 ноября 1944 года сменивший Корделла Хэлла на посту государственного секретаря, разбирался в природе советского коммунизма не лучше своего президента, но в отличие от Рузвельта был «скромным и простодушным человеком, обладавшим точным нравственным чутьем. Он не был ни интриганом, ни политиком, ни борцом». 3 января в телеграмме послу Гарриману Стеттиниус подчеркивал, что репатриацию освобожденных американских пленных не следует связывать с возвращением на родину советских граждан, находящихся среди немецких военнопленных. Он объяснял, что «возникли трудности с теми, кто заявил о советском гражданстве», и отмечал, что имеется «незначительное число лиц со славянскими фамилиями, которые заявляют, что они не советские граждане».

Такую позицию занимал Стеттиниус в начале января 1945-го. 25 января он выехал на Ялтинскую конференцию. Прибыв на следующий день в Марокко, он провел там трое суток за обсуждением вопросов, которые предстояло решать на конференции.

Тем временем англичане на Мальте узнали, что советская сторона пошлет на Ялтинскую конференцию специалиста для обсуждения проблемы репатриации. Поэтому американцам и англичанам следовало прежде всего скоординировать свои позиции, во многом различные. Англичане уже давно во всем уступили советским властям и готовы были выполнить все их пожелания; американцы же, очевидно, намеревались руководствоваться Женевской конвенцией и своими собственными представлениями о правосудии и человечности.

Грю передал американской делегации контрпредложения Соединенных Штатов. В них имелись значительные отклонения от проекта англо-советского соглашения, принятого Военным кабинетом 31 января. В пространной преамбуле определялись понятия «освобожденный пленный или гражданин, подлежащий репатриации»: «лица... которые будут освобождены... и которые сами заявят о том, что являются гражданами США или СССР... в дальнейшем будут обозначаться как «заявившие соответственно об американском или советском гражданстве».

В параграфе № 8 говорилось: «Стороны согласились также, что договор не распространяется на граждан противной стороны, которые взяты в плен как члены вражеских сил или как сопровождавшие эти вражеские силы и которые претендуют на применение к ним любой пригодной в таких случаях международной конвенции или соглашения, которым связана опекающая его сторона».

В этих словах заключалась гарантия того, что Женевская конвенция распространяется на всех пленных, заявивших о том, что они находятся под ее защитой.

С точки зрения заместителя государственного секретаря, это была единственная линия поведения, отвечающая обязательствам Америки в области международного права. Более того, любая другая интерпретация могла бы привести к серьезным осложнениям для американских пленных. Во-первых, немцы могли отомстить американцам, которые находятся у них в плену, за дурное обращение с «немецкими» пленными, захваченными американскими войсками. Во-вторых, если военная форма не является главным определяющим признаком гражданства, то отсюда следует, что военная форма не может защитить и американских военнослужащих немецкого, итальянского или японского происхождения.

1 февраля Грю перечислил эти соображения в ноте советскому поверенному в делах Николаю Новикову. Новиков требовал вернуть советским властям тех русских в лагере Руперт, которые заявили о том, что они немецкие граждане, и благодаря этому избежали репатриации. Грю ответил решительным отказом.

Перед тем, как вылететь в Крым, английская и американская стороны провели совещание на Мальте (кодовое наименование — «Крикет»), чтобы выяснить, насколько возможно уладить предварительные вопросы, которые скорее всего будут обсуждаться на конференции. 1 февраля Иден и Стеттиниус встретились на борту военного корабля «Сириус». Они беседовали о самых разных делах, в том числе и о соглашении относительно военнопленных. Стеттиниус позднее назвал беседу «краткой и неубедительной», но за ней последовали дискуссии между английскими и американскими специалистами. Как раз в этот момент подоспело известие об освобождении первой группы американских военнослужащих в Польше, и точка зрения англичан, судя по всему, стала оказывать все большее влияние на чиновников США. Наконец Иден сообщил МИД: «Американцы сейчас, по-видимому, готовы одобрить временный проект текста, подготовленный до моего отъезда из Лондона, и не обращать излишнего внимания на комментарии Госдепартамента... суждения которого, по нашему общему мнению, кажутся весьма устарелыми в свете сегодняшнего дня, когда наступающая Красная Армия освобождает один лагерь за другим».

Полковник Филлимор сообщил в военное министерство, что Чарльз Болен полностью согласен с английским проектом «и не слишком прислушивается к возражениям Вашингтона... Я думаю, Болен убежден, что, если мы хотим быстро достичь соглашения, нам следует настаивать на главных пунктах... и мы так и сделаем».

Большой тройке предстояло обсуждать более важные проблемы, чем соглашение о военнопленных, но уже 4 и 5 февраля Иден просил Черчилля лично поднять этот вопрос в разговоре со Сталиным. Тем временем Стеттиниус и его советники поспешили принять точку зрения Идена. В посланиях Эйзенхауэра подчеркивалась необходимость достигнуть решения относительно 21 тысячи русских, находившихся под опекой США.

«Наш опыт показывает, что около пяти процентов захваченных немецких военнопленных оказались русскими гражданами. При-

мерно пять процентов этих русских нуждаются в госпитальном лечении. Следовательно, по мере продолжения военных действий число русских будет все увеличиваться. Единственное возможное решение этой проблемы со всех точек зрения — это скорейшая репатриация этих русских», — писал Иден Стеттиниусу, торопя американцев принять английский проект. В тот же самый день адмирал американского флота Лэнд заверил государственного секретаря в возможности найти корабли для этой цели. Иден также написал Молотову и выразил принципиальное согласие с советским проектом и свое пожелание, чтобы соглашение было ратифицировано до начала конференции.

Теперь Стеттиниус и его советники целиком и полностью приняли точку зрения английского МИД. От Грю пришла взволнованная телеграмма — текст ее звучал как лебединая песня тех, кто надеялся, что американцы все же окажутся упорнее. Узнав, что английский текст соглашения вот-вот будет принят, Грю просил Стеттиниуса позаботиться о нескольких крайне важных пунктах: «Женевская конвенция должна применяться к советским гражданам, взятым в плен в немецкой военной форме и заявившим о своих правах в связи с конвенцией... к советским гражданам, находящимся в США и не являющимся военнопленными, дела которых, по мнению главного прокурора, должны решаться на основе традиционной американской политики предоставления убежища, а также к лицам, которых советские власти считают своими гражданами, но которые не были ими до начала войны и не признают себя таковыми».

Но Стеттиниус не счел нужным включать эти пункты в окончательный текст соглашения. 9 февраля он писал: «Общее мнение здесь таково, что неразумно включать условия о Женевской конвенции и советских гражданах в США в соглашение, которое в основном рассматривает вопросы обмена военнопленными, освобождаемыми союзными армиями по мере их продвижения в Германию. Что касается лиц, «заявляющих о своем гражданстве», то, кроме опасности немецких контракций, мы не исключаем возможности серьезных задержек в освобождении наших военнопленных, если не достигнем с Советским Союзом скорейшего соглашения на сей предмет».

Объединенный комитет начальников штабов одобрил текст проекта, в котором ничего не говорилось о конвенции. Одновременно было приказано обеспечить транспортные средства, затребованные Эйзенхауэром.

Для английского варианта соглашения требовалась подпись Черчилля. Заодно Иден вновь попросил его лично обсудить этот вопрос со Сталиным. Он приготовил для премьер-министра краткое резюме пунктов, подлежащих обсуждению, подчеркнул настоятельную необходимость заключить соглашение «до открытия конференции» и снабдил его списком семи немецких лагерей, освобожденных Красной Армией, в которых, по оценке англичан, содержалось около 50 тысяч английских военнопленных. Возможность поговорить на эту тему представилась 10 февраля, когда Сталин и Молотов принимали Черчилля и Идена в бывшем дворце

князя Юсупова. Обсудив судьбу Польши, Черчилль заговорил о проблемах, связанных с тем, что большое число русских военнопленных оказалось на Западе. Некоторые, сказал он, уже возвращены на родину, другие пока в дороге. Но как, по мнению маршала, быть с остальными?

«Маршал Сталин выразил надежду, что военнопленных отошлют назад в СССР в кратчайшие сроки. Он спросил, хорошо ли с ними обращаются и отделены ли они от немцев. Он сказал, что советское правительство считает всех их советскими гражданами. Он поинтересовался также, не было ли попыток повлиять на них, чтобы заставить отказаться от репатриации. Только после их возвращения в СССР можно будет решить, что делать с теми, кто согласился воевать на немецкой стороне.

Премьер-министр объяснил, что англичане очень хотят, чтобы эти военнопленные были как можно скорее репатриированы, и единственная трудность во всем этом — отсутствие транспорта...»

Затем, не вдаваясь в выяснение причин, оба руководителя сошлись на том, что следует опубликовать лишь сообщение о соглашении, но не сам текст. (И в самом деле, вдруг кому-нибудь пришло бы в голову заняться тщательным анализом этого текста.)

Теперь оставалось только подписать соглашение. Английский дипломат Пирсон Диксон оставил нам описание этой сцены: «Было решено, что соглашение о военнопленных будет оглашено отдельно, и как только встреча началась, я пошел в «солнечную комнату» (штаб-квартира американской делегации в Ливадийском дворце) и написал проект оповещения, а также письмо Молотову, обговорив в нем все важные пункты. Затем я поднялся наверх и съел ленч с американцами в их кают-компании... После ленча меня вызвали в столовую президента. Президент и сопровождавшие его лица как раз уезжали, а вскоре отбыл и Сталин, протянув мне на прощание руку, с широкой улыбкой произнеся по-французски «au revoir». Затем премьер-министр поехал назад в Воронцовский дворец, а министры иностранных дел вернулись на последнее заседание. В комнате царила дружеская, неформальная атмосфера. В середине заседания Антони Иден и Молотов сделали перерыв, чтобы подписать соглашение о военнопленных».

На следующий день Военный кабинет в Лондоне получил переданное телеграфом из Крыма соглашение и одобрил его. Поскольку Черчилль и Иден уехали на Ялтинскую конференцию, главными фигурами на заседании кабинета были Эттли и Бевин. (Пройдет пять месяцев — и на них целиком падет ответственность за выполнение только что заключенного соглашения.)

Вряд ли Черчилль догадывался о том, что в Крыму, где собрались руководители союзных стран и где они подписали соглашение о военнопленных, недавно была проведена операция, очень похожая на ту, которую сейчас организовывал Черчилль. Всего за восемь месяцев до Ялтинской конференции НКВД, после серии массовых убийств, депортировал из Крыма всех крымских татар. Транспортные средства для операции были выделены английскими

и американскими войсками в Иране, и, по мнению советских официальных лиц, союзникам было известно назначение грузовиков. Впрочем, замысел Сталина вовсе не отличался оригинальностью — Гитлер тоже намеревался вывезти из Крыма все население и заселить полуостров тирольскими немцами, но против этого плана выступил Гиммлер.

Массовое выселение крымских татар не просто предшествовало соглашению, которое предлагали сейчас Сталину Иден и Черчилль, а как бы завершало операцию по выселению татар из Крыма. Дело в том, что несколько тысяч татар ушли на Запад еще до занятия Крыма Красной Армией в мае 1944 года. Почти все они погибли от рук нацистов, принимавших их за евреев (мусульманский обычай, как и иудейский, предусматривал обряд обрезания). Но около 250 человек выжили и попали в Германии в руки английской армии. Они просили разрешения эмигрировать в Турцию, но 21 июня 1945 года 21-я группа армий получила от Патрика Дина из МИД твердые инструкции о том, что в соответствии с Ялтинским соглашением крымские татары должны быть возвращены Сталину. Этот народ по сей день лишен права вернуться в родные места.

В соглашении о военнопленных не было никаких оговорок относительно репатриации в СССР тех, кто не желал возвращаться. Хотя помощник государственного секретаря Грю предлагал ввести условия, защищающие права таких лиц, Стеттиниус и его советники целиком и полностью встали на точку зрения англичан. Англичане же считали чрезвычайно важным достичь соглашения во время совещания Большой тройки в Крыму, а всякие разночтения обсуждать потом. Чарльз Болен был среди тех, кто, вопреки мнению Грю, считал, что в интересах скорейшего заключения соглашения никаких оговорок и условий сейчас ставить не надо. В результате «в соглашении отсутствовали пункты, предусматривавшие насильственную репатриацию советских граждан, не желающих возвращаться в СССР».

После Ялтинского соглашения у США еще имелась возможность избрать любую линию поведения. Англичан, как они считали, связывало обещание, данное Иденом на конференции «Толстой» в Москве, но у американцев таких обязательств не было. Рузвельт лично «не видел документа», подписанного в Ялте, за текст отвечали в основном генерал Дин и военные, а их заботило только одно — обеспечить безопасное возвращение на родину американских военнопленных. Советские представители не поднимали вопроса о применении силы, а у Дж. Дина не было никаких оснований брать инициативу в свои руки. Участие Госдепартамента в этом деле в значительной мере тормозилось исповедуемой Рузвельтом концепцией «личной дипломатии», и те, кто руководил политикой Госдепартамента, были крайне удивлены, столкнувшись после смерти президента с проблемой насильственной репатриации.

1 февраля 1945 года Грю сообщил советскому поверенному в делах, что США намерены по-прежнему придерживаться своих обязательств, зафиксированных Женевской конвенцией. Когда 23

марта посол Громыко высказал свои возражения против аргументов Грю о применении Женевской конвенции, Грю в своем ответе вновь подтвердил позицию Госдепартамента. Изложив все то, что уже говорилось раньше, он в заключение кратко подытожил намерения американских властей в отношении военнопленных: «Наше правительство будет по-прежнему возвращать под советский контроль всех советских граждан, взятых в плен в составе немецкой армии в немецкой военной форме, за исключением тех, кто требует, чтобы их рассматривали как немецких военнопленных, находящихся под защитой Женевской конвенции. Такие лица будут до дальнейшего рассмотрения оставлены под опекой американского правительства».

Заключительная фраза, однако, звучит весьма зловеще: «Советское правительство может не сомневаться, что вопрос об их размещении будет вновь обсуждаться обеими заинтересованными сторонами после окончания организованного сопротивления в Германии».

В письме от 3 мая, когда это сопротивление практически прекратилось, Грю идет еще дальше: «Наше правительство не намеревается навсегда оставлять у себя этих людей и будет радо повторно обсудить вопрос об их размещении в тот момент, когда в немецком плену не останется американских военнослужащих».

8 мая Германия капитулировала, и всякая угроза немецких репрессий в отношении американских военнопленных отпала. Несколько дней спустя сотрудник английского МИД Джон Голсуорси писал: «Американцы руководствовались желанием обеспечить гарантии того, что к лицам в американской военной форме, не являющимся, однако, американскими гражданами, немцы будут относиться как к американским военнопленным. После капитуляции Германии это соображение потеряло силу. Посмотрим теперь, будут ли американцы придерживаться этого принципа».

Американские войска, не имевшие понятия о том, что происходило в правительственных кругах, продолжали поступать в соответствии с политикой Соединенных Штатов, как они ее себе представляли. Вот что писал Джордж Орвелл: «В мае 1945 года я посетил большой лагерь для военнопленных недалеко от Мюнхена. Население лагеря постоянно менялось, в день моего визита там было около 100 тысяч человек. По словам американского офицера, коменданта лагеря, 10 процентов заключенных составляли не немцы, в основном, русские и венгры. Русских разделяли на две категории, задавая им простой вопрос: «Хотите ли вернуться в Россию или нет?» Значительная часть — точных цифр у меня нет — ответила «нет». Таких считали немцами и оставляли в лагере, в то время как остальных русских увозили оттуда. Я видел многих их них: некоторые были из батальонов Тодта, другие служили в вермахте».

Но после встречи русских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года массовый обмен пленными, освобожденными союзными армиями, стал предметом безотлагательного обсуждения. Окончательное решение вопроса о применении силы оттягивать было больше нельзя.

ГЛАВА 5

АКТ О СОЮЗНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ: МИД ПРОТИВ ЗАКОНА

В день подписания в Ялте соглашения о военнопленных Иден с Молотовым заключили также дополнительный договор о статусе русских, находившихся в лагерях на территории Англии. Сам документ может показаться невыразительным и безликим, но стоящие за ним события далеко не таковы. История насильственной репатриации разворачивалась не в одних лишь экзотических краях — таких, как Египет, юг Франции или Крым: настоящие драмы разыгрывались и в районах весьма прозаических, вроде Уэртинга и Гилфорда. Поэтому настал черед обратиться к тому, что происходило в Англии.

Как уже говорилось, русские, взятые в плен после высадки в Нормандии в июне 1944 года, были перевезены в Англию и размещены в лагерях, где раньше располагались военные части, ушедшие затем на фронт. 20 июля, когда Иден впервые известил советского посла об этих военнопленных, число их достигало 1600 человек. К октябрю эта цифра возросла в десять раз. В Англии русских постепенно отделили от немцев. Формально они по-прежнему считались заключенными и должны были оставаться в лагерях, пока не определится их будущее.

Глава советской военной миссии генерал Васильев предложил изменить статус пленных русских: считать их не военнопленными, а «советскими гражданами, временно находящимися на территории союзной страны», и «объединить бывших служащих Красной Армии под началом советских офицеров и сержантов...». Предложение показалось англичанам вполне приемлемым, надо было лишь юридически обосновать изменение статуса. На этот случай имелся принятый в 1940 году «Акт о союзных вооруженных силах», который позволял союзным правительствам в изгнании держать военные формирования в Англии. От советских властей требовалось лишь выполнение формальностей для того, чтобы мог последовать королевский указ. Казалось, никаких сложностей тут не должно было быть. Однако они возникли.

Стоит задаться вопросом, почему советские власти так настаивали на изменении статуса своих граждан. Первая, самая очевидная причина — забота о национальном престиже. Тот факт, что русские по-прежнему считались военнопленными, захваченными в рядах вражеской армии, служил постоянным напоминанием того, что Советский Союз, единственный среди союзных государств, поставил врагу десятки тысяч солдат. Вторая причина — необходимость установить строгий контроль над пленными, чтобы предупредить все помехи к их скорейшей репатриации. В-третьих, правительство СССР, вероятно, боялось, что пленные могут потребовать применения к ним Женевской конвенции. Наверное, советские власти только сейчас поняли, что служба в немецкой армии автоматически дает русским право требовать, чтобы к ним относились как к немцам. Такой точки зрения придерживался тогда Госдепартамент, и советское посольство было извещено об этом уже 27 сентября 1944 года. Англичане этого мнения не разделяли, но в Москве могли этого не знать, а сами англичане, того и гляди, могли передумать. Считаясь военнопленными, русские имели право, по условиям конвенции, заявить, что они немецкие граждане, и таким образом избежать депортации.

Между военным министерством и министерством внутренних дел Великобритании началась дискуссия относительно применения «Акта о союзных вооруженных силах» к русским. Прежде всего требовалось точное определение, на какие категории русских этот акт распространяется. Теобальд Мэтью, сотрудник МИД, работавший над этой проблемой, писал: «Ввиду установленного законом определения члена союзных сил, данного в разделе 5 (1) Акта... русские должны доказать, что каждый отдельно взятый человек служил в их вооруженных силах после 22 августа 1940 года. Одного только факта мобилизации здесь недостаточно. Должны быть представлены доказательства действительной службы в армии, как-то: получение зарплаты, участие в парадах или ношение формы. На практике это не должно представлять никаких трудностей, но может оказаться крайне существенным, если нашим судам придется рассматривать дела по обвинению в дезертирстве или самовольной отлучке».

Другими словами, русские военнопленные на территории Англии подлежали организации в настоящие военные формирования, но, как отмечалось далее, советские офицеры не могли применять по отношению к подчиненным смертную казнь или телесные наказания, пока новосформированные объединения находились на английской земле.

Иден в телеграмме послу в Москве Кларку Керру писал: «Мы готовы выполнить все пожелания советской военной миссии и сделать все, чтобы как можно скорее заключить формальные соглашения».

Тем временем велась работа над проектом соглашения, которое, в случае согласия советских властей, дало бы основу для введения «Акта» в действие. Однако юристы отметили, что «Акт» может распространяться только на служащих советских вооруженных сил, но не на советских граждан, не служащих в Красной Армии. Призывать же не служащих советских граждан в армию на английской территории советское правительство, согласно «Акту», не могло.

На совещании с советской военной миссией генерал Гепп, начальник отдела военнопленных, безуспешно попытался разъяснить позицию англичан. Английские чиновники были в смятении, ведь со всех сторон их осаждали требованиями как можно скорее покончить с этим делом. 3 октября министр внутренних дел Герберт Моррисон писал Идену: «Я согласен с вами, что желательно как можно скорее репатриировать этих русских. Не говоря уже о других соображениях, если они останутся на нашей земле в качестве служащих советских вооруженных сил... опасность получения большого числа жалоб на плохое обращение советских офицеров с этими людьми стала бы минимальной... хотя некоторые могут отказаться признать себя советскими гражданами».

О том же писал и сэр Орм Саржент, выступавший от лица МИД.

Иден и другие сторонники насильственной репатриации неоднократно подчеркивали, что эта политика оправдана необходимостью получить удовлетворительные гарантии сотрудничества СССР в деле возвращения освобожденных английских военнопленных. МИД также надеялся, что выполнение пожеланий Советского Союза послужит залогом добрых отношений между двумя странами. Важно отметить, что имелось еще одно соображение: англичане боялись, как бы вся эта история с русскими пленными не привела к открытому скандалу в Англии. Это опасение выражали Герберт Моррисон и Орм Саржент, а заместитель Идена, сэр Александр Кадоган, высказал 15 октября настоятельное пожелание, чтобы русские гражданские лица (которых нельзя было формально включить в предполагаемые союзные вооруженные силы) были репатриированы как можно скорее.

Через два дня после этого Иден, находившийся вместе с Черчиллем в Москве на конференции «Толстой», встретился с Молотовым и заявил о своем согласии с тем, что все советские граждане должны быть возвращены на родину «независимо от пожеланий отдельных лиц». Одновременно он вручил Молотову копию проекта соглашения, заключение которого должно было предшествовать введению «Акта» в действие. Но дела обстояли отнюдь не так хорошо, как могло показаться. Не успел Иден вернуться в Англию, как Кларк Керр сообщил из Москвы: «Народному комиссариату по иностранным делам не нравится проект соглашения, который вы вручили... поскольку в случае его принятия русские пленные будут организованы в союзное вооруженное формирование в Англии, что не отвечает пожеланиям советского правительства».

Сотруднику комиссариата Новикову разъяснили, что это единственный способ сделать так, чтобы пленные «до репатриации считались свободными гражданами союзной державы». Новиков, спасая престиж, выдвинул контрпредложение: «советские граждане формально останутся на положении военнопленных до момента репатриации», но в лагеря будут иметь доступ советские офицеры, как если бы пленные были «свободными гражданами союзной державы».

Этот нудный обмен мнениями вызвал гнев самого премьер-министра, который обвинил МИД в затягивании дела, что было совершенно несправедливо, ибо МИД всеми силами старался заключить соглашение. На стол в МИД приземлилась очередная личная записка премьер-министра: «Не создаем ли мы ненужные трудности? Мне кажется, мы машем кулаками в делах, которые в принципе уже решены, а в частностях несоразмерное значение придается суждениям мелких чиновников. Я полагал, что мы договорились отослать всех русских назад в Россию».

В пространном ответе сэр Александр Кадоган заверил Черчилля, что МИД изо всех сил старается идти навстречу советским пожеланиям, меж тем как советские представители по непонятным причинам отказываются принять решение, которое «является не просто наилучшим, но единственно возможным». Черчилль раздраженно приписал внизу письма Кадогана: «Мы должны избавиться от всех них как можно скорее. Насколько я понимаю, мы обещали это Молотову».

Почему советские власти так противились мерам, которые были им так выгодны? Они хотели получить назад всех военнопленных. Английский МИД испытывал не менее горячее желание от них избавиться. Тогда почему же Советы столько месяцев препятствовали переговорам? Сотрудники МИД не могли ответить на этот вопрос. Специалистам оставалось лишь удивляться и продолжать переговоры вслепую. Между тем, хотя МИД и не заметил этого, советские власти ясно обозначили причины, по которым они возражали против «Акта»: «в случае его принятия русские пленные будут организованы в союзное вооруженное формирование в Англии, что не отвечает пожеланиям советского правительства».

Если бы мидовские чиновники призадумались, они заметили бы, что у советских властей вызывает едва ли не патологический страх мысль о наличии оружия у собственных граждан, находящихся за рубежом. Ведь даже в 1936 году Советский Союз, в отличие от нацистской Германии и фашистской Италии, не решился послать свои войска в Испанию. Мы уже рассказали о том, как НКВД потопил проект ССО по использованию освобожденных русских военнопленных для совместной работы с французскими маки или организации сопротивления среди иностранных рабочих в Германии. Затем, советское правительство опасалось, что английские военные власти в Египте «мобилизуют в армию советских военнопленных» (лорд Мойн после тщательного расследования отверг это обвинение, назвав его «безосновательным... как и прежние обвинения такого рода...»). В ноябре ВКЭСС было поручено «расследовать сообщение о том, что 850 русских было отправлено из Марселя в Северную Африку для мобилизации во французский Иностранный легион, но не успели приступить к расследованию, как советское посольство признало, что сообщение оказалось неверным...». Тем не менее агенты НКВД в намерении выследить русских солдат Легиона добрались до самого Индокитая. А в США

Громыко высказал американцам аналогичные обвинения (но получил отпор от государственного секретаря Хэлла).

Однако эти фантастические измышления отражали весьма реальные страхи Сталина и советского руководства. Ведь Гитлеру, несмотря на крайне жестокое обращение с русскими, удалось все же набрать из военнопленных почти миллион желавших воевать против коммунизма. Какого же успеха могли добиться гуманные демократические страны, если бы им пришло в голову начать ту же игру! Любой советский гражданин, хоть мимолетно взглянувший на жизнь за пределами СССР, становился политически неблагонадежным и по возвращении неизбежно оказался бы в исправительно-трудовом лагере. Даже части Красной Армии, побывавшие в окружении, сразу попадали под подозрение. Как же мог Сталин чувствовать себя в безопасности, если на английской земле, вне пределов досягаемости, вдруг возникло бы войско численностью в 20 тысяч человек? Даже если приставить сюда командирами испытанных офицеров Красной Армии — это тоже не решит дела: где гарантии, что они не последуют примеру генерала Андрея Власова!

Тем временем английскому посольству в Москве было поручено еще раз попытаться убедить советские власти в необходимости принять «Акт», подчеркнув, например, что сформированные таким образом части не обязательно вооружать. Дело принимало все более безотлагательный характер, поскольку «рано или поздно общественность могла заинтересоваться вопросом о статусе военнопленных, что было бы весьма некстати». Патрик Дин высказал опасения относительно обсуждения этого вопроса в парламенте, рекомендуя отказаться от каких-либо упоминаний «Акта» в палате общин.

После повторного требования советских властей об отмене для их граждан статуса военнопленных терпеливые англичане подготовили новый проект соглашения, заменив неприемлемое для Советов слово «войска» словом «формирования». 1 декабря новый проект был вручен Новикову. Текст сопровождался разъяснениями о необходимости применения определенных терминов: «По действующим английским законам, свобода граждан дружеской иностранной державы не может быть ограничена, пока они находятся в Англии, за исключением тех случаев, когда власти Соединенного Королевства готовы доказать перед судом, что граждане, о которых идет речь, служат в вооруженных силах (союзного государства). Этот закон Соединенного Королевства может быть изменен только актом парламента... Принятие же закона по этому вопросу возбудило бы нежелательный интерес общественности и, возможно, споры, что повлекло бы за собой задержки».

Казалось, Новиков и сотрудник лондонского посольства Соболев наконец поняли, в чем тут дело. Но новых инструкций получено ими не было; и англичанам пришлось разбираться в утверждениях генерала Васильева, будто Иден несколько месяцев тому назад договорился с Гусевым, что русские военнопленные будут считаться «свободными гражданами».

Наступил новый, 1945, год, а прогресс, по сравнению с августом 1944 года, был ничтожен. Как заметил 4 января Патрик Дин, «несмотря на все наши усилия, мы не достигли заметных результатов». Русские по-прежнему находились в Англии на положении военнопленных, и в последней по времени советской ноте от 27 декабря вновь выдвигалось требование к английским властям «считать русских не военнопленными, а свободными гражданами союзной страны». В связи с этим Дин выдвинул смелое предложение, которое вполне могло бы заставить советских представителей форсировать события: «Чтобы уладить дело, мы хотели бы письменно заявить советскому посольству следующее. Если они желают считать своих людей (в Англии) «свободными гражданами», мы вполне готовы с этим согласиться. Это, однако, означает, что русские будут выпущены из лагерей и станут пользоваться той свободой и теми правами, которые имеют прочие граждане союзной страны в Соединенном Королевстве, поскольку это не противоречит интересам государственной безопасности. Если будет взят такой курс, мы не сможем, разумеется, гарантировать, что эти люди будут отосланы назад, в Советский Союз, поскольку мы не будем располагать соответствующими полномочиями; и они смогут, в пределах разумных ограничений, ездить по всей стране и наниматься на работу».

Разумеется, писал Дин, советские власти не согласятся на такое предложение, поскольку им важнее всего «содержать этих людей вместе, в условиях военной дисциплины, чтобы репатриировать их»; такая угроза могла бы подействовать отрезвляюще на советское руководство. К тому же предложение Дина выглядело вполне правдоподобно: у Англии имелась давняя традиция предоставления убежища политическим беженцам. В 1943 году, например, два русских моряка сбежали со своего судна, стоявшего в английском порту, и английские власти, несмотря на все советские требования, их не выдали.

Как и предполагалось, советские власти не допустили освобождения русских военнопленных в Англии. Было решено, что лучше всего поставить этот вопрос на предстоящей Крымской конференции. К тому же советские представители начинали понемногу понимать, что английский МИД старается им угодить изо всех сил и что добрые отношения с союзниками для него гораздо важнее пленных. Рассмотрев английский проект соглашения, врученный 1 декабря 1944 года, Новиков согласился на компромиссное слово «формирование», но в пункте о том, что пленные будут подчинены «советскому военному закону», было опущено слово «военному», так как советские власти не собирались создавать из русских пленных военные части. По мнению Патрика Дина, это был хороший компромиссный вариант. И 11 февраля соглашение было наконец подписано в Ялте, куда в качестве экспертов по делам военнопленных поехали Дин (от МИД) и Филлимор (от военного министерства). Теперь оставалось лишь принять закон о распрост-

ранении «Акта о союзных вооруженных силах» на советских граждан. Это было сделано 22 февраля 1945 года.

Отныне русские в Англии являлись официально не военнопленными, а служащими союзных вооруженных сил, расположенных на английской земле. Но это была всего лишь фраза, и советская комиссия по репатриации располагала точными инструкциями, запрещающими какие-либо меры по организации пленных в реальную силу. В ряде случаев это привело к недоразумениям. Так, в апреле генерал Ратов, прибывший в Англию для проведения репатриации, арестовал десять человек и потребовал от бригадира Файербрейса обеспечить им английскую охрану и тюремные условия.

«Эти люди выразили нежелание возвращаться в Советский Союз. Некоторые из них доведены до отчаяния и открыто грозятся покончить с собой, если их будут вынуждать к возвращению», — писал Файербрейс 25 апреля. Английский бригадир временно создал «нарушителям» тюремные условия, но попросил генерала Ратова в будущем самого организовывать охрану своих людей в советском лагере Ньюлендс Корнер. «Ратов ответил, что не может этого сделать, поскольку его люди не вооружены и советское правительство вряд ли позволит выдать им оружие». В соглашении, подчеркивал далее Файербрейс, специально оговорено, что советские власти обязуются сами поддерживать надлежащую дисциплину. И хотя Файербрейс и согласился, весьма неохотно, содержать ограниченное число русских в английской военной тюрьме, это требование не вызвало ни его сочувствия, ни желания сотрудничать с Советами.

На деле организация русских пленных не представляла собой «союзные силы» в том смысле, как это подразумевалось в «Акте», но вряд ли это могло стать достоянием общественности. Да и пленные, вероятно, тоже не подозревали о сомнительной законности «Акта» — во всяком случае, пока находились в лагере. Зато с беглецами возникла крайне неловкая ситуация. МИД был очень заинтересован в том, чтобы этих людей как можно быстрее вернули в лагерь, чтобы все было проделано без лишнего шума и, главное, чтобы они не появлялись в суде. Но, как объяснил Патрику Дину сэр Франк Ньюсэм из палаты общин, «если полиции придется передать военной охране субъекта, самовольно отлучившегося из советских вооруженных сил и не выражающего желания быть переданным своим властям, ее действия вступят в прямое противоречие с законом. Боюсь, что тут не может быть и речи о том, чтобы министр внутренних дел инструктировал полицию либо давал ей советы в устном или письменном виде».

Однако Ньюсэм предложил маленькую хитрость. Полиция могла бы временно задерживать подозреваемого в дезертирстве у себя в участке для допроса. За это время можно было бы связаться по телефону с местным отделением штаба и сообщить, когда и где задержанный будет выпущен. Армия могла бы тем временем выслать патруль для «ареста этого человека, под свою ответственность, вскоре после его освобождения из полиции. Важно, однако,

чтобы такой арест не имел места тут же, прямо возле полицейского участка, или при обстоятельствах, равносильных прямой передаче полицией этого человека военной охране».

К этому письму Ньюсэм приложил проект циркуляра для главных констеблей, предписывая им следовать этой необычной процедуре. 13 апреля Дин ответил согласием: «Мы согласны на предлагаемую процедуру. Хотя с ней неизбежно связан определенный риск и известные хлопоты; мы полагаем, что на практике она окажется весьма эффективной», поскольку, как сказал Джон Голсуорси, «оказавшись снова в лагере, неудавшийся беглец лишается доступа к гражданским властям (если, конечно, он не сбежит снова) и тем самым не имеет возможности заявить протест против этого весьма относительного правосудия».

Однако из этого плана ничего не вышло, так как военное министерство отказалось выступить в предназначенной ему роли похитителя людей: «Мы не можем согласиться на процедуру, предложенную в письме от 5 апреля. Мы не находим никаких оправданий тому, чтобы военные власти могли арестовывать под свою ответственность членов союзных сил без соблюдения соответствующей процедуры. На наш взгляд, такие действия не меньше противоречат закону, чем те, которых вы, со своей стороны, пытаетесь избежать».

Но мидовским чиновникам сопутствовала удача. Бежать среди русских военнопленных пытались немногие, а удалось это и вовсе единицам. Жертвы будущей репатриации хорошо понимали, какая судьба ждет тех, кто продемонстрирует свое нежелание возвращаться на родину; и им оставалось лишь покориться судьбе.

Поскольку советские власти отказались выделить транспорт для перевозки своих граждан, находившихся в Англии, репатриация на английских судах многих тысяч пленных затянулась; но к осени 1945 года практически все были отправлены на родину, за исключением группы пленных со спорным гражданством и восьми человек, внесенных в отчеты в качестве «бежавших и не пойманных». Они сбежали из лагерей в Йоркшире, Дареме, Сурее и Суссексе весной и летом. Их имена, разумеется, были известны и, по крайней мере в двух случаях, власти знали об их местопребывании. Они нашли приют и убежище у англичан. Шестнадцатилетнего Ивана Фащенко, например, приютила семья Рокли в Ноттингеме. Согласно рапорту полковника Хаммера из военного министерства, обнаружить его было несложно. Тогда почему же его не арестовали и не передали СМЕРШу? Сотрудник министерства внутренних дел сэр Самюэль Хоар, будущий член комиссии по правам человека при ООН, объяснял майору Уоллису, сменившему Файербрейса: «Вряд ли нам удастся уговорить этого молодого человека вернуться в лагерь; обращаться же с этим делом в суд нежелательно, равно как нежелательно и полицейское расследование. Это немедленно вызовет протест его английских друзей, к тому же полиция все равно не в состоянии действовать здесь эффективно. Мы можем

лишь предложить вам вновь, как вы уже делали, постараться уговорить его вернуться для последующей репатриации».

Дело особенно осложнялось тем, что Фащенко был гражданским лицом, и поэтому — не говоря уже об его юном возрасте — его нельзя было рассматривать как члена мнимых «союзных сил», к которым относились военнопленные. Опасения Хоара подтвердил сэр Томас Браймлоу из МИД, впоследствии постоянный заместитель министра: «Мы полностью согласны с вашей точкой зрения относительно Фащенко. Став «дезертиром», он вряд ли добровольно сдастся советским властям, и они будут очень недовольны, когда узнают, что мы связались с ним, но не могли арестовать. С другой стороны, всякая попытка арестовать его почти наверняка вызовет интерес общественности, которого мы стремимся избежать во что бы то ни стало... и было бы крайне нежелательно решать его дело в суде. Последнее возражение относится также и ко второму штатскому дезертиру, Лавренчуку.

Что касается остальных шести беглецов, которые как будто служили в Красной Армии, то и тут мы бы советовали действовать с крайней осторожностью, хотя и понимаем, что это дело, в основном, в компетенции министерства внутренних дел. Как вам известно, в Соединенном Королевстве никогда не было организованных «советских сил»... и применение «Акта о союзных вооруженных силах» к находящимся в лагерях в Англии освобожденным советским гражданам, на что мы пошли исключительно ради выполнения условий Ялтинского соглашения... всегда было чревато определенными опасностями. Нам остается лишь надеяться, что это соглашение никогда не станет объектом рассмотрения суда».

Джон Голсуорси, работавший тогда в Северном отделе МИД (впоследствии — посол в Мексике), признавался в письме полковнику Хаммеру: «Это соглашение — явление весьма специфическое... Мы всегда надеялись, что никаких судебных дел в связи с советскими гражданами в нашей стране не возникнет. Многие из тех, кого мы в целях административного удобства считали членами советских «вооруженных сил», в действительности были штатскими и никогда не служили в Красной Армии, и если бы такой человек предстал перед судом, это могло бы привести к весьма неприятным последствиям. Всякая попытка отдать приказ об аресте бежавшего из лагеря, скорее всего, вызовет те самые проблемы (и огласку), которых мы до сих пор избегали, и я полагаю, что мы должны возражать против этого».

Офицер НКВД полковник Клешканов потребовал разыскать одного из восьми «дезертиров», Крохина. В МИД разгорелась дискуссия по этому поводу, и на ее примере можно понять, почему английские чиновники боялись огласки. Томас Браймлоу писал: «Проблема в том, что Крохин может отказаться вернуться, и тогда разразится... скандал... А скандала с разговорами о незаконной процедуре, о том, что людей обманом заставляют соглашаться на репатриацию в СССР и т.д., следует избегать любой ценой... Если

после ареста Крохин будет отрицать законность ареста и передачи советским военным властям, ему придется предстать перед судом. В Англии он не первый день, и у него вполне могут найтись друзья, которые посоветуют ему нанять адвоката, и если адвокат знает свое дело, он свяжется с теми законниками, которым известны все ходы и выходы в «Акте о союзных вооруженных силах»... Тогда мы можем столкнуться с мощной защитой интересов военнопленного».

Обращения к сомнительному «Акту» можно было бы избежать, если бы министр внутренних дел подписал приказ о высылке Крохина как нежелательного беженца.

«Такой вариант рассматривался, но тут, — продолжал Браймлоу, — могут возникнуть неприятности, если нас спросят, почему мы решили выслать этого человека, вместо того чтобы обойтись с ним, в соответствии с «Актом о союзных силах», как с дезертиром. Тут возникает еще одно осложнение: по указу о высылке, мы не можем передать его советским органам на территории Англии, но насчет этого, я почти уверен, мы с ними могли бы договориться».

О том же пишет в заключении своего письма и Голсуорси: «При расследовании сразу обнаружилось бы, на какой тонкий лед мы ступили, применив «Акт о союзных вооруженных силах»... Антисоветская пресса могла бы с легкостью воспользоваться таким открытием».

Опасения Голсуорси подтверждает Патрик Дин: «Ради выполнения желаний советского правительства мы, с некоторым риском для самих себя, растянули наш закон до крайних пределов с тем, чтобы всех советских граждан, независимо от того, служили они в Красной Армии или нет, можно было отправить назад в Советский Союз, невзирая на их желание».

Свою записку Дин закончил фразой: «В данных специфических обстоятельствах это оправдано». Но, перечитав еще раз, вписал перед «оправдано» слово «вероятно».

Глава 6

ИЗ РАЯ В ЧИСТИЛИЩЕ

Через два дня после высадки союзников в Нормандии в Англию, в лагерь в Кемптон-парке, привезли первых русских пленных. Это были рабочие трудовых батальонов, мобилизованные немцами на работы по укреплению Атлантического вала. Большинство попало в немецкий плен в 1942 году, не имея никакого военного опыта. По словам одного из пленных, когда союзники начали бомбить побережье, «они просто сидели и ждали, что будет». Они производили впечатление людей малообразованных. К тому же последние два года, проведенные на чужбине, они были совершенно отрезаны от внешнего мира, так как не знали иностранных языков. И все же «на вопрос, хотят ли они вернуться в Россию, большинство ответило безразличием, а некоторые даже отказом».

Правда, в группе из тысячи человек, опрошенной через три недели в транзитном лагере в Девицес, большинство, хотя и боялось наказания по возвращении в Советский Союз, готово было вернуться при условии, что пленным «дадут шанс искупить свою вину». О наказании говорили как один все пленные, хотя они и пошли к немцам на службу по принуждению либо «из-за голода и ужасных условий в лагерях военнопленных». В другом лагере двое пленных достаточно красноречиво выразили свое нежелание возвращаться в СССР: они повесились.

Многие хотели как можно скорее связаться с советскими представителями и рассказать свою историю. Они надеялись, что соотечественники поймут, какие нечеловеческие страдания заставили их работать на немцев. Полагая, что англичане мешают им связаться с советским посольством, и стараясь отмежеваться от своих товарищей по несчастью, слишком запятнавших себя сотрудничеством с немцами, пленные устраивали в лагерях «мелкие бунты и голодовки»; поэтому британский МИД, во избежание недоразумений, старался уговорить советских представителей встретиться с пленными.

Первый серьезный инцидент в этой связи произошел в лагере Баттервик, в Йоркшире. Сюда из транзитных лагерей на юге страны были переведены несколько сот советских граждан разных

национальностей — грузины, татары, жители Средней Азии, даже таджики с Памира. Не имея ни малейшего представления о своем будущем, они, естественно, были подавлены и встревожены. Когда их привезли в лагерь, пленные отказались вылезать из грузовиков. Лишь после долгих расспросов переводчик Чеслав Йесман выяснил, что они приняли группу любопытствующих английских офицеров, сбежавшихся поглазеть на русских, за офицеров НКВД, присланных командовать расстрелом пленных. Между прочим, среди пленных было около двадцати детей.

Вскоре по прибытии в лагерь некоторые начали требовать, чтобы им разрешили вернуться в СССР для участия в борьбе против нацизма. Они составляли петиции и посылали их английским военным властям, в советское посольство и военную миссию. По совету юрисконсульта МИД Патрика Дина пленным объяснили, что в проволочках повинны советские, а не английские власти, но это только подлило масла в огонь. Напуганные молчанием представителей своей страны и понимая все тяготы своего положения, обитатели Баттервика — их было около 550 — приходили все в бóльшую панику. В петиции от 30 августа они жалуются: «Нам выдали одежду военнопленных, мы считаем это оскорбительным». Петицию подписали те, кто был взят в плен в гражданской одежде: наверное, они боялись оказаться в одной компании с пленными, попавшими к англичанам в немецкой форме и тем себя скомпрометировавшими. Они отказались надеть выданную им форму военнопленных и объявили забастовку. Комендант лагеря приказал снять палатки бунтовщиков и посадить их на хлеб и воду. Некоторые тут же заболели, но, несмотря на зарядивший на сутки дождь, «не проявляли никаких признаков слабости, хотя кое-кто все же надел форму». Как подчеркивалось в рапорте в военное министерство, «пленные настолько привыкли к суровому обращению в концентрационных лагерях на континенте, что очень сомнительно, чтобы на них подействовало наказание... Положение может изменить лишь визит представителя советского посольства или хотя бы весточка оттуда».

Отметив, что пленные немного успокоились («они надели штаны»), военное министерство настоятельно рекомендовало приложить все усилия к тому, «чтобы к этим русским военнопленным как можно скорее пришел кто-нибудь из советской миссии и разъяснил им их положение».

Напомним, что советская военная миссия несколько недель делала вид, будто никаких русских военнопленных просто не существует. (Бригадир Файербрейс ответил на это главе советской военной миссии Н. Харламову: «Я могу их вам показать».) Однако на дворе стоял уже сентябрь 1944 года, и советские представители наконец-то получили инструкции из Москвы: генерал-майору Васильеву из советской миссии предстояло посещение лагерей русских военнопленных в Йоркшире.

До этого советские представители должны были совершить обряд, неизбежно предшествовавший всем переговорам. Капитан

Солдатенков, русский эмигрант, работавший в английской разведке и за деньги оказывавший услуги Советам, представил отчет из лагеря в Кемптон-парке об обширном заговоре, организованном русскими эмигрантами с целью воздействовать на лояльность советских военнопленных в отношении коммунистической партии и государства. Солдатенков утверждал, что нити заговора, задуманного Русской Православной Церковью зарубежом, дотянулись из Сербии до Лондона, а теперь уже — до лагерей на севере Англии. Возглавляли, дескать, этот заговор бывший командир московского гвардейского полка генерал Гальфтер, председатель эмигрантской партии «младороссов» Джордж Кнупфер и княгиня Мещерская. Правда, сомнительно, чтобы эта группа могла преуспеть в планируемой интриге: генерал и княгиня были уже в таком возрасте, что вообще ни о какой деятельности не могло быть и речи, а партию «младороссов» распустили за несколько лет до описываемых событий. А Кнупфер предположил, что за попытку подрывной деятельности был, вероятно, сочтен показ в соседнем городке старой кинохроники о коронации Николая II.

На самом деле рапорт капитана Солдатенкова предназначался для того, чтобы впоследствии, когда между советскими представителями и пленными в лагере установится контакт, объяснять страх пленных перед возвращением в СССР происками эмигрантов.

Комендант лагеря в Каттерике разрешил священнику лондонской православной церкви навещать военнопленных и совершать богослужение. Прибыв в Йоркшир, отец Михаил Польский, к своему немалому удивлению, обнаружил, что многие советские граждане прекрасно осведомлены о литургии. Служба проходила в большом бараке, куда битком набились военнопленные, и даже просоветски настроенные офицеры «внутреннего круга» с любопытством наблюдали за службой. Около семидесяти пленных исповедались и причастились. Затем отец Михаил побеседовал с ними и подарил музыкальные инструменты и собранные его прихожанами русские книги, не имеющие никакого отношения к политике. Он отметил, что пленных очень хорошо кормят, а английские офицеры поделились с ним надеждой, что русские увезут домой добрые воспоминания о британском гостеприимстве. Однако после жалобы Солдатенкова все визиты такого рода были запрещены.

Рассказ отца Михаила Польского подтверждает М. Кульман, русская эмигрантка, живущая в Лондоне. Она присутствовала на собрании, где около 50 женщин и мужчин слезно умоляли ее спасти их от репатриации. Они объяснили, что всех их ждет суровое наказание; но у М. Кульман создалось впечатление, что больше всего их пугала перспектива вернуться в страну безбожия. «Сталин хочет отлучить нас от Бога! — говорили они. — Мы тысячу лет жили с Богом, не может же советская власть переделать то, что существовало веками!» Но чем могла им помочь госпожа Кульман? Ей оставалось лишь бормотать бессильные слова утешения.

Не прошло и трех месяцев после прибытия пленных, как в лагерь приехал первый советский представитель. 8 сентября генерал-майор Васильев, новый глава советской военной миссии, объезжал Йоркшир с группой советских и английских офицеров, и англичане возлагали большие надежды на этот несколько запоздалый визит.

В первые два дня своей поездки генерал Васильев посетил лагерь Баттервик, где находилось около 3 тысяч русских военнопленных, из которых 450 все еще бастовали. Те, кто служил в немецкой армии, построились на пустой площади, и генерал обратился к ним с речью. Он сказал, что советское правительство их не забыло и что все они в конце концов вернутся домой, хотя из-за трудностей с транспортом это дело несколько затянется. На этом он закончил свое выступление и стал отвечать на вопросы пленных.

— Что с нами будет, когда мы вернемся домой?

— Не волнуйтесь, — ответил генерал. — У нас всем места хватит.

— Знает кошка, чье мясо съела, — отозвался мрачный голос.

— Вам нечего бояться: вас ведь силой заставили служить в немецкой армии.

Кто-то выкрикнул из толпы:

— Никто нас не заставлял! Мы в вас стреляли!

Но генерал был милосерден и снисходителен.

— Ну что ж, и в этом мы разберемся — отыщем виноватых и отделим их от невиновных. А вот это, — и он указал пальцем на немецкую форму одного из солдат, — бросим в печь.

— И нас вместе с нею, — не унимался мрачный голос.

Во время визита советских офицеров военнопленные держали себя в целом очень уверенно и даже вызывающе. Солдаты Русской освободительной армии обвиняли красноармейских генералов в том, что в 1941—1942 годах их бросили на произвол судьбы; с гордостью выставляли напоказ нашивки РОА; и когда к ним подошел советский полковник, отказались его приветствовать, а некоторые отдали ему честь в явно издевательской манере. В ответ на упреки полковника раздалась грубая брань.

Однако на следующий день все странным образом изменилось. Нашивки РОА были спороты, люди выглядели удрученными и недоверчивыми. Советские офицеры снова беседовали с ними — каждый с небольшой группой, стараясь изыскать доказательства того, что английские офицеры занимаются антисоветской пропагандой. После тщетных усилий им наконец удалось выудить кое у кого признание, что капитан Нарышкин, эмигрант, работавший в лагере переводчиком, говорил им, будто Сталина они больше не интересуют.

— Ах, Нарышкин, — задумался полковник Городецкий. — Это не белогвардеец ли?

Советская делегация тут же заявила протест в связи с высказываниями Нарышкина, и было решено прервать его контакты с военнопленными.

После отъезда советских представителей в лагере воцарилось смятение. Некоторых, правда, ободрили расплывчатые обещания

Васильева, зато другие твердо заявляли, что скорее покончат с собой, чем вернутся на родину. Васильев произнес небольшую речь перед английскими офицерами, заявив, что англичане плохо обходятся с его несчастными соотечественниками, которые были вынуждены работать на немцев, при первой же возможности сдались в плен союзникам, а поэтому, мол, с ними надо обращаться гуманно. Вот ведь и в госпиталь кое-кто попал. И нельзя ли оплачивать труд пленных? А как обстоит дело с сигаретами, баней, дополнительными одеялами? Военное министерство отреагировало на эту речь весьма адекватно: в рапорте не без сарказма отмечалось, что «советское правительство вдруг решило выступить в роли благодетеля...».

На следующий день генерал Васильев со своей свитой прибыл в Стедиум-кемп, в Каттерике. Здесь все шло тихо-мирно, пока комендант лагеря не вздумал похвалиться перед гостями собранием русских книг, которые привез для пленных отец Михаил Польский. Васильев пришел в ужас, и возмутительные сочинения Тургенева, Аксакова и Лермонтова были спешно отправлены назад, в русскую церковь в Лондоне.

Вернувшись в столицу, Васильев заявил, что в общем доволен английской администрацией лагерей. Он вновь подчеркнул, что нельзя считать этих людей предателями, особенно совсем молодых или стариков и немощных, и настоятельно потребовал обеспечить им самые лучшие условия. Осудив суровое обращение англичан с забастовщиками, «он отметил, что это дело прошлое, и напомнил он о нем лишь для того, чтобы такие вещи больше не повторялись».

В связи с предполагаемыми высказываниями капитана Нарышкина английские военные власти разработали систему мер, гарантирующих, что в контакт с военнопленными отныне не вступит ни один человек, которого можно было бы заподозрить в антисоветских настроениях, в особенности эмигранты. Из русских книг разрешались только присланные советской военной миссией, визиты отца Михаила Польского отменялись. Для поддержания внутренней дисциплины в лагере важно было искоренить слухи, «будто советское правительство больше не проявляет к пленным интереса и им нечего ждать от своего правительства. Подобные утверждения совершенно безосновательны, и всякая антисоветская пропаганда такого рода будет осуждена самым серьезным образом».

Между тем приближался момент отправки первой группы русских военнопленных на родину. По мнению англичан, первенство в этом деле должно было принадлежать какой-то определенной категории пленных. Большинство русских, взятых в плен в Нормандии, входили в состав формирований, относившихся — по крайней мере, в теории — к немецкой армии, и, следовательно, считались военнопленными. Не столь многочисленную категорию составляли члены трудовых батальонов Тодта, не являющиеся солдатами в общепринятом смысле слова. Но поскольку они носили форму и работали на военных укреплениях, военное министерство решило считать их военнопленными. Министерство внутренних

дел отправило в Баттерик 500 человек, относящихся к этой категории (они-то и устроили описанную выше забастовку).

Но среди русских были также и гражданские лица, не состоявшие ни в каких организациях и не относящиеся к категории военнопленных. Они находились в ведении министерства внутренних дел в приемном центре в Лондоне и по английским законам не подпадали даже под самую вольную интерпретацию «Акта о союзных вооруженных силах». Их могли оставить в стране на правах беженцев или выслать (но не репатриировать против их воли). Этим вопросом занимался законник МИД Патрик Дин. 15 октября он писал в «совершенно секретном» письме в министерство внутренних дел: «Нам кажется, самое простое — это отправить домой всех русских, находящихся в данный момент в лондонском приемном центре... поскольку это снимет с вас ответственность и поможет избежать юридических и политических затруднений, которые могут возникнуть, если эти люди будут и дальше оставаться в Соединенном Королевстве на правах гражданских лиц... Дело осложняется тем, что среди этих русских есть женщины, нуждающиеся, насколько я понимаю, в особых условиях, но, к счастью, число их невелико, и мы очень надеемся, что их удастся отправить домой в самом скором времени».

Через месяц секретарь Объединенного комитета начальников штабов сообщил в МИД: «Положение с транспортом изменилось... и начальники штабов поручили мне сообщить, что в настоящее время возможно вывезти 11 тысяч человек, при условии, что суда вернутся назад к концу ноября 1944 года».

Этот дополнительный транспорт неожиданно высвободился из-за отмены предполагавшегося наступления на Рангун. Условие адмиралтейства о возвращении судов к концу ноября совпало с требованием Идена форсировать события; он ведь постоянно твердил, что крайне желательно вывезти из Англии «как можно больше советских военнопленных, пока не возникли осложнения». Под осложнениями Иден, конечно, имел в виду пугавшую его огласку.

Как только появился транспорт и Военный кабинет дал согласие на отсылку пленных, военное министерство принялось за организацию перевозки русских, разбросанных по всему Йоркширу. Это была довольно серьезная задача. Несколько тысяч человек, не имевших никаких вещей, надо было обеспечить одеждой для путешествия по северным морям и пребывания в СССР, где зима была уже на носу. Заведующий армейским интендантством, Д. Сифф, распорядился предоставить пленным несколько тысяч шерстяных жилетов, кальсон, носков, шинелей, ботинок, расчесок, бульонных кубиков и т.п. В своей заботе о комфорте пленных власти дошли до того, что издали следующее распоряжение: «Все русские, отобранные для репатриации, должны быть обеспечены новым, повторяю, новым обмундированием и шинелями; все немецкие формы и любую форменную одежду, находящуюся в их распоряжении, следует отобрать».

20 октября отдел по делам военнопленных под руководством генерал-майора И.К.Геппа собрался для обсуждения последних приготовлений к репатриации. Генерал Гепп объяснил, что в первой партии репатриируется 10 220 русских. Им уже выданы одежда и личные вещи, и их вывезут из лагерей 29 октября. Генерал Васильев, санкционировав меры по устройству остающихся военнопленных, торжественно осведомился об одежде, выданной русским. Его заверили, что все в полном порядке, и присутствовавшие на собрании отправились на ленч.

Следует сказать, что генерал Васильев вовсе не являлся украшением славной организации, которую он представлял. Двое знавших его в тот период пишут об его поразительном сходстве с крысой. Кроме того, он был сноб. Рассказывают, что однажды он с гордостью произнес: «Подумать только, меня, капрала драгунского полка царской армии, как равного принимают в лондонском кавалерийском клубе».

На ранней стадии подготовки к возвращению русских пленных на родину английские власти осведомились у Васильева, «какие шаги следует предпринять в отношении советских граждан, отказывающихся возвращаться». Бригадир Файербрейс, не желавший, чтобы английские войска принимали участие в этом неприятном деле, предложил Васильеву выделить для охраны транспорта советских военнослужащих. Но Васильев с самого начала настаивал на том, чтобы именно английские солдаты отвечали за побеги пленных по дороге к порту. Поскольку МИД поддерживал все требования Васильева, Файербрейсу ничего не оставалось, как уступить. В тот же самый день комендантам лагерей был отправлен тщательно продуманный приказ: «Не исключена возможность, что некоторые русские не пожелают покинуть Англию и попытаются бежать... Вам надлежит обеспечить вооруженную охрану для сопровождения пленных, но охранники не могут, повторяю, не могут применять оружие, кроме как для самообороны... Держите достаточное число охраны в порту, до отхода судна, во избежание побегов в самом порту. Это должно быть проделано как можно незаметней».

31 октября корабли с русскими военнопленными вышли из Ливерпуля в Мурманск. На борту было 10 139 мужчин, 30 женщин и 44 мальчика. Все они находились под неусыпным наблюдением «незаметных» вооруженных английских охранников. В советский порт судно прибыло как раз накануне очередной годовщины революции. 14 ноября советское агентство ТАСС передало волнующий рассказ о прибытии двух транспортов и о высадке освобожденных пленных: «Прибывших тепло встретили представители уполномоченного Совнаркома СССР по делам репатриации советских граждан из Германии и оккупированных ею стран, а также представители местных советских органов и общественности. Волнующей была встреча вернувшихся из фашистской неволи советских граждан с трудящимися Мурманска. Стихийно возник митинг. Один за другим поднимались на импровизированную трибуну советские граждане, насильно оторванные немецкими извергами от Родины,

и выражали свою взволнованную благодарность советскому правительству, товарищу Сталину за отеческую заботу о них...

Местные советские органы проявили большую заботу о репатриированных советских гражданах. Их обеспечили питанием и жильем. Советские люди, которые вновь обрели Родину, проявляют огромный интерес к радостным событиям на фронтах Отечественной войны, к жизни Советского Союза. Затаив дыхание, слушали они 6 ноября доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища Сталина на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся совместно с представителями партийных и общественных организаций города Москвы. Репатриированные советские граждане группами разъезжались по родным местам. Дети-сироты, родители которых пали от рук немецких захватчиков, размещаются в детских домах».

Из рассказа очевидца событий, майора С.И. Кригина, предстает совсем не такая радужная картина: «7 ноября в Мурманске я возвращался в машине из штаба военно-морской миссии в порт. По дороге мы миновали длинную колонну русских репатриантов, шедших под конвоем с судна «Скития» в лагерь за городом. У меня создалось впечатление, что с ними обращаются, как с военнопленными вражеской армии. Охранники были вооружены винтовками, на 10—15 пленных приходилось примерно по одному конвоиру. Никаких признаков теплого приема я не заметил. Поведение репатриантов лишний раз свидетельствовало об их униженности. Все они были одеты в английскую военную форму, у большинства в руках были маленькие узелки с пожитками, советских вещей на них не было».

Это сообщение было отправлено бригадиру Файербрейсу, который, пересылая копии генералу Геппу и Уорнеру (из МИД), приписал: «В связи с настоятельными требованиями советской стороной привилегий и поддержки для «освобожденных советских граждан» прилагаемый рассказ очевидца событий в Мурманске может представить некоторый интерес».

Однако в МИД сообщение Кригина прозвучало неприятным диссонансом среди всеобщего благодушия; и мидовский чиновник Джоффри Вильсон, подчеркнувший, по поручению Уорнера, строчки донесения, говорящие об отсутствии у пленных советских вещей, заметил: «Ничего удивительного: ведь они только что сошли с английского корабля. И наличие вооруженной охраны тоже вполне естественно. Хорошо бы узнать побольше о самом майоре Кригине...»

Но за кулисами творились вещи пострашнее. Лейтенант норвежской армии Гарри Линдстром прибыл в Мурманск с тем же транспортом, что и русские. Весь день 7 ноября до него доносился звук автоматных очередей. Тогда он спросил двух советских офицеров, находившихся с ним на судне, что происходит. Те ответили, что не знают. На это норвежский репортер Олаф Риттер не без сарказма заметил, что это, вероятно, дают салют в честь советских военнопленных, вернувшихся из Англии. Впрочем, даже такие

случаи, как показали последующие события, не могли нарушить спокойствия мидовских чиновников.

Генерал Васильев, явно довольный ходом дел, при ближайшей встрече тепло поблагодарил генерала Геппа. У сэра Александра Кадогана, постоянного заместителя министра иностранных дел, тоже были все основания для радости. 2 ноября он писал Черчиллю, отвечая на вопрос премьер-министра о причинах задержек в проведении всеобщей репатриации: «Согласно вашим распоряжениям, мы отправили пленных в СССР. На суда было погружено около 10 200 человек. Сопротивление оказали всего 12 человек, они были доставлены на судно силой, остальные ехали вполне охотно. Около 9500 пленных еще находятся в Англии. Мы отправим их при первой же возможности».

Такая возможность, однако, предстáвилась лишь через несколько месяцев, а пока русские, находившиеся в Англии, старались как можно больше извлечь из своего пребывания там. В их лагерном существовании в Англии имелся легкий оттенок чего-то нереального, что ощущалось и пленными, и охраной.

Гарри Льюис, например, не без удовольствия вспоминает о том, как работал бухгалтером в лагере Брэмхэм-2 в Йоркшире, где содержалось 500 русских пленных. Это были представители самых разных национальностей, по большей части сильные, рослые люди, с огромными ногами и головами: им приходилось выписывать фуражки самых больших размеров, но и те сидели на них, «как на корове седло». Впрочем, ботинки подходящих размеров все же нашлись, но русские подбивали их бумагой, объясняя, что так положено в Красной Армии.

Главными их развлечениями в лагере были, как поется в старой русской песне, карты, женщины и вино. Каждую неделю им выдавались карманные деньги в размере 5 шиллингов, но после азартной картежной игры все деньги переходили в карманы нескольких счастливчиков, и те тут же бросались в лагерную столовую за пивом. На вопрос, сколько им налить, они отвечали по-немецки: «Alles». Или же они отправлялись на автобусе в Лидс — зайцами, потому что кондукторше никак не удавалось выйти победительницей из лингвистического поединка с ними. Там они проводили счастливые часы в самых низкосортных пивных, на обратном пути расплачиваясь рвотой в запоздалых автобусах. Некоторые ухитрялись иметь дополнительный доход: им случалось переспать с солдатками и они возвращались в лагерь с честно заработанной фунтовой банкнотой.

Днем пленные работали на соседних фермах. Их не охраняли (во всем лагере было 13 невооруженных английских солдат), и они работали с удовольствием и часто пели красивые песни. Стояла суровая зима 1944/45 года, и они настояли на том, чтобы печи в их бараках топились круглосуточно. В результате они вскоре не только извели весь запас угля, но и сожгли бóльшую часть лагерной мебели. Эта страсть к теплу странным образом сочеталась с излюбленным развлечением: обливать друг друга на морозе ледяной водой из шлангов.

Жизнь английского персонала тоже напоминала дурацкую музыкальную комедию. Один из старших офицеров занимался торговлей одеждой и вел дела прямо из лагерной штаб-квартиры, заваленной мотками шерсти. Второй офицер, ирландец, появлялся в лагере крайне редко, поскольку у него имелась девица в Торнере. Остальные занимались обычными делами — разворовывали склады и потихоньку сбывали русским пиво, по три пенса за пинту. Никому ни до чего не было дела, и каждый развлекался как умел.

Гарри Льюис свел знакомство с пленными, и они рассказывали ему о том, что им пришлось пережить в Красной Армии и в войсках вермахта, говорили о своем нежелании возвращаться в СССР. Будучи бухгалтером, он имел возможность убедиться в неграмотности подавляющего большинства пленных: получая деньги, они вместо подписи ставили крестик. Это случайное открытие кое-что говорит нам о западных специалистах, в свое время принявших на веру официальные советские утверждения, будто неграмотность в СССР упала до 2%. В общем Гарри Льюис сохранил очень теплые воспоминания о русских пленных. «Они были азартными игроками, страшными пьяницами, жуткими бабниками, среди них свирепствовали венерические болезни... но при всем при том они были очень симпатичные ребята!» — утверждает он.

Впрочем, национальная склонность к горячительным напиткам поощрялась далеко не во всех лагерях. Вот что рассказывает Вайолет М. Дай, жившая весной 1945 года в Ворсинге, где русским пленным выделили гостиницу: «Их не пускали в питейные заведения, и они без конца толклись в аптеках, жестами показывая, что у них прострелы и радикулит, и аптекари выдавали им метиловый спирт, пока не обнаружили, что русские используют его вовсе не для растираний, а для внутреннего употребления. Тогда всем аптекарям был разослан циркуляр, призывающий к осторожности».

Однако русские пленные вовсе не были однородной массой младенчески наивных крестьян, привыкших к лишениям и страданиям, для которых свобода и удобства значили куда меньше, чем для англичан. Среди офицеров, общавшихся с ними, были люди, которые могли понять русский характер. Это, в первую очередь, Чеслав Йесман. Вторым был мой старый друг, князь Леонид Ливен. Он родился в Курляндии, переехал в Англию, стал военным. В ту пору многие русские эмигранты, английские граждане, благодаря знанию русского языка получили назначения на работу в лагеря, где размещались русские пленные. Свободно владея русским, эмигранты много общались с пленными, и для них это была не просто безликая масса, от которой, по выражению Черчилля, Идена и Моррисона, следовало как можно скорее «избавиться».

Князь Ливен был назначен в группу связи при бригадире Файербрейсе, и в октябре 1944 года он оказался в лагере в Тирске. Два обстоятельства поразили его по прибытии. Он увидел настоящих русских крестьян, бородатых и спокойных, которые часто

выражали удивление при виде погон у офицеров военной миссии, приезжавших в лагерь. Большинство их попало в плен в 1941—1942 годах, до того, как Сталин ввел в армии погоны, и потому они заключили, что в лагерь приехали царские офицеры мобилизовывать их на войну с Советами.

Но далеко не все в лагере были простолюдинами. Князь Ливен познакомился с русским врачом, умным и образованным. Тот рассказал, что служил в Белой армии у Деникина; после падения Врангеля решил воспользоваться амнистией, которую тогда объявили Советы, и остаться в России, чтобы помогать своему народу. Попав в немецкий плен, он по той же причине согласился работать с немцами — хотел лечить своих соотечественников в плену. Он хорошо понимал природу советского государства и догадывался о том, какая судьба ждет его по возвращении, но был готов принять ее. Однажды он признался Ливену: «Смерти я не боюсь, меня пугают пытки».

Ливен пытался уговорить коменданта лагеря спасти несчастного от репатриации. Поляки из другого лагеря предложили помочь: например, они могли бы доказать, что этот врач —украинец, живший западнее линии Керзона. Но комендант понимал, что сделать ничего не удастся, и весьма раздраженно приказал Ливену больше не поднимать этот вопрос.

— Вы ведь, Ливен, белогвардеец, —добавил он. —Если вы будете настаивать на этой безумной идее, вас и самого арестуют.

Несмотря на это предупреждение, Ливену удалось заинтересовать этим делом другого офицера, но тут ему неожиданно приказали выехать на судно «Дюшес оф Бедфорд» в Ливерпуль, и врач был репатриирован вместе со всеми.

Иные пленные, по рассказам Ливена, были людьми редкой душевной чистоты и доброты, какие встречаются только в России. Один солдат три часа простоял перед фасадом Йоркского собора, завороженный его красотой. Другой рассказывал Ливену о том, как в лесу на Украине повстречался с Богом. Незадолго до немецкого вторжения Господь предстал пред ним в образе старика и сказал: «Спрячься, сын мой, ибо грядет сатанинское время». Крестьянин послушался и таким образом, вероятно, избежал смерти. В Англии он беспрестанно поражался свободе и богатству тамошней жизни. «Как в раю», —повторял он. Однако МИД решил, что ему стоит дожить свои дни совсем в другом месте.

В лагере в Тирске был весьма беспокойный обитатель, по фамилии Шараватов. Сначала он был старостой лагеря, но его карьере помешало участие в волнении, которое организовал один татарин против коммунистов, укравших, по его утверждению, все лагерное мясо. Татарина перевели в лагерь для итальянских фашистов; в Тирске был назначен новый староста, а Шараватов, как другие пленные, стал работать на близлежащих фермах. Эта беззаботная жизнь его вполне устраивала, но все рухнуло в один прекрасный день, когда он увидел дочь местного фермера верхом на прекрасном коне. Это видение юности и красоты возникло перед ним среди

ржавых листьев, запахов и туманов английской осени. Вряд ли он мог видеть что-нибудь подобное на бескрайних просторах России. Мимо него проносились на лошадях участники охоты. Но бедный Шараватов стоял как пораженный громом. Затем он беспробудно запил и как-то, лунной ночью, добрался до фермы. Утром военный патруль обнаружил в хлеву его бесчувственное тело. По лицу спящего бродила широкая улыбка; рядом, в соломе, валялись опорожненные бутылки.

Вспоминал ли Шараватов об аккуратных изгородях в деревнях вокруг Тирска, когда замерзал на Колыме? Являлась ли ему в тюремных снах дочь фермера, уверенно сидящая в седле, юная и задорная? И сколько раз нарушался этот сон звоном рельса, поднимавшего зэков? Впрочем, вряд ли Шараватову снились сны. Он ведь уже отличился в лагерном волнении против коммунистов. Его имя, вероятно, попало в черный список генерала Ратова, переданный на судно, которое везло его и тысячи таких же, как он, русских пленных в Одессу. И скорее всего, последнее, что видел Шараватов на земле, это ствол автомата, нацеленного ему в живот.

В Бексхилле, на побережье залива, тоже был устроен лагерь. Во время войны в этом курортном местечке было малолюдно. Большинство его обитателей разъехалось. В числе оставшихся были супруги Бэксхол, которые подружились с несколькими русскими пленными. Русские гости любили посидеть у камина с чашкой чая или сыграть в бильярд с Биллом Бэксхолом. Они не переставали удивляться жизни английских солдат.

— Представляете, они каждую субботу чистят ботинки, наводят марафет и идут себе домой, —говорил пораженный Александр Коркин. —В Красной Армии мы считали счастьем побывать дома раз в полгода. В немецкой армии было сносно; но в Англии —просто житуха. Никто никого ни к чему не принуждает, никто не голодает, все добрые, приветливые, каждый живет как хочет. Да в СССР такое житье и представить себе трудно.

Коркин вполне сносно владел английским. Его родителей, крестьян, убили в 20-е годы коммунисты, а сам он пополнил ряды армии беспризорных, существование которой являлось неотъемлемой частью жизни довоенного СССР. Его другу, Федору Чернышуку, было 26 лет, и оба они часто говорили о том, какая ужасная участь ожидает их по возвращении в Союз. «Все капут!» —подытоживал Федор эти рассуждения.

После долгих бесед с новыми друзьями Бэксхол начал понимать, что эти страхи — не пустые слова. А ведь в тогдашней атмосфере союзничества далеко не всякий мог осознать, что в России у власти стоит правительство, которое, захватив власть силой, в буквальном смысле слова объявило войну своим собственным гражданам. Новые друзья Бэксхола были люди простые, политика их не интересовала, о своей жизни на родине они рассказывали просто, ничего не преувеличивая и не скрывая, и эти бесхитростные истории глубоко запали в душу англичанина.

Во время встречи Рождества 1944 года пленные спросили Бэксхола, не может ли он помочь им остаться в Англии. Разумеется, возможности Бэксхола были весьма ограниченны. Тем не менее 1 января 1945 года он написал в министерство внутренних дел Великобритании письмо, интересуясь «процедурой, в соответствии с которой эти русские могли бы получить английское гражданство».

Сам того не зная, Бэксхол вызвал настоящий переполох в благородном семействе. Патрик Дин послал копию письма Генри Филлимору, прося его подробнее ознакомиться с делом. «Если, —писал он, —эти люди советские граждане —а так оно, скорее всего, и есть, — им придется репатриироваться, хотят они того или нет». Но необходимо было проверить все до мельчайших деталей, так как «с юридической точки зрения положение этих людей... несколько сомнительно, и именно частые запросы такого рода могут в конечном счете привести к неприятностям». Через пять дней МИД получил сообщение от чиновника военного министерства: «В соответствии с договоренностью по телефону, прилагаю к сему перевод прошения, подписанного 42 советскими гражданами из трудовой роты 631, о том, чтобы английское правительство оградило их от репатриации в Россию. Прилагаю также копию рапорта офицера... Поскольку эти люди признали себя советскими гражданами, мы полагаем, что они будут репатриированы в Россию независимо от их желания. Пока же можно рекомендовать и впредь, как и раньше, содержать их в изоляции в вышеуказанной трудовой роте».

Очевидно, не слишком рассчитывая на помощь Бэксхола, Коркин, Чернышук и их товарищи сами обратились в министерство. А через несколько дней Бэксхол написал еще одно, более пространное письмо в министерство внутренних дел. Подробно описав надежды и страхи двух своих русских друзей, он предлагал предоставить этим людям кров, пока они не найдут работу. Профессия у них хорошая — они делают игрушки.

Но все усилия были, разумеется, тщетны. 8 февраля сотрудник МИД Джон Голсуорси писал сотруднику военного министерства майору Джеймсу: «Спасибо за ваше письмо Дину... от 25 января относительно группы 42 советских граждан из трудовой роты 631, которые попросили о протекции английского правительства. Являясь советскими гражданами, эти люди, разумеется, должны быть репатриированы в СССР при первой же возможности и независимо от их желания. Более того, они сами признались в том, что перешли к врагу, чтобы воевать против союзников, и у нас нет подтверждений их словам, будто они сдались нам добровольно. Нам кажется, что они не заслуживают сочувствия, и мы полагаем, что наша главная цель — сделать все, чтобы из-за них не возникло никаких осложнений между нами и советскими властями. Если имеется опасность таких осложнений или если руководство лагеря проявляет к ним сочувствие, мы считаем нужным соответствующим образом проинструктировать ответственных лиц».

Одновременно Бэксхол получил короткий ответ из МИД, извещавший, что его просьба не может быть удовлетворена: русские находятся под советской юрисдикцией, вне английского контроля.

5 февраля Бэксхолы ждали своих русских друзей в гости. Их сын Роланд, как обычно, поехал за ними на велосипеде в лагерь, но найти их не смог. Мальчик обратился к часовому-канадцу, стоявшему у ворот, и тот протянул ему записку, в которой, с жуткими ошибками, было по-английски написано: «Мистер Билл! Нас сегодня в 12 часов переводят в лагерь в 50 милях отсюда. Извините, что не можем прийти. Времени нет. Федор, Александр». Это была последняя весточка от русских друзей; и только через тридцать лет Бэксхолы узнали некоторые подробности того, что произошло.

Петиция русских военнопленных возымела самые неожиданные последствия. Военное министерство запросило работников советской военной миссии, не считают ли они целесообразным включить в следующую партию репатриантов, которая тогда как раз компоновалась, «предателей из 631-й трудовой роты». («Предатели», разумеется, были те, кто подписал петицию и был изолирован от других пленных). Получив утвердительный ответ, военное министерство издало следующую директиву: «Советских граждан из 631-й трудовой роты — в количестве 41 человека, — отказавшихся вернуться в СССР, следует, не информируя их о предстоящей репатриации, немедленно перевести в лагерь для военнопленных № 9».

16 февраля Александр Коркин, Федор Чернышук и их товарищи, подписавшие роковую петицию, были под конвоем доставлены в Ливерпуль. Серым февральским вечером они вместе с сотнями своих соотечественников поднялись на борт кораблей, идущих в СССР. Здесь были пленные из лагерей, где работали князь Ливен и Гарри Льюис, и из многих других. Как только в лагерях начали распространяться слухи о предстоящей репатриации, среди пленных возникла паника. Гарри Льюису пришлось принять участие в погоне за сбежавшим русским офицером. В лагере в Брэмхаме 5—8 человек, по достоверным сведениям, покончили с собой. В Тирске многие пленные бежали в Апеннины, но страшный холод погнал их назад. Избежать репатриации удалось только одному: его тело обнаружили в лагере уже после того, как пленных увезли на судно. При посадке на набережной произошел отвратительный инцидент, о котором мне рассказал Гарри Льюис: «На долю моих сослуживцев, с которыми я очень подружился, выпало очень неприятное испытание. Когда они приехали в Ливерпуль, один из русских, увидев корабль, понял, что их обманули и что всех их сейчас отправят в Россию. Выхватив из кармана ржавый нож, он попытался перерезать себе горло. Когда ему не удалось перерезать яремную вену, он зажал пальцем трахею и попытался сломать ее, но его остановили. На борт судна втащили уже не человека, а какое-то кровавое месиво. Мои друзья отнесли его в лазарет. Это зрелище не вызвало ни малейшего сочувствия у советских солдат на судне, один из них сказал: «Собаке собачья смерть». Это мне рассказали люди, которым я абсолютно верю и которые вернулись с корабля совершенно больными».

Льюис добавил, что нести русского в лазарет пришлось английским солдатам, потому что советские офицеры просто бросили его на палубе.

Но у Коркина, Чернышука и их сотоварищей не было времени задумываться над тем, что они видели. Заподозрив, что их везут на корабль, отправляющийся в СССР, они отказались надеть выданную им форму. Английские офицеры предложили советским коллегам найти для репатриируемых одежду, но те отказались. В английском отчете говорится: «Пленные были доставлены к месту назначения без всяких препятствий в 22.00. Пятеро зачинщиков были помещены в камеры, остальные — на небольшой палубе под советской охраной. Перед отходом судна к ним обратился с речью генерал Ратов. Он выразил сожаление по поводу их поведения и сказал, что все их страхи совершенно лишены оснований и по возвращении на родину они все будут прощены».

Леонид Ливен, находившийся на борту «Дюшес оф Бедфорд», живо запомнил все подробности путешествия. Один из пяти зачинщиков, очевидно, не убежденный посулами генерала Ратова, бритвой разрезал себе живот: ему недавно удалили аппендикс. Имя этого несчастного неизвестно.

Конвой прибыл в Одессу в начале марта 1945 года. Не успели суда пришвартоваться, как на борту появились сотрудники НКВД. Им были вручены списки пленных и рапорты советских офицеров, находившихся на судах, и они немедля приступили к работе. Пленных построили на палубе, офицер выкликал по списку фамилии, мертвенно-бледные люди выходили из строя. После короткого допроса пленных, в сопровождении сотрудников НКВД с автоматами, группами уводили с корабля. Покончив со специальными списками, приступили к выгрузке оставшихся.

Английские моряки равнодушно наблюдали за происходящим с палубы. Во всех портах, в которые они заходили, толпились солдаты, громоздилось военное оборудование, гудели сирены кораблей, кричали люди, в небе кружили чайки. От Неаполя и Констанцы Одесса отличалась разве что количеством разрушенных бомбежкой зданий.

Вдруг глубокое гудение разрезало воздух, в небе появились два бомбардировщика и начали кружить над бухтой. Моряки инстинктивно втянули головы в плечи, потом выпрямились, завидев на крыльях красные звезды. Тем не менее самолеты вели себя как-то странно. Примерно с четверть часа они кружили над портом, и стоило морякам притерпеться к их гудению, как к нему добавился новый пронзительный механический звук. Это запустили лесопилку, стоявшую на набережной. В пронзительном вое пилы и гуле самолетов потонули все прочие звуки. Те, кто оказался поблизости, машинально затыкали уши. Этот адский шум продолжался минут двадцать.

Князь Ливен, сообразив, что происходит, в ужасе помчался к полковнику Дэшвуду, который должен был проследить за возвращением на том же судне английских военнопленных, освобожденных Красной Армией. Бледное, перекошенное ужасом лицо князя потрясло полковника:

— В чем дело, мой мальчик?

— Сэр, они убивают пленных! — заикаясь от волнения, выдавил Ливен.

— Этого не может быть! — прокричал в ответ полковник.

Ливен стал было настаивать, но быстро сообразил, что протестовать все равно бесполезно — чем мог тут помочь полковник Дэшвуд?

Через несколько минут шум прекратился, бомбардировщики скрылись за крышами, пила, выполнив, вероятно, свою утреннюю норму, остановилась, и порт снова зажил привычной жизнью. Выгрузка с судна продолжалась без всяких инцидентов, и только Ливен не мог отделаться от мысли о том, что в недавнем грохоте потонули стаккатто автоматных очередей, крики и стоны жертв.

Догадка князя Ливена представляется вполне правдоподобной. Бывший узник Лефортово, финн, рассказывает, что возле тюрьмы, «наверное, находилась мастерская по ремонту самолетных двигателей, и мы денно и нощно слушали гул запускаемых двигателей... Но вечерами и ночью эти звуки часто перекрывались доносившимися до нас криками из следственного отдела, хотя он был от нас довольно далеко».

О том же пишет и А.И. Солженицын: «Под какой-нибудь сопроводительный машинный грохот неслышно освобождая пули из пистолета в затылки...»

Эти методы, которым обучали в школе НКВД в Бабушкине, применялись повсеместно. Так что вряд ли можно серьезно воспринимать заключительные строки статьи в лондонской «Таймс», посвященной этой репатриации, в которых автор пишет о «трогательных сценах, разыгравшихся после того, как русские вступили на свою родную землю».

На этом, насколько мы можем судить, закончилась история пленных, которые всего за несколько недель до того сидели за рождественским обедом в уютном доме Бэксхолов. Эта страшная участь постигла их лишь по одной-единственной причине: английские власти сочли своим долгом сообщить генералу Ратову о петиции, написанной в Бексхиллском лагере. Как месяцем раньше заметил Джон Голсуорси, «нам кажется, что они не заслуживают сочувствия...»

Остальным пленным, выгруженным в Одессе, но не расстрелянным тут же на набережной, предстояло пройти еще некоторые формальности перед тем, как отправиться «в неизвестном направлении». Напомним, что английское правительство было очень озабочено тем, чтобы полностью экипировать репатриируемых новым зимним обмундированием. Самое горячее и заинтересованное участие в этом деле принял глава советской миссии генерал Васильев. 20 октября 1944 года на совещании отдела по делам военнопленных он жаловался директору отдела генералу Геппу, что некоторым пленным выданы новые формы, а другие остались в старых и рваных. Генерал Гепп обещал это проверить. Уже на

следующий день была издана соответствующая директива. Тем не менее советские власти продолжали настаивать на своих требованиях от имени «советских военнопленных и граждан СССР, депортированных немецкими захватчиками в фашистские лагеря и освобожденных союзными войсками». 21 декабря 1944 года штаб ВКЭСС сообщил: «Советские представители на этом театре военных действий информировали нас, что они рассчитывают получить от союзников новое обмундирование для всех своих пленных... Речь идет о следующих вещах.

Одежда: по блузе на каждого, подшлемник, шинель, шерстяной свитер, пара ботинок, шерстяные перчатки, брюки. По две пары шерстяных кальсон, жилеты, носки.

Снаряжение: по одеялу на каждого, кисточки для бритья, расчески, рюкзак, бритва, жестяная миска, мыло, бутылки для воды (вода в бутылках), зубная щетка, вилки, ножи, ложки, полотенца».

Незадолго до описанного выше путешествия Васильев в письменном запросе осведомился о готовности обмундирования. Через два дня, 7 февраля 1945 года, в письме генералу Геппу он выразил недовольство тем, что «репатриируемым выдается всего лишь по паре нижнего белья на человека... Советская военная миссия просит принять во внимание климатические особенности Советского Союза зимой и учесть, что репатриируемым предстоит покрыть значительные расстояния. Поэтому мы считаем, что в добавление к другим предметам одежды следует выдавать по крайней мере по два комплекта нижнего белья на человека».

Обмундирование, которого столь настойчиво добивалась советская сторона и которое столь любезно было предоставлено англичанами, сопровождало пленных в их долгом морском путешествии до самой Одессы. Но там им пришлось расстаться со своими вещами. Мы располагаем пятью разными свидетельствами, в которых описана любопытная церемония, имевшая место всякий раз по прибытии советских граждан на родину. Приведем одно из них — Г.Г. Гамильтона, освобожденного Красной Армией из немецкого плена и проделавшего вместе с сотоварищами опасное путешествие через Польшу и Украину в Одессу, откуда их должны были отправить на родину на тех же судах, на которых были доставлены русские пленные. Вот что он пишет: «Я имел несчастье попасть в руки к Советам в 1945 году, и мне довелось собственными глазами увидеть, что сталось с советскими гражданами, репатриированными из Германии. Наша группа бывших английских военнопленных прибыла в Одессу 8 марта 1945 года. Отсюда нам предстояло отплыть на судне «Хайланд принцесс», прибывшем в Одессу с большим количеством бывших русских военнопленных, попавших в руки к союзникам во Франции. По словам корабельной команды, этим пленным была выдана полная смена обмундирования, и они вышли на берег в английской форме. Будучи в казармах в Одессе, мы видели, как группу этих людей вели к вокзалу, чтобы отправить их на восток, и они были одеты в лохмотья, а на ногах

у них было и вовсе нечто невообразимое... Прочитав «Архипелаг ГУЛаг» А. Солженицына, я понял, что он описывает именно то, что мы наблюдали в Одессе. Правда, мы не были непосредственными свидетелями того, как у них отбирали английское обмундирование и белье, ботинки, носки и т.д. — все это происходило в помещении склада. В двери склада входили хорошо одетые люди — а выходили оборванцы в некоем подобии обуви, столь живо описанном А.Солженицыным...»

О том же рассказала мне и другая моя соотечественница, свидетельница событий. В ту пору она была юной девушкой (как и английских пленных, ее освободила Красная Армия). Подтверждают это и свидетельства трех английских офицеров связи, сопровождавших транспорты с репатриированными и не раз присутствовавших при подобных жестоких и унизительных сценах.

Стоит задаться вопросом, почему советское правительство так злоупотребило доверием своего союзника. Очевидно, одежда сама по себе представляла в то время действительно некую ценность: в СССР ее катастрофически не хватало. И все же — абсурдные требования лишней пары кальсон в сочетании с полным отсутствием каких бы то ни было попыток скрыть последующую конфискацию вещей выглядят довольно странно.

Впрочем, не менее странно и другое противоречие. С одной стороны, многие англичане имели возможность наблюдать за тем, что происходит, и докладывать об этом английским властям. С другой, советские власти порой доходили буквально до абсурда в попытках скрыть что-либо от иностранного наблюдателя. Приведем всего лишь один пример: вице-президент США Генри Уоллес во время визита в СССР побывал на Колыме. Чтобы создать благоприятное впечатление у простодушного визитера, НКВД за одну ночь снесло деревянные наблюдательные вышки вдоль дорог к Магадану, построенному зэками. Тысячи заключенных были на три дня заперты в бараках. Иностранного гостя отвезли в образцовый колхоз, где в роли свинарок выступали секретарши офицеров НКВД. В магаданском театре ему показали спектакль, в котором играли заключенные, привезенные в театр на грузовиках и сразу же после представления отправленные назад. В магазины завезли товары, которых никто из русских не видел уже много лет. Поэтому нам кажется вполне вероятным, что советские власти старались — и не без успеха — утереть союзникам нос. Да и в самом деле — кто бы мог подумать, что удастся с такой легкостью заставить англичан репатриировать тысячи пленных и что они беспрекословно будут сносить нескончаемый поток советских оскорблений! А коли так — то почему бы не заставить этих английских задавак поплясать под советскую дудку: пусть потратятся на одежку для приносимых в жертву русских. А если потом они обнаружат, что их надули, — так поделом им. Сталин сам ведь сказал однажды про Черчилля: «...Он такой, что если не побережешься, он у тебя копейку из кармана утянет». И легко представить себе, как в маленькой комнате в Кремле, где по ночам горел свет, он и Берия потешались над Черчиллем, карманы которого они так ловко обчистили...

На протяжении первых шести месяцев 1945 года английские конвои регулярно отправлялись из Англии в СССР. На одном из судов приключился забавный случай, о котором рассказал мне Чеслав Йесман. 27 марта из Глазго в Одессу вышло судно «Альманзора», на борту, кроме советских военнопленных из лагерей в Йоркшире, находились также члены чешского правительства в изгнании, отправленные вперед для установления контроля над страной сразу же после освобождения. (Доктора Бенеша, будущего президента страны, еще раньше вывезли самолетом.)

Маршрут «Альманзоры» пролегал через Средиземное море и Дарданеллы. В Константинополе судно подобрало трех-четырех русских, бежавших с предыдущего корабля. Советский консул доставил их на судно и передал офицеру НКВД, майору Шершуну, находившемуся на борту, а тот, в свою очередь, передал их своему одесскому начальству.

Чешские министры должны были сойти на берег в черноморском порту Констанца. Перед этим советские офицеры устроили в их честь прием. Все шло как положено: произносились торжественные речи, провозглашались тосты, и вот один чешский министр поднялся, чтобы поблагодарить хозяев. Сказав о тех дружеских чувствах, которые связывают их с русскими, он под конец пригласил офицеров в ближайшем будущем наведаться в Прагу. Лейтенант Йесман ясно слышал, как один из сидящих поблизости от него саркастически пробормотал: «Очень нам нужно ваше приглашение — мы и так там будем».

18 апреля 1945 года «Альманзора» пришвартовалась в одесском порту. О том, что случилось дальше, лейтенант Йесман писал бригадиру Файербрейсу в донесении, переданном затем заведующему Северным отделом МИД: «Во время выгрузки советских граждан в одесском порту из-за строений на пирсе донеслись две автоматные очереди. Позже охранник сказал мне, что двое из прибывших были расстреляны на месте. По его словам, это были «плохие люди», которые «продались капиталистам». Охранник был узбеком или туркменом, и я завоевал его расположение, произнеся несколько слов по-узбекски и подарив ему пачку сигарет. Об инциденте я сразу же сообщил полковнику Бойлю и капитану корабля Баннистеру».

Позже, проезжая в джипе по разрушенному городу, Йесман наткнулся на место, где расстреляли человек десять. Его советский спутник лаконично поведал ему, что это «предатели». На улицах повсюду валялись трупы. «А что ожидает тех, кого оставили в живых? Майор Шершун честно признался, что их пошлют, как он выразился, в исправительно-трудовые лагеря и лишь немногим разрешат служить в армии».

МИД в это время столкнулся с новой проблемой: что делать с теми, кто отказался признать себя советским гражданином? В Ялтинском соглашении речь шла о «советских гражданах», и вопроса о насильственном возвращении тех, кто таковым не был, МИД не рассматривал. Поначалу было решено дать советским

представителям возможность самим определять принадлежность к советскому гражданству. Однако уже в октябре 1944 года военное министерство получило сообщения о том, что среди пленных, отобранных Васильевым для репатриации, были люди, назвавшиеся поляками, латышами, немцами или имеющие нансеновские паспорта, а некий Антонас Вацискас заявил, что является гражданином США. Патрик Дин заметил по этому поводу: «В довершение всего нам только не хватает получить жалобу от правительства США, что мы отослали в СССР американского гражданина, — в особенности, если его там расстреляют».

Дело было чревато неприятностями, и МИД решил проявить твердость — во всяком случае, на данном отрезке времени. Советскому послу сообщили, что в тех случаях, когда военнопленный не считает себя советским гражданином, его заявления о гражданстве будут проверены, и, если они подтвердятся, он не будет отослан в СССР. При этом было использовано такое определение: «Советскими гражданами считаются все лица, жившие в пределах границ Советского Союза, установленных до начала войны».

Разумеется, советская сторона тут же обрушила на несчастный МИД поток обвинений. Главное состояло в том, что «английские военные власти произвольно и без всяких причин вывезли советских граждан из некоторых лагерей» (а англичане еще не решили, считать ли им этих людей советскими гражданами). В другой жалобе говорилось, что какой-то английский офицер сказал военнопленным, находившимся в лагере, будто из 10 тысяч пленных, вернувшихся в СССР, половину расстреляли. Были и довольно нелепые обвинения: некая англичанка, секретарь общества «Друзья Советского Союза» в Нормантоне, посетив лагерь, в котором работал Гарри Льюис, якобы попросила одного пленного помочь практическими советами в организации подпольной борьбы против помещиков и капиталистов. В жалобе, впрочем, не объяснялось, что вызвало тут возражения советских представителей.

Вокруг лагерей, где содержались военнопленные, вели «подрывную деятельность» и другие женщины, проникавшие, по утверждениям генерала Васильева, в лагеря единственно для того, чтобы «бесконтрольно вести там антисоветскую пропаганду неприкрыто враждебного характера». Английский генерал, отвечавший на эту жалобу, заметил: «У коменданта есть основания подозревать, что обитатели лагеря иногда в нарушение правил проводят к себе тайком местных женщин. Однако он полагает, что эти женщины приходят вовсе не ради пропаганды».

В другой жалобе майор Флетчер, служивший в лагере Хаттон Гейт, обвинялся в том, что высказывал русским пленным замечания такого рода: «Русский офицер — не хорошо, русский офицер — дети, русский офицер — пьяница, русский офицер — как свинья». Сотрудники военного министерства немало повеселились над этой якобы буквальной записью слов англичанина.

Но вернемся к вопросу о спорном гражданстве. Тем, кто выдавал себя за граждан другого государства, приходилось это доказывать,

в противном случае их отправляли в Советский Союз. Мне известен только один случай, когда от этого правила отступили. Рассказал о нем бригадир Файербрейс: «Я играл в эту игру по всем правилам и исключение сделал только для одного человека, поразившего меня своей смелостью. Он прекрасно говорил по-русски, но я тем не менее сказал, что он поляк. Он бросил нам прямо в лицо: «Вернуться в эту страну? Но там убили моего отца, изнасиловали мою сестру. Лучше смерть, чем возвращение». Вытянувшись передо мной по стойке «смирно», он сказал мне: «Лучше застрелите меня на месте, но не отсылайте назад». И я взял грех на душу, сказал, что он поляк. Да простит меня Господь! Генерал Ратов был в бешенстве, но я знал, что стоит пленному попасть в спорный список — и он будет спасен».

Это произошло после того, как английское правительство организовало проверку потенциальных репатриантов. До этого не существовало никаких ограничений, которые могли бы помешать Васильеву или Ратову включить несоветских граждан в списки пленных, обреченных на возвращение в СССР. В письме МИД от 31 марта 1945 года бригадир Файербрейс писал: «До сих пор советская военная миссия пользовалась фактически неограниченными правами при определении гражданства русских военнопленных, находящихся в лагерях; и они объявляли советскими гражданами всех без разбору. Я видел копию анкет, заполняемых пленными. Там не было графы с вопросом о гражданстве, был только пункт «национальность».

Таким образом, таинственное обозначение «русский» могло с равным успехом относиться и к советскому гражданину, и к русскому эмигранту, не имеющему гражданства, обладателю нансеновского паспорта, установленного Лигой наций для лиц, не имеющих гражданства.

Весна и лето 1945 года были нелегким временем для Патрика Дина, Джеффри Вильсона и прочих сотрудников МИД, сторонников принятой линии в опросе репатриации. 28 марта Дин, касаясь в служебной записке случаев самоубийства среди репатриантов, писал: «Бригадир Файербрейс и полковник Тэмплин делают все, чтобы избежать огласки. Они просили, чтобы МИД обратился к отделу новостей с предложением сделать все возможное во избежание огласки либо о самих инцидентах, либо о слушаниях по этому делу в суде коронера. Может быть, Северный отдел проследит за этим и сделает все возможное... Эти самоубийства (нам известно по крайней мере о четырех-пяти) могут привести к политическим неприятностям. Сэр О. Саржент, очевидно, пожелает, чтобы его держали в курсе событий».

Сослуживец Дина, Джеффри Вильсон, обсудил эти проблемы с сэром Дж. Камероном из отдела новостей. Последний, признав невозможность проведения следствия in camera или отстранения прессы от этого дела, высказал остроумное предложение: «Нужно представить дело в суде коронера таким образом, чтобы было ясно, что эти люди (самоубийцы) боялись возмездия за сотрудничество с

немцами. Возможно, так оно и есть... и, повернув дело в эту сторону, нам удастся избежать осложнений».

Однако начальник Дина и Вильсона, сэр Орм Саржент, счел это решение слишком хитроумным и недостаточно надежным. «Мне бы хотелось провести это дело по пункту 18 В или по какому-нибудь другому закону военного времени», — писал он. Вильсону, впрочем, удалось немного успокоить начальство сообщением, что военные власти получили инструкции предложить коронерам порекомендовать прессе не сообщать ничего об этих случаях. И огласки удалось избежать, хотя случаи самоубийства множились. Особенно популярным местом стала набережная в Ливерпуле. Она буквально притягивала к себе страдающих «острой депрессией», как формулировало судебное заключение в одном из случаев.

Чеслав Йесман еще находился на борту «Альманзоры», еще четыре дня пути отделяли его от трагедии в Одессе, а бригадир Файербрейс уже столкнулся с первыми случаями спорного гражданства, представленными на рассмотрение новосформированного совета, в который кроме него вошел также генерал Ратов. 14 апреля 1945 года бригадир писал Уорнеру: «В четверг мы с генералом Ратовым занимались вопросом о гражданстве лиц, внесенных в список. После восьми часов напряженной работы мы решили 50 дел. Не буду сейчас вдаваться в подробности (я представлю полный отчет о проделанной работе после ее завершения). Генерала Ратова сопровождали четыре советских офицера, советский консул Кротов и стенограф, записывавший буквально каждое слово. Большинство опрошенных были прибалты и поляки из западной части страны, а также один молдаванин. Остальные признали себя советскими гражданами, и с ними не было никаких сложностей, хотя многие энергично протестовали против отправки в СССР. Тем не менее все они были переданы советским властям, и их отошлют в лагеря под советским контролем, за исключением десяти человек, которые временно содержатся под арестом по требованию генерала Ратова. Из тех, кто назвался польскими гражданами, подавляющее большинство настаивало на своих утверждениях, и они были оставлены в спорном списке. Но двоих, явно лгавших, перенесли в советский список. У меня лично не было никаких сомнений, что они советские граждане... Вы дали мне чрезвычайно неприятное поручение, так как, за немногими исключениями, эти люди независимо от того, польскими или советскими гражданами они себя признают, горячо возражают против отправки их в СССР или даже в Польшу. Многие из них настоятельно стремились ознакомить комиссию с причинами, по которым они не желают возвращаться, и подробно рассказали о своей жизни в Советском Союзе или в Польше после прихода Красной Армии. Все эти рассказы складываются в одну нескончаемую историю о расстрелах, арестах, жестокостях и депортациях семей. Они утверждали, что не желают возвращаться в страну, где возможны такие вещи и где человек не имеет никаких прав. Среди них были дети кулаков, которым приходилось годами скрываться от ареста, быть постоянно в бегах. Один молодой

человек рассказал, что он с 12 лет сидел в тюрьме и освободили его только перед призывом в Красную Армию. Большинство говорили, что предпочитают смерть возвращению в Советский Союз, некоторые даже предлагали англичанам расстрелять их на месте, только не отсылать назад. Никогда еще мне не доводилось видеть такого отчаяния, такой меры человеческого горя. Все их рассказы звучали в высшей степени правдиво, и генерал Ратов вертелся, как уж на сковородке, хотя и не делал попыток остановить их. Ему явно не нравилось, что пленные в присутствии английских офицеров рассказывают правду о советских методах.

23 мая в Одессу на корабле «Импайр Прайд» была отправлена новая партия русских. Среди них были те, жизнеописания которых мы только что привели, и еще «несколько русских, не видевших Россию с царских времен». Это плавание описал в своих записках канадский офицер капитан Юматов: «Нижняя палуба была обнесена колючей проволокой. На ней были устроены четыре камеры, с расчетом по двое в каждой. Сразу же по прибытии на борт советские офицеры разместили в этих камерах всех, кто содержался под арестом —51 человека, и отказались использовать для арестованных оставшееся на палубе место. Через несколько дней, по настоянию капитана, камеры немного разгрузили. Капитан приказал также немедленно покончить с бесконечными воплями, доносившимися из камер. 30 мая, когда судно огибало Гибралтар, пленный по фамилии Данченко бросился за борт, и обнаружить его не удалось. Еще один русский попытался покончить с собой в Босфорском проливе, но его спасли».

Наконец прибыли в Одессу: «Высадка началась в 18.30 и продолжалась четыре с половиной часа. На пароходе было много больных, но советские представители отказались от носилок, и даже умирающим пришлось самим спускаться по трапу с вещами в руках. Несли только двоих: у одного была ампутирована правая нога и сломана левая, второй был без сознания. С пленным, покушавшимся на самоубийство, обращались очень грубо, рана его открылась, он истекал кровью. Его увели с корабля за пакгаузы в доках, затем раздался выстрел, но никто ничего не видел. Группу из 32 человек отвели в склад, в 50 ярдах от корабля, минут через 15 последовала автоматная очередь. Еще через 20 минут из склада выехал в направлении города грузовик с крытым кузовом. Позже, когда поблизости никого не было, мне удалось заглянуть в склад, и я увидел на каменном полу темные пятна. Стены на высоте примерно пяти футов были испещрены дырками».

Это были не единственные жертвы. Около 150 человек были отделены от прочих пленных и отведены за сараи на набережной. Там их расстреляли, причем среди палачей было, по рассказам, много подростков в возрасте 14—16 лет. Один узник ГУЛага вспоминал через несколько лет: «В конце войны карательная команда была укомплектована какими-то белобрысыми, низкорослыми, совсем юными и слабосильными птенцами... Ходили слухи, что это

были дети чекистов, которым родители сумели заменить фронт безопасной работой палача».

Тед Хансон, стюард «Импайр Прайд», наблюдавший за высадкой пленных, записал рассказ старшины Уотсона из военной охраны. Старшина видел, как под руководством юных палачей тела расстрелянных грузили на телеги. По набережной сновали детишки, лет трех—пяти, выпрашивавшие у английских моряков еду и одежду. Появившийся вдруг советский милиционер начал гоняться за мальчишками. «Он поймал малыша лет трех, — рассказывает Тед Хансон, — ударил его кулаком по лицу и швырнул на землю».

Может показаться странным, что советские власти не предприняли никаких усилий к тому, чтобы скрыть от сторонних глаз эти сцены. Ведь поначалу они это делали: например, в Мурманске в ноябре 1944 года. Репатриантов встретили там торжественно, с флагами и речами. Но с тех пор прошло несколько месяцев, английское правительство молчало, хотя вполне могло догадываться о том, что происходит; и советские власти решили, что настала пора действовать в открытую и расправляться со своими гражданами по своему усмотрению.

Бригадир Файербрейс отправил полный отчет в МИД и в отдел по делам военнопленных, приложив к нему также рапорт Юматова. В беседе с автором этой книги он вспоминал об ужасе, который внушала ему возложенная на него задача; и действительно, этот ужас звучит в каждой его строке:

«В рапорте А вы несомненно заметите, что на скорую расправу были обречены люди, преступление которых состояло не в том, что они служили в немецкой армии — как делали остальные 99%, но в том, что они либо отказывались вернуться в Советский Союз, либо пытались избежать насильственной репатриации, записавшись в Польскую армию. Из анализа списка людей, которые, я уверен, были расстреляны, следует, что из 33 человек 20 были русскими, отрицавшими советское гражданство и попытавшимися в Англии вступить в Польскую армию. Один был арестован на борту судна по неизвестной причине, прыгнул за борт в Дарданелльском проливе и покушался на свою жизнь, вскрыв бритвой артерии. Шестеро — немцы Поволжья, выразившие нежелание возвращаться в СССР. Пятеро — русские, отказавшиеся вернуться и описывавшие в присутствии генерала Ратова Советский Союз в самом черном свете. Наконец, последний — это охранник, случайно снабдивший незадачливого самоубийцу бритвой. С него немедленно сорвали знаки различия, бросили в камеру и высадили вместе с прочими арестованными, так что он, скорее всего, разделил их судьбу. Следовательно, насколько мне известно, все те, кто отказался вернуться в СССР, были расстреляны.

Должен признать, что из этого рапорта я сделал вывод о необходимости самой тщательной проверки всех сомнительных случаев, и я могу лишь надеяться, что никто из занесенных в спорный список не будет отправлен в СССР, поскольку, отказавшись вернуться, они, скорее всего, разделят судьбу тех, о ком идет

речь в рапорте. Следует помнить, что советские власти считают лиц со спорным гражданством своими подданными. Несколько человек из этого списка высказывались против Советского Союза в моем присутствии и в присутствии советских офицеров и приводили примеры жестокостей, совершившихся Красной Армией после раздела Польши в 1939 году. Эти люди, несомненно, будут расстреляны сразу же по прибытии в СССР.

В рапорте Д есть интересное замечание майора Шершуна, что большинство военнопленных будет отправлено в исправительно-трудовые лагеря. Между тем все советские офицеры в беседах с этими людьми неизменно обещают им, что немедленно по прибытии в Советский Союз они будут отпущены домой».

Рапорт Файербрейса прочитали Кристофер Уорнер, Патрик Дин, Томас Браймлоу и другие сотрудники МИД. «Сложность в том, что по условиям Ялтинского соглашения мы обязаны отослать всех советских граждан назад», — заметил Дин. Но через четыре месяца признал, что в Ялтинском соглашении не было ни слова об «определенных обязательствах правительства его королевского величества репатриировать в Советский Союз советских граждан, не желающих возвращаться...»

Расскажем теперь об истории Софьи Полещук. Ее родителей выслали в 1930—1931 годах в Сибирь, девочку вырастил местный врач. Он обучил ее своей профессии, и она сдала экзамен на медсестру, участвовала в финской и польской кампаниях, вышла замуж за офицера — капитана Гусейнова. В августе 1941 года она попала в плен. Ее муж тоже оказался в плену, но их сразу разлучили. Проведя год в лагере, Софья бежала, но ее поймали в 1943 году и вывезли в Германию. Там она попросила у немецких властей разрешения воссоединиться с мужем, который в то время был надсмотрщиком в лагере для советских военнопленных в Силезии, в городе Нейхаммер. Здесь она стала работать в прачечной, муж регулярно навещал ее. В мае 1944 года он бежал из лагеря. Софье он сказал, что хочет пробраться в Югославию и ни за что не вернется в СССР. Позже она получила весточку, что он жив и здоров, но увидеться им больше не довелось. Она осталась одна с ребенком, родившимся через месяц после побега мужа. Через восемь месяцев город взяла Красная Армия, и находившимся там русским было приказано пешком пробираться на восток. За линией фронта Красной Армии царила полная анархия: убийства, грабежи, насилия. Молодая женщина, пусть даже с крошечным ребенком, легко могла стать добычей разнузданных солдат. Но Софье повезло: она попала в маленькую группу английских военнопленных, освобожденных Красной Армией и пробиравшихся в Одессу. Один из солдат, Джонс, работал на немецких фермах и немного говорил по-немецки, так что он мог общаться с Софьей. Она рассказала ему свою историю, и он до сих пор живо помнит молодую женщину с ребенком на руках и их долгие беседы на пыльных дорогах Польши и Украины, которые он пересказал мне во время нашей встречи.

Джонс взял Софью под свою опеку: назвавшись ее мужем, он защищал ее от посягательств других. В Одессе ему удалось уговорить английского консула отправить его «жену и ребенка» в Англию. Каким-то образом посреди всего хаоса до Софьи дошли вести о муже: он воевал в антикоммунистическом партизанском отряде и попал к союзникам. Софья твердо решила разыскать его в Англии, даже если ей придется для этого снова оказаться в лагере. Но она так и не увидела своего мужа, а ребенок — своего отца. Едва капитан Гусейнов оказался у союзников, к нему было применено Ялтинское соглашение.

Софья прибыла в Глазго 5 мая 1945 года и была опрошена иммиграционными властями. Вот что писал об этом офицер службы иммиграции: «Беженка не хочет возвращаться в СССР. Она утверждает, что в лучшем случае ее арестуют, но несомненно она опасается более сурового наказания, так как ее муж воевал в антикоммунистическом отряде. Кроме того, по прибытии в Одессу она сознательно избегала всякого контакта с советскими властями. По ее словам, собственная судьба мало ее волнует, но она надеется дать ребенку возможность жить в свободной стране. Местонахождение ее мужа пока что неизвестно, но если он попал в Англию в качестве военнопленного, он, несомненно, сейчас в руках у советских... Гусейнова, очевидно, имела антикоммунистические настроения задолго до начала войны. Трудно обрекать женщину, волей обстоятельств попавшую в этот хаос, на смерть в Сибири, но, вероятно, другой возможности у нас нет. Прошу ваших инструкций относительно этой беженки».

Инструкции МИД не замедлили прибыть, и сотрудник британского МИД вскоре сообщил следующее: «...Женщина и ребенок сегодня утром выехали из... Ливерпуля, и я надеюсь, что их отъезд станет последней главой этой эпопеи». Так оно и было. Софья с ребенком была посажена 22 мая на судно, идущее в СССР, а мидовский чиновник лаконично резюмировал: «Грустная история, но мы ничего не могли поделать».

Нам неизвестна судьба Софьи Гусейновой и ее ребенка, но в то время многие женщины в такой же ситуации попадали на Колыму. Еврейка немецкого происхождения, отбывавшая там срок, вспоминает прибытие в лагерь сотен девушек, которые, как и Софья Гусейнова, работали на немцев или каким-либо другим образом «изменили» родине: «Вначале это были робкие подростки, но Колыма быстро превратила их в законченных проституток». Среди прибывших были украинские националистки, и с ними обходились особенно жестоко. «Почему советскому офицеру, допрашивавшему семнадцатилетних девочек, понадобилось ломать им ключицы и бить тяжелыми армейскими сапогами по ребрам, так что они плевались кровью на койках колымских тюремных больничек?»

Жизнь женщин на Колыме была ужасна, но непродолжительна: туберкулез, сифилис, недоедание, самоубийства косили их сотнями. А что стало с ребенком? Софья не могла оставить его в Англии, как предложил однажды мидовский чиновник в отношении друго-

го ребенка, чья мать заявила МИД: «Моему мальчику всего пять месяцев, и я точно знаю, что они его отберут у меня». И она была права. Поляки, попавшие в советские лагеря в 1941 году, пишут: «Дети, родившиеся в лагерях, несколько месяцев остаются с матерью, а затем их увозят в специальные учреждения». Первые два года мать еще может навещать ребенка; затем детей отсылают в детские дома. При этом многие дети тяжело заболевают, а то и умирают, и матерей не всегда пускают даже на похороны. («Другого заведешь!» — сказал охранник матери, только что потерявшей ребенка.)

В Магадане Элинор Липпер посетила детский комбинат. Там были дети, родившиеся всего неделю назад. Матерям разрешали месяц отдохнуть, а потом они возвращались на работы (валить лес летом и чистить снег зимой). Несколько раз в день их строем приводили в комбинат, они кормили детей, а потом под дулами автоматов возвращались на работу. Няньками в таких детских комбинатах назначались уголовницы, но даже при самых лучших намерениях они успевали только протереть полотенцем бритую головку ребенка и сунуть ему какое-нибудь отвратительное варево. «Эти дети почти не знают игрушек, они редко улыбаются. Они поздно начинают говорить, и им неизвестна ласка. Маленькие дети забывают своих матерей от разу к разу, и только они начинают немного оттаивать, как охранник кричит: «Пора, кончайте». И матери слышат со двора, как плачут оставленные ими дети. Дети в комбинате всегда плачут, и каждой матери кажется, что она слышит своего ребенка. Ребята постарше, прижимаясь носами к окнам, следят за тем, как их матери уходят от них шеренгой, пятеро в ряд, а сзади идет солдат с автоматом на изготовку».

Несмотря на недопустимость сантиментов, МИД иногда все же отступал от своей генеральной линии. Среди советских граждан, попавших к англичанам в том же месяце, что и Софья Гусейнова, был всемирно известный профессор. Я не могу назвать ни имени, ни области занятий профессора, так как его родственники до сих пор живут в СССР. Его сын ответил на мой запрос так: «За исключением нескольких незначительных эпизодов сразу же после крушения Германии моей семье ни разу не угрожала репатриация. Более того, англичане сообщили отцу, что советские разыскивают его, и предложили свою протекцию. Они сделали это потому, что Кембридж был заинтересован в отце как в специалисте, а кроме того, его хотели заполучить американцы».

И профессор репатриирован не был. С этой благополучной судьбой ученого резко контрастирует мрачная история Александра Романова, находившегося в лагере для русских военнопленных в Ньюкастле. Романов попал к немцам в 1941 году, когда он был совсем еще мальчиком, позже его вывезли на работы во Францию. После высадки союзников в Нормандии он был взят в плен американцами и вместе с тысячами других пленных оказался в Англии. Наслушавшись в лагере рассказов о том, что ждет его на родине, он дважды пытался бежать, но всякий раз его ловили и возвращали

назад. Так что в случае репатриации он становился верным кандидатом в смертники. Вероятно, понимая это, английский офицер, работавший в лагере переводчиком, посоветовал юноше снова бежать и пойти к представителям русской эмигрантской общины в Лондоне; там-де ему помогут. Скопив немного денег, Александр добрался до Лондона и явился по адресу площадь Брешин, 5, в Русский дом, которым владел представитель антикоммунистического движения русских эмигрантов в Лондоне Саблин. Александр позвонил в дверь, ему открыли, и он оказался в большой комнате. В ожидании хозяина квартиры он рассматривал огромный портрет своего знаменитого тезки, царя Александра I, изображенного вместе с Николаем I. На стенах висели иконы, гравюры с видами России, фотографии убитого большевиками Николая II. О том, что произошло дальше, нам известно из отчета МИД.

В комнату вошел элегантный, щегольски одетый господин. Это был Саблин. Указав Александру на стул, он сел рядышком и осведомился, чем может служить. Александр принялся рассказывать о своих страхах, двух побегах, о совете английского офицера и надежде на то, что русская община его спрячет. Саблин внимательно выслушал гостя, задал пару вопросов насчет английского офицера и, сказав, что ему надо позвонить, вышел из комнаты. Действительно, он направился в свой кабинет и позвонил в министерство внутренних дел и в военное министерство.

Саблин, на визитных карточках которого значилось «Представитель общины русских беженцев в Соединенном Королевстве, бывший поверенный в делах Российской Империи в Великобритании», к тому времени уже перешел на службу к Советам. И примерно через час после телефонного разговора раздался звонок в дверь и в комнату торопливо вошел капитан Солдатенков, служивший, как сказано в отчете военного министерства, «связным между министерством и советскими властями». Задав юному Романову несколько вопросов, он отправился писать отчет. Саблин между тем оказался в весьма щекотливом положении. Как сказано в отчете МИД, «оставлять юношу у себя он не хотел, но и отсылать его прочь тоже было неразумно». Ведь уйдя из дома Саблина, Романов мог просто исчезнуть или же повстречать человека, который сообразит, что в данном случае уместно обратиться к «Акту о союзных вооруженных силах». Поскольку Романов никогда не служил в Красной Армии, адвокат без труда мог доказать суду, что юноша не член иллюзорных советских сил на британской территории. Позиция британского МВД тоже была сложной. Романова нельзя было арестовать как «дезертира». И МВД предложило Саблину подыскать гостю жилье и продолжать следить за ним, пока МВД не сочтет возможным его арестовать. Это, в свою очередь, не устраивало Саблина, который боялся, что, во-первых, он может быть заподозрен русскими эмигрантами в сотрудничестве с Советами, а недоверчивым советским посольством — в антисоветских намерениях. Поэтому Саблин решил действовать на свой страх и риск.

Саблин пригласил юного беглеца к столу. К тому времени он уже завоевал полное доверие Александра Романова, которого трогало и подкупало расположение элегантного господина, такого внимательного, такого многоопытного и к тому же без конца подливавшего гостю вина. Парень совсем потерял голову. Тогда Саблин начал втолковывать ему, что единственный разумный выход — вернуться в лагерь. Все равно власти в конце концов его найдут, и тогда ему не избежать крупных неприятностей. А если он вернется добровольно и скажет, что хочет служить в Красной Армии, с ним, несомненно, будут хорошо обращаться по возвращении домой. Конечно, сам он, Саблин, будучи эмигрантом, находится в оппозиции к советскому режиму, но, сам того не желая, он пришел к выводу, что Сталин за последние годы сильно изменился. После победы над немецкими захватчиками в России забрезжит новая эра, так что — кто знает, — может, и он, Саблин, в один прекрасный день вернется на родину.

Саблин взглянул на часы. Если Саша поторопится, он к вечеру доберется до своего лагеря, и никто не узнает о его побеге. Саблин сунул в карман юноше немного денег. И не надо отказываться. Если мы, русские, не будем помогать друг другу — кто же тогда нам поможет? Кстати, не запомнил ли Саша фамилии офицера, посоветовавшего ему бежать. Высокий, в очках? Нет? Жаль, он, Саблин, хотел бы поблагодарить его, хотя совет и оказался не очень удачным.

Все прошло как по маслу. Бормоча слова благодарности, Александр ушел. Саблин проследил за тем, чтобы он действительно сел на поезд, идущий в Ньюкастл. Побег завершился, завершилась и история Александра Романова. Некролог ему написал Патрик Дин: «Романов убегал из лагеря трижды. Когда он вернется в СССР, его ждут трудные времена». Джон Голсуорси в декабре высказался более определенно: «Человек, заслуживший верную смерть своими попытками бежать...»

Поскольку весь этот эпизод произошел 9 марта, Романов, скорее всего, оказался вместе с другими пленными на борту судна «Альманзора», отплывшего из Глазго в Одессу 27 марта, и, вероятно, был в числе тех, кого расстреляли немедленно по прибытии (те, кто безуспешно пытался избежать репатриации, были обречены на смерть).

Трем латышам, бежавшим 1 мая 1945 года из лагеря в Ньюлендс Корнер, в Гилдфорде, повезло больше. Догадываясь, какая участь уготована незадачливым претендентам на включение в «спорный» список, они доказывали генералу Ратову и бригадиру Файербрейсу, что являются латвийскими гражданами. Недалеко от лагеря жила латышка, вышедшая замуж за англичанина, Анна Чайлд. Она посоветовала своим соотечественникам бежать и явиться прямо в латышскую миссию на Итонплейс. Те так и сделали, но чиновники, встретившие их в миссии, были напуганы ничуть не меньше самих беглецов. Как рассказывала мне госпожа Чайлд, «насколько я поняла, там даже разговаривать с ними опасались,

не говоря уже о том, чтобы помочь им». Сотрудники миссии страшно боялись, как бы английское правительство, стараясь угодить Сталину, заодно не репатриировало бы и миссию. Но все обошлось. Как выразился Джеффри Вильсон, МИД «счел необходимым немедленно предпринять какие-то действия во избежание серьезного публичного скандала». Беглецов заверили, что, поскольку они являются латвийскими гражданами, их никто не станет репатриировать насильно. Они провели несколько дней в миссии, после чего их отправили в лагерь для военнопленных, не являвшихся советскими гражданами, и в конце концов они были освобождены.

К середине 1945 года большинство русских из английских лагерей были отосланы на родину. Необходимость в громоздких морских перевозках отпала. После падения Германии пленных можно было отправлять сушей. Последняя, восьмая по счету, крупная партия пленных в 355 человек — выехала из Англии в августе 1945 года. Путь их лежал из лагеря в Ньюлендс Корнер в советскую зону Германии, через Дувр и Остенде. Их сопровождал капитан Криштон из группы связи с СССР. В своем отчете он уделяет особое внимание поведению трех советских офицеров, сопровождавших пленных. Как и английский МИД, советские офицеры боялись, что общественность Англии узнает о происходящем. «Майор Груздев... обвинил подполковника Лудфорда в том, что тот умышленно остановил грузовик с пленными и заставил их идти на виду у прохожих». Капитан Криштон тоже удостоился замечания Груздева: английский офицер в простоте душевной предложил во время путешествия разместить офицеров вместе с репатриантами. Правда, позднее, когда они прибыли в Лунебург, Криштон, к немалому своему удивлению, оказался свидетелем ареста советской военной администрацией всех трех офицеров.

В Дувре один репатриируемый бежал. В Голландии пытался бежать другой. Его поймали и вернули назад, но наутро обнаружился еще один побег, а на другой вечер разыгралась трагедия: «Когда поезд, в 19.00 выйдя из Целля, шел по мосту, я увидел, как из окна бросился человек и упал вниз, примерно в 30 футах. Поезд остановился, и, пока подбирали беглеца, я позвонил военному коменданту в Целле и попросил немедленно прислать «скорую помощь». Вернувшись в поезд, я увидел, что русские несут несчастного в вагон, к величайшему негодованию английских солдат, ехавших в этом же поезде. На мое сообщение о «скорой помощи» [советский] майор ответил, что берет этого человека в поезд. Я сказал ему, что считаю это негуманным и что беглеца надо отправить в больницу. Меня поддержал еще один английский офицер, и майор Груздев согласился. Позже мне сказали, что этот человек (Г. Функ) умер в больнице».

Всего по пути было совершено восемь попыток побега, из них только две оказались удачными. В бараках в Лунебурге, где был устроен сборный пункт для репатриируемых, по приказу советских властей 140 человек были помещены под строгий арест.

В Англии репатриационные операции шли к концу. 12 ноября 1945 года военное министерство организовало в лагерях для военнопленных «последний розыск» советских граждан. Было обнаружено 66 человек, которых 12 декабря отправили через Остенде в Союз. Но попытка советских представителей включить в эту группу еще 60 украинцев польского происхождения провалилась. Англичане на сей раз решили стоять на своем твердо.

Однако для пленных, остававшихся в Англии, этот «последний розыск» отнюдь не означал, что все их волнения и страхи позади. Так, в декабре 1946 года, т.е. более чем через год, под вооруженной охраной, через Дувр и Кале, в лагерь для советских граждан под Парижем была отправлена группа из четырнадцати человек.

Всего в 1944—1946 годах в Англии содержалось и было отослано в СССР 32 295 русских военнопленных. Большинство их составляли члены «восточных легионов» и трудовых батальонов Тодта, взятые в плен в Нормандии и привезенные в Англию до сентября 1944 года. Многих из них можно было счесть «предателями», но другие таковыми не были и быть не могли, особенно женщины и дети, составившие немалую часть репатриированных.

А. Солженицын упрекнул английский народ в том, что тот без всяких протестов позволил совершиться преступлению — насильственной репатриации. Примечательно, однако, что об этой огромной операции, охватившей тысячи человек и включившей в себя нарушения английского закона и похищения людей, знали лишь немногие. Если бы хотя бы часть общественности узнала о том, что происходит в их стране, и выразила протест, возможно, британская политика в этом вопросе была бы пересмотрена, по крайней мере — на территории Англии. Но бдительность МИД, в сочетании с изоляцией пленных в их «мини-ГУЛаге», позволила применить хлипкую постройку «Акта о союзных вооруженных силах». Нам остается лишь надеяться, что в Англии больше не повторятся времена, когда сотрудники СМЕРШа свободно рыскали по стране в поисках добычи, поскольку в следующий раз их жертвами, безусловно, будут уже не русские.

Глава 7

КАЗАКИ В ЛИЕНЦЕ

Зимой 1944/45 года союзная разведка в Италии начала получать сведения о крупном поселении казаков на севере страны. Хотя последние упоминания о казаках в этих местах относятся к временам знаменитой альпийской кампании Суворова 1799 года, само по себе присутствие русских в Италии удивления не вызвало. После наступления в Анцио, предпринятого для прорыва линии Густава, англо-американские войска постоянно брали в плен русских, в основном из трудовых батальонов. Но история появления казаков в Италии действительно необычна.

В 1914—1917 годах казаки покрыли себя славой, самоотверженно сражаясь на Восточном фронте. Октябрьскую революцию большинство казаков встретило в штыки: даже двадцать лет спустя они с гордостью вспоминали царское время и героические битвы против узурпаторов-большевиков. После установления на Кубани в 1920 году советской власти там периодически вспыхивали восстания, и когда в 1942 году немецкая армия вошла в этот район, большая часть населения приветствовала оккупантов как освободителей от большевистского ига.

Немцы вели себя на Кубани вполне корректно, здесь почти не было случаев дикости и жестокости, столь частых в других оккупированных районах страны. Землевладельцам возвратили землю и имущество, отобранные когда-то советской властью, и казаки спокойно зажили в возрожденных станицах. Многие добровольно пошли на службу в немецкие вспомогательные части. Вряд ли казаки могли считать государственной изменой возобновление борьбы против советской власти теперь, когда избавление, казалось, уже близко. Когда в конце 1942 года советские партизаны попытались проникнуть в область, они встретили внушительный отпор. Но после Сталинграда стало ясно, что отступление вермахта не за горами. Немецкие военные власти известили об этом жителей, и начался массовый исход тех, кто боялся советских репрессий.

Тысячи казаков двинулись на запад. Путешествие, несмотря на помощь немцев, было тяжелым. Путь лежал через степь, пожитки везли на телегах. Немцы выделили переселенцам район около города Новогрудка, в ста верстах западнее Минска. Здесь они и

осели, начали возделывать землю, разводить скот. По казацкой традиции, выбрали атамана — офицера инженерных войск Павлова, которого казаки до сих пор вспоминают как истинного народного вождя. Это был человек выдающихся организаторских способностей, и во многом именно благодаря его руководству казакам удалось проделать трудный путь от берегов Черного моря к границе Польши. Под его началом в Новогрудке были построены церковь, больницы и школы.

Но 17 июня 1944 года атаман Павлов был убит в окрестностях города при невыясненных обстоятельствах: то ли с ним свели счеты партизаны, то ли застрелил казацкий часовой, которому атаман неверно ответил на пароль. Под руководством немецкого офицера связи майора Мюллера был выбран новый походный атаман, Тимофей Иванович Доманов, бывший майор Красной Армии. Человек добрый и совестливый, он не был, однако, такой яркой личностью, как Павлов. Многие казаки до сих пор уверены, что останься Павлов в живых — он смог бы спасти свой народ от уготованной ему участи.

Казачий стан в Новогрудке, ставший прибежищем для казаков с Кубани, Дона и Терека, жил по старым казацким законам. Мужчины снова надели черкески, кое-кто даже щеголял в военной форме, оставшейся со времен Николая II. Возродились обычаи, зазвучали старые песни. Приезжали сюда и эмигранты-казаки из Западной Европы, жаждущие участвовать в освобождении своей страны. Среди них выделялись прославленные участники первых битв с большевиками в 1918—1921 годах: генералы Петр Краснов, бывший атаман донских казаков, и Вячеслав Науменко, бывший атаман кубанских. То был короткий период возрождения прежней жизни, которой суждено было вскоре кануть в вечность.

Военную форму надевали не для того, чтобы покрасоваться. Леса вокруг Новогрудка кишели партизанами, против которых оказался бессилен вооруженный до зубов вермахт. Атаман Павлов организовал мужчин в военные группы, и хотя в их распоряжении был всего лишь скудный запас стрелкового оружия, которым снабдили их немцы и который пополнился советским оружием, захваченным в боях, казаки сумели держать партизан на расстоянии. Впрочем, несмотря на сохранение традиционных полков и чинов, казацкие формирования в Новогрудке были не более чем полувоенными отрядами самообороны.

Жизнь в Новогрудке была трудной, но казаки по сей день добрым словом поминают то время. Ушли в прошлое расстрелы, пытки и рабский труд, дети получали хорошее образование, взрослые распоряжались плодами своего труда в поле, а вечерами колокольный звон сзывал прихожан на молитву. Однако скоро всему этому пришел конец.

В сентябре 1944 года немецкие власти предоставили казакам новое пристанище: на севере Италии, в одном из немногих районов, оставшихся под властью агонизирующего рейха, была выбрана область, наиболее отдаленная от линии наступления Красной Ар-

мии. Маленький казачий народ снова двинулся со всем своим скарбом в путь через Польшу, Германию и Австрию. В Италии их вначале поселили в Гемоне, а затем перевели в Карнию, в Толмеццо. Немцы предоставили казакам земельные наделы и дома, что, разумеется, вызвало недовольство местного населения. Казаки и здесь организовали свою жизнь по законам донской станицы, они, как и прежде, были все же больше поселением, чем войском, хотя их полки вновь включились в борьбу против коммунистических партизан. Так обстояло дело весной 1945 года, когда фронт вплотную подошел к тем местам.

В Толмеццо, кроме казаков, жило также несколько тысяч кавказцев: грузины, армяне, азербайджанцы, осетины и другие. Их история во многом схожа с судьбой казаков. В основном это были остатки национальных частей, сформированных немцами якобы для освобождения их родины. Когда эта цель стала вовсе нереальной, немцы перебросили некоторые из этих формирований на Западный фронт, во Францию и Нидерланды, а большинство азербайджанцев оказалось на Итальянском фронте, в 162-й Тюркской дивизии, пользовавшейся репутацией отряда, который сражается до последнего. Отдельные грузины тоже получили от немцев инструкции поселиться в Карнии. Штаб-квартира кавказцев находилась в Палуцце, в горах, в нескольких километрах севернее казацкого поселения в Толмеццо. Организованы они были гораздо хуже, чем казаки (наверное, трудно организовать воедино людей, говорящих на семнадцати различных языках и исповедующих разные религии — от православия, как христиане в Грузии, до мусульманства, как шииты в Азербайджане). Как и к казакам, к ним во время их странствий присоединилось множество соотечественников, группами или поодиночке скитавшихся по Центральной Европе. Похоже, хотя и трудно утверждать со всей определенностью, что именно кавказцы были повинны в случаях жестокого обращения с жителями тех мест. Немцы много писали об этих случаях: как и во Франции, здесь проводилась политика разжигания ненависти ко всему «русскому».

Штаб главнокомандующего союзными силами в Казерте впервые обратил серьезное внимание на казаков Толмеццо ранней весной 1945 года. В штабе разрабатывались планы по прорыву линии Густава и взятию Болоньи — чтобы после этого ворваться в открытую долину реки По. В Карнийских Альпах действовал отряд особых поручений английской службы специальных операций (ССО), в котором служил Патрик Мартин-Смит. Местные партизаны антикоммунистического толка сообщили ему, что прошлой осенью казаки установили с ними контакт с целью заручиться поддержкой союзников, в победе которых не оставалось ни малейших сомнений. Мартин-Смит сразу же загорелся идеей убедить казаков перерезать железнодорожную линию Виллах—Удин, одну из двух главных коммуникационных линий немецкой армии в Италии. Эта операция могла бы сыграть важную роль в наступлении. Но сколько-нибудь вразумительного ответа из Казерты Мар-

тин-Смит не получил. Как он понял, в штабе не хотели, чтобы казаки знали о дате предстоящего наступления. А потом его романтический план сорвали развернувшиеся события: немцы начали крупную операцию по очистке Карнии от партизан, а в середине апреля армии Александера беспрепятственно продвинулись вперед, взяв Имолу и Болонью. В конце месяца союзники могли атаковать Толмеццо совершенно самостоятельно.

Наступление на казачью дивизию было начато в ночь на 6 мая. Выйдя из лагеря в полном боевом порядке, английские войска двинулись с востока вдоль гористой долины Тальяменто. Вскоре стало ясно, что никто не собирается оказывать им сопротивления, и они пошли быстрее. Войдя к полудню в Толмеццо, англичане обнаружили, что опоздали: ни казаков, ни кавказцев здесь уже не было, они нашли лишь группку понурых мусульман из Тюркской дивизии. Такое мирное завершение похода вполне устраивало англичан. К тому же после вечернего чая до них дошла, как выразился бригадный писарь, «лучшая новость войны»: подтверждение безоговорочной капитуляции всех немецких сил в данном районе. К сожалению, батальон не мог достойно отпраздновать это событие, пришлось ограничиться дополнительной порцией пива.

Вечер прошел спокойно. Затем в плен сдался отряд грузин, где многие офицеры были князьями, а командиром — прекрасная грузинская княжна по имени Марианна. Эти благородные грузины жили в нереальном романтическом мире, которому суждено было вскоре безвозвратно уйти в небытие. Всего за десять дней до сдачи отряда князь Ираклий Багратион, явившись в английское посольство в Мадриде, заявил, что 100 тысяч грузин, находящихся на службе в немецкой армии, сдадутся союзникам, если англичане пообещают не отсылать их в СССР. МИД проинструктировал посольство не отвечать на это предложение.

Но куда же делись главные силы казаков и кавказцев? Чем ближе подходил день капитуляции Германии, тем чаще в войсках вспыхивали споры: что делать, какой путь избрать. Обергруппенфюрер Глобочник, местный нацистский командир, приказал оставаться на месте, но его приказы и угрозы мало трогали казаков. В одну прекрасную ночь немецкие командиры Кавказской дивизии исчезли, оставив командовать дивизией эмигранта Султан-Гирея Клыча. Изгнанники были вольны решать свою судьбу, но особого выбора у них не было, и в конце концов все решилось само собой.

Итальянские партизаны с каждым днем становились все активнее. Особую угрозу для обитателей Толмеццо представлял отряд прокоммунистических партизан под руководством католического священника: они дотла сожгли казацкий госпиталь, в огне погибло множество раненых. 27 апреля в штаб Доманова в Толмеццо явились три итальянских офицера с требованием, чтобы казаки сдали оружие и ушли с итальянской земли. Доманов, которому вовсе не улыбалась перспектива целиком и полностью сдаться на милость врага, согласился вывести казаков из Италии, но сдать

оружие отказался. Итальянцев эти условия устроили, и 28 апреля казаки и часть кавказцев снялись с места и двинулись на север.

Они вышли в полночь, захватив с собой все, что можно было погрузить на повозки или унести на спине. Впереди шли конные отряды, возглавляемые штабом Доманова; за Донским полком двигались Кубанский и Терский, за ними тянулась бесконечная колонна повозок с оружием, вещами, старыми да малыми. Во главе колонны ехал «фиат» старого генерала Краснова. Сам Доманов с охраной ждал отряд из Удины, чтобы затем влиться в главную колонну. Для отражения нападений партизан южнее Толмеццо был выставлен арьергард из нескольких сот донских и кубанских казаков.

Переход казаков в Австрию был трудным и опасным. Поначалу пришлось отбивать атаки итальянских партизан, потом, когда поднялись выше в горы, где крутая дорога вьется вдоль обрывов и пропастей, против них ополчилась погода: на колонну обрушился ливень, сменившийся снежным шквалом. Многие погибли в пути; одни — от партизанской пули, другие — от холода, третьи сорвались в пропасть. Наконец, под непрекращающимся снегом, казаки пересекли границу Австрии и спустились со скальных твердынь в долину реки Гайль. Поздним вечером 3 мая передовые отряды штаба Доманова вошли в австрийскую деревню Маутен-Кетшах. Сломавшийся «фиат» генерала Краснова тащил автобус. Над селом разнесся победный звук труб Донского полка, изрядно поистрепавшегося в пути. Два офицера отправились вперед, выяснить, что делать дальше: ведь рейх пока еще существовал, хотя и агонизировал, а казакам было строго запрещено уходить из Италии.

Крайсляйтеру района, Юлиану Коллницу, живо запомнилось прибытие казаков. К нему явился для переговоров казачий генерал в полной форме и через своего переводчика, эмигранта из Берлина, осведомился, где сейчас идут бои и куда надлежит явиться его войску. Коллниц, которому штаб в Клагенфурте приказал беспрепятственно пропустить казаков, ответил генералу, что его люди могут продолжать поход, но вообще война фактически закончена. Это сообщение явно разочаровало казака, и поверил он ему только после того, как его адъютант поговорил по телефону с помощником гауляйтера в Клагенфурте Тиммелем.

Решили, что казаки — по словам Коллница, их было 32 тысячи — будут продвигаться на север. Место назначения — ставшее ареной драматических событий — было выбрано совершенно случайно. Командиром отряда народного ополчения в этом районе был некий Норберт Шлуга, уроженец Гайльской долины, куда собирались идти казаки. Шлуге очень не понравилась эта перспектива; казаки, может, и не разграбили бы его родное село и соседние деревушки, но их кони, несомненно, истребили бы всю траву в долине. Посоветовавшись с Коллницем, Шлуга убедил казаков, что дорога через Гайльскую долину разбита и опасна для лошадей, и потому лучше идти на север, в долину Дравы.

Казаки согласились. Три дня и две ночи их эскадроны продвигались на север. На пересечении двух долин в Маутене Шлуга

поставил патруль народного ополчения, чтобы помешать казакам спуститься к Гайльской долине. Сам он все это время оставался на ногах, и ему не раз приходилось объяснять сомневающимся казакам, что их маршрут действительно изменен.

В Маутене в распоряжение казачьих генералов и штаба была предоставлена привокзальная гостиница. Поселившийся здесь генерал Краснов с грустью следил из окна за крушением своих надежд. В поисках корма для своих любимых коней казаки шли на север, на ночь разбивая лагерь где придется, прямо у дороги. С ними двигались раздробленные группки немецких солдат, весь вид которых свидетельствовал о полном поражении Германии. Старый генерал стал свидетелем отвратительной сцены, когда доведенные до отчаяния казаки принялись грабить немцев. Это позорное нарушение дисциплины, к тому же еще и направленное против разбитого союзника, казалось, символизировало и конец самих казаков. Однако, как мне сообщил Коллниц, никаких серьезных происшествий во время пребывания казаков в этом районе не было, и уж, во всяком случае, не было никакого «генерального сражения», о котором писал «Таймс» 8 мая.

Многотысячная казацкая кавалькада в сопровождении обоза с вещами (это больше напоминало кочевье целого народа, а не армии) медленно продвигалась по долине Дравы. В нескольких километрах вверх по реке, среди аккуратных полей, лежал сонный тирольский городок Лиенц. Здесь в предгорьях было довольно места и для палаток, и для выпаса коней. Казаки подошли к Лиенцу в Пасху, в день надежды, и священники служили прямо в поле, а их прихожане целовались с криками «Христос воскресе».

4 мая Доманов привел в Лиенц арьергард казаков. Атаман поселился в гостинице рядом с Красновым, и они часами обсуждали, что делать. Выбор был невелик и фактически сводился к вопросу, кому сдаваться — американцам или англичанам. Краснов, который, будучи эмигрантом, лучше разбирался в международной политике, утверждал, что англичане отнесутся к казакам с большим сочувствием и пониманием. Ведь именно англичане оказали белым самую горячую поддержку в борьбе против большевиков, и именно Черчилль, тогда военный министр, был самым рьяным сторонником английской военной интервенции в России. Конечно, с тех пор немало воды утекло, многое изменилось, но неужели английский рыцарь бросит в беде бывшего союзника? Краснов рассчитывал также на поддержку фельдмаршала Александера, главнокомандующего союзными силами в Италии. Ведь в ту пору, когда Черчилль посылал на помощь деникинской армии деньги и солдат, Александер лично воевал против большевиков в Курляндии. Он до сих пор с гордостью носит русский императорский орден, врученный ему генералом Юденичем, — Краснов за ту же кампанию получил английский военный крест. Словом, старый генерал не сомневался, что Александер оценит преданность казаков родине. Среди казаков даже зародилась и всячески культивировалась романтическая легенда о том, что фельдмаршал, любивший все русское, привез себе из России жену.

Бывшему майору Красной Армии Доманову крыть было нечем, и они решили послать делегацию назад, через перевал, для встречи с англичанами. Руководителем делегации был назначен генерал Васильев, его сопровождали молодой лейтенант Николай Краснов, внук Петра Краснова, и казачка Ольга Ротова, говорившая по-английски. Они-то и оставили нам свидетельства об этих переговорах.

Наскоро прикрепив к капоту машины кусок белого полотна, который должен был изображать флаг, делегация двинулась на юг. Как вспоминает Ольга Ротова, «что ожидало нас впереди, было известно только Богу». Едва они выехали из деревни, как их остановил английский танк. Они объяснили, куда и зачем едут, и их послали в штаб полка в Полуццо, а оттуда — в штаб бригады в Толмеццо, так что они снова оказались там, откуда ушли неделю назад. Итальянцы по форме признали в них казаков, и машина продвигалась вперед под «приветственные» крики толпы: «Казаки—варвары!» Штаб генерал-майора Роберта Арбутнота, командира 78-й пехотной дивизии, помещался в том же доме, где всего неделю назад находился штаб генерала Доманова. Английский генерал проводил казаков в свой кабинет и предложил им сесть, но Васильев, бывший офицер лейб-гвардии Казачьего полка императорской армии, предпочел объяснить английскому генералу цель своего приезда стоя. Он сказал, что у казаков нет никаких разногласий с западными союзниками. Они просто хотят продолжать борьбу с большевиками и с этой целью просят разрешения соединиться с армией генерала Власова. Английский генерал не слышал о Власове, и Васильеву пришлось рассказать о Русской освободительной армии и ее целях. «Первым делом казаки должны сдать оружие», — сказал Арбутнот.

Переводчица Ольга Ротова пишет: «Услышав это, генерал Васильев задал вопрос:

— Рассматриваете ли вы группу казаков как военнопленных?

— Нет, военнопленными мы считаем тех, кого взяли в бою, с оружием в руках. А вас я считаю лишь добровольно передавшимися».

Но подробно обсудить вопрос о статусе они не успели. В комнату вошел бригадир Джеффри Мессон из 36-й пехотной бригады. По просьбе Арбутнота, Васильев снова изложил позицию казаков, на что Мессон заявил, что самое главное для казаков — это как можно скорее сдать оружие. Васильев возразил, что этот вопрос в компетенции генерала Доманова, и оба английских генерала решили наутро отправиться в штаб Доманова в Кетшахе и обсудить условия сдачи.

Понимая, с каким нетерпением Доманов и Краснов ждут их возвращения, Васильев и его товарищи хотели немедленно отправиться в обратный путь через перевал, но Арбутнот и Мессон и слышать об этом не желали; они настояли, чтобы гости непременно выпили чаю. За чаем Арбутнот разговорился с Красновым-младшим, и тот рассказал, что родители увезли его из России маленьким ребенком, что они жили в Югославии, и когда началась война,

он воевал в армии короля Петра против немцев, попал в плен, и там ему предложили присоединиться к антисоветскому казацкому формированию. Он принял это предложение, но отказался служить в Африке, куда был направлен, так как в этом случае ему пришлось бы воевать против союзников России в первой мировой войне.

Конечно, Арбутнот расспрашивал гостя из чистого любопытства и из вежливости, но он с самого начала был осведомлен о том, что среди казаков было много не советских граждан.

Когда гости собрались уезжать, Мессон сунул Ольге Ротовой большой пакет с чаем, сахаром и шоколадом, настоял, чтобы она непременно захватила этот подарок, и вместе с Арбутнотом вышел на улицу проводить казаков. Это проявление английского гостеприимства произвело глубокое впечатление на переменчивую итальянскую толпу, которая закричала «ура», и какая-то девушка, растрогавшись, всучила Ольге букет ландышей. В сопровождении английских танков посланцы казаков двинулись назад в Кетшах и в 9.30 вечера уже докладывали Доманову и Краснову о результатах своей миссии. В штабе казаков всю ночь горел свет. Генералы тщетно пытались «расшифровать» весьма невразумительные ответы англичан.

Наутро, на полчаса раньше назначенного времени, бригадир Мессон со штабом прибыл в штаб казаков. Встреча состоялась в столовой гостиницы, где жил Доманов. Приветствия и рукопожатия задали тон всей беседе, и казаки, жадно ловившие малейшие проявления доброжелательства англичан, заключили, что с ними обращаются не как с врагами или пленными, а как с коллегами по административной операции. Вступительные слова бригадира Мессона тоже звучали многообещающе: он сказал, что казаки могут иметь при себе оружие на пути следования к месту сбора. Затем на столе разложили карту, и Мессон объяснил, что все русские силы должны стать лагерем в долине Дравы; казаки — вверх по течению реки между Лиенцем и Обердраубургом, а кавказцы — ниже, между Обердраубургом и Деллахом.

На этом обсуждение условий сдачи казаков закончилось. Казаки были счастливы, что англичане проявили такое редкостное понимание, а бригадир Мессон радовался, что столь щекотливое дело прошло гладко. Как сказано в военном дневнике 36-й бригады, «в случае отказа казаков сдаться перед нами оказалась бы сила, с которой пришлось бы считаться, и мы не могли бы чувствовать себя в безопасности до их полной капитуляции».

Покончив с делами, договаривающиеся стороны приступили к завтраку, за которым лилось вино и велись дружеские беседы. В тот же день к казацким военачальникам явились корреспонденты из «Таймс» и «Дейли мейл» — взять интервью. Они хотели знать, как и почему казаки ушли из СССР и оказались в Австрии. Генерал Доманов рассказал, поясняя свои слова по карте, как большевистский режим развязал настоящую войну на казацких землях и как казаки проделали трудный путь от Кубани и Дона до Толмеццо, в неизвестность, на чужбину, твердо зная лишь одно: им ни в коем

случае нельзя снова попасть в руки к Сталину. Те же репортеры, вероятно, беседовали накануне с генералом Васильевым, но ни интервью, ни фотографии в печати не появились.

Вечером в Австрию спустились первые отряды 36-й пехотной бригады. Двум передовым батальонам была поручена охрана казаков и кавказцев. Вот как описывает очевидец этот новый переход: «Это была чрезвычайно странная армия. Солдаты носили немецкую форму, но меховые казацкие шапки, траурно повисшие усы и сапоги до колен придавали им совершенно особый колорит, а если еще учесть, что двигались они в сопровождении повозок со всем своим скарбом, женами и детьми, то их никак нельзя было принять за немцев. Это была ожившая картина времен войны 1812 года. Казаки известны как замечательные наездники, и на протяжении всего пути они подтверждали эту репутацию. Конные эскадроны носились взад и вперед по дорогам, затрудняя движение ничуть не меньше повозок. Приказывать им что-либо было бесполезно: по-немецки и по-английски понимали немногие, но даже те, кто понимал, ничуть не желали подчиняться приказам. При таком хаосе можно лишь подивиться тому, как быстро и организованно выполнили они приказ о сборе — на другое утро все были в назначенных местах — мужчины, женщины, дети, багаж, лошади, повозки, коровы и даже верблюды».

Перед 36-й бригадой была поставлена очень сложная задача. В недавнем письме ко мне генерал Мессон писал: «Командиры и штаб столкнулись со множеством трудностей. В стране царил хаос, только что закончилась трудная зима, австрийцы были в полном смятении, никто не знал, что будет завтра. Толпы народу, друзей и врагов, бродили по стране, у многих не было крова над головой, всем жилось тяжко. Расстояния — огромные, дороги — плохие. (Вертолетов у нас тогда не было.) Штабы размещались в палатках или на квартирах».

Мессон подчеркивает, что у бригады и без казаков и кавказцев дел было по горло; и те, кто занимался казаками, работали в очень тяжелых условиях.

Достаточно назвать хотя бы несколько цифр. Английские власти не проводили переписи в лагере казаков, но, согласно оценке, сделанной на основе заявок на продукты, их было 23 800 человек, в том числе несколько тысяч женщин и детей. Кавказцев, по примерным подсчетам, было 4 800 человек. Сами казаки, впрочем, приводят другие цифры: от 30 до 35 тысяч. Однако в тот последний период текучесть была такова, что невозможно точно сказать, сколько человек собралось в долине Дравы в мае 1945 года. Впрочем, в отношении кавказцев цифра представляется примерно верной: по словам одного из их офицеров, в Толмеццо, перед походом в Австрию, их было 5 тысяч.

Ко второй неделе мая казаки собрались в долине между Лиенцем и Обердраубургом, разбив лагерь на берегах бурной Дравы, вдоль главной дороги и железнодорожного полотна. Штабы Доманова и полковника Алека Малькольма, командира Аргильского полка,

находились в Лиенце. Кавказцы расположились в Грофельхофе, вниз по реке; штаб Баффского полка был поблизости, в Деллахе.

Командир кавказцев, Султан-Гирей Клыч, сдался со своей разношерстной армией одновременно с Домановым. Как и Краснов, Гирей был старым эмигрантом, во время гражданской войны он был связан с англичанами и оставался с бароном Врангелем до провала последней операции в Крыму в 1920 году. Среди кавказцев Гирей пользовался таким же уважением и почетом, как Краснов среди казаков. Вскоре после прихода в Грофельхоф он собрал свою армию и произнес речь. Он сказал, что пусть те, кто в состоянии уйти — особенно молодежь, — немедленно уйдут и забудут о своей мечте освободить Кавказ и кавказские народы. Сам же он слишком стар, чтобы продолжать борьбу, и предпочитает сдаться на милость победителя.

Многие не преминули воспользоваться этим предложением и бежали, что, кстати, иллюстрирует одно важное обстоятельство: хотя казаки и кавказцы формально считались пленными, англичане не могли предотвратить массовые побеги. Лагеря не были огорожены проволокой и охранялись в основном самими пленными. И все же из казацкого лагеря бежали очень немногие. Видимо, казаков отпугивали крутые заснеженные горы, стеной окружавшие долину, страшило сознание того, что они окажутся в незнакомой стране, среди чужих людей. А кроме того — и это главное, — казаков объединяла надежда, что им позволят поселиться всем вместе в каком-нибудь уголке свободного мира.

Сегодняшнему читателю такая надежда, наверное, покажется утопической, но тогда многие умные и образованные казаки искренне верили, что сразу после окончания войны узы временного союза с СССР неизбежно ослабнут и Англия и США займут, по меньшей мере, недружественную позицию в отношении СССР. Может быть, тут стоит напомнить, что к тому времени события гражданской войны еще не успели стать далеким прошлым. С момента английской «интервенции» прошло совсем немного лет. И в Англии жили еще многие известные деятели, сыгравшие в этой кампании значительную роль. Уинстон Черчилль во время гражданской войны в России был военным министром и самым рьяным сторонником поддержки Белой армии; лорд Киллирн, посол в Египте, ставшем перевалочным пунктом для многих русских, репатриированных в 1943—1945 годах, был верховным комиссаром в Сибири у адмирала Колчака; генерал-лейтенант Бурроус, руководитель военной миссии в Москве с марта 1944 года, и генерал-майор Колин Габбинс, руководитель ССО, в 1919 году были в Архангельске с генералом Айронсайдом, а фельдмаршал Александер, которому теперь сдались казаки, воевал против большевиков вместе с прибалтийским ландсвером. И хотя, разумеется, все они давно уже занимались более животрепещущими делами, все же в английских политических, военных и дипломатических кругах было немало людей, хорошо осведомленных об истории казаков.

Если принять все это во внимание, нам не покажутся столь неразумными некоторые довольно странные требования казаков. Например, 13 мая в штаб батальона в Лиенце явился капитан Кантемир, командир группы казаков, которых немцы в Северной Италии готовили к организации партизанской войны, саботажа и шпионажа за линией советского фронта. Капитан предложил, чтобы он и его группа работали для 8-й армии. Штаб бригады, встревоженный этим предложением, обратился за инструкциями к генералу Арбутноту. Запрос кончался словами: «Если до 9 часов 15 мая не последует инструкций, казаки угрожают устроить саботаж штаба дивизии».

Не успели справиться с этой проблемой, как возникла следующая: вся казачья дивизия попросила разрешения проводить учения — и получила очередной отказ. Несмотря на это, «некоторые безответственные казаки заявили, что, чем возвращаться в СССР, они лучше пойдут добровольцами воевать с Японией. Предложение было отвергнуто».

Люди умные, вроде генерала Краснова, конечно, не рассчитывали, что англичане позволят казакам предпринять рейд на позиции Красной Армии в Штирии. Однако генерал надеялся, что англичане как-то помогут казакам и не просто предоставят убежище на Западе, но еще и позволят им остаться единым народом и сохранить свое уникальное культурное наследие. Вскоре после перевода казацкого штаба из Кетшаха в Лиенц Краснов написал письмо фельдмаршалу Александеру. Напомнив о том, как они вместе воевали в гражданскую войну на стороне белых, Краснов рассказал о положении казаков и умолял фельдмаршала употребить свое влияние, чтобы помочь им. Дошло ли это письмо по назначению, неизвестно; но ответа генерал не получил.

Краснов был личностью незаурядной. Он родился в 1869 году в казацкой семье. К 1945 году за его плечами лежал большой и сложный жизненный путь. Многое сближало его с Уинстоном Черчиллем, и прежде всего глубокое знание бурной истории своего народа и романтическая влюбленность в эту историю. Как и Черчилль в молодости, он обладал авантюрной жилкой и сочетал военную службу с журналистикой. В 90-е годы он ездил с военной миссией в Эфиопию, в 1904 году писал о русско-японской войне для журнала «Русский инвалид». Во время первой мировой войны отличился, командуя кавалерийским корпусом, и получил Георгиевский крест. После Февральской революции и отречения царя Краснов, предчувствуя страшную угрозу, нависшую над Россией, оказался среди тех, кто готов был применить силу, чтобы навести порядок в государстве, стоящем накануне краха. В 1918 году в борьбе с большевиками он сотрудничал сначала с немцами, затем с англичанами. После окончательной победы большевиков эмигрировал, жил во Франции и Германии, занимался, в основном, литературным трудом, написал несколько романов. Наибольшую известность получила его во многом автобиографическая книга «От

двуглавого орла к красному знамени», выдержавшая несколько изданий.

Когда в 1941 году Германия напала на СССР, Краснов усмотрел в этом очередную возможность выступить против давнишнего врага — большевизма. Но к этому времени он был уже старым человеком. В момент сдачи англичанам ему шел 77-й год. Он дал, однако, казацкому движению свое престижное имя, посещал немецкие лагеря для русских военнопленных, писал воззвания в русской эмигрантской прессе. К армии Доманова Краснов присоединился примерно за месяц до ее сдачи в плен.

Таким был человек, к которому сейчас обратились все надежды и чаяния казаков, веривших, что Краснов вызволит их из беды. Формально командующим был Доманов, но, завидев красновский автомобиль, казаки пулей вылетали из палаток.В это время, впрочем, в лагере появилась еще одна примечательная личность из героического прошлого, фигура не менее знаменитая, хотя и совсем другого характера.

10 мая танки 56-го Рисского полка подошли к деревне Реннвег. Здесь «они приняли сдавшийся в плен казацкий полк, в том числе старого генерала Шкуро, который воевал в армии Деникина». Через неделю Шкуро вместе со своим учебным формированием в составе 1400 человек был перевезен в лагерь Доманова в Лиенце.

Если Краснов олицетворял блеск русской императорской армии, то в Андрее Григорьевиче Шкуро воплотился дух дикого разгульного казачества времен Богдана Хмельницкого и Стеньки Разина. Его вполне можно представить себе среди героев «Тараса Бульбы» или на картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Кубанский казак, он в 31 год был полковником, во время первой мировой войны прославился дерзкими партизанскими вылазками. Когда казаки выступили против большевиков, он отдал этой борьбе все свои силы. Английский офицер, бригадир Вильямсон, служивший вместе с русскими, оставил нам яркое описание этой колоритной фигуры: «Небольшого роста, с обветренным лицом, с длинными желтыми усами, Шкуро был одной из ярчайших фигур гражданской войны. Кавказец, сын горного племени, он был жестоким дикарем, как лучшие представители его народа. Невозможно было представить его без шапки волчьего меха, красно-бело-синих полосок Добровольческой армии на рукаве. В его кавалерийском полку, в котором было человек 300—400, все вместо каракулевых папах носили шапки волчьего меха. Их штаб размещался в вагонах, на которых были нарисованы волки, преследующие добычу. Это были гордые и своенравные люди, настоящие горцы, вооруженные до зубов: на бедре висел традиционный кинжал, сбоку висела сабля, где-нибудь еще был спрятан револьвер, а грудь перекрещивали патронташи. Шкуро, несомненно, был замечательным кавалерийским командиром, но, кроме того, еще и большим повесой. Однажды с тремя-четырьмя офицерами он заявился в самый разгар танцев в залу большой ростовской гостиницы и потребовал от гостей сдавать драгоценности и деньги на нужды его

«волков». Достаточно было взглянуть в его глаза, дерзко блестевшие из-под волчьего меха, чтобы понять, что с ним лучше не спорить. К тому же «волки» пользовались славой безжалостных грабителей. Так что Шкуро сорвал изрядный куш».

Шкуро эмигрировал из России в 1920 году. Какое-то время он выступал с конными номерами в цирке, но чаще всего напивался со старыми друзьями в барах Белграда или Мюнхена. Когда Германия напала на СССР, Шкуро явился к немцам и предложил свои услуги. Хотя он не пользовался таким авторитетом, как Краснов, все же его имя было широко известно среди казаков: в казацких лагерях и станицах ходило множество историй о его смелости и ловкости. Официально числясь командиром учебного полка 15-го казачьего корпуса, он вел кочевой образ жизни, наведываясь в казацкие лагеря и не пропуская буквально ни одной попойки. Он был большим знатоком соленых солдатских шуток и песен. Полковник Константин Вагнер рассказывал мне, что не допускал Шкуро в свою 1-ю казачью кавалерийскую дивизию, так как все его истории были связаны «с определенными частями тела». По мнению полковника Вагнера, это никак не подобало генералу и плохо влияло на дисциплину. Но простые казаки обожали визиты батьки Шкуро.

Когда опускались сумерки, над Лиенцем разносилось пение Шкуро. Австрийские официанты суетились вокруг его столика на улице, возле гостиницы «Цум гольденен Фиш», расставляя стаканы и бутылки с водкой. На батькин голос со всех сторон стекались молодые казаки с женами и подружками. Балалайки и аккордеоны подхватывали мотив, и даже у почтенных австрийских бюргеров сердца начинали биться в такт заразительной мелодии.

В городке и окрестностях, в палаточном лагере и бараках Пеггеца зажигались огни. Темнота обволакивала лес и скалы, опускалась над бурной Дравой, с шумом катящей свои воды. Последние лучи солнца на минуту задерживались на снежных вершинах, и наступала ночь. А внизу, в Лиенце, все звучали грустные и веселые казацкие песни.

Среди тех, кого судьба свела в те дни с казаками, был майор «Расти» (Рыжик) Дэвис, молодой парень из Уэльса, служивший в Аргильском полку. После перевода своего штаба в Лиенц полковник Алек Малькольм поручил Дэвису курировать казаков. Работа была нелегкая. Число казаков превышало 20 тысяч, и лагеря их раскинулись на площади в 12—14 кв. миль, но, по словам самого Дэвиса, ему это поручение пришлось по душе. Переводчиком и офицером связи при нем состоял молодой эмигрант лейтенант Бутлеров, бабушка которого была англичанкой.

Дэвису до сих пор трудно поверить, что он провел среди казаков всего три недели: так близко сошелся он с ними. Воспоминания об этих днях не потускнели со временем. Особенно сдружился он с Бутлеровым, который учил его верховой езде и неотлучно находился при нем во время объездов лагерей. У казаков поддерживалась отличная дисциплина, но Дэвиса не удовлетворяли некоторые

стороны организации их жизни в лагере, в частности вопросы санитарии. Он старался привить им некоторые навыки из практики английской армии и, как ему казалось, вполне преуспел в этом.

Но не деловые разговоры, хотя и весьма оживленные, остались в его памяти. Больше всего впечатляли его товарищество и открытость казаков, их живописная внешность. Хотя общаться с ними он мог только с помощью Бутлерова или Ольги Ротовой, он вскоре почувствовал, что вошел в их жизнь. Во время его ежедневных объездов казацкие семьи высыпали из бараков, хижин и палаток, радостно приветствуя его. Люди горячие и добросердечные, они к тому же всячески старались выразить свою благодарность англичанам, которые кормили и содержали их и относились к ним, в отличие от немцев, дружески и приветливо. Вездесущие детишки бежали за «господином майором», выклянчивая шоколад, который Дэвис никогда не забывал захватить с собой.

Большинство казаков мало задумывалось о будущем. После всех тягот жизнь в лагере казалась чуть ли не идиллией, и они довольствовались сегодняшним днем. Среди старших офицеров было, конечно, много разговоров, но, поскольку ни Краснов, ни Шкуро не получили ответа на свои обращения к английскому верховному командованию, им оставалось лишь ждать.

Дэвис не раз спрашивал казаков, что бы они предпочли, если бы им был предоставлен выбор. Отвечали по-разному, но все были единодушны в одном: ни в коем случае нельзя возвращаться в Советский Союз. И дело было не только в том, что речь шла о государстве, отказавшемся от всех норм закона и морали. Казаки носили немецкую форму и, следовательно, могли считаться предателями. А для тех, кого Сталин считал предателем, выбор был невелик: смерть либо рабский труд в лагере.

Сначала эти страхи показались Дэвису преувеличенными, он счел их попросту предрассудком. Как объяснил он мне полушутя — вроде того, как если бы ему, уроженцу Уэльса, приказали жить в Англии. Но его уверенность сильно поколебалась, когда одна пожилая женщина наглядно продемонстрировала причину своих страхов. «Вот что они со мной сделали», — спокойно сказала она, показывая ему свои руки, — ногти были сорваны до самых корней.

Дэвис всячески успокаивал казаков, не веря, что его правительство способно на бесчеловечные акции. Он не знал истории России и не особенно интересовался русскими делами, но воспитание и опыт подсказывали ему, что джентльмены, вроде фельдмаршала Александера, не могут отдавать приказы, которые приводят к таким зверствам. Ведь, в конце концов, Англия вступила в войну, чтобы защищать права малых народов и беззащитных людей; и вряд ли в момент победы она откажется от своих выстраданных идеалов.

Большинство казаков верило Дэвису. Однако некоторые, особенно бывшие советские граждане, не могли отделаться от терзавших их страхов. В Лиенце никто, ни англичане, ни русские, не знали о секретном соглашении, подписанном в последний день Ялтинской конференции, но в начале мая до лагерей дошли вести о

выдаче власовцев советским властям. Некоторые, наверное, слышали о судах с репатриируемыми, выходящих из английских портов с прошлого октября. Но казаки успокаивали себя мыслью, что у них, как у бывших союзников англичан, положение особое, что фельдмаршал Александер, гуманист, когда-то воевавший вместе с Белой армией, с сочувствием отнесется к их судьбе, и, наконец, что, поскольку большинство офицеров и многие солдаты являются старыми эмигрантами и никогда не жили в СССР, они не подлежат «возвращению» советским властям. Все эти соображения полностью разделял самый уважаемый казацкий вождь, генерал Краснов, который в письме Александеру подробно описал положение казаков. Правда, ответа еще не было, но это, верно, потому, что фельдмаршал находится в процессе консультаций с высшим начальством.

Поведение англичан, с которыми общались казаки, подкрепляло их в этих мыслях. Перед майором Дэвисом была поставлена интересная и трудная задача, и он старался выполнить ее с честью. Он всячески одобрял начинания казаков по устройству школ и церкви, организации служб и хора. 20 мая он собрал всех живших в лагере журналистов и предложил им выпускать газету, пообещав предоставить помещение в Лиенце. По воскресеньям казаки собирались на открытом воздухе на службу, и православная литургия звучала в унисон отдаленному звону церковных колоколов в долине Дравы.

15 мая в лагерь прибыли представители Красного Креста, распределявшие продовольствие и вещи. Жизнь в лагере постепенно налаживалась. Правда, в середине мая английские солдаты увели несколько казацких коней, что несказанно огорчило казаков, но вскоре им представилась возможность пожаловаться на это генерал-майору Арбутноту, который 18 мая посетил лагерь в Лиенце. Генерал проехал по лагерю, побывал в бараках в Пеггеце, где жили женщины и дети. Казалось, он был вполне удовлетворен увиденным, шутил, смеялся и проявил особенный интерес к кадетскому корпусу. Он сказал мальчикам несколько фраз насчет того, что они — надежда России, попробовал их обед, приказал увеличить рацион. Встретившись со старшими офицерами, он выразил свое восхищение поддерживаемой в лагере дисциплиной. Генерал Доманов, поблагодарив, заговорил об уведенных конях. Тон Арбутнота тут же переменился, и он резко ответил: «Здесь нет казачьих лошадей. Они принадлежат английскому королю, вместе с пленными казаками». Так казаки впервые услышали, что считаются военнопленными, и у многих мелькнула мысль, что это не к добру.

На самом деле ничего зловещего в этом термине не было. Будучи военнопленными, казаки, согласно международному закону, имели гарантии хорошего содержания в лагерях и последующего освобождения. Но Доманов этого не знал и по обыкновению обратился за советом к своему учителю Краснову. Старый генерал согласился, что события принимают неприятный оборот, и решил написать еще одно письмо фельдмаршалу Александеру. Он снова напоминал ему о тех днях, когда они оба сражались в Белой армии

против большевиков, обращал его внимание на положение казаков и умолял фельдмаршала спасти их. Но и это письмо осталось без ответа.

Можно представить себе, с каким беспокойством восприняли казаки следующий неожиданный приказ, подтверждавший перемену в их отношениях с англичанами. Ранним утром 27 мая Дэвис сообщил казацкому штабу, что к полудню войска должны сдать оружие. Между тем, по первоначальным условиям сдачи в плен казаков 8 мая, бригадир Мессон согласился оставить им оружие для самообороны против немецких или итальянских партизан. После расселения в лагере основные запасы оружия, ставшего в новой обстановке ненужным, были свалены в кучи, которые охраняли английские солдаты. Но солдаты Доманова, выполнявшие функции охранников и лагерной полиции, имели полномочия в случае необходимости пускать в ход оружие, а офицеры оставили при себе револьверы и сабли. (Кавказцы, находившиеся по соседству, подверглись куда более основательному разоружению еще 15 мая — может быть, потому, что англичане считали их зачинщиками безобразий, учиненных ранее в Карнии.)

Этот приказ, естественно, вызвал страхи и толки. По словам самих казаков, их успокоило сообщение о том, что взамен их разношерстной амуниции им выдадут английское оружие (поскольку немцы не считали армию Доманова регулярным военным формированием, его люди пользовались самым разнородным оружием — итальянским, французским, немецким, кое-что казаки захватили или «позаимствовали» сами). Во всяком случае, казаки быстро выполнили приказ, и к полудню все оружие, за исключением отдельных предметов, припрятанных владельцами, было сдано. Казаки, удовлетворившись объяснением Дэвиса, не выказали ни малейшего сопротивления, решив, что если им действительно взамен выдадут другое оружие, то это следует считать признаком доброго расположения англичан.

Но казаки не слышали приказа, зачитанного английским отрядам, контролирующим лагерь. В приказе, подписанном бригадиром Мессоном, говорилось, что все сдавшиеся в плен отряды должны быть в течение дня разоружены. Дальше следовало такое дополнение: «Если после 14.00 у кого-то из пленных будет обнаружено оружие или амуниция, его следует немедленно арестовать, и ему будет грозить расстрел... Я понимаю, что мы имеем дело с представителями разных народов, язык которых нам непонятен, и что среди них немало женщин и детей... В случае необходимости вы можете открыть огонь. Эту акцию следует считать военной операцией».

В заключение приказа вновь подчеркивалась необходимость стрелять, если в какой-то момент ситуация выйдет из-под контроля.

Наверное, английских солдат удивила столь странная прелюдия к операции, к которой казаки отнеслись с редкостным единодушием и покорностью. Но после относительного бездействия последних двух недель события начали развиваться с поразительной быстротой. Майор Дэвис с переводчиком Бутлеровым, явившись в штаб Доманова в Лиенце, вручил атаману письменный приказ, одновременно объяснив через переводчика его содержание: всем казачьим офицерам предписывается завтра явиться на конференцию в районе Обердраубурга, где фельдмаршал Александер сообщит им важное решение относительно их будущего. Распрощавшись, Дэвис уехал.

Бутлеров, для которого этот приказ был не меньшей неожиданностью, чем для Доманова, решил расспросить англичанина поподробнее. За три недели совместной работы у них сложились дружеские отношения, и он вполне мог рассчитывать на откровенность собеседника. Бутлеров спросил, действительно ли планируется конференция или это какой-то подвох. Дэвис заверил его, что все в порядке.

— Но это как-то странно, — настаивал Бутлеров. — Зачем фельдмаршалу нагружать вас такой работой — организовывать грузовики и машины для перевозки двух тысяч человек, когда он вполне может приехать сюда на своей легковушке? Что-то тут не так. В чем дело?

Дэвис пожал плечами:

— Не знаю. Это приказ, и не мне его объяснять, и, уж конечно, я понятия не имею, что думает фельдмаршал. Может, там есть какое-нибудь здание, пригодное для такого сборища, кино, например, или театр. В лагере таких помещений нет.

Бутлерова это не убедило:

— Конечно, ты солдат и должен выполнять приказы. Но я надеюсь, что ты еще и мой друг. Ты ведь знаешь, у меня в Пеггеце жена и ребенок. Ты можешь дать мне слово офицера и джентльмена, что вечером мы вернемся в лагерь?

— Разумеется, — заверил его Дэвис. Бутлеров все еще сомневался, но продолжать разговор было бессмысленно.

Тем временем генерал Доманов обзванивал своих рассеянных по лагерям офицеров, сообщая о приказе. Для некоторых старших офицеров он назначил совещание на 11 часов утра у себя в штабе. Он зачитал им приказ: в час дня все офицеры должны собраться на площади перед бараками в Пеггеце, где накануне сдавали оружие. Он говорил спокойным, размеренным тоном, как будто речь шла о самом обычном деле. Когда он кончил, в комнате воцарилось молчание. Офицеры обдумывали услышанное. Затем посыпались вопросы:

— Вещи с собой брать?

— Нет, вы к вечеру вернетесь.

— Как быть с офицерами, которые не поверят приказу и решат бежать в горы?

— Вы командир полка. Вы меня поняли?

Спокойствие Доманова являло собой разительный контраст с волнением, охватившим старших офицеров. Они отправились отдавать приказы по своим полкам, горячо обсуждая со всеми, кто встречался им на пути, что бы это могло значить. Они терялись в

догадках, но несмотря на абсурдность ситуации, напоминающей поговорку о горе, идущей к Магомету, большинство склонялось к тому, что конференция не выдуманная и, наверное, там объявят о положительном решении насчет их будущего устройства. Некоторые полагали, что им предложат поселиться в какой-нибудь малозаселенной английской колонии. По рассказам одного донского казака, не поверившего рассказам о конференции и бежавшего в горы, большинство из тех, с кем он говорил в тот день в лагере, считали, что с ними ведут честную игру. В пеггецком лагере у Ольги Ротовой начался ежедневный урок английского в кадетском корпусе, когда ее вызвал старый генерал. Он хотел знать, в чем дело. Может быть, Ольге, которая работает переводчицей, что-нибудь известно? Но она ничего не знала, и после бесплодного обсуждения приказа она ушла на урок, перекрестив генерала по его просьбе.

И все же большинство считало, что, каковы бы ни были цели этой конференции, вечером офицеры вернутся в лагерь. Ведь подозрения вызывали лишь внезапность приказа и явное отсутствие логики в том, что сотни офицеров везут на встречу с одним фельдмаршалом. Но логика вступала в конфликт с высоким мнением казаков об англичанах. Майор Дэвис дал Бутлерову честное слово, что офицеры вернутся в Лиенц вечером, то же самое обещали и другие офицеры, когда казаки задавали им сходные вопросы. Один лейтенант даже поклялся «честью английского офицера». А когда к Ольге Ротовой пришли заплаканные жены офицеров и попросили ее выяснить, что происходит, знакомый лейтенант Аргильского полка посоветовал ей успокоить их: «Они все вернутся вечером. Офицеры едут на совещание, и плакать тут совершенно не о чем!»

Помимо веры в честность англичан, на многих казаков произвело впечатление то спокойствие, с которым принял приказ генерал Доманов. События двух последних дней не встревожили атамана. Он верил, что приказ о разоружении вызван необходимостью навести порядок среди кавказцев, которые недавно снова учинили какие-то безобразия. Что до конференции, то у него были свои причины верить англичанам. И он, и генерал Краснов скорее всего связывали эту конференцию с последним письмом Краснова фельдмаршалу Александеру. О письме знали всего несколько человек, так как непосредственным поводом к нему послужил резкий ответ генерала Арбутнота на вопрос об изъятии лошадей, и казацкие командиры понимали, что, если казаки узнают о том, что генерал назвал их «пленными», это может всколыхнуть весь лагерь.

Сообщение о конференции чрезвычайно встревожило жену Краснова Лидию Федоровну, но Петр Николаевич был спокоен и уверен в себе. Обняв жену на прощанье, он уговаривал ее не волноваться. Пообещав вернуться не позднее восьми часов, он, опираясь на палку, спустился к поджидавшей его машине. Он нисколько не сомневался, что стоит ему встретиться с Александером — и все сложности будут разрешены. Фельдмаршал — человек

чести, и кто лучше объяснит ему положение казаков, чем старый атаман, солдат и писатель. Лидии Федоровне оставалось только ждать и молиться. Время шло, настал вечер. С каждым часом ее волнение росло. Вот пробило семь, восемь... Конечно, Петр Николаевич большой умница, он гораздо лучше разбирается в политике, чем она, но он обещал быть дома к восьми, и за 45 лет их супружества не было случая, чтобы он не сдержал слова...

Пока Доманов, Краснов и другие старшие офицеры штаба в Лиенце садились в свои машины, направляясь на конференцию, прочие офицеры собрались, следуя инструкциям, на площади перед бараками в Пеггеце. Их было 1475 человек (около 50 остались дежурными при полках), и они являли собой необычайно живописное зрелище. На встречу с фельдмаршалом они решили явиться в полном блеске; все надели праздничную форму, отглаженную и приведенную в порядок женами, построились в три колонны по названиям полков, красовавшимся на нашивках на плечах — «Дон», «Кубань», «Терек». Во главе каждой колонны выступал атаман. Все надели свои награды; у многих на груди красовались царские ордена. Одного очевидца особенно поразил знаменосец терских казаков, высокий человек благородного вида с широкой белой бородой, развевающейся на ветру. Гордо глядя прямо перед собой, он высоко вздымал трехцветное знамя Российской империи.

В тот майский полдень на площади перед бараками в Пеггеце собрался поистине цвет казачества. Вокруг толпились семьи, многие женщины громко рыдали. По сигналу майора Дэвиса колонны вышли за ворота, где их поджидали шестьдесят трехтонок. Разбившись на группы, офицеры сели в грузовики. Все это происходило в полном молчании, которое вдруг нарушили крики маленькой девочки. Она вырвалась из рук матери и с плачем бросилась к грузовику, куда залезал ее отец. Наверное, малышка решила, что он уезжает навсегда и что она больше не увидит его.

Длинная колонна грузовиков двинулась по пыльной дороге на восток. По обеим сторонам дороги тянулись палатки и вагончики, возле которых стояли казаки и их жены, следя за тем, как увозят их вожаков. Вскоре казацкий лагерь остался позади, колонна остановилась на опушке леса, где уже стояло несколько машин с казачьими генералами, но Доманова среди них не было. Опушка была окружена английскими войсками, и по приказу в каждый грузовик село по несколько английских солдат с автоматами. Как только колонна снова двинулась в путь, к ней пристроились выехавшие из леса бронемашины и вооруженные мотоциклисты. Некоторых казаков, сомневавшихся в реальности конференции, встревожил такой усиленный эскорт; другие же заметили, что, наверное, это просто мера предосторожности от нападения партизан. Среди сомневавшихся был кубанский казак Александр Шпаренго. В то утро он долго спорил со своими товарищами, так что его даже упрекнули в излишнем скептицизме. Правда, Шпаренго поддержал один офицер, философски заметивший:

— Да, англичанам верить нельзя.

Шпаренго удивленно взглянул на него:

— Значит, ты не веришь? Так почему же ты едешь?

— А что, приказ Главного управления касается меня меньше тебя? Это раз, а второе, я еду еще потому, что я им не верю. С какой легкостью они вступили в союз со Сталиным... с таким же вероломством они ему и изменят...

Пока грузовик ехал вдоль Дравы, Шпаренго не оставляла эта мысль: можно ли верить англичанам? И в самом деле, зачем им понадобилась эта конференция? Ну предположим, старшим офицерам хотят сообщить о важном решении, но ведь они буквально оголили полки, вызвав на конференцию всех, вплоть до последнего младшего офицера. Странно и непонятно... правда, может, придется голосовать по какому-нибудь важному вопросу. Нет, это не очень-то правдоподобно.

Вдруг его охватило острое чувство опасности, и он решил бежать. Но как? Будут ли солдаты стрелять в него, если он выпрыгнет из грузовика? Он решил, что вряд ли: если конференция настоящая, то солдаты не могут убивать тех, кто откажется на ней присутствовать. А если все это просто предлог, тогда — стреляя в него, они рискуют выдать себя с головой. Нет, опасность невелика. Он огляделся вокруг: налево — станция Никольсдорф, они уже, наверное, подъезжают к Обердраубургу. Решение созрело молниеносно. «Господа, вы как хотите, — крикнул он, — а я дальше не еду. Я им не верю». И с этими словами выпрыгнул из грузовика. «Сотник за бортом!» — закричал кто-то. Но Шпаренго, скатившись по склону, уже вскочил на ноги и скрылся в лесу. Оглянувшись, он увидел длинную колонну; за грузовиками следовали бронемашины эскорта, мелькнули лица его товарищей, махавших ему на прощанье, но еще минута — и машины скрылись из виду. Сняв форменный китель, сотник Шпаренго отправился по опустевшей дороге назад в лагерь.

Атаман Доманов с переводчиком, следуя инструкциям майора Дэвиса, выехал из Лиенца на полчаса раньше главной колонны и как раз в это время подъехал к штабу 36-й пехотной бригады в километре от Обердраубурга. Атамана встретил командир бригады Джеффри Мессон.

— Я вынужден сообщить вам, сэр, — сказал он, делая паузы для перевода, — что мною получен приказ передать всю казачью дивизию советским властям. Я сожалею, что вынужден сообщить вам об этом, но приказ не оставляет мне другого выхода. Всего вам доброго.

Доманов и Бутлеров молчали, пораженные этой новостью. Бледные, с посеревшими лицами, они вернулись к машине и в сопровождении английского офицера-охранника двинулись на восток.

Глава 8

ВОЗВРАЩЕНИЕ: ИЗ ЛИЕНЦА НА ЛУБЯНКУ

Бригадир Мессон за два дня до описанных событий, созвав командиров батальонов своей бригады на совещание в штабе в Обердраубурге, сообщил им о дальнейшей судьбе тех, кого они охраняли последние три недели. Решение, объяснил Мессон, принято на самом высшем уровне, и если даже оно кому-то не нравится, их долг — повиноваться. Речь идет об огромной массе людей, поэтому следует принять все предосторожности во избежание массовых попыток побега. Подробный план будет разработан позже, а пока необходимо изолировать офицеров от солдат; без командиров казаки вряд ли смогут оказать организованное и действенное сопротивление репатриации.

Но изолировать офицеров было не просто. Большинство их было рассеяно по всему лагерю, по своим частям, и попытка арестовать кого-либо из них неизбежно вызвала бы то самое сопротивление, которого следовало избежать. Поэтому вышестоящее руководство решило применить хитрость: сообщить казацким офицерам о мнимой конференции с фельдмаршалом Александером, а когда те соберутся все вместе — объявить об их выдаче советским властям. Разумеется, необходимо было разоружить казаков, и после этого все пойдет как по маслу: офицеров соберут на ночь в специально подготовленном помещении в Шпиттале, городке ниже по течению реки, а на следующий день под усиленной охраной передадут советским властям в Юденбурге. Затем последует передача рядовых казаков и их семей. Поскольку надобность в обмане к тому времени уже отпадет, силу можно применять в том объеме, в каком это окажется необходимо для успеха операции. Основной состав казачьей дивизии будет доставлен на поезде вслед за офицерами.

Большинству офицеров, присутствовавших на совещании, в том числе и самому бригадиру Мессону, предстоящая операция внушала отвращение. Да и выступать в роли обманщиков тоже было неприятно. Но, как подчеркнул Мессон, полученные им приказы не допускали никаких альтернатив, их надлежало выполнить.

Полковник Алек Малькольм из 8-го Аргильского полка возвращался в штабной машине в Лиенц мимо казацкого поселения. Представшее его глазам зрелище мало напоминало типичный во-

енный лагерь. Мужчины гарцевали на лошадях, женщины развешивали белье, в траве играли дети. В Лиенце Малькольм собрал своих офицеров и рассказал им о предстоящей операции. Майор Дэвис, который был к казакам ближе других, пришел в ужас (не столько от перспективы возвращения казаков в СССР — он плохо представлял себе, что за этим кроется, — сколько от необходимости стать обманщиком). Ведь казаки знали его, верили ему; ему казалось немыслимым разом, в мгновение ока, превратиться в лгуна и обмануть их доверие.

Объяснив это Малькольму, он потребовал, чтобы офицером связи с казаками назначили кого-нибудь другого. Терпеливо выслушав его, Малькольм категорически отказался. Операция, объяснил он, очень сложная, и успех возможен, только если удастся изолировать офицеров. В противном случае дело может обернуться серьезнейшими неприятностями. Не исключены массовые побеги или крупное кровопролитие, или и то и другое. А самоустранение Дэвиса может породить сомнения у казачьих офицеров. К тому же, если о конференции им сообщит именно Дэвис, которого они близко знают и которому верят, это увеличит шансы на успех.

Дэвис скрепя сердце вынужден был подчиниться этой логике и твердому приказу командира. Это решение навсегда оставило шрам в его душе. Ему пришлось обмануть своего друга Бутлерова и других казаков, среди которых он пользовался такой популярностью. Но, глубоко уважая Алека Малькольма, он не осмелился нарушить приказ. В свою очередь и Алек Малькольм, и Мессон знали, что решение относительно казаков принято на очень высоком уровне, самим фельдмаршалом Александером, за которым стоял Черчилль. Никакая армия не устоит на ногах, если ее офицеры начнут сомневаться в приказах, а в данном случае, как полагали Мессон и Малькольм, их начальники имели доступ к целому ряду фактов, неизвестных полевым офицерам.

Но, пожалуй, именно вранье и обман показались казакам самой отвратительной стороной всего этого мрачного предприятия. Их удручало не только то, что английские офицеры совершили низкий и подлый обман, но и то, что русских офицеров, воспитанных в благородных традициях императорской армии, удалось обвести вокруг пальца с такой легкостью. Николас Бетелл в книге «Последняя тайна» пытается оправдать эти меры: «Конечно, ложь и обман есть неотъемлемая часть современной войны, и нет причин полагать, что сами казаки не прибегали к обману, ибо они воевали даже яростнее, чем другие».

Однако большинство знакомых автору офицеров, английских и русских, без труда сумели бы отделить обман врага на поле боя от лжи ради отправки в мирное время беспомощных пленных навстречу смерти. Кроме того, дивизия Доманова, вопреки утверждению Бетелла, не только не воевала «яростнее, чем другие», но вообще ни разу не участвовала в боях как военное формирование. Хотя отдельные ее члены могли воевать в составе других формирований, Казачий стан вполне соответствовал своему названию, то есть был

казацким поселением. Да иначе и быть не могло — ведь казаков повсюду сопровождали их семьи.

Что же до кавказских частей, то они еще в меньшей мере, чем казаки, представляли собой воинское формирование, состоя целиком и полностью из людей, бежавших с Кавказа во время немецкого отступления из-под Сталинграда.

Поскольку Казачий стан являлся местом сбора и убежищем для перемещенных казаков, в последние недели перед переходом из Толмеццо в Австрию их собралось здесь великое множество. Среди них, например, были старые эмигранты, вынужденные уехать из Югославии в конце 1944 года. Деваться им было некуда, и они пробрались к своим землякам в Италию. Сам генерал Краснов появился в частях Доманова всего за три месяца до сдачи англичанам. И даже среди тех, кто от начала до конца проделал опасный путь от Новогрудка до Толмеццо, была большая группа гражданских беженцев. Например, супружеская чета поляков, живших в районе Новогрудка и ушедших с казаками на юг (останься они — их, скорее всего, расстреляли бы красные партизаны). Никак нельзя сказать, что эти люди работали или воевали против англичан, прибытия которых они ожидали с таким нетерпением, видя в них союзников в борьбе против коммунизма. Зое Полянской из Одессы, живущей теперь в Шотландии, в ту пору было 17 лет. Ее освободили из Освенцима, и она появилась в лагере Пеггец примерно за неделю до операции 1 июня. Ее ранили во время избиения, учиненного при посадке казаков на грузовики, и доктор Пинчинг, перевязавший ее, видел, как девушку дважды бросали в грузовик. И все же Зое удалось, воспользовавшись всеобщим замешательством, бежать. Это и было ее единственным выступлением против союзников.

Английские военные власти, казалось, и сами были не в большом восторге от этой «части современной войны». На другой день после успешного проведения «операции» штаб 78-й дивизии издал следующий приказ:

«1. Многим офицерам и сержантам армии известно, что союзники во время операций широко применяют методы маскировки и обмана.

2. Чрезвычайно важно, чтобы ни в какой форме не была обнародована практика союзников в этом и подобных вопросах, даже и теперь, после прекращения военных действий. Это относится равным образом как к методам, применяемым в отдельных операциях, так и к общей политике. Всякая информация по данному вопросу будет по-прежнему считаться «совершенно секретной».

3. Формирования и отряды должны позаботиться о том, чтобы этот приказ был доведен до сведения всех заинтересованных лиц. Поскольку излишние комментарии крайне нежелательны, циркуляция приказа должна быть строго ограничена теми, кто знает о методах обмана. Командиры формирований и отрядов сами должны решить, каким образом ознакомить подчиненных с этим приказом».

28 мая в десять утра полковник Брайар из 1-го Кенсингтонского полка собрал своих офицеров на совещание в штабе батальона в

Шпиттале. Объявив приказ по дивизии о репатриации казаков, он стал объяснять, какие меры следует принять, чтобы все прошло без сучка без задоринки. Собственно, никаких затруднений вроде бы не предвиделось, однако на всякий случай имелось мрачное дополнение к инструкциям:

«1. Всякую попытку сопротивления пресекать любыми методами, вплоть до применения оружия.

2. Всякая попытка офицеров совершить самоубийство должна быть предотвращена, если это не связано с опасностью для наших солдат. Если же имеется малейшая опасность такого рода, препятствовать самоубийству не следует».

Заняв свои позиции, офицеры в нетерпении стали ожидать прибытия казаков. Первым прибыл генерал Доманов. Его вместе с Бутлеровым отвели в барак за оградой, поставив там охрану. Через полчаса появилась первая колонна. На двух грузовиках прибыли 125 кавказских офицеров. Впереди в открытом автомобиле ехал Султан-Гирей в форме офицера царской армии. С ними обошлись так же, как с казаками: сказали о конференции в Деллахе и потребовали, чтобы Гирей выехал первым.

После прибытия кавказцев машины пошли сплошным потоком. Одним из первых приехал генерал Краснов, которому помог выйти из машины его сын, генерал Семен Краснов. Все грузовики обыскивали на предмет наличия оружия, а офицер разведки 36-й бригады сверял имена по имевшемуся у него списку. Это сильно замедляло процедуру, и полковник Брайар решил на свой страх и риск сократить проверку, чтобы успеть до темноты загнать казаков в бараки. Затем он пошел к Доманову и объявил, что казаки и кавказцы проведут ночь в лагере, и он, Доманов, по-прежнему отвечает за дисциплину своих офицеров. Утром, в 7.30—8.30, их построят в группы по 500 человек и объяснят, что с ними будет дальше.

Доманов пообещал «сделать все, чтобы выполнить инструкции». Эта реплика, по мнению Бетелла, говорит о посвященности Доманова в планы англичан, и о том, что Доманов был в сговоре с англичанами и способствовал репатриации казаков в СССР. Но зачем же было англичанам сообщать генералу Доманову о своих планах, которые они с такими предосторожностями скрывали от казаков? Если Доманов и предлагал кому-либо свои услуги, то не майору Дэвису и не полковнику Малькольму. (Ни они, ни бригадир Мессон о каких-либо переговорах с Домановым ничего не помнят.)

После разговора с Брайаром Доманов пошел к своим офицерам и, запинаясь, коротко и сбивчиво пересказал им то, что услышал от Мессона и Брайара. Для большинства это известие прозвучало смертным приговором. От себя Доманов почти ничего не добавил, он производил впечатление совершенно раздавленного человека. Быть может, смехотворная выдумка насчет его тайного сговора с англичанами отчасти вызвана тем, что после совещания в Лиенце, на котором он сообщил офицерам приказ о «конференции», и вплоть до этой страшной минуты никто из казаков его не видел.

Не трудно представить себе, какие дикие вымыслы могли зародиться у тех, кому выпала на долю столь страшная судьба.

Услышав о репатриации, многие в панике начали срывать знаки различия, пытались избавиться от мундиров и черкесок, выбрасывали документы, которые могли бы засвидетельствовать в НКВД их чины. Офицеры хорошо понимали, что им предстоят самые жестокие испытания. Понимали это и англичане — и потому приняли тщательные меры по предотвращению побегов, составили список офицеров (для рядового состава список не заводился). Пораженные обманом англичан, казаки принялись искать виновных. Совершенно очевидно, что их предали, но кто именно? Уважение казаков к англичанам было столь велико, что многие не сомневались: измена возникла в их собственных рядах.

Генерал Краснов утихомирил спорщиков, сказав, что если их действительно ждет выдача большевикам, то по крайней мере они могут с достоинством принять свою судьбу. В одном только он упрекнул Доманова: атаман мог бы, по меньшей мере, попытаться проверить подлинность приказа англичан о конференции.

Попросив бумагу и ручку, Краснов принялся сочинять петицию. Он писал по-французски, и хотя текст исчез при таинственных обстоятельствах, свидетели донесли до нас его суть. Краснов писал, что он и другие офицеры готовы подчиниться своей судьбе, но умолял о снисхождении к массе рядовых казаков и их семей, которых никак нельзя было обвинить в соучастии в военных преступлениях. Копии петиции, подписанной большинством офицеров, были отправлены королю Георгу VI, фельдмаршалу Александеру, Папе, в штаб-квартиру Международного Красного Креста и королю Югославии Петру (некоторые старые эмигранты являлись югославскими гражданами).

Тем временем и другой знаменитый казацкий генерал узнал об уготованной ему судьбе. Русского врача профессора Вербицкого, прибывшего вместе с офицерами, попросили осмотреть генерала, у которого случился сердечный приступ. В сопровождении английского солдата Вербицкий отправился в комнату, где на кровати лежал его старый знакомый генерал Шкуро. Подойдя к пациенту, Вербицкий понял, что Шкуро на самом деле ничем не болен. Косясь на английских солдат, стоявших у двери, Шкуро прошептал по-русски: «Кто приехал и куда их посылают?» Вербицкий, тоже шепотом, объяснил, что прибыл весь офицерский состав казачества из Лиенца, в том числе генерал Краснов. Шкуро побледнел, в отчаянии махнул рукой и несколько минут лежал молча, обдумывая услышанное. Больше им поговорить не удалось: английский солдат сказал, что время истекло. Вербицкий вернулся в лагерь с тяжелым сердцем, терзаемый дурными предчувствиями. Вскоре после этого к Шкуро наведался полковник Брайар, сообщивший генералу, что завтра его выдадут советским властям. На просьбу Шкуро расстрелять его тут же, на месте, Брайар отрезал, что это невозможно, и ушел.

К моменту прибытия офицерского корпуса Доманова Шкуро находился в Шпиттале уже тридцать шесть часов. Утром 26 мая

Ольга Ротова видела, как он с победоносным видом объезжал лагерь в Пеггеце. Как всегда при объездах, его окружала толпа казаков. Мужчины, женщины и дети радостно приветствовали его криками: «Ура батьке Шкуро!» Заметив Ольгу, генерал помахал ей и крикнул, что недавно говорил с ее мужем, Михаилом. Он находится в Зальцбурге и она скоро сможет туда поехать.

В тот вечер Шкуро обедал с генералом Домановым в его штабквартире. Он куролесил до позднего часа, потом наконец неверной походкой отправился на покой. Вскоре, часа в три ночи (излюбленное НКВД время для арестов), раздался стук в дверь, и английский офицер сообщил Шкуро, что он арестован. На рассвете генерала вывезли в Шпитталь. Шкуро догадывался, что англичане собираются выдать его советским властям, так что вряд ли сообщение Брайара было для него полной неожиданностью.

В 9 часов казакам пришлось отправиться на ночь в свои бараки. Но лишь немногие из них спали в ту ночь, и наверняка не сомкнул глаз генерал Доманов. Он понимал, что его ждут жестокие пытки и неминуемая смерть, но его мучило еще и сознание того, что он потерял доверие своих товарищей.

Утром, в пять часов, дали завтрак. Вскоре после этого один из священников попросил у полковника Брайара разрешения совершить службу, для многих последнюю. Брайар согласился. Позднее он писал, что «это была замечательная служба с великолепным пением». Но времени на обряды было совсем немного. В 6.30 к воротам подошел первый грузовик, и английский офицер приказал сесть туда Доманову со штабом. Доманов отказался, добавив, что больше не властен над своими офицерами. Тогда полковник Брайар заявил, что дает десять минут на размышления, после чего примет меры. Десять минут прошли. И поскольку ни Доманов, ни его офицеры не собирались повиноваться приказу, за дело взялся взвод английских солдат.

Однако оказалось, что заставить казаков повиноваться — задача не из легких. Офицеры сели на землю, взявшись за руки, и когда английский сержант попытался силой оттащить одного офицера, тот укусил его в руку. Это послужило для охранников сигналом — они набросились на безоружных, среди которых были старики, вроде генерала Тихоцкого, способного передвигаться только ползком. Несколько минут английские солдаты дружно орудовали прикладами винтовок, и многие казаки были избиты до потери сознания. Правда, были и такие, кто не решился избивать безоружных казаков. Но в общем, как писал полковник Брайар, «вмешательство возымело должное действие» и казацкие офицеры залезли в грузовики.

Генерал Краснов наблюдал за этой сценой из открытого окна своего барака, когда несколько английских солдат бросились к бараку, чтобы выволочь оттуда и старого генерала. Но такого надругательства казаки потерпеть не могли. Офицеры подбежали к окну, взяли 76-летнего генерала на руки и отнесли его в грузовик. Краснову было разрешено сесть в кабине, рядом с шофером. Его

внук, Николай Краснов, видел, как дед перекрестился и прошептал: «Господи, сократи наши страдания!»

Генерал Краснов ехал в переднем грузовике колонны, которую замыкала машина, где находился генерал Шкуро со штабом. Всего в ночь 28—29 мая через Шпитталь проехало около 1600 казаков и кавказцев. Для некоторых этот пункт оказался конечным: в официальном рапорте сообщалось о трех попытках самоубийства, из которых «две оказались удачными». Но английский офицер, занимавшийся погрузкой казаков и обыскивавший после этого лагерь, сообщает о 8—12 попытках самоубийства. По меньшей мере трое повесились на электрических шнурах, другие перерезали себе горло или вены осколками стекол. Некоторые офицеры решили не откликаться при регистрации в Юденбурге. Трое во время посадки на грузовики спрятались, и потом им удалось выбраться на волю, за колючую проволоку, окружавшую лагерь.

Но сотни других, менее удачливых казачьих офицеров, на полной скорости приближались к Юденбургу, советской границе зоны. Одного казака, спрыгнувшего с грузовика, поймали; в других беглецов стреляли. Лейтенант Дж. Т. Петри, которому была поручена охрана грузовиков, вспоминает, как «офицеры на всем пути от Шпитталя до Клагенфурта выбрасывали за борт ремни, шпоры и знаки различия». Спешили казаки избавиться и от вещей, которые могли бы стать добычей сотрудников НКВД, так что английские солдаты вели оживленную торговлю, где в качестве валюты фигурировали сигареты. Часто за сигарету можно было получить золотые часы.

Через несколько часов глазам едущих в передовом грузовике предстала посреди лесистой долины Мура панорама Юденбурга. Река служила демаркационной линией между двумя армиями. Грузовики медленно въехали на мост, вдоль которого стояли английские танки и пулеметы. Затем вся колонна выстроилась сбоку, грузовики один за другим переезжали мост, высаживали пассажиров на советской стороне и возвращались. Наверху, на столбе, повис мешком кроваво-красный флаг СССР.

Казаки ожидали разгрузки, сидя в грузовиках. Один из них попросил разрешения помочиться: на мосту стояли специальные ведра для этой цели. Бежать ему было некуда, и английские охранники разрешили. Офицер спрыгнул с грузовика, направился к ведру и вдруг, резко рванувшись вперед, прыгнул с утеса высотой футов в сто. Английские солдаты, подбежавшие к обрыву, смогли разглядеть лишь распростертое далеко внизу тело. Наверное, охранникам пришлось бы туго, если бы при перекличке обнаружилась нехватка, но им повезло. Как писал позже майор Гуд из танкового эскорта, покалеченного умирающего офицера не без труда обнаружили и передали советским.

Перейдя по мосту на другую сторону, майор Гуд стал наблюдать за ходом выдачи казаков. Но тут стоявший рядом с ним казачий офицер вытащил откуда-то бритву, резко полоснул по горлу и окровавленный упал в предсмертных судорогах к ногам английского майора. Ошеломленный столь неприятным происшествием, май-

ор осведомился у женщины-офицера, что ожидает казаков. Она заверила его, что «старшие офицеры будут посланы на перевоспитание, а младших отправят на работы по восстановлению разрушенных советских городов». Впрочем, вскоре на тот же вопрос он получил совсем другой ответ: капитан Красной Армии многозначительно провел ладонью по горлу.

В тот день были переданы не все. Через два дня привезли еще 83 офицера — дежурных, оставшихся в лагере, а также несколько задержавшихся. Во главе эскорта ехал в джипе лейтенант Хемминг из 1-го Кенсингтонского полка. Подъехав к мосту, Хемминг заметил, что «между городом и барьером на расстоянии примерно мили стояли в ста ярдах друг от друга английские солдаты, деловито сжимая в руках автоматы». Казачьи офицеры были переданы советскому полковнику, выдавшему расписку в получении, и вскоре скрылись из виду. Но до англичан еще долго доносились звуки, по которым можно было составить некоторое представление о том, что происходит на другом берегу Мура. Эдуард Стюарт, бывший мотоциклист связи в Королевском сигнальном корпусе, написал мне следующее: «Меня вызвали охранять английскую часть моста в Юденбурге, когда колонну русских казаков передавали советским на другом конце моста. Официально нам так и не сообщили причину выдачи этих несчастных, но мы все понимали, что они воевали вместе с немцами против нас. Мы понимали также, что они идут навстречу своей смерти, насчет этого у нас не было ни малейших сомнений. Возле моста находилось ведро для нечистот, и многие казаки воспользовались им, хотя и вовсе не по назначению. Они наполнили его немецкими марками, часами и другими вещами. Сам я не видел, чтобы к казакам применялось насилие, но я не ехал с конвоем, а просто стоял на месте... В ту ночь и на другой день мы начали подсчитывать выстрелы, доносившиеся со стороны русского сектора под аккомпанемент самого замечательного мужского хора, который я когда-либо слышал. Голоса разносились по всей округе. Выстрелы сопровождались веселыми криками».

Казаки умели умирать. Может быть, они пели, чтобы встретить смерть со словами литургии на устах, а может, чтобы показать англичанам, как они умирают.

Английские солдаты, находившиеся тогда в Юденбурге, могли лишь догадываться о судьбе казаков. Но одному казачьему офицеру, оказавшемуся в аду, чудом удалось выбраться оттуда через десять лет. Речь идет о Николае Краснове, внуке старого генерала. Семья Красновых покинула Россию, когда ему было всего четыре месяца; с тех пор он жил в Югославии. Теперь, вследствие приказа, отданного генералом Арбутнотом, он был осужден без суда и следствия на десять лет работ в страшных сибирских лагерях. Лишь немногие смогли пройти через это испытание. В числе этих немногих оказался и Николай Краснов. Он не только дожил до конца своего срока — ему разрешили как гражданину Югославии уехать из СССР. В декабре 1955 года он уехал в Швецию, и там записал все, что помнил — от обещаний англичан в Лиенце до карагандинского ада. Его дед и товарищи-казаки завещали ему,

если он выживет, написать мемуары, рассказать миру о предательстве англичан и жестокости советских властей. Он писал, стараясь не упустить ни единой, даже самой мелкой подробности, и лишь закончив книгу, уехал в Аргентину, где жила его жена Лили, которой десять лет назад удалось спастись от репатриации, скрывшись в горах Австрии. Он умер вскоре после выхода книги. Не исключено, что его отравил КГБ, отомстив ему за его воспоминания.

Как рассказывает Н. Краснов, в Юденбурге генералы Краснов, Шкуро и Доманов, а также другие старшие офицеры содержались отдельно от остальных. Всех согнали в большой литейный цех металлургического завода, генералов же поселили в комнате, очевидно, бывшей канцелярии. Николай был вместе с дедом, здесь же находились его отец и дядя. На первых порах их охраняли красноармейцы, обращавшиеся с ними вполне вежливо. С самого начала было очевидно, что для советских главное во всем этом деле — захват знаменитых белых генералов. Командир части пригласил Краснова и Шкуро в свой штаб; он, оказалось, тоже участвовал в гражданской войне, и бывшие противники живо обсуждали битвы прежних дней. О политике разговора не заходило. Советский офицер был вежлив и почтителен.

Вообще советские офицеры часто наведывались к своим заключенным, и разговор неизменно возвращался к 1918 году, когда красная кавалерия и белые казаки схватились на Дону и Украине. Офицеры с почтительным интересом слушали Краснова, но наибольшим успехом пользовались рассказы легендарного Шкуро, пересыпанные сочными ругательствами и непристойностями. У младших офицеров, знавших о минувшей войне лишь понаслышке, шутливые перебранки стариков вызывали буквально приступы смеха. Многие с детства слышали легенды о Шкуро, этом самом бесстрашном предводителе казаков, и, конечно, не могли представить себе, что через 25 лет после битв гражданской войны увидят его собственными глазами! Его грубоватый солдатский юмор с равным успехом покорял сердца красноармейцев и казаков фон Паннвица. И они неизменно приходили в восторг, когда Шкуро, нимало не стесняясь в выражениях, рассказывал, как красная кавалерия однажды «прожгла дыры в наших задницах».

Казацкие руководители старались сохранять самообладание. Но время от времени происходили события, напоминавшие, что судьбу их будут решать отнюдь не братья-солдаты, а чиновники совсем иного рода.

Навещали их также и молчаливые гости, офицеры контрразведки, СМЕРШа и НКВД. Они входили в комнату, оглядывались вокруг, словно считая всех по головам, затем уходили, плотно закрыв за собой дверь.

Среди рядовых красноармейцев установилось странное, но единодушное отношение к пленным. На белых офицеров они смотрели снизу вверх, уважая в них последовательных врагов, никогда не прекращавших открытую борьбу против большевиков. Совсем другие чувства вызывали у них бывшие офицеры Красной Армии,

вроде Доманова. К ним относились с презрением или попросту игнорировали.

Через два дня Красновых, Доманова, Шкуро, Султана-Гирея, Васильева и других старших офицеров увезли на грузовиках. Но до посадки им предстояло стать свидетелями расстрела одного немецкого лейтенанта 15-го казачьего полка фон Паннвица. Экзекуция была проведена крайне небрежно, и офицеру НКВД пришлось добить несчастного. Этот немец был не единственным пленным, выданным англичанами советским властям.

Несколько дней и ночей на заводе в Юденбурге работали расстрельные команды, постоянные залпы глушились запущенными для этой цели двигателями. После такого «предупреждения» группу казачьих офицеров повезли под охраной в Грац, здесь они провели ночь в тюрьме НКВД, наутро их перевели в Баден, в другую тюрьму, где офицеры СМЕРШа подвергли их пристрастным и грубым допросам. Как и всем тем, кто прошел сквозь эту организацию, многие вопросы показались им до глупости наивными — словно их придумал какой-то недоумок. Но СМЕРШ разделял с Красной Армией интерес к знаменитостям, оказавшимся в их руках. Однажды утром, например, явились фотографы и запечатлели семью Красновых. 4 июня всех отвезли на ближайший аэродром. Вот что вспоминает об этом бывший смершевец, вскоре перебежавший к американцам: «Однажды, в конце весны 1945 года, когда мы уже были в Бадене, мой начальник, подполковник, предложил мне сопровождать его, пообещав показать, как он выразился, «живую историю». Мы отправились на аэродром, куда привезли группу казаков. Когда мы приехали, на поле уже стоял самолет, готовый к отлету. Возле был грузовик, накрытый брезентом, а рядом собралась группа офицеров СМЕРШа, к которым мы и присоединились. Мой подполковник был здесь старшим по чину.

— Ну что ж, — обратился к подполковнику майор из оперативного отдела, — можно начинать?

Подполковник кивнул. Из кабины грузовика медленно вылез старый человек в немецкой форме, на плечах красовались погоны русского генерала, а на шее висел царский орден в форме белого креста.

— Это Краснов, — подтолкнул меня локтем подполковник. — А вот это Шкуро.

Я увидел маленького человека в генеральской форме. Во время гражданской войны он был одним из главных врагов кавалерии Буденного, и бои с ним велись прямо в моем родном городе. Я глазел на них обоих с нескрываемым интересом, как, впрочем, и все остальные.

— Ну и мерзавцы эти англичане! — сказал подполковник. — Наградили Шкуро своим орденом, по имени какого-то ихнего святого, не то Николая, не то Георгия, а теперь — нате вам, стоило нам мигнуть — и они тут же доставили голубчика.

Все наши дружно рассмеялись. Из грузовика вылезла еще одна группа офицеров в такой же форме. Они скрылись в самолете в сопровождении солдата-энкаведешника с автоматом и майора из

оперативного отряда СМЕРШа. Самолет набрал скорость и взмыл в небо, по направлению к Москве и эшафоту».

В Москве офицеров посадили в одну из тех машин для перевозки заключенных с надписью «Хлеб», которые так впечатляли западных корреспондентов, изображавших процветание советского народа. Вскоре машина подъехала к месту назначения — Лубянке. Офицеров ввели в здание и, проведя длинным коридором, развели по одиночным камерам. Николай Краснов вспоминал в своей книге, какой ужас охватил его в тот момент: «Щелкнул замок. Осматриваюсь. Осматривать тут нечего. Малюсенькое помещение вроде телефонной кабинки. Низко навис потолок. Помещение ярко освещено. Глазам больно. Сесть можно только на пол с согнутыми коленками. Тишина. Мало воздуха. Жарко. Душно... Полную мертвящую тишину иногда прерывает душераздирающий крик, звериный вой кого-то истязаемого или умирающего».

Николай Краснов недолго пробыл в камере. Молчаливые охранники привели его в подвал, где его обыскали. Он вспоминал: «Обыск подходил к концу, но в это время открылась дверь и в комнату вошел... полковник НКВД.

— Всё осмотрели? — полушепотом спросил он. (Очевидно, у людей вырабатывается на Лубянке привычка говорить очень тихо.)

—Всё.

— ...А там?

Начальник ударил себя ладонью по лбу, как бы говоря: ах дурак! Забыл ведь!

— Нагнись! — сказал он мне. Я нагнулся и вдруг взвыл от неожиданности, боли и отвращения. «Сам» полковник МВД, без всяких перчаток, соизволил залезть в мой анус пальцами, без всяких церемоний стараясь открыть там то, что я, по его мнению, мог туда запрятать.

— Тихо! — рявкнул он. — Не орать!

...Осмотр был закончен.

— Одевайтесь, — приказал полковник, вытирая пальцы о свой собственный платок. Повернувшись к надзирателям, он добавил: — Оставьте ему пока все. И пуговицы, и погоны, и ремень и ведите его прямо к «нему».

Николаю вскоре предстояло узнать, кто такой этот таинственный «он». Но сначала Николая отвели в приемную, где он, к своей радости, увидел отца, и им удалось обменяться несколькими словами. Их ввели в громадную комнату. Вот что об этом пишет Николай Краснов: «В самой глубине зала стоял широченный блестящий письменный стол. Направо и налево от него, как бы покоем, — столы, покрытые сукном. На стене огромный портрет «вождя» в форме генералиссимуса, во весь рост, метра три высотой. На противоположной стене — портрет Берия. В простенке между окнами, закрытыми темно-красными бархатными гардинами, портреты членов ЦК ВКП(б). Весь пол покрыт дорогими бухарскими коврами. Против письменного стола, метрах в 10 от него, стоял маленький столик и два стула. Меня все время поражала полная

тишина. Как будто все здание притаилось, замерло, стояло где-то вне времени, вне пространства. Как будто вокруг него не бурлила, не шумела, не двигалась Москва.

За письменным столом без движения сидел генерал в форме войск МВД.

— ...Меркулов, — шепнул за нашей спиной офицер».

Это имя скорее всего ничего не сказало бы Антони Идену или сотрудникам английского МИД, но Меркулов был третьим человеком в СССР. Помощник Берия, он сыграл ключевую роль в организации убийства 15 тысяч поляков в Катыни в 1940 году. Нам неизвестно, что думали об уступках англичан Сталин или Берия, хотя мы можем об этом догадаться, но Меркулов беседовал на эту тему с Николаем Красновым, и Николаю единственному суждено было выжить после такой беседы. Только те, кто целиком прочел его книгу, способны понять, каким чудом было то, что он выжил. Вряд ли Меркулов мог предположить, что стоящий перед ним молодой человек, бледный, перепуганный, проведя одиннадцать лет в лагерях, окажется на Западе и опубликует рассказ об этой встрече. Да и сам Николай, наверное, не надеялся на такое чудо.

Вспоминает Н. Краснов: «Генерал молчал. Мы — не шевелились. Затем он медленно поднял тяжелую голову и беззастенчиво, открыто стал нас осматривать, как восковые фигуры в паноптикуме».

По приказу Меркулова принесли чай и печенье, и они остались втроем. Сначала министр НКВД сделал несколько вежливых, хотя и мрачных замечаний, затем его настроение изменилось. Свидетельствует Н. Краснов: «Пауза. Генерал ходил взад и вперед за своим столом, мягко и плавно раскачиваясь в бедрах и ловко поворачиваясь на каблуках:

— Как доехали? Не укачало ли и вас в самолете?.. Не беспокоил ли вас кто-нибудь? Есть ли какие-нибудь жалобы? — И, не дождавшись ответа, скорее даже не интересуясь им, Меркулов обратился прямо к отцу: — Почему вы не курите, Краснов, и не пьете чай? Вы, по-моему, не очень разговорчивы и дружелюбны. Я думаю, что за этим молчанием вы пытаетесь скрыть ваше волнение... страх... а волноваться вам, в общем, совсем не стоит. По крайней мере, не в этом кабинете. Вот когда вас вызовут к следователю, я вам советую говорить только правду и находить ответы на все вопросы, а то... мы и подвешивать умеем.

Меркулов тихо рассмеялся.

— Знаете, как подвешивают? Сначала потихоньку, полегоньку... даже не больно, но потом... Не описал ли в своих книгах подобный способ дознания атаман Краснов?

У меня похолодели пальцы. В висках пульс отбивал какой-то бешеный там-там. Так громко билось сердце, что стук его должен был слышать и Меркулов, стоявший за письменным столом на расстоянии десяти метров.

Отец молчал. Лицо его было бледно, но сосредоточенно-спокойно. Завидую ему.

— ...На свободу не надейтесь, — продолжал генерал. — Вы же не ребенок. Однако, если не будете упрямиться, легко пройдете все

формальности, подпишете кое-что, отбудете парочку лет в ИТЛ и там привыкнете к нашему образу жизни и... найдете ее прекрасные стороны... Тогда, возможно, мы вас выпустим. Жить будете! — Опять пауза.

— ...Так что, полковник Краснов, выбирайте между правдой и жизнью или запирательством и смертью. Не думайте, что я вас запугиваю. Наоборот! Ведь Петр Семенович, Семен Николаевич и вы — наши старые знакомые! В 1920-м вам удалось вьюном выскочить из наших рук, но теперь — все карты биты. Не уйдете! «Нэма дурных», как говорят на Украине.

...Несколько шагов туда и обратно. Руки у генерала заложены за спину. Он играет пальцами скрещенных кистей. Невольно замечаю, что на одном поблескивает кольцо.

— ...Итак, полковник, мы с вами договорились?

— Мне не о чем с вами договариваться! — резко ответил отец.

— То есть как «не о чем»? — тихо рассмеялся чекист. — Уговор дороже денег, Краснов. Ваше прошлое нас не интересует. Мы о вас все знаем. Но... вот известные маленькие подробности о ваших действиях ближайшего времени будет не вредно услышать от вас самих.

— Мне вам нечего рассказывать. Я не понимаю, к чему вся эта волокита. Кончайте сразу. Пулю в затылок — и...

— Э-э-э, нет, «господин» Краснов, — криво усмехнулся Меркулов, опускаясь в кресло. — Так просто это не делается. Подумаешь! Пулю в затылок и все? Дудки-с, ваше благородие! Поработать надо. В ящик сыграть всегда успеете. Навоза для удобрения земли — хватает. А вот потрудитесь сначала на благо Родины! Немного на лесоповале, немного в шахтах, по пояс в воде. Побывайте, голубчик, на 70-й параллели. Ведь это же так интересно. «Жить будете», как говорят у нас. Вы не умеете говорить на нашем языке. Не знаете лагерных выражений, родившихся там, в Заполярье. Услышите! Станете «тонкий, звонкий и прозрачный, ушки топориком»! Ходить будете «макаронной» походочкой! — расхохотался генерал. — Но работать будете! Голод вас заставит!

Мы сидели молча. В голове у меня гул, ладони рук вспотели от бессильной злобы.

— Нам стройка нужна, полковник Краснов. А где руки взять? От висельников и «жмуриков» пользы большой нет. Времена переменились. Расстрел — в редких случаях. Нам рабочие руки, бесплатные руки нужны. Двадцать пять лет мы ждали радостной встречи с вами. Довольно вы в эмиграции языком мололи и молодежь с истинного пути сбивали.

Меркулов немного задыхался от своего монолога. На лбу отскочила толстая жила. Глаза стали острыми, как жало ненависти.

— ...Испугались?.. Чего? Работы испугались?.. А впрочем... что тут говорить? Ни вы мне, ни я вам не верим ни одному слову. Вы для меня белобандит, а я для вас красный хам! Однако победа за нами, за красными. И в 1920-м, и теперь. Сила на нашей стороне. Мы не льстим себя надеждой, что нам удастся перевоспитать Краснова и превратить его в покорную советскую овечку, любовью

к нам вы никогда не воспылаете, но мы сумеем вас заставить работать на коммунизм, на его стройку, и это будет самым лучшим моральным удовлетворением!

Меркулов умолк, выжидающе вытаращив глаза на отца.

— Зачем такое длинное вступительное слово! — устало ответил отец. — Я все прекрасно понимаю и без пояснений, господин генерал. Мне ясна безнадежность нашего положения. Мы с сыном солдаты. Оба воевали. Оба встречались со смертью глаз на глаз. Нам все равно, на какой параллели, 70-й или сотой, она махнет своей косой... Я ругаю себя только за одно — зачем я поверил англичанам? Однако, сняв голову...

— Ах! Если бы только смерть! — усмехнулся Меркулов. — Бросьте громкие слова о «солдатской смерти». Это — отсталая белиберда! Смерть прошла мимо, даже вас не заметив! Но что вы поверили англичанам — так это действительно глупость. Ведь это — исторические торгаши. Они любого и любое продадут и даже глазом не сморгнут. Их политика — проститутка. Их Форин Оффис — публичный дом, в котором заседает премьер — главная дипломатическая «мадам». Торгуют они чужими жизнями и своей собственной смертью. Мы? Мы им не верим, полковник. Поэтому мы и взяли вожжи в свои руки. Они и не знают, что мы их заперли на шахматной доске в угол и теперь заставили их плясать под нашу дудку, как последнюю пешку. Рано или поздно произойдет схватка между коммунистическим медведем и западным бульдогом. Милости нашим сахарным, медоречивым пресмыкающимся и заискивающим союзничкам — не будет! Полетят к чертовой матери все их короли, со всеми их традициями, лордами, замками, герольдами, орденами Бань и Подвязок и белыми париками. Не устоят под ударом медвежьей лапы все те, кто льстит себя надеждой, что их золото управляет миром. Победит наша здоровая, социально крепкая, молодая идея Ленина—Сталина! Быть по сему, полковник.

Помолчав немного, Меркулов обратился к молодому Краснову:

— Королевский офицер! Видали? А мускулы у тебя есть, королевский офицер? Пошлю тебя работать туда, куда Макар телят не гонял, так ты другое запоешь. Будешь поправлять то, что фашистские гады понапортили. Жаль, что мало вас, контриков, мы получили! Многим удалось смотать удочки и спрятаться под юбкой у западников. Ничего! В свое время и их получим! Со дна моря достанем!.. Нннет! Пулю в лоб вы не получите. Ни в лоб, ни в затылок. Жить вас заставим. Жить и работать! А придет время, во имя социалистической стройки сами передохнете.

— Я думаю, что этот разговор ни к чему не ведет, — неожиданно резко вставил отец.

— Что-о-о? — взревел генерал МГБ. — Отдаете вы себе отчет, где находитесь и с кем говорите? На Лубянке! С Меркуловым. Я здесь хозяин. Я говорю что хочу. Помогла вам петиция, которую ваш дядюшка, атаман, на французском языке из Шпиталя послал? Что вы думаете, что мы об этом не знаем? Не помогут вам ни Черчилли, ни Трумэны, ни короли, ни дипломаты. Если мы

гаркнем, так они хвосты подожмут. Рассказывают, что цари ходили своих коней на берега Одера поить, так мы, придет время, на берегах Темзы советских лошадей напоим...»

После этого взрыва Меркулов нажал кнопку звонка и отпустил Красновых.

В тот же день в лубянской бане Николай последний раз видел своего деда. Атаман Краснов, генерал и писатель, сказал внуку, что он должен когда-нибудь поведать миру историю о том, как предали казаков. Эти слова глубоко запали в душу Николая, горячо любившего и почитавшего деда. Генерал был уверен, что внуку суждено пережить грядущие испытания:

— Если выживешь — исполни мое завещание. Опиши все, что будешь переживать, что увидишь, услышишь, с кем встретишься. Опиши, как было. Не украшай плохое. Не сгущай красок. Не ругай хорошее. Не ври!.. Пиши только правду, даже если она будет кому-нибудь глаза колоть... Здесь, в подобных условиях, писать тебе не придется. Ни записочки, ни заметочки. Употребляй мозг, как записную книжку, как фотографический аппарат. Это важно. Это невероятно важно. От Лиенца и до конца пути своего по мукам — запоминай. Мир должен узнать правду о том, что совершилось и что совершится, от измены и предательства до... конца.

Николай Краснов не забыл этот совет. Все доступные нам свидетельства подтверждают правдивость его рассказа. О самом разговоре с Меркуловым Краснов пишет: «Несмотря на протекшие 11 лет, встреча с Меркуловым и все им сказанное настолько врезалось в мою память, произведя в то время незабываемое впечатление, что я старался его передать с возможно абсолютной точностью, может быть, что-либо упустив, но не прибавив».

Это замечание важно, потому что речь Меркулова является самым подлинным свидетельством, какое вообще возможно. Имеются и другие документальные и достаточно надежные свидетельства, где ближайший коллега Меркулова, Абакумов, и прочие офицеры МГБ используют ту же фразеологию, высказывают те же мысли. Угрозы Меркулова звучат, как парафраза речи какого-нибудь знаменитого злодея, героя старомодного детективного чтива для школьников, но в том и состоит одно из величайших завоеваний советского коммунизма, что ему удалось воплотить в жизнь затасканные клише сочинителей детективов. Руководитель польского подпольного движения Стыпулковский, которого тоже допрашивали в Лубянской тюрьме в 1945 году, выслушивал те же угрозы и те же самодовольные речи от своего следователя майора Тихонова. Как и Меркулов, «Тихонов сказал, что умереть — это не трудно, куда труднее провести остаток жизни в сибирских лагерях», а затем точно так же, как Меркулов, выразил свое презрение к трусливым и двуличным англичанам. Несомненно, все эти приемы спускались сверху, руководством НКВД.

Тот беспрецедентный факт, что Меркулов лично беседовал с казацкими руководителями, доказывает, как важно было советским руководителям их возвращение. Что за этим стояло — страх ли, что

эмигранты могут при благоприятных обстоятельствах опрокинуть режим, или же расправа со старейшими злейшими врагами — об этом можно лишь гадать. Но вполне вероятно, что Меркулов говорил то, во что искренне верил. Он не мог предвидеть, что когда-нибудь мир узнает об этом разговоре. Обоим Красновым предстоял путь на север, в лагеря, откуда никому не удавалось бежать (по крайней мере, в промежутке между окончанием войны и до самой смерти Сталина) и откуда мало кто возвращался. И действительно, отец Николая Краснова через несколько месяцев умер и был похоронен в братской могиле, местонахождение которой неизвестно.

Но народный комиссар В. Н. Меркулов не мог предвидеть, что пройдет всего 8 лет — и Сталин умрет, а он сам и его хозяин Берия будут ликвидированы группой соперников во главе с Хрущевым. Коммунизму свойственно в трудные минуты пожирать своих собственных детей. И конечно, Меркулов не мог предугадать, что наступит день, когда Хрущев решит, в целях консолидации собственной власти, закрыть многие лагеря. Для Меркулова и его современников лагеря с их рабским трудом были неотъемлемым институтом коммунистического государства. Но в 1956 году экономические преимущества труда заключенных казались слишком ничтожными по сравнению с его социальными и политическими недостатками, и от рабского труда как от крупного фактора экономики отказались, оставив его лишь в качестве меры наказания. И — что самое удивительное — Хрущев позволил некоторым иностранным гражданам, выпущенным из лагерей, вернуться на родину. Николай Краснов оказался в этой категории, поскольку был гражданином Югославии, — что, кстати, было известно и генералу Арбутноту, и бригадиру Мессону с первого дня их знакомства с Красновым.

Его деду, дяде и другим казацким предводителям была уготована другая участь. 17 января 1947 года короткая заметка в «Правде» сообщила, что Краснов, Шкуро, Доманов, фон Паннвиц и другие казацкие генералы казнены за свои «преступления».

В далеком лагере Николаю Краснову удалось узнать кое-какие подробности: «...Впоследствии я встретился с человеком, который мне рассказал, что он больше года провел с дедом в одной камере в Лефортово. Он говорил, что все осужденные держались очень стойко и достойно. Даже решение суда и перспектива смерти на виселице не поколебала их спокойствия. Казнены они были во дворе тюрьмы Лефортово.

Во время следствия дед страдал только физически. Его ноги сильно распухли. Его дважды переводили в тюремную больницу. Питание было очень плохим. Только раз ему дали немного портвейна для поддержания работы сердца. Петр Николаевич ходил все время в тюремной одежде. Его форма (китель с русскими генеральскими погонами и брюки с лампасами) была снята, вычищена, выглажена и хранилась в тюремном цейхгаузе. Но этот же человек говорил, что, по слухам, на суде генерал Краснов был одет в эту форму. По этим же сведениям, в музее МВД хранятся формы всех повешенных, включая, конечно, и немецкую, генерала фон Паннвица».

Не удивительно ли, что советское правительство в час своей славной победы так домогалось старого генерала, воевавшего против советской власти в эпоху кавалерийских эскадронов и бипланов? И ведь не скажешь даже, что оно задалось целью потрясти советскую общественность новым доказательством своей несокрушимой мощи: лицезреть эти обломки прошлого могли лишь сотрудники НКВД. Зато уж им-то можно было продемонстрировать блестящую форму и оружие злейшего врага, некогда первым оказавшего яростное сопротивление большевикам. Да, тогда врагам удалось бежать, но через четверть столетия карающая десница советского правосудия настигла их. А дальше следовала мораль: «Мы просто приказали их старым союзникам англичанам выдать их. Нет, нет, никаких угроз — достаточно было просто щелкнуть пальцами и они тут же бросились выполнять наши приказы...»

Кроме того, НКВД рассчитывало запугать русских эмигрантов во всем мире, уничтожить их наивную веру в то, что демократические государства смогут помочь им. Советские власти распространяли в СССР истории о жестоком обращении эмигрантов и союзников с репатриируемыми. Иной раз жертву избивали до полусмерти и выставляли перед частями Красной Армии в качестве наглядного предостережения. Может показаться странным, что вожди СССР действительно боялись разрозненных групп эмигрантов, но на то имелись свои причины. Как признался один советский руководитель: «Мы тоже начинали там» (т. е. за границей). А по мнению Вышинского, для русского эмигранта было только одно безопасное место — подполье.

Кое-какое представление о советском мышлении дает нам краткое сообщение о казни генералов. В нем имеется целый ряд серьезных небрежностей, точнее — лжи. Например, там говорится, что Доманов во время гражданской войны был генералом Белой армии. На самом деле он был майором Красной Армии, который попал в немецкий плен, и звание генерал-майора присвоили ему немцы. Вопреки сообщению, ни генерал фон Паннвиц, ни его 15-й казачий корпус не имели никакого отношения к СС. Казаки Доманова и фон Паннвица были, в большинстве своем, не «белогвардейцами», а беглыми советскими гражданами. Наконец, ни одно из двух казачьих формирований не действовало «по заданию германской разведки» и не участвовало «в шпионско-диверсионной и террористической деятельности против СССР» или какой-либо другой страны. Казачий корпус был регулярным формированием вермахта, а Казачий стан Доманова представлял собой смесь беженцев и отрядов самообороны. Цель этого сообщения вполне ясна: создать у советской общественности впечатление о небольших, но сильных группах саботажников, завербованных германской разведкой среди реакционных эмигрантских элементов и подчиненных абверу и СС.

Глава 9

КОНЕЦ КАЗАКОВ

Такова была судьба казацких руководителей. «Ты нам ужин приготовь — мы к вечеру вернемся!» — шутливо кричали генералы провожавшему их казаку, отправляясь на «конференцию» в Шпиттале. Настал вечер — офицеров все еще не было. Лидия Краснова в своем гостиничном номере нетерпеливо следила за часовой стрелкой: шесть, семь, восемь. Сама не своя от беспокойства, она спустилась вниз и нашла майора Дэвиса и батальонного капеллана Кеннета Тайсона.

— Что офицеры — не вернутся? — спросила она.

— Ну, не сюда, во всяком случае, — признался Дэвис.

— Но ведь мы скоро увидимся с мужьями? Где мы с ними встретимся?

Дэвис, чувствуя явную неловкость, отговорился незнанием. Тогда Лидия Федоровна обратилась к Кеннету Тайсону, но тот мог лишь пробормотать обычные в таких случаях слова утешения (он и сам не знал, что ждет казаков). Лидию Краснову охватило мрачное предчувствие. Она поняла, что больше не увидит мужа.

Ольга Ротова в Пеггеце тоже со страхом ожидала новостей. В 8 часов за ней пришли: нужен был переводчик. На улице возле пустого грузовика ее ждали два английских офицера, утром уехавшие с казаками на «конференцию». Увидев их, Ольга побледнела.

— Где же наши офицеры? — спросила она.

— Они не вернутся сюда.

— А где они?

— Не знаю.

— Вы же четыре раза обещали, что они вернутся, значит, вы обманывали?

Всячески избегая ее взгляда, офицер смущенно ответил:

— Мы только британские солдаты и исполняем приказания наших высших офицеров.

Англичане хотели видеть казацких дежурных офицеров, и вскоре по лагерю было объявлено, что майор Дэвис в 9 часов вечера ждет у себя в канцелярии всех унтер-офицеров с составленными по-английски поименными списками полков и станиц. В назначенное время все явились в канцелярию, но Дэвиса там не было.

Казаки прождали его до полуночи, но майор так и не явился. Такое невезение, само по себе ерундовое, угнетающе подействовало на казаков, которые и без того были в мрачном расположении духа. Решив, что совещание, верно, перенесено на утро, они разошлись по баракам, предварительно выбрав атаманом — взамен исчезнувшего Доманова — подхорунжего Кузьму Полунина, пользовавшегося среди казаков большим уважением.

Ольга осталась одна. Электрическая лампочка погасла, и Ольга пыталась хоть немного вздремнуть в темноте. Но сон не шел к ней, да и вообще в ту ночь в лагере почти никто не спал. В 2.30 ее вывел из полусонного оцепенения яркий свет свечки. Это был майор Дэвис. Ольга объяснила, что казаки ушли спать, не дождавшись его, и майор приказал собрать всех в 8.30 утра.

В назначенное время все снова собрались возле канцелярии. Опять началось мучительное ожидание. Только в 9 часов пришел какой-то английский лейтенант. Хотя с ним был переводчик, он протянул Ольге Ротовой листок бумаги и отрывисто приказал прочитать его вслух. Казаки молча выслушали написанный по-русски приказ:

«1. Казаки! Ваши офицеры обманывали вас и вели вас по ложному пути. Они арестованы и больше не вернутся. Вы теперь можете, не боясь и освободившись от их влияния и давления, рассказать об их лжи и свободно высказывать желания и убеждения.

2. Решено, что все казаки должны вернуться к себе на родину».

Затем следовали инструкции: казакам предписывалось беспрекословно подчиняться распоряжениям английского командования.

Звонкий голос Ольги смолк. Воцарилось гробовое молчание. Конечно, все обитатели лагеря уже поняли, что им предстоят тяжкие испытания, но одно дело — понимать, и совсем другое — услышать своими ушами приказ, в котором их спокойно обрекают на смерть, муки и ледяной ад семидесятой параллели... Наконец, из толпы кто-то громко крикнул, что все сказанное об офицерах — ложь, что казаки любят и почитают их, и если только офицеры вернутся, казаки пойдут за ними хоть на край света. Английский офицер, молча выслушав это выступление, отрывисто бросил, что передаст все майору Дэвису, и уехал.

Сам Дэвис был в это время в Лиенце. На его долю выпала, быть может, самая неприятная миссия, которую когда-либо пришлось выполнять английскому офицеру: сообщить о репатриации женам офицеров, собравшимся в гостинице, где раньше находилась штаб-квартира Доманова. Прошлой ночью Дэвис был вынужден солгать Лидии Красновой, но теперь тайное становилось явным — женам предстояло отправиться вслед за мужьями.

Дэвис объявил об этом самым мягким тоном, на какой только был способен, он заверил женщин, что у них нет оснований бояться самого худшего и что, во всяком случае, все сделано для того, чтобы не разлучать их с мужьями. На протестующие крики и слезы Дэвис твердил, что он солдат и должен подчиняться приказам. С трудом протиснувшись сквозь толпу рыдающих женщин, он поехал на

10 Заказ 620

джипе в лагерь Пеггец. Здесь казакам уже было известно о выдаче, но все равно Дэвиса ждали мучительные минуты. Ему предстояло взглянуть в глаза тем, с кем его связывали узы дружбы; сознаться, что он лгал, убеждая офицеров в реальности «конференции»; сообщить, что все казаки, хотят они того или нет, вернутся в СССР. Его искренне поразила безграничность отчаяния казаков, их твердое нежелание возвращаться.

Ольга Ротова переводила речь Дэвиса. Он сказал, что репатриация состоится 31 мая, то есть через два дня. Полки должны прибыть в боевом порядке, семьям следует держаться вместе. Все будет сделано для того, чтобы они смогли взять с собой свои пожитки, чтобы сохранить распределение по станицам, и вообще — англичане постараются, чтобы в пути они чувствовали себя максимально удобно. Для стариков и больных будут созданы специальные условия.

Дэвис старался, как мог, но ему не удалось убедить казаков, охваченных страхом. В толпе раздались крики, что они никогда не вернутся по доброй воле, многие женщины рыдали, остальные стояли как громом пораженные. Заверения майора Дэвиса, что в пути им будут созданы удобства, прозвучали для них злой насмешкой. «Мало того, что эти англичане — предатели, они к тому же еще и дураки. Или, может, это изощренное издевательство?» — Мнения на этот счет разделились.

Дэвис уехал, объявив, что вернется днем. Вскоре прибыли два грузовика, на которые было велено погрузить багаж офицеров, для передачи владельцам. (Ведь они ничего с собой не взяли предполагая вернуться в тот же вечер.) Плачущие жены воспользовались случаем послать письма и посылки, но что стало с этими вещами — неизвестно. В то время офицеры уже были в руках СМЕРШа, но благодаря этому жестокому, хотя и невольному недоразумению, многие жены поверили, что еще свидятся со своими мужьями.

Погрузив багаж, казаки Пеггеца вышли на площадь с самодельными черными флагами и плакатами, на которых было написано по-английски: «Лучше умереть здесь, чем вернуться в СССР». Когда прибыли грузовики с обедом, казаки отказались от еды. Солдаты, пожав плечами, составили миски в стопки и уехали. В 4 часа снова появился Дэвис: он с явной тревогой взирал на черные флаги, плакаты и беспокойную толпу, выкрикивающую угрозы и взывающую к милосердию. Он объяснил, что приказы о возвращении всех русских в СССР приняты на самом высоком уровне и он не может их нарушить. Когда переводчица перевела эти слова, из толпы вышли несколько человек с паспортами в руках. «Мы не советские граждане», — объясняли они настойчиво. Действительно, в документах они значились французскими, итальянскими, югославскими подданными или лицами без гражданства.

— Как вы можете? — закричал один из казаков. — В 20-м англичане посылали корабли в Дарданеллы, чтобы спасти нас от большевиков, а теперь вы нас отдаете назад.

Дэвис оторопел. Ему впервые пришло в голову, что тут что-то действительно не так. Но приказы, врученные ему и полковнику Малькольму, были совершенно однозначны: все казаки в долине Дравы подлежат репатриации. Дэвис еще больше удивился бы, если бы знал, что в штабе в Обердраубурге, в бумагах бригадира Мессона, лежат два приказа по корпусу о выдаче казаков; и в них говорится, что выдаче подлежат только советские граждане. Но эти инструкции так и не дошли до полковника Малькольма и до майора Дэвиса.

Никто не мог поверить, что не советские граждане должны быть насильно выданы режиму, при котором они никогда не жили. Ольга Ротова пишет в своих воспоминаниях: «На мой вопрос — должны ли ехать власовцы? — майор ответил:

— Да, и власовцы.

— А старые эмигранты?

— И старые эмигранты.

— Значит, и я?

— Да, и вы. Вообще все русские.

— Господин майор, обернитесь, посмотрите — мужчины плачут...»

Ольга Ротова прожила 25 лет в Югославии, английский она освоила, работая для «Стандард ойл компани».

В ту ночь в лагере не спали. В импровизированных церквях молились, исповедовались, получали отпущение грехов. Под руководством Кузьмы Полунина казаки обсуждали, что делать, если англичане применят силу. Некоторые все еще отказывались верить, что англичане исполнят свои угрозы, другим происходящее казалось ужасным недоразумением. Казаки отправили петицию полковнику Малькольму. В ней говорилось: «Мы предпочитаем смерть возвращению в советскую Россию, где нас ждет долгое систематическое уничтожение. Мы, мужья, матери, братья, сестры и дети, молимся за свое спасение!»

Прошения на имя короля Георга VI, архиепископа Кентерберийского и Уинстона Черчилля вручили майору Дэвису. Позже среди казаков зародилось подозрение, что Дэвис выкинул их в мусорную корзину, но он утверждает, что это не так (петиция, отрывок из которой мы привели, наверняка дошла до штаба корпуса, однако дальнейшая судьба этих документов неизвестна).

30 мая долина Дравы являла собой мрачное зрелище. На палатках и бараках, вдоль шоссе Лиенц—Обердраубург, были вывешены черные флаги. Казаки объявили голодовку. Еда, которую привозили в лагерь англичане, стояла нетронутой. Священники совершали богослужение. Мужчины возбужденно обсуждали, что делать. Рыдающие матери судорожно прижимали к груди детей: может, завтра их разлучат навсегда?

Под вечер в лагерь приехал майор Дэвис с известием, что операция отложена на сутки, так как 31 мая — католический праздник. Перед казаками блеснула надежда, что в последнюю минуту каким-то чудом придет спасение; но отсрочка на самом деле

была вызвана заявлением советских властей, что в первый день они смогут принять не больше 2 тысяч человек, поэтому два поезда были отменены. 31 мая можно было отправить всего один поезд, и для него отобрали кавказцев, находившихся к востоку от Обердраубурга.

Рассказывая о судьбе казаков, мы на некоторое время упустили из виду их соседей. Но следует напомнить, что несколько тысяч горцев тоже содержались под охраной и тоже лишились своих офицеров. Об уготованной им участи они узнали в 5 часов дня 28 мая от полковника Олдинга-Сми, который сообщил им, что офицеры уже переданы Советам и теперь настал черед солдат. Олдинг-Сми понимал, что вряд ли эта новость вызовет всеобщее ликование, но он никак не мог представить себе таких бурных рыданий и отчаянных криков протеста.

Несмотря на расставленную полковником охрану и вооруженные патрули, около двухсот человек бежало в окрестные леса. Многие, в том числе старики и дети, ушли под началом одного отчаянного карачаевца. Среди них был осетин, унтер-офицер Тугаев, слышавший, как в лесу англичане стреляли в безоружных беглецов. Но ему с другом удалось уйти в горы, перейти границу Италии и спастись.

На другой день Олдингу-Сми вручили петицию, в которой горцы рассказывали свою историю и умоляли англичан предоставить им убежище для защиты от преследований. Английский полковник ответил лишь то, что «СССР наш союзник, и советские власти обещали послать репатриантов в ненаселенные районы СССР». Оба заявления, содержащиеся в этой фразе, были правдой. Но вряд ли это утешило горцев.

Днем 30 мая первые представители кабардинцев были отобраны для посадки в поезд на станции Деллах. Но когда в 2 часа за ними прибыла английская рота, выяснилось, что пленные вовсе не готовы к отправке, а многие оказывали пассивное сопротивление. Майор Мак-Грат, командир роты, сообщал позже о своих трудностях. «Около тропки, ведущей к шоссе, расположились, образовав круг, мужчины, женщины и дети — всего человек 200. У них явно не было никакого намерения никуда ехать. Они выкинули черный флаг, распевали псалмы и плакали. Я приказал подогнать к этому месту четыре трехтонки, и солдаты — их было около 20 — попытались заставить пленных сесть в машины. Плач усилился, некоторые показывали жестами, чтобы их лучше застрелили, чем заставлять возвращаться в СССР. Наконец, с величайшим трудом удалось загнать несколько человек в грузовики, но они спрыгнули на землю. Некоторые из них явно были организаторами этой сидячей забастовки, и я приказал четырем солдатам силой забросить одного из зачинщиков в грузовик, но он отреагировал на это так бурно, что мне пришлось ударить его по голове черенком мотыги (которыми были вооружены некоторые мои солдаты). Вид крови, казалось, несколько отрезвил толпу. Пленные принялись укладывать свои вещи в машины. Через полчаса мы наконец тронулись в путь».

Эти люди провели ночь в охраняемом помещении для арестованных на железнодорожной станции и назавтра их без всяких осложнений посадили в поезд вместе с другими группами пленных. С кабардинцами были отправлены также 169 кавказцев, которые действительно просили о возвращении на родину.

У кабардинцев были веские причины отказываться от репатриации. Они бежали из СССР в 1942 году, оставив за собой поистине ужасную картину. Виктор Кравченко в своей книге пишет: «В крошечной Кабардино-Балкарской советской автономной республике на Кавказе, около города Нальчик, находился молибденовый комбинат, на котором работали заключенные. Во время отступления Красной Армии несколько сот заключенных не успели вывезти за недостатком транспорта. Директор комбината по приказу комиссара Кабардино-Балкарского НКВД Анохова расстрелял из пулемета всех оставшихся. После освобождения района от немцев Анохов стал председателем Совнаркома автономной республики».

Так что если бы какому-нибудь кабардинцу повезло и он вместо воркутинских шахт попал бы в свои края — его ждал бы там теплый прием со стороны наркома Анохова.

31 мая—1 июня в Юденбург были отправлены три поезда с кавказцами — всего 3 161 человек мужчин, женщин и детей. Мужчин запихнули в вагоны, по тридцать шесть в каждый. Женщин и детей с вещами погрузили в багажное отделение. Больше мы о них ничего не знаем.

Тем временем казаки получили отсрочку еще на сутки. В эти последние часы родные прощались друг с другом (по советским правилам, семьи перед отправкой в лагеря непременно разделяют). Многие с грустью смотрели на своих престарелых бабушек и дедушек, проделавших сотни верст с Кубани в Польшу, из Польши — в Италию и Австрию. Сколько суждено им прожить в Караганде или на Печоре? Десять дней? Две недели? А ведь были еще и жены, и дети... Всякому было ясно, что ждет женщину в ГУЛаге, особенно если она молода и привлекательна.

Были и другие, не менее горькие расставания. В тот четверг казаки, не скрывая слез, прощались со своими верными конями, друзьями по трудному пути, ласково шептали им что-то, гладили по холке, закармливали сахаром. Кое-кто вел коня под деревья и там, пряча глаза, в смятении разряжал в него пистолет, чтобы конь не достался чужакам. Профессор Вербицкий присутствовал при том, как старый казак подарил австрийской семье свою невзрачную, но горячо любимую корову. Семья была счастлива столь щедрым подарком, а казак радовался, что его любимица попала в хорошие руки.

Рассвет 1 июня застал казаков в разгар приготовлений к их крестному пути: майор Дэвис должен был прибыть в лагерь в 7 утра и начать погрузку. Узнав об этом, священник донских казаков, отец Василий Григорьев, велел за час до приезда Дэвиса собрать всех казаков по станицам на службу на лагерной площади: только Бога оставалось им просить о помощи. Один казак, живший

в австрийской семье, сказал в то утро хозяйке: «Не давай мне сегодня с собой хлеб, сестрица. Сегодня все мы умрем». Но казаки не собирались умирать без сопротивления. Хотя майор Дэвис и попросил их всячески способствовать англичанам, они не хотели возвращаться в СССР добровольно. Там, где репатриированные не оказывали сопротивления, как это было, например, в лагерях на территории Англии, официальные лица, утаивая часть данных, утверждали впоследствии, что русские возвращались по доброй воле. Поэтому ужасные события 1 июня ярче всего осветили трагедию русских пленных, хотя 30 тысяч казаков были всего лишь каплей в море несчастных жертв, насильственно возвращенных Сталину союзниками.

...Перед импровизированным алтарем, на лагерной площади, казацкие священники, в полном облачении, с иконами в руках, начали литургию. Многотысячная толпа подхватила пение. Это ведь святая православная вера спасла их предков от мрака татаро-монгольского ига, и кто знает — может, Бог и на сей раз не бросит в беде своих верных детей?

Ольга Ротова стояла в толпе, поддерживая больную жену полковника, уехавшего на «конференцию» в Шпиттале. Всей душой отдаваясь пению, она все же краем уха прислушивалась, ожидая вот-вот услышать совсем другой звук. И действительно, вскоре до нее донесся шум машины — в лагерь въехал майор Дэвис на своем джипе. Около него сидел подхорунжий Кузьма Полунин (без всяких оснований Дэвис рассчитывал на его помощь в погрузке казаков).

Дэвис приехал в 7.15. Он сразу понял обстановку. На площади перед бараками стояло около 4 тысяч человек, и ехать они явно никуда не собирались. Солдаты, соскочив с грузовиков, стали позади Дэвиса, который несколько минут наблюдал за службой, надеясь, вероятно, что она вот-вот закончится. Затем он приказал переводчику, молодому офицеру из дивизионного штаба, сообщить через микрофон, что казакам дается десять минут на окончание службы. Десять минут прошли — он дал еще пять. Тысячи казаков, побледнев от волнения, следили за каждым его движением, но пение продолжалось.

Появившийся тем временем полковник Малькольм приказал Дэвису начать посадку в стоявшие тут же грузовики. Майор выслал вперед взвод солдат, но казаков трудно было застать врасплох. Толпа пятилась назад под натиском англичан, причем ее наружный круг образовали молодые сильные мужчины, а женщины, дети и старики теснились сзади. По мере продвижения англичан ближайшие к ним казаки опускались на колени или садились на землю, взявшись за руки, так что невозможно было выдернуть кого-либо из толпы. Столкнувшись с пассивным сопротивлением, солдаты обратились к Дэвису за приказами. Майор понимал, что продолжать такое наступление — бесполезно, а пускать в ход оружие опасно: это означало бы массовое кровопролитие. Конечно, больше всего его заботила судьба собственных людей, но он искренне

стремился выполнить приказ, не причинив вреда казакам. В Аргильском полку многим не нравилась возложенная на них задача, но перед этой безоружной толпой, в которой было множество женщин и детей, даже самые бессердечные почувствовали, что дело неладно. Как сказал мне батальонный капеллан Кеннет Тайсон: «Они не могли поверить, что воевали именно за это. Все это дело вызвало в них глубокое отвращение».

Но Дэвис должен был выполнить приказ, и хотя он всячески старался свести насилие до минимума, он собирался довести дело до конца. Следуя обычной процедуре в обращении с толпой, он выслал вперед взвод, поставив перед ним задачу внедриться в толпу и отрезать часть ее. Взвод, вооруженный ружьями и палками, образовал клин и успешно пробился через толпу, отрезав около 200 казаков, продолжавших держаться вместе. Когда между ними и остальными образовался зазор, Дэвис запустил туда еще два взвода — чтобы помешать этим двум частям толпы соединиться. Затем первый взвод двинулся на отделенную группу, чтобы начать посадку на грузовики. Последовавшие события описаны Дэвисом в рапорте: «Как только взвод приблизился вплотную к казакам, чтобы начать погрузку, люди сбились в единую массу, встав на колени и обхватив руками соседа. Когда стоявших с краю оттащили в сторону, остальные сгрудились еще теснее и, охваченные паникой, начали карабкаться друг через друга, пытаясь уйти подальше от солдат. В результате образовалась груда истерически вопящих тел, причем многие оказались в самом низу. Отчаянно пытаясь разделить эту массу, чтобы спасти несчастных, солдаты пустили в ход приклады и палки. Когда, наконец, мы расчистили этот завал, выяснилось, что двое — мужчина и женщина — задавлены. Всю эту группу пришлось по одному силой тащить на грузовики».

Заполненные грузовики ехали на ближайшую железнодорожную станцию, и там пленных пересаживали в поезд для перевозки скота, из 50 вагонов, с решетками на окнах. В середине на открытой платформе сидело несколько солдат с пулеметом. В каждый вагон загружали по 36 человек, затем двери наглухо закрывали, и только иногда можно было уловить в окне прощальный взмах руки.

Теперь майору Дэвису предстояло посадить в грузовики вторую группу. Тщетно прося отца Василия призвать казаков прекратить сопротивление, он вновь приказал своим людям наступать на толпу. Солдаты с ружьями на изготовку двинулись вперед, к тесно сбитой массе казаков, снова пытаясь пробиться через толпу и отделить от нее еще одну группу. Но толпа была уже не та, что вначале. Солдаты жестоко расправились с предыдущей группой. Казаки воочию убедились в том, что во исполнение приказа английские солдаты готовы на все, даже на насилие. Когда первые солдаты начали пробиваться через плотную толпу, дикий страх охватил людей. Молодая мать писала позже в своих воспоминаниях: «Во время залпов толпа сжалась и заметалась, были раздавленные, я сама стояла на чьем-то теле и только старалась не стать на

его лицо. Солдаты выхватывали отдельных людей и бросали их в грузовики, которые тут же отъезжали полунаполненные. Со всех сторон в толпе слышались крики: «Сгинь, сатана! Христос воскресе! Господи, помилуй!»

Те, которых хватали, отчаянно сопротивлялись, и их избивали. Я видела, как английский солдат выхватил у матери ребенка и хотел бросить его в автомобиль. Мать уцепилась за ногу дитяти и они так и тянули его: один в одну, а другая в другую сторону. Потом я видела, что мать не удержала ребенка и дитя ударилось о край машины. Что было дальше, не знаю.

Перевернутый престол, порванные ризы духовенства... Толпа сдавила нас так, что мама, у которой висела на груди икона Казанской Божьей Матери, посинела и стала задыхаться.

— Господи, — молилась я, — как я смела иметь в такое время ребенка? Господи! Что мне делать? Святой Феодосий Черниговский, спаси мою девочку! Если я сохраню ее хотя бы только в течение этой ужасной пятницы, я обещаю всю жизнь поститься по пятницам строгим постом, чтобы никогда не забыть этого!

И вот совершилось чудо: та же самая толпа, которая только что угрожала нас раздавить, теперь стала постепенно вытеснять нас, неудержимо вытеснять. И вытеснила... Но не на цепь солдат, а в противоположную сторону таким образом, что теперь перед нами открывалась прямая дорога на мост, через реку и в лес».

С юга лагерь огибала река Драва, и через нее был перекинут мостик. Течение Дравы даже летом отличается невероятной быстротой. Когда пленные ринулись на мост, одна женщина бросилась с ребенком в бурную воду. Семья молодой казачки, о которой мы рассказываем, уцелела: ей удалось скрыться в горах; и с тех пор она свято соблюдала свой обет, по пятницам ограничиваясь хлебом и водой.

Английских солдат охватило какое-то безумие. Размахивая палками и прикладами, они обрушивали удары куда попало — на мужчин и женщин, малых и старых. Священника и его сослужителей повалили, а потом унесли, их облачения и иконы втоптали в пыль. Немолодого казака, который во время службы держал икону, избили так, что кровь текла по его лицу, рукам, рубашке и по самой иконе. Восемь лет спустя другой кубанский казак писал: «В моей памяти запечатлелся следующий случай. Солдат конвоировал к автомашинам молодую казачку с годовалым ребенком на руках. Рука ребенка была легко ранена — возможно, оцарапана. «Сердобольный» джентльмен, остановившись метрах в 10-ти от окруженной толпы, перевязал походным бинтом руку ребенка, напоил его водой из своей фляжки, а потом, несмотря на просьбы матери, повел ее к автомашинам».

В самый разгар событий в лагерь прибыл батальонный врач Джон Пинчинг. Он вспоминает, что оказал помощь примерно 12 пострадавшим, людям среднего возраста, у большинства были раны на голове. В некоторых случаях он тут же на месте накладывал швы, двух-трех контуженных пришлось отправить в госпиталь в

Лиенц. Ольга Ротова вспоминает: «Доктор высказывал мне свое негодование по поводу производимого насилия над людьми.

— Это бесчеловечно, — говорил он со слезами на глазах».

Священник Тимофей Соин рассказывает, как толпа разделила его с женой, и ее бросило на землю. К счастью, кто-то помог ей подняться. Когда толпа немного расступилась, она увидела на земле мать и ребенка — их задавили. Плачущие дети метались в поисках родителей, а родители, сдавленные толпой, бессильно наблюдали за ними. Англичане хватали детей и швыряли их в грузовики — отчасти ради безопасности самих детей, но еще и потому, что часто родители все же вырывались из толпы, бросались к детям, и тогда их тоже удавалось загнать в грузовик. Но несмотря на отчаянные старания родителей и стремление майора Дэвиса не разделять семьи, из этого мало что вышло.

Охваченная паникой толпа пришла в движение. Некоторые, вырвавшись, бросились к мосту через Драву, остальные, все еще держась вместе, начали вслепую, наугад пятиться от англичан, отрезавших от толпы очередную группу для погрузки на грузовик. Казачьи вожаки, перекрывая шум, кричали людям, чтобы они держались. Это отвечало заранее согласованному плану, только так и можно было избежать дробления на отдельные группы. Наконец, толпа перепуганных кричащих казаков наткнулась на изгородь, окружавшую лагерь с востока. Какое-то мгновение казалось, что люди будут задавлены в этом отчаянном противоборстве с изгородью. Но забор рухнул, и толпа вырвалась в поле. Казаки начали искать друзей и родных, священники возобновили прерванную службу. Измученные люди постепенно приходили в себя. Те, кто был ближе всего к забору, в страхе смотрели назад, ожидая, что через дыру вот-вот прорвутся английские солдаты, но хотя по полю были расставлены кордоны, казаков никто не тронул.

Однако и в самом лагере в распоряжении майора Дэвиса осталось еще немало казаков. Как писал он в рапорте, «многие добровольно вышли из толпы, чтобы отыскать родных или разделить судьбу детей и близких, уже находящихся на грузовиках. Благодаря этому постепенному притоку «добровольцев» мы заполнили первый поезд».

В действительности народу было явно недостаточно, но полковник Малькольм, опасаясь новых осложнений, решил на сегодня ограничиться этим числом. Как говорится в его рапорте, он приказал майору Дэвису «прекратить силой собирать людей и начать очищать жилища от тех, кто туда вернулся. В результате в 11.30 на поезд было погружено 1252 человека. Цифра полной загруженности — 1750, но я решил отказаться от насильственных методов, опасаясь неизбежных ранений».

Список раненых был действительно внушительный: помимо большого числа людей, раненных солдатами либо раздавленных толпой, многие погибли в результате проделанной английскими солдатами «работы». Полковник Малькольм пишет, что, когда казаки цеплялись друг за друга, «их приходилось бить, чтобы

заставить идти, а многих тащили к грузовику. При этом возникали мелкие стычки, в ходе которых многие казаки были ранены. Мои солдаты орудовали палками и прикладами, но штыки были примкнуты, и некоторые раны были неумышленно нанесены ими... Четверо, очевидно, были сбиты с ног в толпе и убиты, возможно, задавлены толпой».

А Дэвис пишет о том, как «один из стоявших в толпе схватился за винтовку солдата и нажал курок, пытаясь застрелиться, однако пуля поразила юношу рядом. Толпа затоптала его».

За пределами лагеря тоже погибло немало народу. Еще до начала выдач два офицера, очевидно, не веря в посулы англичан, застрелились в лесу. Во время самой операции солдаты постоянно стреляли в беглецов, особенно в тех, кто пытался перейти через мост. Кубанский казак Даниил Коломейц бежал с другом. Коломейцу удалось скрыться в горах, друга застрелили. Одну казачку, притаившуюся в кустах, выдал лай собаки, женщину прошила автоматная очередь. Человек 20—30 утонули в Драве. Врач Прасковья Воскобойникова бросилась туда со всей семьей: детьми, матерью и сестрой. Очевидцы вспоминают множество таких случаев. Иногда матери в отчаянии бросали детей в воду. Один казак привязался к седлу лошади и вместе с ней прыгнул в бурную Драву. В госпитале больной казак, за которым явились англичане, выбросился из окна.

Эти свидетельства крайнего отчаяния ужасали английских офицеров. Кеннет Тайсон вспоминает, что видел тело, висевшее на дереве возле железнодорожной станции Дельшах. Дэвис в тот день видел нескольких повесившихся. В лесу солдаты наткнулись на целую семью: мать и трое детей, младшей девочке всего год. Все они были убиты выстрелом в затылок. Чуть поодаль лежал труп мужчины: около него валялся револьвер, из которого он застрелил по очереди всю семью и покончил с собой.

В тот вечер лагерь в Пеггеце напоминал пейзаж после битвы. Окровавленные люди бродили по лагерю в поисках пропавших родных. Осиротевшие лошади блуждали по полю, и к их тоскливому ржанию примешивались резкие крики казацких верблюдов. Кое-кто ушел в горы, другие, наоборот, вернулись из леса в притихший лагерь. И повсюду лежали раненые и убитые.

Сколько всего погибло в тот день — покончило с собой или было убито англичанами? Английские источники приводят явно заниженную цифру — 12 человек. Ольга Ротова, на добросовестность которой можно положиться, пишет о 700 задавленных, убитых, утонувших и покончивших с собой. Эта цифра представляется все же несколько завышенной, хотя в лесах были убитые, оставшиеся неучтенными. Житель соседней деревни Бартоломеус Плауц до сих пор не может без содрогания вспомнить 1 июня 1945 года, когда он с приятелем собирал возле своего дома тела казаков, чтобы похоронить их. В полях лежали трупы женщин, в обнимку с детьми, с перерезанными горлами. Узнать можно было лишь немногих.

Возле того места, где находился лагерь Пеггец, есть небольшое кладбище: там похоронены жертвы 1 июня. Каждый год русские со всего мира приезжают сюда помолиться за упокой души усопших. Есть в Лиенце и маленькая православная церковь. Кладбище и церковь обхаживает одноглазый казак Иван Гордиенко, которому удалось спастись от репатриации. Он и провел меня по местам событий тридцатилетней давности.

Не один Пеггец стал в тот день ареной трагических событий. В Обердраубурге английские солдаты выполняли аналогичную задачу: им надо было окружить и доставить в Юденбург несколько тысяч казаков, шедших за Казачьим станом. Как и в Пеггеце, здесь за два дня до выдачи были вывешены черные флаги, составлены петиции против репатриации. Нескольких казаков, выразивших желание вернуться в СССР, поместили — в интересах их собственной безопасности — в бараки предварительного заключения.

1 июня казаков из Обердраубурга должны были погрузить в поезда. Но здесь, как и в Пеггеце, солдаты столкнулись с отчаянным и решительным сопротивлением. Лейтенант И. Б. Хетрингтон вспоминает начало операции: «Когда мы прибыли в лагерь, стало ясно, что огромное большинство казаков вовсе не намерено никуда ехать. Они собрались в отдаленной части лагеря, причем те, кто стоял с краю, взялись за руки, образовав цепь и препятствуя внедрению наших солдат. Я приказал 11-му взводу примкнуть штыки, чтобы заставить казаков сдаться, но это не возымело успеха. Они только сняли рубашки и стали просить английских солдат заколоть их. Тогда я вызвал переводчика, и тот объяснил им, что они ведут себя очень глупо и что, если они не пойдут по доброй воле, их заставят силой. Громкие крики были ответом на это заявление».

Командир казаков уже был схвачен и посажен в поезд, и англичане решили при необходимости применить насилие. Однако пассивное сопротивление пленных достигло такой силы, что командиру пришлось просить подкрепление. Им прислали 45 человек, выделенных на охрану поезда. После массовых избиений и применения огнестрельного оружия в вагоны для скота были погружены 1749 казаков (в том числе 102 женщины и четверо детей). Лейтенант Р. Шильдс, наблюдавший за операцией, писал: «Я был свидетелем множества выразительных проявлений фанатического страха и отчаяния перед судьбой, которая, по их мнению, ожидала их. Мужчины бросались на землю, обнажали грудь и умоляли, чтобы их застрелили. Среди казаков было много женщин, которые тоже впали в полное отчаяние».

800 казаков в этом поезде были из другого лагеря, который находился немного дальше по железной дороге. Роте лейтенанта Шильдса было поручено проследить за их посадкой. Шильдс рассказывает: «К тому времени прибыли капитан Кемпбелл с основным составом роты. Мы снова столкнулись с трудностями. Как только мы попытались начать посадку, казаки сели на землю, взявшись за руки, отказались сдвинуться с места и стали умолять

солдат застрелить их. Капитан Кемпбелл решил проявить твердость и силой заставить их двигаться. Солдаты, примкнув штыки, принялись дробить толпу на небольшие группки. Но это оказалось нелегкой задачей. В течение 10 минут солдаты орудовали палками, прикладами, кое-кто даже штык пустил в дело, однако результаты были мизерны. Солдат охватило страшное возбуждение. Кто-то дал очередь из автомата... Это послужило сигналом. Солдаты начали стрелять поверх голов казаков и в землю, под ноги. Все перемешалось, начался настоящий хаос, в суматохе вполне можно было попасть в своих — на счастье, этого не случилось. Многие казаки начали продвигаться к грузовикам, которые должны были подвезти их к поезду, но большая часть все еще сидела на земле, не сдвинувшись ни на миллиметр. Особенно стойко держался один — по всей видимости, их вожак. Когда его потащили к грузовикам, он истекал кровью, вся его одежда — новое кожаное пальто, пиджак и рубашка — все было изрезано в клочья.

После того, как его удалось увести, а стрельба стала еще беспорядочнее, казаки начали двигаться к грузовикам. Человек 200, однако, попытались сбежать в лес, на что англичане, конечно, ответили огнем, и большинство беглецов удалось вернуть — правда, имелись раненые. Те немногие, кому удалось бежать, были впоследствии окружены патрулями в соседнем лагере.

После этого дело пошло лучше. Мы очистили лагерь, в котором находилось около 800 казаков».

Вся эта кровавая работа понадобилась для того, чтобы посадить 800 человек на грузовики. Интересно, однако, что в воспоминаниях казаков рота Шильдса не фигурирует, меж тем как Дэвис и солдаты Аргильского полка, действовавшие в Пеггеце, упоминаются едва ли не всеми. Они стали частью истории казаков. Казацкие летописцы словно не знают, что в посадке на поезда участвовали и другие, специально вызванные части, и это понятно: вряд ли они могли запомнить названия этих частей. Не исключено также, что в памяти казаков события в Обердраубурге смешались с трагедией в Пеггеце. Поэтому в воспоминаниях казаков о 1 июня в Пеггеце иной раз всплывают подробности событий, имевших место восточнее.

Первый, самый страшный день операции «Возвращение» закончился. Для тысяч он стал днем позора и ужаса. Конечно, истинными страдальцами были казаки, которых сейчас принимало в Юденбурге НКВД, но были и другие, в памяти которых день этот на всю жизнь оставил неизгладимый страшный отпечаток. Многие видели, как солдаты 8-го Аргильского полка плакали, словно малые дети, выполняя отвратительный и непонятный приказ.

Полковой капеллан Кеннет Тайсон вспоминает, что после 1 июня многие приходили к нему в смятении, с вопросом, как им следовало поступить. Он мог ответить только, что они должны были подчиняться приказам. Но его самого этот ответ не устраивал. В силу своих обязанностей ему не пришлось в минувшие недели так близко столкнуться с казаками, как солдатам, но все это мрачное дело, по его представлениям, целиком и полностью противоречило

христианскому учению. Он приехал в Пеггец в самый разгар событий, когда толпа казаков прорвалась через забор и устремилась в поле. Он не был свидетелем насилия, он видел лишь, как солдаты настойчиво толкали не оказывавших сопротивления казаков к грузовикам. Но и это зрелище произвело на него большое впечатление, и 3 июня, во время воскресной службы, он привел слова из Евангелия от Марка: «Иисус вышел, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». (Евангелие от Марка, 6, 34.)

В лиенцском кинотеатре, где была устроена импровизированная церковь, солдаты слушали проповедь Тайсона, в которой он трогательно и с большим чувством говорил о необходимости сострадания на войне: «Я не критиковал командиров, офицеров, отдававших приказы, мне бы и в голову такое не пришло, на это у меня не было никакого права. Но я открыто сказал, что это полностью противоречит христианскому учению и тому, за что мы воевали. Они (солдаты) были в смятении, их потрясло то, что их заставили делать».

Полковнику Малькольму и майору Дэвису, непосредственно ответственным за события 1 июня, тоже не нравилось то, чем им пришлось заниматься. Полковник Малькольм считал — и до сих пор считает — казаков изменниками родины, которые вполне заслуживали и репатриации, и любого наказания. Многие его однополчане попали в плен под Дюнкерком, и он спрашивает, «чего бы они заслуживали, если бы вызвались воевать за немцев». Однако, как бы то ни было, этот довод не имеет ни малейшего отношения к тысячам женщин, детей и несоветских граждан, ставшим жертвами насильственной репатриации.

По мнению полковника Малькольма, насилие по отношению к казакам применялось ровно в той степени, в какой это требовалось. И разумеется, совершенно ясно, что, коль скоро его приказы подлежали выполнению, отказ казаков повиноваться неизбежно повлек за собой необходимость применить силу. Тем не менее кровопролитие и паника, вызванные этими приказами, потрясли Малькольма, и, как мы рассказывали выше, он распорядился закончить погрузку раньше времени, хотя в поезд полагалось посадить еще 500 человек. Отдав этот приказ, полковник пошел на станцию, где встретился с бригадиром Мессоном, приехавшим из Обердраубурга. Малькольм воспользовался случаем, чтобы заявить бригадиру, что не собирается завтра вновь применять насилие. Мессон в ответ пробурчал что-то невразумительное. Вечером, в телефонном разговоре с Мессоном, Малькольм опять заявил, что даст солдатам только холостые патроны.

Дэвис, со своей стороны, выражает безоговорочное сочувствие и расположение к казакам и откровенно осуждает политику, которую ему пришлось проводить в жизнь. Более того, он не согласен с доводом своего начальства о невозможности проверки гражданства. Ему глубоко отвратительна навязанная ему роль лжеца: ему пришлось лгать людям, считавшим его другом. И наконец, он

считает, что если при посадке на поезд 1 июня возникла необходимость применить силу, то уже одно это обстоятельство должно было бы послужить достаточным основанием для отмены всего мероприятия.

Имя майора Дэвиса до сих пор упоминается среди казаков с презрением. Но если подумать — что он мог сделать? Для него имелись две возможности: не подчиниться приказу или отказаться от офицерского звания. Ни один солдат в ту пору не решился бы на такой шаг. Дэвис дорожил своим местом в батальоне, духом боевого товарищества, сложившегося за годы боев в Африке и Италии. Ему тогда едва исполнилось 26 лет, он не был профессиональным военным, и мнение его командира имело для него огромное значение. Наверное, к нему вполне применимы слова, сказанные некогда Уинстоном Черчиллем о французском генерале Барре: его «сбила с толку задача, какой тебе, мой добрый читатель, решать не доводилось...»

Трогательное свидетельство чувств майора Дэвиса содержится в воспоминаниях Ольги Ротовой, очевидца и летописца событий, которую никак нельзя заподозрить в попытках обелить действия англичан. Она была вместе с толпой, вырвавшейся за забор и устремившейся к реке, когда раздались крики: «Переводчицу, переводчицу! Ведутся переговоры!» Ольга пошла назад, в лагерь. Увидев ее, майор Дэвис сказал:

— Наконец-то я вас нашел! Почему вы не встретили меня у ворот?

— Мое место с моими русскими людьми, — ответила она.

Дэвис разыскивал жену Доманова, чтобы, как он заверил Ольгу, отделить ее от бушующей толпы. «Я вам не верю больше, майор, — был мой ответ», — пишет Ротова. Так и не найдя жену генерала, Дэвис, «бледный и расстроенный», обратился к Ольге с новой просьбой.

— Скажите им, чтобы они не сопротивлялись, — проговорил он, указывая на толпу.

— Господин майор! Представьте громадную печь и в ней огонь, и вы приказываете прыгнуть в нее. Вы бы прыгнули?

— Не знаю.

— Вы прекрасно знаете, майор, что не прыгнули бы. Вернуться к Советам — это хуже огненной печи.

— Но я, британский офицер, не могу больше видеть, как бьют безоружных людей: женщин, детей... Я не могу больше производить насилие, я не могу больше, не могу... — Из глаз его ручьем брызнули слезы. — Я не могу больше, не могу...

Дэвису удалось спасти от выдачи нескольких старых эмигрантов, в числе которых были жены генералов Краснова и Доманова. Во время операции их поместили в импровизированный барак с охраной, и они избежали репатриации. Много лет подряд после этого Дэвис получал открытки к рождеству от этих людей, живших в Генуе и других городах Запада. Удивительная история произошла также и с офицером разведки Доманова, который до войны был британским офицером, служил в полиции в Гонконге и которому

король Георг V пожаловал орден «Военный крест». Англичане не могли выдать такого человека Советам. Ему раздобыли гражданское платье и дали убежать.

Стоит рассказать и о впечатлениях еще одного офицера, поскольку это связано с более широкой проблемой — пожалуй, можно сказать, проблемой столь всеобъемлющей, что, к несчастью, мы не можем охватить ее в этой книге. Доктор Джон Пинчинг, врач 8-го Аргильского полка, по сей день с горечью вспоминает о той неблаговидной роли, которую пришлось сыграть в этом деле ему и его товарищам. Подобно Кеннету Тайсону, он не мог осуждать офицеров, отдававших приказы. Он глубоко уважал полковника Малькольма, который, в свою очередь, тоже всего лишь выполнял приказ. Подлинная ответственность за все это дело, по мнению Пинчинга, ложится совсем на других людей. У него и других офицеров не закралось никаких сомнений в правильности приказа. Они искренне верили, что страхи казаков перед возвращением в Союз сильно преувеличены. В течение трех лет союзничества английская пропаганда изображала Советский Союз государством в духе утопического социализма. И они в это верили, тем более что это подтверждали Стефен Спенсер, Бернард Шоу и прочие представители интеллектуальной левой...

За две недели 6-я пехотная бригада переправила из долины Дравы в советскую зону Австрии 22 502 казака и кавказца. Угроза полковника Малькольма отказаться от применения силы к казакам так и не подверглась испытанию на практике: в последующие дни погрузка на поезда проходила значительно более мирно. Правда, в разных местах время от времени вспыхивали отдельные инциденты, а 2 июня англичанам снова пришлось пустить в ход палки при посадке 1750 казаков на станции Никольсдорф. Однако в общем после ужасных событий в Пеггеце и Обердрáубурге 1 июня пленные, казалось, покорились судьбе. Многие бежали — что неудивительно, поскольку лагеря казаков не были обнесены проволокой. По оценке английских источников, «число тех, кому удалось избежать эвакуации, намного превышает тысячу человек, а может, и значительно больше».

В двухтомнике «Великое предательство», составленном генералом Науменко, имеются многочисленные упоминания об успешных групповых и индивидуальных побегах. Среди этих рассказов выделяется история Кузьмы Полунина, молодого подхорунжего, которого казаки выбрали атаманом после отъезда офицеров на «конференцию». Как он ухитрился бежать — неизвестно, но Ольга Ротова через два месяца встретила его в лагере, куда он вернулся. 26 мая штаб бригады издал подробные инструкции по патрулированию и охране различных объектов, но вопреки этому и несмотря на естественные препятствия, с которыми неизбежно сталкивался всякий, пожелавший выбраться из долины Дравы, множество народу все же пробралось в леса и отважилось на опасное путешествие через заснеженные горы. Англичане не раз пытались прочесать горы в поисках рассеянных там групп беглецов. Вот что

говорится в рапорте 56-го Рисского полка: «Сначала группы казаков и кавказцев были довольно многочисленны и не тратили сил на то, чтобы избегать патрулей. С течением времени, однако, их группы поредели и редко превышали 12 человек. Днем они находились на снежных вершинах, выставив часового, который в случае необходимости давал выстрелом сигнал тревоги. По ночам они часто занимали летние фермы или разбивали бивак в лесу, в низине. Казаки и кавказцы явно предпочитали смерть выдаче, но, попав в руки солдат, не предпринимали попыток бежать и с готовностью подчинялись нашим приказам».

Кеннет Тайсон описал автору поисковую экспедицию 3 или 4 июня, в которой он участвовал. Поднявшись примерно на две-три тысячи футов, патруль набрел на группу человек в 50—60. Здесь были мужчины, женщины, дети. Без всякого сопротивления они повернули назад, в лагерь. Но бывало и так, что патрули открывали огонь и даже убивали беглецов. Англичане часто позволяли советским властям посылать для участия в таких операциях офицеров СМЕРШа.

В период 7—30 июня в горах были пойманы 1356 казаков и кавказцев, 934 были доставлены 15 июня на грузовиках в Юденбург, но советские власти потребовали, чтобы их отвезли в Грац, куда они и прибыли на следующее утро. У некоторых солдат, охранявших эту группу, сложилось впечатление, что все эти пленные, или часть их, были расстреляны советскими вскоре после прибытия.

В первую неделю июня тысячи русских отправились в путешествие без обратного билета из долины Дравы в Юденбург, в наглухо задраенных вагонах для перевозки скота. На конечной остановке этого 200-километрового пути один молодой английский солдат ежедневно наблюдал за процессией поездов, прибывающих в Юденбург. Двадцатипятилетний сапер Редж Грей из 192-й железнодорожной роты Королевских инженерных войск в конце мая 1945 года оказался в районе Клагенфурта и был назначен шофером к лейтенанту Сайксу. Однажды вечером он повез лейтенанта на собрание офицеров за город. Сидя в джипе в ожидании, Редж Грей услышал отдаленное пение мужского хора. Изредка пение прерывалось оружейными залпами, и в темном небе, в той стороне, откуда оно доносилось, вспыхивали красные зарницы. На вопрос Грея шофер стоявшего рядом джипа объяснил, что там собрали 40 тысяч русских, которых отсылают назад в Россию.

Вернувшись с собрания, лейтенант Сайкс приказал шоферу заехать за ним в 4 часа утра. Путь их, вспоминает солдат, лежал на север, в Юденбург: Сайкс был назначен офицером связи при передаточном пункте, где репатриируемые переходили под советский контроль. Когда они подъехали к месту назначения, им приказали остановиться. По шоссе двигалась колонна грузовиков, головные машины уже въезжали на мост через Мур. В грузовиках сидели казачьи офицеры в немецких формах. Когда колонна въехала на мост, произошла небольшая заминка, и в машинах,

ждущих своей очереди, пронесся слух, что какой-то казак прыгнул в реку. Наконец дорогу расчистили, и джип Грея проехал по мосту в советскую зону города. Их сразу же поразила перемена в атмосфере по ту сторону моста: в английской зоне царило веселое оживление и суматоха, здесь же даже дома казались угрюмыми, у людей был затравленный вид. В воздухе словно висело мрачное ощущение страха.

На железнодорожной станции шестеро советских солдат играли на пустой платформе в карты. Через несколько минут к станции медленно подполз поезд. Окна вагонов были затянуты колючей проволокой, сквозь которую пассажиры поезда просовывали руки, предлагая часы и другие ценные вещи. Охранников видно не было. Два советских солдата разом встали за 37-миллиметровую зенитку и начали угрожающе поворачивать барабан в сторону поезда. Вдоль вагонов зашагал советский офицер, ударяя по дверям железным тросом. Затем двери открыли, и пленные высыпали из вагонов, щурясь на солнце. Они образовали огромную толпу. Все их пожитки сложили слева от грузовиков, с собой им ничего взять не разрешили. Грей спросил стоявшего рядом переводчика, английского офицера, что будет с казаками. Тот ответил, что офицеров расстреляют, а остальных сошлют в Сибирь. Для Грея, не интересовавшегося политикой, эти слова мало что значили. По его собственному признанию, больше всего его занимало тогда, удастся ли поживиться чем-нибудь из оставшихся в поезде вещей казаков.

В поезде он нашел трогательные узелки, в которых казаки везли самое ценное, что у них было, потертые чемоданы, одежду, одеяла, часы. Повсюду валялись сорванные с форм немецкие знаки различия, итальянские лиры, австрийские шиллинги. В одном углу он обнаружил старенькую зингеровскую швейную машинку — старуха-казачка напрасно умоляла, чтобы ей позволили взять ее с собой. В другом месте он нашел пару обручальных колец — он до сих пор хранит их. Грея неприятно поразило открытие, что для естественных нужд в каждом вагоне, где ехало по 40 человек, была выделена всего лишь канистра из-под бензина емкостью в 40 галлонов. Можно себе представить, что творилось в вагонах, где целый день ехали мужчины, женщины и дети. По меньшей мере один из репатриируемых решил избежать предназначенной для него судьбы: в коридоре вагона лежало накрытое одеялом тело самоубийцы. Быстро миновав это мрачное место, Грей завершил обход поезда. Карманы его оттопыривались от австрийских и итальянских купюр, которые, разумеется, были уже ни к чему бывшим владельцам. Больше всего удивило молодого солдата то, что в купе охранника в каждом вагоне было по коробке с 50 пачками сигарет. Очевидно, их положили сюда для пленных, но так и не отдали. Зато этот великодушный жест можно было соответствующим образом расписать в каком-нибудь рапорте.

По платформе прогуливались три советских офицера в великолепных формах. Каждый раз, когда они проходили мимо стоящего на посту красноармейца, тот, вытянувшись в струнку, отдавал им

честь. Английскому солдату такое усердие показалось несколько чрезмерным, но ведь он не знал, в какой страшной организации служили эти офицеры.

Первые две недели июня Грей каждый день возил лейтенанта Сайкса с английской стороны на советскую — к поездам, прибывавшим на станцию Юденбург. Эта процедура всегда выглядела одинаково: поезд со свистом подходил к станции, охранников на нем не было, только железнодорожники, которым никогда не разрешалось выходить на платформу. Советские солдаты отпирали двери и следили за выходящими пленными. Что с ними происходило дальше — Грей не знает. Сам он был свидетелем лишь того, какая участь постигла вещи пленных. У казаков всегда отбирали все пожитки и складывали их рядом в кучу, которая постоянно росла и к концу второй недели достигла внушительных размеров. А когда ушел последний поезд, советские охранники облили кучу керосином и подожгли ее.

Миссия Грея была закончена, и он вернулся к себе в часть. А бесконечные колонны понурых фигур начали длинное путешествие на восток, навстречу страшным испытаниям.

Глава 10

ПЯТНАДЦАТЫЙ КАЗАЧИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС

Направляясь 8 мая в Кетшах присутствовать при сдаче в плен казаков генерала Доманова, бригадир Мессон ехал в арьергарде процессии, больше напоминавшей кочевников, чем военный отряд. Тысячи человек, среди которых были женщины и дети, растянулись на 15—20 миль, они везли на телегах свои пожитки и разбивали биваки прямо у дороги. Встречались здесь и организованные группы конных, однако большинство было совершенно деморализовано после трудного перехода через перевал.

В это же время километрах в десяти восточнее офицеры и солдаты 6-й бронетанковой дивизии наблюдали зрелище не менее живописное, хотя и совсем иного плана. Около деревни Гриффен, между Фелкермарктом и Вольфсбергом, проходил последний парад 15-го Казачьего кавалерийского корпуса. Впереди, во главе конного эскорта, ехал на коне командир, генерал Хельмут фон Паннвиц. Ветераны, с саблями наголо, поблескивающими на солнце, смотрели прямо перед собой. Многие из них воевали еще в царской армии, и сейчас они гордо восседали в седлах, как когда-то на плацу перед императором. Потом, на белых конях, появились трубачи 1-й казачьей кавалерийской дивизии. Разом вскинув трубы, они заиграли марш. Тут же вперед, в парадном порядке, вышел 1-й Донской кавалерийский полк, который на полном скаку, эскадрон за эскадроном, продефилировал перед своим генералом. За ними следовал 2-й Сибирский кавалерийский полк; все в белых меховых шапках, с ружьями за спиной, с кривыми саблями и в традиционных черкесках. Почти все старшие офицеры корпуса были немцами.

Однако при всей своей декоративности и живописности 15-й кавалерийский корпус представлял собой, в отличие от домановских казаков, настоящее военное формирование. В начале 1943 года, под прикрытием отступающей немецкой армии, многие жители казацких степей ушли от наступающих советских войск на запад и обосновались в Новогрудке, образовав Казачий стан. Поселение было не чем иным, как центром для беженцев, при котором имелись отряды самообороны. Но немецкое командование, памятуя о военной славе казаков, решило сформировать регулярные казачьи части для боев с Красной Армией. Такие отряды, рассеян-

ные среди частей вермахта на востоке, уже доказали свою боеспособность, и в марте 1943 года генерал фон Клейст приказал всем казакам призывного возраста собраться в приднепровском городе Херсоне.

Тысячи казаков, жаждущих сражаться против большевиков, образовали три полка: два были набраны из кубанских казаков, один — из донских. Командиром корпуса был назначен генерал-майор Хельмут фон Паннвиц, начавший военную карьеру в первую мировую войну лейтенантом кавалерии, а затем служивший в кавалерийском добровольческом корпусе на востоке. Уроженец Силезии, он свободно владел польским, но русского почти не знал, хотя со временем освоил его настолько, что вполне мог объясниться. Все, кому довелось знать генерала фон Паннвица — будь то казаки, англичане или немцы, — сходились на том, что он был великолепный солдат и достойный человек.

Через месяц после мобилизации база дивизии была перемещена на Млаву, к северо-западу от Варшавы. Там фон Паннвиц приступил к обучению корпуса. Командирами в полки были поставлены немецкие кавалерийские офицеры, опытные и компетентные, ценившие возможность служить в кавалерии. Сам фон Паннвиц всячески старался приноровиться к казакам. Он носил казацкую форму, поощрял традиционные чины, форму и оружие. Церковные службы, служившиеся православными священниками, посещали все, а генерал (бывший, кстати, протестантом) являлся почетным членом общины. Понимая, что славная история казаков может способствовать поддержанию боевого духа в войсках, фон Паннвиц постоянно подчеркивал преемственную связь между своими частями и их предшественниками, на протяжении столетий верой и правдой служившими России и ее царям. Время от времени лагерь посещали легендарные герои гражданской войны — генералы Краснов, Шкуро, Науменко. Их визиты обставлялись с величайшей торжественностью: оркестр играл гимн «Боже, царя храни» и другие старые мелодии, пел казачий хор.

Вопреки всем надеждам, казакам фон Паннвица не пришлось воевать на Восточном фронте. В тот период у Гитлера как раз появились опасения, что русские добровольцы — народ ненадежный, могут перейти в Красную Армию, и он распорядился использовать тысячи добровольцев, вызвавшихся воевать против коммунистов, в угольных шахтах. Этому крайнему, губительному проекту высшее командование могло противопоставить лишь предложение о переводе всех добровольцев на запад, и 10 октября 1943 года Гитлер приказал перебросить с Восточного театра военных действий все 600—800 тысяч русских, служивших в немецкой армии.

Корпус фон Паннвица к тому времени был уже в Югославии — к вящему разочарованию солдат, которые хотели драться с большевиками. Но когда фон Паннвиц объяснил, что и здесь они тоже будут воевать против красных, казаки с жаром взялись за дело в горах Боснии и Герцеговины. Бесстрашные, виртуозные наездники, они пробирались в самые труднодоступные места и скоро стали

грозой для отрядов Тито, привыкших иметь дело с неповоротливыми резервными частями вермахта. Казаки вполне освоились с жизнью в Югославии и примирились — по крайней мере, до поры до времени — с мыслью, что вместо своих собственных коммунистов им приходится иметь дело с югославскими.

В первое время после прибытия в страну, зимой 1943/44 года, в корпусе было много случаев нарушения дисциплины. Казаки не раз выступали в роли насильников, имелись случаи жестокого обращения с местным населением, многие перебегали к партизанам Тито. Твердо решив покончить с этим, генерал фон Паннвиц стал усиленно зазывать к себе эмигрантов, которые могли бы быть и переводчиками, и посредниками между немецкими офицерами и казаками. В их числе был Георгий Николаевич Дружакин, эмигрировавший с окончанием гражданской войны во Францию и живший в Париже. Пройдя недолгий инструктаж в Берлине, который в те дни подвергался сильным бомбежкам, он прибыл в штаб полковника Константина Вагнера, командира 1-й казачьей кавалерийской дивизии. Дружакин свободно владел французским, немецким и русским, и Вагнер надеялся с его помощью установить более тесный контакт с солдатами. Первым делом полковник попросил Дружакина выяснить причины недовольства казаков и доложить о результатах непосредственно ему, невзирая на лица.

Дружакин, служивший в 1918 году в армии генерала Краснова, быстро подружился с донскими казаками, своими земляками, и вскоре выяснил, что многие немецкие сержанты и унтер-офицеры грубы и считают казаков дикарями. Конечно, это лишь отчасти объяснялось невежеством неотесанных вояк — ведь им все уши прожужжали о превосходстве арийцев над низшей славянской расой!

У каждого казака была припасена история о грубости унтер-офицеров, и когда один солдат, плача, рассказал, как его столкнули с лестницы, Дружакин тут же отправился к Вагнеру. Полковник действовал решительно и твердо. Он заявил всем младшим офицерам, что, если еще раз услышит подобные жалобы, они будут переведены на Восточный фронт. Казаков заверили, что грубость и жестокости прекратятся, а Дружакин, получивший чин майора, стал присутствовать на всех разбирательствах в военном суде. Прошло совсем немного времени, и в корпусе восстановилась нормальная обстановка; а вскоре прекратилось и дезертирство. Более того, началось обратное движение. Перебежчики возвращались в свои отряды и с честью несли службу.

Несмотря на трудное начало, корпус вскоре заслужил хорошую репутацию благодаря храбрости, мастерству и дисциплине солдат. Когда в 1944—1945 годах границы рейха сократились, казаки стали участвовать в регулярных боях на передовой против югославских и болгарских дивизий. 25 декабря 1944 года, в Рождество по новому стилю, корпус впервые воевал с советскими частями: на реке Драве казаки выдержали бой со 133-й стрелковой дивизией, носящей, к вящему удовольствию казаков, имя Сталина. После жестокой схватки, которая часто переходила в рукопашную, 15-й корпус заставил

врага отступить с большими потерями. Многие взятые в плен красноармейцы добровольно вступили в Казачий корпус.

Этот бой можно назвать последней битвой гражданской войны. С наступлением нового года немецкий Юго-Восточный фронт быстро откатился к границам Австрии. В начале мая командующий фронтом генерал фон Лер объявил своим войскам о капитуляции немецкой армии. Две дивизии Казачьего корпуса перешли через Драву в Австрию около Лавамунда, причем замыкающие отряды, отступая, вели бои с болгарскими силами, наседавшими сзади. Генералу фон Паннвицу оставалось лишь добиваться почетных условий сдачи в плен англичанам.

Пока казаки отступали в Австрию с востока, англичане с максимальной скоростью продвигались вверх с юга, чтобы до встречи с Красной Армией захватить как можно больше территорий. 9 мая командующий 8-й армией генерал Ричард Мак-Крири находился на итало-австрийской границе. С севера он постоянно получал сообщения о боях между казаками и югославскими партизанами. Стремясь восстановить порядок без кровопролития, генерал послал за офицером ССО, майором Чарльзом Вильерсом, который был давно связан с югославскими партизанами. Он только что отболел тифом — и все же пустился в трехсоткилометровый путь через горы в сопровождении сына Тито, которому недавно ампутировали руку. Англичане выслали самолет на розыски, и их благополучно доставили в Италию. Понимая, что этот человек сможет воздействовать на югославов, Мак-Крири приказал ему ехать к партизанам.

Укрепив на джипе кусок белого полотна, Вильерс двинулся на восток от Клагенфурта. Первыми в чистом поле между Фолкермарктом и Вольфсбергом ему попались на глаза казаки. Он осведомился у конных часовых насчет «господина генерала», и те послали его в деревенский дом, где был устроен временный штаб. Здесь вокруг стола сидели генерал и несколько старших офицеров. Чарльз Вильерс от имени генерала Мак-Крири потребовал их сдачи. Фон Паннвиц ответил, что готов сдаться на определенных условиях, и главное из них — обязательство англичан ни при каких обстоятельствах не передавать корпус большевикам. Майор Вильерс ответил, что ему даны точные инструкции не принимать никаких условий: Казачий корпус должен просто сдаться английской 8-й армии. Генерал, не видя иного выхода, согласился, и они договорились, что он приведет корпус в ближайшую английскую часть и казаки сдадут там оружие.

В странной обстановке проходила эта беседа. С улицы доносилось звяканье уздечек, лошади стучали копытами о мостовую. Мимо низких окошек гарцевали конные эскадроны, а в крестьянском доме немецкие и русские офицеры в меховых шапках спорили с бесстрастным англичанином. Беседа несколько оживилась, когда генерал фон Паннвиц вдруг вспомнил, что встречался с Чарльзом Вильерсом в имении Бисмарка в Восточной Пруссии. Генерал стал уговаривать англичанина отобедать у них, но Вильерс вежливо

отказался и уехал, договорившись, что казаки на следующий день сдадутся англичанам.

Этот визит явно расстроил генерала фон Паннвица. Хотя майор Вильерс был истинным джентльменом, держался он официально и натянуто, а инструкции о том, что казаки не могут выдвигать никаких условий, внушали генералу смутные подозрения. Да и вообще — что англичанам известно о казаках? Решив выяснить ситуацию, генерал выслал для установления контакта с англичанами старшего офицера штаба, полковника фон Рентельна, бывшего офицера русской императорской гвардии, участника похода армии генерала Юденича на Петроград в 1919 году. В этой кампании он познакомился с майором Гарольдом Александером, командовавшим антибольшевистским балтийским ландсвером. С тех пор они поддерживали знакомство, изредка встречаясь в лондонском клубе. Фон Рентельн не сомневался, что, если бы ему удалось сейчас разыскать фельдмаршала Александера, он сумел бы объяснить англичанам специфическое положение казаков и предотвратить их выдачу Советам. Полковник Эндрю Хорсбрю-Портер из 27-го Лансерского полка, находившийся в те дни в Вольфсерге, вспоминает: «Однажды в штаб прибыла кавалькада во главе с высоким, импозантным господином аристократической наружности, который на прекрасном английском заявил, что сдается. С ним был казачий эскорт. Я сразу почувствовал расположение к этому старомодному космополитическому генералу. Он сказал, что, насколько ему известно, нашей армией командует Александер, и добавил: «Если бы я повидался с Алексом, все было бы в порядке», — или что-то вроде того».

Русского офицера увезли на штабной машине в штаб дивизии. Но генерал фон Паннвиц не мог дожидаться исхода этой миссии. Назавтра, 10 мая, он выехал к английским позициям и сразу же наткнулся на пост англичан. Его провели к майору Генри Говарду из 1-го Королевского оружейного корпуса. Говард был крайне заинтересован в скорейшей сдаче казаков; ему важно было поскорее сбыть их с рук. Югославские партизаны расставили посты далеко за австрийскими границами, а майору было необходимо очистить дороги для наступления на Грац. Югославы требовали, чтобы казаки сдались им, но при этом не собирались приближаться к их позициям, пока у казаков было оружие: вот если бы англичане разоружили их, а уж потом бы передали югославам... Генри Говард понимал, что, пока казаки остаются на своих позициях, его батальон не только не сможет продвигаться вперед, но еще, того и гляди, попадет в какую-нибудь бездарную трехстороннюю заварушку. Поэтому майор предложил фон Паннвицу привести корпус утром и послал назад вместе с генералом капитана Джулиана Ватена. Они вместе отобедали, и за столом немецкий офицер говорил о том, как его заботит судьба лошадей. Все было очень по-джентльменски.

На другое утро казачьи части начали складывать оружие прямо в поле около Фолкермаркта. Генерал фон Паннвиц и Чарльз

Вильерс бесстрастно наблюдали за этой процедурой. Сдав оружие, все полки двинулись на запад, к месту, указанному командованием английского корпуса. Партизаны Тито, узнав о разоружении казаков, осмелели и начали обстреливать их издалека и красть лошадей. Как лаконично поведал майор Говард, «пришлось использовать транспортеры для охраны бросившихся бежать казаков и пригрозить отрядам Тито, что, если они не перестанут вести себя, как дети, мы пустим в ход танки».

Разоруженные казаки проехали на запад, через Санкт-Вейт. Для защиты от неугомонных «югов» майор Говард расставил по пути их следования танковые патрули. В течение трех дней бесконечный поток казаков шел через австрийские городки. На одном из таких постов, у пруда, где казаки поили своих лошадей, стоял лейтенант Гарри Мофф. Легкая дымка пыли висела над зелеными лугами, по которым гнали 20 тысяч лошадей, и лейтенант сказал своим солдатам, что они присутствуют при неповторимом зрелище. Правда, им было суждено снова встретиться с казаками всего через три недели, и уже совсем при других обстоятельствах.

За Санкт-Вейтом Казачий корпус был разделен на две части, которым было приказано встать лагерем в разных местах. Генерал фон Паннвиц со штабом двинулись на север, к Альтхофену. С ним шли 3-й и 4-й Кубанские полки, 5-й Донской, 6-й Терский и 8-й (пеший) полк — все они, кроме 4-го Кубанского, относились ко 2-й дивизии. Основная часть 1-й дивизии, в составе 1-го Донского и 2-го Сибирского полков, под командой полковника Вагнера двинулась на запад и встала лагерем в полях около Фельдкирхена. Весь этот район находился под контролем английской 6-й танковой дивизии. Куратором дивизии Вагнера был назначен полковник Джеймс Хиллс. Оба полковника прекрасно сработались, и англичанин часто наведывался в лагерь и в маленький замок на краю леса, где жил Вагнер. На Хиллса произвели большое впечатление дисциплина казаков и жизнерадостное настроение, царившее в лагере.

Генерала фон Паннвица не оставляли мрачные раздумья о судьбе его солдат. Полковнику Вагнеру он сказал, что, наверное, англичане отправят корпус на службу в Иран, но из его поступков в те дни и из рассказов англичан явствует, что ситуация казалась ему крайне тревожной. Миссия фон Рентельна провалилась; Александера ему повидать не удалось, и он вернулся в Альтхофен. Джереми Пембертон, служивший тогда при штабе 61-й бригады, входившей в состав 6-й танковой дивизии, вспоминает, как однажды вместе с фон Паннвицем и фон Рентельном инспектировал казацкие лагеря. Разговорившись, Пембертон и Рентельн обнаружили, что у них есть общий друг: граф Бенкендорф, сосед Пембертона по Саффолку. В этой дружеской беседе, которая велась по-французски, фон Рентельн ясно дал понять, что не питает никаких иллюзий насчет дальнейшей судьбы казаков.

Фон Паннвиц частным порядком пытался спасти корпус от гибели. Эдуард Рентон, заместитель командира отдела ССО, в котором работал Чарльз Вильерс, присутствовал на совещании с

генералом и его штабом в Клагенфурте. В запале стуча кулаком по столу, фон Паннвиц с жаром описывал боевые качества казаков и просил англичан взять корпус к себе на службу или передать его американцам. Рентон отправился звонить в штаб корпуса бригадному генералу Тоби Лоу, ныне лорду Олдингтону. Лоу подробно разъяснил, что они не вправе давать обещания такого рода и казакам придется сидеть в лагере до принятия решения. Так что, наверное, фон Паннвиц вернулся в Альтхофен с тяжелым сердцем. К тому же до него дошли весьма неприятные намеки, что немецким офицерам лучше всего улизнуть и тихонечко отсидеться в укромном месте. Однако генерал не отказался от попыток связаться с английскими властями и объяснить им положение казаков. Несколько раз он просил майора Вильерса связать его с генералом Мак-Крири, посылал одного из своих штабных офицеров в штаб 5-го корпуса в Клагенфурте — все напрасно.

Наверное, им постепенно овладевало отчаяние. Всего через несколько дней после того, как корпус расположился на новом месте, одно весьма авторитетное лицо намекнуло старшим офицерам корпуса, что их опасения не лишены оснований. Этим авторитетным лицом был командующий 6-й танковой дивизией генерал-майор Горацио Мюррей, чрезвычайно популярный и необычный офицер. Он терпеть не мог командиров, сводящих понятие служебного долга исключительно к передаче приказов вышестоящего начальства. «Зачем тогда вообще нужны генералы?» — сказал он как-то по этому поводу.

В середине мая Мюррей вызвал старших офицеров Казачьего корпуса в свой штаб в Клагенфурт и сообщил им по-немецки, что у него есть причины думать, что их могут отправить в СССР, а потому он советует им серьезно поразмыслить над ситуацией. Пока он не получил никаких инструкций, но — имеющий глаза да видит. Этим выразительным высказыванием он закрыл совещание. Фон Паннвиц и его офицеры, бледные и растерянные, тут же уехали к себе.

Мы можем лишь догадываться о чувствах фон Паннвица. С одной стороны, было бы безответственно сеять среди солдат панику и уныние. Всякие слухи такого рода наверняка подорвут дисциплину, к тому же ничего определенного генерал Мюррей не сказал. Казаки отчаянно цеплялись за надежду, что им удастся поразить воображение англичан отличной дисциплиной и хорошим поведением и это может сыграть свою роль при решении их судьбы. С другой стороны, если в лагерях начнется хаос и неразбериха, это послужит для англичан оправданием самых суровых мер. Генерал Мюррей и его старшие офицеры относились к пленным с явной симпатией, так что имело полный смысл вести себя так, чтобы не потерять их расположения. Поэтому фон Паннвиц, вероятно, решил, что единственный разумный, хотя и недостаточный, выход — сохранять корпус и продолжать взывать к властям. Имелось и еще одно соображение. За два года между фон Паннвицем и его казаками возникли прочные узы взаимной симпатии, генерал чувство-

вал, что отвечает за них. Пока корпус не найдет прибежища где-нибудь в свободном мире, долг командира — оставаться с солдатами и заботиться о них.

Но он отвечал также и за немецких офицеров, добровольно пришедших в корпус. Он понимал, что, несмотря на все его призывы, англичане могут все же передать корпус Советам. И если казаков все-таки еще можно счесть предателями, то уж к немецким офицерам это определение никак не относится. Более того, в Женевской конвенции четко оговорено, что пленные, взятые в плен после окончания военных действий, должны быть немедленно переданы своей стране. Однако фон Паннвиц не исключал, что англичане сочтут немецких офицеров, разбросанных по разным полкам, составной частью корпуса и выдадут их. Вероятно, именно такого рода соображения и привели генерала к решению заменить немцев казачьими офицерами и создать «чисто немецкий полк или батальон», который состоял бы из одних немцев. Он предложил это англичанам 25 мая. Тем временем казаки и сами стали требовать, чтобы немецких офицеров заменили казаками; в некоторых отрядах даже начались волнения. Мотивы этого требования нам неизвестны; может быть, сказалось напряжение последних недель, или же казаки посчитали, что англичане благосклоннее отнесутся к ним, если будут считать их русским антисоветским войском, «третьей силой», а не наемниками под немецким командованием, немецкими пособниками.

Но практический результат этих отчаянных планов был ничтожен и свелся к тому, что англичане получили разные списки казацкого и немецкого состава корпуса. События меж тем не стояли на месте. Советские и английские офицеры встретились в Вольфсберге для уточнения планов по передаче всего Казачьего корпуса советским властям. Дивизионные командиры получили последний приказ, оставалось лишь разработать отдельные детали операции. К концу мая корпус фон Паннвица находился на территории 5-го корпуса английской армии, под контролем трех разных групп: 6-й танковой дивизии, 46-й пехотной дивизии и 7-й танковой бригады.

46-я пехотная дивизия, в ведении которой был генерал фон Паннвиц со штабом и основной состав корпуса, с 16 мая занималась передачей русских военнопленных и рабочих в Юденбурге. Теперь же ей предстояло подготовиться к внезапной выдаче Казачьего корпуса. Необходимым условием подготовки было соблюдение строжайшей тайны. Как отмечается в документах военного министерства, «если бы казаки узнали о плане выдачи, это привело бы к массовым побегам и самоубийствам».

В приказе утверждалось — ошибочно или, во всяком случае, необоснованно, что многие немецкие офицеры Казачьего корпуса повинны в военных преступлениях, разыскиваются советскими властями и, соответственно, подлежат выдаче Советам. 26 мая фон Паннвицу сообщили, что он отстранен от командования корпусом. Вместе со 144 немецкими и 690 казачьими офицерами он был

объявлен арестованным. Правда, многие офицеры сумели бежать. Согласно казачьим источникам, фон Паннвица английские офицеры предложили освободить из-под стражи и даже организовать ему побег. Но генерал отказался, заявив, что был с казаками в хорошие времена и не бросит их в плохие. Это подтверждает и полковник Вагнер, которому удалось уцелеть. Он сообщил мне, что, получив предупреждение от англичан, немедленно позвонил фон Паннвицу и предложил ему бежать и присоединиться к югославским монархистам, четникам. Генерал ответил, что все его офицеры вольны поступать так, как считают нужным, он же не оставит казаков. Наверное, узы, связывавшие его с казаками, особенно укрепились после того, как 24 мая он был выбран походным атаманом — ни один иностранец не удостаивался до тех пор такой чести. На этой церемонии присутствовали старшие английские офицеры, но вряд ли они оценили ее значение.

28 мая генерал фон Паннвиц с группой немецких офицеров был передан в Юденбурге НКВД. Здесь, на небезызвестном металлургическом заводе, он встретился с казачьими генералами, Красновым, Шкуро, Домановым. Вместе с ними он ехал до Бадена, потом их пути разошлись. Красновых отправили самолетом в Москву, фон Паннвиц остался в Австрии. Мы ничего не знаем о его пребывании на Лубянке и суде над ним; известно лишь, что он был повешен в 1947 году вместе с Красновым и Шкуро. Таким образом, английское правительство, по сути дела, обрекло на бессудную расправу и смерть немецких офицеров, взятых в плен английскими войсками и являвшихся военнопленными.

Основному составу корпуса предстояло повторить путь домановских казаков. Все приготовления были завершены к 25 мая. Капитан Майкл Фрейер, в то время офицер разведки штаба 46-й дивизии, хорошо помнит, как тщательно разрабатывались планы операции. Было собрано большое число трехтонок, в каждой — по шоферу с напарником и по два охранника. Дорога, по которой предполагалось везти пленных, была освобождена, по всему маршруту расставили войска. Солдаты и оборудование набирались в пяти артиллерийских полках. Как и в случае с Домановым, англичане и здесь применили обманный маневр, сказали казакам, что их переводят в новые лагеря в Италии. Для казаков это была приятная новость, означавшая, что они отдаляются от советской зоны; и посадка в грузовики прошла без всяких осложнений.

Примерно километров пятнадцать грузовики шли на юг, и на душе у казаков становилось все веселее. С каждой минутой они все дальше удалялись от своих врагов. Но вдруг головная машина колонны развернулась и с бешеной скоростью помчалась на север. Один за другим пролетали грузовики мимо стоящих на шоссе групп вооруженных английских солдат. Паника охватила казаков. На шоссе дождем посыпались часы, кольца, фотоаппараты. Кое-кто выпрыгнул из грузовиков (при такой скорости это означало неминуемую смерть). Рапорт об этом был подан в штаб дивизии.

46-я пехотная дивизия провела еще одну операцию — по возвращению отделившегося от корпуса полка казаков, не пожелавшего сдаваться англичанам. Это был 5-й Донской полк, единственный в корпусе, которым командовал русский — полковник Иван Кононов, первый советский офицер, добровольно перешедший со своим полком к немцам. Не слишком разборчивый в вопросах морали и дисциплины, Кононов был, можно сказать, духовным сыном Шкуро. В его штабе имелся личный палач, здоровенный парень с золотыми серьгами, наполовину грек. По первому знаку Кононова этот детина с готовностью всаживал 9 грамм свинца во всякого, кто имел несчастье не угодить его командиру. В момент сдачи корпуса англичанам Кононова в полку не было. Он был послан в качестве офицера связи к генералу Власову для переговоров об объединении различных антисоветских русских войск, действовавших в составе немецкой армии или параллельно с ней. В результате полковник избежал общей участи: сначала он отправился в Мюнхен, в американскую оккупационную зону, а затем эмигрировал в Австралию.

В отсутствие Кононова полком командовал подполковник Борисов. По неизвестным причинам «бригада Кононова», как называли полк англичане, отказалась подчиняться генералу фон Паннвицу и его немецким офицерам и потребовала, чтобы англичане считали ее отдельным полком. Встав лагерем около Клайн Санкт-Пауля, они творили буквально чудеса дисциплинированности и собранности, быть может, рассчитывая покорить сердца англичан. Вечером 27 мая английский офицер сообщил подполковнику Борисову, что в 8 часов утра всех офицеров полка перевезут в специальный лагерь в Северной Италии, откуда им впоследствии разрешат эмигрировать в Канаду. Офицеры подчинились приказу. Если у кого-то и возникали подозрения, окружающие начинали тут же втолковывать маловеру, что англичане — люди чести и никогда не допустят передачи пленных Советам... Казаков посадили в грузовики и отвезли в Юденбург, где офицеру НКВД был вручен поименный список полка. Оказались они все на том же металлургическом заводе. Среди офицеров было множество эмигрантов, таких, как капитан Анатолий Петровский, покинувший Россию в 1920 году вместе с армией союзника Англии, генерала Врангеля. Он провел 11 лет в лагерях и вернулся на Запад в 1956 году совершенно больным человеком.

30 мая оставшихся солдат, не подозревавших о судьбе офицеров, вывезли в горы, в обнесенный проволокой лагерь в Брюкле. Полковник Деннис Уоррел, командир батальона, которому была поручена охрана лагеря, ясно помнит прибытие примерно тридцати «красивых парней». В ту ночь, при свете двух мощных прожекторов, казаки, охваченные радостными предчувствиями свободной жизни, пели и плясали до утра. У них был прекрасный оркестр, и английские охранники быстро подхватили и начали насвистывать заразительные казацкие мелодии. Наутро всех отправили на север, в лагере остался только оркестр — для увеселения отрядов, которым предстояло останавливаться в этом перевалочном пункте в ближайшие дни. От офицеров, сопровождавших конвои в Юденбург, полковник Уоррел слышал все те же рассказы об офицерах и солдатах, кончавших с собой по дороге или сразу по прибытии на место. В числе самоубийц был и командир бригады.

В течение недели после 28 мая 46-я пехотная дивизия передала НКВД в Юденбурге 17 702 казака. Сюда входят также немецкие офицеры, 47 женщин, 5 детей и 7 священников (по меньшей мере один из них позже умер в Караганде). Аналогичная операция была проведена севернее, в районе, занятом отдельной 7-й танковой бригадой. В рапортах нет упоминаний о каких-либо инцидентах. В этом районе казаки находились на попечении бригадира К. С. Купера. Их лагерь был прекрасно организован по принципу самоуправления, там имелись школа, больница, оркестр. Так же, как и прочие английские командиры, бригадир Купер получил приказ о передаче казаков Советам, и его подопечным сказали, что они переезжают в новый лагерь в Италии. Все было устроено так, чтобы казаки до самого последнего момента не догадались об обмане: их повезли на юг, а потом кружной дорогой свернули к Юденбургу. И лишь когда первые лучи солнца забрезжили над горами справа, пленные догадались, что их обманули, но было уже поздно: грузовики на полной скорости подъезжали к Юденбургу. Подавленные и потерянные, казаки покорно двинулись грустной чередой через мост.

Эта операция вызвала отвращение у многих солдат 7-й танковой бригады — не только потому, что среди жертв были женщины и дети, но и потому, что этим английским солдатам еще раньше представилась редкая возможность узнать кое-что о природе коммунизма. Бригада воевала в Италии бок о бок со 2-м Польским корпусом, и солдаты наслушались от поляков таких основанных на личном опыте историй о жестокости и варварстве Красной Армии, что не могли, подобно Сартру и О'Кейси, просто отмахнуться от них. А совсем недавно, когда бригада заняла район, где раньше стояли части Красной Армии, солдаты смогли лично убедиться в варварстве своих союзников. Примеры вандализма попадались на каждому шагу: то, что оказалось невозможно разбить или поджечь, было покрыто испражнениями. Бесценные канделябры, подобранные в домах и замках, сбрасывались вниз и разбивались. Деревянные сиденья с унитазов были сняты: офицеры отправляли их на родину.

Судя по всему, не все казаки были переданы в Юденбурге. Один офицер, вероятно из 15-го Казачьего кавалерийского корпуса, рассказывал соседу по нарам в воркутинском лагере, как он и его товарищи, вызвавшиеся воевать за союзников на Востоке, были доставлены на советскую территорию самолетом незадолго до начала выдач в Юденбурге. Оснований сомневаться в правдивости этого рассказа у нас нет, но трудно понять, чем была вызвана столь необычная процедура репатриации. К тому же в доступных нам английских документах никаких упоминаний о подобной операции не обнаружено.

Нам остается лишь описать выдачу казаков в районе, контролируемом 6-й танковой дивизией. Речь идет о части 1-й дивизии корпуса под командованием полковника Константина Вагнера.

Утром 26 мая генерал-майор Горацио Мюррей, командир 6-й танковой дивизии, провел совещание по определению процедуры выдачи казаков. Совещание состоялось в замке, где находилась штаб-квартира бригадира Клайва Ашера, которому были поручены казаки. Генерал Мюррей не раз намекал своим офицерам, что не слишком огорчится, если казакам удастся бежать. Подобно своему прославленному тезке, адмиралу Горацио Нельсону, генерал знал, когда именно уместно поднести подзорную трубу к слепому глазу. Но теперь им были получены четкие приказы, и он должен был проследить за их выполнением.

Офицеры 6-й танковой дивизии реагировали на сообщение генерала совсем не так покорно, как их коллеги в 78-й дивизии. У многих инструкции вызвали нескрываемый протест. Полковник Робин Роуз Прайс из 3-го Уэльского гвардейского полка стал открыто возражать генералу и уступил только после длительной и бурной дискуссии. Мюррей, хотя и не скрывал своего отвращения к планируемой операции, все же не собирался откровенно игнорировать приказ. Кроме того, он считал, что те казаки, которые хотели бежать, вполне могли это сделать после его намека немецким офицерам о предстоящей выдаче. После совещания офицеры отправились в лагерь, чтобы разработать детальный план операции: для ее успешного проведения была необходима самая тщательная подготовка. Только в 6 часов вечера полковник Роуз Прайс вернулся в штаб своего батальона в Розегге — чтобы отдать своим солдатам приказ *«о выполнении самой неблагодарной задачи, какую только можно было придумать»*.

Он был не единственным офицером в дивизии, которому предстоящая операция внушала отвращение. Пока полковник Прайс мрачно отдавал приказания своим солдатам, бригадир Ашер скакал на коне в Штирниц, к полковнику Константину Вагнеру. Он сообщил Вагнеру, что завтра казаков переводят в Вейтенсфельд, в лагерь за проволокой, и осведомился, сколько времени может занять такой переход. Вагнер ответил, что идти придется весь день — с 5 утра до 8 вечера: дороги в горах узкие, 10 тысяч конных не могут двигаться по ним быстро. Ашер кивнув, уехал, а через два часа прискакал назад — проверить, как идут приготовления. Вагнер доложил о проделанной работе и затем, глядя бригадиру прямо в глаза, спросил:

— Господин генерал, я так понимаю, что лагерь за проволокой — это только первый шаг. Вторым будет выдача Советам, третьим — Сибирь. Не так ли?

Бригадир Ашер уклонился от прямого ответа:

— Мы ведь оба солдаты, полковник?

— Разумеется, господин генерал.

— В таком случае вы сами понимаете, что мы вынуждены подчиниться превосходящим политическим силам.

Вагнера навестил также симпатизировавший ему полковник Хиллс: «Я помню, как он спросил меня, передадут ли их Советам. Я мог ответить лишь одно: я не вправе говорить об этом, но, конечно, такой вариант не исключен. Но он и сам явно догадывался, к чему идет дело. Я подарил ему несколько форелей, пойманных в тот день в Гурке, и уехал».

И Вагнер решил бежать. Он был убежден, что немецкие офицеры все равно ничем не смогут помочь казакам в сибирских лагерях, да к тому же, наверняка, немцев и казаков пошлют в разные ИТЛ.

Старшим русским командиром в дивизии Вагнера был Владимир Островский. Вагнер все объяснил ему, рассказал о плане побега и посоветовал Островскому и другим казакам последовать его примеру. Затем, распрощавшись с Островским, он со своим денщиком-татарином двинулся в горы. Вспоминая читанные в детстве истории Карла Мая об индейцах, он пробирался через густые чащобы и по забитым камнями руслам горных рек. После долгого изнурительного пути они пробрались в спасительную Баварию, в американскую зону оккупации.

В ту ночь мучительные сомнения и страхи не давали заснуть многим немцам, казакам и англичанам. Офицером связи между полковником Вагнером и штабом полковника Хиллса был молодой немец, граф фон Столберг. В ночь на 27 мая, вспоминает Хиллс, он «допоздна работал у себя в кабинете, когда адъютант объявил о приезде молодого Столберга. Граф вошел в кабинет с седлом в руках и сказал: «Генерал, насколько я понимаю, нас завтра выдадут русским. Они перережут нам глотки, но я хочу перед смертью подарить вам это седло: я ведь знаю, как вы любите лошадей». И *с этими словами он ушел»*.

Позже Хиллс, к немалой своей радости, узнал, что Столбергу удалось бежать.

Среди рядовых казаков, ничего не подозревавших о своей судьбе, по-прежнему царила полная безмятежность, установившаяся в лагерях после сдачи англичанам в начале месяца. Лейтенант Гарри Мофф получил приказ со своим эскадроном явиться в казачий лагерь и подготовить казаков к завтрашнему дню. В ту ночь никто в лагере не сомкнул глаз. Неведомо откуда появилась выпивка, и веселье длилось до утра. Вокруг подвыпившего Гарри Моффа с пением и гиканьем гарцевали казаки, и англичанину захотелось тоже попытать счастья на казачьем коне. То-то было смеху, когда норовистая лошадь сбросила неуклюжего кокни! Празднество кончилось на рассвете. Бледный, с раскалывающейся головой, Мофф построил казаков в ряд, и они двинулись по дороге.

Дорога усиленно охранялась, повсюду были расставлены отряды пехоты, транспортеры, патрульные машины. Один эскадрон был выслан в горы на розыски группы беглецов. Местом назначения был большой, обнесенный проволокой лагерь в Вайтенсфельде, подготовленный к приему казаков Уэльским гвардейским полком. Поскольку все немецкие офицеры исчезли, майор Островский оказался старшим по званию и по прибытии в лагерь явился к полковнику

Роузу Прайсу. Разговор велся на причудливой смеси французского и немецкого, иногда приходилось обращаться за помощью к стоявшему поблизости офицеру-хорвату, уроженцу Америки. Островский спросил, что будет с ними дальше. Полковник ответил, что не знает; но хорват быстро сказал на своем родном языке, который Островский понимал, что всех казаков выдадут Советам. Островский попросил разрешения передать указания полковника казакам, которые еще были в пути, и поехал в штабной машине вдоль рядов конных казаков, сообщая страшную новость офицерам и советуя им бежать вместе с солдатами. Следуя этому призыву, казаки — группами и поодиночке — спешили скрыться за деревьями. Но дорога охранялась так усиленно, а колонна продвинулась уже так далеко, что остановить весь полк было невозможно. Вернувшись в лагерь, Островский с тяжелым сердцем следил за тем, как плотная колонна спешившихся казаков рассеивалась по лагерю в Вайтенсфельде.

В ту ночь среди офицеров царило отчаяние. Все уже знали о завтрашней выдаче, хотя официально это никак не было подтверждено. Большинство офицеров не спали, хотя и не выходили из палаток, избегая пронзительно ярких прожекторов, направленных на лагерь. Когда зашла речь о побеге, все единодушно решили, что невозможно бросить рядовых казаков. В 6 часов утра появился английский сержант с дубинкой и приказал офицерам вставать, но они отказались подчиняться, пока им не сообщат об их судьбе. Сержант заявил, что ничего не знает, и привел майора, который тоже отговорился незнанием. Впрочем, майор Брюс Гофф нашел старшего офицера и, вернувшись к казакам, подтвердил их худшие опасения: они подлежат репатриации в СССР. (Такая откровенность вполне отвечала тактике генерала Мюррея, который наотрез отказался участвовать в обманном маневре, предпринятом другими английскими дивизиями.)

Слова майора Гоффа вызвали взрыв возмущения. Казачьи офицеры кричали, что они сдались в плен англичанам, а не большевикам, растолковывали ничего не понимавшему майору, что советские наверняка убьют их, предварительно подвергнув мучительным пыткам, что лучше немедленная смерть сейчас, здесь, от руки англичан, чем выдача Советам.

Пораженный этим неожиданным взрывом отчаяния, майор отправился к начальству за инструкциями и вернулся с группой старших офицеров во главе с полковником Роузом Прайсом. Островский узнал также полковника Джеймса Хиллса, сочувственно поглядывающего на него. За колючей проволокой уже стояла наготове колонна грузовиков. Полковник Прайс объяснил, что получил приказ вернуть всех казаков в СССР — и обязан этот приказ выполнить. Он тут же добавил, что маршал Сталин как будто пообещал амнистию всем, кто служил у немцев, и что самое разумное для казаков — это мирно согласиться на выдачу советским властям и воспользоваться амнистией.

Казачьи офицеры встретили это заявление криками недоверия. Многие из них жили в СССР и хорошо знали цену словам Сталина. Опять раздались требования немедленно расстрелять их на месте или, по меньшей мере, выдать каждому пистолет с одним патроном. Полковник, отрицательно покачав головой, предложил майору Островскому отдать приказ о посадке в грузовики, но майор категорически отказался и сказал своим офицерам, что не намерен выполнять приказы англичан и они вольны делать что хотят.

Тогда полковник Прайс отдал новый приказ: пусть те, кто готов подчиниться, отойдут вправо; те же, кто берет на себя смелость не выполнять приказы начальства, — встанут слева, и их немедленно расстреляюß1. Оказавшись перед таким выбором, казаки растерялись. Среди них находилась молодая женщина, вдова полкового врача. С ней случилась истерика. Судорожно вцепившись в свои пожитки, она залезла в ближайший грузовик и, рыдая, упала на пол. Большинство офицеров тоже сели в грузовики, но человек 50, в том числе и Островский, остались. Есаул Буш подбежал к ним с криком: «Господа, поедем: лучше умереть от русской пули, чем от английской. Докажем большевикам, что казачьи офицеры умеют умирать!» Но его доводы не подействовали на офицеров, твердо решивших держаться до конца.

Тех, кто добровольно сел в грузовики, провезли примерно с километр, но потом машины остановились и стали ждать. Еще с полдюжины грузовиков стояли наготове. Однако группа Островского не собиралась сдаваться. Офицеры простились друг с другом, находившийся среди них священник благословил каждого. По его совету они сели на землю: расстрельная команда Уэльского гвардейского полка уже стояла перед ними, и отец Федор Власенко справедливо заметил, что в сидящих на земле людей проще попасть. Минута шла за минутой, многие прощались с жизнью. Как писал позже один из казаков, «автоматы направлены против нас. Еще миг — и прощай жизнь! Переживания, связанные с приближением насильственной смерти, для меня были не новы, т. к. еще в 1918 году я был выводим ЧЕКА семь раз на расстрел. Как будто бы подобное положение должно войти в привычку. На самом же деле было далеко не так: каждый случай не терял характера новизны, каждый раз вся прошлая жизнь мгновенно пробегала перед глазами, каждый раз терялось восприятие внешнего мира, казавшегося в то время фантасмагорией, чем-то искусственным и нереальным».

Казаки стояли бледные и решительные, на лице майора Островского играла презрительная усмешка, священник утешал свою семнадцатилетнюю дочь Женю.

Выждав еще немного, полковник Роуз Прайс понял, что казаков сломить не удалось. Он послал вестового сказать офицеру, командовавшему «расстрелом», чтобы солдаты сложили оружие, и снова повторил казакам приказ садиться в грузовики. В это время к месту, где они стояли, подъехал огнемет, едва не сбив по пути двух уэльских гвардейцев, и начал поливать огнем траву прямо за

казаками. Несколько секунд неистовый огонь пожирал траву и деревья, казаков опалило невыносимым жаром. Затем огнемет отъехал назад, оставив за собой черную полосу выжженной земли. Эта жуткая сцена повергла в ужас даже бесстрашных казаков, а у двух девушек, стоявших вместе с ними, началась настоящая истерика. С ротмистром Поповым, русским эмигрантом из Югославии, случился нервный припадок, с ужасным криком упав на землю, он бился в конвульсиях. Его тут же оттащили в ближайший грузовик.

В этот момент полковник Прайс сказал казакам, что передумал: их не расстреляют, но свяжут — если необходимо, то и с применением силы, — и посадят в грузовики, хотят они того или нет. К казакам направилась группа солдат, с дубинками, веревками и электрическим проводом в руках.

Такой поворот событий привел майора Островского буквально в бешенство. Ведь англичане только что получили неопровержимое свидетельство того, что казаки предпочитают смерть отправке в Советскую Россию! Вскочив на ноги, он бросился к полковнику и вылил на него ушат ругательств на смеси всех доступных ему языков, обвиняя англичан в невежестве и тупости, в торговле людьми и лицемерии, когда рассуждения о демократии, чести и порядочности не мешают приносить молоху коммунизма человеческие жертвы. Переводчик-хорват, запинаясь, переводил все это Прайсу.

В самый разгар своей обвинительной речи Островский услышал, как один из казаков за его спиной закричал, что лучше уж добровольно сесть в грузовики, чем ехать связанными. В этом определенно был смысл: без веревок они смогут сбежать по дороге или, на худой конец, покончить с собой. Отдав полковнику честь, Островский неожиданно объявил, что они готовы подчиниться команде и сесть в грузовики, и, повернувшись к офицерам, отдал приказ о посадке, объяснив причины столь внезапной перемены. Казаки залезли в грузовики, а Островского куда-то повел майор Гофф. Куда именно — никто не знал, и некоторые решили, что командира повели на расстрел за оскорбление английского полковника. Впрочем, мысли их были заняты совсем другим: грузовики вот-вот отойдут, следующая остановка — после часа пути — пункт выдачи Советам.

Наверное, энкаведешники уже злорадно потирали руки в предвкушении их приезда. Казачий офицер, по фамилии Сукало, на ломаном немецком завел разговор с молодыми английскими охранниками в грузовике. Угостив их сигаретами, офицер коснулся темы о сталинском деспотизме. При упоминании имени генералиссимуса парни закричали: «Сталин — гут». Но когда Сукало возразил, что совсем наоборот — Сталин бандит, они снова заулыбались и закивали в знак согласия. Наконец Сукало прямо спросил солдат, как уйти от репатриации, на что те, без всяких колебаний, предложили побег: через несколько километров дорога круто пойдет в гору, машина замедлит ход — вот тогда и надо прыгнуть и прятаться под деревьями. Конечно, им придется стрелять по беглецам, но охранники пообещали, что будут целиться выше голов. Похоже, в

6-й танковой дивизии все — от старших офицеров до рядовых зеленых солдат — относились к поставленной перед ними задаче с равным отвращением.

Колонна двинулась в путь. Сукало с замиранием сердца ждал подходящей минуты. Но, проехав километра два, машины вдруг остановились и с полчаса простояли на месте. Со своего места Сукало видел только следующий грузовик, на заднем фоне просматривались луга и проволока лагеря. Английские солдаты весело болтали — для них такая остановка ничего не значила, это в казацких сердцах всякая неожиданность порождала новые надежды и страхи. Накануне ночью они написали письмо протеста против выдачи — может быть, оно вдруг сработало? Или в дело вмешался фельдмаршал Александер со своей русской женой? А может, англичане просто ждут подкрепления, и тогда уж бежать и вовсе не удастся. Вдруг до них донеслись оживленные голоса. Группа английских офицеров подошла к грузовику Сукало, и казак увидел улыбающееся лицо Островского, которого, как они считали, увели на расстрел.

Но на самом деле, когда Островский согласился подчиниться приказу англичан, ему позволили ехать в Юденбург на его штабной машине. В сопровождении шофера-казака, денщика и своей верной таксы Островский сел в «фольксваген». В машине находился также английский солдат, не понимавший по-русски, и поэтому майор мог свободно общаться со своими спутниками. Они единодушно решили при первой же возможности свернуть в пропасть или реку: лучше покончить с собой сразу, чем ждать мучительной смерти от руки большевиков. Шофер начал было заводить мотор, но сцепление не работало, даже помощь дюжих гвардейцев не могла заставить машину сдвинуться с места. Стоявшие поблизости майор Гофф и полковник Прайс приказали солдатам сесть в грузовики общей колонны, Островского же майор Гофф взял в свой джип.

Машина тронулась в путь. Островский, немного ободренный неожиданной задержкой, снова впал в уныние. Он думал о своей матери, живущей в Германии, и молился. Но тут вдруг за спиной послышался быстро приближавшийся треск мотоцикла. Майор Гофф приказал шоферу свернуть на обочину и подождать. Через секунду возле них остановился мотоцикл, с него спрыгнул английский солдат и, подбежав к джипу, что-то возбужденно сказал майору Гоффу. Тот внимательно выслушал, отдал приказ шоферу, и джип, сопровождаемый мотоциклистом, повернул назад. Островский ничего не понимал. Через несколько минут они снова были в лагере. У ворот стояла толпа возбужденно переговаривающихся англичан. Когда джип остановился под деревьями, английский офицер принес Островскому чай, печенье и сигареты, сказав, что нужно подкрепиться. В который раз за день Островский почувствовал, что настал его смертный час: наверное, сейчас его расстреляют. Тот же самый офицер, что нагнал их на мотоцикле, подойдя к нему с какими-то бумагами, попросил Островского подписать их.

Казак решил, что это последняя формальность перед расстрелом, но английский офицер, улыбаясь, сказал ему:

— Вы спасены, вам нужно заполнить эту анкету.

Пораженный Островский тут же осведомился о судьбе своих друзей, сидящих в грузовиках. Среди англичан опять поднялся шум, наконец, после оживленного обсуждения, к Островскому обратился старший офицер:

— Вы и все ваши друзья, белые русские и выехавшие за пределы Советского Союза до 1938 года, не подлежите выдаче, а потому пойдемте запишем всех ваших друзей.

Только теперь Островский понял, что спасен. Выйдя из джипа, он вместе с группой английских офицеров направился к шоссе, на котором стояли грузовики. Подойдя к заднему грузовику, Островский многозначительно сказал выглядывавшим оттуда офицерам:

— Господа, вы все приехали из России тогда же, когда и я.

Затем группа поочередно подошла к каждому из шести грузовиков. Везде задавались одни и те же вопросы и заполнялись одни и те же формуляры. Островский жестами и намеками давал понять офицерам, как именно им следует отвечать: все они эмигранты, бежавшие из СССР задолго до войны, и потому не могут считаться предателями. Английский офицер, отвечавший за эту операцию и явно понимавший по-русски, посоветовал Островскому утихомириться, впрочем, одновременно намекнув, что вмешиваться не станет. Из-под брезента на втором грузовике выглядывало бледное несчастное лицо бедняги Попова, не вынесшего испытания огнеметом. Для него, бывшего царского офицера, служившего после революции во французском Иностранном легионе, это оказалось выше сил. Сошедшего с ума офицера отправили на «скорой помощи» в больницу.

Опрос казаков был чистой формальностью. Островский без всяких помех продолжал намекать своим коллегам, как им следует отвечать, а английские офицеры, задававшие вопросы, явно не желали вдаваться в суть дела. Майор Георгий Дружакин до сих пор дословно помнит всю процедуру. Английский офицер, подойдя к нему, осведомился, где Дружакин жил до войны. Услышав в ответ «во Франции», он задал по-французски несколько вопросов насчет расположения улиц в районе площади Италии, где жил Дружакин. Удовлетворившись ответами майора, англичанин спросил, откуда приехали остальные казаки.

— Они все старые эмигранты, вроде меня.

— А вот эти молодые ребята? Они-то ведь не могли родиться до революции.

Действительно, среди казачьих офицеров было немало молодых парней, бежавших из СССР, но Дружакин объяснил, что это дети эмигрантов, родившиеся в Югославии. По счастью, молодые люди за время пребывания в Югославии нахватались по сербско-хорватски, так что они сумели легко убедить офицера, проводившего опрос и с явной симпатией относившегося к казакам. В конце концов только трое — верно, по глупости — признали себя советскими гражданами, и их перевели в другой грузовик, где находились те, кто сел туда «добровольно».

Офицер, ведущий опрос, свистнул в свисток (Дружакин на всю жизнь запомнил этот звук), и мотор грузовика взревел. Казаки, оставшиеся в грузовиках, подняли крик: они тоже старые эмигранты, их тоже надо освободить. Но англичанин прокричал в ответ, что они добровольно сели в машины и должны ехать к месту назначения. Перед освобожденными офицерами на минуту мелькнули искаженные отчаянием лица их товарищей, а затем машины скрылись за поворотом. Среди уехавших действительно было много старых эмигрантов. Путь их лежал в центр СМЕРШа в Граце, а оттуда — в лагеря смерти в Кемеровской области, около сибирского города Томска.

Группа из пятидесяти офицеров вернулась в лагерь в Вейтенсфельде, обуреваемая различными чувствами. Тут были и радость неожиданного спасения, пришедшего буквально в последнюю минуту, и грусть об увезенных товарищах, и страхи, что и для них, быть может, опасность еще не миновала. Но англичане твердо заверили их, что теперь выдача Советам им не грозит. В тот вечер Дружакин, сняв фуражку, обнаружил, что совершенно лыс: от волнения у него выпали волосы. На другой день их отвезли на юг, в лагерь, где, к своему немалому удивлению, они обнаружили несколько тысяч русских эмигрантов. Полковник Рогожин рассказал приехавшим о полученных от англичан заверениях в том, что никто из лагеря Клайн Санкт-Пауль не будет выдан Советам. Действительно, через некоторое время всех обитателей лагеря освободили, и все они нашли приют на Западе.

Между тем в Вейтенсфельде оставалось еще 4 тысячи казаков — рядовых и младших офицеров. Т.М.Х. Ричардс, капеллан Уэльского гвардейского полка, живо помнит свой визит к казакам. Многие пожилые казаки поразили его своим достоинством и импозантностью. Некоторые — вероятно, старые эмигранты — говорили по-английски. На другой день их «без всяких инцидентов» посадили в грузовики и довезли до железнодорожной станции Гурк, где они пересели на поезд. 30 мая в три часа дня все, за исключением нескольких казаков, оставленных для присмотра за лошадьми, отбыли в Юденбург. До самого города пленных сопровождали английские танки. Майору Уорру из 27-го Ланкастерского полка на пропускном пункте в Юденбурге офицер Красной Армии (или НКВД) сказал, что всех казачьих офицеров расстреляют, а рядовых, если они будут работать, даже будут кормить.

Итоги операции 6-й танковой дивизии не слишком порадовали советских представителей. Все немецкие офицеры и множество казаков в результате намеков и предупреждений англичан бежали. Группа офицеров во главе с майором Островским была освобождена, а бригадир Ашер, в отличие от бригадира Мессона, наотрез отказался заниматься насильственной репатриацией женщин, и они были освобождены. Обнаружив, что дневной улов намного ниже намеченной цифры, сотрудники НКВД в Юденбурге пришли

в ярость и послали жалобу генералу Мюррею. В тот же вечер генерал созвал совещание по этому вопросу и приказал 1-му батальону Стрелкового корпуса прочесать местность в поисках бежавших казаков. Майор Говард возразил: у него под началом всего 700 человек, а работать придется в лесистых труднопроходимых горах!

— Сколько же вам нужно народу? — спросил генерал.

— Тысяч двадцать, — ответил майор, повергнув генерала в растерянность.

— Ну что ж, постарайтесь сделать все возможное, — буркнул он.

В конце концов люди майора Говарда нашли с десяток бежавших из нескольких тысяч. Но ни Советы, ни генерал Мюррей не выразили по этому поводу никакого недовольства. Последний был даже вполне удовлетворен столь ничтожными результатами, а когда полковник Хиллс доложил бригадиру Ашеру о бежавших, тот «был очень доволен, что столько народу бежало», и сказал, что «не стоит на этот счет волноваться».

Наш рассказ о судьбе относительно небольшой части казаков, находившихся под контролем 6-й танковой дивизии, затянулся, и некоторые читатели могут сказать, что спасение 50 казаков из 50 тысяч русских, переданных НКВД в Австрии, — не такое уж крупное достижение. Но значение этого эпизода не ограничивается цифрами: история спасения Островского и его друзей доказывает возможность альтернативы политике Идена и МИД. Если бы все английские офицеры отнеслись к выдачам так же, как офицеры 6-й танковой дивизии, — большинство старых эмигрантов избежало бы незаконной репатриации.

Глава 11

ИНТЕРЛЮДИЯ: ТАЙНА, ОСТАВШАЯСЯ НЕРАСКРЫТОЙ

Когда казачьих офицеров обманом заманили в Шпиталь, 26 мая, за два дня до того, некий чиновник британского МИД в официальном документе подтвердил, что англичане намерены передать советским властям «всех советских граждан». Формулировки документа точны и однозначны: «Те, кто по английскому закону являются советскими гражданами, подлежат репатриации... всякое лицо, не являющееся по английскому закону советским гражданином, не подлежит репатриации в Советский Союз, если только данное лицо не выражает желания вернуться».

Далее дается определение понятия «советский гражданин»: «лицо, родившееся или проживавшее в пределах границ СССР до 1 сентября 1939 года и не принявшее другого гражданства или не получившее нансеновский паспорт, выдаваемый лицам, не имеющим гражданства»...

Согласно этому определению, миллионы русских, уехавших из России во время революции и гражданской войны и никогда не живших при советской власти, не являлись советскими гражданами и обозначались термином «старые эмигранты» — в отличие от «новых эмигрантов», то есть бывших советских граждан, бежавших из СССР. Все без исключения «старые эмигранты» либо не имели гражданства, либо были подданными государства, в котором жили, и, хотя по рождению они были русскими, никто не утверждал, что они являются советскими гражданами. Генерал Васильев на одном из заседаний советской комиссии по репатриации сказал, что советскими гражданами являются «все те, кто до плена или вывоза в Германию был гражданином какой-либо советской республики», и заявил, что только такие лица подлежат репатриации. Ни один старый эмигрант не имел права самовольно присвоить себе советское гражданство. Как объяснял один советский чиновник, политика Советского государства в этом вопросе предельно ясна. Формально всякий русский может претендовать на советское гражданство, но получить его не так-то просто. Его надо заслужить.

Английское правительство с самого начала репатриации разъясняло различие между советскими и несоветскими подданными. Через несколько дней после того, как с нормандского побережья

стали прибывать в Англию первые русские пленные, МИД пояснил, что «меры по репатриации не применяются к лицам советской (русской. — *Н.Т.*) национальности, не являющимся советскими гражданами». Речь шла о лицах, «имеющих несоветские или нансеновские паспорта». Это определение, принятое по совету Патрика Дина, МИД переслал в Госдепартамент США. Кристофер Уорнер в связи с этим заметил: «Мы не должны включать в нашу статистику русских эмигрантов, поскольку у них имеются нансеновские паспорта». Следовательно, позиция МИД была определена вполне четко: «Поскольку советское правительство просило о репатриации исключительно советских граждан, мы не можем проходить мимо случаев, когда нам становится известно, что репатриации собираются подвергнуть несоветского гражданина».

Так, в соответствии с этой политикой, русских эмигрантов в Риме заверили, что они не подлежат репатриации. В марте 1945 года генерал Ратов попытался контрабандой протащить на судно, идущее в Одессу, одного белоэмигранта. Английские власти вовремя вмешались в дело, и выяснилось, что этот человек во время гражданской войны воевал в армии барона Врангеля, затем эмигрировал и 22 года прожил во Франции, не имея гражданства. Генерал Ратов немедленно отказался от каких-либо притязаний на эмигранта, сославшись на недоразумение, а Патрик Дин потребовал «заявить решительный протест советскому правительству», при этом, впрочем, добавив: «как только это окажется возможно». Правда, сотрудник министерства А.И. Ламберт был вынужден санкционировать выдачу советским представителям одного бывшего белогвардейца, эмигрировавшего в 1920 году («иначе Советы житья бы нам не дали»), но о том, чтобы официально придерживаться такой линии, не было и речи.

И все же Николай Краснов и другие казаки, находившиеся в Австрии, подверглись насильственной репатриации, что поразило даже советских представителей. В Юденбурге советский генерал Долматов с удивлением спросил, почему осуществляется выдача старых эмигрантов, которых, насколько ему известно, советские власти не требовали. В связи с этим один старый эмигрант рассказывает, как офицер НКВД, узнав, что стоящий перед ним казак до войны жил на Балканах, воскликнул: «Так вы эмигрант? Вы не подлежите эмиграции. Тов. Сталин не претендовал на старых эмигрантов. Почему вы здесь?» А у подполковника СМЕРШа такое вероломство англичан, коварно обманувших своих друзей, вызвало приступ бурного веселья.

Казалось бы, столь явное отступление от принятой линии объясняется двумя причинами: либо тут имело место трагическое недоразумение, либо эта уступка — результат продуманной политики. Как ни странно, почти никто из исследователей не занимался этим вопросом. По мнению казацких авторов, это еще одно следствие английской политики умиротворения и предательства, но такая трактовка мало что объясняет. Лорд Хенки, бывший старший чиновник МИД, выражал «глубочайшее сожаление, что в жару и страшную неразбериху лета 1945 года оказалось невозможно... вдаваться в каждое индивидуальное дело», из-за чего и были совершены «отдельные ошибки». Кое-кто высказал предположение, что включить старых эмигрантов в число репатриируемых посоветовал англичанам генерал Доманов. Но английские офицеры, к которым он мог бы обратиться с таким предложением, утверждают, что ничего об этом не знают. Да и вряд ли генерал Китли нуждался в советах Доманова. Других предположений пока как будто не выдвигалось. Но независимо от того, был ли этот эпизод запланирован или же являлся трагической ошибкой, несколько тысяч ни в чем неповинных людей были в результате обречены на смерть или муки; и поэтому нелишне было бы узнать, кто же принял решение, приведшее к столь страшным последствиям.

Прежде всего следует отметить, что если считать это решение ошибкой, то ошибка была грандиозных размеров. Белоэмигранты отнюдь не затерялись среди многих тысяч казаков, находившихся под контролем 78-й дивизии английской армии. Среди казачьих генералов, переданных советским представителям в Юденбурге, один лишь Доманов был — по советскому и английскому определению — советским гражданином. Остальные — Петр и Семен Красновы, Шкуро, Соломахин, Султан-Гирей, Васильев и многие другие — были известными эмигрантами, покинувшими страну после гражданской войны. По ведомостям Казачьего стана, не меньше 68% офицеров Доманова, или около 1 430 человек, являлись старыми эмигрантами. Среди рядовых и младших офицеров, а также женщин и детей это соотношение существенно меньше, но вряд ли мы преувеличим, предположив, что по меньшей мере 3 тысячи обитателей Казачьего стана были старыми эмигрантами, не подлежащими репатриации.

Никак нельзя сказать, что старые эмигранты не старались привлечь внимание к своему статусу. Султан-Гирей прибыл в лагерь в Шпиттале в полной форме царского офицера, генерал Кучук Улагай размахивал перед всеми своим албанским паспортом. В Пеггеце многие показывали майору Дэвису нансеновские паспорта и паспорта различных европейских стран.

Вообще у командиров 36-й пехотной бригады и 78-й пехотной дивизии вполне могло создаться впечатление, что у казаков заправляют делом исключительно старые эмигранты. Буквально все казацкие представители, с которыми вступали в контакт генерал Арбутнот и бригадир Мессон, — генерал Васильев, Николай Краснов, Ольга Ротова, капитан Бутлеров — были несомненно старыми эмигрантами. В военном дневнике бригады Мессона упоминается о наличии «царских эмигрантов» среди добровольцев, пришедших во власовскую армию.

Кроме того, это были не обычные эмигранты. Большинство представителей старшего поколения воевало в первой мировой войне, в которой Англия и Россия были союзниками. Мало к кому из белых генералов англичане относились с таким почтением, как к Андрею Шкуро. 2 июня 1919 года он был награжден орденом Бани за героические действия, совершенные совместно с английскими войсками.

Конечно, с 1919 года мир сильно изменился. Казаки уже не были союзниками англичан, а Шкуро сотрудничал с немцами — хотя в основном чисто номинально. И тем не менее — во всех приказах английского командования относительно выдачи казаков подчеркивалось, что несоветские граждане выдаче не подлежат. 21 мая бригадир Мессон получил первый такой приказ из штаба 5-го корпуса от генерала Китли. Этот текст представляется нам крайне важным.

«Тема: определение русских граждан.

В связи с обсуждением 21 мая в штабе 5-го корпуса вопроса о выдаче советских граждан.

1. В последнее время штаб получил сведения о случаях, в которых возникали сомнения по поводу того, следует ли считать членов некоторых формирований и групп советскими гражданами и репатриировать их в СССР. Ниже перечислены правила, которыми следует руководствоваться в этих случаях.

Члены русского «шуцкорпуса» (в том числе и румыны) не считаются советскими гражданами впредь до последующих распоряжений.

Советскими гражданами считаются:

группа атамана,

15-й Казачий кавалерийский корпус (в том числе казаки и калмыки),

резервные отряды генерал-лейтенанта Шкуро,

кавказцы (в том числе мусульмане).

2. Отдельные случаи будут рассматриваться только в порядке исключения. При этом будут применяться следующие правила:

а) Всякое лицо, находящееся теперь в наших руках, примкнувшее ранее к немецкой армии или частям, воюющим на стороне немцев, и проживавшее в пределах СССР по состоянию на 1938 год, считается советским гражданином и подлежит выдаче.

б) Впредь до дальнейших указаний не считаются советскими гражданами лица русского происхождения, если они к моменту вступления в немецкую армию не проживали в СССР по крайней мере после 1930 года.

в) Во всех сомнительных случаях следует считать данное лицо советским гражданином».

Николас Бетелл в книге «Последняя тайна» замечает: «Приказ Китли, где говорилось о нераспространении репатриации на русских, не проживавших в России с 1930 года, противоречил его же собственному приказу от 24 мая, в котором четко указывалось, что все офицеры без исключения будут отосланы на родину. Именно приказ от 24 мая и имел реальную силу».

Приказ от 24 мая, в частности, гласил: «Чрезвычайно важно, чтобы все офицеры, особенно старшие командиры, были окружены и чтобы никто не мог бежать. Советские войска придают этому чрезвычайное значение. По-видимому, обеспечение выдачи офицеров они будут считать проверкой доброй воли англичан».

Лорд Бетелл заключает из этого, что выдача белоэмигрантов производилась по прямому распоряжению генерала Китли, и нижестоящие офицеры просто подчинились его четким, хотя и несправедливым, инструкциям.

Но давайте ознакомимся с самим приказом. Вот что сказано в первом параграфе: «1. Определение. В этом письме термин «казаки» употребляется по отношению к советским гражданам, которые воевали на стороне врага либо сотрудничали с ним. Сюда же относятся лица, приставшие к их лагерю, и немецкие офицеры.

Определение советского гражданина см. в письме штаба [5-го корпуса] 405/G от 21 мая».

Ссылка на это определение имеется и в оперативных инструкциях 78-й дивизии от 28 мая: «1. В соответствии с условиями Ялтинского соглашения, все советские граждане, находящиеся у союзников, подлежат возвращению в СССР.

2. В этом приказе термин «советские граждане» обозначает лиц советской национальности, включая и членов их семей, находившихся в лагере, которые воевали на стороне врага или сотрудничали с ним. Определение дано в письме штаба 5-го корпуса за номером 405/G от 21 мая, посланном только в 36-ю бригаду».

Бригадир Мессон и его штаб знали о всех этих приказах, но до командиров батальонов они не дошли. Мессон лишь сказал полковнику Малькольму, что «репатриации подлежат все», ни словом не обмолвившись о том, что на многих этот приказ не распространяется. В подробном рапорте бригадира Мессона об операции, датированном 3 июля, в частности, говорится: «а) На Ялтинской конференции было решено, что все советские граждане, находящиеся на территории, занятой союзниками, подлежат возвращению в СССР. Командир 36-й пехотной бригады был уведомлен об этом обстоятельстве около 20 мая 1945 г.

б) Письмо 405/G от 21 мая 1945 г. послужило руководством к тому, кого считать советским гражданином. Следует отметить, что, хотя в этой директиве говорилось о рассмотрении индивидуальных случаев лишь в исключительных обстоятельствах, в 36-й пехотной бригаде были приняты все возможные меры, чтобы исключить несоветских граждан из числа репатриируемых...»

Последняя фраза звучит весьма загадочно: если сие должно означать, что при выдаче казаков проводилась проверка гражданства, то это не соответствует действительности. Полковник Малькольм фактически не имел полномочий проводить проверку до завершения основной части выдач. Правда, майор Дэвис по собственному почину избавил нескольких человек от перевозки в Юденбург, но это был акт личного милосердия, не санкционированный штабом бригады — более того, штабу неизвестный. Приказ у полковника Малькольма был совершенно однозначен: все без исключения должны вернуться в СССР.

Но если, как было показано выше, в приказе, полученном Мессоном, четко оговаривалось, что репатриации подлежат только советские граждане, почему же около 3 тысяч старых эмигрантов

были обманом доставлены на советский приемный пункт в Юденбурге? Бригадир Мессон, ныне генерал, объяснил автору, что он получил устный приказ начальства, уполномачивающий его выдать всех казаков, находящихся под его контролем, независимо от их гражданства. С его точки зрения, этот устный приказ полностью исключал всякую возможность не выдавать казаков, не являющихся советскими гражданами. Генерал Мессон объясняет: «В бригаде все уже какое-то время участвовали в активных операциях и привыкли действовать по устным приказам, часто даже без всякого письменного подтверждения. Никому из нас не пришло бы в голову использовать письменные приказы для невыполнения переданных устных распоряжений. Я нисколько не сомневался в приказаниях, отданных мне командирами и старшими офицерами штаба».

Действительно, устные инструкции, полученные Мессоном, не допускали двух толкований: «У меня тогда сложилось впечатление, что все офицеры должны быть отосланы на Восток — мне и до сих пор так кажется. Это подтверждали все беседы с высшими командирами и их штабами, и мне не раз говорили, что приказ исходит из штаба фельдмаршала Александера и является выражением политики правительства его величества... Повторяю, мне чрезвычайно ясно дали понять, что все офицеры подлежат выдаче и что до выдачи никаких индивидуальных проверок проводить не следует, во всяком случае, не в моем районе».

По утверждению генерала Мессона, именно это заставило его проигнорировать все вышеизложенные оговорки насчет исключения несоветских граждан из числа репатриируемых. Сам он вполне принял это объяснение. Действительно, проведение официальной проверки гражданства было связано с большими трудностями. При имевшихся скудных ресурсах сложно было разработать действенный механизм проверки и не менее сложно было организовать ее так, чтобы казаки ничего не заподозрили и не начались бы массовые побеги. Положение усугублялось тем, что подготовка к выдаче проводилась в очень быстром темпе.

Все это правда. Тем не менее, другие офицеры, связанные с этими операциями, говорили автору, что препятствия были преодолимы. Генералы Мюррей и Бредин и майор Дэвис, задачи которых были очень широки и разнообразны, от планирования операции до ее осуществления, не сомневаются в возможности проведения проверки в Пеггеце. Ведь, в конце концов, у многих эмигрантов имелись иностранные и нансеновские паспорта. Еще существеннее то, что проверка гражданства считалась само собой разумеющейся. Во всех районах Италии и Австрии, контролируемых союзными армиями (за исключением случая, о котором идет речь), принимались меры для того, чтобы обеспечить возвращение на родину только тех освобожденных или взятых в плен русских, которые подпадали под условия Ялтинского соглашения. 6 мая штаб союзных армий дал точное определение понятия «советский гражданин». 22 мая штаб 5-го корпуса запросил вышестоящее начальство о подтверждении английской политики в этом вопросе.

В тот день штаб ВКЭСС выслал им телеграмму со следующими разъяснениями: «1. Выдача всех советских граждан, которых возможно передать без применения силы, производится непосредственно 8-й армией.

2. Все прочие подлежат эвакуации в 12-ю армейскую группу.

3. Определение советского гражданина дано в майском письме штаба ВКЭСС... В отношении казаков следует обращаться к письму А 4073 от 21 мая».

В общем и целом проверка была всегда довольно приблизительной и в основном сводилась к подтверждению заявления пленного о том, что он не является советским гражданином. Правда, можно возразить, что трудно применить подобный метод к большой массе народа, как в Лиенце. Тут стоит рассказать историю двух формирований, о которых в этой книге еще не упоминалось.

В районе Санкт-Вейта и Шпитталя в плен английским войскам сдалась дивизия, в которой было около 10 тысяч украинцев. Это формирование было создано немцами в Галиции в 1943 году и называлось Waffen SS Panzer Grenadier Division Galizien. В начале 1945 года часть была переименована в 1-ю Украинскую дивизию под номинальным командованием украинского генерала Павло Шандрука. Такая перемена была связана с запоздалой попыткой немцев создать «третью силу» из антикоммунистических славян, но фактически командиром дивизии оставался генерал СС Фрейтаг, который вместе с другими немецкими офицерами предусмотрительно исчез перед сдачей в плен.

Пока дивизия поджидала прибытия войск 8-й армии, Шандрук, как в свое время Паннвиц, писал англичанам письма о том, что ждет его людей по возвращении в СССР, и просил не передавать их советским властям. Кроме того, он послал посредника к командующему польскими частями в Западной Европе генералу Андерсу с просьбой похлопотать за украинцев перед англичанами. 8 мая к англичанам отправился еще один парламентер, и дивизия сдалась в плен. Шандрук послал меморандум английскому верховному командованию, разъясняя положение украинцев как народа и утверждая, что их нельзя считать советскими гражданами.

Сам Шандрук бежал в американскую оккупационную зону, в Баварию. Дивизия же в составе 10 тысяч человек находилась под контролем английского 5-го корпуса в районе Шпитталя на Драве, в том самом злосчастном городе, где Доманов и другие офицеры Казачьего стана провели ночь с 28 на 29 мая по пути в Юденбург. Офицерам и солдатам Шандрука повезло больше. Их не выдали советским представителям, а перевезли в мае в лФ0герь в Белларии (Италия). Отсюда они в октябре были переведены в другой лагерь по соседству, в Кесенатико, и пробыли там до мая 1947 года.

Советская разведка знала о существовании этой дивизии, в состав которой входили и советские, и польские граждане. В июле на Потсдамской конференции Сталин лично потребовал, чтобы их вернули в СССР, и Черчилль пообещал уделить этому делу самое пристальное внимание. На совещаниях с фельдмаршалом Алексан-

дером 18 августа и в последующие дни советский представитель по делам репатриации генерал Базилов настаивал на репатриации этих «10 тысяч советских граждан» в соответствии с Ялтинским соглашением. Но английские военные власти провели тщательную проверку, и в ноябре мидовский чиновник написал, что в «Украинской дивизии советскими гражданами являются только 112 человек, остальные — лица со спорным гражданством». Короче говоря, всем тем украинцам, кто добровольно не согласился на репатриацию, позволили остаться на Западе. Несмотря на опасность протестов со стороны британского конгресса тред-юнионов, большинство их летом 1947 года приехало в Англию и получило там работу.

Украинская дивизия была крупной добычей, ускользнувшей от советских властей. То же самое случилось и с белоэмигрантским «шуцкорпусом» из Сербии. Это было единственное сохранившееся целиком формирование старой русской императорской армии. Когда армия Врангеля в 1920 году эвакуировалась из Крыма, многие ее офицеры и рядовые нашли прибежище в Югославии. Король Александр разрешил им поселиться в стране, оказал материальную помощь, позволил сохранить некое подобие армии. Здесь была даже собственная военная школа, где готовили офицеров для будущего антибольшевистского войска: белоэмигранты надеялись, что новое поколение подхватит идею борьбы за освобождение России.

После оккупации Югославии Германией в 1941 году Тито развернул подготовку к захвату власти в стране. Его партизаны, среди прочего, постоянно нападали на русских эмигрантов, и им в целях самообороны пришлось в 1942 году создать военное формирование из пяти полков, под командованием генерала Стейфона. Немцы, признав это формирование, снабдили его оружием и немецкой формой. Командиром стал полковник Анатолий Рогожин, бывший офицер личной охраны императора, участник гражданской войны. Когда в начале 1945 года немецкий Юго-Восточный фронт стал трещать по швам, корпус с боями отступил на север и вошел в Австрию одновременно с 15-м Казачьим корпусом фон Паннвица. 12 мая 1945 года Рогожин со своим полком сдался англичанам. Пленных содержали в Клейн Санкт-Вейте, в том же районе, что и фон Паннвица. Через год все эти 4500 человек были освобождены и получили разрешение поселиться на Западе.

И Украинская дивизия Шандрука, и корпус полковника Рогожина в основном состояли из русских по происхождению, но англичане решили, что Ялтинское соглашение к ним не относится. Они были ограждены от советских притязаний, а позже их распустили и разрешили остаться в свободном мире. Но почему же Шандрука и Рогожина не выдали советским властям в Юденбурге вместе с Домановым и фон Паннвицем? Ведь они были в одинаковом положении.

Начнем с украинцев. Советы требовали их возвращения так же настойчиво, как и в других случаях. Более того, Сталин лично говорил об Украинской дивизии на совещании Большой тройки. В

отличие от казаков Доманова, люди Шандрука до самой сдачи в плен яростно воевали против советских войск. Согласно условиям сдачи в плен, все военные формирования стран оси должны были оставаться на месте и сдаваться в плен противостоящей им союзной армии; то есть, строго говоря, Шандрук должен был бы сдаться маршалу Толбухину. Наконец, Украинская дивизия, в отличие от казаков, формально являлась частью войск СС — это обстоятельство, казалось, должно было бы побудить Советы еще настойчивее требовать ее возвращения; и вряд ли англичане сопротивлялись бы такому требованию.

Не менее странно, что «шуцкорпус» тоже был избавлен от угрозы насильственной репатриации. Узнав о выдаче своих друзей-белоэмигрантов в Юденбурге, полковник Рогожин испугался, что теперь очередь за ним. И хотя большую часть его корпуса составляли старые эмигранты, рассчитывать на это не приходилось, так как этот статус не помог генералу Краснову и сотням других офицеров.

Во время передачи казаков Советам никакой проверки ни в одном из полков, о которых мы рассказываем, не проводилось, так что никто не мог сколько-нибудь точно судить о соотношении советских граждан и лиц со спорным подданством. На самом деле среди украинцев был большой процент советских граждан — по оценке члена дивизии Миколы Волынского, около 20%. Деннис Хиллс, английский офицер, владевший русским и проводивший проверку, приводит значительно большую цифру — свыше 50%. Люди полковника Рогожина в основном были белоэмигрантами и детьми эмигрантов, но, конечно, и здесь было немало советских граждан: корпус имел мобилизационный пункт в Одессе, во время ее оккупации румынами.

Еще до выдачи казаков десятитысячная Украинская дивизия была переведена из Австрии в безопасную Италию, а лагерь в Клейн Санкт-Вейте, выделенный приказом от 21 мая как не подлежащий репатриации, в это же самое время стал пристанищем для русских эмигрантов. Слухи о статусе рогожинского формирования, находившегося в Клейн Санкт-Вейте, дошли до Лиенца и лагерей 15-го Казачьего корпуса, и именно здесь полковник Вагнер советовал искать прибежище майору Островскому. Тот, правда, рассудил иначе; но многие пробрались сюда из Лиенца через горы, избежали судьбы своих товарищей, спаслись, но так и не смогли понять, на каком основании англичане отобрали часть белоэмигрантов для репатриации, а другим разрешили остаться.

Мы не знаем мотивов, которыми руководствовался 5-й корпус при отборе «русских» частей для репатриации. Но выбор был сделан, причем сделан поспешно. Что касается украинцев, то тут на решение англичан могло повлиять обращение Шандрука к генералу Андерсу. Многие украинцы были подданными Польши, и вряд ли поляки, союзники Англии, сидели бы сложа руки и молча наблюдали за отправкой тысяч своих соотечественников в советское рабство. А что сказал бы Ватикан о принесении в жертву

нескольких тысяч верных католиков? Сомнительно, чтобы реакция Ватикана дошла до ВКЭСС или штаба 5-го корпуса уже в начале мая, но генерал Шандрук и в самом деле воззвал к Папе, и 5 июля Папа обратился к союзникам с протестом против насильственной репатриации украинцев.

У рогожинских белоэмигрантов никаких влиятельных друзей не было. Как ни удивительно, но похоже, что корпус был спасен стараниями одного-единственного англичанина. Полковник Рогожин, который мог бы рассказать всю историю с начала до конца, уже умер, однако один из его подчиненных описал мне их первую встречу с англичанами. В Австрии в месторасположение корпуса пришел отставной английский офицер, работавший для Красного Креста. Выяснив, кто эти люди и откуда они, он сказал, что служил в военной миссии при Белой армии и, как и они, считает их недавнюю борьбу против партизан Тито продолжением войны с большевизмом. Человек решительный и энергичный, он, преисполнившись готовности сделать все возможное ради старых боевых товарищей, отправился в полевой штаб. Какие аргументы пустил он в ход — нам неизвестно, но ему удалось зарегистрировать корпус как состоящий целиком из белоэмигрантов и потому не подлежащий репатриации. Этим офицером был полковник Уолтон Линг, заместитель представителя Красного Креста по помощи гражданскому населению в Северной Италии, в 1919—1920 годах служивший при британской военной миссии офицером связи с Деникиным и Врангелем.

Мы не располагаем документами, которые могли бы пролить свет на то, как и на каком уровне было принято решение относительно корпуса Рогожина. Мы знаем лишь, что уже 21 мая корпус был окончательно объявлен не подлежащим экстрадиции. Но то, что протесты одного-единственного офицера, выраженные достаточно энергично, могли в тех обстоятельствах спасти сотни и тысячи жизней, подтверждается многочисленными примерами. Вот что рассказывает писатель Брюс Маршалл, бывший в то время подполковником и служивший под началом полковника Логана Грея в Австрии: «Однажды, в отсутствие полковника Грея, мне было приказано сообщить белоэмигрантам в наших лагерях, что им предстоит перевод в другие лагеря русских пленных. Затем мне надлежало погрузить их всех, в том числе женщин и детей, на грузовики, вывезти в советскую зону и передать советским представителям. Я заявил решительный протест, сказав, что это негуманный и не подобающий англичанину образ действий. Не знаю, в результате ли моего протеста (я видел, что старшему офицеру, отдававшему приказ, все это было столь же отвратительно, как и мне), но в ближайшие 48 часов приказ был отменен...»

Похоже, штаб 5-го корпуса умел балансировать на проволоке: когда кто-либо возражал против выдачи советским властям несоветских граждан, штаб поспешно отступал, и никаких дипломатических неприятностей не было. Вообще, всякий раз, когда английские офицеры посылали запросы относительно положения несоветских граждан, находящихся на их попечении, следовали инструкции по проведению проверки. Так были спасены в последнюю минуту майор Островский и его друзья. И вот как это произошло.

28 мая, перед переводом казаков в лагерь в Вейтенсфельде, — откуда их должны были отправить в Юденбург — казачий офицер Георгий Дружакин разговорился с командиром английского батальона майором Генри Говардом. Дружакин спросил англичанина, передадут ли их Советам. Майор, который и сам ничего не знал, ответил, что вряд ли. Позднее, уже в Вейтенсфельде, Дружакин упрекнул Говарда в обмане, но тот резко ответил, что он солдат и обязан подчиняться приказам. Дружакин спорить не стал, но попросил майора передать кое-что фельдмаршалу Александеру:

— Спросите его, действительно ли в приказе сказано, что мы, старые эмигранты, воевавшие против большевизма с самой революции, должны вернуться назад. Я понимаю, что советские граждане должны вернуться, но неужели действительно приказ касается нас, старых царских офицеров?

Этот вопрос заставил майора Говарда призадуматься. Он долго размышлял над ним в ту ночь, а наутро поделился своими сомнениями с другими офицерами. На следующий день он присутствовал на конференции, устроенной бригадиром Ашером. Сам бригадир всячески старался определить категорию офицеров, которых можно было бы избавить от насильственной репатриации, и внимательно выслушал Говарда, поднявшего этот вопрос. Еще раньше, после сдачи казаков в плен, майор послал своему отцу, бригадиру Чарльзу Говарду, «весьма мрачный отчет о здешних делах». В ответе сэр Чарльз заметил, что никакое правительственное соглашение не может требовать насильственной репатриации русских, бежавших за границу до нынешней войны. Клайву Ашеру это утверждение показалось долгожданной лазейкой. В письменных приказах, выданных 6-й бронетанковой дивизии, весь 15-й Казачий кавалерийский корпус (в котором служили майор Островский и его друзья) определялся как состоящий из одних советских граждан, но в следующем параграфе давалось определение советского гражданина как лица, проживавшего в СССР до 1939 или, по крайней мере, до 1930 года, — а под это определение старые эмигранты никак не подпадали. Другой командир батальона, присутствовавший на этой конференции, отметил в своем военном дневнике: «Поскольку у нас в приказе четко оговорено, что только советские граждане подлежат возвращению в СССР, но в то же время наши подопечные классифицируются как советские граждане, эти два приказа очевидным образом противоречат друг другу, так как 50 казаков, о которых шла речь, не были в Советском Союзе с 1920 года».

Именно в это время майор Островский и 50 его офицеров отправлялись против своей воли в Юденбург. Грузовик с офицерами уже пристраивался в хвосте колонны, когда майор Говард примчался на своем джипе в лагерь. Пулей вылетев из машины, он побежал к полковнику Роузу Прайсу и объявил ему о новом

повороте дела. Полковник, которому до крайности не нравилась поставленная перед ним задача, немедленно начал действовать.

«Все бросились к телефонам, транспорт был остановлен, на другом конце провода тоже возникло полное замешательство — и наконец, пришел ответ, что отсрочка разрешена. Проверка принесла ожидаемые результаты: группа из 50 человек оказалась в категории несоветских граждан — среди них... был даже генерал».

Этот инцидент по-новому освещает не только события, имевшие место в районе 78-й дивизии, но и характер основных решений и намерений 5-го корпуса. Совершенно ясно, что устные приказы, которым бригадир Мессон придавал первостепенное значение, не дошли до бригадира Ашера, занимавшегося тем же, что и Мессон. Благодаря этому Ашеру удалось спасти 50 человек. В этой связи стоит отметить, что офицерам 6-й бронетанковой дивизии было все равно, о каких русских идет речь — красных или белых. Более всего они хотели спасти ни в чем не повинных людей.

Иначе обстояли дела в районе 78-й пехотной дивизии. 20 мая или накануне бригадиру Мессону сообщили, что согласно Ялтинскому соглашению «все советские граждане... подлежат возвращению в СССР». 21 мая Мессону было передано точное определение «советского гражданина». По-видимому, оно было послано в ответ на его запрос, поскольку текст гласил, что определение высылается из-за нескольких специфических случаев, донесение о которых поступило в штаб корпуса. Из другого источника мы узнаем, что «письмо 5-го корпуса 405/G от 21 мая вручено только 36-й бригаде». Вероятно, именно 36-я бригада Мессона запросила уточнения в ответ на «многочисленные петиции» казаков, упомянутые в рапорте бригадира. Но 29 мая, через 8 дней после того, как бригадир Мессон получил запрашиваемое им определение советского гражданства, в его штаб в Обердраубурге было доставлено следующее послание из штаба 8-го Аргильского полка в Лиенце: «Вчера вместе с казачьими офицерами был вывезен Гермоген Родионов. Последние 15 лет он проживал в Париже и не является советским подданным. Он, по-видимому, учитель. Его семья живет во Франции, и в казачьем лагере он оказался по ошибке. Мы просим вашего совета. Очень вероятно, что в казачьем лагере находится целый ряд лиц, не являющихся советскими гражданами. Какие распоряжения есть насчет таких людей?»

Бригадир Мессон уже больше недели знал, «какие распоряжения есть насчет таких людей», но не удосужился передать информацию. Запрос о Родионове был получен в 4 часа дня 29 мая. В это время французский учитель уже находился в руках СМЕРШа в Юденбурге. На эту судьбу его обрекли устные приказы, «имеющие первостепенное значение».

Противники проверки оперировали одним-единственным доводом: ее-де трудно проводить. Но в отношении казачьих офицеров это совершенно не соответствовало действительности. Большинство их были старые эмигранты, и ничего не стоило провести среди них проверку, когда они были собраны вместе в Шпиттале 29—30 мая.

Тут возникает еще одно невыясненное обстоятельство. Сегодня генерал Мессон откровенно признается, что в районе его бригады никакой проверки не проводилось. По его словам, это было неосуществимо, да и к тому же — он ведь получил устные приказы, в которых не имел права сомневаться. Однако вскоре после выдачи, 3 июля, штаб его бригады составил подробное описание операции, в котором было сказано следующее: «В 36-й пехотной бригаде были приняты все возможные в данных условиях меры для того, чтобы несоветские граждане не оказались среди лиц, переданных советским властям. В статистику было включено неизвестное количество перемещенных лиц, не являющихся советскими подданными... Отсутствие документов, а также скорость и секретность эвакуации исключали возможность исчерпывающей проверки, однако во время эвакуации были приняты меры по отделению лиц, явно принадлежащих к этой категории».

На самом деле ничего подобного не происходило. Проверка гражданства казаков началась только 4 июня, и тогда же полковник Малькольм впервые услышал о том, что выдаче подлежат лишь советские граждане. После этого в пеггецком лагере была открыта канцелярия, где старые эмигранты могли зарегистрироваться, представив документы — настоящие или фальшивые — о том, что они не являются советскими подданными. Затем казаков разделили: в Пеггеце остались зарегистрированные старые эмигранты, а ниже в долине устроили лагерь для новых эмигрантов. Однако это мероприятие бригадный штаб провел лишь после того, как основной состав казаков был благополучно передан Советам.

В общем создается впечатление, что казаки в долине Дравы оказались в особой категории. Они являли собой наименее военное из всех русских формирований, содержащихся в Австрии, они единственные не воевали на Восточном фронте, среди них, как было известно, исключительно большой процент составляли не советские граждане — и, несмотря на все это, они были выданы. На батальонном уровне офицеры 78-й дивизии вообще не подозревали о разнице между старыми и новыми эмигрантами, а старшие офицеры, бывшие в курсе дела, получили приказы, которым были вынуждены подчиниться.

78-й пехотной дивизией командовал генерал-майор Роберт Арбутнот. Подполковник Г.И. Бредин, работавший тогда в штабе дивизии, отвечал за моральное состояние солдат. Ему по долгу службы пришлось принимать жалобы со всех сторон (в том числе и от его собственного батальона) по поводу предполагаемой репатриации казаков, и он, в свою очередь, сообщил Арбутноту, какое настроение царит в дивизии.

— Я полагаю, сэр, это будет очень трудная операция, и я не знаю, как поведут себя солдаты в случае сопротивления со стороны казаков.

— Я прекрасно все понимаю, — ответил Арбутнот. — Посмотрим. Мне это тоже крайне не нравится, но, разумеется, все может пройти вполне гладко, и наши страхи окажутся напрасны.

Больше генерал ничего не сказал, но позже Бредину стало известно, что после этого разговора Арбутнот направился прямо к командиру корпуса генерал-лейтенанту Китли и высказал резкие возражения против задачи, порученной его дивизии. Бригадир К.И. Трайон-Вильсон, служивший тогда в штабе 5-го корпуса, помнит, как Арбутнот несколько раз являлся с протестами, причем выражался настолько резко, что генерал Китли в конце концов был вынужден строго приказать ему подчиниться. Арбутнот уступил и вернулся в штаб, решив, что по крайней мере операцию следует провести по возможности бескровно.

После главных выдач 1—2 июня тысячи казаков бежали, и англичане выслали в горы патруль для окружения беглецов. Отношение солдат к поставленной перед ними задаче во многом определялось личными качествами их командиров. Некоторые ограничились беспорядочными поисками, окружая тех казаков, которые буквально сами шли к ним в руки, другие же убивали или калечили тех, кого не могли поймать. Всего в июне было поймано 1356 казаков и кавказцев (общее число беглецов оценивается в 4100 человек). В порядке исключения штаб бригады позволил советским представителям, — вероятно, сотрудникам СМЕРШа, — контролировать поисковые операции. О таком советском представителе рассказывает капеллан Аргильского полка Кеннет Тайсон: «Он был в военной форме, но, насколько я помню, без всяких знаков различия. Он настоятельно предлагал свои услуги в качестве переводчика, хотя по-английски говорил с запинками и обладал скудным запасом слов. Нельзя сказать, чтобы он проявлял навязчивость, но у солдат сложилось впечатление, что он прислан сюда следить за выполнением операции».

Тайсон подчеркивает, что советский офицер был больше похож на чиновника, чем на офицера. Но «чиновники» такого рода имели оружие и стреляли по бежавшим казакам. Вероятно, это единственный случай, когда английским солдатам было приказано сотрудничать с работниками СМЕРШа в охоте за русскими беглецами.

В 6-й бронетанковой дивизии все было совсем иначе. Там генерал-майор Горацио Мюррей сам предупредил немецких офицеров корпуса фон Паннвица об ожидавшей их участи, явно рассчитывая, что они не замедлят скрыться. Получив приказы, он «не делал никаких попыток выяснить, как надлежит выполнять их». Ему казалось, «что чем они туманнее и расплывчатее, тем лучше». В районе, контролируемом дивизией Мюррея, побеги были самым обычным делом. «Я знаю, что мы потеряли множество русских, — объяснил генерал. — Охраны никакой не было». Но на просьбу советских допустить сотрудников СМЕРШа к участию в поисковых операциях он ответил категорическим отказом. Невозможно точно сказать, сколько человек спаслось в результате, но цифра эта, несомненно, приближается к нескольким тысячам и составляет большую часть казаков, находившихся под контролем дивизии.

Впрочем, такое разное отношение к делу двух командиров интересно не только в плане реальных последствий. Генерал Арбутнот протестовал против отданных ему приказов — и подчинился им. Генерал Мюррей протеста не выразил, но сделал все, чтобы свести до минимума эффективность этих приказов. 78-я пехотная дивизия генерала Арбутнота приняла чрезвычайные меры предосторожности перед главными операциями, во время и после них, чтобы обеспечить выдачу казаков советским властям. Напротив, в районе 6-й бронетанковой дивизии приказы выполняли с прохладцей, то и дело их нарушая. Однако никто не попрекнул этим ни генерала Мюррея, ни бригадира Ашера. Не получили они и ничего похожего на устный приказ, отданный бригадиру Мессону и отменяющий проверку. Совсем наоборот. Едва в Вейтенсфельде были обнаружены старые эмигранты, 5-й корпус начал проверку гражданства.

Контраст окажется еще большим, если взглянуть на отношение англичан к казачьим командирам. Полковник Вагнер, второй по старшинству офицер Казачьего кавалерийского корпуса, бежал без всяких помех. Все данные говорят за то, что и генерал фон Паннвиц мог при желании скрыться. И, как мы убедились, возможность избежать репатриации была предоставлена не только немецким офицерам корпуса (все это не вызывало никаких протестов в штабе 5-го корпуса). Напротив, в 78-й дивизии были приняты чрезвычайные меры по предотвращению побегов старших командиров. В частности, генералы Краснов и Шкуро с самого начала находились на особом положении. Англичанам было чрезвычайно важно заманить Краснова на «конференцию». Как вспоминает переводчик Бутлеров, майор Дэвис, сообщая Доманову о «конференции», добавил: «...Пожалуйста, не забудьте предупредить генерала Краснова: командующий [Александер] очень заинтересован встречей с ним». Около полудня в гостиницу ген. Доманова явился английский генерал высокого роста и еще раз подтвердил приказ, данный майором Дэвисом, и добавил: «Пожалуйста, не забудьте передать мою просьбу и старику Краснову. Вас очень об этом прошу».

Единственным высоким английским генералом в том районе был бригадир Мессон, но он категорически утверждает: «Я не приезжал к Доманову и понятия не имею, кто мог там побывать 28 мая. Все мы носили тогда полевую форму, рубашки или свитера с минимальными знаками различия, так что иностранец вполне мог ошибиться в чине».

Быть может, «генерал», о котором идет речь, на самом деле был штабным офицером или офицером разведки из дивизионного или корпусного штаба?

Похоже, что генерал Краснов на протяжении всей этой тонкой операции оставался объектом особо пристального внимания. Его машина первой выехала из Лиенца. По прибытии в Шпитталь английский офицер, сверяя имена казачьих генералов и штаба по списку, специально поинтересовался, здесь ли генерал Краснов. Его, впрочем, невозможно было ни с кем перепутать: возраст, ордена и уважение, оказываемое ему казаками, безошибочно выделяли его из общей массы. Полковнику Брайару передали послед-

нюю петицию об отсрочке, написанную по-французски генералом Красновым, с просьбой отослать копии королю Георгу VI, архиепископу Кентерберийскому и в штаб-квартиру Международного Красного Креста. Полковник согласился и, несомненно, сделал это, однако никакого следа петиции в архивах нет: она наверняка не попала по назначению.

Советские коллеги не меньше англичан были заинтересованы в том, чтобы генерал Краснов без помех проделал путь к выдаче. И встречавший казаков полковник НКВД первым делом осведомился, «кто в этой группе генерал Краснов».

Второй по популярности среди казаков фигурой был легендарный Андрей Шкуро. В отношении его тоже были приняты специальные меры предосторожности. За две ночи до «конференции» Шкуро ворвался в спальню генерала Соломахина и, чуть не плача, рассказал, что англичане хотят арестовать его и передать Советам. Действительно, на рассвете за ним явились английские солдаты и увезли его в джипе в Шпитталь, где его содержали под строгим арестом в помещении возле бараков. Когда на следующий день прибыли остальные казачьи офицеры, его не перевели к ним. Он оказался вместе с другими только 29 мая, при отъезде в Юденбург, где офицеры СМЕРШа встретили его с тем же вниманием, что и Краснова.

Чем можно было объяснить такое отношение к Шкуро? В официальных английских документах сказано просто: «Генерал Шкуро (из казачьего резервного полка) был послан в Шпитталь на два дня раньше, так как продвижение его полка закончено. Полк перешел под командование генерала Доманова».

В рапорте имеется в виду переброска полка Шкуро 20 мая из Тамсвега в Лиенц. Однако это объяснение представляется неубедительным. С какой стати нужно было поручать Доманову, под командованием которого и без того находилось уже около 25 тысяч человек, еще и функции командира резервного полка? Трудно поэтому не прийти к выводу, что Шкуро, арестованный в тайне от казаков, для того и был арестован, чтобы не смог убежать.

Наверное, мы докопались бы до правды, если бы не таинственное исчезновение двух важных документов, о которых можно судить по краткой записи в военном журнале 36-й бригады: «Примечание: описание казачьих сил в целом и участия генерала Шкуро в организации в частности см. в двух письмах, написанных им командиру 36-й пехотной бригады и переданных в 78-ю дивизию в досье «Письма 129 (G) 36-й пехотной бригады от 23—24 мая».

Но в военных дневниках бригады этих писем нет — они пропали. Генерал Мессон припоминает, что получал какое-то послание Шкуро, но подробности выветрились из его памяти.

Из краткого описания можно понять, что Шкуро пространно объяснял в письме положение казаков и цели их борьбы. Он рассказывал также о себе, о том, что после победы коммунистов в 1919 году он постоянно живет за границей. Эти письма наверняка были доставлены генералу Арбутноту и, скорее всего, генералу

Китли. Если бы они сохранились, у нас были бы неопровержимые доказательства того, что английское высшее командование в Австрии прекрасно знало о незаконности выдачи Шкуро Советам.

Генерал Китли впоследствии заявил, что если белоэмигрантов и выдавали Советам — то лишь по ошибке, и присутствие в генеральских бумагах писем Шкуро безусловно противоречило бы этому утверждению.

Похоже, что судьба Шкуро была решена на конференции штаба 5-го корпуса утром 21 мая, поскольку он единственный из казаков назван в приказе как подлежащий репатриации. Поэтому, когда один кавказец-офицер в лагере в Шпиттале, в гражданскую войну служивший под началом Шкуро, раздобыл себе паспорт, удостоверяющий югославское гражданство, полковник Брайар тотчас освободил его, не запрашивая никаких инструкций. Но тот же полковник категорически отказался освободить Шкуро, имевшего иностранный паспорт.

Подведя итоги, можно сказать, что передача офицеров в Лиенце вообще и Краснова со Шкуро в частности была не ошибкой, совершенной каким-нибудь заваленным работой штабным офицером в минуту стресса, но тщательно спланированной операцией. Меры предосторожности по изоляции казачьих офицеров от солдат были применены только к войскам Доманова, и поэтому объяснение, будто это было вызвано необходимостью предупредить организованное сопротивление, звучит просто отговоркой. На самом деле все эти особые меры принимались для того, чтобы обеспечить выдачу Советам царских генералов, которых так жаждали заполучить Меркулов и СМЕРШ.

Следует отметить еще одно важное обстоятельство. 28 мая один казак в Шпиттале увидел в руках у английского солдата красивый кинжал и шашку, принадлежавшие Шкуро. Забавное упоминание об этом оружии имеется в инструкциях штаба 78-й дивизии: «Относительно шашки генерала Шкуро. Ее пока не следует передавать Советам. Подлежит хранению в 78-й дивизии в ожидании дальнейших инструкций... Шашки других офицеров подлежат передаче в соответствии с предыдущими инструкциями».

Вероятно, местом назначения шашки был тот же самый музей МВД, который стал пристанищем и для формы генерала Краснова.

Итак, мы пришли к выводу, что речь идет не об ошибке, а о тщательно разработанном плане. Но если это действительно так, то кто принимал решение? К сожалению, ответить на этот вопрос не просто. Чем выше мы поднимаемся по командной лестнице, тем скуднее становятся документы и свидетельства. Тем не менее ясно, что решение исходило из штаба 5-го корпуса, где все факты были прекрасно известны. Мы уже отмечали, что послания Шкуро были получены в штабе 78-й дивизии, — однако мы не знаем, были ли они переданы в 5-й корпус и при каких обстоятельствах они пропали из архивов.

Вскоре после выдачи казаков командующий 5-м корпусом генерал Чарльз Китли представил свою собственную версию событий. В июле работники английского Красного Креста в Австрии получи-

ли сообщение о том, что английская армия применяла силу при выдаче пленных, причем многих репатриированных Советы, вероятно, расстреляли сразу же после выдачи. В сообщении говорилось и о том, что среди переданных Советам были русские белоэмигранты, ранее жившие в Западной Европе. Все это находилось в таком вопиющем противоречии с принципами Красного Креста, что встал вопрос об отзыве персонала Красного Креста из британских войск в Австрии. Это было крайне неприятно. Красный Крест играл важную роль, и англичане не могли допустить публичного скандала, да еще на тему, явно неподходящую для ушей общественности. Генерал Китли лично договорился о встрече с леди Лимерик, заместителем председателя военной организации английского Красного Креста. Вот что она рассказывает: «На мой вопрос, как обстоит дело с перемещенными русскими... он ответил, что были два инцидента, из-за которых и возникла вся история. Во-первых, несколько тысяч казаков были взяты в плен (последние три с половиной года они воевали в рядах немецкой армии, носили немецкую форму и являлись военнопленными). С ними было около полутора тысяч русских мужчин, женщин, детей. Они представляли собой вооруженное формирование, разделенное на полки. Согласно ранее установленной линии, было решено вернуть этих людей в СССР. Очевидно, некоторые сопротивлялись, но, как сказал генерал, дело обошлось двумя выстрелами и никто при этом не был ранен. Затем пленные были опрошены и согласились вернуться на советскую территорию со своими женами и детьми. Мужчины вернулись без какого бы то ни было нажима, женщины сначала протестовали по наущению священника, но затем последовали за ним в поезд. Английский офицер, сопровождавший их до советской территории, слышал, как представитель советских сил объяснил, что они теперь подлежат перевоспитанию, чтобы стать хорошими советскими гражданами, что им придется как следует поработать, но наказывать их никоим образом не будут. Нет никаких доказательств того, что их расстреляли. Я спросила, известно ли ему, где жили казаки, о которых идет речь: в районах СССР, оккупированных немцами, или же они жили до войны в Центральной Европе... Он сказал, что не знает и выяснить это невозможно — не исключено, что кто-нибудь из них и был белоэмигрантом, но никаких доказательств этого нет, и единственный непреложный факт — это то, что они воевали в немецкой армии».

На основе этого разговора леди Лимерик написала благожелательный отчет для Красного Креста, и дело было закрыто. С тех пор версия генерала Китли была принята за официальную. 14 мая 1952 года подполковник Освальд Стейн в письме в «Таймс» опровергает обвинения, выдвинутые другой влиятельной леди, графиней Атольской. Стейн, занимавший в 1945 году ответственный пост в Союзной контрольной комиссии в Австрии, утверждает, что «в английской зоне Австрии единственными русскими, репатриированными против их воли ...были граждане СССР». Он повторил это утверждение через два года в статье на ту же тему.

Приказал ли Китли собственной властью провести операцию, или он, в свою очередь, получил инструкции сверху? А если так, то насколько люди, отдававшие приказы, были осведомлены о присутствии в Лиенце белых генералов? Устный приказ игнорировать инструкции о проверке гражданства пленных бригадир Мессон получил, вероятно, 26 мая. Следовательно, утверждение в рапорте Мессона от 3 июля, что проверка проведена, было сделано с целью ввести кого-то в заблуждение. Но кого? Есть серьезные основания полагать, что таким образом в неведении держали фельдмаршала Александера, которому 14 мая Китли писал: «По совету Макмиллана я сегодня предложил советскому генералу из штаба Толбухина передать Советам всех казаков сразу. Я объяснил, что не в моей власти сделать это без вашего разрешения, но что мне хотелось бы знать точку зрения Толбухина, и если она совпадает с моей, то я обращусь к вам с официальным запросом. Я не вижу смысла задерживать этот огромный контингент советских граждан, которые, безусловно, являются источником разногласий между нами и Советами».

Александер разрешения не дал. Через три дня, 17 мая, в телеграмме Объединенному комитету начальников штабов он запросил инструкции относительно сдавшихся в плен казаков: «С целью ослабить скученность в южной Австрии нам срочно нужны инструкции относительно размещения примерно 50 тысяч казаков, в том числе 11 тысяч женщин, детей, стариков. Они были частью немецких вооруженных сил и воевали против союзников... Немедленное возвращение их в страну их происхождения может оказаться губительно для их здоровья. Прошу как можно скорее сообщить решение относительно их размещения».

Совершенно ясно, что Александер не знал, что делать: иначе почему бы он стал требовать инструкций по вопросу, который, по всей видимости, уже был решен кабинетом в сентябре?

Срочность, о которой упоминает Александер, объяснялась в значительной степени необходимостью решить проблему размещения и содержания казаков. К тому же их присутствие прямо за линией фронта могло бы осложнить ситуацию в случае возможного конфликта между английскими и югославскими войсками. Поэтому англичане развернули подготовку по переводу казаков под контроль 13-й армии США, в Южную Германию. Параллельно с рассмотрением этих планов и последующим отказом от них миссия Объединенного комитета начальников штабов в Вашингтоне настаивала на решении вопроса на высшем уровне, отмечая в то же время, «что на казаков распространяется Ялтинское соглашение о репатриации советских граждан, попавших к нам в руки».

18 мая Объединенный комитет начальников штабов обсудил запрос Александера. Но дебаты продолжались и в конце месяца. 29 мая фельдмаршал Алан Брук подтвердил, что Объединенный комитет начальников штабов высказался за возвращение казаков. Тем не менее через два дня было заявлено, что «до сих пор не выработана согласованная линия по передаче соответствующим властям коллаборационистов и членов полувоенных организаций

союзной державы». Только 20 июня Объединенный комитет начальников штабов одобрил предлагаемую политику, но к этому времени операции уже были завершены.

Обсуждение вопроса не поспевало за событиями. В середине мая в Граце было заключено соглашение с советским представителем о выдаче казаков, и Александер сообщил военному министерству, что «вопрос о передаче СССР и Югославии их граждан согласован». 23 мая штаб 5-го корпуса начал переговоры с советскими представителями, а 24 мая в Вольфсберге были намечены маршруты и приемные пункты.

Что именно заставило Александера самостоятельно принять решение, неясно. Главная документация по этому делу до сих пор засекречена, но имеющиеся у нас данные заставляют предположить, что Александер отложил бы выдачу, если бы имел четкий приказ об этом. Два месяца спустя он выражал серьезную озабоченность судьбой нескольких сот казаков, взятых в плен после главной выдачи в Лиенце. Число этих людей было невелико. Все они были взрослыми мужчинами, все они подверглись проверке, в ходе которой было неопровержимо установлено их советское гражданство, и, соответственно, они подпадали под приказ, в силу которого большинство казаков уже было отправлено на родину. Так что их дело, по сравнению с судьбой тех многих тысяч казаков, которые были выданы Советам в мае, выглядит пустяковым. И все же Александер писал в частном письме сэру Алану Бруку: «До сих пор я отказывался применять силу при репатриации советских граждан, хотя полагаю, что вряд ли имею право занять такую позицию. Тем не менее я буду продолжать следовать этой линии, пока мне не дадут приказа изменить ее. Я уже запрашивал инструкции по этому вопросу, но до сих пор не получил ответа. Я надеюсь, вы согласны с моей позицией, в противном случае я рассчитываю, что вы дадите мне об этом знать».

Тогда же — 23 августа — он написал в военное министерство, требуя «несколько изменить соглашение, с тем чтобы на данный период считать этих людей не имеющими гражданства. Дело это срочное».

Примененная фельдмаршалом в августе тактика оттягивания оказалась настолько эффективной, что казаки, о которых идет речь, не были выданы советским властям до тех пор, пока Александер оставался на посту главнокомандующего. В свете всех этих фактов невозможно представить себе, чтобы он не обратился бы раньше к тактике затягивания, если бы у него не было на то веских причин. Ведь даже 22 мая его штаб издал приказ, предусматривавший выдачу только тех советских граждан, «которые могут быть переданы Советам без применения силы», и давал четкую ссылку на принятое определение «советского гражданства». Сочувствуя делу Белой армии, генералы которой были сейчас его пленниками, награжденный в свое время Юденичем орденом Святой Анны 3-й степени, Александер делал вид, что еще не получил точных инструкций.

20 мая этим делом заинтересовался Уинстон Черчилль, написавший заместителю секретаря Военного кабинета генералу Исмею: «Что известно о численности русских, взятых в плен немцами и освобожденных нами? Можете ли вы провести различия между теми, кто просто работал на немцев, и теми, кто действительно воевал против нас? Могу ли я получить дальнейшие отчеты о 45 тысячах казаков, о которых говорит генерал Эйзенхауэр в своем донесении?.. Как они оказались в этом положении? Воевали ли они против нас?»

Очевидно, что-то беспокоило премьер-министра, и его интересовал вопрос о степени вины тех русских, которые обвинялись в сотрудничестве с немцами. Через 10 недель, на конференции в Потсдаме, он еще более четко выразит свои сомнения.

На подготовку информации, запрошенной Черчиллем, потребовалось какое-то время, и ответ Исмея был получен только 5 июня — к этому моменту судьба большей части казаков уже решилась. Так что информация устарела. К тому же, намеренно или случайно, она была очень неточной. О казаках было сказано, что это «примитивные племена» с Кавказа, входящие в 15-й Казачий корпус, отличившийся чудовищными жестокостями в Югославии. На самом деле, больше половины казаков были с Домановым в Италии, так же, как и все кавказцы. Обвинения же в «грабежах и убийствах» были совершенно бездоказательны. Однако все это не имеет значения: ответ пришел слишком поздно, и никакое решение Черчилля уже не в силах было изменить положение дел.

А решение Черчилль принял. 26 мая Джеффри Мак-Дермот из МИД писал полковнику К.Р. Прайсу, помощнику секретаря по военным делам в канцелярии Военного кабинета: «Начальники штабов предложили МИД в сотрудничестве с военным министерством изучить это дело как неотложное и посоветовать, какой ответ послать фельдмаршалу Александеру... Далее следует изложение нашей точки зрения относительно трех категорий, присутствие которых в Южной Австрии беспокоит фельдмаршала... Мы согласны с миссией Объединенного комитета, что казаки включены в Ялтинское соглашение о репатриации советских граждан, и соответственно считаем важным, чтобы те из них, кто является советскими гражданами, были переданы советским властям, как того требует наша генеральная линия. Если мы поступим с этими людьми иначе, это явится нарушением соглашения, что может рассматриваться как изменение политики в этом вопросе, которому советское правительство придает большое значение; и Советы могут усмотреть в таком поступке враждебные намерения. Это также может повлечь за собой нежелательные последствия для наших пленных, освобожденных Красной Армией. Мы предлагаем фельдмаршалу Александеру договориться с маршалом Толбухиным о выдаче казаков через демаркационную линию временно оккупированной зоны».

Поскольку такая договоренность была достигнута за несколько дней до того, это предложение может показаться несколько запоздалым. Через два дня, 28 мая, полковник Филлимор из военного министерства писал: «Казаки. Несомненно, с ними следует обой-

тись в соответствии с Ялтинским соглашением... Телеграммы из 15-й армейской группы, где сказано, что 5-й корпус уже выдает своих казаков, несколько меняют положение в плане их перевода в ВКЭСС. По нашему мнению, Александеру следует сказать, что акция 5-го корпуса одобрена и все русские подлежат выдаче... но что мы должны поторопить маршала Толбухина с параллельной передачей англичан и американцев».

На первый взгляд эти заявления могут показаться запоздалыми: решение о предлагаемых здесь мерах уже было принято, и операция должна была состояться буквально со дня на день. Правда, эти письма свидетельствуют о том, что ни МИД, ни военное министерство не посылали Александеру приказов к действию. Но с какой стати МИД выдвигал аргументы в пользу принятия политики, которая уже была в процессе осуществления? Этот вопрос я задал самому Джеффри Мак-Дермоту, и вот что он написал: «В то время я занимал очень небольшой пост: меня только что назначили первым секретарем МИД. Я работал в Южном отделе, который, помимо других стран, занимался также и Австрией, но не был прямо связан с СССР. Я полагаю, что какое-то очень важное лицо, вроде самого Уинстона Черчилля, приказало фельдмаршалу Александеру — возможно, что и устно, — подготовить все для репатриации... и действовать в установленном порядке. Затем добросовестные канцелярии кабинета запросили у МИД какие-либо письменные подтверждения. Вы ведь представляете себе, как работает английское правительство. Для их архивов было достаточно даже письма от незначительного чиновника, вроде меня».

Действительно, другое объяснение подыскать трудно. Зачем бы еще могло канцелярии кабинета понадобиться подтверждение МИД? Ни МИД, ни военное министерство, ни Объединенный комитет начальников штабов не посылали Александеру никаких решений. Черчилль же в принципе считал, что нужно избавиться от русских «как можно скорее». Но какую позицию занимал он сейчас? В конце концов, речь шла о политике, придерживаться которой решено было год назад, и настойчивость Александера могла вызвать лишь недоумение. Никаких доказательств того, что Черчиллю было известно о присутствии в Австрии белоэмигрантов, нет; и вряд ли он благословил бы ненужную выдачу тех, чье дело некогда так горячо поддерживал. Ведь это он заявил в 1921 году, что «ни один лояльный [демократии] русский не может быть выслан в советскую Россию против своей воли». А несколько позже добавил: «Мы дали обещание и не можем его нарушить».

Но был еще один человек, сыгравший важную роль в судьбе казаков. Гарольд Макмиллан, в то время английский министр-резидент на Средиземноморском театре, находился в постоянном прямом контакте с премьер-министром. Главной обязанностью Макмиллана были доклады о политической ситуации. 13 мая он прилетел в Клагенфурт для встречи с генералом Китли и оценки положения на месте. Именно он, как мы уже показали, потребовал от Китли скорейшей выдачи казаков советским властям. В мемуарах Гарольда

Макмиллана есть краткое упоминание о проблеме казаков, которой ему пришлось заниматься во время этого визита: «Среди сдавшихся в плен немцев было около 40 тысяч казаков и белоэмигрантов, с женами и детьми. Разумеется, советское командование предъявило свои права на них, и нам пришлось выдать их Советам. К тому же если бы мы отказались, что бы мы с ними делали? Но меня крайне удручало, что другого выбора у нас не было. По крайней мере, мы получили взамен около 2 тысяч английских пленных и раненых, которые находились в том же районе в немецком плену».

Так что Макмиллан наверняка отличал старых эмигрантов от «новых». Первых он справедливо называл «белоэмигрантами».

(Через десять с лишком лет горстка старых эмигрантов вышла из лагерей ГУЛага, и Хрущев разрешил им вернуться на Запад. 4 сентября 1958 года 15 бывших зэков, нищих больных людей, обратились к английскому премьер-министру с просьбой о небольшой денежной компенсации за все те страдания, что были незаконно причинены им. 27 октября они получили категорический отказ. Кстати, премьер-министром тогда был Гарольд Макмиллан, сыгравший 13 лет назад главную роль в деле отправки этих несчастных в лагеря.)

В своих мемуарах Макмиллан упоминает о выдаче казаков чрезвычайно кратко. В дальнейшем он неизменно отказывался более подробно рассказать об этом. Другой свидетель, Тоби Лоу, ныне лорд Олдингтон, бывший бригадиром генштаба 5-го корпуса, присутствовал на конференции 21 мая и отдал в тот же день роковой приказ. Но на мой вопрос он ответил, что не может ничего припомнить о выдаче казаков.

Через два года после выдачи в Лиенце член парламента Тафтон Бимиш отправился в Австрию для поиска данных. Один русский, участник и очевидец событий, передал ему подробное и точное описание трагедии, особо подчеркнув, что на смерть было послано большое число эмигрантов. 17 июля 1947 года Бимиш обратился в парламент с просьбой расследовать это крайне неприятное дело. И сотрудник МИД Томас Браймлоу затребовал в военном министерстве полный отчет, добавив, однако, что по возможности нужно «предоставить майору Тафтону Бимишу наименее мрачную версию событий». Через несколько месяцев военные власти в Вене представили краткий отчет, не вдаваясь в обсуждение инцидентов, описанных майором Бимишем, и утверждая, что «в тот период делалось все возможное для отделения несоветских граждан от тех, кто подлежал репатриации». На основании этого отчета Томас Браймлоу подготовил ответ, в котором подчеркивалось, что при репатриации проводилась тщательная проверка. Из этого ответа создается впечатление, что само упоминание о возможности выдачи старых эмигрантов считалось опасным. Браймлоу старательно убрал упоминание о «несоветских гражданах», заменив их на «люди, которые не воевали за немцев». Очевидно, он решил, что такое определение дает меньше оснований для неприятного расследования.

Глава 12

КОНЕЦ ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА

В Берлине 28 января 1945 года было официально объявлено, что русская армия под командованием генерала Власова более не является частью вермахта, но представляет собой независимое формирование, подчиняющееся правительству Комитета освобождения народов России (КОНР). До сих пор, как уже упоминалось в первой главе, власовская армия существовала только на бумаге, а ее «генерал» был, по сути, узником. Хотя в немецкой армии служило предположительно 800 тысяч русских, украинцев, прибалтийцев, кавказцев, татар и другие национальные «легионы», все это были раздробленные формирования, которыми командовали исключительно немцы, а генерал Власов не имел права отдать приказ даже взводу своих соотечественников. Ни Власов, ни его армия не пользовались популярностью у заправил рейха. Гитлера и Гиммлера не убедили доводы Власова о том, что «русского может побить только русский», они считали генерала и его «армию» всего лишь пропагандистской фикцией, полезной для усиления дезертирства из Красной Армии. Розенбергу претила твердая решимость Власова восстановить единую национальную Россию, очищенную от большевизма (это противоречило его собственной политике дробления России на составные части). Из всех нацистских руководителей у одного лишь Геббельса хватило ума понять то, что он сформулировал 29 апреля 1943 года: «Если бы наша восточная политика была разумнее, мы наверняка достигли бы гораздо большего».

Самым ярым врагом Власова был, вероятно, рейхсфюрер СС Гиммлер. Его приводила в ярость одна лишь мысль о том, что Германия будет чем-то обязана «недочеловеку» славянину. Свои чувства Гиммлер выразил в речи 14 октября 1943 года в Бад-Шахене: «Господин Власов начал выказывать чрезмерную гордость, присущую русским и славянам. Он заявляет, что Германия не может завоевать Россию, что Россия может быть завоевана только русскими. Осторожнее, господа: в этой сентенции таится смертельная опасность... У германской армии может быть только одна молитва — утром, днем и вечером: мы победили врага, мы, немецкая пехота, победили всех врагов в мире. И если вдруг появляется

какой-то русский, дезертир, который позавчера, может, был подручным мясника, а вчера — сталинским генералом, и читает нам лекции с чисто славянским высокомерием, утверждая, что Россия может быть завоевана только русскими, то я вам скажу, что уже по одной этой фразе видно, какая он свинья».

Так думал Гиммлер в 1943 году. Но не прошло и года — и он был вынужден согласиться на встречу с «господином генералом» Власовым и вежливо выслушивать в разговоре язвительные вопросы собеседника насчет нынешней военной ситуации «недочеловеков» и намеки на то, что он, Власов, до плена командовал армией, которая в 1941 году нанесла немцам серьезный урон. А в заключение беседы Гиммлер пообещал помочь Власову стать командиром действительно независимой русской армии. Впрочем, причину такой перемены в поведении рейхсфюрера СС понять нетрудно. За 11 месяцев, прошедших между его речью и встречей с Власовым, положение на фронтах существенно изменилось — на западе союзники продвинулись в восточную Францию и Северную Италию, на Востоке советские войска полностью освободили советскую территорию и неудержимо продвигались в Польшу и Румынию. Тут уж даже фанатичному приверженцу идеи германского расового превосходства приходилось признать, что дела обстоят не совсем так, как раньше, что полное военное поражение союзных стран становится все более отдаленной или даже — если только он смел себе в том признаться — недостижимой целью. Правда, оставалась еще на все лады разрекламированная идея, что западные и восточные союзники вцепятся друг другу в горло и тем спасут Германию, но пока что никаких признаков такого поворота событий не наблюдалось. И одни лишь «остполитикер» (восточные политики), чьи взгляды деятели рейха высмеивали в 1943-м, предлагали внешне вполне реальную надежду на нарушение баланса сил одним ударом. Если Власов и его помощники выйдут на поле боя как независимая русская армия, действующая в союзе с Германией, война на Востоке может превратиться в русскую гражданскую войну, и это станет повторением 1917 года, причем Власов сыграет роль орудия немецкого генерального штаба, как в свое время — Ленин. Тогда переворот, осуществленный при поддержке Германии, заставил Россию выйти из войны — то же самое может удаться и теперь. Конечно, та Россия, которую намеревается восстановить Власов, может обернуться для немецких амбиций ничуть не меньшей угрозой, чем сталинская. Но гений фюрера найдет выход из положения: например, поставит раздираемой междоусобной борьбой России такие условия, по сравнению с которыми Брестский мир покажется образцом великодушия.

На протяжении многих месяцев отдельные группы в окружении Гитлера пытались заинтересовать его различными аспектами «восточной политики». Но, наверное, именно события в июне—июле 1944 года — высадка союзников в Арденнах и прорыв Красной Армии в Польше, последовавший за начатым 20 июня наступле-

нием, — заставили Гиммлера вновь вспомнить о наглом «подручном мясника».

Среди сотрудников Гиммлера выделялся молодой штандартенфюрер СС Гюнтер д'Алькэн, редактор еженедельника СС «Шварцкорпс», ответственный также за пропаганду на Восточном фронте и понимавший, как важно в этом деле играть на ненависти многих русских к их варварскому режиму. Весной 1944 года д'Алькэн познакомился со Штрик-Штрикфельдтом, прибалтийским немцем, служившим в немецкой армии и близким к Власову. Штрикфельдт уговаривал д'Алькэна использовать в обращениях к советским солдатам идеи русского освободительного движения. Его доводы показались штандартенфюреру убедительными, и он согласился начать такую пропагандистскую кампанию на Южном фронте. Успех операции под кодовым названием «Скорпион» превзошел все ожидания: приток дезертиров из Красной Армии увеличился вдесятеро. Убедившись в правоте Штрикфельдта, д'Алькэн решился обратиться к руководству СС. Его красноречие — вкупе с катастрофическим развитием дел на фронте — принесло плоды, и Гиммлер дал согласие на встречу с человеком, которого за девять месяцев до того обзывал «свиньей».

Встреча была назначена на вечер 20 июля, но именно в этот день бомба, подложенная графом Штауффенбергом в Волчьем логове, едва не убила Гитлера, и свидание, разумеется, не состоялось. На другой день оберфюрер СС доктор Эрхард Крёгер встретился с генералом СС Бергером для обсуждения вопросов, связанных с датскими «ваффен СС». В конце разговора Бергер сказал, что Гиммлер поручил ему прощупать Власова в предварительной беседе, а поскольку Бергер понятия не имел, чего от него хочет рейхсфюрер, он попросил оберфюрера присутствовать при разговоре с русским генералом (Крёгер был родом из Прибалтики и говорил по-русски).

Встреча состоялась через несколько дней. Власов произвел самое благоприятное впечатление на Бергера (который, кстати, уже однажды его «прощупывал»). В телефонном разговоре с Гиммлером он рекомендовал предоставить Власову все возможности для проведения в жизнь его программы, а доктора Крёгера назначить офицером связи между власовским движением и командованием СС. Гиммлер согласился, и Крёгер почти до самого конца выполнял роль единственного официального посредника между немецкими властями и командованием РОА.

Вскоре Гиммлер заявил о своей готовности лично встретиться с Власовым. 16 сентября Власов приехал в полевую штаб-квартиру рейхсфюрера СС в Растенбурге, в Восточной Пруссии. На встрече присутствовали также Гюнтер д'Алькэн и генерал Бергер, переводчиком был доктор Крёгер, который и поделился с автором своими воспоминаниями. Гиммлер был безукоризненно вежлив, извинился, что встречу пришлось отложить, и с явным уважением выслушал высокого, представительного «русского де Голля». Рассказы о том, чего он мог бы добиться, если бы ему предоставили свободу

действий, так увлекли Гиммлера, что встреча продолжалась 6 часов. Когда разговор закончился, Власов торжествующе заявил Штрик-Штрикфельдту, что наконец-то они добились своего! Рейхсфюрер СС согласился предоставить русскому освободительному движению статус независимой организации с правом набирать армию из миллионов русских, находящихся в пределах великого рейха.

Гиммлер действительно отнесся к планам Власова с энтузиазмом. По словам доктора Крёгера, руководитель СС сумел понять, что спасти Германию от катастрофы может только новая политика. Уповать на то, что вермахт сам, без посторонней помощи, справится с большевизмом, было уже немыслимо, и если Власов в состоянии выполнить свои обещания, следует непременно к нему обратиться, — так рассуждал Гиммлер, да и Геббельс считал поддержку Власова реальной политикой для Германии. Тем не менее новая стратегия вызвала сопротивление мощных сил. Розенберг, усмотрев в ней прямой вызов своей политике раздела России среди населяющих ее народов, потребовал у доктора Крёгера объяснений. «Вам следует обратиться не ко мне, а к моему начальнику», — сардонически ответил оберфюрер. «А кто ваш начальник?» — спросил Розенберг, но, услышав зловещее имя Гиммлера, поспешил сменить тему разговора.

Однако с фюрером — пока еще всемогущим — такой трюк бы не прошел. Хотя Гитлер с трудом согласился наконец укрепить трещащий по швам вермахт парой тысяч русских наемников, он вовсе не имел в виду создания настоящей армии, которая, на его взгляд, неизбежно стала бы «пятой колонной». Поэтому намерения Гиммлера с самого начала тормозились реальной или потенциальной враждебностью Гитлера и его непосредственных советников, и он дал согласие лишь на создание армии, не превышающей трех дивизий, тогда как Власов рассчитывал на десять. Но привередничать было бы неразумно, и Власов взялся за создание нового «правительства» и набор «армии». У него было немало сторонников в СС и вермахте: многие влиятельные немцы считали, что сделать ставку на русского генерала — куда реальнее и надежнее, чем дожидаться разрекламированного секретного оружия. Крупнейшие нацистские деятели — Гиммлер, Геббельс, Геринг и Риббентроп — прощупывали Власова. Наконец, к различным «национальным комитетам», представляющим прибалтийцев, украинцев, грузин и другие меньшинства России и находящимся под покровительством Розенберга, обратились с призывом объединиться под эгидой нового руководства. Это руководство составили сам Власов, личность яркая и незаурядная, украинец Сергей Буняченко, отличавшийся своенравным и независимым характером, Малышкин и Трухин — бывшие красноармейские офицеры, служившие в армии еще в царское время, и бывший командир советской гвардейской дивизии Владимир Боярский. Самой интересной фигурой был, пожалуй, Георгий Жиленков. Беспризорник, осиротевший после большевистского переворота, он вырос в московских трущобах, в

юности вступил в партию и дослужился до политрука. Попав в плен, он стал ярым приверженцем дела русского освобождения. Человек умный и изобретательный, он быстро выделился и во власовском движении выполнял функции неофициального «министра пропаганды». Сложные маневры, интриги и отсрочки изрядно подорвали веру руководителей РОА в успех своего дела. С приближением зимы 1944 года победы союзников становились все убедительнее, и в поисках утешения лидеры движения все чаще обращались к водке.

Наконец, 14 ноября 1944 года настал момент, который можно считать началом нового русского национального движения: был создан КОНР. Пятьсот делегатов, представлявших различные народы, населяющие Россию, собрались в Праге, в Градчанском дворце. Здесь, в Испанском зале, 14 ноября, в 3 часа дня, под приветственные крики собравшихся был оглашен Манифест КОНР. Этот важный документ провозглашал целью Комитета «свержение сталинской тирании» и «создание новой, свободной народной государственности». В манифесте говорилось, что Комитет «приветствует помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины. Эта помощь является сейчас единственной реальной возможностью организовать вооруженную борьбу против сталинской клики».

Национал-социализм, его доктрины и вожди в документе даже не упоминались, не было здесь и ссылок на такие отвратительные принципы нацистской политики, как антисемитизм и агрессия.

Сообщения о Пражском манифесте вызвали широкий отклик среди русских, причем не только в Германии и России. В часе езды от центра Парижа находился лагерь Боригар, где собралось несколько тысяч русских, освобожденных союзниками во Франции. Один из его обитателей, молодой человек, отца которого в свое время арестовали и который был вынужден с малолетства работать, чтобы как-то прокормиться, вспоминает, как его товарищи встретили сообщение о манифесте. Собравшись вокруг приемника, они с радостной надеждой ловили такие выражения, как «ликвидация принудительного труда», «ликвидация колхозов», «установление неприкосновенной частной трудовой собственности», — и ведь все это говорилось по-русски! Правда, обитателям лагеря Боригар, несмотря на все эти надежды, вскоре предстояло возвращение в СССР. Но даже в лагерях ГУЛага, на Воркуте и в Камышлаге, бывшие власовцы с гордостью вспоминали идеалы, нашедшие выражение в Пражском манифесте. Николай Краснов пишет: «Власовец, прошедший через огонь, воду и трубы наступлений и отступлений во время войны, лагеря смерти Гитлера, когда-то ликовавший в дни обнародования Пражского манифеста и подло выданный культурным и гуманным Западом, невольно чувствовал себя политической элитой... Он никогда не спустился бы до партийца, не угодившего начальству, не угадавшего «линии» и споткнувшегося на ровном паркете партии».

Но Манифест 14 ноября был обнародован в недобрый час: в конце 1944 года вероятность опрокинуть советский режим извне фактически равнялась нулю. Рассчитывать на мятеж в Красной Армии с целью свержения партийной олигархии тоже не приходилось. В армии и народе царила в те дни атмосфера упоения военными успехами, многие верили, что победа повлечет за собой смягчение режима, и вряд ли эти соображения могли отступить перед обещанием свободы, исходившим из такого источника, как Власов, — если вообще простые люди о нем хоть что-то слышали. К тому же, преступления немцев во время оккупации оставили неизгладимый след в русском сознании, и всякое движение, появившееся на таком фоне, неизбежно должно было показаться подозрительным и нечистым.

Как бы то ни было, вопрос о том, чего могло бы достичь нестесненное русское движение, остается чисто академическим. Немецкие власти не прониклись доверием к Власову. За сутки до Пражской конференции Берлин ни с того ни с сего запретил министрам рейха и членам дипломатического корпуса присутствовать на ней. 27 января 1945 года Гитлер лично разразился резкой обличительной речью против Власова, недобрым словом помянув мимоходом и казаков фон Паннвица. Правда, вождь, сходящий со сцены, жил уже в мире фантазий и не очень четко представлял себе, что происходит: на следующий день после этой речи было объявлено о суверенности «правительства» КОНР.

Комитет считал первоочередным делом не иллюзорную независимость и даже не возможность вести пропаганду и издавать прокламации. Главным для него было право набирать войска. Несмотря на все препоны, чинимые немецким верховным командованием, зимой 1944/45 года — впервые после 1921 года — стали создаваться целиком русские военные формирования, которые вступали в бой с Красной Армией. Кроме того, на несколько коротких месяцев возникло миниатюрное свободное русское государство. Из Далема, пригорода пустеющего день ото дня Берлина, «правительство» КОНР переехало в Богемию, в Карлсбад, а «генеральный штаб» Власова перебрался в Хейберг. Отдел пропаганды и офицерская школа были переведены из Дабендорфа в замок Гисхюбель в Судетах. КОНР вступил в переговоры с уже действующими русскими отрядами, и под конец войны казаки фон Паннвица, Доманова и сербский «шуцкорпс» Рогожина официально вошли в РОА. С украинцами дело обстояло хуже. Хотя на Пражской конференции присутствовали представители каких-то сил украинского движения, Галицийская дивизия генерала Шандрука сохранила свою независимость.

Все это, конечно, было весьма иллюзорно, и первейшей целью Власова являлось создание настоящей армии. В Мюнзингене, в Вюртембурге, Буняченко стал командиром первой из трех дивизий, санкционированных осторожным Гиммлером. Ядро дивизии составили 5 тысяч человек, которыми ранее командовал прославившийся в Польше своей жестокостью Бронислав Каминский, и группи-

ровка из белогвардейской русской дивизии «Рутения», относившейся к «ваффен СС». К ним добавились военнопленные и «восточные рабочие». По соседству, в Хейберге, проводила набор и обучение 2-я дивизия под командованием генерала Зверева. Наконец, было создано авиационное формирование — правда, пока без самолетов — под командованием Владимира Мальцева и общим руководством бывшего военно-воздушного атташе Германии в Москве генерала Ашенбреннера.

Доктор Крёгер, сопровождавший Мальцева и Ашенбреннера во время их визита к Герингу в Каринхолл, пишет о том, что все эти приготовления носили крайне туманный характер. Визит к Герингу был нужен для назначения Мальцева на должность генерала. (При всей «суверенности» РОА Власов не имел права продвигать офицеров выше звания полковника без одобрения немцев.) В разговоре Геринг признался, что англичан, французов и американцев он все же более или менее понимает, но ни он, ни его коллеги не в силах постичь истинный характер России и русских. Это признание второго человека в рейхе, сделанное буквально на исходе войны, произвело на Крёгера весьма мрачное впечатление. К тому же беседа проходила под аккомпанемент легкой дрожи, время от времени сотрясавшей мебель и стекла в окнах. Это с западного берега Одера била артиллерия маршала Жукова.

Но даже эти весьма ограниченные меры по созданию власовских дивизий по-прежнему тормозились страхами Гитлера и его помощников. Буняченко и Зверев успешно проводили набор в дивизии, но оружие и амуницию они не получили, и не похоже было, что им удастся в скором времени участвовать в военных действиях. Наконец, генерал Кестринг, инспектор восточных армий, отвечавший за русское движение, решил, что единственный способ убедить верховное командование и Гиммлера в эффективности РОА — это провести пробный бой.

Буняченко воспринял эту идею в штыки, заявив, что не позволит своим формированиям участвовать в бою до окончания обучения и получения полного боекомплекта. Тогда из русских, находящихся в Штеттине (ныне Щецин), была набрана группа добровольцев под командованием двух белоэмигрантов, полковника Сахарова и графа Ламсдорфа, и они отважно атаковали укрепленный плацдарм в Нейловине, на Одере. С точки зрения Кестринга — и, соответственно, Геринга, — еще более внушительным успехом боя было то, что к власовцам перешли сто красноармейцев. Каким же мог быть эффект этого эксперимента, если бы его провели в более широком масштабе! Конечно, с ним запоздали на три года, но все же — разве не поразительно, что даже теперь, когда Германия доживала последние недели, антикоммунистические русские формирования в Померании и Югославии все еще привлекали значительные количества перебежчиков!

Гиммлер был очень доволен этими результатами и выразил свое восхищение в телеграмме Власову. 23 февраля в штаб-квартире Гиммлера Гейнц Герре, старший немецкий офицер, ответственный

за создание русской армии, получил согласие рейхсфюрера СС на развертывание РОА на Восточном фронте. Герре вернулся с победой, но упрямый Буняченко, дивизия которого должна была выполнить эту задачу, заявил, что он, как русский генерал, может принять такой приказ только от своего командующего. Доктор Крёгер вспоминает Буняченко как храброго и способного солдата, но немцам было трудно сотрудничать с ним. В свое время он служил в штабе Тимошенко, в 1942 году попал в плен, жизненные испытания сделали его закоренелым циником, а с приближением конца Германии он все чаще впадал в отчаяние, единственным спасением от которого становилась бутылка.

Власов отдал приказ, и 1-я дивизия выступила. Вермахт не предоставил им никакого моторизованного транспорта, а бомбежки союзников вывели из строя железнодорожную линию между Ульмом и Нюрнбергом, так что первые 200 километров дивизия со всем снаряжением проделала пешком. По пути к ним присоединялись группы русских «восточных рабочих» и военнопленных, и когда 19 марта они достигли Нюрнберга, состав дивизии возрос примерно на три тысячи человек.

На время погрузки в поезда Буняченко устроил себе штаб-квартиру в соседней деревне, и здесь случился один довольно неприятный инцидент. Генерал Власов, как обычно в сопровождении доктора Крёгера, явился осмотреть уходящие на фронт войска. Было 8 часов утра, и никто не доложил Буняченко о появлении генерала и оберфюрера. Адъютант смущенно объяснил, что Буняченко не может принять их, так как мучается зубной болью. Когда же они стали настаивать, он попытался попросту загородить им путь, но Власов, человек недюжинной силы и почти двухметрового роста, отстранил его и вошел в комнату. За столом, уставленным бутылками и стаканами, сидели вдрызг пьяные генерал Буняченко и его начальник штаба, а также два младших офицера и парочка полуодетых девиц явно не военного вида. Поскольку Буняченко в это самое время должен был заниматься отправкой своей дивизии на фронт, Власов, естественно, пришел в ярость. К тому же он, видно, боялся, как бы доктор Крёгер не доложил об этом Бергеру или Гиммлеру. По словам самого Крёгера, после этого случая он не раз чувствовал на себе неприязненный взгляд Буняченко.

Тем не менее все прошло по плану, и 26 марта последние отряды прибыли в учебный лагерь в Либерозе, к северу от Коттбуса. Немецкий командующий группой армий «Висла» генерал Хейнричи с немалым удивлением встретил неожиданное подкрепление и поначалу не мог придумать ему подходящей задачи, но в конце концов решил пустить русским солдатам кровь в наступлении на плацдарм советских войск в Эрленгофе, к югу от Франкфурта-на-Одере. На эту позицию уже была предпринята неудавшаяся атака, после которой плацдарм еще дополнительно укрепили. Это была невероятно трудная задача, но Буняченко согласился на нее при условии, что ему будет обеспечена достаточная артиллерийская поддержка. Наступление началось в 5 часов утра 14 апреля и

закончилось полным поражением: власовцы, не поддержанные, как было условлено, артиллерийским огнем, не говоря уж о помощи с воздуха, волнами бросались на хорошо укрепленные, обнесенные проволокой советские позиции. После ожесточенного четырехчасового боя Буняченко приказал отступить.

Вернувшись в Либерозе, дивизия занялась зализыванием ран, а Буняченко со штабом принялись решать, что делать дальше. Все понимали, что поражение немецкого союзника неизбежно, а воевать в тех условиях, которые им создали, — бессмысленно. Власов и его старшие офицеры тоже пытались разобраться в критическом положении, в котором они оказались. Ясно было одно: уже само их пребывание в Германии неминуемо приведет РОА к катастрофе. Через несколько дней произойдет встреча американской и Красной армий, и даже если расчеты на долгожданный разрыв между союзниками оправдаются, РОА это ничего не даст — столкнувшиеся глыбы сотрут ее в порошок. Слабая надежда маячила им только на юго-востоке: Красной Армии еще предстояло продвигаться вверх по Дунаю и в Богемию, а национальные движения в Чехословакии, Венгрии и Югославии ожесточенно сопротивлялись советскому владычеству, кое-где даже шли бои, а в Греции английские войска подавили попытку коммунистов захватить власть в стране. В кругах КОНР было много разговоров о создании «третьей силы» из этих разрозненных, но, несомненно, антикоммунистических сил. Кроме того, имелись еще казаки. Фон Паннвиц, Доманов и Краснов согласились на включение своих частей в РОА. Доктор Крёгер присутствовал на торжественном обеде в Берлине, где собрались представители казаков и КОНР. Он вспоминает, что, несмотря на неблагоприятную ситуацию, там царила атмосфера радостного энтузиазма и надежд.

Как бы то ни было, последняя возможность выжить оставалась лишь на юге. Буняченко, с некоторым запозданием проявляя свой талант, начал свой необычный поход, который вполне справедливо сравнивали с походом Ксенофонта*. 1-я дивизия РОА продвинулась почти на 500 километров к югу. С левого фланга наступали советские войска, к тому же приходилось сопротивляться попыткам немецкой группы армий «Центр» заставить их вернуться на фронт. Фельдмаршал Шернер даже потребовал выдачи непокорного Буняченко и его немедленной казни, но в тех условиях это было вряд ли возможно, да и сам Шернер через несколько дней попал в плен к американцам, и Буняченко спокойно продолжал свой поход. Пройдя восточнее Дрездена, дивизия вступила в Чехословакию, и 29 апреля штаб-квартира 1-й дивизии РОА расположилась в деревне Козоеды, севернее Праги. Здесь, за Рудными горами, Буняченко и 25 тысяч его людей могли немного передохнуть и подумать о дальнейших планах.

* Ксенофонт — древнегреческий писатель, историк и стратег, один из руководителей отступления, после гибели Кира, 10 тысяч греческих наемников через Малую Азию к Черному морю.

В Чехии в то время действовали два русских формирования. 19 апреля, в связи с приближением американской 7-й армии, учебным лагерям РОА в Мюнзингене и Хейберге пришлось эвакуироваться. 2-я дивизия РОА под командованием Зверева вместе с авиакорпусом Мальцева и другими резервными формированиями (всего около 22 тысяч человек) вышли к Фюрстенфельдбруку, к западу от Мюнхена. Отсюда их поездом отправили в Лиенц, и они двинулись на север, чтобы сойтись у Праги. К 4 мая войска Зверева оказались на пути к Праге, между Бадвайсом и Страконицами. Ближайшими вражескими войсками была не Красная Армия, находившаяся еще довольно далеко на востоке, в Словакии, а американская 3-я армия генерала Паттона, уже стоявшая на границах Чехии. В генеральном штабе РОА ничего не знали о секретном соглашении, по которому западные союзники уже уступили Советам всю Чехословакию, и власовцы полагали, что Чехия может перейти под контроль американцев.

Положение на фронтах ухудшалось с каждым днем, мечты о соединении с казаками или антикоммунистическими югославами рассыпались в прах, и командирам стало понятно, что различные формирования РОА должны действовать самостоятельно — пока вообще остается хоть какая-то свобода решений. Постепенно они пришли к выводу, что единственный выход — это попробовать начать переговоры о сдаче в плен американцам при получении, как они надеялись, удовлетворительных гарантий.

Первую попытку такого рода предпринял генерал Ашенбреннер, атташе немецких военно-воздушных сил при авиакорпусе Мальцева. В конце марта Ашенбреннер завязал в Праге знакомство с предприимчивым ученым Теодором Оберлендером, большим знатоком русских дел. Оберлендер в конце 20-х—начале 30-х годов бывал в СССР в качестве профессора сельского хозяйства и даже на подмосковной даче Радека встречался с Бухариным, о способностях которого был самого высокого мнения. Ему не разрешили вывезти из страны заработанные деньги, и он потратил их на поездки в Грузию. Позже, при разработке плана «Барбаросса», абвер обратил внимание на этого человека, и он начал войну в украинском батальоне «Нахтигаль» («Соловей»), которым командовали немцы, а затем, когда в 1942 году немецкие войска дошли до Кавказа, стал командиром антисоветского формирования горцев. В формировании поначалу было около 1100 кавказцев, набранных из военнопленных в немецких лагерях. Затем отряд увеличился до 1600 человек за счет перебежчиков из красноармейских частей, с которыми ему приходилось сражаться. 22 июня 1943 года, ровно через два года после вторжения в СССР, Оберлендер распространил в военных кругах меморандум о немецкой политике в России, где выражал свое возмущение слепотой немецких властей, которые бессмысленными жестокостями восстановили против себя людей, поначалу встречавших немцев как освободителей, и сформулировал и обосновал в десяти предложениях более гуманную и разумную политику, назвав ее «Союз или исполь-

зование». Этот шаг вызвал ярость в высших кругах: Кейтель отстранил Оберлендера от командования, а Гиммлер пытался и вовсе засадить его в концентрационный лагерь. Оберлендера спасло только вмешательство генерал-губернатора Праги Франка. В конце концов, после эвакуации армии из Дабендорфа в Судеты, он был назначен комендантом учебного заведения для офицеров РОА.

Оберлендер был в Праге, когда Ашенбреннер разыскал его и привез в Мариенбад для встречи с Мальцевым и другими офицерами авиакорпуса РОА, чрезвычайно обеспокоенными своим положением. В последовавшей беседе Оберлендер поддержал предложение сдаться американцам, считая это единственной возможностью избежать сдачи в плен Красной Армии, что, разумеется, было для власовцев немыслимо. Узнав, что Оберлендер владеет английским, Ашенбреннер предложил ему выступить в качестве посредника в переговорах о сдаче корпуса, и тот согласился. Уезжая назавтра из Мариенбада, он вез с собой письмо Ашенбреннера, спрятанное в ботинке. Дело следовало держать в секрете не только из опасения, что доктор Крёгер доложит о плане своим начальникам по СС, но и потому, что находившиеся на передовой части СС могли задержать Оберлендера и расправиться с «предателем».

Вооруженный одним лишь пистолетом, Оберлендер перешел линию фронта и добрался до замка графа Кобургского. Через три дня, когда американские танки окружили деревню, он разыскал американского офицера, майора Штейна, и сдался ему в плен, объяснив, что должен повидать командира. Штейн передал эту просьбу по инстанции, и на следующий день, 24 апреля, Оберлендера привели в конференц-зал. Висевшие на стене оперативные карты были поспешно прикрыты. Немца допрашивали генерал Кеннеди и шесть полковников. Он объявил о своем намерении вести переговоры о сдаче в плен авиакорпуса Мальцева с одним-единственным условием: чтобы их не передали Советам. Генерал, мало что понимая в этом деле, спросил, за кого воюют эти русские — за Германию или США? Оберлендер объяснил, что речь идет о части антикоммунистической армии генерала Власова, они никогда не воевали против американцев, но, если на них нападут, они, разумеется, окажут сопротивление, и в этом бессмысленном бою могут погибнуть многие американцы. Генерал заявил, что, разумеется, предпочел бы избежать такой случайности, но ничего не может обещать, не переговорив предварительно с русским командиром.

Оберлендер согласился. После этого его проводили до самого передового американского поста, и отсюда он вернулся в штаб авиакорпуса РОА. По дороге его остановил патруль СС, но ему удалось отговориться. Рассказав Мальцеву о своих успехах, Оберлендер вместе с Ашенбреннером на штабной машине с белым флагом отправился назад, в штаб Кеннеди. Генерал люфтваффе Ашенбреннер отличался представительной наружностью и умением расположить к себе, так что ему удалось быстро установить контакт с генералом Кеннеди, выказавшим явный интерес к РОА.

К тому же, как не без удивления обнаружил Оберлендер, американский генерал был неплохо информирован: так, от профессора в качестве удостоверения личности он потребовал образец подписи и сравнил его с копией подписанного Оберлендером меморандума от 22 июня 1943 года! Поскольку этот документ имел широкое хождение в кругах высшего командования вермахта, 3-я американская армия заполучила экземпляр в числе бумаг, захваченных во Франции или Германии. Штаб армии проявил чрезвычайный интерес к рассказу бывшего полковника советской авиации Мальцева о жизни в СССР — об этом свидетельствовал приказ, подписанный генералом Паттоном, который видел Оберлендер.

Наконец Кеннеди заявил, что удовлетворен предложением, и дал слово, что сдавшиеся в плен не будут переданы Советам. Авиакорпус Мальцева должен явиться с белыми флагами и подвергнуться разоружению. Затем, как предложил Оберлендер, они отправятся назад, в Мюнзинген, в дороге их будут кормить и охранять американские власти. В ту ночь Ашенбреннер не спал, одолеваемый мучительными сомнениями: правильно ли он поступил, приняв эти условия? Но Оберлендер, уверенный, что другого пути нет, успокоил его, и на следующий день генерал вернулся в Мариенбад и рассказал Мальцеву о достигнутой договоренности.

Таким образом, как подчеркивает Оберлендер, за 4 дня были спасены 8 тысяч человек. Имеющиеся данные говорят за то, что Кеннеди выполнил условия соглашения, очевидно, не без участия влиятельного генерала Паттона, и большинство — если не все — членов мальцевского корпуса нашло убежище на Западе. Подтверждение этому было получено весьма необычным образом. Через десять лет после войны Оберлендер нанес официальный визит в Вашингтон в качестве федерального министра по делам беженцев. В американской столице он и его жена неожиданно получили приглашение на прием, где их встретила группа бывших офицеров авиакорпуса РОА. Они рассказали Оберлендеру, что американцы сдержали слово и в конце концов освободили членов корпуса. В 1974 году, когда Оберлендер еще раз побывал в Вашингтоне, к нему подошел в гостинице «Хилтон» какой-то человек (оказалось, он когда-то служил у Мальцева).

Было, впрочем, одно исключение: самого Мальцева отделили от его людей, перевезли в Бельгию, а затем — в США и через год, в мае 1946 года, передали советским властям. Вскоре Военная коллегия Верховного Суда СССР объявила о его казни через повешение. Конечно, очень грустно, что это исключение имело место. И все же нам кажется вполне справедливым присоединиться к похвалам, которые профессор Оберлендер расточает генералу Кеннеди. И если согласиться с утверждением профессора Хью Тревора-Ропера в его предисловии к книге Н. Бетелла, что подлинными героями трагедии репатриации являются женщина, которая спасла одного русского, и офицер, который отказался выносить свое суждение о поступках бывших власовцев, то американский генерал, спасший восемь тысяч человек, наверняка заслуживает доброго слова.

Пока Теодор Оберлендер ждал разговора с генералом Кеннеди, генерал Ашенбреннер сопровождал Власова и других членов КОНР к австрийской границе, в дом некоего человека, симпатизирующего немцам. В группе офицеров царило пессимистическое настроение. Годами вынашиваемые надежды на освобождение России испарялись на глазах со скоростью песка в песочных часах. Все сошлись на том, что остается лишь сдача в плен западным союзникам. Но как войти в контакт с ними? Власов уже предпринял одну неудавшуюся попытку завязать переговоры через Международный Красный Крест в Женеве, выслав туда члена КОНР Юрия Жеребкова. Известий от Оберлендера Ашенбреннер пока не получил. Удастся ли следующая попытка? Впрочем, выхода у них все равно не было.

На этот раз парламентером был выбран генерал Василий Малышкин, воспитанный, культурный человек, кадровый офицер, арестованный в связи с делом Тухачевского. В первые недели войны, когда Красная Армия отступала на всех фронтах, его поспешили вернуть в ряды армии. На фронте он попал в плен, оказался в лагере и в 1942 году, подпав под влияние Власова, присоединился к освободительному движению. Теперь ему надлежало в сопровождении верного Штрик-Штрикфельдта разыскать ближайшего американского командира. Доктор Крёгер снабдил их пропусками на право свободного передвижения во фронтовой полосе, чтобы их не задержали отряды СС, прочесывающие передовую в поисках дезертиров.

Штрик-Штрикфельдт описывает в своих мемуарах трогательное прощание с генералом Власовым, к которому он относился с любовью и уважением. Власов был внутренне сломлен, но, с горечью говоря об утраченных надеждах, твердо заявил, что иначе поступить не мог. И если его назовут предателем за то, что он искал иностранной помощи для освобождения своей страны, то разве нельзя с тем же основанием назвать предателями Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина? Власов сказал:

— Но они вышли победителями в борьбе за свободу. Американцы и весь мир чествуют их как героев. Я — проиграл, и меня будут называть предателем, пока в России свобода не восторжествует над советским патриотизмом. Я уже говорил вам, что не верю, чтобы американцы стали помогать нам. Мы придем с пустыми руками. Мы — не фактор силы. Но когда-нибудь американцы, англичане, французы, может быть, и немцы будут горько жалеть, что из неверно понятых собственных интересов и равнодушия задушили надежды русских людей, их стремление к свободе и к общечеловеческим ценностям.

В Нессельванге, на австрийской границе, Малышкин и Штрик-Штрикфельдт встретили войска американской 7-й армии. Когда они объяснили, для чего прибыли, им завязали глаза и привезли в джипах в штаб командующего армией генерала Пэтча. Как и Кеннеди, Пэтч заинтересовался историей РОА и внимательно выслушал длинный, взволнованный рассказ Малышкина (при встрече

присутствовал переводчик). Малышкин рассказал о захвате власти большевиками в 1917 году, об ужасах ленинской и сталинской деспотии, о начавшейся в 1941 году борьбе по свержению варварской власти. Конечно, говорил он, Гитлер — ненадежный и неприятный союзник, но ведь у них не было выбора. В 1919 году Белая армия с радостью приняла поддержку англичан и американцев, но они заключили мир с большевиками и уже ничем не могли помочь миллионам русских, боровшихся за свободу и справедливость. Наверное, будь на то их воля — они, русские люди, ни за что не вступили бы в союз с Гитлером, но разве в 1941 году у них была свобода выбора?

Генерал Пэтч, явно захваченный этой страстной речью, внимательно выслушал Малышкина. На его просьбу предоставить убежище всем членам РОА он ответил:

— К сожалению, проблема эта совершенно вне моей компетенции как армейского генерала. Но я обещаю вам тотчас же направить вашу просьбу генералу Эйзенхауэру. Я охотно постараюсь сделать все, что смогу!

На следующий день Пэтч заявил, что примет сдачу русских дивизий. «Значит ли это, господин генерал, что с русскими будут обращаться по правилам, установленным Женевской конвенцией?» — спросил Штрик-Штрикфельдт. На это генерал Пэтч не дал прямого ответа, подчеркнув лишь, что с ними будут обращаться «по действующим для немецких военнопленных правилам». Под конец разговора он неожиданно протянул Малышкину руку и сказал:

— Как генерал американской армии, я сожалею, генерал, что это все, что я могу сказать вам. От себя лично я добавлю, что делать это мне весьма не по душе. Я понимаю вашу точку зрения и хотел бы заверить вас в моем личном глубоком уважении. Но и вы должны меня понять: я солдат.

Поскольку Малышкин и Штрик-Штрикфельдт были парламентерами, им должны были позволить пробраться назад через фронт, но их — умышленно или невольно — задержали на три дня, до 8 мая, когда было объявлено о капитуляции Германии, и они из парламентеров превратились в военнопленных. Между тем не имея ответа от своих посланцев, Власов и его генералы лихорадочно искали выход из тупика. В начале мая штаб Власова находился в деревне Козоеды, к северу от Праги. В эти дни доктор Крёгер впервые заметил, что многие власовцы с недоверием поглядывают на своих немецких коллег. Разумеется, в воздухе носились какие-то недобрые предчувствия, но было неясно, ограничится ли дело просто раздором — что было бы вполне понятно в такой ситуации — или же обернется чем-то посерьезнее.

Примерно 4 мая Власов смог воочию убедиться, как неумолимо расширяется трещина в русско-немецком союзе. Вместе с доктором Крёгеромон поехал в штаб генерала танковых войск Фрица Хота в Рудных горах, чтобы выяснить возможности дальнейшего вооруженного сопротивления (миссия закончилась неудачей). По дороге они проезжали немецкий пост, которым командовал молодой лей-

тенант. На обратном пути они обнаружили, что на пост напали восставшие русские войска и офицер был убит. Как и Краснов в Маутене, генерал Власов пришел в ужас от этого предательского нападения на солдат страны, которая все еще была их союзником.

Вернувшись к себе, Власов принял генерала Буняченко. Подробности их разговора доктор Крёгер узнал позже, от одного из помощников Буняченко. Буняченко сказал, что спасти их может лишь полный разрыв с гибнущими немцами и что он уже начал переговоры с чешскими националистами. Если власовцы успеют помочь чехам восстановить их государственность, новое чешское правительство может предоставить убежище своим братьям-славянам из РОА. Но Власов решительно отверг все эти доводы, назвав их бесчестными и нереальными. Он сказал, что, несмотря на все ошибки и жестокость нацистской политики, немцы проявили себя верными союзниками и нанести им удар в такой тяжелый момент было бы предательством. К тому же, заметил он, Красная Армия вот-вот войдет в Прагу, так что все эти рассуждения напрасны. Буняченко выслушал командующего, но продолжал твердить, что немцы постоянно вставляли РОА палки в колеса либо использовали русских в собственных целях, что германская политика целиком и полностью основана на оппортунизме и что командиры РОА обязаны любыми средствами спасти своих солдат. Оба генерала расстались очень недовольные друг другом.

5 или 6 мая доктор Крёгер отправился в Прагу на встречу с генерал-губернатором Франком. Через два дня оба — и Крёгер, и Франк — оказались буквально пленниками в Градчанском дворце. Группы Сопротивления вышли на улицы города, объявив о восстановлении чешского государства. Немецкого гарнизона в Праге уже фактически не было, и чехи сумели почти полностью овладеть городом. Впрочем, этот временный успех лишь выявил слабость отважных, но плохо вооруженных повстанцев, которые отступили под натиском отрядов СС, полных решимости драться до последнего. Чешские руководители в панике воззвали к Буняченко. Русский генерал с радостью ухватился за возможность делом доказать разрыв с немцами, а заодно заслужить благодарность чехов. 1-я дивизия РОА стояла всего в нескольких километрах от Праги, на Пльзеньском шоссе. Буняченко отдал приказ двигаться на столицу, одновременно послав приказ генералу Звереву привести с юга 2-ю дивизию. Не ожидая от Зверева подтверждения, 1-я дивизия в количестве 25 тысяч человек двинулась на Прагу. После ожесточенных боев она заняла аэродром, радиостанцию и другие опорные пункты, и к вечеру город перешел в руки чехов и власовцев. По радио попеременно на чешском и русском языках провозглашалось создание панславянского государства, в котором будут жить бок о бок оба народа.

Тем временем Франк и Крёгер в осажденном Градчанском дворце получили от уцелевших в окрестностях города немецких постов донесение, что на улицах начинают появляться вооруженные отряды чехов-коммунистов с красными флагами. Час их

победы неминуемо приближался: к городу с востока двигались две дивизии Красной Армии. Радостное упоение победой сменилось у Буняченко мрачным осознанием реальности.

Когда поступило известие о безоговорочной капитуляции Германии, Буняченко получил от Временного (патриотического) чешского правительства разрешение вывести дивизию из города. Не желая терять такую редкую добычу, чешские коммунисты попытались помешать отступлению. И солдаты РОА вновь оказались союзниками немцев: они вместе старались уйти от Красной Армии и с помощью двух рот танковых войск СС 9 мая пробились через окружение к своей базе под Прагой. Благодаря власовцам Прага была сдана Красной Армии без боя, так что город не подвергся разрушениям.

Но вернемся к Власову и 2-й дивизии РОА под командованием Зверева. В конце апреля Зверев со своей дивизией вышел из Линца на север, к Праге. С ним шел Федор Трухин, начальник власовского штаба. Никто из них не знал о намерениях Буняченко помочь чехам, и 5 мая они начали с американцами переговоры о сдаче в плен. Американцы дали им тридцать шесть часов, после чего они должны были прийти в назначенное место и сложить оружие. Получив такой ответ, Трухин послал генерала Боярского сообщить Власову и Буняченко о предстоящей капитуляции и посоветовать им, пока не поздно, последовать их примеру. Трухин ждал — но ответа не было, а срок, поставленный американцами, приближался. Тогда Трухин решил сам идти на север вместе с еще одним генералом и своим адъютантом, Ромашкиным. Они шли, нимало не заботясь об оборонительных мерах — ведь чехи всегда по-дружески относились к русским. Но в городке Пшибраме их ждала ловушка: отряд, который по одному вылавливал генералов РОА, вознамерившихся пройти через этот городок. Так был пойман и тут же повешен Боярский. Самого Трухина отправили в Москву, а шедшего с ним генерала расстреляли на месте. Попал в эту ловушку и еще один генерал, посланный на розыски Трухина. Об этом стало известно, когда в Пшибрам прибыл отряд 2-й дивизии и обнаружил там арестованного трухинского адъютанта.

Мало того что пропали старшие офицеры — невозможно было связаться с самим командующим. Генерал Зверев с передовыми отрядами был в Каплице, далеко от дивизии. Среди власовцев воцарилось отчаяние. Старший офицер дивизии генерал Меандров решил, что не может нарушить срока, поставленного американцами, и повел все отряды через фронт — сдаваться в плен. Зверев пребывал в состоянии меланхолического бездействия. Его фронтовая жена покончила с собой, и он отказывался отойти от ее тела. В конце концов он и его люди были взяты в плен советскими войсками, и Зверева увезли в Москву. Спастись удалось только одному полку дивизии, успевшему продвинуться на запад и присоединиться к Меандрову.

Тем временем генерал Власов с группой офицеров отправился в Пльзень, намереваясь сдаться американцам. Среди офицеров был

Иван Кононов, полковник корпуса фон Паннвица, прибывший к Власову для переговоров о соединении казаков и отрядов РОА. Когда стало известно о капитуляции Германии, Кононов ушел, заявив, что должен пробираться к своим. Вечером Власов и его группа достигли ближайших американских постов, и дружелюбный майор проводил их в Пльзень, где их приветливо встретил полковник, уверенный, что принимает делегацию Красной Армии — о существовании РОА он просто ничего не знал. Впрочем, недоразумение скоро выяснилось. Генерал, к которому наутро отвели Власова, отказался дать гарантии, что офицеры и солдаты РОА не будут выданы советским властям, и заявил, что американцы примут их только в том случае, если Власов и дивизия Буняченко готовы сдаться без всяких условий.

Пока Власов решал, что делать, появился американский офицер. Он сообщил, что 1-я дивизия РОА прибыла в близлежащий город Шлюссельбург, и предложил Власову присоединиться к Буняченко, осведомившись, достаточно ли бензина в генеральской машине. Похоже, он намекал на то, что не помешает генералу бежать. Но Власов погрузился в апатию: дело русского освобождения было проиграно, и его личная судьба уже не имела ни малейшего значения. Он согласился ехать в Шлюссельбург.

Американцы повели генерала и его офицеров к грузовикам. На улице толпа восторженных чехов бурно приветствовала спасителя их любимой Праги радостными криками, Власову бросали цветы, но он, не обращая ни на что внимания, равнодушно глядя прямо перед собой, сел в машину, и колонна двинулась в путь. Под вечер они прибыли в Шлюссельбург, в замок на окраине города, где стоял американский гарнизон. Здесь их встретил комендант города, капитан Донахью. С интересом посмотрев на Власова, Донахью спросил, почему тот решил воевать против своей страны. Когда переводчик перевел вопрос, Власов бесстрастно заметил, что не видит смысла отвечать. Но Донахью, выказывавший явную симпатию и интерес к русскому генералу, настаивал. Он не собирался осуждать Власова; ему просто хотелось понять, что заставило генерала выступить против Сталина. Наверное, искренность американца тронула Власова, и он разразился взволнованной речью. Он говорил о терроре, развязанном в стране, о ведущейся вот уже четверть столетия войне против простого народа, с одной стороны, и высших идеалов цивилизации и культуры — с другой, о рабском труде и пытках, ставших основными институтами государства, о провале Красной Армии в 1941 году как следствии предательской политики правительства. Он говорил долго и горячо, и когда он кончил, во взгляде Донахью светилось нескрываемое восхищение.

— Благодарю вас, генерал, — сказал он. — Я сделаю для вас все, что могу.

Назавтра, 11 мая, Власов узнал, что 1-я дивизия стоит лагерем в нескольких километрах от города. По распоряжению американцев она сдала оружие, но в войсках сохранялся образцовый военный порядок. Донахью объяснил, что его войска завтра должны покинуть этот район и пройти назад, за демаркационную линию, о которой договорились Эйзенхауэр и Жуков. Никаких инструкций по поводу сдавшихся русских он не получил. Донахью предложил Власову самостоятельно пробраться к англичанам и попробовать вступить с ними в переговоры (ему и в голову не пришло, что это означало прыгнуть из огня да в полымя). Власов испытывал сильное искушение согласиться. В Шлюссельбурге уже начали появляться советские офицеры и чешские партизанские вожди, и он понимал, что промедление смерти подобно. Приехав в штаб к Буняченко, он разъяснил положение и предложил дивизии разделиться на небольшие группы и отойти назад вместе с американцами (как дивизию американцы их бы в свою зону не пустили). Когда Власов вернулся в замок, Донахью сообщил ему, что из генерального штаба пришел запрос о местонахождении Власова.

— Так вы здесь или нет? — многозначительно спросил американец.

Вполне оценив его намек, Власов равнодушно ответил:

— Я здесь.

В тот вечер, в семь часов, жители города услышали, как советские танки продвигаются через мелколесье. Буняченко, не мешкая, приказал уйти из деревни Гвоздяны, где расположилась дивизия, в окрестные леса. Советская танковая бригада остановилась всего в трех километрах от американской линии фронта, дорога была каждая минута. Сев в свой штабной автомобиль, Буняченко с дикой скоростью понесся по дорогам, разбитым американскими противотанковыми заграждениями. В Шлюссельбурге он попросил разрешения увести свою дивизию вместе с уходящими американцами. Но капитан Донахью, как и всякий союзный командир, не знал, что делать в такой ситуации, и был вынужден обратиться к начальству, Буняченко предложили прийти за решением завтра, в 10 часов утра. Тот вернулся в штаб в ужасной тревоге. Если американцы на час-другой затянут переговоры или Красная Армия раньше времени начнет продвигаться вперед, тысячи власовцев, зажатые в трехкилометровом пространстве, погибнут. Счет шел на минуты.

Все решил удивительный случай. В тот вечер полковник Артемьев, командир 2-го полка, отправился к Буняченко выяснить его планы. В лесу он наткнулся на красноармейского офицера. Тот сразу увидел знаки различия РОА, но Артемьев сделал вид, что его как раз послали разыскать местного красноармейского командира и вступить в переговоры о сдаче 1-й дивизии РОА. Советский офицер, обрадовавшись, что первым принесет начальству хорошие вести, повел Артемьева к полковнику Мищенко. Тот встретил гостя с распростертыми объятиями и тут же заявил, что, конечно, дивизия должна сдаться ему. На каких условиях? Ну, о чем разговор, стоит власовцам сложить оружие — и советский командир примет их, как отец — блудного сына. Артемьев объяснил, что должен проконсультироваться с Буняченко, и Мищенко отпустил нежданного гостя с самыми добрыми напутствиями.

Явившись в штаб дивизии, Артемьев рассказал встревоженному Буняченко о любезном приглашении советского полковника. Поскольку встреча генерала с американцем была назначена только на 10 часов утра, важно было предупредить какое бы то ни было продвижение Мищенко до этого времени. Буняченко приказал Артемьеву вернуться в Гвоздяны и сообщить советскому офицеру, что сдача в плен произойдет в 11 утра. Артемьев так и сделал и даже — для пущей убедительности — потребовал у Мищенко письменной гарантии безопасности для дивизии. Мищенко подписал гарантию на клочке бумаги и пригласил Артемьева отобедать. За столом, разгоряченный изрядной порцией спиртного, советский полковник пустился в разглагольствования насчет замечательной жизни в СССР. Хитро поглядывая на Артемьева, он предложил, чтобы тот, не дожидаясь Буняченко, привел свой полк ночью, заверяя, что Артемьев не только не будет наказан, но ему даже сохранят его армейское звание. Кое-как отговорившись, Артемьев на рассвете пустился в путь, заручившись обещанием Мищенко не предпринимать никаких действий до 11 часов.

К счастью, Донахью ночью получил от высшего командования радиотелеграмму с разрешением для 1-й дивизии РОА перейти в американскую зону оккупации. Однако, по мнению Донахью, несмотря на разрешение, разумнее было бы переходить небольшими группами. Прибыв в 10 часов на совещание, Буняченко обнаружил там Власова, который все это ему передал. Буняченко помчался назад в Гвоздяны — отдать последний приказ. Он объявил, что солдаты освобождаются от воинской присяги и всем следует срочно отходить в южном направлении. В дивизии началась паника. Солдаты принялись поспешно уничтожать документы, знаки различия и другие свидетельства их службы в РОА, толпились вокруг бывших офицеров, спрашивая, куда идти. Те отвечали, что на юг, но тут же возникали сомнения, не выдадут ли их американцы Советам. Многие, до предела вымотанные испытаниями последних месяцев, решили сразу сдаться советским войскам. Ведь из лагеря, в конце концов, может и удастся выйти... Этот путь избрали около 10 тысяч человек. В течение многих недель после этого отряды Красной Армии и чешские партизаны вылавливали в лесах беглецов, и вряд ли кому-то удалось уйти от пули или этапа за Арктический круг. Остальные перешли в американскую зону, но большинство было вскоре выдано советским властям. Так закончила свои дни единственная уцелевшая дивизия РОА.

Из всей власовской армии остались только Власов, Буняченко и еще несколько офицеров. В тот же день — 12 мая — в 2 часа дня от замка в Шлюссельбурге отъехало несколько машин. Донахью тепло распрощался с Власовым, открыто посетовав, что тот не воспользовался предложенной ему возможностью убежать. В колонне было 8 грузовиков, ее сопровождал американский автомобиль. Но ехали они недолго. Километра через полтора путь им преградила замаскированная машина. Пленники увидели, что во главе колонны пристроился мрачный грузовик с красной звездой

на борту. Из кузова выпрыгнули двое — батальонный комиссар Красной Армии Якушев и бывший капитан РОА Кучинский, которого угрозами заставили опознать своих бывших командиров. Подойдя к первому грузовику, заглянули внутрь — там сидел Буняченко. Якушев приказал ему выйти, но тот заявил, что он пленник американцев и едет к их высшему командованию, а потому выйти отказывается. Якушев, понимая, что американцы следят за ним, проворчал что-то и пошел дальше, тем более что Кучинский не опознал бывшего командира 1-й дивизии РОА. Они продолжали обход, заглядывая по очереди во все грузовики. Генерал Власов сидел в последнем — Якушев узнал бы его даже без помощи Кучинского. Оружия у руководителей РОА не было, так что сопротивляться они не могли. Власов, сопровождаемый лейтенантом Весслером, вместе с Якушевым и Кучинским, дошел до машины, в которой сидел американский офицер. Весслер немного говорил по-английски, и Власов потребовал через него, чтобы ему, как пленнику американцев, позволили проехать беспрепятственно. Американец безучастно выслушал переводчика и ничего не ответил: то ли не понял, то ли сделал вид, что не понял.

Оценив ситуацию, комиссар Якушев вытащил пистолет. Власов тут же распахнул шинель и предложил комиссару застрелить его, на что Якушев ответил: «Тебя не я буду судить, а товарищ Сталин!» В этот момент на одном из американских грузовиков заработал двигатель, машина резко развернулась и с дикой скоростью помчалась назад по дороге. Много лет спустя Весслер вспоминал, как в ту минуту у него зародилась надежда, что этот грузовик успеет доехать до Шлюссельбурга и обратно и привезет на выручку капитана Донахью. Но в мае 1945 года надежды быстро вспыхивали и так же быстро гасли — Якушеву удалось без всяких помех усадить Власова и Весслера в грузовик, и их повезли мимо Шлюссельбурга, вдоль полей, где братались советские и американские солдаты, и высадили в штабе корпуса советских войск, где за праздничным столом союзники праздновали победу над нацизмом.

Якушев отправился в штаб и вскоре вернулся с сияющим от радости советским полковником, который потребовал от Власова подписать официальный документ о сдаче РОА в плен. Власов отказался, объяснив, что РОА больше не существует. Дальнейшая судьба этого человека, с которым были связаны надежды многих русских, долгое время оставалась тайной. Капитан Донахью, узнав о похищении Власова в лесу, выслал несколько поисковых партий в разных направлениях, но все было напрасно. Даже месяц спустя представители ВКЭСС докладывали, что «местонахождение Власова и Жиленкова неизвестно», а государственный секретарь США Грю заявил, что в случае, если они будут пойманы, их следует выдать Советам. Лишь через год американцы сообщили, что Власов был передан Красной Армии. Но даже это сообщение, умышленно или нет, было неточным. В нем говорилось, что Власов «был передан Советам чехословацкими властями после ареста в Праге 5 мая 1945 года».

Впоследствии было установлено, что после ареста Власова доставили во фронтовую штаб-квартиру СМЕРШа около Дрездена, там его допросили и затем самолетом отвезли в Москву. 12 августа 1946 года Московское радио передало сообщение, в котором впервые после ареста Власова упоминалось его имя:

«На днях Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела дело по обвинению Власова А. А., Малышкина В. Ф., Жиленкова Г. Н., Трухина Ф. И., Закутного Д. Б., Благовещенского И. А., Меандрова В. И., Буняченко С. К., Зверева Г. А., Корбукова В. Д. и Шатова Н. И. в измене Родине и в том, что они, будучи агентами германской разведки, проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против Советского Союза, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-1 «Б», 58-8, 58-9, 58-10 и 58-11 УК РСФСР. Все обвиняемые признали себя виновными в предъявленных им обвинениях.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила обвиняемых Власова, Малышкина, Жиленкова, Трухина, Закутного, Благовещенского, Меандрова, Буняченко, Зверева, Корбукова и Шатова к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение».

Все названные в этом сообщении, за исключением Трухина, Благовещенского и Власова, были переданы Сталину американскими военными властями при обстоятельствах, которые в некоторых случаях так и остались тайной. В частности, непонятно, почему репатриация ряда важных лиц была отложена более чем на год. Так, по утверждению профессора Оберлендера, Мальцева до передачи советским властям в мае 1946 года перевезли сначала в Бельгию, а затем — в США. Относительно Мальцева имелся специальный приказ за подписью генерала Паттона (американцев интересовала военная информация, которой располагал бывший советский офицер). Кроме того, в пленных могла быть заинтересована американская разведка. По крайней мере один русский генерал, избежавший репатриации, рассказал мне, что после интернирования в нейтральном Лихтенштейне его навещал не кто иной, как Аллан Даллес, работавший тогда в Швейцарии.

Цитированное выше коммюнике в течение 27 лет оставалось единственным в СССР и за его пределами источником информации о судьбе Власова. В начале 1973 года в советском юридическом журнале «Советское государство и право» впервые появился отчет о суде над Власовым — возможно, вследствие того, что именно в это время КГБ обнаружил существование «Архипелага ГУЛаг» А. Солженицына, в котором сочувственно говорится о судьбе Власова и его последователей. Главная цель статьи, написанной в очень резком тоне, «убедить читателя, что Власов несомненно был предателем и врагом советского народа». Она начинается с утверждения, что Власов отказался от реальной возможности спасти свою 2-ю ударную армию на Волховском фронте в июне 1942 года и умышленно выбрал плен. Здесь не место подробно опровергать это обвинение, но во всех авторитетных источниках неизменно говорится об отважном и упорном сопротивлении Власова. Он попал в окружение вследствие ошибок Сталина при планировании наступления под Харьковом и при создавшихся обстоятельствах не мог спасти свою армию.

Основная часть статьи состоит из ожесточенных нападок на РОА и ее руководителей, которыми, как утверждает автор, двигали исключительно самые низкие мотивы. Он, впрочем, признает: «На следствии и в ходе судебного процесса Власов упорно отрицал и всячески уходил от ответственности за организацию шпионажа, диверсий и террористических актов в тылу Красной Армии, а также отрицал свое непосредственное участие в расправе над антифашистами в лагерях военнопленных и в частях РОА. Тут его приходилось изобличать показаниями других обвиняемых, свидетелей, очными ставками и вещественными доказательствами».

Эти сведения о судебных заседаниях представляют несомненный интерес. В другом месте мы читаем: «Заявляя... о своих переговорах с Крёгером и Радецким, Власов вставал в позу «крупного политического деятеля»: да, я, дескать, вел вооруженную борьбу с советской властью и призывал к повстанческой деятельности в тылу Красной Армии. Я хотел использовать помощь СС и СД для подготовки организаторов вооруженной борьбы с Советами на территории СССР, но подготовкой шпионов и диверсантов для гитлеровцев я не занимался».

«Не знаю, — говорил Власов, — может быть, мои подчиненные и делали что-нибудь в этом направлении, но без моего ведома».

Наконец, удалив явно появившиеся при «редактуре» резкие инвективы в адрес членов КОНР, мы получим, быть может, подлинный отрывок из заключительного слова Власова: «Я успел сформировать... армию для борьбы с советским государством. Я сражался с Красной Армией. Безусловно, я вел самую активную борьбу с советской властью и несу за это полную ответственность».

С последней фразой согласится, пожалуй, всякий русский — каковы бы ни были его убеждения. Со времени окончания гражданской войны и до сегодняшнего дня Андрей Власов — единственный русский, который вел открытую политическую и военную борьбу на русской земле против советского режима. Оценка роли РОА грядущими поколениями будет зависеть от судьбы самой России.

Глава 13

МАССОВЫЕ РЕПАТРИАЦИИ В ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ И НОРВЕГИИ

Вопреки распространенному мнению, никто из казаков никогда не воевал против англичан или американцев. Но одно русское формирование действительно сражалось в Италии, в составе армий Кессельринга и фон Витингофа, — это была 162-я Тюркская дивизия, сформированная из жителей Кавказа и Средней Азии, которые либо оказались в немецком плену, либо бежали на Запад после Сталинградской битвы. Летом 1944 года, после обучения в Силезии, дивизия была отправлена на итальянский фронт и, потерпев вначале несколько поражений, впоследствии прекрасно проявила себя в странной войне, развернувшейся на итальянском фронте, где калмыки из среднеазиатских степей воевали против американских японцев.

По мере постепенного продвижения кампании на юг Италии многие солдаты дивизии сдались союзникам добровольно либо были взяты в плен. На протяжении 1944 года таких пленных перевозили пароходом в Египет, а затем переправляли в СССР через Ближний Восток. Но весной 1945 года появилась возможность использовать более прямой путь — через Дарданеллы и Черное море, и 22 марта группа из 1657 бывших солдат дивизии отплыла в Одессу из Таранто, где находился большой лагерь для советских пленных и освобожденных союзниками советских граждан, под началом советской репатриационной миссии генерала Судакова. По прибытии в лагерь солдатам выдавали английскую форму, снабжали палатками и едой, в остальном же они были предоставлены самим себе и развлекались как могли, например, устроили самодеятельный театр, где можно было увидеть в великолепном исполнении киргизские пьесы и сванские танцы или послушать осетинский хор. Но 22 марта большинство обитателей лагеря поднялись по шаткому трапу на борт английского судна «Арава». С палубы за ними наблюдали майор Грамасов из советской репатриационной комиссии и капитан Деннис Хиллс, старший офицер английского эскорта, говоривший по-русски.

Хиллс вспоминает, что пленные шли на судно вполне охотно, заминка возникла лишь однажды, и то, как объяснили Хиллсу,

просто потому, что один из репатриантов был пьян. Вскоре все были на борту, и «Арава» вышла в море. Лишь когда корабль пересек Эгейское море и шел через Дарданеллы, некоторые начали высказывать смутное недовольство, волноваться, не зная, что ждет их на родине. Хиллса засыпали вопросами. Многие говорили, что воевали в антифашистских партизанских отрядах. Но большинство — люди малообразованные, а то и вовсе неграмотные — с чисто восточным фатализмом ждали неизбежного. Хиллсу их страхи казались преувеличенными: ведь, судя по тому, что он читал и слышал о СССР в последние четыре года, правительство этой страны считало делом своей жизни свержение деспотии и осуществление демократических свобод, и он живо представлял себе, с каким почетом встретит родина вернувшихся солдат.

Но на мрачной одесской набережной — ставшей для многих далеким берегом Стикса — прибытие английского судна было встречено молчанием и равнодушием, а советская комиссия по встрече военнопленных состояла из канонерской лодки, которая проводила их в гавань. Первые два дня судном вообще никто не интересовался. Наконец на третий день началась высадка. Майор Грамасов сверял по списку имя каждого, покидавшего корабль. На набережной они построились и строем ушли, а Деннис Хиллс, которому изрядно наскучила жизнь на борту «Аравы», получив пропуск, ринулся в опустевший порт.

На площади он наткнулся на своих подопечных: стоя под гигантскими портретами Сталина, они выслушали речь какого-то партийного оратора, потом строем ушли. От прохожих, шнырявших по площади в надежде раздобыть курево, Хиллс узнал, что военнопленных отправляют в специальный концентрационный лагерь за городом.

Когда «Арава» пустилась в обратный путь, на ее борту находились освобожденные из немецких лагерей французы, которых корабль доставил в Марсель. Здесь на борт поднялись 1950 русских из близлежащего лагеря, и «Арава» снова направилась на восток. Но Деннис Хиллс сошел по дороге и в Одессе больше не бывал. Весь этот эпизод оставил у него крайне неприятное впечатление. Кстати, переводчиком на судне был эмигрант, с детства живший в Италии, но в Одессе советские его похитили, и никто его больше не видел.

Основной состав Тюркской дивизии сдался в плен в районе Падуи после капитуляции немецкой армии в Италии в мае. Союзные офицеры не раз возмущались тем, что эти ненемецкие солдаты рейха воевали до последнего, и этот довод часто приводился для оправдания сурового обращения с пленными. В действительности, некоторые дезертировали до окончания боев, а тот факт, что многие в отчаянии продолжали воевать, неудивителен. Они знали, что ждет их, если они сдадутся. Один из солдат дивизии, азербайджанец, за несколько месяцев до описываемых событий попал в плен к американцам, был отправлен в СССР через Ближний Восток и оказался в лагере в Сибири, откуда его вскоре послали на фронт, в штрафной батальон. Штрафные роты занимались в основном очисткой минных полей, в

опасные места высылались под автоматными дулами группы, одна за другой очищавшие поле от мин ценой собственной жизни. Азербайджанец, о котором мы рассказываем, ухитрился ускользнуть от охраны и пересечь линию фронта. После допроса ему позволили присоединиться к его прежней дивизии, воевавшей в Италии. Там он рассказал о случившемся с ним, чем, естественно, отбил у своих однополчан желание перебегать к союзникам.

После сдачи в плен солдат 162-й Тюркской дивизии перевезли поездом в Таранто, и через несколько недель они отправились на корабле в Одессу. Это путешествие уже не было таким безоблачным, как то, что описывал Деннис Хиллс. Перед отправлением один мулла сжег себя в знак протеста против репатриации, многие утопились в Черном море, предпочтя смерть исправительно-трудовому лагерю, некоторым помешали покончить с собой — в их числе был врач-азербайджанец, оказавшийся впоследствии в лагере на Воркуте. Все члены дивизии получили по 20 лет. Большинство попало на самые трудные и опасные работы по расчистке затопленных немцами донецких угольных шахт. Об этом Деннис Хиллс узнал в 1948—1949 годах от допрашиваемых им по долгу службы немецких военнопленных, вернувшихся на Запад.

Но были и такие, кто не добрался ни до Воркуты, ни до Донбасса. Осенью 1945 года Хиллсу было поручено сопровождать группу русских военнопленных, выписанных из военного госпиталя в Удине в Северной Италии. Госпиталь был «очень мрачным местом», там лежали в основном тяжелораненые, подорвавшиеся на минах, у большинства были ампутированы конечности, от многих, страдавших раком или туберкулезом, исходил неприятный запах. Относительно этих несчастных была достигнута договоренность с советской миссией: Советы настаивали, чтобы им был передан весь госпиталь целиком, но англичане твердо стояли на своем и отдали лишь одних пациентов.

Раненым была предоставлена возможность выбрать, возвращаться на родину или нет. Они решили вернуться, — наверное, считая, что дома за ними будет лучший уход. В санитарном поезде их перевезли в советскую оккупационную зону Австрии. На австро-венгерской границе им пришлось целые сутки ждать советских представителей, а когда те наконец заявились, выяснилось, что разгрузка начнется только после того, как капитан Хиллс подпишет документ, удостоверяющий дурное обращение англичан с ранеными. Это требование рассмешило Хиллса, и он прямо сказал советским представителям, что они сами, задержав свой приход на сутки, виноваты в ухудшении состояния раненых. Впрочем, вслед за тем он преспокойно подписал обвинительный документ. Раненых сгрузили на телеги, запряженные лошадьми. Многие были без сознания. С теми, у кого не было конечностей, не церемонились: эти обрубки грузили вповалку, по трое-четверо подряд. Погрузка кончилась, телеги потащились в гору, и несчастные жертвы порочного круга борьбы между схожими идеологиями — национал-со-

циализмом и социализмом в одной, отдельно взятой стране — скрылись из поля зрения Хиллса.

Впрочем, не всегда репатриация проходила по плану. В лагере в Аверсе, под Неаполем, находилось 800 чеченцев, ингушей и других советских мусульман. Комендантом лагеря был полковник артиллерии Чарльз Финдлей. Вскоре после дня победы пришел приказ доставить этих советских граждан в Легхорн для отправки их домой советской репатриационной комиссией. В поезде пленных сопровождали два офицера — американец и англичанин Джордж Хартман, бывший белоэмигрант. Полковник Финдлей, человек и по наружности, и по характеру недюжинный, с явным неудовольствием воспринял поставленную перед ним задачу и выполнил ее совсем не так, как предполагалось в военном министерстве или МИД. Правда, в Легхорн поезд прибыл по расписанию, но оттуда на всех парах пошел назад. В Неаполе пленных быстро погрузили на корабль, направлявшийся в Египет, где бывшие советские граждане были переданы под протекцию короля Фарука.

Король Фарук, муфтий Иерусалимский, секретариат Арабской лиги и другие мусульманские руководители, пытаясь помочь своим преследуемым собратьям по религии, решили, что каждая арабская страна примет определенное число советских мусульман. Через много лет после войны Деннису Хиллсу стало известно, что группа из 100 кабардинцев, которых он при проверке гражданства спас от репатриации, в мае 1947 года попала в Дамаск и живет там до сих пор. Точная цифра спасенных неизвестна, но в 1946 году на Западе находилось предположительно около 80 тысяч мусульман, и не похоже, чтобы их насильно репатриировали.

Уже в начале мая 1945 года было решено «в принципе принять предложение Вышинского о перевозке пленных по суше». 22 мая представители советского высшего командования, с одной стороны, ВКЭСС и штаб-квартиры союзных войск, с другой, встретились в Галле и подписали соглашение, в котором говорилось: «Все бывшие военнопленные и граждане СССР, освобожденные союзными силами, и все бывшие военнопленные и граждане союзных держав, освобожденные Красной Армией, будут переданы через передовые линии каждой армии представителям соответствующих армий с каждой стороны».

Далее перечислялись приемно-передаточные пункты и подчеркивалось: «Выдача должна начаться через 24 часа после подписания этого документа...»

Еще до соглашения советским властям было выдано около 200 тысяч человек. Бывший капитан Красной Армии вспоминает, как американцы выдали Советам через Эльбу 3 тысячи человек из лагеря в Плавене. 14 мая за пленными прибыла «огромная колонна «студебеккеров». Никакого сопротивления или организованного протеста не было: лагерь находился в руках «партийного комитета». Бежать, судя по всему, удалось только этому капитану.

Подписание Галльского соглашения придало процессу ускорение. К 4 июля в советскую зону Германии было передано не менее

полутора миллионов русских. Вряд ли нам когда-нибудь станет доподлинно известно, сколько из них возвращалось добровольно, сколько было принуждено к этому и насколько союзные офицеры были в курсе желаний репатриируемых. Но из свидетельств участников этих операций складывается довольно стройная картина. Русские напоминали людей, вышедших на яркий солнечный свет после заточения в пещере. Полусонные и сбитые с толку, они покорно шли, куда их вели. Времени для раздумий не было, а рассказы о том, что ждет их на родине, до них пока не дошли.

В середине апреля 1945 года американская армия передала лагерь для русских перемещенных лиц в Гисене в распоряжение генерал-майора Бевина Вильсона, работавшего для Международной комиссии помощи беженцам (МКПБ). Его воспоминания о жизни обитателей лагеря нисколько не напоминают рассказы тех, кто описывает страх или жестокость. В бараках жило около 5 тысяч человек, и почти все они дружно занимались разграблением окрестных деревень, активно участвовали в операциях черного рынка, пели, танцевали и вообще всячески развлекались. Вильсон пишет: «Мы обнаружили, что на 4439 человек имелось всего 1789 кроватей, и, разумеется, спальное место, предназначенное для одного, делили двое, особенно после обеда, когда все бараки занимались тем, что французы определяют словом «l'amour». Те же, кому не нашлось пары, спали на перевернутых буфетах, или составленных вместе столах, или же прямо на полу».

Впрочем, и здесь, как почти повсюду, где собирались русские, многие предпочитали любви — выпивку, но ее нелегко было достать. Вильсон вспоминает: «До открытия столовой, где давали пиво, невозможно было раздобыть какие-либо напитки. В первые дни после нашего прибытия 12 перемещенных лиц умерло ночью: они по ошибке выпили хлороформ, приняв его за водку. Их похоронили на территории лагеря».

Имелись и другие развлечения, менее опасные, например, «каледонский рынок». В один прекрасный день на городскую площадь явились двое — один был переодет медведем, другой изображал поводыря. Медведь лапал всех случившихся поблизости женщин и вообще выглядел очень натурально, так что маленькие дети поначалу испугались, но потом привыкли и радостно бежали за ним.

Наконец настало время возвращения. На американских десятитонках их доставили на железнодорожную ветку в лесу и посадили на поезд. 6 июня отбыла последняя группа. Все они, по воспоминаниям генерала, возвращались охотно. Впрочем, в отличие от генерала Вильсона, они вряд ли представляли себе, что ждет их на родине.

Через несколько недель после дня победы границы восточной и западной оккупационных зон в Германии и Австрии были пересмотрены. 29 июня американский генерал Клей встретился в своем штабе с маршалом Жуковым для обсуждения деталей соглашения. Маршал Жуков поднял вопрос о советских гражданах — бывших пленных — ныне перемещенных лицах... Он потребовал, чтобы

лагеря сохранились в том виде, в каком есть, с целью передачи их Советам... Советы предлагали, чтобы американцы приняли и переправили всех перемещенных лиц, кроме русских... Генерал Клей сказал, что американцы позволят остаться тем, кто не желает уезжать, но русских брать не будут, разве что случится ошибка, которую можно будет потом исправить.

Это был удобный способ разместить большое количество русских, не используя и без того скудные транспортные средства. О том, как соглашение проводилось в жизнь, рассказал капитан Н. Ф. Чоунер, отвечавший за один из таких лагерей. Лагерь находился в Мекленбурге, и среди его обитателей было 2 тысячи русских. На Чоунера они произвели впечатление простых, неприхотливых людей. Но он знал, что уготовило им советское правительство, так как еще до продвижения в этот район советских войск из лагеря увезли несколько групп русских. Их сопровождал знакомый Чоунеру офицер. Он рассказал затем, что, как только поезд с русскими пленными прибыл в район расположения Красной Армии, он был окружен вооруженной охраной и пленных (почти все они были вывезены немцами на принудительные работы) увели в соседний лес. Вскоре оттуда послышалась стрельба, не смолкавшая в течение нескольких минут. И основательно поредевшая колонна вышла из леса. А на границе между зонами висели приветственные плакаты, и оркестр играл веселые мелодии.

Вскоре после этого стало известно, что 4 июля район займет Красная Армия. За несколько дней до этого в лагерь явились люди в штатском (несомненно, сотрудники СМЕРШа) и начали принимать дела. Интересно, что одним из первых пострадал от их недовольства некий активист, назначивший себя в лагере «комиссаром». Он постоянно превозносил советский режим и уговаривал обитателей лагеря вернуться на родину, но ничего не помогло: первую ночь пути на родину он провел среди своих соотечественников во рву. Его дальнейшая судьба нам неизвестна.

Среди перемещенных лиц, людей по большей части малообразованных, выделялся русский инженер, вывезенный немцами вместе с женой. Понимая, что после репатриации их с женой сразу разлучат и отправят в разные лагеря, он умолял англичан разрешить ему и жене присоединиться к группе нерусских пленных, уходившей вместе с английскими войсками. Чоунеру очень хотелось помочь этому симпатичному человеку, но приказ не давал ему такой возможности, и инженеру пришлось разделить участь прочих обитателей лагеря. А вот бывшие жители Прибалтийских республик, оккупированных СССР, не подлежали репатриации. Их в лагере было довольно много, и капитан Чоунер специально проследил за тем, чтобы их своевременно вывезли оттуда.

Для верховного командования союзными войсками наличие такого огромного числа русских представляло большую проблему, и не только потому, что их надлежало кормить и обеспечивать крышей над головой. В воспоминаниях о первых месяцах мира неизменно повторяются рассказы о повальном пьянстве, о насили-

ях и грабежах, которыми занимались освобожденные русские. Около рурского поселения русских рабочих, например, была зверски изнасилована и изуродована дочка фермера, — и таких историй было немало. Генерал Вильсон и другие очевидцы вспоминали, что обычно перед отъездом из лагеря русские [перемещенные лица] все крушили... явно находя особое удовольствие в ломке мебели, порче электроприборов, битье окон и вообще уничтожении всего, что легко и с большим шумом поддавалось уничтожению.

Вильсон объясняет эту страсть к разрушению ненавистью ко всему немецкому. Однако нам представляется более правдоподобным объяснение поляка, длительное время соседствовавшего в камере на Лубянке с русским. Поляка поразило отсутствие у его соседа инстинкта собственности и уважения к вещам, непригодным для немедленного использования. Это в какой-то степени может объяснить, почему Красная Армия разрушает все на своем пути. Солдаты просто не отдают себе отчета в ценности плодов труда поколений и не понимают, что, уничтожая такие вещи, наносят непоправимый вред цивилизации. Эта варварская точка зрения дает им большие преимущества в войне.

Неудивительно поэтому, что большинство английских и американских офицеров с облегчением воспринимали отъезд своих необузданных подопечных, нимало не задумываясь над их дальнейшей судьбой. Сомнения и раздумья возникли после первых, проведенных в спешке, майско-июньских операций. Число перемещенных лиц значительно сократилось, а сопротивление репатриации стало более открытым — быть может, потому, что каким-то образом просочилась информация о судьбе репатриированных, а может, напоследок остались те, кто был особенно тверд в решении не возвращаться. До сих пор случаи открытого сопротивления среди перемещенных лиц были относительно редки. Полковник Вернон И. Мак-Гукин, в мае 1945 года назначенный штабным офицером в американскую 94-ю пехотную дивизию и отвечавший за 55 тысяч русских перемещенных лиц, вспоминает, что большинство возвращалось на родину добровольно, и в мае 1945 года американским солдатам не пришлось применять силу.

В соглашении, заключенном Клеем и Жуковым 20 июня, оговаривалось, что в советскую зону оккупации будет переведен новый контингент перемещенных лиц, находившихся западнее. К 4 июля силы союзников перевели в район, ставший советской оккупационной зоной, 165 тысяч таких советских граждан, и через 10 дней утроба Советского государства поглотила их. Всего к этому времени союзными войсками было выдано 1 584 тысячи человек, и число выдаваемых ежедневно становилось все меньше и меньше. В то же самое время союзные офицеры стали замечать, что некоторые репатрианты не желают возвращаться. Вот что пишет английский лейтенант Майкл Бейли: «Нам пришлось ходить по фермам, собирать работавших там русских, — и нас немало смущало, когда эти люди, в основном немолодые, бывшие буквально рабами на немецких фермах, падали перед нами на колени, молили разрешить им

остаться здесь и плакали — не от радости, но от горя, — узнав, что их отсылают назад в СССР. Мы не могли этого понять, но поляки — вероятно, из советской танковой дивизии — сказали нам, что в Германии русским крестьянам живется лучше, чем на родине, и поэтому нам лучше всего оставить их в покое».

Поведение советских представителей в западной зоне могло бы послужить прекрасной иллюстрацией официальной советской позиции. Офицер инженерных войск майор Томпсон занимал в ту пору пост, который давал ему идеальную возможность для того, чтобы составить самое широкое представление о репатриационных операциях летом 1945 года. В его задачу входило поддержание связи со штатом немецкой железной дороги, поставляющей подвижной состав для перевозки тысяч русских рабочих в Руре. Их сажали на поезд на сортировочной станции в Вуппертале. Местом назначения был Магдебург, который теперь находился в советской зоне. Томпсон пишет: «Вагоны, в которых ехали репатриируемые, были украшены гирляндами, вымпелами и портретами Сталина, оркестр играл патриотические мелодии. Но отправление поездов неизменно задерживалось из-за трудностей, возникавших при посадке — сначала в грузовики, а затем и на поезд, когда русские прятались под вагонами или в других укромных местах. Многие изо всех сил сопротивлялись посадке на поезд, и во всех составах два-три вагона выделялись специально для смутьянов и были надежно закрыты снаружи, так что побег исключался... Тем не менее ко мне поступали рапорты о побегах с каждого поезда и сообщения о самоубийствах и убийствах, совершенных в дороге».

Сообщения майора Томпсона о трудностях с перевозкой репатриируемых подтверждаются многими военными, служившими тогда в Германии. Капитан Дж. Перейра, командир взвода, охранявшего лагерь в районе Кёльна, вспоминает: «Советский офицер связи дал нам список примерно из ста имен. Этих людей они непременно хотели заполучить назад. Но из-за беспорядка, царившего тогда на железной дороге, это было не так-то легко сделать; а когда их всех в конце концов отправили на родину, то, как я слышал, многие были убиты при попытке к бегству, кое-кому удалось бежать, прочие же оказались в России».

Конечно, многие действительно выражали желание вернуться на родину. Одна полька описала мне свое посещение лагеря в районе Бергдорфа. Она «видела, как людей с вещами сажали на армейские грузовики, и их явно радовала возможность вернуться назад на родину, начать жизнь сначала». Еще примечательнее в этой связи рассказ Н. Ламберта, служившего в районе Бремена. В 1944 году он «познакомился с двумя русскими, которые после революции 1917 года жили в Париже. Они сказали мне, что рвутся назад, на родину, им не терпится принять участие в создании новой России». Да оно и странно было бы, если бы никто не предпочел возвращение на родину неопределенному существованию в лагерях перемещенных лиц или если бы никто не поддался на широко разрекламированное обещание всеобщей амнистии. Когда у рус-

ских перемещенных лиц в Лихтенштейне была возможность свободно выбирать — остаться на Западе или вернуться домой, — многие предпочли возвращение. Генерал, имевший дело с этими людьми, объясняет их решение вернуться ностальгией, страхом перед одиночеством изгнания и верой в обещанную амнистию.

Но, независимо от личных пожеланий, чаяний и надежд репатриантов, тех из них, кто оказался в руках своих соотечественников, ждала примерно одинаковая судьба. Многие военнослужащие союзных армий имели возможность краешком глаза подсмотреть, что происходило у них под боком, за незримым занавесом, разделявшим оккупационные зоны. Так, капитан Энтони Смит зимой 1945/46 года был переведен из своего артиллерийского полка в некое, по-видимому, неофициальное формирование, в котором было равное количество английских и советских частей... всего около тридцати... «Мы должны были оказывать помощь Советам в репатриации их граждан из английской оккупационной зоны в советскую», — вспоминал он.

Районом их операций была область к юго-востоку от Гамбурга. Почти все русские, за которыми они охотились, были вывезены в Германию на принудительные работы. Поначалу капитан Смит отнесся к своим новым обязанностям как к приятному разнообразию в монотонной службе. Но вскоре ему пришлось участвовать в событиях, которые навсегда оставили след в его душе — он до сих пор не может говорить о них спокойно: «Очень скоро стало ясно, что 99% не желают возвращаться к себе на родину, потому что, во-первых, боятся коммунистов и с ужасом вспоминают о своей жизни в советской России, а, во-вторых, в нацистской Германии, где они были едва ли не рабами, им жилось лучше, чем в СССР. Советские представители прибегали к различным ухищрениям и лжи, чтобы убедить этих людей вернуться, и нам тоже приходилось принимать в этом участие. Но стоило репатриантам оказаться под советской юрисдикцией, как отношение к ним резко менялось, становилось мстительно-жестоким».

Капитан Смит и его солдаты стали свидетелями жестокостей, на которые, как им до сих пор казалось, способны только самые отъявленные эсэсовцы: «При инциденте, определившем наше последующее отношение к делу, присутствовали только старший сержант и шоферы, которые доставили группу репатриируемых на сборный пункт в восточной зоне. Но их рапорт мне был составлен так, что, если бы мы решили продолжать сотрудничество с советскими, мы столкнулись бы с восстанием наших солдат. Разумеется, всякая возможность сотрудничества с этого момента отпала... В рапорте рассказывалось следующее. Перемещенные лица были посажены в вагоны, им разрешили взять с собой одежду и мелкие бытовые предметы, и вся их поклажа состояла из узелков и старых чемоданов. Когда транспорт прибыл на сборный пункт, все вещи были сброшены в одну кучу, а затем сожжены. Это вызвало недовольство, но потом стало еще хуже. Начали разбивать семьи, отбирая людей по полу и возрасту — отдельно трудоспособных мужчин, отдельно — детей, женщин и стариков. По словам старшего сержанта, англичан под угрозой оружия заставили уехать, но все же солдаты видели, как насиловали девушек, как уводили куда-то группы стариков — и вскоре вслед за этим раздавались выстрелы».

От стариков попросту избавлялись — зачем они государству трудящихся...

После этого рапорта капитан Смит, по предложению своего старшего сержанта, ввел систему обмана советских коллег. Он вспоминал: «Стоило нам узнать, в какой район мы отправляемся назавтра, мы накануне ночью, втайне от советских и даже от нашего собственного полковника, высылали кого-нибудь предупредить, чтобы мужчины скрылись, а одних женщин и детей вывозить было нельзя. Так что, к неудовольствию советского офицера, многие наши рейды оказались неудачными».

Майор Джек Вольф, начальник гражданской полиции в Дельменхорсте, под Бременом, вспоминает не менее ужасные сцены. Однажды к нему в кабинет явились в сопровождении английского офицера майор и лейтенант из советской репатриационной комиссии. Они должны были провести проверку и репатриацию советских граждан в большом лагере для перемещенных лиц. Назавтра, около 2 часов ночи, у обнесенного проволокой лагеря остановились английские и советские военные машины. В условленный момент разом включились все прожектора, ярко осветив лагерь. Его обитатели в панике бросились из своих жилищ — их встретил пулеметный огонь советских охранников. На глазах у майора Вольфа и его солдат с десяток мужчин, женщин и детей были убиты на месте. Раненых было много больше. Уцелевших отвели в ближайшую церковь и заперли там. В 10 часов утра советские офицеры и их английский коллега пришли туда для проведения «проверки», которая заключалась в том, что советский майор, без всякого участия со стороны англичанина, просто сам решал, кто из перемещенных лиц является советским гражданином.

На улице уже стояли три английские трехтонки. Узников разделили на три группы: дети до 16 лет, мужчины и женщины от 16 до 60, люди старше 60. Каждая группа села в свой грузовик. Сразу по пересечении границы советской оккупационной зоны вторая группа была отправлена в трудовой лагерь, а детей и стариков отвели в сторонку и расстреляли.

Майор Вольф вскоре уехал из Дельменхорста, но, когда он вернулся туда через шесть месяцев, эти страшные операции все еще продолжались. Он присутствовал при нескольких массовых расстрелах. В ответ на его рапорт полковник Питер Лейн из разведки ответил, что такова политика британского правительства и ничего тут поделать нельзя.

Кроме масс русских, застрявших в западных зонах Германии, с востока постоянно сочился тонкий ручеек перебежчиков из Красной Армии. Джордж Лакий, украинец из Польши, служивший в английской армии, был переводчиком при офицере разведки штаба 5-й дивизии в Брунсвике. За время его службы там около

ста красноармейцев попросили убежища в 5-й дивизии. В отношении этих несчастных применялась операция «Нью-Йорк»: «их держали под арестом и, выведав от них на допросах незначительную военную информацию, везли на контрольный пункт в Хельмштедт и там передавали Советам... навстречу верной смерти». Правда, как вспоминает профессор Лакий, он делал то, что граничило с нарушением приказов. По тайному сговору со своим командиром, офицером разведки, он провез контрабандой некоторых из них в лагеря перемещенных лиц и спас им жизнь. Это было нелегким делом, поскольку перебежчики требовали, чтобы их передали британским властям.

Эти примеры дают нам представление о, так сказать, «человеческом факторе» крупных репатриационных операций в Германии. К 30 сентября поток репатриируемых фактически иссяк. К этому времени из западных оккупационных зон Германии и Австрии советским властям были переданы около 2 035 тысяч перемещенных лиц. На территории, оккупированной Красной Армией, Советы в тот же период обнаружили еще 2 946 тысяч человек. Примерно 40% этих людей хотели остаться на Западе.

Пока в Германии шло это колоссальное переселение народов, в Норвегии разворачивалась другая крупномасштабная операция. Немецкие оккупационные силы до самого конца войны сохраняли полный контроль над страной. После капитуляции Германии немцам было приказано пока оставаться на своих постах, в частности, они должны были по-прежнему заниматься администрированием и охраной в лагерях. Они выполняли это с поразительной педантичностью, что вызвало восторг английских офицеров — пока они не начали обнаруживать следы немецких преступлений против несчастных пленных, и восторг сменился отвращением.

Как только в штабе ВКЭСС стало известно, что среди пленных около 76 тысяч русских, там приступили к разработке мер по их скорейшей репатриации. Рассматривалось два возможных маршрута: «морем из норвежских портов в СССР» и «сушей в шведские порты, а оттуда морем в СССР». ВКЭСС приказал обеспечить транспорт и начать переговоры с нейтральным шведским правительством для получения разрешения на проезд по территории Швеции. Последнее не представляло никаких проблем. Шведы пошли навстречу советским властям с той же готовностью, с какой в 1940 году помогали нацистам оккупировать Норвегию. К 20 мая согласие Швеции было получено, и в начале июня советские и шведские представители и представители ВКЭСС собрались в Осло для обсуждения деталей. Английский майор Ян Никольс, вылетевший для эскорта репатриируемых по морю, через несколько дней узнал, что «Швеция предложила 3-й класс [железнодорожного транспорта] для солдат и 2-й класс для офицеров, но советские настояли на вагонах для скота, поскольку в СССР нет других средств для перевозки заключенных».

19 июня Никольс сопровождал один из таких товарных поездов за шведскую границу. Он рассказывает: «Стоило русским понять,

что мы англичане, поднялся невообразимый ажиотаж. Они бегали вокруг нас с криками «ура» и «да здравствует Англия». Мы отдали им все наши сигареты, что привело их в неистовый восторг. Все они были в хорошей форме, у них явно было хорошее настроение, и дисциплина среди них поддерживалась прекрасная».

В западной прессе никаких описаний этого путешествия не появилось. По требованию Межсоюзной комиссии в Осло имевшееся у шведских журналистов разрешение описать операцию было отменено. «Согласно хорошо информированным источникам, и советские, и западные союзники по разным причинам возражали против гласности».

Большинство русских, находившихся в Норвегии, было отправлено домой таким образом. Незначительное количество из лагерей на севере было вывезено морем через Северный Мыс. Первый конвой отплыл из Тромсё 23 июня. На борту норвежского пассажирского судна «Конг Даг», вместе с 600 русскими, находился майор Никольс, который вспоминает: «Полковник, отвечавший за репатриацию, сказал мне, что немцы обращались с пленными, как с животными. Их заставляли тяжело работать и избивали по любому поводу».

Большая часть репатриантов радовалась возвращению домой и завершению хождений по мукам. Первый день плавания прошел мирно и спокойно. Русские загорали на палубе, пели, всячески развлекались. На другой день на горизонте возникла полоска русской земли. Пленные поспешно приводили в порядок свои отрепья, на мачтах весело трепетали советские флаги. Недалеко от Кольского полуострова они повстречали советский военный корабль «Архангельск». На палубе было полно моряков. При виде соотечественников, с которыми они столько времени были разлучены, пленные на «Конг Даге» пришли буквально в неистовство — стали радостно махать руками, что-то кричать. Ответом было зловещее молчание. «Архангельск» безмолвствовал. Неподвижно замершие на палубе моряки молча смотрели на проходящий мимо «Конг Даг». Недобрые предчувствия охватили пленных, бурная радость сменилась апатией и страхом, который не рассеяло даже прибытие в Мурманск. Целую ночь они прождали на корабле, пока судно не отвели в док.

Едва спустили трап, как один из пленных вырвался из толпы и бросился к набережной, где его поджидала машина. Как выяснилось впоследствии, это был секретный сотрудник СМЕРШа, несомненно, подготовивший обычные в таких случаях списки. В отличие от прежних конвоев, которым устраивали торжественную встречу, «Конг Даг» избавили от этого потемкинского представления. На набережной было полно военных и милиции, район высадки был обнесен колючей проволокой. После томительного ожидания — во время которого ни один советский представитель не подошел к кораблю — было дано разрешение на высадку. Все личные вещи приказали сложить в одну кучу на набережной. После поверхностного медицинского осмотра всех пленных построили группами за колючей проволокой. Человек двадцать отделили от общей массы

и посадили в грузовик с охраной. Затем, после очередного ожидания, всех пленных увели под вооруженной охраной — в исправительный лагерь, как объяснили майору Никольсу переводчики. Больше он своих подопечных не видел.

В середине следующего месяца из Тромсё отошел еще один конвой с русскими пленными. Их ждал такой же прохладный прием. В досье английского МИД хранится рапорт молодого английского офицера, бывшего на борту одного из судов. Он с ужасом описывает бесчеловечное обращение с несчастными, настрадавшимися в немецком плену людьми. Никто не помог им сойти на берег; калеки были вынуждены справляться собственными силами. Даже «молодые девушки в форме — как нам сказали, медсестры в ранге сержанта», относились к пленным равнодушно и жестоко. Такая бессердечность советских представителей явно озадачила автора рапорта. Он замечает, что простые английские солдаты, ставшие очевидцами этих сцен, «почувствовали это даже, может, сильнее, чем некоторые офицеры, и сделали выводы».

В составе этого конвоя было медицинское судно «Аба». На его борту находились больные русские. Сопровождал судно английский лейтенант из группы связи с советскими, Владимир Бритнев, сам русский по происхождению. Он вспоминает, в каком ужасном состоянии были его подопечные: «Все они были обречены, и, мне кажется, большинство это понимало. Они были либо изувечены, либо умирали от туберкулеза. Чтобы облегчить их страдания, я помогал им ежедневно, а то и дважды в день протыкать иглой легкие, выкачивая гной»

В Тронхейме Бритнев сошел с корабля, его ждали новые обязанности, а на его место заступил уже знакомый нам Чеслав Йесман, работавший с русскими военнопленными в Англии. Он хорошо говорил по-русски и за прошедший год выслушал от пленных сотни историй о том, как тяжко им пришлось при немцах. В Тронхейме «Аба» взяла на борт еще какое-то количество больных русских (всего на корабле находилось 399 пациентов). А в Мурманске судно ждал обычный холодный прием. Для тех, кто не мог ходить, советские власти выделили несколько сломанных носилок, но одеял не предоставили. «Аба» простояла в Мурманске четыре дня, и, когда она отходила в море, с палубы можно было видеть несчастных, лежавших на набережной там, где их сгрузили. Многие умерли — некоторые от болезни, другие же, в буквальном смысле слова, от жажды. Английские матросы и медсестры с корабля делали все, что могли, чтобы помочь несчастным, — хотя никто не просил их об этом, — но их возможности были крайне ограниченны. Иногда к раненым приходили молодые советские женщины в форме, с жесткими лицами. Йесману сказали, что это любовницы высокопоставленных офицеров. Лишь одна из них на минуту обнаружила интерес к происходящему: когда английский матрос обходил больных, поя умиравших от жажды людей, молодая дама выразила возмущение некультурностью матроса, который поил всех с одной ложки.

Однако в целом советские власти не бездействовали. Мы уже убедились, что обычно офицеров, возвращавшихся на родину, расстреливали тут же по прибытии. Но среди жалких человеческих обрубков на борту «Абы» офицеров не было. Впрочем, сотрудники НКВД справились с этой задачей: двух русских врачей и фельдшера отвели в сарай ярдов за сорок и расстреляли. До Йесмана донеслись их крики и проклятья; позже он видел тела расстрелянных. Многие члены команды корабля тоже слышали приглушенный залп.

Покончив со всеми делами, «Аба» и сопровождавшие ее суда вышли в норвежские воды. Рапорт о приеме, оказанном советскими властями больным согражданам, был передан в МИД, и Томас Браймлоу заявил, что все это «отвратительно и очень грустно» и рапорт может пригодиться для служебного пользования при подготовке ответа на утверждения генерала Голикова, будто родина принимает своих сынов с распростертыми объятиями. МИД, однако, не мог позволить себе такую «бестактность», как прямой упрек в адрес советских представителей.

Во время службы в армии Чеслав Йесман имел возможность близко узнать одного из своих коллег в советской миссии, сотрудника СМЕРШа майора Шершуна. Шершун был родом из Белоруссии и уверял, что знает тамошних родственников Йесмана. Йесман называет Шершуна то «честным разбойником», то «симпатичным крестьянином», но замечает при этом, что попасть к Шершуну на допрос ему не хотелось бы — это был настоящий убийца, хотя и не лишенный своеобразного обаяния. Йесман оказался с ним в одной каюте на пути в Мурманск и обратно. К Бритневу, который был попутчиком Шершуна на пути из Халла, советский майор отнесся с подозрением, но с Йесманом он разоткровенничался. Немногие, наверное, могут похвалиться тем, что лицезрели офицера СМЕРШа вне его служебной скорлупы, в голубой пижаме. Пожалуй, Йесмана даже притягивала эта сложная личность.

Когда «Аба» под укоризненные взгляды калек и умирающих на набережной отправилась в путь, Шершун вдруг раскрылся совершенно с неожиданной стороны. Как описано в последовавшем затем рапорте, было замечено, что на обратном пути майор Шершун вовсе не появлялся в кают-компании и выходил из своей каюты только во время трапез. Он прекратил всякое общение с офицерами. К переводчику стали приставать с вопросами, и оказалось, что, когда англичане оставили в мурманском госпитале группу русских военнопленных, майор Шершун сказал полковнику, будто, по его мнению, советские оказали англичанам очень плохой прием, а «после всего того, что англичане сделали для русских больных», следовало принять их теплее и сердечнее.

Чеслав Йесман вспоминает, как Шершун сидел на койке, закрыв лицо руками, и повторял: «Мне так стыдно». К несчастью, его критические высказывания дошли до ушей бдительных советских коллег. Его тут же обвинили в том, что он «нахватался заразы» у англичан, и приказали через три недели вернуться из Норвегии в СССР.

К возмущению дежурного английского офицера, в Тромсё на борт судна поднялись два офицера НКВД и увели Шершуна. Правда, смершевца не ликвидировали. То ли у него были высокопоставленные друзья, то ли ему удалось сыграть на своем обаянии, но он вновь всплыл на горизонте, и Йесман позже встречал его в Египте и Константинополе.

Вскоре Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что репатриация примерно 81 тысячи русских завершена к 22 июля 1945 года. 65 тысяч из них были вывезены из Норвегии в Швецию по железной дороге, а затем морем из Швеции на советских и финских судах. Остальные 16 тысяч были доставлены морем. В Норвегии осталось около 3 тысяч русских, которых предполагалось вывезти к концу июля 1945 года.

Последние репатриированные — опять больные — были высажены в Мурманске 29 июля. Сопровождавший их английский офицер сообщал о том, что их приняли «точно так же, как в прошлый раз».

Так закончилась эта забытая глава репатриационных операций. ТАСС при этом умудрился заявить, что англичане дурно обращались с русскими во время их пребывания в Норвегии, а 30 июля на Потсдамской конференции Молотов уверял, что многих русских все еще удерживают там помимо их воли. Оказалось, речь шла о прибалтийцах, поляках и других — тех, кого англичане советскими гражданами не признавали. Они не подверглись выдаче советским властям и были перед уходом английской армии из Норвегии перевезены в Германию. Агенты генерала Ратова, прибывшего из Англии проследить за операцией, в течение августа и сентября часто попадались на попытках похитить или убить кого-нибудь из этих людей. Задачи генерала Ратова, однако, не ограничивались возвращением «советских граждан». Как и в других местах, присутствие советской репатриационной миссии (и требование британского МИД разрешить ей остаться там на неопределенный срок) было прикрытием для работы советских шпионских служб на Западе. И если бы советские власти решили, например, после ухода англичан в октябре продвинуть свои оккупационные силы в Киркенесе и установить в Осло социалистический режим, присутствие Ратова и его 167 офицеров оказалось бы очень кстати.

Итак, за три летних месяца 1945 года мужчины, женщины и дети, численность которых почти равнялась населению Норвегии, были захвачены победоносными западными державами и переданы представителям СМЕРШа на пограничных пунктах зон или в портах Одессы и Мурманска. Остается лишь дописать эпилог этой истории.

Около двухсот советских граждан умерли в нацистских концентрационных лагерях в Норвегии во время войны, и несколько красноармейцев были убиты при освобождении северных провинций. В качестве жеста доброй воли норвежцы позволили советской комиссии ухаживать за русскими кладбищами на территории страны, что было использовано Советами как прикрытие их шпионской деятельности.

Глава 14

СОЛДАТСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

К лету 1945 года, когда около двух миллионов советских граждан — основная масса тех, кто оказался за время войны на Западе, — были переданы Сталину, ситуация несколько изменилась. Союзные военнопленные, освобожденные Красной Армией в Восточной Европе, практически все вернулись уже домой, так что отпали причины, в свое время сыгравшие важнейшую роль в принятии Англией и Америкой решения о депортациях. Европа понемногу приходила в себя, начиналась мирная жизнь, и теперь можно было по-новому взглянуть на насильственную репатриацию. Более того, были уже совершенно ясны советские планы относительно стран Восточной Европы. Пребывание нескольких тысяч советских граждан на Западе само по себе не представляло серьезной административной проблемы: среди тех миллионов, которые должна была обеспечить кровом, одеждой и едой Международная комиссия помощи беженцам, они были всего лишь каплей в море. Наконец, в военных и правительственных кругах Запада широко распространились свидетельства о бессудной, жестокой расправе советских властей с репатриантами. Государственные деятели, дипломаты и военные располагали теперь кое-каким досугом и вполне могли задуматься над моральными и политическими последствиями насильственной депортации. Здесь возникало множество вопросов, и главными среди них были следующие: может ли Англия отказаться от официального обязательства Идена и своей прежней трактовки Ялтинского соглашения; будут ли Соединенные Штаты по-прежнему придерживаться принципа, что гражданство определяется военной формой? Если да — то могут ли русские в форме вермахта рассчитывать, что с ними будут обращаться, как с немцами? Все эти вопросы сводились к главному: нужно ли репатриировать оставшихся на Западе советских граждан против их воли? И если нужно — то сколько: всех или часть? А может, и вовсе никого? Именно в этот послевоенный период начали формироваться различные позиции, а за кулисами разгорелись споры, от исхода которых зависела судьба тех, кто не желал возвращаться в СССР.

Соединенные Штаты никогда не были ярыми приверженцами политики насильственной репатриации. Госдепартамент, как мы помним, весьма неохотно принял следующую формулировку: «Политика США состоит в том, чтобы репатриировать в СССР всех объявляющих себя советскими гражданами, при подтверждении этого факта советскими властями. На практике это означает... что советские граждане, проживавшие в границах СССР до 1939 года, *подлежат репатриации независимо от их личных желаний*».

На эту тему была выпущена специальная директива ВКЭСС. Несмотря на несколько извиняющийся тон записки («на практике...»), она с неизбежностью повлекла за собой жестокие меры. О том, как эта «практика» выглядела на деле, рассказывает письмо бывшего американского офицера: «Летом 1945 года мне и еще нескольким артиллерийским офицерам 102-й пехотной дивизии было поручено привести колонну из всех имевшихся в батальоне грузовиков с целью собрать русских военнопленных из немецких лагерей для интернированных и доставить их советским представителям в Хемнице. Около двух недель, днем и ночью, я вел колонну из 17 грузовиков через всю Германию и Францию. По дорогам шли тысячи других грузовиков с той же миссией. Мы скоро выяснили, что многие русские не желают возвращаться, а затем узнали и о причинах этого нежелания. Они считали, что все офицеры-военнопленные будут немедленно по прибытии [в СССР] расстреляны, а прочих отправят в лагеря в Сибирь. В результате нам пришлось угрожать им оружием, а наш приказ предписывал стрелять при попытке к побегу. Однако многие русские все же шли на риск и пытались бежать».

Госдепартамент отчасти разделял недовольство солдат, которым выпало проводить в жизнь эту жестокую политику. По просьбе государственного секретаря Стеттиниуса посол США в СССР Гарриман представил 11 июня отчет о том, как обращаются в СССР с вернувшимися пленными. «Хотя посольство не располагает фактами, подтверждающими сообщения о жестоких расправах с советскими гражданами, репатриированными из районов, занятых союзниками, было бы неразумно утверждать, что оснований для таких сообщений нет. Советское правительство и военные власти всегда достаточно ясно выражали презрение к своим солдатам, попавшим в плен. Советское правительство не подписало Женевскую конвенцию и на протяжении войны не раз отклоняло всякие попытки воюющих с ним стран заключить соглашение о военнопленных, которое могло бы облегчить судьбу советских пленных в Германии... Хотя репатриация освобожденных [из плена] советских граждан ведется уже в течение нескольких месяцев, посольству известен только один случай, когда репатриированный военнопленный *вернулся в Москву, к семье и к прежней работе*. Этот человек болен туберкулезом, и его освободили, продержав четыре месяца в лагере под Москвой. Известно, что в портах прибытия репатриируемых встречают милиция и охранники, которые уводят репатриантов в неизвестном направлении. Товарные поезда с репатриантами проходят через Москву в восточном направлении, во время стоянки на московских вокзалах пассажиров не выпускают из вагонов и общение с ними невозможно. Несмотря на недостаток информации, мы полагаем, что репатрианты первым делом подвергаются интенсивным допросам со стороны работников милицейской службы... Вполне возможно, что лиц, признанных виновными в намеренном дезертирстве из армии либо антигосударственной деятельности, расстреливают, а тех, у кого хороший послужной список и кто попал в плен раненым (или в аналогичных обстоятельствах) и отказался служить у немцев, могут отпустить домой. Однако большинство репатриируемых, вероятно, попадает в строительные батальоны и используется на строительстве на Урале, в Средней Азии, Сибири и на Дальнем Севере под наблюдением охраны».

11 августа Госдепартамент вновь запросил посольство в Москве, не принимало ли советское правительство во время войны указов о лишении гражданства советских подданных, попавших в плен. Американские власти явно искали какую-нибудь юридическую лазейку, чтобы иметь возможность оправдать свой отказ от политики насильственной репатриации. Но ответ посольства от 16 августа гласил, что о таких указах ничего не известно; поэтому Стеттиниус решил, что ему остается лишь по-прежнему подчиняться советским требованиям. Кроме того, от американцев пока не *поступали сообщения о преступлениях советских властей, подобных тем*, что были совершены в Одессе 18 апреля и 10 июня на глазах у англичан, а американским солдатам еще не пришлось участвовать в таких душераздирающих событиях, какие разыгрались в Лиенце 1 июня. И хотя вынужденное участие в насильственной репатриации было американцам не по душе, они не располагали достаточными основаниями для того, чтобы отказать СССР в его требованиях.

Как следует из документа, датированного 14 июля, в английском МИД все еще полагали, что американцы всегда спрашивают советских граждан, взятых ими в плен в немецкой форме, согласны ли они вернуться в СССР. Если эти люди заявляют, что находятся под протекцией Женевской конвенции, им разрешается остаться как немецким военнопленным.

Но к тому времени позиция США в этом вопросе уже коренным образом изменилась; и отход от прежней, формально безупречной, политики был провозглашен Джозефом К. Грю, человеком, до тех пор рьяно отстаивающим примат принципа над целесообразностью. Исполняющий обязанности государственного секретаря, Грю долго и упорно заявлял, что подпись Соединенных Штатов под Женевской конвенцией 1929 года обязывает считать всех пленных, захваченных в немецкой форме, немецкими солдатами. США добились того же для своих солдат — японцы, итальянцы, немцы, служившие в американской армии, считались американцами, — поэтому, как доказывал Грю советскому поверенному в делах Николаю Новикову, американское правительство должно не менее скрупулезно, нежели немецкое, соблюдать свои обязательства,

обусловленные международным правом. Однако к лету 1945 года в этой политике произошел коренной перелом.

В течение зимы 1944/45 года советские власти требовали возвращения небольшой группы власовцев, упорно сопротивлявшихся репатриации и с самого начала понявших, что они имеют право считаться немецкими военнопленными. Вообще из бывших советских граждан, отправленных с немецкими военнопленными в США вскоре после высадки в Нормандии, возвращаться в СССР не желали очень многие, но большинство не сумело отстоять свои права, и около 4300 были отправлены во Владивосток. 118 человек заявило о том, что находятся под защитой Женевской конвенции, и уже 5 мая Грю сообщил Новикову, что Соединенные Штаты обеспечат репатриацию всех советских граждан, за исключением этой группы.

Три дня спустя война закончилась, а еще через четыре дня Грю написал письмо министру военно-морского флота Форрестолу. Изложив историю этих 118 русских, попавших в особую категорию, и упомянув об упорном отказе Госдепартамента передать их советским властям, Грю продолжал: «Я полагаю, что теперь, когда Германия безоговорочно капитулировала и все американские военнопленные в немецком плену освобождены, отпадает всякая опасность того, что немецкие власти предпримут какие бы то ни было меры против американских военнопленных. Поэтому я считаю, что было бы разумно передать эту группу из 118 человек советским властям с целью их последующей репатриации в СССР, а также выдать Советам любых других лиц аналогичного статуса, которые могут быть обнаружены под опекой Соединенных Штатов в будущем».

Подробности обсуждения этой записки нам неизвестны, но 18 мая государственный координационный комитет военно-морского флота одобрил предложение Грю и 23 мая известил об этом государственного секретаря.

Вот так, без долгих раздумий, Соединенные Штаты заявили о своей готовности совершить то, что сам Грю ранее назвал «нарушением самой сути конвенции», в частности, следующего пункта: «Военнопленные имеют право, чтобы с ними обращались, исходя из того, какая форма была на них в момент сдачи в плен, и пленившая их страна не должна без их согласия определять их гражданство или национальность иначе как на основании их военной формы».

Столь резкое изменение американской позиции было вызвано весьма малодостойной логикой: раз Соединенные Штаты больше не используют преимуществ, предоставляемых им конвенцией, они могут позволить себе отказать в этих преимуществах солдатам Германии.

Во исполнение решения государственного секретаря, 118 русских, претендовавших на немецкое подданство, и еще 36 человек, находившихся в том же положении, были собраны в обнесенном проволокой лагере в Форт-Диксе, штат Нью-Джерси. Здесь им сообщили, что 29 июня их посадят на пароход, идущий в СССР.

Пленные, явно догадывающиеся, зачем их собрали вместе, и раньше были настроены довольно мрачно, но сообщение о репатриации толкнуло их на отчаянные шаги. Они сразу же забаррикадировались в бараках и отказались выходить или впускать кого-либо. Триш, прибывший на место событий, потребовал, чтобы три командира — получивших звание в немецкой армии — вышли к нему для переговоров. Ответом было молчание. Вскоре из окна барака потянулся дым.

Триш приказал забросать барак слезоточивыми гранатами, после чего оттуда посыпались люди, размахивающие доморощенным оружием — ножами из бритвенных лезвий, ножками от столов и стульев. Американские солдаты были захвачены врасплох. В сумятохе пленные захватили и ранили трех солдат, оказавшихся впереди, но дальше стояли боевые отряды с карабинами и автоматами, и когда русские бросились вперед, прозвучала торопливая команда и раздался залп. Семеро пленных упали. После получасовой схватки американцы одолели оставшихся. Еще двое получили рваные раны, пытаясь подлезть под колючую проволоку, чтобы выбраться из лагеря.

Солдаты ворвались в барак, в котором все еще стоял запах слезоточивого газа. Наверное, они выглядели довольно устрашающе в своих жутких противогазах, но в бараке их глазам предстало зрелище пострашнее. Три тела раскачивались на балках, еще пятнадцать петель ждали следующих жертв. На допросах выжившие показали, что немедленное применение полковником Тришем слезоточивого газа предупредило самоубийство всех 154 человек. Пленных под усиленной охраной вывели из лагеря и отвезли в порт. Этот инцидент получил широкое освещение в прессе. 30 июня пленных привезли в порт на грузовиках — в каждом по четыре пленных и по пять охранников. Раненых доставили в машинах «Скорой помощи», тоже под охраной. Вход в порт был заблокирован отрядом военной полиции из 80 человек с автоматами. В доке уже стояло транспортное судно американского флота «Монтичелло», бывший итальянский лайнер «Конте Гранде». Через 15 минут после прибытия пленных командир эскорта, полковник Джон Ландерс, неожиданно получил новый приказ. Посадка на судно отменялась; пленным надлежало вернуться в бараки. В 3.30 150 русских в сопровождении 200 охранников двинулись назад, в Форт-Дикс. Почему вдруг изменились планы — никто не объяснил, но ясно было, что дело пересмотрено.

По возвращении в лагерь были приняты чрезвычайные меры по предотвращению самоубийств. Пленных поселили в бараках, где ничего не было, кроме матрасов. У них отобрали все предметы и вещи, которые могли бы быть использованы в целях самоубийства.

Весь этот инцидент был крайне неприятен для правительств СССР и США. Вооруженным охранникам в порту пришлось сдерживать толпу любопытствующих ньюйоркцев; газеты широко освещали факты — первые публичные свидетельства того, что русские предпочитают смерть возвращению на родину; а генерал

Голубев в заявлении от 3 июля обвинил Соединенные Штаты в том, что те силой препятствуют возвращению на родину людей, отчаянно рвущихся воссоединиться со своими соотечественниками. Его нимало не смутили возражения американцев, что сотрудникам советской военной миссии было разрешено посещать пленных и что только один из 154 поддался на угрозы и посулы и вызвался вернуться.

Группа русских в составе 151 человека ждала решения Госдепартамента. 11 июля Грю писал: «Мы рассматриваем возможность отправки этой группы в Германию, где они будут лишены статуса военнопленных и переданы советским властям». Разумеется, государственные мужи надеялись с помощью этой уловки избежать обвинений в нарушении Женевской конвенции, поскольку германской армии уже не существовало. Однако, опасаясь огласки, которую могли бы вызвать эти поспешные меры, Грю счел нужным прежде всего установить, действительно ли все эти люди являются советскими гражданами, и распорядился провести дополнительную проверку.

Между тем 7 августа политический советник США в Италии Кирк сообщил государственному секретарю Джеймсу Ф. Бирнсу, сменившему 3 июля Стеттиниуса, что 118 пленных власовцев обратились к генералу Маршаллу и Международному Красному Кресту с просьбой о предоставлении им «во имя человечности» убежища. Кирк, встревоженный доказательствами того, что США в международных делах отказываются от своей традиционной гуманной роли, требовал задержать «выдачу до отправки сообщения в Госдепартамент и получения ответа». Однако его просьба не возымела действия. Бирнс ответил, что «в соответствии с обязательствами, принятыми в Ялте», все члены группы в Форт-Дикс, являясь советскими гражданами, подлежат репатриации. Наконец, 31 августа, обреченная группа была отправлена в Германию и в условиях строжайшей секретности передана СМЕРШу. Последняя глава этой трагедии, как и операции в Лиенце и Обердраубурге 30 мая — 1 июня, оказалась скрытой от глаз общественности.

Но имелась группа людей, прекрасно информированных и о насильственной репатриации, и о методах ее осуществления: солдаты, которым выпало проводить репатриацию. Лиенц ужаснул большинство участников операции, и сомнительно, чтобы их удалось заставить снова участвовать в таком деле. Как объяснял впоследствии автору начальник генштаба фельдмаршала Александера генерал Вильям Морган, сообщения о трагедии 1 июня привели в ужас даже главнокомандующего, и он твердо решил, насколько это в его власти, не допускать впредь подобных эпизодов. Недели через две Александер отправил в военное министерство шифрованную телеграмму: «1. 55 советских граждан, в том числе 16 женщин и 11 детей, большинство из которых утверждает, что они являются политическими беженцами, после проверки, проведенной в соответствии с Ялтинскими соглашениями, отказываются добровольно вернуться в СССР.

2. Советская миссия потребовала их выдачи. Для этого понадобится применение силы, в том числе наручников, и перевозка пленных под охраной, в запертых вагонах.

3. Мы полагаем, что выдача этих лиц почти неминуемо приведет к их гибели.

4. Таких случаев, вероятно, много.

5. Прошу как можно скорее прислать ваши распоряжения относительно этих лиц, так как местная советская миссия будет наверняка настаивать на их выдаче».

Чиновники британского МИД, подивившись тому, что сам фельдмаршал заинтересовался этим делом, разъяснили в ответе, что лица, о которых идет речь, подлежат репатриации в случае отсутствия возражений со стороны американцев. Томас Браймлоу считал, что при наличии в группе детей, родившихся за пределами СССР, может возникнуть вопрос о гражданстве, но во всем остальном «мы связаны Ялтинским соглашением, и я не думаю, что мы можем спасти их от их участи». Патрик Дин, напротив, полагал, что о проблеме с детьми «думать незачем», а единственным препятствием могут стать возражения американцев, если они проявят особую мягкость по отношению к «советским женщинам и детям, которые не являются собственно военнопленными». Впрочем, замечал он, вряд ли это может вылиться в постоянное препятствие. Браймлоу подытожил, что в случае необходимости следует применять силу (он считал нелишним попросить советскую миссию прислать вооруженную охрану «для необходимых мер предосторожности») и соблюдать соглашение с американцами, если это понадобится.

В это же самое время военное министерство запросило подробную информацию относительно этих русских, в частности, о месте их пребывания. Александер ответил, что они были в немецких лагерях на юге Германии и в Австрии, а сейчас находятся в транзитном лагере в Риме (Чинечитта). В следующей телеграмме он подчеркивал, что вряд ли в Западной Европе осталось еще много советских граждан.

Опасения Александера нашли отклик в военном министерстве. Генерал Гепп, заведующий отделом по делам военнопленных, считал маловероятным, чтобы американцы согласились на применение силы. (В тот день — 2.7.1945 г. — в «Таймс» появилось сообщение об отмене выхода в море «Монтичелло».) Гепп отмечал также, что, по мнению штаба союзных сил в Италии, будет трудно убедить английских солдат силой осуществлять посадку в поезда людей, «которые не хотят возвращаться в свою страну и которые по возвращении могут погибнуть».

Кстати, следует заметить, что 55 человек, о которых идет речь, были последними советскими обитателями транзитного лагеря для беженцев и перемещенных лиц, существовавшего уже довольно долгое время на территории бывшей киностудии Чинечитта, под Римом. Охранялся лагерь весьма небрежно. В ноябре 1944 года, например, здесь произошел случай, вызвавший праведный гнев

советской миссии: сорок семь русских, подлежащих переводу в другой советский лагерь, отказались садиться в грузовики и сбежали. Той же ночью они пробрались назад в лагерь за своими пожитками, погрузились в семитонку, стоявшую за воротами, и со всеми удобствами укатили прочь, своротив по дороге главные ворота. Прибыв в мае 1945 года в лагерь, Деннис Хиллс, английский офицер, говоривший по-русски, обнаружил там всего около 100 перемещенных лиц, и комендант района вполне ясно дал понять Хиллсу, что проблема побегов его нимало не заботит — обитатели лагеря могли свободно уходить и возвращаться. Многим предоставила кров Украинская католическая община в Риме (Руссикум). Хиллс нисколько не препятствовал исходу из лагеря, он даже сам ездил в центр Руссикума, где видел своих подопечных. Но другие пленные предпочли остаться в лагере, очевидно, рассчитывая на то, что при таком мягком режиме их не выдадут Советам. (Кстати, ни Хиллс, ни его полковник понятия не имели, что пленным угрожает такая опасность.) Еда же в лагере была лучше и обильнее, чем в Руссикуме. Вот так и образовалась группа из 55 человек, о которых говорил Александер в своей телеграмме.

Тут возникла новая сложность. После выдачи домановских казаков в начале июня английские войска, стоявшие в долине Дравы, были посланы на прочесывание гор и розыск беглецов, нашедших пристанище на снежных вершинах. Кое-кому удалось скрыться, но многие были возвращены в Пеггец. В военном дневнике 36-й пехотной бригады объясняется, почему их не передали Советам: «При нормальном ходе дел эти казаки были бы вывезены в советскую оккупационную зону, но советские власти, вероятно, утолили свои аппетиты и больше не требовали их выдачи. Это означало, что на нашем попечении оказалось несколько сотен недовольных казаков».

Майор Дэвис в Пеггеце получил приказ провести проверку для отделения новых эмигрантов от старых. Задачу эту он выполнил спустя рукава, и при его попустительстве многие бежали либо зарегистрировались по фальшивым документам как несоветские граждане. Тем не менее бежавших из СССР после 1939 года в Пеггеце тоже было предостаточно, а лагерь кишел информаторами и стукачами. Старостой лагеря был некий Шилихов, русский из Белграда, которому не доверяли ни казаки, ни Дэвис, и в конце 1945 года его заменили гораздо более симпатичным человеком, югославом Лакичем. Все советские граждане, чье подданство не вызывало сомнений, были переведены в лагерь в Дользахе, обнесенный проволокой. Здесь под строгой охраной содержалось около 500 советских граждан, прошедших проверку. 8 июля фельдмаршал Александер телеграфировал в военное министерство: «Мы сейчас содержим в Австрии 500 казаков. Они бежали во время выдачи казаков советским властям и не желают возвращаться в СССР. Советы настаивают на выдаче этой группы. Не исключено, что это потребует от нас применения силы. Прошу ваших инструкций по этому поводу».

Военное министерство запросило МИД. Джон Голсуорси сказал, что телеграмма ничего не меняет. По его мнению, так же, как и по мнению Браймлоу и Патрика Дина, лучше всего было бы, чтобы военные обсудили вопрос о репатриации с Объединенным комитетом начальников штабов. Наконец Браймлоу набросал проект письма для своего начальника Кристофера Уорнера, предлагая военному министерству попытаться убедить советскую военную миссию прислать вооруженный отряд для перевозки группы смутьянов. Чтобы заручиться согласием американцев, он предлагал проконсультироваться с Объединенным комитетом, но полученное в результате решение должно было относиться лишь к казакам в Австрии и не распространяться на группу из 55 человек в Риме, поскольку женщин и детей, очевидно, нельзя считать военнопленными. Это могло послужить дополнительной причиной к тому, чтобы сначала разобраться с небольшой группой в Риме, а уже затем — с казаками.

На совещании представителей армии и МИД 31 июля четко выявилась разница в их подходе. Томас Браймлоу объяснил, что, хотя «эта политика, отличаясь от традиционной политики правительства его королевского величества в отношении политических беженцев, вызывает некоторое замешательство», МИД тем не менее считает, что с военнопленными и перемещенными лицами «следует обращаться одинаково и передавать их советским властям независимо от их желаний». Генерал-майор А. В. Андерсон возразил на это, что, по его мнению, Ялтинскому соглашению предназначалась роль рабочего соглашения при репатриации освобожденных советских граждан, и оно было принято вовсе не для того, чтобы обеспечить насильственную репатриацию политических беженцев, которые не отвечают за действия стран оси и не желают возвращаться в СССР.

Это заявление Браймлоу оставил без ответа.

Но, несмотря на настойчивость МИД, политика министерства постоянно наталкивалась на все новые препятствия. Сомнительно было, что удастся получить согласие американцев, необходимое для районов, находящихся под объединенным командованием. Все уже знали о задержке «Монтичелло» — неизвестно было только, что это всего лишь тактический маневр Госдепартамента. Имелись также тревожные и загадочные сообщения об обструкции, устроенной американской армией. 29 июля британский МИД узнал о том, что генерал Пол Парен, из американской 26-й пехотной дивизии, «отказавшись выдать военных в немецкой форме, считающихся военнопленными, действовал по инструкции высшего военного начальства», — речь шла о «нескольких тысячах русских, служивших в вермахте».

Но худшее было еще впереди. В Ялте руководители трех великих держав приняли стратегический план окончательной победы над нацистской Германией. Теперь, шесть месяцев спустя, эта задача была выполнена, и границы «большевистского обезьянника» (давнишние слова Черчилля) растянулись от туманных болот

Припяти до неторопливой Эльбы более чем на 1000 километров, в самом центре Европы. Советским руководителям оставалось лишь понять, как воспримут государственные мужи Запада новую Европу, возникшую на развалинах старой. 17 июля Трумэн, Черчилль и Сталин встретились в Потсдаме. Естественно, в повестке дня был и вопрос о русских беженцах на Западе. К тому времени подавляющее большинство их уже вернулось на родину, но с оставшимися дело обстояло еще сложнее, чем раньше. Даже те, кто поначалу принял варварство массовых репатриаций как должное, начинали понимать, что дело нечисто.

На пленарном заседании Потсдамской конференции 22 июля Молотов заявил, что англичане держат в лагере в Чесенатико, под Равенной, не менее 10 тысяч советских граждан, причем они до сих пор составляют целую дивизию из 12 полков, с офицерами, назначенными немцами. Черчилль пообещал немедленно заняться расследованием этого сообщения, и фельдмаршал Александер отправил генералу Моргану в штаб союзных сил в Италии телеграмму с просьбой сообщить подробности.

Ответ Моргана не заставил себя ждать, но эта история явно расстроила премьер-министра. На другой день его личный секретарь Лесли Роуен писал помощнику Идена Пирсону Диксону: «Премьер-министр... выразил мнение, что наша нынешняя политика возвращения советских граждан, оказавшихся у нас, нуждается в некоторых изменениях. Он предложил вести следующую линию. Мы не требуем от советских властей возвращения оказавшихся у них англичан помимо их воли, они могут свободно выбирать, хотят они возвращаться в свою страну или нет. Из этого вытекает, что и с советскими гражданами, находящимися у нас, надо поступать таким же образом, то есть мы не должны принуждать их к возвращению в СССР помимо их воли».

Эта записка немедленно была передана для комментариев юрисконсульту МИД Патрику Дину, и тот заметил, что точка зрения премьер-министра вызывает «серьезные возражения». Действительно, английский офицер Юматов видел, как 35 репатриантов расстреляли на одесской набережной, но предлагаемые изменения вряд ли приемлемы, хотя, может, и стоит попробовать избавить от репатриации несколько заведомо ни в чем не повинных русских. В заключение он писал: «Если, как представляется вероятным, премьер-министр выдвинул это предложение из-за заявления Молотова на пленарном заседании о 10 тысячах украинцев, находящихся в Италии, то следует заметить, что среди них много поляков, которые в любом случае не подлежат репатриации. Остальные, очевидно, представляют собой вооруженное формирование, воевавшее под немецким командованием, так что усердствовать в сочувствии к ним не стоит».

Сэр Александр Кадоган, постоянный заместитель министра, набросал для Диксона записку, в которой настоятельно просил премьер-министра отказаться от занятой позиции. В дело вновь были пущены знакомые аргументы: обещания Идена в Москве и

Ялте, необходимость обеспечить скорейшее возвращение освобожденных английских военнопленных, невозможность эффективной проверки гражданства и т. д. В записке отмечалось, что практически все русские, о которых идет речь, «в большей или меньшей мере сотрудничали с немцами», а «многие из них — крайне нежелательные лица», и вообще — «непонятно, как мы можем отказаться от их выдачи, не вступив при этом в серьезный конфликт с советским правительством».

Премьер-министр несколько дней молчал. Тем временем генерал Морган из Италии телеграфировал, что 10 тысяч «советских граждан», о которых говорил Молотов, на самом деле украинцы, в основном жители Польши, и проверкой их гражданства занимается советская военная миссия. Получив в Потсдаме это послание, фельдмаршал Александер высказал крайнее недовольство тем, что Молотов выдвинул безосновательную жалобу, не связавшись предварительно со штабом союзных сил в Италии. МИД в эти же дни послал Черчиллю записку, где кратко излагались соображения министерства насчет взаимодействия с Советами. Они сводились к следующим предложениям. Информацию генерала Моргана можно использовать для сведения счетов с Молотовым и главой советской репатриационной комиссии генералом Голиковым, допустившими явный дипломатический промах, но при этом не следует заходить слишком далеко: «было бы крайне опасно намекать советскому правительству, что мы считаем себя вправе оставить на Западе лиц, которые, несомненно, являются советскими гражданами, но не желают репатриироваться в СССР». Вскоре от Черчилля пришел ответ: «Большое спасибо за записку от 27 июля о возвращении советских граждан в СССР. Я согласен, что предпринимать в этом деле какие бы то ни было дальнейшие шаги не нужно».

Тем временем недовольство военных на местах продолжало расти. Английские офицеры, охранявшие украинцев в Чесенатико, узнав о событиях в Австрии, «заявили властям, что украинцы должны избежать подобной участи». Комендант лагеря, капитан Том Корринж, послал еще более резкий протест и добавил: «Если приказ подлежит выполнению, пришлите заодно похоронную команду». Позже он узнал, что его рапорт был переслан в МИД — очевидно, по инициативе какого-нибудь сотрудника штаба союзных сил в Италии.

Многое говорило за то, что на сей раз вряд ли удастся сохранить операцию по выдаче пленных в тайне. Интерес к делу выразили влиятельные лица. Например, генерал Андерс, командующий польскими войсками в Западной Европе, жаловался на то, что советская миссия в Италии пытается похитить польских граждан. И похоже было, что многие из тех, кого стремились заполучить Советы, объявят себя польскими гражданами. Ватикан 5 июля обратился в Госдепартамент и английский МИД с просьбой не отправлять украинцев в СССР. Американцы в ответном письме объяснили, что репатриации подлежат только те, кто до 1939 года был советским гражданином. А британский МИД вообще «не хотел

привлекать внимание к этому аспекту соглашения, противоречащему нашему традиционному отношению к политическим беженцам»; и потому сотрудник МИД Джон Голсуорси считал, что на просьбу Ватикана лучше не отвечать.

Скорее всего, Черчилль просто боялся повторения кровавых событий в Лиенце — только на сей раз об этом еще узнала бы и общественность. Но едва он получил заверения, что этого не произойдет, как сомнения покинули его. Кроме того, советская делегация явно придавала большое значение этому вопросу; он еще несколько раз возникал в ходе конференции, и в итоге политика насильственной репатриации, принятая союзниками, осталась по существу без изменений.

Советские притязания на граждан стран, оккупированных СССР в 1939—1940 годах, не воспринимались союзниками всерьез. И американцы, и англичане ясно дали понять, что не собираются выдавать Советам поляков или прибалтийцев. Термин «советский гражданин» (которому в Ялтинском соглашении не было дано определения) с самого начала относился только к лицам, жившим в пределах границ СССР до 1939 года. Тысячи или даже миллионы жителей Эстонии, Латвии, Литвы, Восточной Польши и Бессарабии подпали под определение «перемещенные лица». И советские власти настаивали на том, что они являются гражданами СССР, тогда как западные державы их таковыми не признавали. Месяцами, если не годами, эти люди жили в страхе, что их насильно отправят в СССР, но, насколько известно, союзники никогда не рассматривали такую возможность. Это наверняка вызвало бы слишком громкое возмущение общественности. Советы были недовольны, однако смирились, и это наводит на мысль, что вряд ли они осмелились бы на решительные действия, если бы союзники оставили на Западе и тех, кто к тому времени еще не был репатриирован против своей воли.

Одной из групп, не без оснований опасавшейся выдачи, были солдаты латвийского легиона ваффен СС. Из двух дивизий легиона одна, 19-я, закончила войну в окружении в курляндском мешке. Другая, 15-я, после ожесточенных боев на Восточном фронте была в августе 1944 года отозвана в Германию для переоснащения. Когда стало ясно, что падение Германии не за горами, дивизия двинулась на Запад и сдалась американцам. Пленных разместили в лагере с прочими частями СС. Во время июльской передислокации американских войск, проведенной с целью расширения западных границ советской оккупационной зоны, латышей перевезли в лагерь под Гамбургом. Ян Богарт, служивший во фламандской дивизии СС, вспоминает, что солдаты латвийского легиона отличались прекрасной дисциплиной. На перекличку они всегда выходили под руководством своих офицеров, строем, с приспущенным флагом и пением национального гимна. У них был сын полка — мальчик лет пяти-шести, одетый в пригнанную по его крошечной фигурке форму СС.

Богарт и его сотоварищи понимали, что «после включения района в советскую оккупационную зону латышей скопом передадут Советам». Латыши тоже боялись этого, но до поры до времени ничто не подтверждало эти страхи — их даже на запад повезли, подальше от советской зоны. Группа примерно в 4 тысячи человек находилась в Восточной Фризии, на границе с Нидерландами. Солдату 15-й дивизии Джону Антоневичу хорошо запомнилось то трудное время. Несколько месяцев они жили в лагере на полном обеспечении англичан, но их будущее оставалось смутно и неясно. Генералу Драгуну из советской миссии в Париже, несомненно, было известно их местонахождение, и, наверное, он всячески добивался от англичан выдачи этих закоренелых антисоветчиков. И можно представить себе, какие потребовались усилия, чтобы противостоять этим требованиям, тем более что дивизия действительно воевала против СССР, да еще к тому же входила в войска СС — такая связь обычно порождала некоторые не всегда вёрные ассоциации.

Солдаты были вынуждены довольствоваться слухами и догадками. Ничего не знали и английские отряды, охранявшие лагерь, и служба Международной комиссии помощи беженцам, доставлявшая еду. Однажды командир дивизии полковник Осис вернулся из английского штаба в необычайном возбуждении. Вскоре по лагерю разнеслось, что всем следует срочно «исчезнуть». «Каждый бежит особняком, — объяснял полковник, — иначе нас всех репатриируют». Обитатели лагеря разом взялись за дело. Через земляков из лагерей перемещенных лиц раздобыли гражданскую одежду и документы — несомненно, липовые. Джон Антоневич ушел накануне нового, 1946 года, а в первые дни января все население лагеря словно ветром смело. Большинство нашло приют в относительно безопасных лагерях для перемещенных лиц, расположенных по соседству. К июню 1946 года все латышские части, содержавшиеся в Германии и Бельгии, были освобождены из лагерей для военнопленных.

Другим прибалтийцам повезло значительно меньше. В конце 1945 года Энтони Шорланд Болл, капитан Лейкширского полка, был отправлен в распоряжение военной администрации в Гревен, нод Мюнстер, где была русская «деревня», находившаяся под контролем советских войск. В обязанности Шорланда Болла входила организация транспорта для доставки этих русских на родину. Обычно он обеспечивал около десяти грузовиков, а затем, когда все было готово, следил за их отправкой. Перед посадкой он должен был удостовериться, что все пассажиры действительно советские граждане. Проверка проводилась по следующим правилам: русских приводили под охраной к месту сбора, где сажали в грузовики, и Шорланд Болл по очереди подходил к каждому грузовику с экземпляром Ялтинского соглашения и картой СССР в руках. Показывая сидящим в грузовике карту, где были четко обозначены границы СССР до 1939 года, он объяснял через переводчика, что те, кто жил западнее этих границ, не обязаны возвращаться, а те, кто не желает ехать, могут слезть с грузовика. Эту работу капитан Болл выполнял с августа до декабря. Но ни разу никто из пленных

не воспользовался случаем назвать себя несоветским гражданином. Если учесть, что грузовики окружали советские солдаты с автоматами, вряд ли это покажется странным. Стоявшие тут же советские офицеры и вовсе держали пальцы на взведенных курках. Как вспоминает Шорланд Болл, пленные «не осмеливались говорить, советские войска внушали им ужас...» Даже переводчица, молодая латышка, тоже, казалось, была охвачена ужасом и старалась ни на шаг не отходить от английского офицера. Трудно удержаться от вывода, что таким образом советская военная миссия вывезла в СССР немалое число прибалтийцев и поляков.

В конце лета 1945 года теоретическая сторона вопросов, связанных с насильственной репатриацией, была совершенно ясна, чего нельзя сказать про сторону практическую. Англичане без колебаний согласились на применение силы, американцы — после некоторых колебаний — заняли ту же позицию. Правда, в обеих армиях имелось значительное сопротивление этой линии, но если английский генерал, вроде Александера, мог просто игнорировать однозначные инструкции, то американские военные и политические деятели, казалось, были совершенно сбиты с толку противоречивой политикой своего правительства.

Не далее как в декабре Александр Кирк, политический советник США в Италии, получил от Стеттиниуса категорическое заявление, что Соединенные Штаты решили возвращать всех советских граждан, «независимо от их желания». 7 августа Кирк обратился к новому государственному секретарю Бирнсу с просьбой подтвердить неизменность политики США в этом вопросе и получил положительный ответ. Кирк, скорее всего, знал, что Госдепартаменту не нравится вся эта история, и он счел полезным еще раз поднять вопрос о применении штыков для возвращения людей в СССР, на смерть и муки. Впрочем, даже Кирку не было известно, что в это время разворачивалась операция, в ходе которой американским солдатам предстояло понять, чем именно занимались в Австрии их союзники англичане.

В Баварии, в лагере в Кемптене, содержалось семьсот казаков и власовцев, и американским властям удалось составить довольно точные списки новых и старых эмигрантов. (Следует заметить, что, в отличие от англичан, американцы вообще не рассматривали возможность выдачи Советам лиц, вот уже более 20 лет живших за пределами СССР.) 22 июня был получен приказ перебросить новых эмигрантов в лагерь под Мюнхеном. Пленные запротестовали, и местные полицейские власти приказ отменили. В лагере установился было мир и покой, но вскоре до пленных — с опозданием в полтора месяца — дошло известие о выдачах в Австрии. Эту сенсационную новость принес добравшийся до лагеря 16 июля кубанский казак. 11 августа пленным сообщили, что назавтра все советские граждане будут возвращены в СССР. В списке репатриируемых было 410 человек, все они подверглись тщательной проверке. Многие бежали ночью — американские охранники не слишком усердствовали при выполнении своих обязанностей. Остальные были готовы оказать сопротивление, и в лагере разыгрались события, очень похожие на те, что десять недель назад произошли в долине реки Дравы.

Ранним утром 12 августа в лагерную церковь, под которую приспособили спортивный зал, набилось полно народу, в том числе много старых эмигрантов, не подлежащих репатриации и пришедших просто из чувства солидарности с соотечественниками. Когда американские солдаты вошли в здание, чтобы вывести оттуда советских граждан, они увидели, что все сбились в кучу, плача и моля о пощаде. Американский майор, сообразив, что события принимают довольно неприятный оборот, приказал солдатам выйти (он не желал применять силу). Тогда начальство майора запустило в церковь отряд военной полиции под командованием полковника Ламберта. На повторное требование выйти из церкви и сесть в грузовики никто не отреагировал, и солдаты, оттеснив перепуганных пленных к стене, начали вклиниваться в толпу и выхватывать оттуда людей по отдельности. Особенно мрачный колорит придавало этой сцене то, что она происходила в церкви. Американцы прикладами избивали русских до потери сознания, алтарь был опрокинут, иконы разбиты, облачения священнослужителей порваны. Столпившиеся у дверей церкви офицеры НКВД с удовольствием наблюдали за энергичными действиями американцев.

В конце концов всех вывели, а на поле боя остались лишь обломки церковной утвари, пятна крови, порванная одежда. На дворе пленных снова разделили на две группы: советских граждан посадили в грузовики, а старых эмигрантов собрали в соседнем здании школы. Но и тем, кто оказался в школе, никто не гарантировал безопасности. Когда один из них попытался бежать через окно, американцы открыли огонь. Советских граждан отвезли на железнодорожную станцию и посадили в товарный поезд, который отошел в советскую зону только наутро, и за это время многие сумели бежать. Советской границы достигло всего человек сорок.

Для советских офицеров вид разоренной церкви и насилие над пленными были не в новинку. Но американских солдат все это потрясло. Известный американский врач, негр Вашингтон, на глазах у своих соотечественников, прислонившись к стене, плакал, как ребенок. Инцидент получил широкую огласку, и 4 сентября Эйзенхауэр настоятельно потребовал пересмотра политики в области репатриации. Глубокое беспокойство в связи с этим делом в телеграмме государственному секретарю выразил политический советник США в Германии Роберт Мёрфи. «Неужели Ялтинское соглашение обязывает нас возвращать этих русских с применением силы?» — спрашивал он.

Ответ, написанный от имени государственного секретаря Бирнса директором отдела по европейским делам Г. Фриманом Мэтьюсом, пришел через два дня. «Док» Мэтьюс был влиятельным членом делегации США в Ялте; и в Потсдаме Бирнс «целиком на него полагался». В несколько иносказательной манере Мэтьюс объяс-

нял, что американская политика действительно предусматривает тесное сотрудничество с Советами в этом деле и что даже на территории США пришлось применить силу для подавления сопротивления пленных. Заключительная фраза этого послания очень напоминает уже знакомые нам рассуждения: «Сообщаем вам конфиденциально, что департамент считает нужным завершить эти дела так, чтобы не дать советским властям предлога оттягивать возвращение американских военнопленных, плененных японцами и находящихся сейчас в советской зоне оккупации, в частности в Маньчжурии».

Чиновники британского МИД тоже ссылались на то, что советские войска могут обнаружить в Маньчжурии несколько сотен английских военнопленных, но главным их доводом было то, что данное Иденом в октябре 1944 года обещание следует выполнять до тех пор, пока последний подлежащий репатриации русский не будет выдан советским властям. Несмотря на возражения военного министерства, высказанные на совещании 31 июля генералом Андерсоном, МИД всячески подчеркивал, что эта позиция остается неизменной.

В конце июля к власти в Англии пришло лейбористское правительство, и можно было надеяться, что это вызовет пересмотр политики Идена и в деле репатриации. Но новый министр иностранных дел Эрнест Бевин продолжал прежнюю линию. Так, в ответ на запрос генерала Андерсона относительно 55 русских штатских в Риме, Бевин, после совещания с сэром Александром Кадоганом, наложил на полях служебной записки краткую резолюцию: «Репатриировать».

Через две недели, в беседе с советским послом Гусевым, Бевин заверил посла, что никаких перемен в английской политике не предвидится. Вооруженный указаниями своего министра, Кристофер Уорнер уведомил генерала Андерсона, что решение принято, закончив письмо конфиденциальным сообщением: «Ввиду указаний министерства, мы полагаем, что вы не будете отсылать это дело на рассмотрение Объединенного комитета начальников штабов и сможете теперь заняться передачей этих людей».

Казалось, все утряслось. МИД дал распоряжение, солдаты должны подчиниться, 500 пленных в Дользахе и 55 в Чинечитте будут переданы НКВД; в ответ Советы несомненно пойдут на уступки. Но военные оказались твердым орешком, да и сам фельдмаршал Александер на сей раз проявил настойчивость. Пока Уорнер писал Андерсону, Александер в Италии побывал на совещании с советским уполномоченным по репатриации генерал-майором Базиловым, который только что прибыл из Москвы «с особой миссией» и с места в карьер потребовал немедленной репатриации 10 тысяч «советских граждан», содержащихся в лагере Чесенатико. Александер возразил. В приказе было четко оговорено, что лица, жившие вне границ СССР 1939 года, репатриации не подлежат. Более того, он заявил, что «в настоящее время не имеет полномочий заставить этих людей вернуться в СССР против их воли». В ответ

на возражения Базилова Александер заметил, что, «если поступит такой приказ, ему придется применить силу для обеспечения репатриации», и поэтому он немедленно обратится к своему начальству за соответствующими инструкциями. Кивнув, Базилов преспокойно выдвинул новое требование: о возвращении «30 тысяч советских граждан в Польском корпусе». Очевидно, речь шла о поляках, живших на территориях, аннексированных СССР. Александер ответил категорическим отказом: «Вы должны понять, что поляки наши союзники». Требования Базилова «в высшей степени удивили» фельдмаршала, и сразу же после совещания он написал личное письмо начальнику имперского штаба сэру Аллану Бруку, объясняя, что не намерен уступать Советам в вопросах, хоть чуть-чуть выходящих за рамки соглашений, и, в частности, отказывается применять силу при репатриации советских граждан, пока у него нет четкого приказа. В военное министерство он послал запрос об инструкциях и просьбу не заставлять его солдат репатриировать несчастных под дулом пистолета.

Состояние дел в августе 1945 года не удовлетворяло ни одну из сторон. Советы, по обыкновению, выступали с обвинениями, что англичане в Германии запугивают советских граждан, мечтающих вернуться домой, и мешают их репатриации. Британский МИД был недоволен, что его инструкции, не изменившиеся с момента Ялтинской конференции, постоянно нарушаются. А тут еще густым потоком пошли жалобы от тех, кого это дело касалось самым непосредственным образом, кто должен был проводить политику насильственной репатриации в жизнь. В Италии офицеры, охраняющие 10 тысяч украинцев в Чесенатико, заявили «решительный протест» против насильственной репатриации своих подопечных. В Австрии этот протест был выражен еще более открыто. Вот что рассказывает об этом непосредственный участник событий, полковник Алекс Вилкинсон, ставший в июле 1945 года военным комендантом земли Штирия: «В Штирии было несколько лагерей для перемещенных лиц, и мы должны были следить за ними. Один такой лагерь, в котором было около полутора тысяч человек, находился недалеко от Брюка-на-Муре. Однажды ко мне в Грац явились несколько офицеров НКВД и сказали, что в соответствии с Ялтинским соглашением я должен посадить этих людей в поезд и отправить в Вену. Я ничего не слыхал о Ялтинском соглашении и ответил, что сделаю это только в том случае, если эти люди согласятся ехать. Тогда эти два негодяя позвонили в Вену и примерно через час заявили мне, будто я обязан посадить перемещенных лиц в поезд. На это я дал им точно тот же ответ, что и раньше. Тогда они сказали, что хотели бы поговорить с этими людьми, и я согласился. Я сообщил перемещенным лицам о том, что происходит, и сказал, что встреча состоится завтра, в 10 часов. Эти мерзавцы из НКВД получили свое: встреча состоялась в назначенное время, но явилось на нее всего 15 человек. Офицеры вернулись в Грац очень недовольные и обвиняли во всем меня. Но им удалось вытянуть из меня только одно: если эти 15 человек,

которые явились на собрание, хотят вернуться в СССР, я посмотрю, что тут можно сделать. Больше я о них ничего не слышал».

От союзных войск в Германии тоже посыпались протесты. Полковник Р.Б. Лонг отвечал за ту часть штаба 21-й группы армий, которая занималась составлением и выдачей инструкций по выполнению Ялтинского соглашения. До него постоянно доходили истории о русских, которые кончали с собой или бросались наперерез грузовикам, умоляя не отсылать их назад. Войска нередко отказывались применять силу для того, чтобы заставить сесть в грузовики женщин и детей. А офицеры часто звонили Лонгу с жалобами на работу, которую им приходится выполнять.

Одним из таких офицеров был полковник Лоуренс Шэдвелл, который занимался рядом крупных лагерей для перемещенных лиц в районе Киля. Верующий христианин, полковник сразу отказался участвовать в репатриационных мероприятиях, требующих применения силы, и, как вообще бывало в таких случаях, ему и не пришлось этим заниматься. Львиная доля его времени уходила на войну с местными советскими офицерами связи, запугивавшими поляков и прочих несоветских граждан и похищавшими людей. На их счету было даже одно убийство. По наущению канадца украинского происхождения, тоже служившего в военной администрации, Шэдвелл записал многих украинцев поляками. В его районе насильственных репатриаций не проводилось. Но в начале августа сюда прибыли три украинца из-под Фленсбурга и рассказали, что 500 пленных лагеря во Фленсбурге были окружены британскими войсками и сопровождавшими их советскими офицерами и силой посажены в грузовики. Один пленный был убит сотрудником НКВД «при попытке к бегству». А за жестокое убийство поляка из Галиции военная администрация на той же неделе уволила лейтенанта НКВД Окорокова.

Вполне возможно, что если не все, то хотя бы часть из 500 русских, выданных во Фленсбурге, были солдатами казачьего полка, плененного в этом районе в начале мая. Бывший английский капрал вспоминает, как к ним пришел сдаваться в плен казачий полковник. «Спросив, говорю ли я по-немецки, он сказал... что пришел сюда объявить о формальной сдаче своих сил». Он объяснил, что его люди — беженцы от коммунизма, образовавшие полк при вермахте. «Их главной задачей было поставлять немцам лошадей. Они стояли в лагере в двух милях отсюда». Через несколько ночей капрал Фред Ральф сопровождал двух офицеров своего полка в казачий лагерь. Там им устроили незабываемый вечер с водкой, угощением и пением казачьего хора. В лагере, как они заметили, было много женщин и детей.

Рассказ о событиях во Фленсбурге привел украинцев в лагерях полковника Шэдвелла в ужас. Через несколько дней Шэдвеллу удалось просмотреть донесения о фленсбургской репатриации, и, хотя все это случилось за пределами его района, он понял, что надо что-то делать. Его канадский друг, которого Шэдвелл снабдил соответствующей информацией, отправился в Лондон и принялся

ходить по инстанциям. Информация о событиях во Фленсбурге дошла до одного из помощников президента Трумэна, до графини Атольской, связанной с английским Красным Крестом, и МИД.

Попытаемся обобщить события августа 1945 года. Подавляющее большинство русских, репатриированных в мае, июне и июле, возвращалось на родину более или менее добровольно, во всяком случае, дело обошлось без применения силы. К августу число русских на Западе значительно сократилось, зато оставшиеся хотели во что бы то ни стало избежать репатриации. То ли потому, что вследствие уменьшения численности русских на переднем плане оказались именно те, кто сопротивлялся репатриации, то ли потому, что англо-американская военная администрация решительно взялась за это трудное дело, но в августе вопрос о применении силы к нежелавшим возвращаться приобрел первостепенное значение.

Во всяком случае, только в августе в Германии начались операции, породившие отчаяние у пленных и вызвавшие возмущение многих причастных к этому делу англичан и американцев. Так, Джон Грей, квакер, работавший в гражданской комиссии по помощи населению и имевший дело с перемещенными лицами в районе Зальцгиттера, 4 августа отправил спешное послание министру иностранных дел. Он писал, что 3 августа военные власти получили приказ о немедленной выдаче всех советских граждан, и выражал самый решительный протест против бесчеловечности такой позиции. Поскольку многие пленные поклялись покончить с собой, но не возвращаться на родину, он заявлял, что «насильственная выдача этих людей противоречит либеральной английской традиции в отношении политических беженцев». Руководители МКПБ и Красного Креста были в ужасе, и Грей просил Бевина «изучить этот вопрос и найти более гуманное и христианское решение проблемы этих бездомных».

Хотя в письме Грея речь шла только о советских гражданах, живших восточнее линии Керзона, ответ МИД, отправленный через семь недель, был составлен так, как если бы Грей писал о лицах со спорным гражданством, живших западнее этой линии. Такой подход давал возможность заявить, что эти люди вообще не подлежат репатриации, и тем самым перевести весь инцидент в разряд «недоразумений». Тем временем политическому советнику в Германии было приказано сообщить военным, что насильственная репатриация должна продолжаться. В приказе от 30 августа излагались меры по предупреждению репатриации тех, кто не совсем подпадал под британское определение советского гражданина. Однако гангстерская тактика сотрудников советской репатриационной комиссии вызывала такое возмущение английских офицеров и солдат, что они начали нарушать политику своего правительства. Раздавшиеся в августе протесты против применения силы привели к существенному смягчению линии МИД, хотя сама политика осталась неизменной.

В Италии советская миссия под руководством генерала Базилова настоятельно требовала возвращения советских граждан вообще и

Украинской дивизии в частности. Желание вернуться высказала лишь незначительная часть украинцев, и фельдмаршал Александер решительно препятствовал всем стараниям Базилова выманить остальных. Когда Базилов проявил особую настойчивость в вопросе о возвращении группы из 400 детей, фельдмаршал резко заявил, что не потерпит такого безобразия, что готов вернуть тех, кто согласен репатриироваться, но «применять насилие ему не дозволено». 28 августа 1945 года начальник штаба Александера, генерал Морган, отправил в военное министерство трогательное послание от своего имени. Он писал: «Применение силы приведет к тому, что эти люди будут под дулом пистолета посажены в вагоны и заперты там, причем на некоторых, вероятно, придется надеть наручники... Такое обращение, вкупе с пониманием того, что эти несчастные скорее всего отправляются на верную смерть, находится в вопиющем противоречии с известными нам традициями демократии и правосудия. Более того — английские солдаты, понимая, какая судьба ждет этих людей, скорее всего, откажутся добровольно участвовать в мерах, необходимых для отъезда пленных».

Копия этого письма была отослана в МИД, где, разумеется, вызвала раздражение и недовольство чиновников. Они-то думали, что подтверждение Бевина о необходимости применения силы уже дошло до штаба союзных сил в Италии, а оно, оказывается, лежит себе в военном министерстве, сотрудники которого занимаются разглагольствованиями. 1 сентября в Казерту пришла телеграмма МИД с подтверждением, что принятая линия изменениям не подлежит. Сотрудник английского посольства в Москве Франк Робертс подчеркивал, что Советы никогда не согласятся на смягчение, так что на данной стадии невозможны никакие альтернативы. Дело, очевидно, было решено. Генерал Бломфильд из военного министерства писал: «В связи с решением МИД, я полагаю, нам остается лишь передать этих несчастных советским властям, используя при этом минимум насилия. Мне это не нравится, но выхода нет».

Но армия не переставала чинить препятствия практическому осуществлению насильственной репатриации. Ведь, как заметил в аналогичном случае Уинстон Черчилль, всегда найдется «аппарат оттягивания». Первый выпад в этом поединке вновь сделал фельдмаршал Александер. «Полагая», что изложенные выше условия не относятся к Италии (хотя они были отправлены именно туда!), он вновь возразил против применения силы, особенно к женщинам и детям. Тут сыграло роль еще одно обстоятельство: фельдмаршала безмерно раздражали самочинные действия генерала Базилова. Александер считал Базилова возмутителем спокойствия — МИД же, в свою очередь, страшно надоел сам фельдмаршал. Джон Голсуорси считал «недопустимым», что четкое распоряжение министра иностранных дел больше месяца провалялось в военном министерстве. К тому же МИД уже заверил советского посла, что все в порядке, и эта непредвиденная задержка поставила мидовских служащих в дурацкое положение. Больше того — на предстоящей встрече министров иностранных дел советская делегация могла бы поднять этот вопрос и одержать дипломатическую победу.

Престиж Александера был настолько высок, что его протест вполне мог затянуть обструкцию, устроенную военным министерством; и это беспокоило Голсуорси, который, впрочем, нашел выход, предложив, чтобы советские власти предоставили «охранников» для черной работы. Менять политику министерства иностранных дел он считал делом слишком хлопотным. «Во всяком случае, мы давно уже решили, что не можем пытаться спасти русских от их правительства, сколь бы мы ни желали этого из чисто гуманных соображений».

Для эффективного давления на Александера следовало заручиться поддержкой американцев. Ведь английский фельдмаршал был главнокомандующим союзных сил, и, строго говоря, всякий шаг на Итальянском театре требовал объединенного решения обеих держав. МИД начал действовать. Бевин послал ноту Бирнсу (оба были в тот момент в Лондоне на встрече министров иностранных дел). Затем от британской миссии Объединенных штабов в Вашингтоне потребовали, чтобы она убедила начальников Объединенных штабов дать четкие инструкции. В ответ миссия сообщила, что американцы могут не согласиться с британским определением советского гражданина, но в остальном все как будто в порядке. Лорд Галифакс сообщал из Вашингтона, что американцы, кажется, отказались от своих прежних возражений против насильственной репатриации; и Джон Голсуорси выразил надежду, что «фельдмаршал Александер наконец-то получит инструкции...».

Дела понемногу продвигались, хотя и не так быстро, как хотелось бы англичанам. На записку Бевина Бирнс ответил, что консультируется с Госдепартаментом. Он послал телеграмму государственному секретарю Дину Ачесону, в которой указал, что Бевин особенно жаждет вернуть советским властям 500 пленных казаков, и добавил: «Бевин указывает, что репатриация этой группы может потребовать применения силы. Я бы, конечно, не решился на это так сразу». В ответе Ачесон, подробно описав ситуацию, указывал, что все это дело сейчас попало на рассмотрение в Государственный координационный военно-флотский комитет. Ачесон считал вполне возможным заключение, что Ялтинское соглашение не предусматривает применения силы. С другой стороны, комитет может решить, что такая интерпретация соглашения не распространяется на советских граждан, которые присоединились к вражеской армии и, следовательно, считаются изменниками и подлежат возвращению в свою страну как предатели, по отношению к которым может быть при необходимости применена сила. Другие категории советских граждан не будут репатриированы против их воли.

500 казаков попадали в категорию «предателей» и поэтому должны были вернуться в СССР — особенно в связи с недавними американскими акциями в отношении пленных Форт-Дикса.

Бевин был недоволен этой задержкой. Он надеялся в самом скором времени дать Молотову удовлетворительный ответ. Сотрудники МИД

то и дело торопили английское посольство в Вашингтоне, но лорд Галифакс лишь повторял, что решения пока нет. Американцы, вероятно, достаточно быстро уступили в отношении 500 «изменников», но не решались дать санкцию на применение силы против 55 штатских лиц. МИД же настаивал на том, что «среди штатских могут быть люди, поведение которых было ничуть не лучше — если не хуже, — чем поведение казаков». В данных обстоятельствах англичане считали вполне разумным принять на вооружение презумпцию виновности, но американцы, похоже, исходили из прямо противоположных рассуждений. Госдепартамент предвидел, что, «если правительство Соединенных Штатов применит силу, чтобы заставить... [гражданских лиц] вернуться на родину помимо их желания, этот антигуманный акт и нарушение традиционной американской точки зрения на предоставление убежища вызовет резкую критику со стороны общественности и Конгресса».

А поскольку все это оттягивание было результатом задержки военным министерством инструкций Александеру, то МИД полагал, что «армия вела себя, мягко выражаясь, недостойно».

Между тем в английских оккупационных зонах Австрии и Германии можно было выдавать Советам кого угодно — по крайней мере, согласия американцев на это не требовалось. Но даже и тут скромные надежды МИД почему-то не оправдались. Гром грянул 5 октября, когда Джон Голсуорси раскрыл утренний выпуск «Таймс» и в глаза ему бросилась небольшая заметка под названием «Они отказываются возвращаться в СССР». Первая же фраза неприятно поразила мидовского чиновника: «По приказу генерала Эйзенхауэра применение силы к русским гражданам, репатриируемым в СССР из американской оккупационной зоны Германии, приостановлено до специального приказа правительства Соединенных Штатов, оговаривающего участие американских войск в этом деле».

В сообщении говорилось, что благодаря этому постановлению 26400 советских граждан в лагерях для перемещенных лиц получат по крайней мере временную отсрочку. Автор заметки писал: «Одного офицера спросили, верны ли слухи о солдатах, стрелявших поверх голов русских граждан или под ноги им, чтобы заставить сесть в поезда, идущие в СССР. Он ответил: «Возможно, что какое-то время некоторых из них заставляли садиться в поезда, но теперь все это в прошлом».

Как и Александер, Эйзенхауэр давно уже испытывал отвращение к той недостойной солдата задаче, которая была ему поручена. 4 сентября он запросил Объединенный комитет начальников штабов насчет окончательного решения, а вслед за тем временно заморозил операции. Таким образом, он и Александер переложили бремя ответственности на Объединенный комитет и, в конечном итоге, на соответствующие правительства.

На совещании в Берлине, 29 октября, представители британской военной администрации «отметили, что главнокомандующий не готов применить силу для репатриации советских граждан. Это решение не подлежит разглашению». Фельдмаршала Монтгомери

часто изображают жестоким и бессердечным человеком, но, когда встал вопрос о русских беженцах, он отказался выполнять бесчеловечные приказы не менее решительно, чем его коллеги генералы Эйзенхауэр и Александер. Несомненно, на него оказала влияние акция Эйзенхауэра в американской зоне, но ясно, что он и сам считал войну против военнопленных, штатских, женщин и детей занятием, недостойным солдата, и твердо решил не допускать этого хотя бы в подконтрольном ему районе.

В МИД своевольство Монтгомери вызвало негодование. Ни МИД, ни военное министерство не допускали никаких изменений в проводимой политике, считая, что служителям короны, будь они хоть семи пядей во лбу, не дано право самостоятельно принимать такие решения. Из министерства потоком хлынули служебные записки, составленные Браймлоу и Голсуорси, которые были «удивлены и встревожены» заявлением Монтгомери, «полностью противоречащим политике его величества», и указывали, что принятое «решение вызывает крайнее беспокойство. Наше правительство ведет политику репатриации всех советских граждан... независимо от их желаний и с применением в случае необходимости силы».

В такой ситуации жалоба советского генерала Соколовского, что англичане задерживают беженцев, получала основания, и это, вероятно, было самым скверным. В военное министерство была отослана сердитая нота с поручением расследовать дело и обеспечить проведение в дальнейшем верной линии.

Совершенно ясно, что в английских и американских войсках почти не было солдат, которые одобряли насильственную репатриацию. Как раз в это время в Нюрнберге начинался суд над немецкими генералами, обвиняемыми в преступлениях против человечества. Суд исходил из положения, что «действие подсудимого согласно приказам своего правительства или начальства не освобождает его от ответственности. Подлинной проверкой является не наличие приказа, а возможность нравственного выбора». Конечно, такой подход не был новым. Еще в средневековье солдаты знали, что нельзя дурно обращаться с военнопленными или женщинами и детьми. И за сто лет до первой Гаагской конвенции адмирал Сидней Смит ссылался на «священные права военнопленных».

На конференции 29 октября, которая покончила с насильственной репатриацией в английской оккупационной зоне Германии, присутствовал генерал-майор Алек Бишоп. Он прекрасно помнит, как разнились между собой взгляды военных и дипломатов. Напряженность возникла между армией и членами военной администрации (в большинстве своем — армейскими офицерами), с одной стороны, и гражданскими представителями МИД, с другой, при обсуждении вопроса о насильственной репатриации. Представителям армии крайне не нравилась возложенная на них задача репатриировать русских солдат или граждан любой другой национальности против их воли и с применением силы, и они открыто возмущались тем, что вынуждены проводить такие акции. Представители МИД, которым, разумеется, не доводилось лично принимать участие в этой отвратительной

операции, считали, что по политическим причинам следует и дальше продолжать ту же линию.

Несомненно, память не подводит Бишопа. Эйзенхауэр и Монтгомери просто отказались осуществлять политику насильственной репатриации, а Александер привел тактические обоснования этого отказа. Американские генералы Беделл Смит и Пэтч поддержали Эйзенхауэра, и ни в одном отчете мы не найдем упоминания о том, что хоть один представитель союзных армий высказался за применение силы.

Как справедливо указывает генерал Бишоп, неприязнь к политике МИД отнюдь не ограничивалась офицерами в генеральском чине. К октябрю 1945 года поток выдач превратился в тоненькую струйку. Полковник Дэвид Рук в то время командовал полком, дислоцированным в Солтау, южнее Гамбурга. Перед одним из его батальонов была поставлена задача помогать советской группе связи в сборе советских граждан, вывезенных на принудительные работы, и расселении их в огромном лагере для перемещенных лиц в Мюнстере. В конце концов полковник Рук получил приказ посадить всех русских на грузовики для перевозки в советскую зону. Война кончилась полгода назад, солдаты всеми своими помыслами были уже дома, и полковник решил, что русские, наверное, тоже придут в восторг от перспективы возвращения.

Как же он был поражен, обнаружив, что вся группа — а в ней было больше тысячи мужчин, женщин и детей — выслушала эту новость с отчаянием и ужасом. Многие стали молить о пощаде, а одна женщина, бросившись перед полковником на снег и обхватив его сапоги, умоляла не посылать ее назад. Ему все же удалось как-то посадить всех этих несчастных на грузовики. Сопротивления они не оказали, так что обошлось без насилия.

Солдатам очень не нравилась поставленная перед ними задача. Полковник Рук, докладывая о выполнении задания бригадиру Обри Коаду, вежливо, но твердо выразил надежду, что ему больше не поручат подобной работы. Если же это все же случится — то ему придется отказаться выполнять приказ, поставив под удар свою военную карьеру. Бригадир Коад был немногословен, но по его лицу было видно, что он вполне понимает и разделяет взгляды своего подчиненного. Действительно, больше Рук репатриацией русских не занимался, но даже этот опыт оставил неизгладимый след в его памяти. Сразу же после операции он спросил офицера СМЕРШа, что ждет этих людей. Ответ был исчерпывающе точен. Смершевец сказал, что, поскольку они работали на немцев, женщин и детей сошлют в Сибирь, а мужчин, скорее всего, расстреляют.

К сопротивлению внутри армии постепенно добавлялось политическое давление. Члены парламента, представители лейбористской и консервативной партий задавали вопросы о политике насильственной репатриации вообще и ее возможном применении к украинцам. Ввиду надвигающейся опасности МИДу оставалось лишь постараться отправить назад как можно больше русских. В частности, следовало быстренько организовать выдачу 55 штатских и 500 казаков, находившихся под опекой штаба союзных сил в

Италии. Но для этого требовалось решение американцев, а они вовсе не торопились. Судя по полученной информации, Госдепартамент рассматривал этот вопрос с величайшей осторожностью, опасаясь протестов влиятельных кругов общественного мнения страны против преследования беженцев. Это уже имело место. Конгрессмен-республиканка Клейр Бут Люс 17 ноября выразила публичный протест против планируемой депортации трех русских юношей, не пожелавших идти «в тюрьму или на смертную казнь». Они содержались на Эллис Айленде.

По этим причинам новость о том, что английские военные власти в Италии неожиданно провели репатриацию 55 штатских, явилась для МИД приятным сюрпризом. Очевидно, кто-то уступил под непрекращающимся нажимом; и этот уже свершившийся факт мог ускорить решение американцев, так как они упорствовали именно в отношении репатриации этих штатских и вряд ли стали бы поднимать шум из-за «предателей»-казаков. А пока что следовало дать инструкции командующим английскими оккупационными зонами в Германии и Австрии о возобновлении насильственной репатриации. Здесь согласия американцев не требовалось — в отличие от Италии, где осуществлялось совместное командование. Военное министерство, под нажимом МИД, сообщило фельдмаршалу Монтгомери, что в Германии невозможно отказаться от политики Ялты. В то же самое время генерал Мак-Крири в Австрии получил инструкцию передать советским властям около 1300 советских граждан, находящихся в Австрии, а также 1500—1800 человек, которые, предположительно, были рассеяны по всей стране. В Австрии после крупной выдачи казаков в начале лета других выдач не производилось, так как, находясь под командованием штаба союзных сил, Австрия подпадала под приказ Александера от 31 августа об отмене насильственной репатриации. Но сейчас страна была разделена на отдельные оккупационные зоны, и Мак-Крири мог действовать независимо от штаба в Италии.

Немедленно по получении инструкций Мак-Крири заявил резкий протест. Ему, как и Александеру, было не по душе разрешать войскам СМЕРШа действовать в английской зоне и использовать английские войска для запугивания женщин и детей. К тому же он утверждал, что у него недостаточно людей, чтобы окружить этих советских граждан, и поэтому попытки ускорить репатриацию могут только увеличить число побегов и вынудить беглецов к бандитизму. Так, совсем недавно после визита советской репатриационной миссии 400 человек бежали в горы.

Джон Голсуорси счел эти аргументы «надуманными и путаными». Бевин в то время был в Москве на конференции, и Молотов мог призвать его к ответу. МИД поэтому из кожи лез вон, чтобы доказать, что в Австрии с репатриациями все в порядке. В Вену полетели три экземпляра Ялтинского соглашения. Их сопровождало письмо Томаса Браймлоу, в котором объяснялось, почему соглашение, ни словом не упоминающее о применении силы, тем не менее подразумевает насилие.

Глава 15

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Маршал Жуков в своих мемуарах дает советскую версию операций по репатриации, описанных в этой книге. По его словам, западные союзники вели среди советских граждан агитацию против возвращения в СССР и в результате многие отказывались вернуться. Жуков лично выразил свое недовольство генералам Эйзенхауэру и Клею, которые пытались прикрыться «гуманными целями», но в конце концов уступили советскому нажиму и разрешили советским офицерам встретиться с «задержанными советскими людьми в американских лагерях. После откровенных бесед и разъяснений... многие, поняв свое заблуждение и фальшь пропаганды американских разведчиков, объявили о решении вернуться в Советский Союз и прибыли в советскую зону для отправки на Родину».

Действительно, в этот последний период позиция американцев в вопросе репатриации коренным образом изменилась, и это заслуживает отдельного разговора. Осенью 1945 года Эйзенхауэр, ужаснувшись сообщениям о кровавых событиях в Кемптене, на свой страх и риск запретил применение силы при репатриации советских граждан в районах, находящихся под его командованием. Его целиком и полностью поддержали фельдмаршал Монтгомери в английской оккупационной зоне, американские генералы Клей, Беделл Смит, Пэтч и другие офицеры. Политические советники, Мёрфи в Германии и Кирк в Италии, тоже всячески стремились положить конец мероприятиям, противоречащим принципам, за которые воевали США.

Несколько недель Вашингтон не реагировал на смелое решение Эйзенхауэра. Как вспоминает генерал Беделл Смит, летя из Германии домой в январе 1946 года, он имел все основания полагать, что Кемптен больше не повторится. Генерал ошибался. Как раз в это время США наконец-то пришли к решению проблемы репатриации на правительственном уровне, что должно было повлечь за собой новую волну кровавых операций. Вопрос этот стоял на повестке дня с сентября, с того самого момента, когда государственный секретарь Бирнс, уступив нажиму Бевина, принял линию англичан. В конце концов 21 декабря 1945 года государственный координационный военно-морской комитет в Вашингтоне опубликовал декларацию, в которой говорилось, что, хотя из Западной Германии репатриировано уже более 2 034 тысяч советских граждан, там осталось еще около 20 тысяч. Далее перечислялись категории подлежащих обязательной репатриации, «независимо от желания и с применением силы, если это окажется необходимо»:

а) Взятые в плен в немецкой форме.

б) Находившиеся в рядах советских вооруженных сил 22 июня 1941 года и после этой даты и не демобилизованные впоследствии.

в) Обвиняемые советскими властями в добровольной помощи врагу... при предоставлении убедительных доказательств с советской стороны.

Переданный американским командующим в Германии и Австрии генералам Джозефу Т. Мак-Нарни и Марку В. Кларку, документ этот вошел в историю под названием «директива Мак-Нарни—Кларка». Директива была принята с целью обеспечить возвращение предполагаемых предателей, с тем чтобы они получили заслуженное наказание, тогда как вопрос о других беженцах, не запятнавших себя сотрудничеством с врагом, должен был рассматриваться в соответствии с традиционной американской политикой. Этот, казалось бы, вполне разумный компромисс не устраивал, однако, ни советских представителей, ни англичан. Как писал Томас Браймлоу накануне Рождества 1945 года, директива Соединенных Штатов — «шаг в нужном направлении», но «мы считаем, что репатриированы должны быть все советские граждане, если понадобится — то и с применением силы». Несколько недель спустя он жаловался, что американцы намерены «совершенно буквально трактовать выражение «в немецкой форме», а это означает, что принудительной репатриации в СССР подвергнется минимальное количество народу». Действительно, миссия Объединенных штабов в Вашингтоне подтвердила это предположение сотрудника английского МИД, заметив, что «в вопросе о насильственной репатриации советских граждан Соединенные Штаты руководствуются стремлением скорее сократить число репатриируемых, чем увеличить его». Принятое американцами постановление давало возможность остаться на Западе всяческим нежелательным, с точки зрения англичан, личностям. Письмо одного из таких людей Браймлоу штудировал в тот час, когда по всему Лондону звонили колокола, возвещая о рождении Христа.

«Больница 64
Милан, Италия
1 декабря 1945

от Валентина Калкани

Дорогой сэр, господин премьер-министр! Помогите мне, пожалуйста, в моем тяжелом положении. Я нахожусь под вашим правлением, то есть на территории, занятой англичанами в Италии, и лежу сейчас в английском госпитале со сломанной ногой и рукой после аварии на мотоцикле. Помогите мне, пожалуйста,

господин премьер-министр, остаться после выздоровления здесь, потому что я русский, но не хочу возвращаться в СССР, так как я не согласен с коммунистической системой и мне больше нравится такая система, как, например, в Англии или Америке. Если окажется возможно найти для меня какой-нибудь уголок — я ведь еще молодой, мне всего только 20 лет от роду, если можно принять меня в ряды вашей армии, я вам буду служить, как отцу родному. Если это невозможно, напишите мне об этом, пожалуйста. Прошу вас, как отца. На этом кончаю, до свидания.

Господину Клементу Эттли, премьер-министру».

Взяв ручку, Браймлоу написал на полях: «Вернуть в СССР».

На сей раз все решилось очень просто, но бывали и трудности. Например, Госдепартамент воспротивился призыву английского посольства включить в число тех, к кому при репатриации может быть применена сила, всех советских граждан, без различия возраста, пола и биографии. А это означало, что в зонах объединенного союзного контроля в Италии все еще нет согласованной линии. И здесь, и в английской оккупационной зоне Австрии английская политика могла проводиться независимо от американских правил, но в Италии вопрос об единой политике по-прежнему оставался открытым. И дело было не только в том, что старшие американские офицеры, вроде Мак-Крири, не желали сотрудничать с англичанами. Полковник Алекс Вилкинсон, служивший в Штирии (Австрия), писал: «Наш штаб в Вене поручил мне посетить совещание в Бруке, чтобы обеспечить отправку домой еще одной группы перемещенных лиц... Мне было поручено обеспечить поезда для перевозки перемещенных лиц на родину. Я на все поручения отвечал одинаково: выполню, если эти люди согласны ехать. Тогда мне предложили собрать их и посадить в поезда, независимо от их желаний. На мой вопрос, как это сделать, мне ответили, что один-другой пулемет заставят русских вести себя как следует. «Пока я здесь, этого не будет!» — ответил я. Я принял компромиссное решение: согласился на посадку перемещенных лиц в поезда только при условии, что поезда будут идти в западном, а не в восточном направлении, и добавил, что, как только они выедут за пределы Штирии, я за них больше не отвечаю. Через две недели после этого совещания я был снят с поста и отправлен в Англию — в рапорте это решение объяснялось «недостатком инициативы» у меня... Не думаю, однако, чтобы из Штирии какие-либо перемещенные лица были отосланы «домой», во всяком случае, не во время моего пребывания там...»

Как ни странно, но именно американской директиве Мак-Нарни—Кларка, с ее четкой классификацией репатриантов, суждено было вызвать кровопролитие куда более страшное, чем кемптенский эпизод, заставивший Эйзенхауэра в октябре наложить односторонний запрет на репатриационные операции. С появлением директивы, где говорилось о репатриации только несомненных советских граждан, попадавшие в эту категорию не могли больше

рассчитывать ни на какие отсрочки. Американские военные власти в Германии рекомендовали развернуть подготовку к широкомасштабной выдаче перемещенных лиц.

В Дахау, под Мюнхеном, находилось несколько сот власовцев. Из них-то и решили американцы набрать первую группу репатриантов в соответствии с директивой Мак-Нарни—Кларка. Пленные прослышали об этом решении, и когда 17 января их выстроили, чтобы везти на станцию, они наотрез отказались садиться в грузовики. Им стали угрожать оружием. Тогда они начали просить, чтобы их немедленно расстреляли. Сконфуженные охранники вернули их в бараки.

Было ясно, что для проведения операции необходимо массированное применение силы. Через два дня в лагерь прибыло ударное формирование из 500 американцев и поляков. Последовавшие за этим события живо описаны в рапорте, поданном Роберту Мёрфи: «В рамках соглашения с Советами, 19 января была предпринята попытка отправить со сборного пункта в Дахау 399 бывших русских солдат, взятых в плен в немецкой военной форме. Все эти люди отказались садиться в грузовики и просили, чтобы их пристрелили. В знак протеста они разделись и отказались выходить из бараков. Чтобы выгнать их оттуда, пришлось прибегнуть к слезоточивому газу и применить силу. Выйдя из бараков, они сели на снег, причем некоторые нанесли себе ножевые раны, 9 человек повесились, один закололся, второй вскоре умер от ран, 20 человек все еще находятся в госпитале. Наконец, в поезд с американской охраной и в сопровождении советского офицера связи было посажено 368 человек. 6 человек бежало по дороге. Ряд лиц в группе заявили, что они не русские. После предварительной проверки местными военными властями об этом был уведомлен советский офицер связи, и в результате 11 человек были возвращены советскими представителями как несоветские граждане».

Затем в рапорте рассказывается о страшных страданиях, на которые были обречены эти люди в плену, о том, что у них фактически не было другого выбора, как только надеть немецкую форму. Рапорт заканчивался словами: «Инцидент этот произвел на всех очевидцев сильное впечатление. Американские офицеры и солдаты, от которых американское правительство потребовало проводить репатриацию этих русских, проявляют сильное недовольство...»

На этом примере видно, как по-разному относились к проблеме репатриации сотрудники английского МИД и Госдепартамента. Мёрфи послал этот рапорт государственному секретарю, приложив к нему возмущенную записку, где, в частности, обращал внимание на то обстоятельство, к которому, судя по всему, совершенно хладнокровно отнесся его британский партнер в Италии, Гарольд Макмиллан: на выдачу советским властям несоветских граждан. Сообщения в прессе об инциденте в Дахау вызвали также протесты многих известных деятелей. Генерал Деникин, армии которого в свое время едва не уничтожили Советскую Республику, послал Эйзенхауэру письмо протеста. Через три недели папа Пий XII

выразил резкое осуждение Ялтинского соглашения, которое все еще оставалось секретным, и протест против «принудительной репатриации и отказа в предоставлении убежища».

Но события развивались уже сами по себе, набирая инерционное ускорение. Когда нескольким полкам РОА под командованием генерала Меандрова удалось пересечь американскую линию фронта, они были интернированы в Ландау, в лагере с очень мягким режимом. Однако в сентябре 1945 года их перевели в охраняемый лагерь за колючей проволокой в Платтлинге, под Регенсбургом. В списке репатриантов они были следующими на очереди. После проверки было решено, что из трех тысяч человек, содержащихся в лагере, более половины подлежат насильственной репатриации.

Операция проходила по той же схеме, что и в Дахау, только на этот раз были приняты исключительные меры по сокращению числа самоубийств. Но избежать сопротивления не удалось. Власовцы отказались садиться в грузовики и забаррикадировались в бараках. Американскому коменданту во избежание кровопролития пришлось сказать, что их скоро перевезут в новый лагерь, подальше от советской оккупационной зоны. Обмануть этих несчастных оказалось легче легкого. Они успокоились, и все пошло по-прежнему.

Ранним утром 24 февраля один из пленных проснулся от негромкого лязга, доносившегося с другой стороны проволочной изгороди. Когда он вылез из барака, его глазам предстала страшная картина: к лагерю шла колонна американских танков. Охранники бесшумными тенями скользили к воротам; там им выдавали специальные резиновые дубинки. Притаившийся в предрассветном сумраке невольный наблюдатель быстро смекнул, к чему идет дело, и пополз под проволокой в соседний лагерь, где содержались пленные других национальностей.

Тем временем американские солдаты, разделившись на две колонны и хоронясь в тени, пробрались к баракам, беззвучно, как в немом фильме, прошли к двери и по двое стали у каждой койки. Их фигуры мрачными силуэтами вырисовывались в свете прожекторов. Мертвая тишина то и дело нарушалась случайными звуками: кто-то тихонько вскрикнул со сна, скрипнул пол под ногами, но все это заглушалось мерным дыханием спящих. Вдруг тишину прорезал пронзительный свисток. Проснувшиеся с недоумением озирались по сторонам: они оказались в центре какой-то дикой какофонии. Американцы, с криками и ругательствами, размахивая дубинками, поторапливая пленных на искаженном немецком «мак снель, мак снель», гнали ничего не соображавших спросонья людей в одном нижнем белье к выходу из барака и дальше — к лагерным воротам. На замешкавшихся обрушивался град ударов. У ворот стояла наготове колонна грузовиков с заведенными моторами. Пленных загнали в грузовики, машины моментально снялись с места, и уже через несколько часов репатрианты садились в поезд, идущий на восток. Около чехословацкой границы поезд остановился посреди баварского леса, его поджидали солдаты в голубых фуражках. Американские и советские офицеры обменялись через переводчика несколькими фразами, и избитых и напуганных солдат дивизии Меандрова отвели под охраной к железнодорожным путям. Затем американские охранники отправились на том же поезде обратно.

Примененная в Платтлинге тактика оказалась вполне успешной. Благодаря внезапности операции удалось избежать самоубийств на территории лагеря, и штаб американской 3-й армии смог сообщить в рапорте, что выдача была проведена «без инцидентов». Но за время пути пятеро покончили с собой в поезде, а число покушавшихся на самоубийство было еще выше. В самом лагере двое успели нанести себе раны, и одного из них сфотографировали для американской армейской газеты «Старс энд страйпс». Вообще же вся операция была заснята на пленку, — вероятно, в качестве руководства на будущее. По-видимому, это единственный известный киноматериал, в котором запечатлена операция союзных сил по репатриации.

Через три месяца из Платтлинга была отправлена на восток еще одна группа из 243 русских. На этом основная репатриация русских пленных из Германии закончилась. Несколько позже, в 1946 году, генерал Мак-Нарни заявил, что советские граждане, находящиеся в американской зоне Германии, могут более не опасаться принудительных выдач. Принятая Госдепартаментом директива Мак-Нарни—Кларка казалась золотой серединой между полным отказом от выполнения советских требований и английской политикой возвращения всех советских граждан. Но в американской армии даже этот компромисс вызвал возмущение и протест. Стоит еще раз напомнить, что американцы применили силу лишь к нескольким сотням бывших солдат вермахта, и у них в мыслях не было обратить штыки против женщин и детей. Причины, по которым американцы высказывали свои возражения, весьма показательны и резко отличаются от официальной английской точки зрения. 19 апреля генерал Мак-Нарни просил об уточнении директивы на том основании, что репатриационные комиссии, пользуясь за неимением других только американским законом и порядками, возражают против репатриации нескольких сотен человек, ссылаясь на то, что данные лица не являлись гражданами, так как были лишены основных гражданских прав, как-то: права голоса, права носить оружие и т. д., либо принадлежали к преследуемым группам.

Через неделю Мак-Нарни более подробно описал в письме эти категории лиц и между прочим заметил: «Если бы мы строго придерживались американской интерпретации гражданства, все советские подданные были бы освобождены». Однако в ответе Объединенного комитета начальников штабов говорилось: «Поскольку действующая политическая система в СССР коренным образом отличается от системы США, а вопрос о правах советских граждан может решать только советское правительство, мы не обсуждаем здесь данную проблему... Американские правила о гражданстве не применимы к советским гражданам».

14 Заказ 620

На практике, впрочем, вследствие протестов армии и политических деятелей, американцы сначала оттягивали насильственную репатриацию русских из Германии, а затем, после второй выдачи власовцев из Платтлинга в мае 1945 года, и вовсе отказались от насильственных депортаций.

Так закончилась насильственная репатриация русских в союзных оккупационных зонах Германии и Австрии. Но оставался еще один район, не охваченный директивой Мак-Нарни—Кларка. Поскольку Италия контролировалась объединенным союзным командованием из штаба союзных сил в Казерте, директива Мак-Нарни—Кларка давала англичанам возможность настаивать на насильственной репатриации из Италии по крайней мере тех категорий пленных, которые подлежали выдаче согласно этой директиве. Но в этом случае многие категории штатских лиц не могли бы быть депортированы, а англичане не хотели идти на такой компромисс, считая, что еще имеется возможность заставить США встать на английскую точку зрения.

Впрочем, близился конец весны 1946 года, и английский МИД был вынужден считаться с реальностью. Возможности убедить Госдепартамент иссякли. Да и в самой Англии росла оппозиция. Новый канцлер герцогства Ланкастерского, лейборист Дж. Хинд, заявил в парламенте протест против насильственной репатриации и в январе начал временное «замораживание» применения силы. Его поддержал новый заведующий Северным отделом МИД Роберт Хенки, ныне лорд, считавший, что проведение американской линии даст возможность спасти гражданских лиц и тем удовлетворить возражения английской армии. Поэтому МИД порекомендовал английскому правительству принять директиву Мак-Нарни—Кларка.

Решение Бевина принять директиву, как и последовавшее затем насильственное возвращение русских, находящихся под опекой англичан, было результатом нажима со стороны профессиональных дипломатов. Только недавно стало известно, как именно осуществлялся этот нажим. Вскоре после временного «замораживания» насильственной репатриации в английских оккупационных зонах Германии и Австрии в конце 1945 года Бевин потребовал полного отчета о проведенных до сих пор операциях такого рода. 18 января 1946 года заведующий Северным отделом Кристофер Уорнер сообщил министру иностранных дел: «Насколько мне известно, к насильственным мерам до сих пор не прибегали. Для того, чтобы заставить колеблющихся выполнять распоряжения, было достаточно простого присутствия английских войск».

К этой явной лжи присоединился и Томас Браймлоу, также отметивший, что «до сих пор насилия удавалось избежать». Кстати, в том же документе Браймлоу замечает — и, по всей вероятности, справедливо, — что американцы согласились выдать русских, подпадавших под директиву Мак-Нарни—Кларка, только «под нажимом англичан, стремящихся провести репатриацию 500 казаков из Италии».

Не исключено, что Бевин в какой-то момент собирался вообще отказаться от политики насильственной репатриации. За это говорит, например, то, что по его приказу было отменено уже начатое следствие по делу нескольких грузин, мужественно воевавших против немцев на острове Тексел. Поскольку американцы, как заметил Браймлоу, действовали в основном под давлением англичан, представляется вероятным, что насильственные репатриации продолжались еще полтора года вследствие постоянного давления официальных лиц. Если Бевин полагал, — а оснований думать иначе у нас нет, — что для репатриации русских не понадобилось применения силы, можно понять, почему он не видел большого смысла в изменении процедуры выдач, тем более что это было чревато протестами советской стороны. Все это замечательно подтверждает справедливость слов сэра Герберта Баттерфильда: «О роли высших постоянных чиновников МИД сейчас принято говорить как об общеизвестном факте, и часто отмечается, что министр иностранных дел находится всецело в их руках. Говорят, что если постоянные сотрудники и не могут навязать министру свою линию, то во всяком случае у них достаточно влияния, чтобы помешать ему проводить его собственную политику».

На совещании кабинета 6 июня было принято предложение министра иностранных дел Бевина о согласовании с США английской политики в вопросе репатриации. Военное министерство приветствовало это решение, полагая, что отныне «от солдат не будет больше требоваться применения силы против людей, отказывающихся вернуться в СССР». Вероятно, военное министерство не вполне оценило назначение этого шага — во всяком случае, поначалу. Между тем предложение Бевина вовсе не предназначалось для защиты не желавших возвращаться на родину русских от отправки в СССР — напротив, его цель состояла в выдаче тех немногих оставшихся, которых в ином случае невозможно было бы вернуть советским властям. Тем не менее на первых порах директива привела к положительным результатам. Все «лица со спорным гражданством» могли быть освобождены и расселены там, где они хотели или могли поселиться. Появилось сообщение, что украинцы, находившиеся в Белларии, могут считаться несоветскими гражданами. Так что те, кто по директиве Мак-Нарни—Кларка не подлежали репатриации, отныне были в безопасности.

Зато за остальными началась охота. После присоединения англичан к директиве Мак-Нарни—Кларка события стали развиваться довольно быстро. Ровно через месяц после того, как решение кабинета было доведено до сведения штаба в Италии, был разработан подробный план по переводу всех содержащихся здесь русских, относящихся к категориям, перечисленным в директиве, в лагеря на севере страны, где их можно было подвергнуть предварительной проверке перед передачей Советам. К концу июня около тысячи «русских» собрали в лагерях Баньоли и Аверса. Насколько известно, это были последние советские граждане, находящиеся в руках союзников и подлежащие репатриации. Заметим, кстати, что с декабря 1944 года из этого района было репатриировано 42 тысячи советских граждан.

План по выдаче этих пленных получил кодовое название «Килевание» — по наказанию в средневековом английском флоте, когда матроса на веревке протаскивали под корпусом военного корабля. Многие умирали, те же, кому повезло, выходили из этого испытания полуживыми и израненными. Обычно кодовые названия операций не содержат намека на планируемые события, однако случаются исключения. Похоже, название «килевание» было выбрано вполне цинично — по принципу сходства. Во всяком случае, название одного из мест содержания русских пленных в Англии — Кил Холле (по-английски — Keelhaul), в Стаффордшире, — с этим никак не связано.

14 августа операция «Килевание» началась. Были приняты меры по предотвращению самоубийств; сопровождавшие пленных отряды имели при себе ручное оружие, наручники и гранаты со слезоточивым газом. На другой день пленные были переведены в новые лагеря: 498 человек из Баньоли оказались в английском лагере возле Римини, а группа из 432 человек из Аверсы (в основном жители Средней Азии) — в американском лагере под Пизой. Это делалось во исполнение пункта директивы о том, что «перевозка советских граждан... является совместным делом США и Англии». Единственным положительным следствием этого шага было то, что теперь штаб мог потребовать отзыва советской репатриационной комиссии, — никаких оснований для ее пребывания в стране больше не имелось. Как было отмечено в одном из рапортов, датированных сентябрем: «Миссия несколько месяцев почти не вмешивалась в дела по репатриации, но ее деятельность в Италии противоречит интересам государственной безопасности страны».

Английские и американские военные власти давно уже поняли, что одной из основных задач советской репатриационной миссии является шпионаж. Ее операции становились все рискованнее, и союзники понемногу теряли терпение. В Австрии была обнаружена группа агентов СМЕРШа, одетая в форму американской военной полиции. Генерал Марк Кларк отказался вновь допустить миссию в страну до выполнения поставленных им условий. В Греции советская миссия сотрудничала с коммунистами, совершившими попытку вооруженного государственного переворота. После подавления восстания английскими силами советская миссия оставалась в стране, и 2 сентября 1945 года фельдмаршал Александер потребовал ее отзыва, заметив, что в Греции больше нет советских граждан, подлежащих репатриации. Однако МИД отклонил его требование: Томас Браймлоу поверил утверждению советских представителей, что где-то на Крите скрываются двое советских граждан. Правда, к концу года МИД и сам начал догадываться о характере работы миссии и предложил осуществлять надзор за этой деятельностью — хотя и не потребовал прекратить ее вовсе.

Теперь, когда последние русские, подлежавшие репатриации, были собраны вместе, оставалось лишь провести проверку и заключительные выдачи. МИД сообщил штабу союзных сил в Казерте, что категории пленных, не подпадающих под директиву Мак-Нарни—Кларка, могли оказаться среди тех, кто уже был выдан англичанами, но на эту информацию никто не обратил внимания.

В лагере, откуда прибыли пленные, уже проводилась одна проверка. Но теперь говоривший по-русски офицер должен был более тщательно повторить ту же процедуру. Эта задача была поручена Деннису Хиллсу, которого мы уже упоминали в этой книге. Он работал с русскими военнопленными в лагере Чинечитта под Римом, а до этого, в марте 1945 года, проделал путешествие из Таранто в Одессу с солдатами Тюркской дивизии, после чего у него не осталось никаких иллюзий относительно судьбы репатриантов на родине, и поэтому он твердо решил спасти от репатриации как можно больше народу. Проверка была во многом чисто формальной, проверить показания пленного было невозможно. Перед Хиллсом лежал текст директивы Мак-Нарни—Кларка, и на основании ее он отфильтровал тех, кто наверняка служил в немецкой армии. Только они и подлежали репатриации; и Хиллс тщательно следил, чтобы среди них не оказалось членов организации Тодта или других полувоенных организаций. Несколько случаев он представил на рассмотрение штаба, и наконец, методом проб и ошибок, разработал максимально мягкую в данных условиях систему. Правда, ему были предоставлены весьма широкие полномочия — он мог совершенно произвольно решать вопрос о гражданстве того или иного пленного. Представители советской репатриационной миссии обычно заявляли свои права лишь на отдельных пленных, которым вменялись в вину военные преступления. Эти запросы поступали к капитану Тому Корринжу, а он передавал их Деннису Хиллсу. Имена пленных были написаны на клочках бумаги, а источником сведений о них служили в основном платные информаторы, которых советские офицеры держали в лагере специально для получения такого материала. Корринж сразу же отвечал отказом на те запросы — а таких было большинство, — в которых обнаруживал какие-то неточности. Цену советским обвинениям он знал уже давно — с тех пор, как ему выдали карту, на которой линия Керзона таинственным образом переместилась на много километров к западу.

Скоро Деннис Хиллс понял, что оказался в очень щекотливом положении. Ведь, по существу, его задача сводилась к тому, чтобы обрекать человека на смерть или же, напротив, даровать ему помилование. Все его симпатии были на стороне пленных, и будь его воля — он бы их всех объявил не подлежащими репатриации, но это было невозможно. Штаб принимал все рекомендации Хиллса, но при этом подразумевалось, что большая часть пленных должна вернуться на родину. МИД настаивал на возвращении определенного числа пленных, и существовали пределы, преступить которые в штабе считали немыслимым.

Под конец Хиллс подавил все свои сомнения и стал руководствоваться личными симпатиями. Когда речь шла о людях, не замешанных в военных преступлениях, он при вынесении приговора исходил, в частности, из того, сумеет ли этот человек выжить

в советском лагере. Так, он одним махом избавил от репатриации сотню кабардинцев — через много лет ему стало известно, что они обосновались в Дамаске. Некоторые пленные бежали, число подлежащих репатриации постепенно снижалось, и наконец Хиллс достиг такого уровня, когда понял, что на дальнейшие сокращения числа репатриируемых штаб не пойдет. Как сокрушенно объяснял он позже некоторым из тех, кому удалось выжить, — «когда Советский Союз требовал 400 человек, я не мог послать им двадцать». В этих условиях он иногда записывал в категорию подлежащих репатриации тех, к кому испытывал личную антипатию.

В лагере большим влиянием пользовался староста, бывший майор Красной Армии Павел Петрович Иванов. Подобно казакам в Австрии, Иванов полагал, что готовность к сотрудничеству должна произвести на англичан благоприятное впечатление, расположить их к пленным. Поэтому он отговаривал своих товарищей по несчастью бежать и доказывал им, что нужно честно отвечать на вопросы майора Хиллса. Многие, послушавшись его, честно заявили о своем воинском звании и обрекли себя на верную смерть.

Тем временем шли приготовления по выдаче советским властям бывших солдат вермахта. Штаб в Италии сделал выводы из имеющегося опыта и принял меры по предотвращению кровопролития. Все пленные из Пизы и Рикони должны были подвергнуться выдаче в ходе одной операции. Следовало принять все меры по предотвращению самоубийств и побегов, но в то же самое время охранникам было приказано при соответствующих обстоятельствах стрелять без промедления. Пунктом выдачи был выбран австрийский городок Санкт-Валентин, с июля 1945 года ставший приемным пунктом вместо Юденбурга. 2 апреля 1947 года операция получила зловещее кодовое название «Восточный ветер».

В эти дни полковник Яковлев из советской миссии в Риме писал английскому майору Симкоку: «Прошу прислать всех советских граждан в лагерь № 300 в Санкт-Валентин (Австрия). Для них все готово». В приказах союзников предусматривалось при транспортировке пленных «в первую очередь использование наручников, слезоточивого газа, смирительных рубашек и дубинок, в качестве последнего средства — применение огнестрельного оружия». Трупы, по соглашению договаривающихся сторон, принимались советскими представителями в месте назначения. Для вывоза прошедших проверку русских из Пизы и Рикони на север была назначена дата — 8—9 мая. Пленные провели на Западе ровно два года.

У двенадцати пленных имелись жены и дети, жившие отдельно. Им сообщили о предстоящей выдаче мужей и отцов. То, что последовало затем, лучше всего описано в рапорте, поданном Деннисом Хиллсом через неделю после событий: «Им дали 24 часа для принятия решения — уедут ли мужчины одни или в сопровождении семей. Это сообщение вызвало душераздирающие сцены... Все мужья как один запретили своим семьям сопровождать их. Началось прощание. Это зрелище было невыносимо.

Тот факт, что никто из мужчин не согласился, чтобы с ним поехали жена и дети... убедительно свидетельствует о том, в какой ужас повергает их перспектива выдачи советским властям. Один из пленных так выразил свое отношение к этому: «Застрелите меня — лучше спокойно умереть, чем подохнуть под пытками». Они никакие не герои; в подавляющем большинстве — обычные средние люди, и очень сомнительно, что у них на совести есть какие-либо преступления, помимо того, что они осмелились замахнуться на ненавистный им режим.

Этот аспект операции «Восточный ветер» был крайне тяжелым. Сообщение о репатриации прозвучало для семей как смертный приговор. Дело омрачалось еще и тем, что женам и детям предлагалось, если они того пожелают, разделить судьбу мужей и отцов. Когда я думаю об этом, мне кажется, что было бы гуманней не предоставлять репатриантам возможности брать с собой близких — тем более что в конечном итоге они все равно предпочли расстаться с женами и детьми».

Но вернемся к самой операции. Она началась еще до рассвета. Дрожащие от предутреннего холода и мрачных предчувствий, мужчины — всего 171 человек — построились. К проволочной изгороди подъехали грузовики, спрыгнувшие с них английские солдаты побежали к воротам. Одни, сжимая в руках автоматы, выстроились в две колонны, другие стали гнать пленных к грузовикам по проходу между этими колоннами. Группами по пятнадцать человек пленных сажали в грузовики. Хотя среди эмигрантов-казаков ходили потом рассказы о страшных сценах насилия, англичане на сей раз подготовились к операции так тщательно, что побеги и сопротивление попросту исключались. Охрана состояла из шести офицеров и 210 солдат под командованием майора Бена Дальтона. Два джипа с пулеметами и вооруженные мотоциклисты сопровождали колонну на пути в Рикони.

На железнодорожной станции Рикони яблоку было негде упасть от количества людей в военной форме. Весь район был временно обнесен колючей проволокой и охранялся несколькими взводами солдат. Хотя в лагере пленных уже обыскивали, здесь провели еще один, более тщательный обыск — с целью обнаружения предметов, которые могли быть использованы для самоубийства. На боковой ветке стоял пустой поезд с наглухо закрывающимися дверями и железными решетками на окнах. Тут уж ни у кого не осталось сомнений в том, куда именно направляется этот мрачный транспорт. Во время обыска (у некоторых обнаружили припрятанные перочинные ножи и бритвы) лагерный староста Павел Иванов попросил разрешения поговорить со стоящим поблизости Деннисом Хиллсом. Хиллсу было крайне трудно принять решение о репатриации этого умного, обаятельного человека, с готовностью сотрудничавшего с англичанами и пользовавшегося уважением среди обитателей лагеря. После долгих колебаний Хиллс пришел к выводу, что Иванов — человек здоровый и умный — сумеет уцелеть в лагере. Теперь, перед посадкой на поезд, Иванов укоризненно бросил

Хиллсу: «Значит, вы все-таки отправляете нас на смерть. А я-то в вас верил. Предала нас ваша демократия».

Началась посадка. Переводчиком у майора Дальтона был молодой офицер британской разведки Алекс Вайнман, владевший русским. Вот как описывает он свои впечатления от этого страшного путешествия: «Моя задача состояла, в частности, в том, чтобы объяснить пленным, что они должны разговаривать тихо, должны оставаться на своих местах, а если понадобится выйти в уборную, поднять руку и их проводит охранник. Как только они услышали, что я говорю по-русски, все как один начали спрашивать, куда их везут. Я ответил уклончиво, но это не помогло делу. Они и без того уже поняли, что их ждет, и стали просить: «Не отдавайте нас советским. Лучше расстреляйте, если хотите, но только не посылайте на пытки». Когда они садились в поезд, меня поразило равнодушное, бесстрастное выражение их лиц. Сейчас от этой бесстрастности и следа не осталось. Они оживились, заговорили, заспорили, один парнишка лет двадцати вдруг разрыдался: «Они расстреляют не только нас, но и наших близких». Его слезы словно вызвали цепную реакцию, и через несколько секунд половина мужчин в поезде рыдала, выкрикивая сквозь слезы: «Как не стыдно вашему правительству, вашему народу! Как вы можете делать такие вещи!» Я не отвечал, изо всех сил стараясь подавить в себе сочувствие к этим людям, я отвернулся от них, стал смотреть в другую сторону. Мой взгляд упал на английских солдат — таких же ребят, как и русские пленные. На лицах у них читалось замешательство и сочувствие. «Похоже, они вовсе не рады возвращению домой», — заметил один из них. Ко мне обратился еще один русский: «Мы об одном просим — чтобы нам позволили просто жить, но если вы не можете нам помочь — расстреляйте нас, спасите от пыток и медленной смерти».

С меня было довольно: я выскочил из вагона, не в силах вымолвить ни слова. Слезы градом катились по щекам, нет, сострадание не умерло во мне! К счастью, никто не подошел ко мне в ту минуту: если бы мне пришлось заговорить, я бы попросту разрыдался. Поезд стоял на станции еще два часа. Приезжавшие из лагеря грузовики привозили все новые группы обреченных. Наученный горьким опытом, я теперь быстро проговаривал свои инструкции и исчезал, не дожидаясь вопросов... Около 10 часов погрузка закончилась, но поезд простоял на солнцепеке до 12.30 — на это время было назначено отправление. Последним в вагон внесли на носилках человека, страдающего, по словам военврача, неизлечимой болезнью почек, прикованного к постели уже пять с половиной месяцев. К своему будущему он относился со спокойствием убежденного фаталиста: «Ничего хорошего от жизни я не жду. В Италии я, может, и протянул бы еще пару лет, но лучше уж сразу покончить с этими муками». Ему выделили койку в санитарном вагоне, прицепленном к поезду на случай попыток самоубийства.

Путь от Рикони до Санкт-Валентина в советской оккупационной зоне Австрии занял 24 часа. За исключением двух случаев, когда мне пришлось перевести кое-что для сержанта, я не общался с пленными, решив, что так оно лучше. Ночью почти все спали, измученные событиями дня. В каждом вагоне было с полдюжины часовых, так что о побеге нечего было и думать. Утром, когда мы были уже близко от советской зоны, пленные начали отдавать охранникам часы и деньги, рвать фотографии и письма, некоторые оставили в вагоне Новый Завет. Наблюдая из окна за оживленным движением на станциях, мимо которых мы проезжали, за людьми, едущими и идущими по своим делам, я начал понимать, о чем думают эти несчастные: там, за окном, остался недоступный для них свободный мир, впереди же их ждали пытки, смерть, в лучшем случае, десять лет в лагере. Вот и мост через реку Эмс, демаркационная линия между американской и советской оккупационными зонами. Всюду расставлены советские часовые. Проехав еще семь километров, поезд остановился в Санкт-Валентине, где пленных принял полковник Старов, руководитель отдела военнопленных и перемещенных лиц советского подразделения союзной комиссии по Австрии... Началась разгрузка, но люди, выходившие из вагонов, не имели ничего общего с теми, кого я наблюдал всего сутки назад. Тогда на их лицах читались страх перед будущим, волнение, тревога, теперь они были похожи на бесчувственный скот — так мертвы и лишены выражения были их лица. Даже у тех мальчиков, что рыдали вчера в поезде, на лицах застыло то бесстрастное выражение, которое, по мнению жителей Запада, олицетворяет чисто славянское равнодушие к смерти. Когда-то я тоже верил этой сентенции — теперь мне стало ясно, как я заблуждался. После переклички их построили группами на лугу, поросшем клевером, где были расставлены часовые. Список был составлен плохо, и перекличка заняла больше часа. Кроме полковника Старова, здесь было еще с десяток советских офицеров. Некоторые помогали проводить перекличку, другие просто глазели. Единственным штатским был толстый человек неприятной наружности, немного напоминавший гестаповца. Он назвался представителем ТАСС...

Поезд тронулся в обратный путь. На станции Санкт-Валентин я узнал от австрийцев, что вечером товарный поезд для перевозки скота увезет пленных к венгерской границе, где у Советов большой лагерь. Больше я о них ничего не знаю. Некоторых, конечно, расстреляли, некоторые отбыли свои пять—семь лет в лагерях. Мне ясно одно: всем англичанам, бывшим в этом поезде, было стыдно, что им поручена такая задача. Множество беспомощных существ были принесены в жертву, чтобы умилостивить советское правительство, и мне до сих пор интересно, каков был результат: заслужили ли мы его уважение или же оно лишь презрительно посмеялось над нашей наивностью».

Размышления майора Вайнмана о судьбе пленных звучат весьма оптимистично. Майор Дальтон в своем рапорте отмечает, что после переклички Павел Иванов и другие офицеры были отделены от

рядовых. «У меня создалось впечатление, — пишет он, — что с ними собираются расправиться тут же». Что же до наказания, которое угрожало оставшимся пленным, то как раз в это время, стараясь задобрить западных либералов, Сталин официально отменил смертную казнь, заменив ее двадцатипятилетним сроком в исправительно-трудовых лагерях.

На другой день еще один поезд отошел от станции Рикони, увозя девять из двенадцати семейных мужчин, которые провели ночь в раздумьях о судьбе жен и детей. Троих Деннис Хиллс под разными предлогами избавил от репатриации. Группу из девяти человек сопровождала вооруженная охрана из сорока четырех солдат с майором Джоном Стентоном во главе. Джон Стентон хорошо помнит эту поездку. По его словам, между его людьми и пленными не успели завязаться какие-либо отношения, но его переводчик явно нервничал: быть может, по тем же причинам, что и Алекс Вайнман. Никаких серьезных инцидентов в пути не было, и утром они в назначенное время прибыли в Санкт-Валентин.

Через несколько минут после прибытия в купе Стентона вошел полковник Старов. Список из девяти фамилий привел советского полковника в полное замешательство, и он стал обвинять Стентона в том, что тот оставил в лагере большое число пленных. В частности, его очень интересовала судьба женщин и детей. Стентон в ответ твердил одно: он всего лишь сопровождающий офицер и не обязан знать, кого включили в его группу, а кого — нет. Наконец, Старов вроде бы согласился с этим доводом, но заявил, что не может выдать расписку в приеме столь ничтожной по численности группы без согласования с Москвой, и отправил одного из своих офицеров связаться с центром. Поняв, что придется подождать, англичанин предложил полковнику выпить, и хотя у него был только чистый джин, Старова это вполне устроило.

Их беседу нарушило появление толстяка, о котором упомянул Вайнман (между прочим, все советские офицеры, начиная с самого Старова, относились к этому «корреспонденту ТАСС» с нескрываемой неприязнью). Тяжело отдуваясь после трех ступенек, он довольно любезно сообщил Стентону, что из Москвы получено разрешение принять группу из девяти пленных. Стентон принял это известие с чувством облегчения, хотя и непонятно было, как это толстяк умудрился установить связь с Москвой, когда поезд стоял в чистом поле. Как отмечал Стентон в рапорте, «корреспондент ТАСС» скорее всего был крупным начальником, и советский полковник обратился за инструкциями не в Москву, а к нему лично.

До отъезда из Санкт-Валентина Джон Стентон думал лишь о том, чтобы хорошо провести операцию, но теперь, когда у него появилась возможность поразмыслить над происшедшим, он начинал понимать, что что-то тут не так. Во время оперативного инструктажа ему сообщили, что его подопечные воевали против англичан (что, скорее всего, не соответствовало действительности), но он не мог не сочувствовать этим людям, спокойно и без сопротивления идущим навстречу своей судьбе. У него сложилось впе-

чатление, что они все были расстреляны сразу после приезда. Вполне возможно, что он прав.

О том же говорят и другие участники этой операции. Генерал-майор Джеймс Лант в то время работал в оперативном отделе штаба в Казерте, составлял приказы по операции «Восточный ветер». По его собственному признанию, тогда он не особенно сочувствовал этим людям, считая их коллаборационистами. Но, читая рапорты Хиллса, Дальтона, Стентона и других, он проникся симпатией к пленным. В рапорте Денниса Хиллса его особенно потрясли строки о женах, навсегда расстающихся с мужьями, и он впервые подумал о том, что, может быть, он сам и его соотечественники занимались делом, недостойным солдата. Конечно, преступление должно быть наказано, конечно, потерпеть поражение в войне — это не сладко, но найти оправдания жестокостям, описанным в рапортах, он не мог.

9 мая в Санкт-Валентин прибыл контингент русских пленных из американского лагеря в Пизе. Если мы сравним число пленных, репатриированных из этого лагеря, с количеством пленных, вывезенных из лагеря в Рикони, мы вновь обнаружим различия в подходе американцев и англичан к делу. В обоих лагерях содержалось примерно одинаковое число пленных: немногим более 400. Когда Деннис Хиллс доложил, что после проведенной им проверки цифра подлежащих репатриации упала ниже 200, дальнейшие сокращения, как казалось ему, были уже невозможны. Меж тем его американский коллега ухитрился включить в список подлежащих репатриации всего 75 имен.

Так прошла операция «Восточный ветер», последняя из крупных операций по насильственной репатриации послевоенного периода умиротворения. Сообщения об этих событиях вызвали на Западе возмущение. К тому времени даже завзятые либералы поняли, что Сталин рвется к мировому господству. Возмущение подогревалось тем, что газеты уделили большое внимание историям о многочисленных самоубийствах и насилии, примененном при посадке на поезда в Рикони и Пизе. В Лондоне комитет, возглавляемый графиней Атольской и госпожой Эльмой Денжерфильд, засыпал общественных деятелей протестами. Белоэмигрантский журналист Анатолий Байкалов снабдил их массой показаний беженцев, находящихся на Западе. 21 мая член парламента лейборист Ричард Стоукс, широко известный своими выступлениями в защиту прав человека, задал в палате общин вопрос о том, насколько правдивы тревожные сообщения, касающиеся последней насильственной выдачи беженцев Советам. В своем ответе парламентский заместитель министра иностранных дел Кристофер Мейхью отстаивал правительственную интерпретацию Ялтинского соглашения и отвергал сообщения о насилии и попытках самоубийства, которыми сопровождалась операция. Мейхью написал Стоуксу личное письмо на эту тему, и тот в ответе от 2 сентября резко заметил: «Я считаю весь инцидент и всю стоящую за ним политику отвратительными». Деннис Хиллс сообщил мне, что мрачные истории в газетах были основаны на свидетельствах священника

униатской церкви, имевшего доступ в лагерь. Рапорт для ответа Мейхью в палате общин составил по запросу военного министерства Деннис Хиллс, и никаких страшных подробностей там не было. Хиллс объясняет это тем, что «не знал об «инцидентах» в Римини... и поэтому не имел оснований указывать на них в отчете...».

В действительности при посадке на первый поезд была одна попытка самоубийства: пленный пытался перерезать себе горло, и охрана майора Дальтона сумела воспрепятствовать этому лишь после ожесточенной схватки. Но Мейхью об этом ничего не знал, и его нельзя обвинить в утаивании данных, так как майор Дальтон ни словом не упомянул о происшедшем в своем рапорте, заявив, что «во время пути насилие не применялось» и «никаких инцидентов не было». Как объясняет сам Дальтон, эти подробности не попали в рапорт, потому что — «я знал, что мне не увеселительная поездка предстоит, все меры предосторожности были приняты, и поездка завершилась, как планировалось».

Правительство также получало резкие протесты влиятельных лиц. Генерал Бурроус, бывший глава военной миссии в Москве, передал в военное министерство просьбу об амнистии для русских, находящихся в Англии. Просьбу написал граф Беннигсен, кавалер Военного креста, бывший в 1919 году офицером связи у Бурроуса в Архангельске. Рапорт майора Вайнмана об операции «Восточный ветер» потряс Джорджа Юнга из военного министерства, и он передал это убийственное свидетельство сэру Генри Мэку, политическому советнику, отправившему в МИД протест, составленный в самых резких выражениях. В ответе МИД говорилось, что операции такого рода более не предполагаются.

Действительно, насильственная репатриация подходила к концу. В июне Деннис Хиллс спас двенадцать грузин на острове Липари в Италии, которых итальянцы собирались выдать Советам. Затем в июле советские похитили шесть старых эмигрантов из лагеря в Барлете (Италия). Один из них покончил с собой, об остальных нам ничего не известно. Но период замирения с СССР к тому времени кончился, сменился «холодной войной». Невзирая на советские протесты, украинская Галицийская дивизия сразу же после операции «Восточный ветер» была переведена из Италии в Англию. Еще раньше генерал Мак-Нарни заявил, что «теперь советский гражданин может признать свое гражданство и законно остаться в американской зоне Германии» (между прочим, благодаря этому были спасены тысячи меннонитов, бежавших из СССР от преследований за веру). Реакцию советских властей можно было предсказать совершенно точно. На западные правительства обрушился шквал жалоб, на которые в общем никто уже не обращал внимания, хотя заставить советскую репатриационную комиссию во Франкфурте-на-Майне покинуть страну удалось только в 1949 году, да и то Советы были крайне недовольны этим обстоятельством.

Итак, в 1943—1947 годах западные демократические государства передали СССР, согласно документам, 2 272 тысячи советских

граждан. Около 35 тысяч представителей национальных меньшинств СССР (украинцы, белорусы, калмыки и т. д.) официально зарегистрированы как оставшиеся на Западе. На самом деле репатриации удалось избежать значительно большему числу советских граждан — одни подделали документы для перемещенных лиц, приписав себе чужое гражданство (польское, югославское и т. п.), другие придумали что-нибудь еще. Точной статистики, к сожалению, нет, но, по предварительным оценкам, от репатриации спаслись от четверти до полумиллиона человек.

Большинство репатриированных вернулось на родину в начале лета 1945 года, с сентября 1945 до начала 1946 года насильственная репатриация затормозилась. В январе 1946 — мае 1947 года были репатриированы несколько тысяч человек, что составляло незначительную долю от общего числа. В этих поздних операциях у многих вызывал протест не их масштаб, но факт их проведения в период, когда уже было ясно, что Советский Союз, требующий возвращения этих людей, является явным и беспощадным врагом Запада.

Глава 16

РЕПАТРИАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ДРУГИХ СТРАНАХ

С проблемой репатриации, проводимой под эгидой США и Англии, столкнулись не только эти две страны. Ряду других правительств тоже пришлось решать, что делать с русскими, находящимися на территории их государств, и каждое правительство отвечало на этот вопрос по-своему.

Франция

Лишь французское правительство столкнулось с проблемой репатриации примерно в том же объеме, что и государственные деятели Великобритании и США. Французская 1-я армия и силы Сопротивления взяли в плен около 15 тысяч русских, служивших в немецкой армии; еще 20 456 человек перебежали к французам, из них 8 тысяч присоединились к Свободной Франции и участвовали в боях на стороне союзников. Кроме того, в конце 1944 года несколько тысяч перемещенных лиц были переведены англо-американскими силами под французский контроль. В начале 1945 года во французских лагерях царил хаос, но ВКЭСС помог французам наладить соответствующие службы.

Через два месяца после того, как Иден согласился на требование Сталина вернуть всех русских независимо от их желаний, генерал де Голль тоже побывал в Москве, и его тоже склонили к аналогичной уступке. В результате в Париж прибыла советская репатриационная комиссия, возглавляемая генералом Драгуном. Первым делом он решил навести порядок в лагерях перемещенных лиц, для чего самолично застрелил десять человек, подвернувшихся под руку. Комиссия целиком состояла из офицеров НКВД, задача которых заключалась в возвращении домой всех русских, оказавшихся в пределах досягаемости. Кроме того, в их обязанности входило снабжение французской коммунистической партии оружием и деньгами.

Подлежавших репатриации русских со всей Франции собрали в центральном сборном пункте в Париже. Отсюда они разъехались по транзитным лагерям, крупнейшим из которых был Боригар, под Парижем. Первые несколько месяцев с будущими репатриантами обходились очень мягко: охрана в лагерях была поставлена довольно плохо, и работники миссии Драгуна в разговорах с пленными постоянно подчеркивали, что дома всех ждет теплый прием и амнистия. Один из пленных, хлебнувший страшных немецких лагерей, вспоминает, как многообещающе звучали речи советского посла Богомолова. Правда, дело несколько портили мрачные угрозы, которые в подпитии бормотал старший офицер НКВД. Подавленные обитатели лагеря, не зная, кому верить, находили утешение в пьянках и грабежах.

В архиве британского военного министерства хранится рассказ американца, сотрудника Ассоциации молодых христиан (YMCA) Дональда А. Лаури, о визите в советское посольство в Париже 20 октября 1944 года. Он вспоминает слова советского посла Богомолова: «Все будут возвращены в СССР, независимо от того, чем они занимались во время войны. Есть среди них настоящие герои, есть и такие, кто оказался послабее. Ну, так ведь таких народов, где каждый был бы героем, просто не существует. Нашу родину мы называем матерью, а какая же мать не простит своего ребенка, даже если он в чем-то провинился. И поэтому все наши граждане, находящиеся за границей, будут возвращены домой».

Затем Богомолов сказал о том, сколько пришлось перенести многим из пленных: «Даже если некоторые не выдержали немецкого нажима и пошли служить в немецкую армию или в лагерную полицию, это в общем можно понять. Каждому дадут возможность исправиться... Мы всех примем, всех возьмем домой, все они — сыновья своей родины».

Посол также тепло отозвался о работе YMCA: «В России тоже много молодых христиан, но они не организованы», — объяснил он. У Лаури сложилось впечатление о после как о человеке, который глубоко чувствует трагедию пленных, оказавшихся в невыносимых обстоятельствах. Он даже заключил, что у Богомолова «хорошее чувство юмора».

Лагерь Боригар в течение нескольких месяцев управлялся двумя пленными, Ивановым и Титаренко, бывшими солдатами немецкой армии. Но в конце мая 1945 года охрана внезапно ужесточилась, лагерь обнесли проволокой, число охранников увеличилось вдвое. Репатриации из Франции по морю уже шли полным ходом (из Марселя пленных везли в Одессу), теперь же началась подготовка к первому этапу по суше. Один украинец, решивший вернуться на родину, оставил нам описание такого путешествия. Он рассказывает, как пленных с торжественными речами, музыкой и знаменами посадили в грузовики... затем отвезли в сборный пункт под Лейпцигом и поместили за колючей проволокой. Здесь вместо музыки их встретили заряженные ружья, а приветственные речи свелись к угрозам и ругательствам. Потом начались допросы: тут уж за дело взялось НКВД. Следователь задавал бесконечное количество вопросов и после каждого ответа кричал: «Все врешь!» Кормили ужасно. Пленные вели весьма пессимистичные разговоры: обсуждали судьбу предыдущих партий.

Рассказчику удалось бежать, пробравшись на возвращавшийся назад американский грузовик.

За пределами лагерей оперативники Драгуна установили настоящее «царство террора». Французская полиция их совершенно не контролировала — вероятно, по распоряжению свыше, — и они развязали в Париже буквально оргию шпионажа, похищений людей и убийств. В марте 1946 года из своей парижской квартиры исчез при загадочных обстоятельствах молодой русский беженец, скрывавшийся под польской фамилией Лапчинский. Бывший «остарбайтер», освобожденный американцами, он приехал во французскую столицу в ноябре 1944 года, подружился здесь с моим дальним родственником графом Иваном Толстым. Однажды вечером Лапчинский пришел на званый обед в ужасном волнении. Он обнаружил, что за ним следят. Хозяин дома и гости решили, что его страхи сильно преувеличены, но все же посоветовали быть поосторожней. Лапчинский, впрочем, вовсе не нуждался в этом совете. По словам тех, кто его знал, он и без того был крайне осторожен и никогда никому не открывал дверь, да никто к нему и не ходил. Первые посетители появились за несколько дней до этого вечера. Как рассказывала потом консьержка, к молодому человеку заходили три «поляка», но не застали его дома. В следующий раз «полякам» повезло больше, хотя, что именно произошло — осталось неизвестно. В комнате пропавшего Лапчинского полиция обнаружила страшный кавардак, пятна крови, которые явно старались затереть. Случайный прохожий оказался свидетелем того, как в большой черный автомобиль втолкнули человека и машина тут же унеслась прочь в неизвестном направлении. Лапчинского больше никто никогда не видел, а досье парижской полиции пополнились еще одним нераскрытым преступлением. Но вряд ли можно сомневаться в том, что это преступление было совершено НКВД. Правда, газета компартии «Юманите» сделала сенсационное открытие, что все это дело рук гестапо (в 1946 году!). НКВД вообще славилось делами такого рода, и похищение Лапчинского напоминает нашумевшие похищения белогвардейских генералов Кутепова и Миллера в Париже в 1930 и 1937 годах.

Только в мае 1946 года министр внутренних дел отважился заявить протест советскому послу по поводу этих преступлений, открыто совершаемых на французской земле. Но коалиционное правительство (в которое входили и коммунисты), проводившее курс умиротворения СССР, вынудило министра подать в отставку.

В отличие от правительства, французская армия не поддалась советскому нажиму. В Потсдаме Новиков жаловался, что во французской оккупационной зоне Германии белоэмигранты ведут пропаганду среди советских перемещенных лиц с целью убедить их не возвращаться на родину: «В данном случае эта деятельность ведется при активной поддержке со стороны французских военных властей и службы военной безопасности».

Через месяц генерал НКВД Вихорев приступил к охоте за русскими во французской зоне Австрии. В Фельке, около границы с Лихтенштейном, он обнаружил лагерь, где можно было поживиться, и намеревался уже броситься на добычу, но не тут-то было. «Подполковник Фишелье, отвечающий за лагеря в этой зоне, отказал Вихореву в просьбе допустить его в лагерь, сославшись на отсутствие инструкций из Парижа».

В 1947 году Франция отказалась от политики насильственной репатриации, руководствуясь теми же соображениями, что Англия и США. Москва отреагировала на этот шаг градом нападок, обвиняя французов в том, что они препятствуют возвращению советских граждан. Но французский МИД решительно отверг эти обвинения, указав, что большинство перемещенных лиц, которых хотят заполучить Советы, — это украинцы, прибалтийцы и другие несоветские граждане. В последующем заявлении французский представитель заметил, что советские официальные лица пользовались в лагере Боригар полицейскими методами, утверждая при этом, что все обитатели лагеря добровольно хотят вернуться на родину. Между тем, как отмечали некоторые скептики, «замеченные недавно за каменной оградой лагеря заграждения из колючей проволоки противоречат уверениям, будто заключенные находятся там по доброй воле».

Струйка репатриантов, проходивших через лагерь на обратном пути в СССР, постепенно иссякла, и все же советское посольство настаивало на необходимости сохранить это огромное поселение, являвшееся в глазах общественного мнения советским анклавом на французской земле. Над входом, под огромным портретом Сталина, освещаемым по ночам, развевались красные флаги. У французов были все основания подозревать, что лагерь стал центром советского шпионажа и подрывных операций. Французская компартия, семь лет назад поддержавшая советско-германский раздел Польши (СССР и нацистская Германия были тогда друзьями, связанными договором о дружбе и ненападении), вполне могла работать на советскую оккупацию страны. В 1947 году перспектива вооруженного коммунистического путча во Франции, при поддержке советского оружия и, возможно, армии, вовсе не выглядела нереальной. Однако в мае правительство Рамадье изгнало коммунистов с министерских постов и решилось наконец перейти в наступление.

Поводом для активных действий послужила история русского эмигранта, гражданина Франции Дмитрия Спешинского. При оформлении его развода с женой, родившейся в СССР, суд в Ницце решил оставить трех дочерей супругов с отцом: девочки родились во Франции и были французскими подданными. Вскоре после суда мать и девочки исчезли. По просьбе Спешинского полиция начала расследование и установила, что следы ведут к Боригару. Тогда отец потребовал, чтобы ему вернули дочерей. Еще несколько месяцев назад такое требование повергло бы власти в замешательство, но сейчас это было на руку кабинету. За дело взялись хотя и поздно,

но решительно. Таинственный лагерь, куда более двух лет не ступала нога представителя французских властей, был окружен полицией, полицейскими в штатском и солдатами в количестве двух тысяч человек. Поблизости стояли — на случай осложнений — два легких танка. Советское посольство было извещено о рейде за 20 минут до того, как французские солдаты ворвались в лагерь через ворота, на которых висел огромный портрет «отца народов». Как и следовало ожидать, в одном из бараков они обнаружили детей Спешинского с матерью. Через несколько дней им предстояло сесть на поезд, отправлявшийся в Москву, а оттуда их путь лежал бы в Караганду или на Воркуту. Девочек вернули отцу. При тщательном обыске лагеря полиция обнаружила всего 58 человек, ожидавших, по их словам, отправления в СССР, но зато наткнулась на склад оружия: 10 английских и 2 советских пулемета, 10 винтовок, 1 дробовик, 52 магазина для винтовок, 49 автоматных магазинов, 5 ящиков с патронами, 10 гранат и 7 револьверов. Советское посольство заявило, что это всего лишь сувениры, сохранившиеся у некоторых советских граждан в память о славных днях в Сопротивлении. Мы, однако, можем предположить, что у этих сувениров было несколько иное назначение.

Таким образом, насильственная репатриация завершилась во Франции через несколько месяцев после заключительной репатриационной операции союзников в Италии. Всего из Франции были репатриированы в СССР 10 481 человек. Однако, говоря о позиции французского правительства, следует иметь в виду, что, в отличие от США и Англии, Франция пережила немецкую оккупацию и была сейчас слабой и раздробленной страной. Сотни тысяч французов, в основном жители Эльзаса и Лотарингии, были вывезены в Германию на принудительные работы, в конце войны их освободила Красная Армия. Число их значительно превышало количество англо-американских военнопленных, чья судьба так заботила Идена и Стеттиниуса. К тому же Советам было бы куда проще задержать гражданских лиц, нежели союзных военнослужащих. Ведь сначала Англия и США намеревались заключить с СССР соглашение о взаимной репатриации одних лишь освобожденных военнопленных и только по настоянию советских представителей согласились «включить в соглашение также советских и британских подданных, интернированных и насильно вывезенных немцами». Как отмечали английские официальные лица, таких английских подданных практически не существовало, тогда как число депортированных советских граждан достигало нескольких миллионов. Возможно, если бы англичане заняли твердую позицию в этом вопросе, — гражданских лиц удалось бы исключить из соглашения, однако политика МИД основывалась на другом принципе. Для французов же дело обстояло несколько иначе: они-то как раз стремились заполучить назад своих депортированных граждан и при переговорах с Советами оказались в невыигрышной позиции. Даже в момент рейда в лагерь Боригар у Советов находилось в качестве заложников не менее 23 600 французских подданных.

Есть еще одно отличие между репатриацией во Франции и на англо-американских территориях. Нам неизвестны случаи участия французских солдат в насилиях над пленными. Сотрудники НКВД сами явились во Францию для проведения репатриации. Создается впечатление, что отдельные государственные институты страны проводили фактически автономную политику: министры-коммунисты в правительстве покрывали убийц и похитителей людей, тогда как французская армия в Германии и Австрии на каждом шагу чинила препятствия работе советской репатриационной комиссии.

Бельгия

Прочие страны столкнулись с проблемой русских перемещенных лиц в меньшем объеме. Бельгия подписала свое «Ялтинское соглашение» 13 марта 1945 года. До расформирования ВКЭСС лагеря, в которых содержались русские, находились под контролем отдела по гражданским делам штаба 21-й группы армий. Английский офицер, работавший в администрации одного из таких лагерей, вспоминает, что многие не хотели возвращаться в СССР, но посадка в поезда прошла тем не менее без инцидентов. Советскую репатриационную комиссию возглавлял полковник Стемасов, постоянно подававший жалобы на плохие бытовые условия в лагерях. Как отмечал английский посол в Бельгии, Советы собирали всех разбросанных по стране русских — если было необходимо, то и насильно — в сборных центрах, где они содержались под строжайшей охраной до момента отправки их в СССР.

В июле на бельгийское правительство была возложена ответственность за действия советских официальных лиц в стране на тот период, пока советские граждане в бывших лагерях ВКЭСС не будут перевезены в Германию или репатриированы прямо в СССР. Однако в Бельгии оставалось еще много русских, и вскоре здесь разыгрались события, сходные с теми, что произошли в Париже. В газете «Скотсмен» появилось следующее сообщение: «Нам стало известно об осложнениях, возникших из-за того, что офицеры НКВД, работающие для репатриационной миссии, по крайней мере в одном случае прибегли ради достижения своих целей к похищению людей посреди бела дня на улицах Брюсселя. Советские офицеры, занимающиеся репатриацией, несколько раз проникали в лагеря для интернированных, чтобы «убедить» русских заключенных вернуться. Такого рода деятельность заставила бельгийское министерство юстиции 28 декабря издать циркуляр для полицейских и жандармских властей, запрещающий советским офицерам посещать лагеря без письменного разрешения. Если они все же проникнут в лагерь, циркуляр предписывает вывести их, при необходимости — даже с применением силы. Полицейским властям вменяется в обязанность также охранять от насилия штатских лиц».

Таким образом, бельгийское правительство реагировало на творимые советскими представителями беззакония гораздо откровеннее, чем правительство Франции или Англии.

Финляндия

Отношение голландцев к репатриации было сходно с бельгийской позицией. Ответственность за операции в Норвегии, Дании, Германии, Австрии и Италии несут союзные силы освобождения и оккупационные войска. А вот Финляндия — это особая статья. Советские успехи на Восточном фронте заставили финнов принять условия, навязанные им СССР в соглашении о прекращении огня 19 сентября 1944 года. В Хельсинки была создана союзная контрольная комиссия. Она, как и следовало ожидать, в основном представляла собой рупор для советских угроз и требований, противостоять которым финны были не в состоянии. В лагерях на территории страны находилось несколько тысяч русских пленных, советские власти потребовали их выдачи, и финнам оставалось только подчиниться. Когда в лагерях стало известно о выдаче, несколько сотен человек бежали, предпочтя возвращению на родину бродяжничество в сосновых лесах. Дело происходило в ноябре, но даже суровая зима не останавливала беглецов. Интересно отметить, что это были просто военнопленные, никак не связанные ни с немецкой армией, ни с власовским движением и не работавшие на немцев. Одного этого примера хватило бы для опровержения довода, будто русские боялись возвращаться на родину, поскольку сотрудничали с врагом и знали за собой эту вину. Даже те, кого никак нельзя было заподозрить в связях с врагом, решались на самые отчаянные поступки, чтобы избежать репатриации.

Кроме того, Советы потребовали — и получили — целый ряд старых русских эмигрантов, имевших финские либо нансеновские паспорта, так что советскому правительству вновь представилась возможность свести старые счеты. Бывший царский генерал Северин-Добровольский был казнен в Москве через несколько месяцев после выдачи. Степан Петриченко, возглавлявший в 1921 году Кронштадтское восстание, умер в советской тюрьме через два года после выдачи. И все же, хотя советским властям в Финляндии помогали финские «квислинги», вряд ли было бы справедливо слишком сурово винить народ и правительство страны, фактически находившейся на положении оккупированного государства.

Швейцария

Нейтральная Швейцария была в совершенно другой ситуации. Все эти годы страна являлась пристанищем беженцев из оккупированной нацистами Европы, и беглые пленные из разных стран пытались перейти ее границу, чтобы продолжать борьбу либо быть интернированными в относительно комфортабельных условиях. Среди них было немало русских. Уже в марте 1942 года англичанам стало известно, что целый ряд русских благополучно проник в страну, и МИД изыскивал способы помочь им. Как ни странно, советское правительство выделило фонды для оказания помощи интернированным в Швейцарии русским — возможно, опасаясь, что иначе союзники и нейтральные наблюдатели увидят, в каких ужасающих условиях содержатся заключенные лагерей. А может быть, Советы надеялись

таким образом выманить пленных из Швейцарии, поскольку швейцарская традиция нейтралитета и предоставления убежища исключала возможность насильственной выдачи.

После высадки союзников во Франции и последовавшего затем открытия франко-швейцарской границы 804 русских ушли во Францию и добрались до Марселя, откуда им предстояло отправиться в СССР. Советский представитель по репатриации в Париже Черняк сумел убедить их, что в победившем Советском Союзе их ждет светлое будущее. Но вторая группа из Швейцарии — 500 человек — этим россказням не поверила и ехать на родину отказалась.

В последние месяцы войны многим русским удалось, воспользовавшись неразберихой на немецких фронтах и созданием власовской армии, пробраться в Швейцарию. Рассказывают о переходе границы целой русской части, в которой было много эмигрантов, под командованием полковника Соболева. Часть эта была разоружена и интернирована. К концу войны на территории Швейцарии находилось около 9 тысяч русских. По своему обыкновению, советское правительство выдвинуло ряд резких обвинений: швейцарцы- де избивают невинных пленных и передают их в руки гестапо. Основанием для этих нелепых обвинений послужил, вероятно, эпизод, когда швейцарские часовые не совсем вежливо обошлись с пьяными русскими.

Вскоре в Швейцарии развернула работу репатриационная комиссия под руководством генерала Драгуна. Здесь, как и повсюду, с переменным успехом применялись обычные методы кнута и пряника. В сентябре в британскую миссию в Берне пришло письмо от некоего Ивана Клименко, находившегося в лагере во Фрибурге. По его словам, многие советские граждане понимали, что возвращаться нельзя, но на них оказывалось постоянное и все возрастающее давление со стороны советской военной делегации. В письме Клименко выразил надежду, что Швейцария не откажется от своей старинной традиции предоставления политического убежища и что союзники используют свое влияние во имя тех высоких идеалов, за которые они воевали в этой войне.

В истории репатриации в Швейцарии много неясного. Большинство русских вернулось домой, хотя швейцарские армия и полиция не применяли к ним насилия. Но, как мне стало известно от одного высокопоставленного лица, швейцарцы недвусмысленно намекнули непокорным, что, если они не согласятся вернуться по доброй воле, — к ним будет применена сила. Непонятно, насколько реальна была эта угроза, но для запуганных советских граждан этого оказалось вполне достаточно. Они хорошо знали, что творили американцы и англичане в Австрии и Баварии, и понимали, что насильно возвращенных беженцев ждет более суровая кара, чем «добровольцев». Поэтому подавляющее большинство решило вернуться. Владимир Чугунов, русский, живущий в Лондоне, вспоминает, как в 1945 году его семья искала прибежища в Швейцарии, — ему тогда было восемь лет. Швейцарский солдат перевел его назад через границу и проводил в лагерь для русских во французской оккупационной зоне Германии. Там он узнал, что ему удалось избежать судьбы своих соотечественников, которых накануне отправили на грузовиках обратно в СССР.

Швеция

Было бы, вероятно, несправедливо обвинять английский и американский народ в том, что они поддержали соглашения, заключенные в Москве и Ялте. Они попросту ничего не знали об обстоятельствах дела, и их правительства совершенно справедливо полагали, что правда ужаснула бы их. Во Франции, в Швейцарии и других странах, о которых шла речь в этой главе, меры по репатриации тоже скрывались от общественности, и поэтому можно сказать, что наше допущение справедливо также и в отношении народов этих стран. Но были в Европе две страны, где проблемы насильственной репатриации обсуждались и решались совершенно открыто, подробно дебатировались в газетах и по радио, так что общественность была в курсе. Речь идет о Швеции и Лихтенштейне. Русских солдат, находившихся на территории этих государств, нельзя назвать «жертвами Ялты», однако стоит все же рассказать о проведенных там репатриационных операциях.

В Швеции находилось 167 человек: 7 эстонцев, 11 литовцев и 149 латышей, которые в начале мая 1945 года прибыли на острова Готланд и Борнхольм. В большинстве своем это были солдаты 15-й Литовской дивизии. В последние недели войны в дивизии воцарился страшный хаос, а когда немецкая армия окончательно распалась, дивизия рассыпалась на ряд разрозненных подразделений, обратившихся в бегство. 126 человек из числа тех, кому удалось переправиться через Балтийское море, отплыли из устья Вислы 27 марта, в день взятия Гданьска Красной Армией, на трех латвийских судах, пришедших в порт. Через два дня они достигли оккупированного немцами датского острова Борнхольм и пробыли здесь месяц. 7 мая отряды прибалтийцев, сопровождаемые большим количеством беженцев, отплыли в шведский порт Истад. Вторая группа — 41 человек — высадилась на острове Готланд. После нескольких недель интернирования в двух разных лагерях все 167 человек были отправлены на юг Швеции. Их поселили в комфортабельных домах, вместо немецкой формы выдали шведскую и послали на полевые работы.

Прибалтийцы составляли лишь незначительный процент пробравшихся в Швецию беженцев, среди которых было, в частности, несколько тысяч немецких солдат. 2 июня 1945 года советский посол в Швеции Александра Коллонтай запросила министерство иностранных дел о намерениях правительства в отношении интернированных. Коллонтай ссылалась на союзное соглашение о прекращении огня, по которому немецкие соединения должны были сдаваться в плен ближайшим союзным войскам, в данном случае — Красной Армии. И хотя соглашение на Швецию не распространялось, Коллонтай все же намекала, что недурно было бы шведам присоединиться в этом вопросе к союзникам. После краткого раздумья МИД ответил, что так и сделает, указав, впрочем, что требуется еще и согласие со стороны правительства.

15 июня кабинет одобрил решение МИД, хотя этому предшествовала дискуссия, развернувшаяся 11 июня в консультативном

комитете по иностранным делам и в самом кабинете. Обсуждались два разных, хотя и взаимосвязанных, вопроса: 1) следует ли шведам принять тот пункт союзного соглашения о прекращении огня, где говорится, что немецкие войска должны сдаться той армии, на фронте которой они воевали в данный момент, и 2) следует ли Швеции удовлетворить требование Советов об экстрадиции примерно 36 тысяч гражданских беженцев из прибалтийских республик? Второй вопрос был решен отрицательно из соображений гуманности. Первое предложение было признано разумным, и на практике это значило, что все немцы, дезертировавшие с Восточного фронта, подлежат отправке в СССР. На заседании кабинета министр иностранных дел Кристиан Гюнтер завершил свою речь, в которой доказывал необходимость выдачи военных беженцев, кратким, но весьма интересным выводом: «Среди немцев есть также несколько других групп, которые хотя и служили в германской армии, но не являются немцами, например группа прибалтийцев. Но мы не можем тратить время на то, чтобы выделять их из основной массы. Это часть германской армии, и я считаю, что они тоже подлежат экстрадиции».

Так решилась судьба прибалтийцев. На следующий день советское посольство было информировано о решении шведского правительства. Такая поспешность очень примечательна, тем более что с советской стороны никаких требований, кроме запросов посла, пока не поступало. Но так или иначе дело было решено, и шведские военные власти начали переговоры о транспорте с советским военно-морским атташе Слепковым, офицером военно-морского флота, проявлявшим поразительную некомпетентность в своем деле.

Советские власти, по обыкновению, несколько месяцев тянули с транспортом, и прибалтийцы в лагерях долгое время не подозревали о том, что их ждет. Наконец в ноябре просочились слухи о планируемой выдаче. Премьер-министр коалиционного правительства Пер Альбин Хансон 15 ноября обратился к владельцам газет с просьбой о соблюдении тайны, и некоторое время газеты хранили молчание, но стоило оппозиции почуять, что запахло жареным, как тайное стало явным. В Англии наличие военной цензуры и согласие прессы молчать в интересах национальной безопасности позволили правительству утаить от народа правду о репатриации. Но в нейтральной Швеции такое было невозможно: проблема репатриации стала достоянием общественности. 19 ноября центральная шведская газета обнародовала решение МИД, и на следующий день посыпались протесты.

Хотя решение о насильственной репатриации вызвало враждебное отношение буквально во всех слоях общественности, протесты поступали в основном из определенных кругов. В первых рядах оказалась шведская церковь и ее конгрегации. Уже 20 ноября группа руководителей церкви явилась к министру иностранных дел с решительным протестом. Министр Остен Унден, социал-демократ, принял их крайне холодно, заявив епископу Бьорквист-

скому: «Я не могу понять, почему вас так волнует судьба этих прибалтийцев».

Но церковные деятели, нисколько не обескураженные таким отношением чиновников, приступили к сбору денег, составлению петиций и всячески возбуждали в народе протест против предлагаемых мер, считая их позором для шведов и вопиющим нарушением прав человека. Позицию церкви разделяла небольшая оппозиция из консервативных партий. А шведские солдаты и офицеры, охранявшие лагерь в Раннелатте, заявили письменный протест: «Мы беспредельно преданы королю и отечеству, мы беспрекословно выполним все приказы. Но наша совесть и военная честь побуждают нас самым решительным образом заявить о том, что участие в предстоящей экстрадиции кажется нам постыдным».

Несмотря на очевидность и влиятельность оппозиции, она, однако, ограничивалась в основном тем меньшинством общества, которое было в состоянии отделять свои нравственные принципы от принятого в ту пору образа мыслей. С христианской и человеческой точек зрения выдача этих невинных (или же, по крайней мере, людей, виновность которых еще предстояло доказать) в руки их врагов, по жестокости сравнимых лишь с побежденными нацистами, представляла собой чудовищный поступок. Прочие обстоятельства отходили на задний план.

Поощряемые сторонниками извне, прибалтийцы 22 ноября начали голодовку, и через неделю всех пришлось положить в больницу. Их состояние внушало врачам серьезные опасения, однако худшее было впереди. Утром 28 ноября обнаружили труп латышского офицера Оскарса Лапы: он покончил с собой ночью. Накануне вечером он говорил, что боится попасть в руки НКВД, и вот — позаботился о том, чтобы этого не случилось. Пытался покончить с собой и молодой офицер-латыш Эдвард Алкснис. Решив, что лучше умереть в Швеции, чем в лагерях ГУЛага, он проткнул себе карандашом правый глаз, но шведскому хирургу удалось спасти несчастного. Через год Алкснис прочитал в газете, что советские настаивают на возвращении оставшихся в Швеции латышских солдат, в нем пробудились прежние страхи, и он решил бежать. Вместе с друзьями на крошечном рыбачьем суденышке они пересекли Ботнический залив и Балтийское море и, несмотря на страшные ветры, добрались до английского порта Бервик-от-Твид. Здесь Алксниса положили в местную больницу, а затем перевезли в Лондон, где английские хирурги завершили то, что было начато их шведским коллегой. Я видел Алксниса и говорил с ним. Если не считать выколотого глаза, он производил впечатление совершенно здорового человека. О прошлом он рассказывает спокойно, почти бесстрастно, он ни о чем не жалеет: ведь в конце концов его товарищи по несчастью навеки исчезли в непроглядной мгле, а он жив-здоров и спокойно живет со своей семьей в свободной стране.

Но вернемся к событиям 1945 года. Шведские газеты много писали о голодовке, о самоубийстве Оскарса Лапы, о многочисленных попытках к самоубийству и о страданиях латышей в больнице.

Все эти новости стали сенсацией дня. Число протестов росло, и шведское правительство было в замешательстве. 26 ноября кабинет объявил об отсрочке решения. Но прибалтийцы, не получив никаких гарантий того, что их не выдадут Советам, не сняли голодовку. И действительно, 4 декабря кабинет при повторном обсуждении вопроса подтвердил решение от 15 июня, а через четыре дня консультативный комитет по иностранным делам одобрил его большинством голосов. Против голосовал лишь один член комитета, консерватор.

В качестве уступки оппозиции было решено провести проверку гражданства, в результате чего некоторые прибалтийцы были признаны гражданскими лицами и получили политическое убежище. Голодовка была снята, выживших прибалтийцев перевели в лагерь в Южной Швеции, полностью изолировав от прессы и общественности. Лагерь был обнесен колючей проволокой, усиленно охранялся, по ночам территорию освещали прожекторы. Зима была морозной, и холодные ветры насквозь продували заснеженную равнину, на которой стояли деревянные бараки. С колючей проволоки свисали сосульки, снег задувало в помещения, так что прибалтийцам уже не составляло большого труда представить себе похожий лагерь по ту сторону Балтийского моря.

18 января 1946 года в МИД Швеции поступило сообщение, что советский корабль «Белоостров» приближается к порту Треллеборг. Выдача прибалтийцев была назначена на 23 января. В лагерь со всей Южной Швеции свезли вооруженных полицейских в штатском, но прибалтийцы не оказали сопротивления. Их перевезли автобусами в Треллеборг, и только когда они ехали по городу, некоторые решили выразить протест против репатриации. Один латыш разбил кулаком окно и попытался перерезать вены осколками стекла. Полицейские набросились на него и вытащили из автобуса, доставили в пункт «скорой помощи», а оттуда на носилках отнесли на борт «Белоострова».

В другом автобусе, где было 12 репатриантов и 9 полицейских, охранник успел вовремя отобрать у пленного лезвие бритвы. Но когда автобус остановился на набережной и все стали выходить, один полицейский заметил, что сидящий напротив пленный ведет себя как-то странно: привстав, он тут же повалился в проход, из горла хлынула кровь. Полицейский, бросившись к нему, выхватил из слабеющих пальцев кинжал, но лейтенант Петерис Вабулис был уже мертв. Тело самоубийцы положили на набережной. Его товарищи в это время поднимались по трапу советского судна.

За неделю до смерти Вабулис в письме другу сетовал на то, что не убежал из лагеря прошлым летом: «Несмотря на мою молодость, я многое повидал и в Латвии, и в Европе. Я видел страны, где существует рабство, и страны, которые открыто поставляют туда рабов. И это происходит в наше время! Тогда и умереть не трудно: ведь если такие вещи будут продолжаться, значит — конец света не за горами. Мне жаль жену и детей, которым предстоит потерять кормильца в тот самый момент, когда уже можно было надеяться

на встречу. Но каждому из нас суждено свое, и мы не в силах изменить судьбу».

Петерис Вабулис был похоронен в Швеции. Его товарищи отплыли навстречу новой жизни. «Белоостров» взял курс на восток, и вскоре туманная ночь поглотила судно, а шведские полицейские разъехались по домам.

Так была проведена репатриация прибалтийцев, хотя решение шведского правительства сами шведы оценивали по-разному. Ожесточенные дебаты о судьбе прибалтийцев буквально раскололи страну. За предоставление убежища выступали в основном люди религиозные либо придерживающиеся консервативных взглядов. Правящая социал-демократическая партия, профсоюзы и левая пресса единодушно поддержали выдачу. Как заявил министр иностранных дел Остен Унден, у шведов не было ни малейших оснований подозревать советскую администрацию в несправедливости, было бы бестактностью считать, что в Советском Союзе царит беззаконие.

Среди стран, участвующих в насильственной репатриации, Швеция *единственная провела опрос общественного мнения по вопросу* о выдачах. Как показала репрезентативная выборка, не менее 71% считали, что по крайней мере часть интернированных прибалтийцев, среди которых было много гражданских лиц, следовало отправить «домой». Приводимые в пользу этого доводы различались лишь резкостью выражений. Решение кабинета выдать прибалтийцев не раз связывалось с появившимся в разгар их голодовки сообщением о том, что оккупированная СССР Польша может оказаться не в состоянии поставить Швеции 1 миллион тонн угля, крайне нужного стране. Намек на такой обмен прозвучал даже в пропагандистской передаче Московского радио, но так ли это — неизвестно. В отличие от Англии и США шведский МИД все еще не рассекретил государственные документы 1945 года.

Во время войны в Швеции были интернированы экипажи трех советских траулеров. После окончания войны посол Чернышев потребовал, чтобы экипажи отправили домой, и моряки после некоторых колебаний согласились вернуться. Офицер НКВД, впоследствии изучавший их дела, обнаружил, что подавляющее большинство получило за свои «преступления» 10—15 лет в исправительно-трудовых лагерях. Лишь единицы вернулись к своим семьям, и никто не смог найти работы. Можно представить себе, что с их соотечественниками, воевавшими против СССР в немецкой армии, обошлись не мягче.

Шведский писатель, работавший над книгой об экстрадиции прибалтийцев, в 1967 году был приглашен в СССР — встретиться с теми, кто выжил. Они подробно рассказали ему, как тепло их приняли на родине, как после отеческой беседы с офицером НКВД 90% вернувшихся отпустили и они зажили нормальной жизнью. Несколько человек, действительно провинившихся перед советской властью, были посланы в лагерь, но никого не расстреляли. Правда, во время интервью некоторые намекали, что могли бы

рассказать другую историю, но шведский писатель решил, что у него нет оснований не верить добровольно данным показаниям.

Поучительно сравнить это сообщение с рассказом А. Солженицына. В 1941 году около побережья Швеции затонул советский эсминец, команда была интернирована. В 1945 году они вернулись в СССР, где вскоре все оказались в лагерях. Но в Швеции прознали как-то об их судьбе и напечатали сообщения в прессе. К тому времени ребята были рассеяны по разным ближним и дальним лагерям. Внезапно по спецнарядам их всех стянули в ленинградские Кресты, месяца два кормили на убой, дали отрасти их прическам. Затем одели со скромной элегантностью, отрепетировали, кому что говорить, предупредили, что каждая сволочь, кто пикнет иначе, получит «девять грамм» в затылок — и вывели на пресс-конференцию перед приглашенными западными журналистами и теми, кто хорошо знал группу по Швеции. Бывшие интернированные держались бодро, рассказывали, где живут, учатся, работают, возмущались буржуазной клеветой, о которой недавно прочли в западной печати — и вот списались и съехались в Ленинград (расходы на дорогу никого не смутили). Свежим, лоснящимся видом они были лучшее опровержение газетной утки. Посрамленные журналисты поехали писать извинения. Западному воображению было недоступно объяснить происшедшее иначе. А виновников интервью тут же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и разослали по тем же лагерям. Поскольку они вели себя достойно — вторых сроков не дали никому.

Лихтенштейн

В Лихтенштейне события развивались гораздо стремительнее. Поздним вечером 2 мая 1945 года начальнику пограничной полиции сообщили, что к границе приближается военная колонна. По обе стороны шоссе двигались группы вооруженных пехотинцев, а по дороге медленно шел транспорт. Все призывы остановиться были тщетны, и начальник погранполиции приказал своим людям дать несколько предупредительных выстрелов. После этого автомобиль во главе колонны остановился и оттуда выпрыгнул офицер с криком: «Не стреляйте, не стреляйте, здесь русский генерал!» Затем из машины вышел и сам генерал, отрекомендовавшийся как Борис Алексеевич Хольмстон-Смысловский, бывший генерал гвардейского полка его императорского величества, ныне командующий Первой русской национальной армией. Его подчиненные стояли навытяжку, ожидая приказов. Над ними колыхался трехцветный бело-красно-синий флаг Российской империи, а в машине, в центре колонны, сидел наследник российского престола, правнук Александра Второго великий князь Владимир Кириллович. Озадаченный полицейский побежал звонить своему командиру.

История этого удивительного соединения такова. Борис Смысловский родился в Финляндии в 1897 году. Поступив в армию, он дослужился до капитана императорского гвардейского полка, после гражданской войны, в которой воевал на стороне белых,

эмигрировал в Польшу, а затем перебрался в Германию, где учился в военной академии. Считая, что Россию можно освободить только с иностранной помощью, он работал ради этой цели. Когда началась война с СССР, Смысловский служил на Восточном фронте командиром учебного батальона для русских добровольцев, вызвавшихся участвовать в борьбе против большевиков. Постепенно было создано двенадцать боевых батальонов, в советском тылу действовали также большие группы партизан, достигавшие почти 20 тысяч человек. Верховное командование вермахта в начале 1943 года сформировало из этих войск особую дивизию «Россия». Смысловский был первым русским, который стал командиром антибольшевистского русского соединения, и его формирование до конца войны оставалось регулярной частью вермахта. Его офицеры были частично бывшими служащими царской армии, частично — добровольцами, бывшими офицерами Красной Армии. Поначалу между «красными» и «белыми» случались ссоры и разногласия, но постепенно все сгладилось: все они, в конечном итоге, были русскими. Смысловский по сей день считает, что, если бы немцы обращались так же со всеми взятыми в плен русскими, идея национальной цивилизованной России стала бы в отечестве непоборимой силой. Однако он уже в 1943 году понял, что Германия не может победить в войне. Поражение под Сталинградом и неспособность нацистского руководства вести умную антикоммунистическую политику были для него неопровержимыми свидетельствами надвигающегося краха. Во время пребывания в Варшаве он разыскал швейцарского журналиста и спросил его, где искать убежища в Европе, если дела пойдут совсем плохо, — быть может, в Швейцарии? Но, по мнению журналиста, Швейцария отпадала — страны оси могли потребовать от нее выдачи беженцев, и он посоветовал попытать счастья в Лихтенштейне, крошечной стране, связанной со Швейцарией таможенным союзом, но совершенно независимой. Там можно затаиться и пережить бурю.

Война близилась к концу, и 10 марта, когда Гиммлер и другие нацистские руководители предпринимали запоздалые попытки заполучить независимого русского союзника в лице Власова и казаков, силам Смысловского был придан статус 1-й русской национальной армии, а сам Смысловский получил звание генерал-майора. Как раз в это время Буняченко провел закончившееся поражением наступление на силы Красной Армии на Одере и организовал поход на Прагу, а казаки и эмигрантские соединения с боями отступали с Балкан. Разрозненные русские и украинские части сходились в Австрии, на последнем островке, удерживаемом немцами. Смысловский, потеряв основную часть своих сил, двинулся с оставшимися на запад, намереваясь с разрешения своего начальства соединиться с эмигрантским Русским корпусом из Белграда и 3-й дивизией РОА под командованием Шаповалова. Но из этих планов ничего не вышло: все стремительно рушилось. Смысловский связался по телефону с генералом Власовым — до этого они дважды встречались — и сообщил ему о своем намерении идти в

Лихтенштейн, однако Власов решил не отказываться от планов искать прибежища в Чехии. В ответ Смысловский напомнил ему о судьбе адмирала Колчака, которого чехи выдали большевикам в 1920 году, и простился с командующим РОА.

С остатками своего войска Смысловский двинулся к Фельдкирху, самому западному городу Австрии. Здесь он встретил молодого великого князя Владимира Кирилловича, которого сопровождал советник Сергей Войцеховский (по странному совпадению, его двоюродный брат, генерал Войцеховский, возглавлял последнюю попытку белых спасти Колчака от выдачи). Смысловский согласился, чтобы великий князь перешел границу вместе с ним. Так последний представитель дома Романовых оказался под протекцией флага старой России, в окружении русский войск. Недалеко от границы его машина сломалась. Генерал Смысловский вспоминает, как он собрал своих солдат и попросил помочь тащить машину великого князя. Он не знал, как отреагируют на это предложение солдаты, выросшие при советской власти, что они скажут, узнав, что среди них находится наследник «Николая Кровавого». И его приятно удивила готовность солдат помочь: последние сотни метров машину Владимира Кирилловича толкали бывшие красноармейцы. Это удивительное зрелище как бы символизировало восстановление прерванной связи времен.

В 11 часов вечера колонна вступила на землю Лихтенштейна. Хотя люди генерала Смысловского шли как военное формирование, у них был строжайший приказ ни в коем случае не открывать огня, и можно представить себе, какие неприятные минуты они пережили, оказавшись под дулами винтовок пограничников. У генерала было 450 человек, и они могли бы с легкостью перейти границу, но, оказав сопротивление, Смысловский лишился бы шансов получить убежище. Генерал решил, что потери от огня пограничников будут невелики, самое большее, человек 10 убитых и 20 раненых, а увидев, что нарушители не отвечают, они вообще прекратят стрельбу. Эти расчеты оказались более чем верными: единственной жертвой стала бутылка коньяка в генеральской машине.

В ту же ночь вошедшие в Лихтенштейн солдаты были разоружены, и оружие перевезли в Вадуц (позже его утопили в Боденском озере, на дне которого оно, вероятно, покоится до сих пор). В группе Смысловского было 494 человека: 462 мужчины, 30 женщин и 2 детей. Правительство Лихтенштейна отказало в убежище лишь великому князю и его свите; их на следующий день вернули в Австрию. Впрочем, в отличие от других участников этого похода, ему не угрожала выдача в СССР. Генерала Смысловского с женой и штабом поселили в гостинице, в деревне Шелленберг. Солдат разместили в двух пустующих школах, женщин — в другой гостинице. Вскоре для них подыскали постоянное пристанище, а генерала перевели в столичную гостиницу. Все заботы взял на себя лихтенштейнский Красный Крест, созданный в ту же неделю, под председательством княгини Лихтенштейнской. Поначалу имелись опасения, что французские коммунисты, члены маки, действую-

щие под прикрытием французской 1-й армии, могут пересечь границу и похитить русских офицеров; однако французское верховное командование запретило акцию, и эта угроза отпала.

Но оставалась гораздо более серьезная опасность. 10 мая генерал Смысловский отправил князю Францу Иосифу Лихтенштейнскому послание, в котором просил о предоставлении традиционного убежища для себя и своих людей. Через два дня пришло сообщение, что многие власовцы попали в Чехословакии к Красной Армии, а в конце месяца стало известно о событиях в Лиенце и на востоке Австрии. В августе американцы провели операцию в Кемптене, а в Вадуц прибыла советская репатриационная миссия. 16 августа русские собрались в ратуше на встречу с представителями СССР. Здесь один из интернированных тут же узнал в советском офицере сотрудника НКВД, с которым сталкивался на родине. По словам барона Эдварда фон Фальц-Фейна, участвовавшего в этих встречах в качестве переводчика, все советские представители производили впечатление уголовников самого низкого пошиба, и, судя по фотографиям, барон нисколько не преувеличил.

Сочетая увещевания и угрозы, представители НКВД добились согласия 200 интернированных вернуться на родину. По словам генерала Смысловского, причины этого решения разнообразны и объяснить их трудно. На многих оказало едва ли не гипнотическое действие появление тех, от кого еще так недавно они полностью зависели, другие боялись, что их в любом случае вышлют силой, третьи поверили в обещание амнистии, а четвертые просто изнывали от ностальгии. Как бы то ни было, но к завершению визита советской миссии около двух третей вызвались вернуться на родину. Эти цифры представляют большой интерес. Они свидетельствуют о том, какая часть русских, оказавшихся на Западе к 1945 году, выбрала бы репатриацию при свободном выборе, и убедительно опровергают мнение профессора Эпштейна, что ни один русский, захваченный в плен в немецкой форме, не согласился бы на репатриацию по доброй воле. Они также говорят о том, что советские власти заполучили бы большое количество репатриантов, даже если бы союзники отказались от политики насильственной репатриации. Правда, скорее всего, процент добровольных репатриантов был бы в этом случае несколько ниже, поскольку многие люди Смысловского согласились вернуться в СССР «добровольно» из страха, что в один прекрасный день их все равно подвергнут экстрадиции. Повлияли на это решение и события в Лиенце и Кемптене, и намеки советских представителей НКВД в Вадуце, что то же самое может случиться и в Лихтенштейне.

Добровольцев отправили поездом в советскую оккупационную зону Австрии. Они обещали оставшимся писать — и действительно, из Вены пришло несколько писем, но потом они замолчали, и о дальнейшей судьбе этих людей нам ничего не известно. Интернированные провели в Лихтенштейне более года, пока, наконец, Аргентина не согласилась принять их в качестве иммигрантов, и осенью 1947 года примерно сто русских отплыли в Буэнос-Айрес.

Среди них был и генерал Смысловский с женой. В Лихтенштейне его посещали Аллен Даллес, глава американской разведки в Швейцарии, и другие военные западные эксперты, рассчитывавшие получить информацию из этого бесценного источника знаний о Советском Союзе. К тому же Смысловский все еще поддерживал контакт с антисоветскими агентами и группами сопротивления в России. Позже остатки этого аппарата были переданы разведывательной организации генерала Гелена в американской зоне Германии. Сам же Смысловский сумел применить свой богатый военный опыт в новой стране, став лектором и советником аргентинского правительства по борьбе с терроризмом.

Хотя некоторые из добровольных репатриантов вызвались вернуться на родину из страха, что правительство Лихтенштейна может в последний момент дрогнуть и принять советские требования, реально такой опасности не существовало. Тогдашний премьер-министр Лихтенштейна доктор Александр Фрик объяснил мне, что его правительство ни на мгновение не принимало в расчет такую возможность: «Наша страна маленькая, но она управляется законом». На мой вопрос, что было бы, если бы СССР, союзники или Швейцария оказали такой нажим, которому Лихтенштейн не смог бы противостоять, доктор Фрик ответил, что был готов к этому и что до тех пор, пока Лихтенштейн мог сам решать свои внутренние дела, ни один русский не был бы репатриирован насильно. Если бы, однако, им угрожали силой, правительство, отказавшись от вооруженной борьбы, обратилось бы с призывом к мировому общественному мнению и международной прессе, протестуя против бесчеловечности предлагаемых мер и вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Но дело обошлось без нажима. Князь Лихтенштейна и доктор Фрик в разговорах со мной подчеркивали, что все население страны было единодушно в этом вопросе и правительство получало прошения от фермеров и крестьян, молivших проявить христианское милосердие и помочь несчастным скитальцам. Маленький народ Лихтенштейна, воспитанный в католической традиции, понял глубину человеческой трагедии русских и считал, что этот аспект перевешивает соображения политического благоразумия и материальной выгоды.

Вообще к делам материальным население Лихтенштейна проявило редкостное безразличие. В 1945 году в стране жило 12 141 человек, а годовой бюджет достигал двух миллионов швейцарских франков. Тем не менее жители этой чисто сельскохозяйственной страны без единой жалобы более двух лет выделяли на содержание русских 30 тысяч швейцарских франков в месяц. Кроме того, они оплатили все расходы по их эмиграции в Аргентину, что составило около полумиллиона швейцарских франков. Правда, через три года западногерманское правительство взяло на себя ответственность за эти расходы и выплатило их Лихтенштейну, но в 1947 году предвидеть это было невозможно.

Конечно, можно сказать, что у Лихтенштейна не было общих дел с Советским Союзом, что английское, американское и французс-

ское правительства добивались скорейшего возвращения своих военнопленных, что шведы ждали поставок угля от Польши, тогда как у Лихтенштейна не было на Востоке никаких интересов. И это действительно так, но есть одно очень существенное соображение. Лихтенштейн — конституционная монархия, в которой князь пользуется огромным престижем, как личным, так и политическим. Но до 1945 года суверенное государство представляло собой лишь малую часть территориальных интересов князя. Основной источник богатства его семьи составляли огромные владения в Чехии. В 1945 году чешское правительство заявило о своем принципиальном уважении прав князя, но на практике местные коммунистические комитеты взяли под контроль большую часть княжеских владений в стране. Князь обратился в суд, отстаивая свои права, но в 1948 году коммунисты захватили власть в стране. Тем самым все права на частную собственность и вообще всякая законность были разом отменены, так что князь должен был крепко подумать, прежде чем задевать тех, кто мог лишить его собственности. Этот фактор, однако, был для него второстепенным — так же, как для его подданных вопрос о налогах, которые шли на беженцев.

Таким образом, крошечный Лихтенштейн, где не было армии, а полиция составляла 11 человек, сделал то, на что не осмелились другие европейские страны. Правительство Лихтенштейна с самого начала решительно заявило советской репатриационной миссии, что позволит уехать из страны только тем, кто выскажет желание вернуться в СССР, и ни разу не отклонилось от этой линии. Когда, например, миссия намекнула, что генерал Хольмстон-Смысловский должен предстать перед судом по обвинению в военных преступлениях, правительство Лихтенштейна вежливо, но решительно потребовало доказательств, а поскольку таковых не оказалось — дело тем и кончилось. Никаких неприятностей не последовало, и советская миссия, поняв, что ничего не добьется, вскоре отбыла восвояси.

Я спросил князя, были ли у него сомнения в успехе выбранной линии. Мой вопрос, по-видимому, удивил его.

— Нет, — объяснил он, — с советскими надо говорить жестко — это им нравится. Ведь лучше всего они понимают язык силы.

Глава 17

СОВЕТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И МОТИВЫ

В Москве, в Фуркасовском переулке, недалеко от площади Дзержинского, находится здание архивов КГБ. Здесь в подвале хранятся материалы о всех важных операциях, проведенных этой организацией и ее предшественницами. Где-то в темных закоулках стоят, верно, и ящики с досье СМЕРШа и НКВД о репатриационных операциях 1943—1947 годов. Но даже если представить себе, что советский режим в один прекрасный день рухнет, вряд ли этим материалам суждено когда-нибудь увидеть свет. Хранилище архивов оборудовано устройством, с помощью которого можно в мгновение ока, взрывом или кислотой, уничтожить весь этот мрачный список преступлений. Так что даже и в будущем многие документы, необходимые для рассказываемой в этой книге истории, окажутся, как и сегодня, недоступны для исследователей.

Все же материалы из других источников дают возможность воссоздать достаточно точную картину событий. Александр Солженицын посвятил этой теме главу в «Архипелаге ГУЛаг»: «Та весна». Некоторые заключенные ГУЛага со временем оказались на Западе и рассказали о себе и товарищах по несчастью. Кое-что поведали нам офицеры НКВД и СМЕРШа, перебежавшие на Запад. Есть и другие источники, свидетельства, которые самым неожиданным образом освещают потаенные уголки этой драмы. Поэтому мне кажется справедливым сказать, что возникающая картина если и не полна, то — во всяком случае, в основном — правильна.

Прежде всего, следует отметить, что советское правительство считало всех советских граждан, временно вышедших из-под его контроля, предателями, независимо от обстоятельств, которые привели их за границу, и независимо от того, как вели себя эти люди в другой стране. Пытаясь оправдать такой подход, Геральд Рейтлингер рассказывает о том, что красноармейцы, доведенные до крайности собственным тяжким опытом и страданиями своего народа, порой сами убивали попавших к ним в руки русских в немецкой форме. Действительно, преступлениями нацистов можно оправдать многое, но к нашей теме объяснение Рейтлингера отно-

шения не имеет. Возвращаемые на родину пленные охранялись не Красной Армией, и регулярные войска редко имели с ними дело.

Мы можем с уверенностью отбросить допущение, что на отношение советского правительства к репатриантам хоть в какой-то мере влияло поведение нацистов. Отношение к советским военнопленным как к изменникам определилось еще задолго до нападения Германии на СССР, более того, на практике это отношение проявилось еще в ту пору, когда Советский Союз и нацистская Германия были союзниками. После финской войны, в марте 1940 года, русские пленные, захваченные финнами, были отправлены на родину. Триумфально прошествовав по улицам Ленинграда, под восторженные крики толпы, с лозунгами «родина приветствует своих героев», они промаршировали прямиком на вокзал, где их посадили в вагонзаки и отправили в лагеря. Никого не интересовало, как именно они вели себя во время плена, и люди среди них были самые разные: от бравых офицеров, вынужденных сдаться в бою, как капитан Иванов, оказавшийся в Устьвымлаге, до штатских, вроде простой девушки Кати из Ленинграда, работавшей у финнов официанткой (она попала в Потьму). Эти пленные не сотрудничали с врагом, не были заражены антикоммунистической идеологией, их даже и не обвиняли в этом. Их преступление состояло единственно в том, что они заглянули в «несоциалистический» мир. Русским заключенным, попавшим к немцам, была известна мрачная судьба пленных финской кампании: никто из них не вернулся к себе домой. И напрашивался единственный вывод: все они были ликвидированы.

Советское правительство не скрывало отношения к гражданам, попавшим в руки врага. Пресловутая статья 58-1 б УК СССР от 1934 года предусматривала для них соответствующее наказание. Во время войны Сталин самолично издал ряд приказов, угрожавших драконовскими мерами дезертирам и военнопленным, например, приказ № 227, который был издан в 1942 году и зачитан во всех частях Красной Армии. Аналогичные приказы издавались в 1943 и 1944 годах, с некоторыми изменениями в связи с текущими военными задачами. Советским солдатам предписывалось при угрозе сдачи в плен кончать с собой. Один англичанин, военнопленный, освобожденный на Востоке в самом конце войны, сообщал, что видел у красноармейцев экземпляры такого приказа. Красноармейцы, оказавшиеся после освобождения из немецкого плена у англо-американцев, обращали внимание союзников на эти приказы, как на неопровержимое доказательство того, что им давно уже вынесен заочный приговор. Таким образом, советские намерения были хорошо известны и пленным, и союзникам.

Советскому солдату было достаточно хотя бы на короткое время оказаться за линией фронта (а это во время наступления 1941—1942 годов случалось нередко) и пробраться назад к своим, как бедолаге Шухову из «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына, чтобы тут же подвергнуться наказанию. Шухову еще повезло: он получил 10 лет в исправительно-трудовом лагере. В книге Светланы Аллилуевой рассказывается о ликвидации Берия целых армейских частей, иногда очень крупных, временно попавших в окружение в 1941 году. Эта линия не менялась на протяжении всей войны: в феврале 1943 года двое рядовых, спасенных своими товарищами из плена, были затем расстреляны на месте. Правда, иной раз карать по всей строгости мешала «правосудию» нехватка квалифицированных кадров. Два летчика, самолеты которых были сбиты за линией фронта, но которым все же удалось вернуться в свою часть, сразу же были отправлены в отдаленный «исправительный лагерь для летчиков» в Алкино, под Уфой. Там их некоторое время держали впроголодь, но хороших летчиков не хватало, и их освободили и вернули в часть. Однако таких счастливчиков было немного. Для тех же, кто попал в руки к немцам и не сумел убежать, предполагалось пропорционально куда более суровое наказание. Эйзенхауэр в своей книге вспоминает, как поразило его объяснение одного советского генерала, что солдаты, сдавшиеся в плен, ни на что не годятся, а потому нечего о них заботиться. По крайней мере в этом вопросе Сталин был последователен. В первый же месяц войны его сын Яков попал в плен под Смоленском. На допросах немецкие офицеры выяснили, что Яков Сталин не верит в возможность победы Германии над СССР, но опасается народного восстания против партийной диктатуры. 19 июля он послал записку отцу, который в ответ на это посадил жену Якова Юлию в тюрьму. Немцы несколько раз пытались обменять Якова сначала на каких-то немцев, застрявших в Иране, затем на фельдмаршала фон Паулюса. Наконец, Гитлер, не чуждый, в отличие от Сталина, родственных чувств, предложил обменять Якова на своего племянника Лео Раубаля, попавшего в плен после поражения под Сталинградом. Сталин ответил отказом, лаконично пояснив: «Война есть война». Однажды, во время прогулки по саду, Сталин рассказал Жукову о том, что немцы склоняют Якова к переходу на их сторону, — но «Яков предпочтет любую смерть измене Родине», — добавил он «твердо». Маршала глубоко тронуло доверие Сталина, но вряд ли он задумался над тем, кто в данной ситуации был предателем. Якова расстреляли.

Любой человек, ухитрившийся краешком глаза взглянуть на жизнь за пределами шестой части суши, немедленно оказывался на подозрении. Советские самолеты получали задания бомбить немецкие лагеря для военнопленных, где находились русские. Суровые наказания ожидали не одних только мужчин: женщины, освобожденные из немецкого плена, тоже немедленно посылались в исправительно-трудовые лагеря за Арктическим кругом. Как видно, наследникам Ленина не верилось, что, соприкоснувшись с капиталистическим миром, можно сохранить в чистоте советские идеалы. Один партизанский командир два года воевал против немцев в их тылу на Украине, был награжден орденом — и затем брошен в Лубянскую тюрьму. Интересна история солдата Лебедева. Попав в плен, он оказался в Освенциме и чудом выжил, хотя и возглавлял в лагере русскую секцию антифашистского сопротив-

ления. После освобождения Освенцима Красной Армией в 1945 году Лебедева швырнули в телячий вагон и повезли на Восток — строить коммунизм в ГУЛаге.

Система административных мер по репатриации строилась в полном соответствии с вышеназванными принципами, отработанными в самом начале борьбы с перебежчиками. Александр Фут, американец, бывший советским шпионом, вспоминает: «Однажды я предложил послать за границу специальную комиссию для ликвидации предателей родины, на что мне с понимающей улыбкой ответили: «Зачем торопиться, скоро на земле не останется такого места, где предатели могли бы спрятаться, и тогда они сами окажутся у нас в руках».

Об организации репатриационной комиссии было официально объявлено 24 октября 1944 года, то есть через неделю после того, как Иден на совещании в Москве пообещал Молотову лично проследить за возвращением всех потенциальных репатриантов на родину. Главой комиссии был назначен генерал-полковник Филипп Голиков. Это назначение представляется весьма любопытным. Ведь, с точки зрения советских руководителей, все советские солдаты, попавшие в плен, заслуживали сурового наказания — ибо в плен их могла привести либо трусость, либо нерадивость. Но тогда — не странно ли, что руководство репатриационными операциями Сталин поручил одному из самых трусливых и несостоятельных советских генералов? Более того, Голиков был из тех военачальников, на ком лежала главная вина за неподготовленность СССР к войне — за неукомплектованность армии, вследствие чего, в первую очередь, и попадало в 1941 году в плен большинство советских солдат. Будучи с июля 1941 года начальником разведывательного управления Генерального штаба, он совершил на этом посту множество непростительных ошибок. Позже, во время обороны Сталинграда, Хрущев подал рапорт о том, что Голиков панически боится немцев, и Голикова с поста сняли.

Под стать начальнику был и заместитель Голикова по репатриационной комиссии — генерал К. Д. Голубев. Он был настоящий гигант, но, по словам генерала Дина, «его умственные способности никак не соответствовали размерам его тела».

Впрочем, роль Голикова и Голубева в реальной работе комиссии была ничтожна, они являлись всего лишь представительными манекенами. Настоящую же работу выполняли Главное управление контрразведки (ГУКР) — за границей, и НКГБ — внутри страны. С июня 1941 года главным занятием этих организаций-близнецов было держать в страхе советское население за линией фронта и арестовывать вышедших из немецкого окружения. После Сталинграда, когда направление войны изменилось, они двинулись в освобожденные районы, убивая сотни и тысячи жителей по подозрению в сотрудничестве с врагом. Теперь, в 1945 году, они были готовы к выполнению огромной задачи — поглотить миллионы русских, возвращаемых Западом.

Советские репатриационные комиссии растеклись по всей Европе. Западные офицеры, столкнувшиеся с полковниками и генералами, возглавлявшими эти миссии, вспоминают об одном и том же: в разговорах о военных делах советские офицеры проявляли полное невежество и приходили в замешательство. Так, генерал Вихорев в Париже бормотал: «Я не служил во время войны в авиации... Я был в других войсках...» Ларчик открывался просто. Как объясняет бывший офицер СМЕРШа, «все сотрудники этих миссий были профессиональными чекистами». Голиков и Голубев хотя бы были еще и профессиональными военными. Но подавляющее большинство офицеров СМЕРШа и вовсе не нюхало пороху. Их участие в военных действиях сводилось к издевательствам над украинскими девушками, взятыми на допрос, или к убийству мальчика, вышедшего из строя в поисках матери. Как стыдливо объяснял майор Шершун Чеславу Йесману, он во время войны занимался охраной эвакуируемого на восток оборудования. И вот таким людям было дано право запихивать героев войны в телячьи вагоны, покрикивая на них: «Почему попал в плен? Почему не сбежал? Почему не убивал власовцев?» Что до последнего упрека, то СМЕРШ, бесспорно, уничтожил гораздо больше красноармейцев, чем вся РОА и казаки, вместе взятые.

В репатриационных миссиях чекистам был предоставлен небывалый простор для выполнения их разнообразных задач. Там же, где полной свободы действий не было, прибегали к внедрению тайных агентов, запугиваниям, угрозам, шантажу. Впрочем, для поимки тех, кто был признан советским гражданином, никаких сверхъестественных усилий не требовалось: англо-американцы с величайшей готовностью выдавали их сами, задача же сотрудников миссий сводилась к тому, чтобы склонить максимальное число пленных к «добровольному возвращению» на родину. Это было важно по нескольким причинам. Во-первых, многочисленные отказы могли вызвать опасные настроения среди союзных солдат, назначенных проводить репатриацию. Во-вторых, английским политическим деятелям было проще оправдывать свою политику, утверждая, что число русских военнопленных, отказывающихся вернуться на родину, невелико. Кроме того, имелись еще и лица со спорным гражданством, которых англо-американцы и вовсе не могли репатриировать без добровольного согласия.

Агенты СМЕРШа действовали по-разному: открыто, через своих аккредитованных представителей, и тайно, через секретных сотрудников, внедренных или завербованных среди военнопленных. Для выяснения имен уклоняющихся от репатриации допрашивали репатриированных пленных. Допрашивали и тех, кто решительно отказывался вернуться на родину. Так, Патрик Дин отметил, что советский офицер в Лондоне «жестоко допрашивал» одну русскую женщину. В других случаях оказывалось достаточно менее суровых мер. В мае 1945 года среди тех, кто добровольно согласился вернуться, оказался некий Владимир Оленич. Позже он рассказывал, как допрашивавший его сотрудник НКВД напомнил ему о

семье, живущей в СССР. Одного этого упоминания оказалось достаточно. Оленич понял, что угрожает его близким, если он откажется вернуться, и согласился назваться советским гражданином, хотя и был поляком. Кстати, даже в английском МИД понимали, что давление НКВД играет большую роль в деле возвращения пленных. Об этом писал, в частности, Кристофер Уорнер.

В лагерях для военнопленных СМЕРШ быстро организовал «внутренний круг» агентов и информаторов во главе с «комиссарами». Информаторы составляли «черные списки» тех, кто не желал репатриироваться, сообщали о планируемых побегах. Иногда этих действительных или мнимых пособников СМЕРШа убивали. Так, в лагере под Веной один пленный застрелил своего товарища, заподозрив его в составлении списков для НКВД. В рядах РОА и казачьих частях наверняка было множество советских агентов еще до сдачи в плен. Вообще же, в репатриационных операциях наравне с офицерами СМЕРШа нередко принимали участие и бывшие пленные. Во Франции, например, из 60 энкаведешников, работавших в миссии генерала Драгуна, половина были штатные сотрудники из СССР, остальные же — бывшие военнопленные, рассчитывавшие заслужить прощение. Сомнительно, однако, чтобы они преуспели в этом.

Многих русских, привезенных в Англию из Франции в 1944 году и до этого прошедших через немецкие концлагеря, пришлось сразу же поместить в госпиталь. Воспользовавшись этим, представитель миссии советского Красного Креста, профессор Саркисов, обратился через прессу «к общественным и другим организациям» в Англии, которым «известно местопребывание больных русских», с просьбой сообщить их фамилии и адреса в лондонскую миссию советского Красного Креста. Но военное министерство и МВД отказались помочь профессору в его «гуманной задаче» — вызвав тем самым недовольство сотрудника МИД Джона Голсуорси, обвинившего министерство в «обструкции представителей союзника».

Следующим шагом НКВД в работе с пленными, после отбора и перевозки их домой, был прием репатриантов в СССР. Однако многие пленные расставались с жизнью, едва ступив на контролируемую советскими войсками землю. «Таймс» 4 июня 1945 года писал, что в Берлине «с изменниками из власовской армии советские расправляются скопом». Об обменном пункте в Торгау в статье сказано: «Целое крыло тюрьмы было выделено для приговоренных к смертной казни, большинство которых составляли солдаты армии Власова. Они кричали из-за зарешеченных окон: «Мы умираем за родину, а не за Сталина». Огромное множество казаков, выданных в Австрии — в том числе большая часть офицеров, — были расстреляны в первые же дни после выдачи на Юденбургском металлургическом заводе, на сборном пункте в Граце, по дороге в Вену. С пленными расправлялись и другими способами. А. Солженицын видел, как смершевец безжалостно стегал кнутом власовца. Другого пленного привязали к двум березам и разорвали. Сколько

из них погибло вот так сразу после выдачи — неизвестно, но, верно, счет идет на тысячи.

Из уцелевших большинство проходило через изощренную систему допросов. Как уже говорилось, все их пожитки, включая смену одежды, повсеместно конфисковывали и уничтожали, мужчин, женщин и детей сразу же отделяли друг от друга для последующей отправки в разные лагеря. В книге Анатолия Грановского, офицера, перебежавшего на Запад, рассказывается, как на берегах Эльбы офицеры НКВД следили за прибывающими из американской зоны баржами с перемещенными лицами из Тангермюнде. Энкаведешники радушно встретили соотечественников, но стоило американцам уехать, как картина разом изменилась, раздались крики: «Эй вы, предатели, быстренько складывайте вещички и стройтесь». Злобные псы рвались с поводков, яростно лая на ошеломленных репатриантов. Тот же источник дает нам некоторое представление о судьбе женщин. В одном лагере перемещенных лиц комендант-энкаведешник показал Грановскому на женщин и объяснил: «Если хочешь, можешь поиметь любую за пару сигарет или стакан воды — у них в бараках нет водопровода».

Для приема репатриантов советская администрация выделила в Германии лагеря «восточных рабочих» и другие сборные пункты, в большинстве своем обнесенные проволокой и охраняемые. Однако в некоторых местах приток заключенных достигал таких размеров, что обеспечить охрану было просто невозможно. Николай Комаров в мае 1945 года находился с группой казаков в Австрии. В поисках работы в советской оккупационной зоне он отправился в один из лагерей, но там его охватили сомнения и он решил вернуться назад. И наверное, правильно сделал — он и сейчас, более 30 лет спустя, живет в свободной стране.

Зато другой герой нашей книги — Шалва Яшвили — угодил прямиком в волчью пасть. В 1945 году англичане отправили его вместе с другими грузинами в огромный советский лагерь в Таранто (Италия), и там Яшвили пришлось выслушивать заверения майора Грамасова, что родина все простит. Яшвили считал, что все должно быть наоборот: просить о прощении следовало бы советскому правительству, так жестоко бросившему на произвол судьбы своих пленных граждан. В августе Шалва в группе из 250 человек отправился поездом на север. Их охраняли английские солдаты, но речи о насильственной репатриации не заходило. Только когда они вышли на станции в советской зоне Австрии, стало понятно, что дело плохо. Яшвили заметил, как грузинский майор отдал честь советскому полковнику, по виду буряту или монголу, тот не ответил на приветствие и пробормотал что-то неразборчивое. Майор вернулся к своим товарищам «бледный как смерть». Когда группы пленных вывели со станции, они оказались перед взводом смершевцев с автоматами. Сомнений не оставалось: они попали в ловушку.

В близлежащем лагере грузины провели две ночи. Яшвили сразу же решил бежать, понимая, что у уроженца солнечной Грузии мало шансов выжить в Магадане. В Таранто он с друзьями организовал

футбольную команду, игравшую против англичан и американцев. Теперь же он обсуждал с друзьями по команде планы побега. Австрийский охотник, проходивший мимо лагеря, предложил провести их тайными тропами в английскую зону, но они не успели осуществить этот план: поступил приказ идти на восток.

Это было долгое и мучительное путешествие. Еду привозили на грузовиках, но несколько дней пленных вообще не кормили. Однажды Яшвили с друзьями едва не погиб от руки разъяренного офицера НКВД, поймавшего их на том, что они прокрались на ферму сварить себе какой-нибудь еды. Наконец, они дошли до огромного лагеря около Винер-Нейштадта, где было не менее 60 тысяч пленных. По периметру стояли охранники, но проволочного ограждения не было и никто не контролировал жизнь узников в лагере, а потому проверка по списку была бы здесь попросту невозможна. Яшвили, не оставлявший мысли о побеге, заметил, что с одной стороны лагерь огибает маленькая речушка, и, хотя там стояли охранники, в лагерном шуме и гаме ничего не стоило проскользнуть мимо них незамеченными.

Яшвили с тремя друзьями, тоже твердо решившими бежать, изучил местность. Охранники постоянно были на посту, но их внимание поглощали в основном толпы женщин, стиравших белье в речке. Молодые девушки высоко поднимали юбки, входя в воду, смеялись, перекрикивались с подружками. Стояли жаркие августовские дни, война была позади, и неудивительно, что часовых больше занимали загорелые девичьи ножки, а не четверо парней, залезших в реку в засученных по колено штанах и выбравшихся на другом берегу посушиться на солнце. И никто не заметил, как еще через несколько минут парни куда-то исчезли. Они затаились в кустарнике и просидели там до темноты, жуя тушенку и попивая вино из фляжки, вымененной у красноармейца-шофера на польскую шапку. Когда настал вечер, они двинулись на запад, к горам. Несколько дней они блуждали по лесам, ориентируясь по солнцу и питаясь нарытой в полях картошкой, которую варили в касках, в изобилии валявшихся вокруг. Наконец им удалось пробраться в американскую зону. Яшвили и сегодня живет на Западе.

История Яшвили может послужить опровержением мнения об эффективности работы СМЕРШа. На самом деле поставленная перед этой организацией задача была так грандиозна, что справиться с ней было действительно очень трудно. Об этом пишет один офицер СМЕРШа, работавший в Австрии: «В нашей баденской администрации не хватало людей для такой огромной операции. В город были стянуты все резервы из других мест, но и этого было недостаточно. ГУКР СМЕРШ срочно послал особые группы своих сотрудников в комиссии по проверке... но даже после этого работников все еще не хватало. Абакумову, начальнику ГУКР СМЕРШ, пришлось позаимствовать людей из других управлений НКГБ... По документам, проходившим через третий отдел СМЕРШа, где я работал, я знаю, что по просьбе народного комиссара государственной безопасности Меркулова Берия тоже подбросил офицеров — из

управления милиции, следственного отдела и даже из третьего управления ГУЛага. Разумеется, к нам эти офицеры прибыли уже в военной форме».

Комиссии по проверке должны были разделить советских граждан на три категории. В первую входили те, кого считали врагами советской власти — сюда, конечно, относились все власовцы и казаки. Вторая обозначалась как «относительно чистая» — туда входили те, кого нельзя было доказательно обвинить в сотрудничестве с врагом, и наконец, третья состояла из незнатбительного меньшинства, сумевшего и на Западе проявить лояльность к советскому режиму. По первоначальному плану первая категория подлежала отправке в исправительно-трудовые лагеря, вторая должна была заниматься принудительными работами на воле, и наконец, счастливчиков из третьей категории предполагалось направить на послевоенное строительство. Но из-за сложности и огромного объема работы часто возникала неразбериха, люди попадали не в те категории, с наказаниями тоже случались накладки.

Проверка затянулась на несколько лет. Все это время заключенные не сидели сложа руки. Один бывший зэк вспоминает, что его товарищи по камере «приехали из проверочно-фильтрационных лагерей в Донбассе, где они работали под землей, восстанавливая шахты, затопленные немцами. Другие были из таких же лагерей в Центральной России». Но эта работа не считалась наказанием и при определении сроков заключения не учитывалась. Многие из тех, кто попал в третью категорию, были поначалу отпущены домой, «но позже все равно оказались в тюрьме».

Один полковник, комендант проверочно-фильтрационного лагеря, был одержим идеей, что большинство его подопечных — американские шпионы, и всячески усердствовал, чтобы эти опасные твари кончили свои дни в его лагере. Клеймо вины лежало и на тех, кого немцы угнали силой. Вот история молодой украинки. В семнадцать лет ее вывезли в Германию, где она работала на военных заводах Круппа, нажила туберкулез, кашляла кровью. После освобождения она вернулась на родину с самыми радужными надеждами. Конечно, она понимала, что будет нелегко, но мысль о наказании не приходила ей в голову: кому нужна девушка, заболевшая на работах в Германии. Однако ей не довелось увидеть родную Украину. Без всякой проверки ее послали в наглухо закупоренном поезде на Колыму.

Никак не учитывался при решении судьбы бывших пленных и вопрос о добровольности возвращения. Одна группа пленных, работавшая на укреплениях Атлантического вала, услышав по Московскому радио обращение генерала Голикова, с энтузиазмом пустилась в путь к границе. Их встретили как героев, им бросали цветы, а потом посадили в телячьи вагоны и швырнули в утробу ГУЛага. Через год они доходили от дистрофии.

Уже сам путь в поездах был преддверием лагерной жизни. В июле и августе 1945 года жители Южной Польши постоянно слышали шум таинственных поездов, проходящих мимо станций.

Шли они чаще всего по вечерам на большой скорости, лишь мелькали вагоны для перевозки скота да платформы с пулеметами. Однажды вечером такой поезд остановился в польском городке Бече. Охранники, с автоматами на изготовку, спрыгнув на землю, окружили вагоны. Через приоткрытые двери виднелись сбившиеся в кучи оборванные люди.

— Кто вы? — прокричали им поляки.

— Военнопленные! — гулко прозвучало в ответ.

— Куда едете?

— В Сибирь.

Но тут паровоз засвистел, охранники прыгнули в вагоны, и мрачный поезд двинулся в путь. Поезда с пленными шли по железной дороге Краков—Львов, минуя Варшаву (очевидно, чтобы не демонстрировать жителям столицы преимущества жизни при социализме).

С наступлением зимы в нетопленых поездах резко возросла смертность. Поезда-тюрьмы обычно имели при себе прицеп из двух вагонов с трупами умерших в дороге от холода и голода. Иногда мертвых не отделяли от живых, и трупы обнаруживались только при выгрузке. У живых безжалостно отбирали все, чем только можно было поживиться: охранники НКВД и уголовники прибирали к рукам старые джинсовые куртки, носки, ручки. Одна латышка, вернувшаяся на родину в сентябре 1945 года в вагоне товарного поезда, в котором ехали 45 человек и их багаж, вспоминает: «Мы составили мешки с двух сторон, и я примостилась на них, как курица на насесте. Возле меня было крошечное оконце с гвоздем и веревкой, и мы повесили туда детский горшок. В другом конце вагона еще одна мать сделала то же самое. Когда кому-нибудь нужно воспользоваться горшком, он просил передать ему «розочку»: уборной в вагоне не было... Через несколько дней кружным путем мы прибыли в Житомир. К этому времени у нас в вагоне умерла одна старушка, и когда поезд остановился, мы упросили охранников позволить нам похоронить ее. Выкопав могилку прямо возле насыпи, мы положили туда старую латышку в белой простыне. Вдруг в последний момент к нам подбежала молодая украинка из другого вагона с мертвым ребенком на руках: мы положили его возле старушки и похоронили их вместе, поставили на могиле крест, положили цветы».

В этом же вагоне находился известный латышский музыкант, профессор Жуберт. Он умер во время пути, 11 октября, и в течение семи часов тело его оставалось в вагоне. Когда поезд остановился, обитатели вагона стали молить охранников разрешить похоронить профессора, но те велели оставить голое тело музыканта на платформе, пообещав похоронить его позже с другими трупами.

Подавляющее большинство репатриированных оказалось в исправительно-трудовых лагерях. Казаки, сдавшиеся в плен в Австрии, были по большей части направлены в лагерный комплекс в районе Кемерова, в Центральной Сибири, где многие умерли от невыносимых условий. Власовцы были рассеяны по разным лагерям. Один финн повстречал власовцев из Англии в знаменитой Бутырской тюрьме в Москве. Видели их и в Караганде, и на Красной Пресне, и на Воркуте, и в других советских аналогах Майданека и Освенцима. Айно Куусинен, сидевшая на Воркуте, вспоминает: «В 1945-м появились еще тысячи военнопленных, на сей раз члены армии генерала Власова, воевавшие на стороне нацистов. Многие были в кандалах. Этих несчастных послали добывать уголь в отдаленных зонах. Я познакомилась с одним из них, полковником, попавшим к нам в больницу. Узнав, что я тоже политическая, он сказал мне, что, наверное, его скоро расстреляют, но его ненависть к режиму переживет его».

Впрочем, история репатриантов в исправительных лагерях — это уже история ГУЛага, и мы отсылаем читателя к «Архипелагу ГУЛаг» А. Солженицына. Наверное, мы никогда не узнаем — хотя бы с приблизительной точностью — число репатриированных, влившихся в 20—25-миллионную армию рабов, которые составляли в ту пору население лагерей. Нам остается лишь гадать об этом. Согласно официальной советской статистике, опубликованной в 1945 году, освобождено и репатриировано было 5 236 130 советских граждан, из них 750 тысяч в тот момент еще находились в пути. Остальные 4 491 403 человека, как говорится в советской публикации, вернулись в родные места или же получили работу в других районах, государство предоставило им денежные займы, обеспечило продовольственными карточками и строительными материалами. Особая забота была проявлена о детях. Один западный поклонник советского режима в более критическом контексте признает, что, вероятно, 500 тысяч из вернувшихся были посланы в лагеря, однако же всякий, кто мог разумно обосновать сдачу в плен, мог быть уверен, что избежит кары, «и офицеры, как правило, не подлежали наказанию».

Бывший офицер НКВД, имевший доступ к досье этой организации, сообщает другие цифры, которые представляются нам более точными. Всего из ранее оккупированных районов в 1943—1947 годах было репатриировано около пяти с половиной миллионов русских. Из них:

20% — расстреляны или осуждены на 25 лет лагерей (что, по сути дела, равносильно смертному приговору).

15—20% — осуждены на 5—10 лет лагерей.

10% — высланы в отдаленные районы Сибири не менее чем на шесть лет.

15% — посланы на принудительные работы в Донбасс, Кузбасс и другие районы, разрушенные немцами. Вернуться домой им разрешалось лишь по истечении срока работ.

15—20% — разрешили вернуться в родные места, но им редко удавалось найти работу.

Эти весьма приблизительные данные не дают при сложении 100%: вероятно, недостающие 15—25% — это люди, скрывшиеся уже в СССР, умершие в дороге или бежавшие.

Однако число пострадавших не ограничивается теми, кто побывал в немецкой неволе. Все родственники людей, временно вышедших из-под советского контроля, автоматически оказывались на положении подозреваемых. Так, в 1950 году органы уговорили одну 14-летнюю девочку следить за своим отцом, бывшим военнопленным. Бывало и наоборот: работники НКВД шантажом заставляли бывших военнопленных доносить на друзей и родных. Над всеми, кто был связан с такими людьми, повисало облако недоверия. Брата одного человека, репатриированного американцами, по этой причине не взяли на работу. В романе советского писателя Федора Абрамова «Три зимы и два лета», где действие происходит в послевоенной деревне, есть персонаж, бывший военнопленный, подвергнутый как предатель всеобщему остракизму. Улов ГУЛага пополнялся также за счет родственников тех, кто в 1945 году бежал из Красной Армии на Запад. Хотя при этом советское правосудие могло пользоваться законом от 1934 года, в котором говорилось об ответственности родственников, предпочтение в общем отдавалось сфабрикованным обвинениям. Очевидно, законники смутно чувствовали, что с этим пунктом все же дело нечисто.

17 сентября 1955 года правительство Хрущева объявило амнистию для репатриантов. Многие были освобождены, многим сократили сроки. Но тысячи остались за бортом амнистии. По сообщению ЦРУ, в 1956 году на Кыштымском атомном заводе на Урале работало 25 тысяч бывших власовцев. К тому же многие не дожили до амнистии, умерли от голода, холода, болезней и лишений. Среди тех, кто выжил, оказалась горстка старых эмигрантов, выданных англичанами в Австрии. Они-то и принесли на Запад рассказы о лагерях ГУЛага.

Глава 18

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

В странах Европы в течение веков сложилась столь прочная традиция предоставления политического убежища, что до 1939 года ни одно государство, скорее всего, не стало бы даже рассматривать возможность возвращения на родину граждан, жизни или свободе которых могло бы угрожать такое решение. Однако в 1939 году был подписан советско-германский договор, получивший название пакта Риббентропа—Молотова. После заключения пакта на вокзале в Бресте состоялась дружеская встреча офицеров гестапо и НКВД, во время которой произошел обмен заключенными. Немцы выдали русских антисоветчиков, а Советы порадовали Гиммлера изрядным числом немецких коммунистов и евреев, которым ранее было предоставлено убежище в СССР.

Не прошло и года, как было заключено еще одно соглашение об экстрадиции. 21 июня 1940 года в Компьене немцы в присутствии самого Гитлера представили делегации французского правительства свои условия заключения перемирия. Положение французов было хуже некуда: их армии были разбиты, союзник отвел свои силы с позиций в Дюнкерке. И все же генерал Виган упорно противился многим немецким требованиям, в том числе — о выдаче рейху беженцев из Германии, находившихся во Франции и ее колониях. Виган назвал это требование бесчестным в свете французской традиции предоставления убежища, но Кейтель и слушать не желал о том, чтобы убрать это условие, и французам пришлось покориться. Через некоторое время во Франции появились нацистские близнецы советских репатриационных комиссий, и началась охота за беглыми немцами. Многих гестапо вывезло в неизвестном направлении, некоторые были посланы на строительство железной дороги в Сахаре (где они, между прочим, работали бок о бок с русскими, позже выданными англичанами Советам). Наконец, многие, не видя другого выхода, вызвались работать в трудовой организации Тодта, где им даже платили зарплату. Данных о массовых расстрелах немецких беженцев у нас нет.

Сомнительно, однако, чтобы западные государственные деятели могли взять эти прецеденты за образец. Положение русских,

работавших или служивших у немцев, не имело прецедентов. Тут возникало множество вопросов, прежде всего, вопрос о том, могли ли русские пленные ссылаться на Женевскую конвенцию, которую не подписала их страна. И если да, то исключало ли это их выдачу советскому правительству против их желания.

Можно было бы подумать, что тексты конвенций — Гаагской 1899 и 1907 годов и Женевской 1929 года — разом решат этот вопрос, но, к сожалению, в тексте отсутствовали четкие разъяснения по главному пункту. А главный пункт заключался в следующем. Если русские пленные считались повторно взятыми в плен советскими солдатами или гражданскими лицами, то, конечно, никаких возражений против их возвращения на родину быть не могло, и отношение советского правительства к ним, пусть даже и жестокое, с юридической точки зрения никак не касалось английского или немецкого правительства. Но как быть в тех случаях, когда русские, служившие в немецкой армии, носившие немецкую форму и присягнувшие на верность фюреру, заявляли о том, что являются немецкими солдатами? Можно ли было признать их правоту? А если да — то как это отразилось бы на законности их выдачи СССР?

Заинтересованные стороны — Англия, Германия и США, — подписавшие конвенцию, придерживались разных точек зрения по этому вопросу. Английскую точку зрения высказал в сентябре 1944 года юрисконсульт МИД Патрик Дин: «Несмотря на условия Женевской конвенции, солдат, взятый в плен армией своей страны в тот момент, когда он находился на службе во вражеской армии, не может перед лицом своего правительства и закона своей страны претендовать на протекцию конвенции. Мы наверняка не признали бы такого права за английским гражданином, взятым в плен в момент его службы в немецкой армии. Если такой субъект взят в плен союзной армией, союзное командование имеет право передать его без всяких условий его собственному правительству, не нарушая при этом конвенцию. Избрав иной путь, мы поставим себя в затруднительное положение по отношению к союзным правительствам, и они смогут с основанием обвинить нас в попытке укрыть возможных предателей от наказания, положенного им по законам их страны».

Через несколько месяцев выяснилось, что США заняли в этом вопросе позицию, коренным образом отличную от английской. МИД узнал об этом из сообщения посла в Америке, лорда Галифакса, от 28 марта. На это указывал и один из служащих английского посольства в письме Бернарду Гафлеру из американского Отдела особых военных проблем. Его комментарии были затребованы ввиду того, что, по мнению МИД, условия соглашения между правительством его величества и Советским Союзом обязывают возвращать в СССР даже тех советских граждан, которые требуют, чтобы их оставили в стране как немецких военнопленных.

Патрик Дин, будущий посол в Вашингтоне, следующим образом комментировал заявление американцев: «Позиция США, на мой взгляд, является неверной и несовместимой с Ялтинским соглашением». Позже он разъяснил свою точку зрения подробнее: «Хотя [в тексте Ялтинского соглашения] не сказано прямо о том, что английское правительство должно репатриировать в СССР советских граждан, не желающих возвращаться, из текста ясно следует, что такие советские граждане подлежат выдаче советским властям независимо от их желания».

На Бернарда Гафлера, однако, доводы Дина не произвели ни малейшего впечатления. Вновь изложив причины, обусловившие позицию американцев, и отметив, что США не принуждают к репатриации иностранных граждан, которым форма немецкой армии дает право на защиту Женевской конвенцией, он продолжал: «Как я помню по моей службе на страже английских интересов в Германии, наше посольство в Берлине, следуя инструкциям вашего правительства, сообщило немецким властям, что лицо, носящее форму английской армии, является английским военнослужащим и на него распространяется действие Женевской конвенции. Насколько я понимаю, ваше правительство по-прежнему считает, что форма определяет принадлежность ее обладателя независимо от его национальности, и именно в таком духе я информировал немецкое правительство в связи с бельгийским инцидентом, по поводу которого немцы заявили протест нашим правительствам. Далее, насколько я понимаю, из всех взятых им в плен лиц ваше правительство вынуждает вернуться под опеку соответствующего правительства лишь советских граждан. К другим национальностям это не относится.

Госдепартамент считает нашу политику в этом вопросе вполне последовательной, тогда как в политике вашего правительства мы усматриваем непоследовательность, с которой нам будет трудно согласиться... Поскольку изменение нашей практики в отношении советских граждан, на наш взгляд, могло бы вступить в противоречие с духом и буквой Женевской конвенции о военнопленных, к которой присоединилось также и ваше правительство, Госдепартамент был бы очень признателен, если бы вы могли сообщить нам ваше решение по этому вопросу».

Английское посольство обратилось в МИД за «инструкциями по дальнейшему обсуждению данного вопроса с Госдепартаментом». Прежде чем передать дело юрисконсульту, Джон Голсуорси подытожил свою точку зрения в документе, который можно считать довольно точным отражением позиции МИД: «Насколько я знаю, мы исходим из принципа целесообразности. У нас было уже довольно хлопот с советскими властями по поводу лиц, которых они считали советскими гражданами и которых мы таковыми не считали, не говоря уж о всех тех, которые по политическим или личным соображениям не желают называться советскими гражданами (хотя и являются таковыми), но хотят, чтобы их считали немецкими военнопленными. Кроме того, в последней категории есть ряд лиц, которые понимают, что виновны в активном сотрудничестве с немцами, и было бы неразумно ставить англо-советские отношения под угрозу ради людей, активно воевавших против

нашего союзника. Конечно, среди них есть и другие: некоторые из тех, кого мы вынуждены передать советским властям, пострадали от советского режима без всякой вины с их стороны, не воевали против СССР и просто не хотят возвращаться на родину».

Голсуорси, вероятно, имел в виду жуткие истории, описанные бригадиром Файербрейсом в рапорте, поданном в МИД месяц тому назад. Патрик Дин, которому Голсуорси передал письмо Гафлера для юридического комментария, ограничился вопросом о русских, служивших в вермахте и потому претендующих на то, чтобы их считали немецкими военнослужащими. Он начал с утверждения: «Мы никогда не считали, что человек, по каким-либо причинам надевший военную форму страны, воюющей с его собственной страной, автоматически подпадает под протекцию конвенции о военнопленных от военных властей его страны или союзников последней. Если придерживаться такого взгляда, то все предатели, надев форму вражеской армии и активно воюя против собственной страны, могли бы избежать ответственности и претендовать на то, чтобы с ними обходились как с военнопленными согласно конвенции».

В заключение Дин признавал, что, хотя в подходе англичан к этому вопросу могут быть недостатки, МИД не грозит критика, поскольку министерство не объявило публично о своих обязательствах перед СССР. Дин говорил: «Я согласен с доводом Госдепартамента, что, сравнивая эту точку зрения с нашим высказыванием о первостепенном значении военной формы при решении вопроса о [национальности] военнопленных, можно обнаружить известную непоследовательность. Но, насколько мне известно, нам удалось избежать публичных высказываний на этот счет... И несмотря на такую непоследовательность, наша точка зрения представляется мне правильной».

Правда, Дин тут же поспешил добавить, что передавать этот довод придирчивому Гафлеру не стоит: «Я не считаю абсолютно необходимым отвечать Госдепартаменту до тех пор, пока Департамент этого не пожелает».

«Непоследовательность», на которую намекал Гафлер и которую признавал Дин, заключалась в противоречии между позицией МИД в отношении плененных русских и прежней политикой министерства. Когда Иден прибыл на Ялтинскую конференцию, МИД телеграфировал ему: «В отношении военнопленных мы до сих пор, за немногими исключениями, руководствовались принципом, принятым германским правительством и правительством его королевского величества, что здесь первостепенную роль играет носимая военнопленными форма, а не национальность».

Этот принцип использовался, когда он служил к выгоде англичан, например, когда они хотели защитить «чехов, поляков, бельгийцев и других служащих английской армии, освобожденных Красной Армией». Соответственно МИД рекомендовал включить в Ялте в текст предстоящего соглашения такую формулировку: «Все лица, носящие [английскую или американскую военную форму]...

будут по данному соглашению, независимо от национальности, рассматриваться как солдаты этих армий».

Примерно в это же время аналогичную точку зрения высказал представитель МИД Уолтер Робертс на конференции Управления по делам военнопленных в Лондоне. После конференции Робертс предложил попросить Молотова подтвердить, что, согласно вышеназванному соглашению, всякое лицо, в момент пленения врагом служившее в армии любой из заинтересованных сторон, будет рассматриваться как гражданин или подданный этой страны.

Излишне говорить, что у Молотова были причины не принять это предложение. Как отметил полковник Филлимор из военного министерства, «мы были вынуждены против своей воли отказаться от пункта насчет граждан стран-союзниц, служащих в английской армии. Советские представители заявили, что вопрос был поднят слишком поздно и им необходимо дополнительное время для его рассмотрения».

Следовательно, если бы англичанам удалось настоять на своем, в самом тексте Ялтинского соглашения оказалось бы условие, существование которого Патрик Дин так упорно отрицал теперь. Правда, Дин как бы молчаливо признавал, что до сих пор англичане всегда придавали первостепенное значение военной форме. Русские же, по его мнению, попадали в особую категорию, так как они «надели форму армии страны, воюющей с их собственным государством», а отсюда следует, что взятые в плен русские являются не немецкими солдатами, но просто-напросто плененными русскими предателями, и англичане имеют полное право выдать их советским властям, которые, в свою очередь, вправе наказать их за измену.

Исключительность сложившейся ситуации заключалась в том, что Советский Союз отказался присоединиться к Гаагской и Женевской конвенциям, а беспрецедентная тирания советского правительства породила «предателей», из которых немцы набрали в свою армию почти миллион человек. Использовать таким же образом англичан и американцев немцы не смогли, отчасти и потому, что статья 44 Гаагской конвенции 1899 года и статья 23 Конвенции 1907 года запрещали принуждать военнопленных к участию в военных действиях против их собственной страны.

Мы, однако, ведем здесь речь о чисто юридических аспектах. Являлись ли русские «немецкими» военнопленными? По мнению Патрика Дина — нет, и этим мнением его правительство руководствовалось на протяжении всех главных репатриационных операций. Поэтому нам предстоит сейчас заняться этой точкой зрения.

В статье 79 Женевской конвенции записано, что вся информация о военнопленных «в возможно короткие сроки передается в страну военнопленного или в ту страну, на службе у которой он состоял». Отсюда следует, что пленный не должен быть гражданином страны, в армии которой он служил, равно как и то, что его национальная принадлежность не является основанием для каких-либо различий в обращении с ним. К сожалению, ни в Гаагской,

ни в Женевской конвенции не оговорен четко вопрос о том, кто именно определяет гражданство пленного — он сам или пленившая его страна. Но, кроме британского правительства, занявшего особую позицию в отношении русских военнопленных, все страны, подписавшие Конвенцию, с самого начала руководствовались тем, что гражданство пленного определяется его военной формой. Причина этого ясна. Стоит одной из воюющих сторон присвоить себе право выделить кого-то из солдат вражеской страны, находящихся в плену, как враг не замедлит ответить ударом на удар, и в конце концов дело дойдет до полного пренебрежения конвенцией. И действительно, британское правительство, как было показано ранее, опасалось, что немцы, узнав о проводимой Англией политике насильственной репатриации, примут ответные меры в отношении английских военнопленных.

Специалисты по международному праву в целом были единодушны в неприятии довода Дина. При обсуждении случая китайских малайцев, служивших в индонезийских войсках и взятых в плен в Малайе, Сюзан Эдмон приводит множество прецедентов в доказательство того, что прежнее подданство не влияет на статус солдата в армии, в рядах которой он служит, и, следовательно, на его статус как военнопленного. Другие авторитеты в этой области также утверждают, что насильственная репатриация находится в явном противоречии с международным правом и Женевской конвенцией.

Американский юрист, отстаивая русских военнопленных в 1945 году, провел интересную параллель с делом Чарльза Ли, английского офицера, перебежавшего во время войны США за независимость к американцам и дослужившегося до генерал-майора. В 1776 году англичане взяли его в плен и приговорили к смертной казни как предателя. Но в дело вмешался сам Вашингтон, заявивший, что «Ли находится на положении военнопленного и в качестве такового имеет все соответствующие права». Англичане уступили, и Ли был обменен.

Тем не менее, наверное, многим трудно понять, как в 1944—1945 годах русские, воевавшие в немецкой армии против своей страны или ее союзников, могли рассчитывать на то, чтобы соответствующие стороны, пленив их, обращались с ними, как с обычными военнопленными. МИД с самого начала войны настаивал на том, что такая протекция распространяется на иностранных подданных, находящихся на службе в английской армии. Например, в английской армии было немало французов, которые воевали против правительства их собственной страны. На это можно, правда, возразить, что правительство Виши действовало вопреки интересам народа, однако это лишь сделает наше сравнение с СССР еще убедительнее. Немцы же рассматривали таких военнослужащих наравне с другими английскими военнопленными.

Слабость аргументации Патрика Дина лучше всего проиллюстрировать на следующем примере. В 1944 году Военный кабинет Англии утвердил создание чисто еврейского военного соединения — Еврейской бригада. Бригады эта участвовала в итальянской

кампании в марте—мае 1945 года. Если бы солдаты-евреи, родившиеся в Германии и бывшие ранее гражданами этой страны, попали в это время в руки врага, им угрожало бы жестокое обращение. До сих пор британский МИД с успехом добивался того, что в немецком плену с евреями обращались так же, как с другими военнопленными Британского содружества. И если бы немецкое правительство заявило, что на евреев немецкого происхождения конвенция не распространяется, Патрик Дин вряд ли согласился бы с этим, хотя немцы и могли утверждать, что англичане «защищают возможных предателей от наказания, полагающегося им по законам их страны».

Отказ распространить на взятых в плен русских условия Женевской конвенции противоречил прежней и последующей английской интерпретации и был неприемлем для немецкого и американского правительств. Дело в том, что, как признал Джон Голсуорси, законники МИД исходили из соображений целесообразности. Довод Дина, что русские — предатели и потому не подпадают под защиту конвенции, предназначался верно, лишь для внутреннего пользования. Ни американскому, ни немецкому правительствам он передан не был. Более того, МИД предпринял самые решительные меры, чтобы ни одна из заинтересованных сторон не узнала об этой новой интерпретации Женевской конвенции. Видимо, в самом министерстве с крайним недоверием относились к собственным доводам.

На полях сражений ничего не подозревавшие английские солдаты продолжали принимать сдачу в плен частей власовской армии по условиям конвенции. Когда немецкий командующий Юго-Западной группой армий генерал фон Витингоф 2 мая 1945 года сдался фельдмаршалу Александеру, в тексте условий сдачи в плен говорилось о «власовских и других военных и полувоенных силах и организациях». Под этими силами разумелись казаки Доманова, кавказцы Гирея и Тюркская дивизия. Сама сдача в плен обозначалась как «капитуляция» согласно «положениям Гаагской конвенции». Правда, через несколько дней после капитуляции Германии союзники пришли к соглашению, что, если за вражескими силами, плененными до капитуляции, сохраняется статус военнопленных, силы, которые еще находятся на поле боя, попадают в особую категорию «сдавшегося вражеского персонала» и как таковые не имеют права на протекцию Женевской конвенции.

Поэтому 15-му Казачьему кавалерийскому корпусу, находившемуся в Юго-Восточной группе немецких армий, было отказано — по инструкциям генерала Мак-Крири — в сдаче в плен на условиях Женевской конвенции. Впрочем, сам по себе этот факт ничего не значил. Как объясняет полковник Джеральд Дрейпер, специалист по вопросам, связанным с юридическим положением военнопленного, причина была проста. У нас не хватало ресурсов, чтобы содержать и кормить такое огромное число капитулировавших войск, и мы не хотели быть скованы обязательствами, которые налагала на нас Женевская конвенция...

Строго говоря, законность этой акции весьма сомнительна, так как статья 96 конвенции гласит, что государство, желающее отказаться от конвенции, обязано предупредить об этом за год. Но, как указывает профессор Дрейпер, это было сделано с целью снять с себя невыносимый груз ответственности за размещение и обеспечение на относительно щедрых условиях всей сдавшейся в плен немецкой армии. При этом наверняка не имелся в виду отказ от гуманных установок конвенции, которые по-прежнему оставались для солдат руководством к действию. Для них вопроса о переоценке стандартов гуманности не возникало. Фельдмаршал лорд Хардлинг, часто обсуждавший эту проблему с Александером, прямо сказал мне, что считает Женевскую конвенцию «руководством к обращению с военнопленными». В момент сдачи в плен казачьих частей в Австрии офицеры, как и прежде, применяли условия конвенции к капитулирующим вражеским войскам. Так, полковник Джоффри Шейкерли, тогда майор стрелкового корпуса, в начале мая получил приказ следовать на север от Графенштейна и убедить часть СС сдаться в плен. Он рассказывает: «Я был уверен, что приказ предписывает мне вести переговоры о сдаче в плен на условиях Женевской конвенции и подчеркивать то обстоятельство, что СС сдается английской армии. Адъютант немецкой части по меньшей мере дважды на протяжении нашей беседы уточнил эти условия сдачи в плен».

Проконсультировавшись со своим командиром, адъютант «вернулся ко мне и спросил, могут ли вместе с ними на тех же условиях сдаться казаки — их было около сотни. Я ответил утвердительно. Мы обговорили детали, и наутро они сдались нам». Эти казаки были помещены вместе с их собратьями из 1-й кавалерийской дивизии в лагерь в Вейтенсфельде и затем переданы Советам. Майор Шейкерли, получив сообщение об этом, был глубоко расстроен тем, что «невольно обманул их».

Мы рассказали эту историю с несчастливым концом, чтобы показать, что решение о сдавшемся вражеском персонале не меняло того, что фельдмаршал Хардлинг называет «этикетом войны», и было введено исключительно в административных целях.

Утверждая, будто русские, плененные английской армией, не подпадают под Женевскую конвенцию, Патрик Дин, очевидно, не учитывал того факта, что англичане с момента высадки фактически согласились считать плененных в немецкой форме русских военнопленными, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Через три дня после высадки в Нормандии полковник Филлимор из военного министерства писал: «Несмотря на то что эти люди — русские, с ними в настоящее время будут обращаться, как с немецкими военнопленными. МИД на это согласен...» А 9 августа 1944 года Объединенный комитет начальников штабов информировал Эйзенхауэра: «Граждане союзных стран, служившие в немецких полувоенных соединениях, в настоящее время будут рассматриваться как военнопленные, и обращение с ними будет соответствовать конвенции о военнопленных».

Вскоре, однако, выяснилось, что такое решение чревато серьезными трудностями: «Если мы считаем их военнопленными, их следует в соответствии с международным правом зарегистрировать в этом качестве и сообщить их имена государству-протектору» (т. е. Швейцарии). А это, как указывал заместитель генерала-адъютанта лорд Бриджмен, могло иметь неприятные последствия. Государство-протектор, как сказано в конвенции, обязано охранять интересы пленных, и нетрудно предвидеть, куда это могло завести союзников. При сложившемся положении дел права военнопленных тщательно скрывались от них самих и от государства-протектора. Например, нет никаких свидетельств применения статьи 84 Женевской конвенции, согласно которой «текст... конвенции... по возможности, на родном языке военнопленных, вывешивается в местах, доступных для военнопленных». А если бы союзники применили статью 26, они не смогли бы провести обманные операции против казаков и других пленных, так как, согласно этой статье, в случае транспортировки «пленных следует официально уведомить заранее о том, куда их перевозят...». Наконец, если бы, как того требовала статья 84, текст конвенции был бы вывешен в лагерях, пленные узнали бы, что имеют право обращаться с жалобами к государству-протектору (статья 47). Таким образом, можно легко понять опасения Бриджмена и его коллег: военнопленный, с умом воспользовавшийся Женевской конвенцией, сумел бы добиться многого.

Впрочем, русские военнопленные выросли в стране, где о Женевской конвенции никто и слыхом не слыхивал, и понятия не имел ни о правах жителей Восточной Европы, ни о правах своих соотечественников до Октябрьской революции 1917 года. Правда, информацию об обращении с военнопленными могло потребовать немецкое правительство, на службе у которого находились русские, или Швейцария — в качестве государства-протектора. Поэтому было решено скрыть происходящее и от Германии, и от Швейцарии. Когда в декабре 1944 года немецкое правительство осведомилось через посредство Швейцарии об условиях содержания русских военнопленных, служивших в немецкой армии, майор В. Л. Джеймс из военного министерства написал Патрику Дину: «Мы согласны с вашей точкой зрения, что при ответе на этот запрос важно избегать всяческих заявлений, которые дали бы немцам возможность сказать, что мы нарушили правило, согласно которому национальность пленного определяется формой, носимой им в момент пленения, независимо от его подданства».

И через день после подписания Ялтинского соглашения в Швейцарию был послан уклончивый ответ.

Не успели справиться с этой опасностью, как возникла новая. На Международный комитет Красного Креста была возложена задача предложить одной из воюющих сторон создать Центральное агентство для передачи этой стране информации о военнопленных (в соответствии со статьей 79 Конвенции). 2 января 1945 года член лондонской делегации Красного Креста М. Хаккиус в письме в

МИД сообщил, что получил из женевской штаб-квартиры этой организации вырезку из газеты, в которой упоминается о присутствии русских военнопленных в Англии: «В сопроводительном письме Женева просит нас сообщить, какой статус придан русским военнопленным и находятся ли они под протекцией конвенции. Я был бы благодарен вам за разъяснения по этому вопросу».

Заметив, что «при ответе следует соблюдать крайнюю осторожность», Патрик Дин предложил вариант, состоящий из совершенно невразумительных формулировок. Но тут пришла записка от полковника Филлимора из военного министерства: «По поводу записки, полученной нами от швейцарской миссии... датированной 4 декабря... относительно ненемецких граждан, взятых нами в плен. Мы считаем это расследование опасным и предлагаем в настоящее время на запрос Международного комитета Красного Креста не отвечать».

В таком состоянии дело оставалось до последней недели войны, когда Джон Голсуорси, по поручению Джоффри Вильсона, вновь принялся обсуждать этот вопрос с Филлимором. Вильсон писал: «Письмо от Хаккиуса лежит без ответа вот уже почти четыре месяца, и мы хотим знать, возражаете ли вы по-прежнему против отправки ответа в духе прилагаемого проекта. Как вы увидите, он весьма расплывчат и не содержит ответов на вопросы, поднятые Международным комитетом Красного Креста, но, мы надеемся, вы поймете, что это не случайно».

К тому времени опасность благополучно миновала, что было проницательно отмечено Филлимором: «В связи с безоговорочной капитуляцией немецкой армии мы можем более не опасаться ответных мер со стороны немцев». После столь успокоительной фразы Джоффри Вильсон послал, наконец, короткий ответ М. Хаккиусу. Извинившись за задержку, он писал: «Советские граждане, попавшие к нам в руки, хотя и носили немецкую форму, но утверждали, что были мобилизованы в немецкую армию насильно, а потому их следует считать освобожденными советскими гражданами...»

Похоже, что под конец даже МИД начал сомневаться в законности собственной политики. Ведь всегда считалось, за исключением случая с русскими в вермахте, что «с точки зрения международного права статус таких лиц определяется не их национальностью, но принадлежностью к ... армии». В частном порядке МИД признавал, что «этот аспект Ялтинского соглашения... конечно, противоречит нашему традиционному отношению к политическим беженцам...». Наконец, как преспокойно отметил Джон Голсуорси 23 июля 1945 года, некоторые русские, захваченные в немецкой форме (в отличие от советских перемещенных лиц и военнопленных)... требуют, чтобы с ними обращались как с немецкими военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией. Английские власти сейчас разрешили проводить это различие.

Для нас эти чисто юридические аспекты насильственной репатриации представляют большой интерес. Англичан ужасала мысль о том, что предатели уйдут от возмездия, укрывшись под защитой

Женевской конвенции. Американцам же это представлялось наименьшим из зол по сравнению с риском нарушения международных соглашений, сыгравших столь важную роль в смягчении некоторых самых страшных жестокостей современной войны. Немцы в общем тоже придерживались этого аспекта конвенции — к счастью для многих чехов, поляков, норвежцев и других представителей континентальной Европы, служивших в английской армии.

Дело в том, что английский МИД поставил во главу угла важные соображения внутренней политики, на фоне которых вопрос о Женевской конвенции отошел на задний план. Уместно задаться вопросом, какие соображения заставили Англию нарушить свои обязательства по международному праву. Вероятно, самым убедительным доводом был тот, что касался английских военнопленных и военнопленных Британского содружества, освобожденных в Восточной Европе Красной Армией. Иден в Ялте сказал, что число их достигает 50 983 человек, хотя в действительности цифра оказалась вдвое меньше: по сообщению генерала Голикова, к 1 сентября 1945 года советские репатриационные органы отправили на родину 23 744 освобожденных английских военнопленных. Но тут важны не цифры, а принцип. Лорд Эйвон объяснял: «Более всего меня волновало возвращение наших военнопленных из Восточной Пруссии и Польши, и я не собирался предпринимать какие бы то ни было акции, которые могли бы повредить им». Действительно, безопасное и скорейшее возвращение этих людей домой было делом первостепенной важности. Но чего именно боялся Иден? Сам он неизменно отказывался хоть как-то разъяснить этот вопрос.

В последнее время было высказано предположение, будто Сталин угрожал Идену, что, пока англичане не отошлют в СССР всех русских, находящихся у них в руках, Сталин «будет держать английских и американских пленных в качестве заложников». Рассмотрим это предположение подробней. По утверждению историка Джона Гая, в английских архивах военного времени нет никаких свидетельств того, что Советы намеревались это сделать и что англичане боялись акций такого рода. Но, может быть, помимо архивов МИД, имеются какие-то другие материалы, дающие основания считать иначе? В самом деле, союзных военнопленных, освобожденных в Польше и Пруссии, не сразу отправляли домой, а держали их в лагерях все то время, пока Советы громогласно требовали возвращения собственных граждан, якобы задерживаемых на Западе.

6 апреля 1945 года части Красной Армии освободили в местечке Люкенвальде, к югу от Берлина, лагерь для военнопленных Сталаг Ша. Хотя западнее, в Магдебурге, находилась американская 9-я армия, союзным военнопленным, несмотря на все старания американцев, запретили двигаться на запад. В один прекрасный день в лагерь за союзными военнопленными прибыла колонна из двадцати грузовиков. Но советские охранники не пустили их и даже дали несколько залпов в воздух. Пленные постепенно теряли присутствие духа, особенно когда советский командир говорил, что им придется возвращаться на родину через Одессу. А услышав пере-

дачу советского радио о союзниках, пытающихся незаконно задержать 800 русских, захваченных в Нормандии, многие заключили, что их держат в качестве заложников. И процедура их передачи американцам на первый взгляд подтверждала этот вывод: через месяц после прихода Красной Армии пленных отвезли на мост через Эльбу и «обменяли там один к одному на русских пленных, освобожденных союзными силами из немецкого плена».

Казалось бы, перед нами — яркий пример того самого шантажа, которого, как теперь выясняется, опасались английские государственные деятели. Но это не совсем так. В документах ВКЭСС, незадолго до освобождения пленных, отмечалось их присутствие в Люкенвальде и упоминаются меры, предпринятые Красной Армией в отношении английских пленных. При этом ВКЭСС не выражала ни малейшего возмущения по поводу их возможной задержки. Причина задержки носила чисто административный характер: союзники в это время вели переговоры о передаче пленных по суше. Что же до 800 русских, упомянутых в советской радиопередаче, то эта группа, как считалось, была перевезена американцами из Англии в США. Предположение оказалось ошибочным, к тому же среди русских, обмененных на Эльбе, этих 800 быть не могло: они вернулись в СССР морем из Ливерпуля.

Правда, нам известны два случая, когда угроза шантажа исходила от крупного советского должностного лица. Генерал Ратов, глава советской репатриационной миссии в Англии, потребовал от бригадира Файербрейса выдать пленных, которых англичане не считали советскими гражданами и которые находились в списке лиц со спорным гражданством. После ленча в лагере он попытался вернуться к этому вопросу и сказал, что, если мы будем так себя вести, им придется задержать в Одессе 50 англичан, бывших военнопленных, и добавил: «Как вам это понравится?» Я сказал, что передам его слова начальству, чем, похоже, приструнил его, и больше он к этой теме не возвращался.

В августе Ратов был переведен в Норвегию руководить репатриацией находящихся там русских. Однажды он весьма резко потребовал выдать большое число лиц со спорным гражданством, которых англичане считали поляками. На конференции в Тронхейме он сердито сообщил бригадиру Г. Дж. Смиту, что у русских в руках было полмиллиона английских солдат (бывших военнопленных), и никого из них не задерживали под выдуманными предлогами. По его мнению, их следовало задержать как объект товарообмена, и тогда, быть может, английские власти иначе отнеслись бы к советским гражданам.

Оба эти высказывания советского генерала весьма показательны. Из рассказа бригадира Файербрейса ясно, что Ратова очень беспокоило, как бы о таком превышении полномочий не узнали в советском посольстве или в самой Москве. Резкого предупреждения Файербрейса оказалось достаточно, чтобы заткнуть советскому генералу рот — а такое случалось не часто. Высказывание на совещании с бригадиром Смитом тоже было импровизацией Ратова; при этом он преувеличил количество английских пленных чуть ли не в двадцать раз.

Как результат угрозы генерала Ратова, появились уникальные документы, единственные, где зафиксирована реакция МИД на возможность задержки Сталиным освобожденных английских военнопленных в СССР. Эти документы находятся в досье, рассекреченном лишь в 1978 году, и в свете постоянных заявлений МИД об опасности ответных мер со стороны Сталина представляют собой любопытное чтение. «Вряд ли советское правительство всерьез отнесется к рекомендациям генерала Ратова, даже если он их и выдвинет», — замечает Джон Голсуорси. Ему вторит Джоффри Вильсон: «Я очень сомневаюсь, что Советы попытаются задержать кого-либо из наших». А заведующий Северным отделом МИД Кристофер Уорнер решительно подтверждает: «Согласен».

Можно с полным основанием предположить, что, даже если вопрос о задержке английских пленных всплывал в переговорах между Ратовым и его начальством, всерьез эту идею никто не принимал. Да и вообще сомнительно, чтобы Сталин думал о столкновении с англичанами. Одной из главных причин, заставлявших его требовать возвращения всех беглых подданных, был страх перед тем, что подумают на Западе, если многие русские откажутся вернуться. Вряд ли Сталин решился бы ради насильственного возвращения тысяч простых советских граждан, предпочитавших репатриации самоубийство, оскорбить западное общественное мнение задержкой освобожденных солдат союзников. В конце концов, смирился же он с тем, что примерно миллион лиц со спорным гражданством и советских граждан остались на Западе. И никаких ответных акций советским правительством в связи с этим предпринято не было.

Стоит отметить также, что советские представители, в силу очевидных причин, всячески избегали публичных либо письменных упоминаний о своих требованиях к англичанам и американцам насильно вернуть своих граждан. Однажды, когда советский генерал в Италии потребовал применения силы, английский коллега предложил ему письменно изложить это требование — и «генерал-майор Суслапаров отказался». Советские представители всеми силами старались скрыть от западной общественности существование договоренности о насильственной репатриации, не говоря уж о случаях применения силы к русским пленным. Советские офицеры, сопровождавшие пленных, страшно нервничали, когда их подопечные оказывались на виду у простых англичан. А один француз, имевший несчастье увидеть то, чего ему видеть не полагалось, был похищен и оказался в Сибири. МИД прекрасно знал о том, что Советы боятся огласки, хотя и не воспользовался этим.

Однако стоит поговорить о более реальной опасности, вытекающей из политики насильственной репатриации. Воспользовавшись тем предлогом, что в СССР плохо обращаются с пленными вермахта, Гитлер мог устроить массовый расстрел английских пленных, в 1945 году находившихся во власти прославившегося своей жестокостью генерала СС Бергера, усиленно искавшего повода для

расстрелов. И именно в этом случае МИД ставил на карту жизнь своих соотечественников.

Итак, мог ли МИД отказаться выдать всех или часть советских пленных, не желавших возвращаться? Поскольку МИД не только не пытался это сделать, но даже и не рассматривал такую возможность, нам остается лишь гадать об этом. Правда, у нас есть достаточно свидетельств, чтобы представить себе возможное развитие альтернативной политики. Мы показали в этой книге, что американцы вели себя иначе. После того как МИД в октябре 1944 года принял все советские требования, США долгое время отвергали идею насильственной репатриации. Еще дольше придерживались они Женевской конвенции. После кровавой репатриации из Кемптена они временно отказались от применения силы, а, возобновив эту политику в 1946 году, применяли ее лишь по отношению к определенным категориям. Они не рассматривали официально возможности применения силы к гражданским лицам, не говоря уж о женщинах и детях. Они возражали против планов выдачи белоэмигрантов обманом или силой. Однако у нас нет никаких документальных свидетельств о том, что Советы пытались дискриминировать освобожденных американцев, оказавшихся у них в руках, и ни один солдат при отправке из Одессы или Торгау не был задержан вследствие недовольства советских руководителей американской политикой.

Таким образом, данные говорят за то, что более твердая линия в переговорах 1944—1945 годов имела все шансы на успех. Конечно, можно спорить о том, какой именно альтернативный курс следовало избрать. Например, можно было бы настаивать, чтобы двустороннее Ялтинское соглашение касалось только освобожденных военнопленных, и тем самым исключить из него массу гражданских лиц, обнаруженных союзными армиями. Можно было бы приостановить репатриацию после первых донесений о жестокой расправе с репатриантами в Одессе. Можно было бы с самого начала настоять на применении силы лишь к определенным категориям пленных, как это в конце концов и было сделано (без всяких дурных последствий) в директиве Мак-Нарни — Кларка. Несомненно, МИД мог смело отказаться отдавать приказы об операциях с применением силы против женщин и детей. Короче говоря, имелось множество вариантов, помимо полного принятия всех советских требований.

Кстати, примерно в то же время похожая ситуация возникла в Венгрии. Выяснилось, что профашистски настроенные министры Баки и Эндре организовали депортацию венгерских евреев в немецкие концлагеря. Это сообщение и вести о трагической судьбе депортированных дошли до регента, адмирала Хорти. Он пришел в ярость, приказал немедленно прекратить эти операции и уволил обоих министров, обозвав их «грязными садистами». Отказавшись принести в жертву своих подданных, Хорти шел на большой риск. Армии Германии, могущественного союзника Венгрии, стояли на границах страны и вполне могли опрокинуть правительство либо своими силами, либо поддержав путч венгерской фашистской партии.

На доводы такого рода чиновники МИД, несомненно, ответили бы, что всякое проявление твердости со стороны англичан поставит под угрозу заключение чрезвычайно важного Ялтинского соглашения. Но было ли это соглашение действительно таким важным? Советы с самого начала считали его «еще одной бумажкой» и нарушали буквально все главные пункты договора. В июле 1945 года МИД собрал толстую папку документов о невыполнении Советами едва ли не всех соглашений, подписанных ими с англичанами. В заключение рапорта констатировалось: «Советские власти показали свою полную неспособность выполнить некоторые главнейшие условия Ялтинского соглашения». Американцы тоже подробно перечислили советские нарушения, а генерал Дин подытожил: «Все соглашения относительно американских военнопленных, освобожденных Красной Армией, были нарушены...»

Возможно, более твердая позиция МИД повлекла бы за собой какие-то неудобства для освобожденных английских военнопленных, но с тем же успехом можно сказать, что английские пленные, еще находившиеся в руках у немцев, подвергались в результате проводимой политики гораздо большему риску репрессий со стороны СС. И мы не знаем другого случая, когда государственное учреждение пошло на подобный риск.

Довод о скорейшем возвращении английских военнопленных был главным оправданием политики, неуклонно проводимой МИД на протяжении почти трех лет. Но это соображение существовало лишь в первые месяцы насильственной репатриации. 20 июня 1945 года сотрудник МИД Уорнер Робертс сообщал об отсутствии случаев репрессий в отношении английских военнопленных или их жен и добавлял, что вообще подавляющее большинство пленных уже вернулось домой, так что и это обстоятельство отпало. В августе, после вступления СССР в войну с Японией, ненадолго возникла новая проблема. Красная Армия освободила в Маньчжурии небольшое количество английских и американских военнопленных, и западные союзники решили и теперь действовать соответственно Ялтинскому соглашению — ради пленных, освобожденных на Дальнем Востоке. Однако уже к началу сентября ситуация изменилась, и военное министерство констатировало: «Мы значительно меньше, чем прежде, заинтересованы в выполнении советских требований. Эти обсуждения начались, когда мы были озабочены тем, чтобы получить обратно большое число наших военнопленных, оказавшихся у Советов, тогда как сейчас их осталось совсем немного. Тем самым устраняется одна очень серьезная причина, по которой мы не могли отказаться от выдачи этих несчастных советским властям».

Таким образом, английские и американские военные возражали против продолжения политики, которая всегда была негуманной, а теперь к тому же перестала быть необходимой. Но именно в это время чиновники МИД удвоили — если не удесятерили — свое рвение в деле выдачи всех до единого русских советским властям. Правда, основная масса репатриантов уже была отправлена в СССР, но зато началась охота за небольшими группами запуганных

мужчин, женщин и детей — иногда даже за отдельными людьми, — так что репатриационные операции превратились чуть ли не в акты личной мести. И со стороны англичан понадобились грандиозные усилия, чтобы убедить американцев отказаться от их гуманной позиции и вести более жесткую политику.

Нельзя сказать, что сотрудники МИД не представляли себе, какая судьба ожидает русских пленных на родине. Рапорты об убийствах и расстрелах в Одессе и Мурманске с самого начала аккуратно подшивались к делу и комментировались в английском правительстве, и, накладывая резолюцию на письмо молодого солдата Калкани, чиновник МИД Томас Браймлоу прекрасно знал, что ждет этого парня. Знали министерские работники и о том, что репатрианты, отказавшиеся репатриироваться или пытавшиеся попасть в список лиц со спорным гражданством, наверняка будут уничтожены. Об одном русском, которого МИД хотел депортировать, Патрик Дин написал откровенно: «Он несомненно будет казнен».

В ноябре 1945 года английское посольство в Москве сообщило о судьбе вернувшихся русских: к ним повсеместно относятся с подозрением, вывозят большими группами на восток и «обращаются с ними очень грубо, хуже, чем с немецкими пленными». Джон Голсуорси комментировал это сообщение: «Отчеты английских офицеров, сопровождавших советских репатриантов на родину, а также случайная информация из других источников не оставляют места для сомнений: родина оказывает ... репатриантам прием равнодушный и часто жестокий; заклейменные контактами с заграницей, они попадают под подозрение».

Исайя Берлин, работавший тогда в посольстве в Москве, сообщил о разговоре с необычайно откровенным советским генералом, который выразился так: «Наши люди залезают в каждую дыру в поисках наших военнопленных [на Западе], и когда их ловят, с ними обращаются довольно-таки грубо, разделяют семьи и все такое». «Этим НКВД занимается?» — спросил Берлин. Ответом ему был многозначительный взгляд. Заместитель министра иностранных дел Александр Кадоган прочел это сообщение, но не реагировал на него.

Читатели «Архипелага ГУЛаг» могут по достоинству оценить отчет Кадогана об институте исправительно-трудовых лагерей в СССР: «В СССР не существует проблемы безработицы. Безработных собирают в одном месте и везут — иногда за сотни километров — на работы по освоению обширных пространств России, которые веками оставались нетронутыми».

Впрочем, кое в чем он был прав: по меньшей мере два с половиной миллиона репатриированных в 1945 году военнопленных и перемещенных лиц, а также представителей депортированных народов (эстонцев, поляков, грузин, китайцев и т.д.) были помещены в исправительно-трудовые лагеря, а тысячи освобожденных зэков пополнили ряды Красной Армии. Как тут не вспомнить слова того же Кадогана в январе 1945 года: «Трудно понять, почему советские так пекутся об этих несчастных пленных, половину которых они скорее всего расстреляют сразу же по прибытии в СССР».

Конечно, чиновники МИД были вовсе не в восторге от проводимой ими политики, но они полагали, что это необходимая жертва во имя жизненно важных дипломатических потребностей: сначала — ради сохранения союза против Германии, а по окончании войны — ради тесного сотрудничества с СССР в новом послевоенном мире. И судьба тысяч русских беженцев не должна была нарушать этот грандиозный проект.

Иден и его советники не оттягивали неизбежной конфронтации. Они искренне верили в добрую волю Сталина. Иден относился к Сталину с симпатией и восхищением. Эти чувства разделяли его постоянные сотрудники, помогавшие ему в составлении двух важных отчетов о советской политике для кабинета — 4 июня и 9 августа 1944 года. В первом подчеркивалось «страстное» стремление СССР к сотрудничеству с Англией и Америкой. Во втором подробно излагалась точка зрения МИД, считавшего, что вряд ли после войны у СССР будет желание вмешиваться в дела соседних стран, а «Польше будет предоставлена подлинная независимость и свобода от излишнего вмешательства СССР в ее внутренние дела». Авторы делали следующий вывод: «Советское правительство попытается вести политику сотрудничества с нами, США (и Китаем) в рамках какой-либо всемирной организации или вне ее, если такой организации не возникнет».

В отчете также делалась попытка на основании суждений специалистов из посольства в Москве и сотрудников Северного отдела МИД проанализировать политическую ситуацию внутри СССР: «Не исключено, что в Советском Союзе имеются две философские школы. Одна выступает за сотрудничество [с Западом], другая считает, что Советский Союз не может и не должен никому верить, может полагаться лишь на собственные силы и поддержку своих друзей в зарубежных странах. К счастью, по всем данным, Сталин, скорее всего, является представителем первой школы, и эта точка зрения сейчас приобретает первостепенное значение».

Всякая попытка раскачать лодку, говорилось в отчете, может лишь поставить под угрозу возможность конструктивного сотрудничества и помочь укреплению позиций консервативных противников Сталина в СССР. Специалисты из Северного отдела, вроде Джона Голсуорси и Кристофера Уорнера, высмеивали даже самые убедительные предположения о том, что Советский Союз может представлять собой потенциальную угрозу для Запада. Генерал Мартель, до марта 1944 года возглавлявший военную миссию в Москве, утверждал, что чиновники МИД только и знают, что «лижут большевистские сапоги до потери сознания», и предлагал Англии при переговорах с СССР хотя бы изредка отстаивать свою позицию. Между прочим, когда Мартель должен был делать доклад об операциях в СССР перед Королевским обществом по Средней Азии, сообщение об этом мероприятии страшно обеспокоило Уорнера. «Я не могу отделаться от мысли, что этот доклад следует отменить», — писал он.

Впрочем, Уорнер, столь опасавшийся неортодоксальных взглядов, был верным учеником самого Идена, глубоко убежденного в необхо-

димости замалчивать точки зрения, отличающиеся от его собственной. Иден даже в кабинете сумел предотвратить распространение не совпадающих с его мнением суждений о Советском Союзе. 1 сентября 1944 года Уинстон Черчилль пустил среди коллег по кабинету интереснейший документ — «Факты и тенденции войны, 1944», отчет, составленный Рональдом Мэтьюсом, московским корреспондентом «Дейли геральд» в 1942—1944 годах. По своим взглядам Мэтьюс был социалистом, жена его была русской. При этом, хотя его передвижение по СССР было строго ограничено, он все же сумел воссоздать довольно точную картину советского общества, и даже сейчас, спустя более чем сорок лет, его анализ поражает точностью и прозорливостью. Описав сталинский тоталитарный режим внутри страны и угрозу, которую может представить сталинская внешняя политика, он писал: «Чрезвычайно важно, чтобы западные державы сумели в конце войны внушить СССР... чувство безопасности. Причем я считаю важным сделать это без ненужных уступок СССР. Такие уступки только обостряют чувство обиды. И я не думаю, что русские действительно будут доверять нам, если мы не проявим в общении с ними твердость наряду с уступчивостью. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что наши уступки в вопросах, в которых мы сознавали свою правоту, возымели вдвойне отрицательное действие. Во-первых, мы утратили их уважение (русские уважают твердость), а во-вторых, это могло породить у них ощущение, что мы временно подкупаем их, так же, как в августе 1939 года они с немцами взаимно подкупали друг друга».

На Черчилля этот отчет произвел большое впечатление, но картина, нарисованная Мэтьюсом, слишком расходилась с мидовской точкой зрения. И в результате в сопроводительной записке к отчету появилась такая строчка: «По предложению министра иностранных дел, премьер-министр распорядился изъять этот документ из обращения».

Позиции англичан и американцев в деле насильственной репатриации не следует отделять от их политики тех лет в отношении СССР в целом. Чиновники МИД считали, что Сталин благосклонно относится к Западу и что сотрудничество с ним не только возможно, но и важно для английских интересов. И судьба русских репатриантов была в их глазах огорчительной, но неизбежной жертвой, принесенной во имя этой главной цели.

* * *

После выхода в свет первого издания книги у меня в руках оказался полный отчет о военнопленных 1939—1945 годов, составленный полковником Генри Филлимором в 1949 году по запросу военного министерства и находящийся теперь в библиотеке министерства обороны. Отчет подтверждает два главных юридических несоответствия, о которых я писал в этой главе. Во-первых, Англия всегда, кроме случая с русскими военнопленными, считала военную форму единственным признаком национальности военнопленного. Вот что сказано об этом в отчете полковника Филлимора:

«После поражения союзных стран многие их граждане были мобилизованы в английскую армию, и управление [по делам военнопленных] было ответственно за их благополучие, если они попадали в плен в качестве английских военнопленных. Опасения, что враг может отрицать этот статус, были источником постоянной тревоги, и за этим следили самым тщательным образом. Однако на практике вражеская сторона приняла их статус и обращалась с военнопленными как с гражданами той страны, в военную форму которой они были одеты в момент пленения... Это правило относилось также к трудовой организации Тодта».

Во-вторых, из отчета выясняется, что англичане всегда придерживались обязательства, оговоренного в международном праве, не передавать взятых в плен вражеских солдат под опеку союзника... за исключением, разумеется, случаев со сдавшимися в плен казаками и другими русскими, служившими в немецкой армии. Полковник Филлимор пишет: «До окончания военных действий на Западе мы неизменно отказывались давать разрешение на содержание военнопленных или на их пересылку каким-либо другим союзным силам... На военное министерство постоянно оказывалось давление с целью получить согласие на такой перевод [по причинам административного удобства, но]... мы твердо и успешно противостояли этому нажиму под разными предлогами, опасаясь, что враг ответит на это переводом английских военнопленных к своим союзникам, т. е. в Румынию или Болгарию, или будет вымещать на наших военнопленных все жалобы о плохом обращении с пленными, переданными нами нашим союзникам».

Далее Филлимор разъясняет значение этого пункта: «Мы опасались подобной выдачи, понимая, что это может дать немцам предлог для перевода английских военнопленных под опеку другого правительства оси, например, какого-нибудь из Балканских государств, проявивших себя в войне 1914—1918 годов далеко не лучшим образом. Соответственно, мы уговорили американцев согласиться, что в свете положений [Женевской] конвенции мы должны нести всю ответственность за пленных [находящихся в руках у англичан] и что они поэтому должны в обращении с пленными руководствоваться нашими правилами по данному вопросу. Эти правила включают двусторонние соглашения с вражескими правительствами. В этой связи мы также опасаемся влияния выдач на наши взаимные соглашения с вражескими правительствами».

Выдавая русских в немецкой форме советским властям, английское правительство прекрасно знало, что сознательно нарушает и свои обязательства по международному праву, и соглашения с немецким правительством. Такое сознательное нарушение закона трудно назвать иначе как военным преступлением.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия 3

Н. А. Келин. КАЗАЧЬЯ ИСПОВЕДЬ 5

Н. Д. Толстой. ЖЕРТВЫ ЯЛТЫ 137

Николай Андреевич Келин

КАЗАЧЬЯ ИСПОВЕДЬ

●

Николай Дмитриевич Толстой

ЖЕРТВЫ ЯЛТЫ

Главный редактор редакции *Н.П Синицын*
Редактор *В.В. Амельченко*
Художественный редактор *Е.В. Поляков*
Технический редактор *Н.Я. Богданова*
Корректор *В.Л. Соловьева*
Компьютерная верстка *Т.Н. Абдулаева*

ИБ № 4599

Лицензия ЛР № 020872 от 13 мая 1994 г.

Сдано в набор 24.07.95. Подписано в печать 31.01.96. Формат 60x90/16.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 30.
Усл. печ. л. 30. Усл. кр.-отт. 30,72. Уч.-изд. л. 32,22. Изд. № 2/7601.

Тираж 10 000 экз. Зак. 620. С-9.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.

Отпечатано с готового оригинала-макета в АООТ «Рыбинский Дом печати»
152901, г Рыбинск, ул Чкалова, д 8